

АЛЕКСАНДР КУПРИН,
АЛЕКСАНДР ПУШКИН, ИВАН
ТУРГЕНЕВ И ДР.

**ЛУЧШИЕ ПОВЕСТИ И
РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ
В ОДНОМ ТОМЕ**

Александр Пушкин

**Лучшие повести и рассказы
о любви в одном томе**

«Public Domain»

2015

Пушкин А. С.

Лучшие повести и рассказы о любви в одном томе /
А. С. Пушкин — «Public Domain», 2015

ISBN 978-5-699-78755-5

В книге собраны повести и рассказы о любви великих мастеров русской прозы: А. Пушкина, И. Тургенева, А. Чехова, А. Куприна, И. Бунина. Что такое любовь? Одна из самых высоких ценностей, сила, создающая личность, собирающая лучшие качества человека в единое целое, награда, даже если страдания сопровождают это чувство? Или роковая сила, недостижимая вершина, к которой стремится любой человек, стараясь обрести единство с другой личностью, неизменно оборачивающееся утратой, трагедией, разрушающей гармонию мира? Разные истории и разные взгляды помогут читателю ответить на этот непростой вопрос...

ISBN 978-5-699-78755-5

© Пушкин А. С., 2015

© Public Domain, 2015

Содержание

Александр Пушкин	6
Метель	6
Барышня-крестьянка	13
Иван Тургенев	23
Ася	23
Первая любовь	49
Вешние воды	84
Антон Чехов	162
Драма на охоте	162
О любви	260
Дама с собачкой	265
Александр Куприн	274
Впотьмах	274
Олеся	316
Суламифь	359
Гранатовый браслет	389

Лучшие повести и рассказы о любви в одном томе

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Александр Пушкин

Метель

*Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокой...
Вот, в сторонке Божий храм
Виден одинокой.*

.....
*Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы...*

Жуковский

В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р**. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием; соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою, Прасковьей Петровною, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей.

Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и следственно была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию, и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя.

Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они (что весьма естественно) дошли до следующего рассуждения: если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны.

Наступила зима и прекратила их свидания; но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты наконец героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно: дети! придите в наши объятия.

Марья Гавриловна долго колебалась: множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась: в назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре: обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать.

Накануне решительного дня, Марья Гавриловна не спала всю ночь; она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимою силою страсти, и оканчивала тем, что блаженнейшею минутою жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткою, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала; но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротою тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелие... и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца; то видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться... другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головою болью. Отец и мать заметили ее беспокойство; их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: что с тобою, Маша? не больна ли ты, Маша? – раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива; она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окружавшими.

Подали ужинать; сердце ее сильно забилося. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и, по обыкновению, благословили: она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресла и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь... На дворе была метель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме всё утихло и заснуло. Маша укуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала; ветер дул навстречу, как будто сиюсь остановить молодую преступницу. Они насилу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте; кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки-кучера, обратится к молодому нашему любовнику.

Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника; насилу с ним уговорился; потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной сорокалетний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать, и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле тотчас после обеда явились землемер Шмит в усах и шпорах, и сын капитан-исправника, мальчик лет шестнадцати, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом, и поехал домой приготовляться.

Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своею тройкою и с подробным, обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут.

Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снега; небо слилось с землею. Владимир очу-

тился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались; Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадриной роши. Прошло еще около десяти минут; роши все было не видать. Владимир ехал по полю, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихла, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу.

Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился: начал думать, припоминать, соображать, и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а поля не было конца. Всё сугробы, да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло; Владимир начинал сильно беспокоиться.

Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир повернул туда. Приближаясь, увидел он рошу. Слава богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около роши, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рошу кругом: Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу, и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать; дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимир успокоился.

Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роше не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади; бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира.

Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу; Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его; он поехал наудачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избытки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что те надо?» – «Далеко ли Жадрино?» – «Жадрино-то далеко ли?» – «Да, да! Далеко ли?» – «Недалече; верст десяток будет». При сем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.

«А отколе ты?» – продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик, – сказал он, – достать мне лошадей до Жадрина?» – «Каки у нас лошади», – отвечал мужик. «Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно». – «Постой, – сказал старик, опуская ставень, – я те сына вышлю; он те проводит». Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Что те надо?» – «Что ж твой сын?» – «Сейчас выдет, обувается. Али ты прозяб? взойди погреться». – «Благодарю, высылай скорее сына».

Ворота заскрипели; парень вышел с дубиною, и пошел вперед то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. – «Который час?» – спросил его Владимир. «Да уж скоро рассвет», – отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова.

Пели петухи и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его!

Но возвратимся к добрым ненарадновским помещикам и посмотрим, что-то у них делается.

А ничего.

Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шляфореке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Дев-

чонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь легче, и что она-де сейчас придет в гостиную. В самом деле дверь отворилась и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой.

«Что твоя голова, Маша?» – спросил Гаврила Гаврилович. «Лучше, папенька», – отвечала Маша. «Ты верно, Маша, вчерась угорела», – сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька», – отвечала Маша.

День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная две недели находилась у края гроба.

Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены; ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усастьный землемер и маленький улан были скромны, и недаром. Терешка-кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и во хмелю. Таким образом тайна была сохранена более, чем полудюжиною заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама, в беспрестанном бреду, высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходявшая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича, и что вероятно любовь была причиной ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и наконец единогласно все решили, что видно такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание.

Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврилы Гавриловны. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним, и объявить ему неожиданное счастье: согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо! Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году.

Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок, и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась. Однако, слава богу, обморок не имел последствий.

Другая печаль ее посетила: Гаврила Гаврилович скончался, оставя ее наследницей всего имени. Но наследство не утешало ее; она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться; обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в ***ское поместье.

Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты; но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга; Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал: он умер в Москве, накануне вступления французов. Память его казалась священной для Маши; по крайней мере она берегла всё, что могло его напомнить: книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего наконец восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы.

Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: *Vive Henri-Quatre*¹, тирольские

¹ Да здравствует Генрих Четвертый! (франц.)

вальсы и арии из Жоконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове *отечество!* Как сладки были слёзы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него, какая была минута!

Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они: *ура!*

И в воздух чепчики бросали.

Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградой?..

В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в *** губернии, и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве.

Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна всё по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин, с Георгием в петлице и с *интересной бледностию*, как говорили тамошние барышни. Ему было около двадцати шести лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтоб она с ним кокетничала; но поэт, заметя ее поведение, сказал бы:

«Se amor non è, che dunque?..»²

Бурмин был, в самом деле, очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам: ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно; но что б она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая (как и все молодые дамы вообще) с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера.

Но более всего... (более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки) молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась; вероятно и он, с своим умом и опытностию, мог уже заметить, что она отличала его: каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слышала его признания? Что удерживало его? робость, неразлучная с истинною любовью, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкою. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиною, и положила ободрить его большею внимательностию и, смотря по обстоятельствам, даже нежностию. Она приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Тайна, какого рода ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех: по крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута, казалось, уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха.

Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гранпасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду, – отвечала старушка, –

² Если это не любовь, так что же? (*итал.*)

подите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: авось дело сегодня же кончится!

Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках, и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых вопросов, Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только незапным³ и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

«Я вас люблю, – сказал Бурмин, – я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St.-Preux⁴). «Теперь уже поздно противиться судьбе моей; воспоминания об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду...» – «Она всегда существовала, – прервала с живостию Марья Гавриловна, – я никогда не могла быть вашею женою...» – «Знаю, – отвечал он ей тихо, – знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но – я несчастнейшее создание... я женат!»

Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением.

– Я женат, – продолжал Бурмин, – я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь!

– Что вы говорите? – воскликнула Марья Гавриловна, – как это странно! Продолжайте; я расскажу после... но продолжайте, сделайте милость.

– В начале 1812 года, – сказал Бурмин, – я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены; ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала; я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню; в деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней; по паперти ходили люди. «Сюда! сюда!» – закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался? – сказал мне кто-то, – невеста в обмороке; поп не знает, что делать; мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее». Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви; другая терла ей виски. «Слава богу, – сказала эта, – насили вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» – «Начинайте, начинайте, батюшка», – отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне недурна... Непонятная, непростительная ветренность... я стал подле нее перед налоем; священник торопился; трое мужчин и горничная подерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», – сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать... Она вскрикнула:

³ внезапным (совр.)

⁴ Сен-Прё (франц.).

«Ай, не он! не он!» – и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!»

– Боже мой! – закричала Марья Гавриловна, – и вы не знаете, что сделалось с бедной вашей женою?

– Не знаю, – отвечал Бурмин, – не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко, и которая теперь так жестоко отомщена.

– Боже мой, Боже мой! – сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, – так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам...

Барышня-крестьянка

Во всех ты, Душенька, нарядах хороша.
Богданович

В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор он оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезде в поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, утроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околоске, в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить с своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сертук из сукна домашней работы; сам записывал расход, и ничего не читал, кроме «Сенатских ведомостей». Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего, и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе,

Но на чужой манер хлеб русский не родится,

и не смотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григорья Ивановича не прибавлялись; он и в деревне находил способ входить в новые долги; со всем тем почитался человеком не глупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в Опекунский совет: оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англomanии своего соседа и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения, в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжениям: «Да-с! – говорил он с лукавой усмешкою, – у меня не то, что у соседа Григорья Ивановича. Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты». Сии и подобные шутки, по усердию соседей, доводимы были до сведения Григорья Ивановича с дополнением и объяснениями. Англoman выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего зоила медведем и провинциалом.

Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в *** университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест баринком, отпустив усы на всякий случай.

Алексей был, в самом деле, молодец. Право было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир, и если бы он, вместо того, чтоб рисоваться на коне, провел свою молодость согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря, как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из него никогда не выйдет путного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а иные и заглядывались; но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем: *Акулине Петровне*

Курочкиной, в Москве, напротив Алексеевского монастыря, в доме медника Савельева, а вас покорнейше прошу доставить письмо сие А. Н. Р.

Те из моих читателей, которые не жилали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение, поездка в ближний город полагается эпохой в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями; но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное, *особенность характера, самобытность* (individualité), без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд, и не во осуждение, однако ж *Nota nostra manet*⁵, как пишет один старинный комментатор.

Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Всё это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума.

Но всех более занята была им дочь англomана моего, Лиза (или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович). Отцы друг ко другу не ездили, она Алексея еще не видала, между тем, как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурьмила себе брови, два раза в год перечитывала «Памелу», получала за то две тысячи рублей, и умирала со скуки в этой варварской России.

За Лизою ходила Настя; она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи; словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии.

– Позвольте мне сегодня пойти в гости, – сказала однажды Настя, одевая барышню.

– Изволь; а куда?

– В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них именинница и вчера приходила звать нас отобедать.

– Вот! – сказала Лиза, – господа в ссоре, а слуги друг друга угощают.

– А нам какое дело до господ! – возразила Настя, – к тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бранились еще с молодым Берестовым; а старики пускай себе дерутся, коли им это весело.

– Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да Расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он за человек.

Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась.

– Ну, Лизавета Григорьевна, – сказала она, входя в комнату, – видела молодого Берестова; нагляделась довольно; целый день были вместе.

– Как это? Расскажи, Расскажи по порядку.

⁵ Наше замечание остается в силе (лат.).

- Извольте-с: пошли мы, я, Анисья Егоровна, Ненила, Дунька...
- Хорошо, знаю. Ну потом?
- Позвольте-с, расскажу всё по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были колбинские, захарьевские, приказчица с дочерьми, хлупинские...
- Ну! а Берестов?
- Погодите-с. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее... а дочери и надулись, да мне наплевать на них...
- Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!
- Да как же вы нетерпеливы! Ну вот вышли мы из-за стола... а сидели мы часа три, и обед был славный; пирожное бланманже синее, красное и полосатое... Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился.
- Ну что ж? Правда ли, что он так хорош собой?
- Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку...
- Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе показался? Печален, задумчив?
- Что вы? Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать.
- С вами в горелки бегать! Невозможно!
- Очень возможно! Да что еще выдумал! Поймает, и ну целовать!
- Воля твоя, Настя, ты врешь.
- Воля ваша, не вру. Я насилу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился.
- Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит?
- Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел, да и на Таню, приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да грех сказать, никого не обидел, такой баловник!
- Это удивительно! А что в доме про него слышно?
- Барин, сказывают, прекрасный: такой добрый, такой веселый. Одно не хорошо: за девушками слишком любит гоняться. Да, по мне, это еще не беда: со временем остепенится.
- Как бы мне хотелось его видеть! – сказала Лиза со вздохом.
- Да что же тут мудреного? Тугилово от нас недалеко, всего три версты: подите гулять в ту сторону или поезжайте верхом; вы верно встретите его. Он же всякий день, рано поутру, ходит с ружьем на охоту.
- Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, так и мне всё же нельзя будет с ним познакомиться... Ах, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!
- И в самом деле; наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово; ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает.
- А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя! Какая славная выдумка! – И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение.

На другой же день приступила она к исполнению своего плана, послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговиц, с помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру всё было готово. Лиза примерила обнову, и призналась пред зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою, наподобие глиняных котлов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее: она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колот ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя

за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле.

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполнили сердце Лизы младенческой веселостью; боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная, почему; но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой, перекаточный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала... но можно ли с точностью определить, о чем думает семнадцатилетняя барышня, одна, в роще, в шестом часу весеннего утра? Итак, она шла, задумавшись, по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос: *tout beau, Sbogar, ici*⁶... и молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая, – сказал он Лизе, – собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испугу, и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин, – сказала она, притворяясь полуиспуганной, полужастенчивой, – боюсь: она, вишь, такая злая; опять кинется». Алексей (читатель уже узнал его) между тем пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься, – сказал он ей, – ты мне позволишь идти подле себя?» – «А кто те мешает? – отвечала Лиза, – вольному воля, а дорога мирская». – «Откуда ты?» – «Из Прилучина; я дочь Василья-кузнеца, иду по грибы» (Лиза несла кузовок на веревочке). «А ты, барин? Тугиловский, что ли?» – «Так точно, – отвечал Алексей, – я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А лжешь, – сказала она, – не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин». – «Почему же ты так думаешь?» – «Да по всему». – «Однако ж?» – «Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему». Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее; но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, – сказала она с важностью, – то не извольте забываться». – «Кто тебя научил этой премудрости? – спросил Алексей, расхохотавшись. – Уж не Настенька ли, моя знакомая, не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение!» Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась. «А что думаешь? – сказала она, – разве я и на барском дворе никогда не бываю? небось: всего наслышалась и нагладелась. Однако, – продолжала она, – болтая с тобою, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощения просим...» Лиза хотела удалиться, Алексей удержал ее за руку. «Как тебя зовут, душа моя?» – «Акулиной, – отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой, – да пусти ж, барин; мне и домой пора». – «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василью-кузнецу». – «Что ты? – возразила с живостью Лиза, – ради Христа, не приходи. Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет; отец мой, Василий-кузнец, прийдет меня до смерти». – «Да я непременно хочу с тобой опять видеться». – «Ну я когда-нибудь опять сюда приду за грибами». – «Когда же?» – «Да хоть завтра». – «Милая Акулина,

⁶ Тубо, Сбогар, сюда... (франц.)

расцеловал бы тебя, да не смею. Так завтра, в это время, не правда ли?» – «Да, да». – «И ты не обманешь меня?» – «Не обману». – «Побожись». – «Ну вот те святая пятница, приду».

Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опростелью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеленная и зятая в рюмочку, нарезывала тоненькие тартинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. «Нет ничего здоровее, – сказал он, – как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более ста лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия, совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее: она совсем было решила не сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василья-кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решила на другое утро опять явиться в рошу Акулиной.

С своей стороны Алексей был в восхищении, целый день думал он о новой своей знакомке; ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим Сбогаром и побежал к месту обещанного свидания. Около полудня прошло в несносном для него ожидании; наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан, и бросился на встречу милой Акулины. Она улыбнулась восторгу его благодарности; но Алексей тотчас же заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаявалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним, и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Всё это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии; но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил всё свое красноречие, дабы отвлечь Акулину от ее намерения; уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады: видаться с нею наедине, хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти, и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово, – сказала она наконец, – что ты никогда не будешь искать меня в деревне или спрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей святою пятницею, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы, – сказала Лиза, – довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор пока Лиза сказала ему: пора. Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны, и хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкой малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждения невинности.

Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры; но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мною моего

удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными, итак я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти, и Лиза была не равнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем.

Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная: Алексей, как ни привязан был к милой своей Акулине, всё помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою; а Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной, романической надеждою увидеть наконец тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменяло их взаимных отношений.

В одно ясное, холодное утро (из тех, какими богата наша русская осень) Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собою пары три борзых, стремянного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазняясь хорошею погодою, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англазированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом, в чекмене, подбитом лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то конечно б он поворотил в сторону; но он наехал на Берестова вовсе неожиданно, и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего: Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется *господам* по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал по полю. Берестов и стремянный закричали во всё горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренно доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага, прежде ею не замеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стремянный привел виновную лошадь, держа ее под уздцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным, и таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.

Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как взяв с него честное слово на другой же день (и с Алексеем Ивановичем) приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцой кобылки.

Лиза выбежала навстречу Григорью Ивановичу. «Что это значит, папа? – сказала она с удивлением, – отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?» – «Вот уж не угадаешь, my dear»⁷, – отвечал ей Григорий Иванович и рассказал всё, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы. «Что вы говорите! – сказала она, побледнев. – Берестовы, отец и сын! Завтра у нас обедать! Нет, папа, как вам угодно: я ни за что не покажусь». – «Что ты, с

⁷ Моя дорогая (англ.).

ума сошла? – возразил отец, – давно ли ты стала так застенчива, или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романическая героиня? Полно, не дурачься...» – «Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми». Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с нею ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.

Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное... Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насте; обе обрадовались ей как находке и положили исполнить ее непременно.

На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочери, всё ли намерена она спрятаться от Берестовых. «Папа, – отвечала Лиза, – я приму их, если это вам угодно, только с уговором: как бы я перед ними ни явилась, что б я ни сделала, вы бранить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия». – «Опять какие-нибудь проказы! – сказал смеясь Григорий Иванович. – Ну, хорошо, хорошо; согласен, делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словом он поцеловал ее в лоб, и Лиза побежала приготовляться.

В два часа ровно коляска домашней работы, запряженная шестью лошадьми, въехала на двор и покатила около густо-зеленого дернового круга. Старый Берестов взошел на крыльцо с помощью двух ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана; он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался, и хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.

Возвратясь в гостиную, они уселись втроем: старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее, и вследствие сего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такою гордою небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы, вошла старая мисс Жаксон, набеленая, затаяная, с потупленными глазами и с маленьким книксом, и прекрасное военное движение Алексея пропало втуне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали; отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы... Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурмлена пуще самой мисс Жаксон; фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV; рукава à l'imbécile⁸ торчали как фижмы у Madame de Pompadour⁹; талия была перетянута, как буква икс, и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадою ему последовал; когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку, с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего

⁸ По-дурачки (фасон узких рукавов с пуфами у плеча) (франц.).

⁹ (У) госпожи де Помпадур (франц.).

сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления; но шалость его дочери казалась ему так забавна, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что сурьма и белила были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает.

Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы, нараспев, и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя всё это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома: ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал.

Наконец встали из-за стола; гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их? – спросил он Лизу. – А знаешь ли что? Белила, право, тебе пристали; не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоём месте я бы стал белиться; разумеемся не слишком, а слегка». Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете, и побежала умиловать раздраженную мисс Жаксон, которая насилу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдания. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою; она не смела просить... она была уверена, что добрая, милая мисс Жаксон простит ей... и проч., и проч. Мисс Жаксон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее насмех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности.

Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роше свиданий. «Ты был, барин, вечер у наших господ? – сказала она тотчас Алексею, – какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он ее не заметил. «Жаль», – возразила Лиза. «А почему же?» – спросил Алексей. «А потому, что я хотела бы спросить у тебя, правда ли, говорят...» – «Что же говорят?» – «Правда ли, говорят, будто бы я на барышню похожа?» – «Какой вздор! Она перед тобой урод уродом». – «Ах, барин, грех тебе это говорить; барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с нею равняться!» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень, и, чтоб успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. «Однако ж, – сказала она со вздохом, – хоть барышня, может, и смешна, всё же я перед нею дура безграмотная». – «И! – сказал Алексей, – есть о чем сокрушаться! Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте». – «А взаправду, – сказала Лиза, – не попытаться ли в самом деле?» – «Изволь, милая; начнем хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку, и Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать; сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что за чудо! – говорил Алексей. – Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе». В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам «Наталью, боярскую дочь», прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист измарала афоризмами, выбранными из той же повести.

Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма, и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина видимо привыкала к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался.

Между тем, недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорьем Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу, вот по каким обстоятельствам: Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича всё его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу; что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии, и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство (или, по его выражению, английскую дурь), однако ж не отрицал в нем и многих отличных достоинств, например: редкой оборотливости; Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному; граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский (так думал Иван Петрович) вероятно обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали всё это каждый про себя, что наконец друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать, и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение: уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось они друг другу не очень нравились; по крайней мере Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостоивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякой день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время всё сладит.

Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку, и немного помолчав, сказал: «Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Иль гусарский мундир уже тебя не прельщает!» – «Нет, батюшка, – отвечал почтительно Алексей, – я вижу, что вам не угодно, чтоб я шел в гусары; мой долг вам повиноваться». – «Хорошо, – отвечал Иван Петрович, – вижу, что ты послушный сын; это мне утешительно; не хочу ж и я тебя неволить; не понуждаю тебя вступить... тотчас... в статскую службу; а покамест намерен я тебя женить».

– На ком это, батюшка? – спросил изумленный Алексей.

– На Лизавете Григорьевне Муромской, – отвечал Иван Петрович, – невеста хоть куда; не правда ли?

– Батюшка, я о женитьбе еще не думаю.

– Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал.

– Воля ваша. Лиза Муромская мне вовсе не нравится.

– После понравится. Стерпится, слюбится.

– Я не чувствую себя способным сделать ее счастье.

– Не твое горе – ее счастье. Что? Так-то ты считаешь волю родительскую? Добро!

– Как вам угодно, я не хочу жениться и не женюсь.

– Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят! продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю. Даю тебе три дня на размышление, а покамест не смей на глаза мне показаться.

Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь; но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим, и наконец об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен; романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сем решительном поступке, тем более находил в нем благоразумия. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им гибели, и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту, в дупло, и лег спать весьма довольный собою.

На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» – спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом прилучинского замка. «Никак нет, – отвечал слуга, – Григорий Иванович с утра изволил выехать». – «Как досадно!» – подумал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Лизавета Григорьевна?» – «Дома-с». И Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки лакею и пошел без доклада.

«Все будет решено, – думал он, подходя к гостиной, – объяснюсь с нею самою». – Он вошел... и остолбенел! Лиза... нет, Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платице, сидела перед окном и читала его письмо; она так была занята, что не слышала, как он и вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина, Акулина!..» Лиза старалась от него освободиться... «*Mais laissez-moi donc, monsieur; mais êtes-vous fou?*»¹⁰ – повторяла она, отворачиваясь. «Акулина! друг мой, Акулина!» – повторял он, целуя ее руки. Мисс Жаксон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел.

– Ага! – сказал Муромский, – да у вас, кажется, дело совсем уже слажено...

Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.

1830

¹⁰ Оставьте же меня, сударь; с ума вы сошли? (франц.)

Иван Тургенев

Ася

I

— Мне было тогда лет двадцать пять, — начал Н. И., — дела давно минувших дней, как видите. Я только что вырвался на волю и уехал за границу, не для того, чтобы «кончить мое воспитание», как говаривалось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир божий. Я был здоров, молод, весел, деньги у меня не переводились, заботы еще не успели завестись — я жил без оглядки, делал что хотел, процветал, одним словом. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение и процветать ему долго нельзя. Молодость ест пряники золоченые, да и думает, что это-то и есть хлеб насущный; а придет время — и хлебца напрочишься. Но толковать об этом не для чего.

Я путешествовал без всякой цели, без плана; останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица — именно лица. Меня занимали исключительно одни люди; я ненавидел любопытные памятники, замечательные собрания, один вид лон-лакея возбуждал во мне ощущение тоски и злобы; я чуть с ума не сошел в дрезденском «Грюне Гевёлбе». Природа действовала на меня чрезвычайно, но я не любил так называемых ее красот, необыкновенных гор, утесов, водопадов; я не любил, чтобы она навязывалась мне, чтобы она мне мешала. Зато лица, живые, человеческие лица — речи людей, их движения, смех — вот без чего я обойтись не мог. В толпе мне было всегда особенно легко и отрадно; мне было весело идти, куда шли другие, кричать, когда другие кричали, и в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат. Меня забавляло наблюдать людей... да я даже не наблюдал их — я их рассматривал с каким-то радостным и ненасытным любопытством. Но я опять сбиваюсь в сторону.

Итак, лет двадцать тому назад я проживал в немецком небольшом городке З., на левом берегу Рейна. Я искал уединения: я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на водах. Она была очень хороша собой и умна, кокетничала со всеми — и со мною, грешным, — сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту. Признаться сказать, рана моего сердца не очень была глубока; но я почел долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству — чем молодость не тешится! — и поселился в З.

Городок этот мне понравился своим местоположением у подошвы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, впадавшей в Рейн, — а главное, своим хорошим вином. По его узким улицам гуляли вечером, тотчас после захождения солнца (дело было в июне), прехорошенькие белокурые немочки и, встретясь с иностранцем, произносили приятным голоском: «Guten Abend!»¹¹ — а некоторые из них не уходили даже и тогда, когда луна поднималась из-за острых крыш стареньких домов и мелкие камешки мостовой четко рисовались в ее неподвижных лучах. Я любил бродить тогда по городу; луна, казалось, пристально глядела на него с чистого неба; и город чувствовал этот взгляд и стоял чутко и мирно, весь облитый ее светом, этим безмятежным и в то же время тихо душу волнующим светом. Петух на высокой готической колокольне блестел бледным золотом;

¹¹ «Добрый вечер!» (нем.).

таким же золотом переливались струйки по черному глянцу речки; тоненькие свечки (немец бережлив!) скромно теплились в узких окнах под грифельными кровлями; виноградные лозы таинственно высовывали свои завитые усики из-за каменных оград; что-то пробегало в тени около старинного колодца на трехугольной площади, внезапно раздавался сонливый свисток ночного сторожа, добродушная собака ворчала вполголоса, а воздух так и ластился к лицу, и липы пахли так сладко, что грудь поневоле все глубже и глубже дышала, и слово: «Гретхен» – не то восклицание, не то вопрос – так и просилось на уста.

Городок З. лежит в двух верстах от Рейна. Я часто ходил смотреть на величавую реку и, не без некоторого напряжения мечтая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким огромным ясенем. Маленькая статуя мадонны с почти детским лицом и красным сердцем на груди, пронзенным мечами, печально выглядывала из его ветвей. На противоположном берегу находился городок Л., немного побольше того, в котором я поселился. Однажды вечером сидел я на своей любимой скамье и глядел то на реку, то на небо, то на виноградники. Передо мною белоголовые мальчишки карабкались по бокам лодки, вытасненной на берег и опрокинутой намоленным брюхом кверху. Кораблики тихо бежали на слабо надувшихся парусах, зеленоватые волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая и урча. Вдруг донеслись до меня звуки музыки; я прислушался. В городе Л. играли вальс; контрабас гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, флейта свистала бойко.

– Что это? – спросил я у подошедшего ко мне старика в плисовом жилете, синих чулках и башмаках с пряжками.

– Это, – отвечал он мне, предварительно передвинув мундштук своей трубки из одного угла губ в другой, – студенты приехали из Б. на коммерш.

«А посмотрю-ка я на этот коммерш, – подумал я, – кстати же я в Л. не бывал». Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону.

II

Может быть, не всякий знает, что такое «коммерш». Это особенного рода торжественный пир, на который сходятся студенты одной земли, или братства (Landsmannschaft). Почти все участники в коммерше носят издавна установленный костюм немецких студентов: венгерки, большие сапоги и маленькие шапочки с околышами известных цветов. Собираются студенты обыкновенно к обеду под председательством сениора, то есть старшины, – и пируют до утра, пьют, поют песни, Landesvater, Gaudeamus, курят, бранят филистеров; иногда они нанимают оркестр.

Такой точно коммерш происходил в г. Л. перед небольшой гостиницей под вывескою Солнца, в саду, выходящем на улицу. Над самой гостиницей и над садом веяли флаги; студенты сидели за столами под обстриженными липками; огромный бульдог лежал под одним из столов; в стороне, в беседке из плюща, помещались музыканты и усердно играли, то и дело подкрепляя себя пивом. На улице, перед низкой оградой сада, собралось довольно много народа: добрые граждане городка Л. не хотели пропустить случая поглазеть на заезжих гостей. Я тоже вмешался в толпу зрителей. Мне было весело смотреть на лица студентов; их объятия, восклицания, невинное кокетничанье молодости, горящие взгляды, смех без причины – лучший смех на свете – все это радостное кипение жизни юной, свежей, этот порыв вперед – куда бы то ни было, лишь бы вперед, – это добродушное раздолье меня трогало и поджигало. «Уж не пойти ли к ним?» – спрашивал я себя...

– Ася, довольно тебе? – вдруг произнес за мною мужской голос по-русски.

– Подождем еще, – отвечал другой, женский голос на том же языке.

Я быстро обернулся... Взор мой упал на красивого молодого человека в фуражке и широкой куртке; он держал под руку девушку невысокого роста, в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица.

– Вы русские? – сорвалось у меня невольно с языка.

Молодой человек улыбнулся и промолвил:

– Да, русские.

– Я никак не ожидал... в таком захолустье, – начал было я.

– И мы не ожидали, – перебил он меня, – что ж? тем лучше. Позвольте рекомендоваться: меня зовут Гагиным, а вот это моя... – он запнулся на мгновение, – моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?

Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя, так же как я, для своего удовольствия, неделю тому назад заехал в городок Л., да и застрял в нем. Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, покрою платья, а главное, по выражению их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости... Человек внезапно настораживался весь, глаз беспокойно бегал... «Батюшки мои! не соврал ли я, не смеются ли надо мною», – казалось, говорил этот уторможенный взгляд... Проходило мгновение – и снова восстанавливалось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоумением. Да, я избегал русских, но Гагин мне понравился тотчас. Есть на свете такие счастливые лица: глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо, милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что, даже не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается.

Девушка, которую он назвал своей сестрою, с первого взгляда показалась мне очень милостивой. Было что-то свое, особенное, в складе ее смугловатого круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными, светлыми глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита. Она нисколько не походила на своего брата.

– Хотите вы зайти к нам? – сказал мне Гагин, – кажется, довольно мы насмотрелись на немцев. Наши бы, правда, стекла разбили и поломали стулья, но эти уж больно скромны. Как ты думаешь, Ася, пойти нам домой?

Девушка утвердительно качнула головой.

– Мы живем за городом, – продолжал Гагин, – в винограднике, в одиноком домишке, высоко. У нас славно, посмотрите. Хозяйка обещала приготовить нам кислого молока. Теперь же скоро стемнеет, и вам лучше будет переезжать Рейн при луне.

Мы отправились. Чрез низкие ворота города (старинная стена из булыжника окружала его со всех сторон, даже бойницы не все еще обрушились) мы вышли в поле и, пройдя шагов сто вдоль каменной ограды, остановились перед узенькой калиткой. Гагин отворил ее и повел нас в гору по крутой тропинке. С обеих сторон, на уступах, рос виноград; солнце только что село, и алый тонкий свет лежал на зеленых лозах, на высоких тычинках, на сухой земле, усеянной сплошь крупным и мелким плитняком, и на белой стене небольшого домика, с косыми черными перекладинами и четырьмя светлыми окошками, стоявшего на самом верху горы, по которой мы взбирались.

– Вот и наше жилище! – воскликнул Гагин, как только мы стали приближаться к домику, – а вот и хозяйка несет молоко. Guten Abend, Madame!.. Мы сейчас примем за еду; но прежде, – прибавил он, – оглянитесь... каков вид?

Вид был, точно, чудесный. Рейн лежал перед нами весь серебряный, между зелеными берегами; в одном месте он горел багряным золотом заката. Приютившийся к берегу городок показывал все свои дома и улицы; широко разбегались холмы и поля. Внизу было хорошо, но наверху еще лучше: меня особенно поразила чистота и глубина неба, сияющая прозрачность

воздуха. Свежий и легкий, он тихо колыхался и перекатывался волнами, словно и ему было раздольнее на высоте.

– Отличную вы выбрали квартиру, – промолвил я.

– Это Ася ее нашла, – отвечал Гагин, – ну-ка, Ася, – продолжал он, – распорядись. Вели все сюда подать. Мы станем ужинать на воздухе. Тут музыка слышнее. Заметили ли вы, – прибавил он, обратясь ко мне, – вблизи иной вальс никуда не годится – пошлые, грубые звуки, – а в отдаленье, чудо! так и шевелит в вас все романтические струны.

Ася (собственное имя ее было Анна, но Гагин называл ее Асей, и уж вы позвольте мне ее так называть) – Ася отправилась в дом и скоро вернулась вместе с хозяйкой. Они вдвоем несли большой поднос с горшком молока, тарелками, ложками, сахаром, ягодами, хлебом. Мы уселись и принялись за ужин. Ася сняла шляпу; ее черные волосы, остриженные и причесанные, как у мальчика, падали крупными завитками на шею и уши. Сначала она дичилась меня; но Гагин сказал ей:

– Ася, полно ежиться! он не кусается.

Она улыбнулась и немного спустя уже сама заговаривала со мной. Я не видал существа более подвижного. Ни одно мгновение она не сидела смирно; вставала, убегала в дом и прибежала снова, напевала вполголоса, часто смеялась, и прстранным образом: казалось, она смеялась не тому, что слышала, а разным мыслям, приходившим ей в голову. Ее большие глаза глядели прямо, светло, смело, но иногда веки ее слегка щурились, и тогда взор ее внезапно становился глубок и нежен.

Мы проболтали часа два. День давно погас, и вечер, сперва весь огнистый, потом ясный и алый, потом бледный и смутный, тихо таял и переливался в ночь, а беседа наша все продолжалась, мирная и кроткая, как воздух, окружавший нас. Гагин велел принести бутылку рейнвейна; мы ее рбспили не спеша. Музыка по-прежнему долетала до нас, звуки ее казались слаще и нежнее; огни зажглись в городе и над рекою. Ася вдруг опустила голову, так что кудри ей на глаза упали, замолкла и вздохнула, а потом сказала нам, что хочет спать, и ушла в дом; я, однако, видел, как она, не зажигая свечи, долго стояла за нераскрытым окном. Наконец луна встала и заиграла по Рейну; все осветилось, потемнело, изменилось, даже вино в наших граненых стаканах заблестело таинственным блеском. Ветер упал, точно крылья сложил, и замер; ночным, душистым теплом повеяло от земли.

– Пора! – воскликнул я, – а то, пожалуй, перевозчика не сыщешь.

– Пора, – повторил Гагин.

Мы пошли вниз по тропинке. Камни вдруг посыпались за нами: это Ася нас догоняла.

– Ты разве не спишь? – спросил ее брат, но она, не ответив ему ни слова, пробежала мимо.

Последние умиравшие площадки, зажженные студентами в саду гостиницы, освещали снизу листья деревьев, что придавало им праздничный и фантастический вид. Мы нашли Асю у берега: она разговаривала с перевозчиком. Я прыгнул в лодку и простился с новыми моими друзьями. Гагин обещал навестить меня на следующий день; я пожал его руку и протянул свою Асе; но она только посмотрела на меня и покачала головой. Лодка отчалила и понеслась по быстрой реке. Первозчик, бодрый старик, с напряжением погружал весла в темную воду.

– Вы в лунный столб въехали, вы его разбили, – закричала мне Ася.

Я опустил глаза; вокруг лодки, чернея, колыхались волны.

– Прощайте! – раздался опять ее голос.

– До завтра, – проговорил за нею Гагин.

Лодка причалила. Я вышел и оглянулся. Никого уж не было видно на противоположном берегу. Лунный столб опять тянулся золотым мостом через всю реку. Словно на прощание примчались звуки старинного ланнеровского вальса. Гагин был прав: я почувствовал, что все струны сердца моего задрожали в ответ на те заискивающие напевы. Я отправился домой через потемневшие поля, медленно вдыхая пахучий воздух, и пришел в свою комнатку весь разне-

женный сладостным томлением беспредметных и бесконечных ожиданий. Я чувствовал себя счастливым... Но отчего я был счастлив? Я ничего не желал, я ни о чем не думал... Я был счастлив.

Чуть не смеясь от избытка приятных и игривых чувств, я нырнул в постель и уже закрыл было глаза, как вдруг мне пришло на ум, что в течение вечера я ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице... «Что же это значит? – спросил я самого себя. – Разве я не влюблен?» Но, задав себе этот вопрос, я, кажется, немедленно заснул, как дитя в колыбели.

III

На другое утро (я уже проснулся, но еще не вставал) стук палки раздался у меня под окном, и голос, который я тотчас признал за голос Гагина, запел:

Ты спишь ли? Гитарой
Тебя разбужу...

Я поспешил ему отворить дверь.

– Здравствуйте, – сказал Гагин, входя, – я вас раненько потревожил, но посмотрите, какое утро. Свежесть, роса, жаворонки поют...

С своими курчавыми блестящими волосами, открытой шеей и розовыми щеками он сам был свеж, как утро.

Я оделся; мы вышли в садик, сели на лавочку, велели подать себе кофе и принялись беседовать. Гагин сообщил мне свои планы на будущее: владея порядочным состоянием и ни от кого не завися, он хотел посвятить себя живописи и только сожалел о том, что поздно хватился за ум и много времени потратил по-пустому; я также упомянул о моих предположениях, да, кстати, поверил ему тайну моей несчастной любви. Он выслушал меня с снисхождением, но, сколько я мог заметить, сильного сочувствия к моей страсти я в нем не возбудил. Вздохнувши вслед за мной раза два из вежливости, Гагин предложил мне пойти к нему посмотреть его этюды. Я тотчас согласился.

Мы не застали Асю. Она, по словам хозяйки, отправилась на «развалину». Верстах в двух от города Л. находились остатки феодального замка. Гагин раскрыл мне все свои картоны. В его этюдах было много жизни и правды, что-то свободное и широкое; но ни один из них не был окончен, и рисунок показался мне небрежен и неверен. Я откровенно высказал ему мое мнение.

– Да, да, – подхватил он со вздохом, – вы правы; все это очень плохо и незрело, что делать! Не учился я как следует, да и проклятая славянская распущенность берет свое. Пока мечтаешь о работе, так и паришь орлом: землю, кажется, сдвинул бы с места – а в исполнении тотчас слабеешь и устаешь.

Я начал было ободрять его, но он махнул рукой и, собравши картоны в охапку, бросил их на диван.

– Коли хватит терпенья, из меня выйдет что-нибудь, – промолвил он сквозь зубы, – не хватит, останусь недорослем из дворян. Пойдемте-ка лучше Асю отыскивать.

Мы пошли.

IV

Дорога к развалине вилась по скату узкой лесистой долины; на дне ее бежал ручей и шумно прыдал через камни, как бы торопясь слиться с великой рекой, спокойно сиявшей за темной гранью круто рассеченных горных гребней. Гагин обратил мое внимание на некоторые

счастливо освещенные места; в словах его слышался если не живописец, то уж наверное художник. Скоро показалась развалина. На самой вершине голой скалы возвышалась четырехугольная башня, вся черная, еще крепкая, но словно разрубленная продольной трещиной. Мшистые стены примыкали к башне; кой-где лепился плющ; искривленные деревья свешивались с седых бойниц и рухнувших сводов. Каменистая тропинка вела к уцелевшим воротам. Мы уже подходили к ним, как вдруг впереди нас мелькнула женская фигура, быстро перебежала по груде обломков и поместилась на уступе стены, прямо над пропастью.

– А ведь это Ася! – воскликнул Гагин, – экая сумасшедшая!

Мы вошли в ворота и очутились на небольшом дворике, до половины заросшем дикими яблонями и крапивой. На уступе сидела, точно, Ася. Она повернулась к нам лицом и засмеялась, но не тронулась с места. Гагин погрозил ей пальцем, а я громко упрекнул ее в неосторожности.

– Полноте, – сказал мне шепотом Гагин, – не дразните ее; вы ее не знаете: она, пожалуй, еще на башню взберется. А вот вы лучше подивитесь смышленности здешних жителей.

Я оглянулся. В уголке, приютившись в крошечном деревянном балаганчике, старушка вязала чулок и косилась на нас чрез очки. Она продавала туристам пиво, пряники и зельтерскую воду. Мы уместились на лавочке и принялись пить из тяжелых оловянных кружек довольно холодное пиво. Ася продолжала сидеть неподвижно, подобрав под себя ноги и закутав голову кисейным шарфом; стройный облик ее отчетливо и красиво рисовался на ясном небе; но я с неприятным чувством поглядывал на нее. Уже накануне заметил я в ней что-то напряженное, не совсем естественное... «Она хочет удивить нас, – думал я, – к чему это? Что за детская выходка?» Словно угадавши мои мысли, она вдруг бросила на меня быстрый и пронзительный взгляд, засмеялась опять, в два прыжка соскочила со стены и, подойдя к старушке, попросила у ней стакан воды.

– Ты думаешь, я хочу пить? – промолвила она, обратившись к брату, – нет; тут есть цветы на стенах, которые непременно полить надо.

Гагин ничего не отвечал ей; а она, с стаканом в руке, пустилась карабкаться по развалинам, изредка останавливаясь, наклоняясь и с забавной важностью роняя несколько капель воды, ярко блестящих на солнце. Ее движенья были очень милы, но мне по-прежнему было досадно на нее, хотя я невольно любовался ее легкостью и ловкостью. На одном опасном месте она нарочно вскрикнула и потом захохотала... Мне стало еще досаднее.

– Да она как коза лазит, – пробормотала себе под нос старушка, оторвавшись на мгновение от своего чулка.

Наконец Ася опорожнила весь свой стакан и, шаловливо покачиваясь, возвратилась к нам. Странная усмешка слегка подергивала ее брови, ноздри и губы; полудержко, полувесело щурились темные глаза.

«Вы находите мое поведение неприличным, – казалось, говорило ее лицо, – все равно: я знаю, вы мной любуетесь».

– Искусно, Ася, искусно, – промолвил Гагин вполголоса.

Она вдруг как будто застыдилась, опустила свои длинные ресницы и скромно под села к нам, как виноватая. Я тут в первый раз хорошенько рассмотрел ее лицо, самое изменчивое лицо, какое я только видел. Несколько мгновений спустя оно уже все побледнело и приняло сосредоточенное, почти печальное выражение; самые черты ее мне показались больше, строже, проще. Она вся затихла. Мы обошли развалину кругом (Ася шла за нами следом) и полюбовались видами. Между тем час обеда приближался. Расплачиваясь со старушкой, Гагин спросил еще кружку пива и, обернувшись ко мне, воскликнул с лукавой ужимкой:

– За здоровье дамы вашего сердца!

– А разве у него, – разве у вас есть такая дама? – спросила вдруг Ася.

– Да у кого же ее нет? – возразил Гагин.

Ася задумалась на мгновение; ее лицо опять изменилось, опять появилась на нем вызывающая, почти дерзкая усмешка.

На возвратном пути она пуще хохотала и шалила. Она сломала длинную ветку, положила ее к себе на плечо, как ружье, повязала себе голову шарфом. Помнится, нам встретилась многочисленная семья белокурых и чопорных англичан; все они, словно по команде, с холодным изумлением проводили Асю своими стеклянными глазами, а она, как бы им назло, громко запела. Воротясь домой, она тотчас ушла к себе в комнату и появилась только к самому обеду, одетая в лучшее свое платье, тщательно причесанная, перетянутая и в перчатках. За столом она держалась очень чинно, почти чопорно, едва отведывала кушанья и пила воду из рюмки. Ей явно хотелось разыграть передо мною новую роль – роль приличной и благовоспитанной барышни. Гагин не мешал ей: заметно было, что он привык потакать ей во всем. Он только по временам добродушно взглядывал на меня и слегка пожимал плечом, как бы желая сказать: «Она ребенок; будьте снисходительны». Как только кончился обед, Ася встала, сделала нам книксен и, надевая шляпу, спросила Гагина: можно ли ей пойти к фрау Луизе?

– Давно ли ты стала спрашиваться? – отвечал он с своей неизменной, на этот раз несколько смущенной улыбкой, – разве тебе скучно с нами?

– Нет, но я вчера еще обещала фрау Луизе побывать у ней; притом же я думала, вам будет лучше вдвоем: господин Н. (она указала на меня) что-нибудь еще тебе расскажет.

Она ушла.

– Фрау Луизе, – начал Гагин, стараясь избегать моего взора, – вдова бывшего здешнего бургомистра, добрая, впрочем, пустая старушка. Она очень полюбила Асю. У Аси страсть знакомиться с людьми круга низшего; я заметил: причиною этому всегда бывает гордость. Она у меня порядком избалована, как видите, – прибавил он, помолчав немного, – да что прикажете делать? Взыскивать я ни с кого не умею, а с нее и подавно. Я *обязан* быть снисходительным с нею.

Я промолчал. Гагин переменял разговор. Чем больше я узнавал его, тем сильнее я к нему привязывался. Я скоро его понял. Это была прямо русская душа, правдивая, честная, простая, но, к сожалению, немного вялая, без цепкости и внутреннего жара. Молодость не кипела в нем ключом; она светилась тихим светом. Он был очень мил и умен, но я не мог себе представить, что с ним станется, как только он возмужает. Быть художником... Без горького, постоянного труда не бывает художников... а трудиться, думал я, глядя на его мягкие черты, слушая его неспешную речь, – нет! трудиться ты не будешь, сжаться ты не сумеешь. Но не полюбить его не было возможности: сердце так и влеклось к нему. Часа четыре провели мы вдвоем, то сидя на диване, то медленно расхаживая перед домом; и в эти четыре часа сошлись окончательно.

Солнце село, и мне уже пора было идти домой. Ася все еще не возвращалась.

– Экая она у меня вольница! – промолвил Гагин. – Хотите, я пойду провожать вас? Мы по пути завернем к фрау Луизе; я спрошу, там ли она? Крюк невелик.

Мы спустились в город и, свернув в узкий, кривой переулочек, остановились перед домом в два окна шириною и вышиною в четыре этажа. Второй этаж выступал на улицу больше первого, третий и четвертый еще больше второго; весь дом с своей ветхой резьбой, двумя толстыми столбами внизу, острой черепичной кровлей и протянутым в виде клюва воротом на чердаке казался огромной, сторбленной птицей.

– Ася! – крикнул Гагин, – ты здесь?

Освещенное окошко в третьем этаже стукнуло и отворилось, и мы увидели темную головку Аси. Из-за нее выглядывало беззубое и подслеповатое лицо старой немки.

– Я здесь, – проговорила Ася, кокетливо опершись локтями на оконницу, – мне здесь хорошо. На тебе, возьми, – прибавила она, бросая Гагину ветку гераниума, – вообрази, что я дама твоего сердца.

Фрау Луизе засмеялась.

– Н. уходит, – возразил Гагин, – он хочет с тобой проститься.

– Будто? – промолвила Ася, – в таком случае дай ему мою ветку, а я сейчас вернусь.

Она захлопнула окно и, кажется, поцеловала фрау Луизе. Гагин протянул мне молча ветку. Я молча положил ее в карман, дошел до перевоза и перебрался на другую сторону.

Помнится, я шел домой, ни о чем не размышляя, но с странной тяжестью на сердце, как вдруг меня поразил сильный, знакомый, но в Германии редкий запах. Я остановился и увидел возле дороги небольшую грядку конопли. Ее степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней. Мне захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле. «Что я здесь делаю, зачем таскаюсь я в чужой стороне, между чужими?» – воскликнул я, и мертвенная тяжесть, которую я ощущал на сердце, разрешилась внезапно в горькое и жгучее волнение. Я пришел домой совсем в другом настроении духа, чем накануне. Я чувствовал себя почти рассерженным и долго не мог успокоиться. Непонятная мне самому досада меня разбирала. Наконец я сел и, вспомнив о своей коварной вдове (официальным воспоминанием об этой даме заключался каждый мой день), достал одну из ее записок. Но я даже не раскрыл ее; мысли мои тотчас приняли иное направление. Я начал думать... думать об Асе. Мне пришло в голову, что Гагин в течение разговора намекнул мне на какие-то затруднения, препятствующие его возвращению в Россию... «Полно, сестра ли она его?» – произнес я громко.

Я разделся, лег и старался заснуть; но час спустя я опять сидел в постели, облокотившись локтем на подушку, и снова думал об этой «капризной девочке с натянутым смехом...» «Она сложена, как маленькая рафаэлевская Галатея в Фарнезине, – шептал я, – да; и она ему не сестра...»

А записка вдовы преспокойно лежала на полу, белея в лучах луны.

V

На следующее утро я опять пошел в Л. Я уверял себя, что мне хочется повидаться с Гагиным, но втайне меня тянуло посмотреть, что станет делать Ася, так же ли она будет «чудить», как накануне. Я застал обоих в гостиной, и, странное дело! – оттого ли, что я ночью и утром много размышлял о России, – Ася показалась мне совершенно русской девушкой, да, простою девушкой, чуть не горничной. На ней было старенькое платьице, волосы она зачесала за уши и сидела, не шевелясь, у окна да шила в пальцах, скромно, тихо, точно она век свой ничем другим не занималась. Она почти ничего не говорила, спокойно посматривала на свою работу, и черты ее приняли такое незначительное, будничное выражение, что мне невольно вспомнились наши доморощенные Кати и Маши. Для довершения сходства она принялась напевать вполголоса «Магушку, голубушку». Я глядел на ее желтоватое, угасшее личико, вспоминал о вчерашних мечтаниях, и жаль мне было чего-то. Погода была чудесная. Гагин объявил нам, что пойдет сегодня рисовать этюд с натуры; я спросил его, позволит ли он мне провожать его, не помешаю ли ему?

– Напротив, – возразил он, – вы мне можете хороший совет дать.

Он надел круглую шляпу *a la Van Dyck*¹², блузу, взял картон под мышку и отправился; я поплелся вслед за ним. Ася осталась дома. Гагин, уходя, просил ее позаботиться о том, чтобы суп был не слишком жидок: Ася обещалась побывать на кухне. Гагин добрался до знакомой уже мне долины, присел на камень и начал срисовывать старый дуплистый дуб с раскидистыми сучьями. Я лег на траву и достал книжку; но я двух страниц не прочел, а он только бумагу измарал; мы все больше рассуждали и, сколько я могу судить, довольно умно и тонко рассуждали о том, как именно должно работать, чего следует избегать, чего придерживаться и какое

¹² В стиле Ван Дейка (*фр.*).

собственно значение художника в наш век. Гагин, наконец, решил, что он «сегодня не в ударе», лег рядом со мною, и уж тут свободно потекли молодые наши речи, то горячие, то задумчивые, то восторженные, но почти всегда неясные речи, в которых так охотно разливается русский человек. Наболтавшись досыта и наполнившись чувством удовлетворения, словно мы что-то сделали, успели в чем-то, вернулись мы домой. Я нашел Асю точно такую же, какую я ее оставил; как я ни старался наблюдать за нею – ни тени кокетства, ни признака намеренно принятой роли я в ней не заметил; на этот раз не было возможности упрекнуть ее в неестественности.

– А-га! – говорил Гагин, – пост и покаяние на себя наложила.

К вечеру она несколько раз непритворно зевнула и рано ушла к себе. Я сам скоро простился с Гагиным и, возвратившись домой, не мечтал уже ни о чем: этот день прошел в трезвых ощущениях. Помнится, однако, ложась спать, я невольно промолвил вслух:

– Что за хамелеон эта девушка! – и, подумав немного, прибавил: – А все-таки она ему не сестра.

VI

Прошли целые две недели. Я каждый день посещал Гагиных. Ася словно избегала меня, но уже не позволяла себе ни одной из тех шалостей, которые так удивили меня в первые два дня нашего знакомства. Она казалась втайне огорченной или смущенной; она и смеялась меньше. Я с любопытством наблюдал за ней.

Она довольно хорошо говорила по-французски и по-немецки; но по всему было заметно, что она с детства не была в женских руках и воспитание получила странное, необычное, не имевшее ничего общего с воспитанием самого Гагина. От него, несмотря на его шляпу *a la Van Dyck* и блузу, так и веяло мягким, полуизнеженным, великорусским дворянином, а она не походила на барышню; во всех ее движениях было что-то беспокойное: этот дичок недавно был привит, это вино еще бродило. По природе стыдливая и робкая, она досадовала на свою застенчивость и с досады насильственно старалась быть развязной и смелой, что ей не всегда удавалось. Я несколько раз заговаривал с ней об ее жизни в России, об ее прошедшем: она неохотно отвечала на мои расспросы; я узнал, однако, что до отъезда за границу она долго жила в деревне. Я застал ее раз за книгой, одну. Опершись головой на обе руки и запустив пальцы глубоко в волосы, она пожирала глазами строки.

– Bravo! – сказал я, подойдя к ней, – как вы прилежны!

Она приподняла голову, важно и строго посмотрела на меня.

– Вы думаете, я только смеяться умею, – промолвила она и хотела удалиться...

Я взглянул на заглавие книги: это был какой-то французский роман.

– Однако я ваш выбор похвалить не могу, – заметил я.

– Что же читать! – воскликнула она и, бросив книгу на стол, прибавила: – Так лучше пойду дурачиться, – и побежала в сад.

В тот же день, вечером, я читал Гагину «Германа и Доротею». Ася сперва все только шныряла мимо нас, потом вдруг остановилась, приникла ухом, тихонько подседа ко мне и прослушала чтение до конца. На следующий день я опять не узнал ее, пока не догадался, что ей вдруг вошло в голову: быть домовитой и степенной, как Доротея. Словом, она являлась мне полузагадочным существом. Самолюбивая до крайности, она привлекала меня, даже когда я сердился на нее. В одном только я более и более убеждался, а именно в том, что она не сестра Гагина. Он обходился с нею не по-братски: слишком ласково, слишком снисходительно и в то же время несколько принужденно.

Странный случай, по-видимому, подтвердил мои подозрения.

Однажды вечером, подходя к винограднику, где жили Гагины, я нашел калитку запертою. Недолго думавши, добрался я до одного обрушенного места в ограде, уже прежде замеченного

мною, и перескочил через нее. Недалеко от этого места, в стороне от дорожки, находилась небольшая беседка из акаций; я поравнялся с нею и уже прошел было мимо... Вдруг меня поразил голос Аси, с жаром и сквозь слезы произносивший следующие слова:

– Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя, нет, нет, одного тебя я хочу любить – и навсегда.

– Полно, Ася, успокойся, – говорил Гагин, – ты знаешь, я тебе верю.

Голоса их раздавались в беседке. Я увидел их обоих сквозь негустой переплет ветвей. Они меня не заметили.

– Тебя, тебя одного, – повторила она, бросилась ему на шею и с судорожными рыданиями начала целовать его и прижиматься к его груди.

– Полно, полно, – твердил он, слегка проводя рукой по ее волосам.

Несколько мгновений остался я неподвижным... Вдруг я встрепенулся. «Подойти к ним?.. Ни за что!» – сверкнуло у меня в голове. Быстрыми шагами вернулся я к ограде, перескочил через нее на дорогу и чуть не бегом пустился домой. Я улыбался, потирал руки, удивлялся случаю, внезапно подтвердившему мои догадки (я ни на одно мгновение не усомнился в их справедливости), а между тем на сердце у меня было очень горько. «Однако, – думал я, – умеют же они притворяться! Но к чему? Что за охота меня морочить? Не ожидал я этого от него... И что за чувствительное объяснение?»

VII

Я спал дурно и на другое утро встал рано, привязал походную котомочку за спину и, объявив своей хозяйке, чтобы она не ждала меня к ночи, отправился пешком в горы, вверх по течению реки, на которой лежит городок З. Эти горы, отрасли хребта, называемого Собачьей спиной (Hundsrück), очень любопытны в геологическом отношении; в особенности замечательны они правильностью и чистотой базальтовых слоев; но мне было не до геологических наблюдений. Я не отдавал себе отчета в том, что во мне происходило; одно чувство было мне ясно: нежелание видаться с Гагиными. Я уверял себя, что единственной причиной моего внезапного нерасположения к ним была досада на их лукавство. Кто их принуждал выдавать себя за родственников? Впрочем, я старался о них не думать; бродил не спеша по горам и долинам, засиживался в деревенских харчевнях, мирно беседуя с хозяевами и гостями, или ложился на плоский согретый камень и смотрел, как плыли облака, благо погода стояла удивительная. В таких занятиях я провел три дня, и не без удовольствия, – хотя на сердце у меня щемило по временам. Настроение моих мыслей приходилось как раз под стать спокойной природе того края.

Я отдал себя всего тихой игре случайности, набегавшим впечатлениям: неторопливо сменяясь, протекали они по душе и оставили в ней, наконец, одно общее чувство, в котором слилось все, что я видел, ощутил, слышал в эти три дня, – все: тонкий запах смолы по лесам, крик и стук дятлов, немолчная болтовня светлых ручейков с пестрыми форелями на песчаном дне, не слишком смелые очертания гор, хмурые скалы, чистенькие деревеньки с почтенными старыми церквами и деревьями, аисты в лугах, уютные мельницы с проворно вертящимися колесами, радушные лица поселян, их синие камзолы и серые чулки, скрипучие, медлительные возы, запряженные жирными лошадьми, а иногда коровами, молодые длинноволосые странники по чистым дорогам, обсаженным яблонями и грушами...

Даже и теперь мне приятно вспоминать мои тогдашние впечатления. Привет тебе, скромный уголок германской земли, с твоим незатейливым довольством, с повсеместными следами прилежных рук, терпеливой, хотя неспешной работы... Привет тебе и мир!

Я пришел домой к самому концу третьего дня. Я забыл сказать, что с досады на Гагиных я попытался воскресить в себе образ жестокосердой вдовы; но мои усилия остались тщетны.

Помнится, когда я принялся мечтать о ней, я увидел перед собою крестьянскую девочку лет пяти, с круглым любопытным личиком, с невинно выпученными глазенками. Она так детски-простодушно смотрела на меня... Мне стало стыдно ее чистого взора, я не хотел лгать в ее присутствии и тотчас же окончательно и навсегда раскланялся с моим прежним предметом.

Дома я нашел записку от Гагина. Он удивлялся неожиданности моего решения, пенял мне, зачем я не взял его с собою, и просил прийти к ним, как только я вернусь. Я с неудовольствием прочел эту записку, но на другой же день отправился в Л.

VIII

Гагин встретил меня по-приятельски, осыпал меня ласковыми упреками; но Ася, точно нарочно, как только увидела меня, расхохоталась без всякого повода и, по своей привычке, тотчас убежала. Гагин смутился, пробормотал ей вслед, что она сумасшедшая, попросил меня извинить ее. Признаюсь, мне стало очень досадно на Асю; уж и без того мне было не по себе, а тут опять этот неестественный смех, эти странные ужимки. Я, однако, показал вид, будто ничего не заметил, и сообщил Гагину подробности моего небольшого путешествия. Он рассказал мне, что делал в мое отсутствие. Но речи наши не клеились; Ася входила в комнатку и убегала снова; я объявил наконец, что у меня есть спешная работа и что мне пора вернуться домой. Гагин сперва меня удерживал, потом, посмотрев на меня пристально, вызвался провожать меня. В передней Ася вдруг подошла ко мне и протянула мне руку; я слегка пожал ее пальцы и едва поклонился ей. Мы вместе с Гагиным переправились через Рейн и, проходя мимо любимого моего ясеня с статушкой мадонны, присели на скамью, чтобы полюбоваться видом. Замечательный разговор произошел тут между нами.

Сперва мы перекинулись немногими словами, потом замолкли, глядя на светлую реку.

– Скажите, – начал вдруг Гагин, с своей обычной улыбкой, – какого вы мнения об Асе? Не правда ли, она должна казаться вам немного странной?

– Да, – ответил я не без некоторого недоумения. Я не ожидал, что он заговорит о ней.

– Ее надо хорошенько узнать, чтобы о ней судить, – промолвил он, – у ней сердце очень доброе, но голова бедовая. Трудно с нею ладить. Впрочем, ее нельзя винить, и если б вы знали ее историю...

– Ее историю?... – перебил я, – разве она не ваша...

Гагин взглянул на меня.

– Уж не думаете ли вы, что она не сестра мне?... Нет, – продолжал он, не обращая внимания на мое замешательство, – она точно мне сестра, она дочь моего отца. Выслушайте меня. Я чувствую к вам доверие и расскажу вам все.

Отец мой был человек весьма добрый, умный, образованный – и несчастливый. Судьба обошлась с ним не хуже, чем со многими другими; но он и первого удара ее не вынес. Он женился рано, по любви; жена его, моя мать, умерла очень скоро; я остался после нее шести месяцев. Отец увез меня в деревню и целые двенадцать лет не выезжал никуда. Он сам занимался моим воспитанием и никогда бы со мной не расстался, если б брат его, мой родной дядя, не заехал к нам в деревню. Дядя этот жил постоянно в Петербурге и занимал довольно важное место. Он уговорил отца отдать меня к нему на руки, так как отец ни за что не соглашался покинуть деревню. Дядя представил ему, что мальчику моих лет вредно жить в совершенном уединении, что с таким вечно унылым и молчаливым наставником, каков был мой отец, я непременно отстану от моих сверстников, да и самый нрав мой легко может испортиться. Отец долго противился увещаниям своего брата, однако уступил наконец. Я плакал, расставаясь с отцом; я любил его, хотя никогда не видал улыбки на лице его... но, попавши в Петербург, скоро позабыл наше темное и невеселое гнездо. Я поступил в юнкерскую школу, а из школы перешел в гвардейский полк. Каждый год приезжал я в деревню на несколько недель и с каждым годом

находил отца моего все более и более грустным, в себя углубленным, задумчивым до робости. Он каждый день ходил в церковь и почти разучился говорить. В одно из моих посещений (мне уже было лет двадцать с лишком) я в первый раз увидел у нас в доме худенькую черноглазую девочку лет десяти – Асю. Отец сказал, что она сирота и взята им на прокормление – он именно так выразился. Я не обратил особенного внимания на нее; она была дика, проворна и молчалива, как зверек, и как только я входил в любимую комнату моего отца, огромную и мрачную комнату, где скончалась моя мать и где даже днем зажигались свечи, она тотчас пряталась за вольтеровское кресло его или за шкаф с книгами. Случилось так, что в последовавшие за тем три, четыре года обязанности службы помешали мне побывать в деревне. Я получал от отца ежемесячно по короткому письму; об Асе он упоминал редко, и то вскользь. Ему было уже за пятьдесят лет, но он казался еще молодым человеком. Представьте же мой ужас: вдруг я, ничего не подозревавший, получаю от приказчика письмо, в котором он извещает меня о смертельной болезни моего отца и умоляет приехать как можно скорее, если хочу проститься с ним. Я поскакал сломя голову и застал отца в живых, но уже при последнем издыхании. Он обрадовался мне чрезвычайно, обнял меня своими исхудалыми руками, долго поглядел мне в глаза каким-то не то испытующим, не то умоляющим взором и, взяв с меня слово, что я исполню его последнюю просьбу, велел своему старому камердинеру привести Асю. Старик привел ее: она едва держалась на ногах и дрожала всем телом.

– Вот, – сказал мне с усилием отец, – завещаю тебе мою дочь – твою сестру. Ты все узнаешь от Якова, – прибавил он, указав на камердинера.

Ася зарыдала и упала лицом на кровать... Полчаса спустя мой отец скончался.

Вот что я узнал. Ася была дочь моего отца и бывшей горничной моей матери, Татьяны. Живо помню я эту Татьяну, помню ее высокую стройную фигуру, ее благообразное, строгое, умное лицо, с большими темными глазами. Она слыла девушкой гордой и неприступной. Сколько я мог понять из почтительных недомолвок Якова, отец мой сошелся с нею несколько лет спустя после смерти матушки. Татьяна уже не жила тогда в господском доме, а в избе у замужней сестры своей, скотницы. Отец мой сильно к ней привязался и после моего отъезда из деревни хотел даже жениться на ней, но она сама не согласилась быть его женой, несмотря на его просьбы.

– Покойница Татьяна Васильевна, – так докладывал мне Яков, стоя у двери с закинутыми назад руками, – во всем были рассудительны и не захотели батюшку вашего обидеть. Что, мол, я вам за жена? какая я барыня? Так они говорить изволили, при мне говорили-с.

Татьяна даже не хотела переселиться к нам в дом и продолжала жить у своей сестры, вместе с Асей. В детстве я видывал Татьяну только по праздникам, в церкви. Повязанная темным платком, с желтой шалью на плечах, она становилась в толпе, возле окна, – ее строгий профиль четко вырезывался на прозрачном стекле, – и смиренно и важно молилась, кланяясь низко, по-старинному. Когда дядя увез меня, Асе было всего два года, а на девятом году она лишилась матери.

Как только Татьяна умерла, отец взял Асю к себе в дом. Он и прежде изъявлял желание иметь ее при себе, но Татьяна ему и в этом отказала. Представьте же себе, что должно было произойти в Асе, когда ее взяли к барину. Она до сих пор не может забыть ту минуту, когда ей в первый раз надели шелковое платье и поцеловали у ней ручку. Мать, пока была жива, держала ее очень строго; у отца она пользовалась совершенной свободой. Он был ее учителем; кроме его, она никого не видала. Он не баловал ее, то есть не нянчился с нею; но он любил ее страстно и никогда ничего ей не запрещал: он в душе считал себя перед ней виноватым. Ася скоро поняла, что она главное лицо в доме, она знала, что барин ее отец; но она так же скоро поняла свое ложное положение; самолюбие развилось в ней сильно, недоверчивость тоже; дурные привычки укоренились, простота исчезла. Она хотела (она сама мне раз призналась в этом) заставить *целый мир* забыть ее происхождение; она и стыдилась своей матери, и стыдилась

своего стыда, и гордилась ею. Вы видите, что она многое знала и знает, чего не должно бы знать в ее годы... Но разве она виновата? Молодые силы разыгрывались в ней, кровь кипела, а вблизи ни одной руки, которая бы ее направила. Полная независимость во всем! да разве легко ее вынести? Она хотела быть не хуже других барышень; она бросилась на книги. Что тут могло выйти путного? Неправильно начатая жизнь слагалась неправильно, но сердце в ней не испортилось, ум уцелел.

И вот я, двадцатилетний малый, очутился с тринадцатилетней девочкой на руках! В первые дни после смерти отца, при одном звуке моего голоса, ее била лихорадка, ласки мои повергали ее в тоску, и только понемногу, исподволь, привыкла она ко мне. Правда, потом, когда она убедилась, что я точно признаю ее за сестру и полюбил ее, как сестру, она страстно ко мне привязалась: у ней ни одно чувство не бывает вполнину.

Я привез ее в Петербург. Как мне ни больно было с ней расстаться, – жить с ней вместе я никак не мог; я поместил ее в один из лучших пансионатов. Ася поняла необходимость нашей разлуки, но начала с того, что заболела и чуть не умерла. Потом она обтерпелась и выжила в пансионе четыре года; но, против моих ожиданий, осталась почти такою же, какою была прежде. Начальница пансиона часто жаловалась мне на нее. «И наказывать ее нельзя, – говаривала она мне, – и на ласку она не поддается». Ася была чрезвычайно понятлива, училась прекрасно, лучше всех; но никак не хотела подойти под общий уровень, упрячилась, глядела буквой... Я не мог слишком винить ее: в ее положении ей надо было либо прислуживаться, либо дичиться. Из всех своих подружек она сошлась только с одной, некрасивой, загнанной и бедной девушкой. Остальные барышни, с которыми она воспитывалась, большей частью из хороших фамилий, не любили ее, язвили ее и кололи, как только могли; Ася им на волос не уступала. Однажды на уроке из закона божия преподаватель заговорил о пороках. «Лесть и трусость – самые дурные пороки», – громко промолвила Ася. Словом, она продолжала идти своей дорогой; только манеры ее стали лучше, хотя и в этом отношении она, кажется, не много успела.

Наконец ей минуло семнадцать лет; оставаться ей долее в пансионе было невозможно. Я находился в довольно большом затруднении. Вдруг мне пришла благая мысль: выйти в отставку, поехать за границу на год или на два и взять Асю с собою. Задумано – сделано; и вот мы с ней на берегах Рейна, где я стараюсь заниматься живописью, а она... шалит и чудит по-прежнему. Но теперь я надеюсь, что вы не станете судить ее слишком строго; а она хоть и притворяется, что ей все нипочем, – мнением каждого дорожит, вашим же в особенности.

И Гагин опять улыбнулся своей тихой улыбкой. Я крепко стиснул ему руку.

– Все так, – заговорил опять Гагин, – но с нею мне беда. Порох она настоящий. До сих пор ей никто не нравился, но беда, если она кого полюбит! Я иногда не знаю, как с ней быть. На днях она что вздумала: начала вдруг уверять меня, что я к ней стал холоднее прежнего и что она одного меня любит и век будет меня одного любить... И при этом так расплакалась...

– Так вот что... – промолвил было я и прикусил язык.

– А скажите-ка мне, – спросил я Гагина: дело между нами пошло на откровенность, – неужели в самом деле ей до сих пор никто не нравился? В Петербурге видала же она молодых людей?

– Они-то ей и не нравились вовсе. Нет, Асе нужен герой, необыкновенный человек – или живописный пастух в горном ущелье. А впрочем, я заболтался с вами, задержал вас, – прибавил он, вставая.

– Послушайте, – начал я, – пойдете к вам, мне домой не хочется.

– А работа ваша?

Я ничего не отвечал; Гагин добродушно усмехнулся, и мы вернулись в Л. Увидев знакомый виноградник и белый домик на вершине горы, я почувствовал какую-то сладость – именно сладость на сердце: точно мне втихомолку меду туда налили. Мне стало легко после гагинского рассказа.

IX

Ася встретила нас на самом пороге дома; я снова ожидал смеха; но она вышла к нам вся бледная, молчаливая, с потупленными глазами.

– Вот он опять, – заговорил Гагин, – и, заметь, сам захотел вернуться.

Ася вопросительно посмотрела на меня. Я в свою очередь протянул ей руку и на этот раз крепко пожал ее холодные пальчики. Мне стало очень жаль ее; теперь я многое понимал в ней, что прежде сбивало меня с толку: ее внутреннее беспокойство, неуменье держать себя, желание порисоваться – все мне стало ясно. Я заглянул в эту душу: тайный гнет давил ее постоянно, тревожно путалось и билось неопытное самолюбие, но все существо ее стремилось к правде. Я понял, почему эта странная девочка меня привлекала; не одной только полудикой прелестью, разлитой по всему ее тонкому телу, привлекала она меня: ее душа мне нравилась.

Гагин начал копаться в своих рисунках; я предложил Асе погулять со мною по винограднику. Она тотчас согласилась, с веселой и почти покорной готовностью. Мы спустились до половины горы и присели на широкую плиту.

– И вам не скучно было без нас? – начала Ася.

– А вам без меня было скучно? – спросил я.

Ася взглянула на меня сбоку.

– Да, – отвечала она. – Хорошо в горах? – продолжала она тотчас, – они высоки? Выше облаков? Расскажите мне, что вы видели. Вы рассказывали брату, но я ничего не слыхала.

– Вольно ж вам было уходить, – заметил я.

– Я уходила... потому что... Я теперь вот не уйду, – прибавила она с доверчивой лаской в голосе, – вы сегодня были сердиты.

– Я?

– Вы.

– Отчего же, помилуйте...

– Не знаю, но вы были сердиты и ушли сердитыми. Мне было очень досадно, что вы так ушли, и я рада, что вы вернулись.

– И я рад, что вернулся, – промолвил я.

Ася повела плечами, как это часто делают дети, когда им хорошо.

– О, я умею отгадывать! – продолжала она, – бывало, я по одному папашину кашлю из другой комнаты узнавала, доволен ли он мной или нет.

До того дня Ася ни разу не говорила мне о своем отце. Меня это поразило.

– Вы любили вашего батюшку? – проговорил я и вдруг, к великой моей досаде, почувствовал, что краснею.

Она ничего не отвечала и покраснела тоже. Мы оба замолкли. Вдали по Рейну бежал и дымился пароход. Мы принялись глядеть на него.

– Что же вы не рассказываете? – прошептала Ася.

– Отчего вы сегодня рассмеялись, как только увидели меня? – спросил я.

– Сама не знаю. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня... по тому, что я делаю. Ах, кстати, что это за сказка о Лорелее? Ведь это *ее* скала виднеется? Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду. Мне нравится эта сказка. Фрау Луизе мне всякие сказки рассказывает. У фрау Луизе есть черный кот с желтыми глазами...

Ася подняла голову и встряхнула кудрями.

– Ах, мне хорошо, – проговорила она.

В это мгновение долетели до нас отрывочные, однообразные звуки. Сотни голосов разом и с мерными расстановками повторяли молитвенный напев: толпа богомольцев тянулась внизу по дороге с крестами и хоругвями...

– Вот бы пойти с ними, – сказала Ася, прислушиваясь к постепенно ослабевавшим взрывам голосов.

– Разве вы так набожны?

– Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг, – продолжала она. – А то дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали?

– Вы честолюбивы, – заметил я, – вы хотите прожить не даром, след за собой оставить...

– А разве это невозможно?

«Невозможно», – чуть было не повторил я... Но я взглянул в ее светлые глаза и только промолвил:

– Попробуйте.

– Скажите, – заговорила Ася после небольшого молчания, в течение которого какие-то тени пробежали у ней по лицу, уже успевшему побледнеть, – вам очень нравилась та дама... Вы помните, брат пил ее здоровье в развалине, на второй день нашего знакомства?

Я засмеялся.

– Ваш брат шутил; мне ни одна дама не нравилась; по крайней мере теперь ни одна не нравится.

– А что вам нравится в женщинах? – спросила Ася, закинув голову с невинным любопытством.

– Какой странный вопрос! – воскликнул я.

Ася слегка смутилась.

– Я не должна была сделать вам такой вопрос, не правда ли? Извините меня, я привыкла болтать все, что мне в голову входит. Оттого-то я и боюсь говорить.

– Говорите ради бога, не бойтесь, – подхватил я, – я так рад, что вы наконец перестаете дичиться.

Ася потупилась и засмеялась тихим и легким смехом; я не знал за ней такого смеха.

– Ну, рассказывайте же, – продолжала она, разглаживая полы своего платья и укладывая их себе на ноги, точно она усаживалась надолго, – рассказывайте или прочтите что-нибудь, как, помните, вы нам читали из «Онегина»...

Она вдруг задумалась...

Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной матерью моей! —

проговорила она вполголоса.

– У Пушкина не так, – заметил я.

– А я хотела бы быть Татьяной, – продолжала она все так же задумчиво. – Рассказывайте, – подхватила она с живостью.

Но мне было не до рассказов. Я глядел на нее, всю облитую ясным солнечным лучом, всю успокоенную и кроткую. Все радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами – небо, земля и воды; самый воздух, казалось, был насыщен блеском.

– Посмотрите, как хорошо! – сказал я, невольно понизив голос.

– Да, хорошо! – так же тихо отвечала она, не смотря на меня. – Если б мы с вами были птицы, – как бы мы взвились, как бы полетели... Так бы и утонули в этой синеве... Но мы не птицы.

– А крылья могут у нас вырасти, – возразил я.

– Как так?

– Поживите – узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья.

– А у вас были?

– Как вам сказать... Кажется, до сих пор я еще не летал.

Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней.

– Умеете вы вальсировать? – спросила она вдруг.

– Умею, – отвечал я, несколько озадаченный.

– Так пойдемте, пойдемте... Я попрошу брата сыграть нам вальс... Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья.

Она побежала к дому. Я побежал вслед за нею – и несколько мгновений спустя мы кружились в тесной комнате, под сладкие звуки Ланнера. Ася вальсировала прекрасно, с увлечением. Что-то мягкое, женское проступило вдруг сквозь ее девически строгий облик. Долго потом рука моя чувствовала прикосновение ее нежного стана, долго слышалось мне ее ускоренное, близкое дыханье, долго мерещились мне темные, неподвижные, почти закрытые глаза на бледном, но оживленном лице, резво обвеянном кудрями.

X

Весь этот день прошел как нельзя лучше. Мы веселились, как дети. Ася была очень мила и проста. Гагин радовался, глядя на нее. Я ушел поздно. Въехавши на середину Рейна, я попросил перевозчика пустить лодку вниз по течению. Старик поднял весла – и царственная река понесла нас. Глядя кругом, слушая, вспоминая, я вдруг почувствовал тайное беспокойство на сердце... поднял глаза к небу – но и в небе не было покоя: испещренное звездами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось; я склонился к реке... но и там, и в этой темной, холодной глубине, тоже колыхались, дрожали звезды; тревожное оживление мне чудилось повсюду – и тревога росла во мне самом. Я облокотился на край лодки... Шепот ветра в моих ушах, тихое журчанье воды за кормою меня раздражали, и свежее дыханье волны не охлаждало меня; соловей запел на берегу и заразил меня сладким ядом своих звуков. Слезы закипали у меня на глазах, но то не были слезы беспредметного восторга. Что я чувствовал, было не то смутное, еще недавно испытанное ощущение всеобъемлющих желаний, когда душа ширится, звучит, когда ей кажется, что она все понимает и все любит... Нет! во мне зажглась жажда счастья. Я еще не смел назвать его по имени, – но счастья, счастья до пресыщения – вот чего хотел я, вот о чем томился... А лодка все неслась, и старик перевозчик сидел и дремал, наклонясь над веслами.

XI

Отправляясь на следующий день к Гагиным, я не спрашивал себя, влюблен ли я в Асю, но я много размышлял о ней, ее судьба меня занимала, я радовался неожиданному нашему сближению. Я чувствовал, что только с вчерашнего дня я узнал ее; до тех пор она отворачивалась от меня. И вот, когда она раскрылась наконец передо мною, каким пленительным светом озарился ее образ, как он был нов для меня, какие тайные обаяния стыдливо в нем сквозили...

Бодро шел я по знакомой дороге, беспрестанно посматривая на издали белевший домик; я не только о будущем – я о завтрашнем дне не думал; мне было очень хорошо.

Ася покраснела, когда я вошел в комнату; я заметил, что она опять принарядилась, но выражение ее лица не шло к ее наряду: оно было печально. А я пришел таким веселым! Мне показалось даже, что она, по обыкновению своему, собралась было бежать, но сделала усилие над собою – и осталась. Гагин находился в том особенном состоянии художнического жара и ярости, которое, в виде припадка, внезапно овладевает дилетантами, когда они вообразят, что им удалось, как они выражаются, «поймать природу за хвост». Он стоял, весь взъерошенный

и выпачканный красками, перед натянутым холстом и, широко размахивая по нему кистью, почти свирепо кивнул мне головой, отодвинулся, прищурил глаза и снова накинута на свою картину. Я не стал мешать ему и подсел к Асе. Медленно обратились ко мне ее темные глаза.

– Вы сегодня не такая, как вчера, – заметил я после тщетных усилий вызвать улыбку на ее губы.

– Нет, не такая, – возразила она неторопливым и глухим голосом. – Но это ничего. Я нехорошо спала, всю ночь думала.

– О чем?

– Ах, я о многом думала. Это у меня привычка с детства: еще с того времени, когда я жила с матушкой...

Она с усилием выговорила это слово и потом еще раз повторила:

– Когда я жила с матушкой... я думала, отчего это никто не может знать, что с ним будет; а иногда и видишь беду – да спастись нельзя; и отчего никогда нельзя сказать всей правды?.. Потом я думала, что я ничего не знаю, что мне надобно учиться. Меня перевоспитать надо, я очень дурно воспитана. Я не умею играть на фортепьяно, не умею рисовать, я даже шью плохо. У меня нет никаких способностей, со мной должно быть очень скучно.

– Вы несправедливы к себе, – возразил я. – Вы много читали, вы образованны, и с вашим умом...

– А я умна? – спросила она с такой наивной любознательностью, что я невольно засмеялся; но она даже не улыбнулась. – Брат, я умна? – спросила она Гагина.

Он ничего не отвечал ей и продолжал трудиться, беспрестанно меняя кисти и высоко поднимая руку.

– Я сама не знаю иногда, что у меня в голове, – продолжала Ася с тем же задумчивым видом. – Я иногда самой себя боюсь, ей-богу. Ах, я хотела бы... Правда ли, что женщинам не следует читать много?

– Много не нужно, но...

– Скажите мне, что я должна читать? скажите, что я должна делать? Я все буду делать, что вы мне скажете, – прибавила она, с невинной доверчивостью обратясь ко мне.

Я не тотчас нашелся, что сказать ей.

– Ведь вам не будет скучно со мной?

– Помилуйте, – начал я.

– Ну, спасибо! – возразила Ася, – а я думала, что вам скучно будет.

И ее маленькая горячая ручка крепко стиснула мою.

– Н.! – вскрикнул в это мгновение Гагин, – не темен этот фон?

Я подошел к нему. Ася встала и удалилась.

ХII

Она вернулась через час, остановилась в дверях и подозвала меня рукою.

– Послушайте, – сказала она, – если б я умерла, вам было бы жаль меня?

– Что у вас за мысли сегодня! – воскликнул я.

– Я воображаю, что я скоро умру; мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Умереть лучше, чем жить так... Ах! не глядите так на меня; я, право, не притворяюсь. А то я вас опять бояться буду.

– Разве вы меня боялись?

– Если я такая странная, я, право, не виновата, – возразила она. – Видите, я уж и смеяться не могу...

Она осталась печальной и озабоченной до самого вечера. Что-то происходило в ней, чего я не понимал. Ее взор часто останавливался на мне; сердце мое тихо сжималось под этим зага-

дочным взором. Она казалась спокойною – а мне, глядя на нее, все хотелось сказать ей, чтобы она не волновалась. Я любовался ею, я находил трогательную прелесть в ее побледневших чертах, в ее нерешительных, замедленных движениях – а ей почему-то воображалось, что я не в духе.

– Послушайте, – сказала она мне незадолго до прощанья, – меня мучит мысль, что вы меня считаете легкомысленной... Вы вперед всегда верьте тому, что я вам говорить буду, только и вы будьте со мной откровенны; а я вам всегда буду говорить правду, даю вам честное слово...

Это «честное слово» опять заставило меня засмеяться.

– Ах, не смейтесь, – проговорила она с живостью, – а то я вам скажу сегодня то, что вы мне сказали вчера: «Зачем вы смеетесь?» – и, помолчав немного, она прибавила: – Помните, вы вчера говорили о крыльях?.. Крылья у меня выросли – да лететь некуда.

– Помилуйте, – промолвил я, – перед вами все пути открыты...

Ася посмотрела мне прямо и пристально в глаза.

– Вы сегодня дурного мнения обо мне, – сказала она, нахмутив брови.

– Я? дурного мнения? о вас!..

– Что это вы точно в воду опущенные, – перебил меня Гагин, – хотите, я, по-вчерашнему, сыграю вам вальс?

– Нет, нет, – возразила Ася и стиснула руки, – сегодня ни за что!

– Я тебя не принуждаю, успокойся...

– Ни за что, – повторила она, бледнея.

.....

«Неужели она меня любит?» – думал я, подходя к Рейну, быстро катившему темные волны.

ХШ

«Неужели она меня любит?» – спрашивал я себя на другой день, только что проснувшись. Я не хотел заглядывать в самого себя. Я чувствовал, что ее образ, образ «девушки с натянутым смехом», втеснился мне в душу и что мне от него не скоро отделаться. Я пошел в Л. и остался там целый день, но Асю видел только мельком. Ей нездоровилось; у ней голова болела. Она сошла вниз, на минутку, с повязанным лбом, бледная, худенькая, с почти закрытыми глазами; слабо улыбнулась, сказала: «Это пройдет, это ничего, все пройдет, не правда ли?» – и ушла. Мне стало скучно и как-то грустно-пусто; я, однако, долго не хотел уходить и вернулся поздно, не увидав ее более.

Следующее утро прошло в каком-то полусне сознания. Я хотел приняться за работу – не мог; хотел ничего не делать и не думать... и это не удалось. Я бродил по городу; возвращался домой, выходил снова.

– Вы ли господин Н.? – раздался вдруг за мною детский голос. Я оглянулся; передо мною стоял мальчик. – Это вам от фрейлейн Annette, – прибавил он, подавая мне записку.

Я развернул ее – и узнал неправильный и быстрый почерк Аси. «Я непременно должна вас видеть, – писала мне она, – приходите сегодня в четыре часа к каменной часовне на дороге возле развалины. Я сделала сегодня большую неосторожность... Придите ради бога, вы все узнаете... Скажите посланному: да».

– Будет ответ? – спросил меня мальчик.

– Скажи, что да, – отвечал я.

Мальчик убежал.

XIV

Я пришел к себе в комнату, сел и задумался. Сердце во мне сильно билось. Несколько раз перечел я записку Аси. Я посмотрел на часы: и двенадцати еще не было.

Дверь отворилась – вошел Гагин.

Лицо его было пасмурно. Он схватил меня за руку и крепко пожал ее. Он казался очень взволнованным.

– Что с вами? – спросил я.

Гагин взял стул и сел против меня.

– Четвертого дня, – начал он с принужденной улыбкой и запинаясь, – я удивил вас своим рассказом; сегодня удивлю еще более. С другим я, вероятно, не решился бы... так прямо... Но вы благородный человек, вы мне друг, не так ли? Послушайте: моя сестра, Ася, в вас влюблена.

Я весь вздрогнул и приподнялся...

– Ваша сестра, говорите вы...

– Да, да, – перебил меня Гагин. – Я вам говорю, она сумасшедшая и меня с ума сведет. Но, к счастью, она не умеет лгать – и доверяет мне. Ах, что за душа у этой девочки... но она себя погубит, непременно.

– Да вы ошибаетесь, – начал я.

– Нет, не ошибаюсь. Вчера, вы знаете, она почти целый день пролежала, ничего не ела, впрочем, не жаловалась... Она никогда не жалуется. Я не беспокоился, хотя к вечеру у ней сделался небольшой жар. Сегодня, в два часа ночи, меня разбудила наша хозяйка: «Ступайте, говорит, к вашей сестре: с ней что-то худо». Я побежал к Асе и нашел ее нераздетою, в лихорадке, в слезах: голова у ней горела, зубы стучали. «Что с тобой? – спросил я, – ты больна?» Она бросилась мне на шею и начала умолять меня увезти ее как можно скорее, если я хочу, чтобы она осталась в живых... Я ничего не понимаю, стараюсь ее успокоить... Рыдания ее усиливаются... и вдруг сквозь эти рыдания услышал я... Ну, словом, я услышал, что она вас любит. Уверяю вас, мы с вами, благоразумные люди, и представить себе не можем, как она глубоко чувствует и с какой невероятной силой высказываются в ней эти чувства; это находит на нее так же неожиданно и так же неотразимо, как гроза. Вы очень милый человек, – продолжал Гагин, – но почему она вас так полюбила – этого я, признаюсь, не понимаю. Она говорит, что привязалась к вам с первого взгляда. Оттого она и плакала на днях, когда уверяла меня, что, кроме меня, никого любить не хочет. Она воображает, что вы ее презираете, что вы, вероятно, знаете, кто она; она спрашивала меня, не рассказал ли я вам ее историю, – я, разумеется, сказал, что нет; но чуткость ее – просто страшна. Она желает одного: уехать, уехать тотчас. Я просидел с ней до утра; она взяла с меня слово, что нас завтра же здесь не будет, – и тогда только она заснула. Я подумал, подумал и решился – поговорить с вами. По-моему, Ася права: самое лучшее – уехать нам обоим отсюда. И я сегодня же бы увез ее, если б не пришла мне в голову мысль, которая меня остановила. Может быть... как знать? – вам сестра моя нравится? Если так, с какой стати я увезу ее? Я вот и решился, отбросив в сторону всякий стыд... Притом же я сам кое-что заметил... Я решился... узнать от вас... – Бедный Гагин смутился. – Извините меня, пожалуйста, – прибавил он, – я не привык к таким передрягам.

Я взял его за руку.

– Вы хотите знать, – произнес я твердым голосом, – нравится ли мне ваша сестра? Да, она мне нравится...

Гагин взглянул на меня.

– Но, – проговорил он, запинаясь, – ведь вы не женитесь на ней?

– Как вы хотите, чтобы я отвечал на такой вопрос? Посудите сами, могу ли я теперь...

– Знаю, знаю, – перебил меня Гагин. – Я не имею никакого права требовать от вас ответа, и вопрос мой – верх неприличия... Но что прикажете делать? С огнем шутить нельзя. Вы не знаете Асю; она в состоянии занемочь, убежать, свиданье вам назначить... Другая умела бы все скрыть и выждать – но не она. С нею это в первый раз, – вот что беда! Если б вы видели, как она сегодня рыдала у ног моих, вы бы поняли мои опасения.

Я задумался. Слова Гагина «свиданье вам назначить» кольнули меня в сердце. Мне показалось постыдным не отвечать откровенностью на его честную откровенность.

– Да, – сказал я наконец, – вы правы. Час тому назад я получил от вашей сестры записку. Вот она.

Гагин взял записку, быстро пробежал ее и уронил руки на колени. Выражение изумления на его лице было очень забавно, но мне было не до смеху.

– Вы, повторяю, благородный человек, – проговорил он, – но что же теперь делать? Как? она сама хочет уехать, и пишет к вам, и упрекает себя в неосторожности... и когда это она успела написать? Чего ж она хочет от вас?

Я успокоил его, и мы принялись толковать хладнокровно по мере возможности о том, что нам следовало предпринять.

Вот на чем мы остановились наконец: во избежание беды я должен был идти на свиданье и честно объясниться с Асей; Гагин обаялся сидеть дома и не подавать вида, что ему известна ее записка; а вечером мы положили сойтись опять.

– Я твердо надеюсь на вас, – сказал Гагин и стиснул мне руку, – пощадите и ее и меня. А уезжаем мы все-таки завтра, – прибавил он, вставая, – потому что ведь вы на Асе не женитесь.

– Дайте мне сроку до вечера, – возразил я.

– Пожалуй, но вы не женитесь.

Он ушел, а я бросился на диван и закрыл глаза. Голова у меня ходила кругом: слишком много впечатлений в нее нахлынуло разом. Я досадовал на откровенность Гагина, я досадовал на Асю, ее любовь меня и радовала и смущала. Я не мог понять, что заставило ее все высказать брату; неизбежность скорого, почти мгновенного решения терзала меня...

«Жениться на семнадцатилетней девочке, с ее нравом, как это можно!» – сказал я, вставая.

XV

В условленный час переправился я через Рейн, и первое лицо, встретившее меня на противоположном берегу, был самый тот мальчик, который приходил ко мне поутру. Он, по-видимому, ждал меня.

– От фрейлейн Annette, – сказал он шепотом и подал мне другую записку.

Ася извещала меня о перемене места нашего свидания. Я должен был прийти через полтора часа не к часовне, а в дом фрау Луизе, постучаться внизу и войти в третий этаж.

– Опять: да? – спросил меня мальчик.

– Да, – повторил я и пошел по берегу Рейна.

Вернуться домой было некогда, я не хотел бродить по улицам. За городской стеною находился маленький сад с навесом для кеглей и столами для любителей пива. Я вошел туда. Несколько уже пожилых немцев играли в кегли; со стуком катились деревянные шары, изредка раздавались одобрительные восклицания. Хорошенькая служанка с заплаканными глазами принесла мне кружку пива; я взглянул в ее лицо. Она быстро отворотилась и отошла прочь.

– Да, да, – промолвил тут же сидевший толстый и краснощекий гражданин, – Ганхен наша сегодня очень огорчена: жених ее пошел в солдаты.

Я посмотрел на нее; она прижалась в уголок и подперла рукою щеку; слезы капали одна за другой по ее пальцам. Кто-то спросил пива; она принесла ему кружку и опять вернулась

на свое место. Ее горе подействовало на меня; я начал думать об ожидавшем меня свидании, но мои думы были заботливые, невеселые думы. Не с легким сердцем шел я на это свидание, не предаваться радостям взаимной любви предстояло мне; мне предстояло сдержать данное слово, исполнить трудную обязанность. «С ней шутить нельзя» – эти слова Гагина, как стрелы, впились в мою душу. А еще четвертого дня в этой лодке, уносимой волнами, не томился ли я жаждой счастья? Оно стало возможным – и я колебался, я отталкивал, я должен был оттолкнуть его прочь... Его внезапность меня смущала. Сама Ася, с ее огненной головой, с ее прошедшим, с ее воспитанием, это привлекательное, но странное существо – признаюсь, она меня пугала. Долго боролись во мне чувства. Назначенный срок приближался. «Я не могу на ней жениться, – решил я наконец, – она не узнает, что и я полюбил ее».

Я встал – и, положив талер в руку бедной Ганхен (она даже не поблагодарила меня), направился к дому фрау Луизе. Вечерние тени уже разливались в воздухе, и узкая полоса неба, над темной улицей, алела отблеском зари. Я слабо стукнул в дверь; она тотчас отворилась. Я переступил порог и очутился в совершенной темноте.

– Сюда! – послышался старушечий голос. – Вас ждут.

Я шагнул раза два ощупью, чья-то костлявая рука взяла мою руку.

– Вы это, фрау Луизе? – спросил я.

– Я, – отвечал мне тот же голос, – я, мой прекрасный молодой человек.

Старуха повела меня опять вверх, по крутой лестнице, и остановилась на площадке третьего этажа. При слабом свете, падавшем из крошечного окошка, я увидел морщинистое лицо вдовы бургомистра. Приторно-лукавая улыбка растягивала ее ввалившиеся губы, ежила тусклые глазки. Она указала мне на маленькую дверь. Судорожным движением руки отворил я ее и захлопнул за собою.

XVI

В небольшой комнатке, куда я вошел, было довольно темно, и я не тотчас увидел Асю. Закутанная в длинную шаль, она сидела на стуле возле окна, отвернув и почти спрятав голову, как испуганная птичка. Она дышала быстро и вся дрожала. Мне стало несказанно жалко ее. Я подошел к ней. Она еще больше отвернула голову...

– Анна Николаевна, – сказал я.

Она вдруг вся выпрямилась, хотела взглянуть на меня – и не могла. Я схватил ее руку, она была холодна и лежала, как мертвая, на моей ладони.

– Я желала... – начала Ася, стараясь улыбнуться, но ее бледные губы не слушались ее, – я хотела... Нет, не могу, – проговорила она и умолкла. Действительно, голос ее прерывался на каждом слове.

Я сел подле нее.

– Анна Николаевна, – повторил я и тоже не мог ничего прибавить.

Настало молчание. Я продолжал держать ее руку и глядел на нее. Она по-прежнему вся сжималась, дышала с трудом и тихонько покусывала нижнюю губу, чтобы не заплакать, чтобы удержать накипавшие слезы... Я глядел на нее; было что-то трогательно-беспомощное в ее робкой неподвижности: точно она от усталости едва добралась до стула и так и упала на него. Сердце во мне растаяло...

– Ася, – сказал я едва слышно...

Она медленно подняла на меня свои глаза... О, взгляд женщины, которая полюбила, – кто тебя опишет? Они молили, эти глаза, они доверялись, вопрошали, отдавались... Я не мог противиться их обаянию. Тонкий огонь пробежал по мне жгучими иглами; я нагнулся и приник к ее руке...

Послышался трепетный звук, похожий на прерывистый вздох, и я почувствовал на моих волосах прикосновение слабой, как лист дрожащей руки. Я поднял голову и увидел ее лицо. Как оно вдруг преобразилось! Выражение страха исчезло с него, взор ушел куда-то далеко и увлекал меня за собою, губы слегка раскрылись, лоб побледнел, как мрамор, и кудри отодвинулись назад, как будто ветер их откинул. Я забыл все, я потянул ее к себе – покорно повиновалась ее рука, все ее тело повлеклось вслед за рукою, шаль покатила с плеч, и голова ее тихо легла на мою грудь, легла под мои загоревшиеся губы...

– Ваша... – прошептала она едва слышно.

Уже руки мои скользили вокруг ее стана... Но вдруг воспоминание о Гагине, как молния, меня озарило.

– Что мы делаем!.. – воскликнул я и судорожно отодвинулся назад. – Ваш брат... ведь он все знает... Он знает, что я вижу с вами.

Ася опустилась на стул.

– Да, – продолжал я, вставая и отходя на другой угол комнаты. – Ваш брат все знает... Я должен был ему все сказать.

– Должны? – проговорила она невнятно. Она, видимо, не могла еще прийти в себя и плохо меня понимала.

– Да, да, – повторил я с каким-то ожесточением, – и в этом вы одни виноваты, вы одни. Зачем вы сами выдали вашу тайну? Кто заставлял вас все высказать вашему брату? Он сегодня был сам у меня и передал мне ваш разговор с ним. – Я старался не глядеть на Асю и ходил большими шагами по комнате. – Теперь все пропало, все, все.

Ася поднялась было со стула.

– Оставайтесь, – воскликнул я, – оставайтесь, прошу вас. Вы имеете дело с честным человеком – да, с честным человеком. Но, ради бога, что взволновало вас? Разве вы заметили во мне какую перемену? А я не мог скрываться перед вашим братом, когда он пришел сегодня ко мне.

«Что я такое говорю?» – думал я про себя, и мысль, что я безнравственный обманщик, что Гагин знает о нашем свидании, что все искажено, обнаружено, – так и звенела у меня в голове.

– Я не звала брата, – послышался испуганный шепот Аси, – он пришел сам.

– Посмотрите же, что вы наделали, – продолжал я. – Теперь вы хотите уехать...

– Да, я должна уехать, – так же тихо проговорила она, – я и попросила вас сюда для того только, чтобы проститься с вами.

– И вы думаете, – возразил я, – мне будет легко с вами расстаться?

– Но зачем же вы сказали брату? – с недоумением повторила Ася.

– Я вам говорю – я не мог поступить иначе. Если б вы сами не выдали себя...

– Я заперлась в моей комнате, – возразила она простодушно, – я не знала, что у моей хозяйки был другой ключ...

Это невинное извинение, в ее устах, в такую минуту – меня тогда чуть не рассердило... а теперь я без умиления не могу его вспомнить. Бедное, честное, искреннее дитя!

– И вот теперь все кончено! – начал я снова. – Все. Теперь нам должно расстаться. – Я украдкой взглянул на Асю... лицо ее быстро покраснело. Ей, я это чувствовал, и стыдно становилось и страшно. Я сам ходил и говорил, как в лихорадке. – Вы не дали развиваться чувству, которое начинало созревать, вы сами разорвали нашу связь, вы не имели ко мне доверия, вы усомнились во мне...

Пока я говорил, Ася все больше и больше наклонялась вперед – и вдруг упала на колени, уронила голову на руки и зарыдала. Я подбежал к ней, пытался поднять ее, но она мне не давалась. Я не выношу женских слез: при виде их я теряюсь тотчас.

– Анна Николаевна, Ася, – твердил я, – пожалуйста, умоляю вас, ради бога, перестаньте... – Я снова взял ее за руку...

Но, к величайшему моему изумлению, она вдруг вскочила – с быстротою молнии бросилась к двери и исчезла...

Когда несколько минут спустя фрау Луизе вошла в комнату – я все еще стоял по самой середине ее, уж точно как громом пораженный. Я не понимал, как могло это свидание так быстро, так глупо кончиться – кончиться, когда я и сотой доли не сказал того, что хотел, что должен был сказать, когда я еще сам не знал, чем оно могло разрешиться...

– Фрейлейн ушла? – спросила меня фрау Луизе, приподняв свои желтые брови до самой накладки.

Я посмотрел на нее как дурак – и вышел вон.

XVII

Я выбрался из города и пустился прямо в поле. Досада, досада бешеная, меня грызла. Я осыпал себя укоризнами. Как я мог не понять причину, заставившую Асю переменить место нашего свидания, как не оценить, чего ей стоило прийти к этой старухе, как я не удержал ее! Наедине с ней в той глухой, едва освещенной комнате у меня достало силы, достало духа – оттолкнуть ее от себя, даже упрекать ее... А теперь ее образ меня преследовал, я просил у ней прощения; воспоминания об этом бледном лице, об этих влажных и робких глазах, о развитых волосах на наклоненной шее, о легком прикосновении ее головы к моей груди – жгли меня. «Ваша...» – слышался мне ее шепот. «Я поступил по совести», – уверял я себя... Неправда! Разве я точно хотел такой развязки? Разве я в состоянии с ней расстаться? Разве я могу лишиться ее? «Безумец! безумец!» – повторял я с озлоблением...

Между тем ночь наступала. Большими шагами направился я к дому, где жила Ася.

XVIII

Гагин вышел ко мне навстречу.

– Видели вы сестру? – закричал он мне еще издали.

– Разве ее нет дома? – спросил я.

– Нет.

– Она не возвращалась?

– Нет. Я виноват, – продолжал Гагин, – не мог утерпеть: против нашего уговора, ходил к часовне; там ее не было; стало быть, она не приходила?

– Она не была у часовни.

– И вы ее не видели?

Я должен был сознаться, что я ее видел.

– Где?

– У фрау Луизе. Я расстался с ней час тому назад, – прибавил я, – я был уверен, что она домой вернулась.

– Подождем, – сказал Гагин.

Мы вошли в дом и сели друг подле друга. Мы молчали. Нам очень неловко было обоим. Мы беспрестанно оглядывались, посматривали на дверь, прислушивались. Наконец Гагин встал.

– Это ни на что не похоже! – воскликнул он, – у меня сердце не на месте. Она меня уморит, ей-богу... Пойдемте искать ее.

Мы вышли. На дворе уже совсем стемнело.

– О чем же вы с ней говорили? – спросил меня Гагин, надвигая шляпу на глаза.

– Я виделся с ней всего минут пять, – отвечал я, – я говорил с ней, как было условлено.

– Знаете ли что? – возразил он, – лучше нам разойтись; этак мы скорее на нее наткнуться можем. Во всяком случае приходите сюда через час.

XIX

Я проворно спустился с виноградника и бросился в город. Быстро обошел я все улицы, заглянул всюду, даже в окна фрау Луизе, вернулся к Рейну и побежал по берегу... Изредка попадались мне женские фигуры, но Аси нигде не было видно. Уже не досада меня грызла, – тайный страх терзал меня, и не один страх я чувствовал... нет, я чувствовал раскаяние, сожаление самое жгучее, любовь – да! самую нежную любовь. Я ломал руки, я звал Асю посреди надвигавшейся ночной тьмы, сперва вполголоса, потом все громче и громче; я повторял сто раз, что я ее люблю, я клялся никогда с ней не расставаться; я бы дал все на свете, чтобы опять держать ее холодную руку, опять слышать ее тихий голос, опять видеть ее перед собою... Она была так близка, она пришла ко мне с полной решимостью, в полной невинности сердца и чувств, она принесла мне свою нетронутую молодость... и я не прижал ее к своей груди, я лишил себя блаженства увидеть, как ее милое лицо расцвело бы радостью и тишиною восторга... Эта мысль меня с ума сводила.

«Куда могла она пойти, что она с собою сделала?» – восклицал я в тоске бессильного отчаяния... Что-то белое мелькнуло вдруг на самом берегу реки. Я знал это место; там, над могилой человека, утонувшего лет семьдесят тому назад, стоял до половины вросший в землю каменный крест с старинной надписью. Сердце во мне замерло... Я подбежал к кресту: белая фигура исчезла. Я крикнул: «Ася!» Дикий голос мой испугал меня самого – но никто не отозвался...

Я решился пойти узнать, не нашел ли ее Гагин.

XX

Быстро взбираясь по тропинке виноградника, я увидел свет в комнате Аси... Это меня несколько успокоило.

Я подошел к дому; дверь внизу была заперта, я постучался. Неосвященное окошко в нижнем этаже осторожно отворилось, и показалась голова Гагина.

– Нашли? – спросил я его.

– Она вернулась, – отвечал он мне шепотом, – она в своей комнате и раздевается. Все в порядке.

– Слава богу! – воскликнул я с несказанным порывом радости, – слава богу! Теперь все прекрасно. Но вы знаете, мы должны еще переговорить.

– В другое время, – возразил он, тихо потянув к себе раму, – в другое время, а теперь прощайте.

– До завтра, – промолвил я, – завтра все будет решено.

– Прощайте, – повторил Гагин. Окно затворилось.

Я чуть было не постучал в окно. Я хотел тогда же сказать Гагину, что я прошу руки его сестры. Но такое сватанье в такую пору... «До завтра, – подумал я, – завтра я буду счастлив...»

Завтра я буду счастлив! У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее – и то не день, а мгновенье.

Я не помню, как дошел я до З. Не ноги меня несли, не лодка меня везла: меня поднимали какие-то широкие, сильные крылья. Я прошел мимо куста, где пел соловей, я остановился и долго слушал: мне казалось, он пел мою любовь и мое счастье.

XXI

Когда, на другой день утром, я стал подходить к знакомому домику, меня поразило одно обстоятельство: все окна в нем были растворены и дверь тоже была раскрыта; какие-то бумажки валялись перед порогом; служанка с метлой показалась за дверью.

Я приблизился к ней...

– Уехали! – брякнула она, прежде чем я успел спросить ее: дома ли Гагин?

– Уехали?.. – повторил я. – Как уехали? Куда?

– Уехали сегодня утром, в шесть часов, и не сказали куда. Постойте, ведь вы, кажется, господин Н.?

– Я г-н Н.

– К вам есть письмо у хозяйки. – Служанка пошла наверх и вернулась с письмом. – Вот-с, извольте.

– Да не может быть... Как же это так?.. – начал было я.

Служанка тупо посмотрела на меня и принялась мести.

Я развернул письмо. Ко мне писал Гагин; от Аси не было ни строчки. Он начал с того, что просил не сердиться на него за внезапный отъезд; он был уверен, что, по зрелом соображении, я одобрю его решение. Он не находил другого выхода из положения, которое могло сделаться затруднительным и опасным. *«Вчера вечером, – писал он, – пока мы оба молча ожидали Асю, я убедился окончательно в необходимости разлуки. Есть предрассудки, которые я уважаю; я понимаю, что вам нельзя жениться на Асе. Она мне все сказала; для ее спокойствия я должен был уступить ее повторенным, усиленным просьбам»*. В конце письма он изъявлял сожаление о том, что наше знакомство так скоро прекратилось, желал мне счастья, дружески жал мне руку и умолял меня не стараться их отыскивать.

«Какие предрассудки? – вскричал я, как будто он мог меня слышать, – что за вздор! Кто дал право похитить ее у меня...» Я схватил себя за голову...

Служанка начала громко кликать хозяйку: ее испуг заставил меня прийти в себя. Одна мысль во мне загорелась: сыскать их, сыскать во что бы то ни стало. Принять этот удар, примириться с такою развязкой было невозможно. Я узнал от хозяйки, что они в шесть часов утра сели на пароход и поплыли вниз по Рейну. Я отправился в контору: там мне сказали, что они взяли билеты до Кельна. Я пошел домой, с тем чтобы тотчас уложиться и поплыть вслед за ними. Мне пришлось идти мимо дома фрау Луизе... Вдруг я слышу: меня кличет кто-то. Я поднял голову и увидел в окне той самой комнаты, где я накануне виделся с Асей, вдову бургомистра. Она улыбалась своей противной улыбкой и звала меня. Я отвернулся и прошел было мимо; но она мне крикнула вслед, что у ней есть что-то для меня. Эти слова меня остановили, и я вошел в ее дом. Как передать мои чувства, когда я увидел опять эту комнатку...

– По-настоящему, – начала старуха, показывая мне маленькую записку, – я бы должна была дать вам это только в случае, если б вы зашли ко мне сами, но вы такой прекрасный молодой человек. Возьмите.

Я взял записку.

На крошечном клочке бумаги стояли следующие слова, торопливо начерченные карандашом:

«Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю – нет, мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если б вы мне сказали одно слово, одно только слово – я бы осталась. Вы его не сказали. Видно, так лучше... Прощайте навсегда!»

Одно слово... О, я безумец! Это слово... я со слезами повторял его накануне, я расточал его на ветер, я твердил его среди пустых полей... но я не сказал его ей, я не сказал ей, что я люблю ее... Да я и не мог произнести тогда это слово. Когда я встретился с ней в той роко-

вой комнате, во мне еще не было ясного сознания моей любви; оно не проснулось даже тогда, когда я сидел с ее братом в бессмысленном и тягостном молчании... оно вспыхнуло с неудержимой силой лишь несколько мгновений спустя, когда, испуганный возможностью несчастья, я стал искать и звать ее... но уж тогда было поздно. «Да это невозможно!» – скажут мне; не знаю, возможно ли это, – знаю, что это правда. Ася бы не уехала, если б в ней была хоть тень кокетства и если б ее положение не было ложно. Она не могла вынести того, что всякая другая снесла бы; я этого не понял. Недобрый мой гений остановил признание на устах моих при последнем свидании с Гагиным перед потемневшим окном, и последняя нить, за которую я еще мог ухватиться, выскользнула из рук моих.

В тот же день вернулся я с уложенным чемоданом в город Л. и поплыл в Кельн. Помню, пароход уже отчаливал, и я мысленно прощался с этими улицами, со всеми этими местами, которые я уже никогда не должен был позабыть, – я увидел Ганхен. Она сидела возле берега на скамье. Лицо ее было бледно, но не грустно; молодой красивый парень стоял с ней рядом и, смеясь, рассказывал ей что-то; а на другой стороне Рейна маленькая моя мадонна все так же печально выглядывала из темной зелени старого ясеня.

XXII

В Кельне я напал на след Гагиных; я узнал, что они поехали в Лондон; я пустился вслед за ними; но в Лондоне все мои розыски остались тщетными. Я долго не хотел смириться, долго упорствовал, но я должен был отказаться, наконец, от надежды настигнуть их.

И я не увидел их более – я не увидел Аси. Темные слухи доходили до меня о нем, но она навсегда для меня исчезла. Я даже не знаю, жива ли она. Однажды, несколько лет спустя, я мельком увидел за границей, в вагоне железной дороги, женщину, лицо которой живо напомнило мне незабвенные черты... но я, вероятно, был обманут случайным сходством. Ася осталась в моей памяти той самой девочкой, какую я знал ее в лучшую пору моей жизни, какую я ее видел в последний раз, наклоненной на спинку низкого деревянного стула.

Впрочем, я должен сознаться, что я не слишком долго грустил по ней; я даже нашел, что судьба хорошо распорядилась, не соединив меня с Асей; я утешался мыслию, что я, вероятно, не был бы счастлив с такой женой. Я был тогда молод – и будущее, это короткое, быстрое будущее, казалось мне беспредельным. Разве не может повториться то, что было, думал я, и еще лучше, еще прекраснее?.. Я знал других женщин, – но чувство, возбужденное во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось. Нет! ни одни глаза не заметили мне тех, когда-то с любовью устремленных на меня глаз, ни на чье сердце, припавшее к моей груди, не отвечало мое сердце таким радостным и сладким замиранием! Осужденный на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню, как святыню, ее записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издает слабый запах, а рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в могиле... И я сам – что случилось со мною? Что осталось от меня, от тех блаженных и тревожных дней, от тех крылатых надежд и стремлений? Так легкое испарение ничтожной травки переживает все радости и все горести человека – переживает самого человека.

1858

Первая любовь

Посвящено П. В. Анненкову

Гости давно разъехались. Часы пробили половину первого. В комнате остались только хозяин, да Сергей Николаевич, да Владимир Петрович.

Хозяин позвонил и велел принять остатки ужина.

– Итак, это дело решенное, – промолвил он, глубже усаживаясь в кресло и закурив сигару, – каждый из нас обязан рассказать историю своей первой любви. За вами очередь, Сергей Николаевич.

Сергей Николаевич, кругленький человек с пухленьким белокурым лицом, посмотрел сперва на хозяина, потом поднял глаза к потолку.

– У меня не было первой любви, – сказал он наконец, – я прямо начал со второй.

– Это каким образом?

– Очень просто. Мне было восемнадцать лет, когда я в первый раз приволокнулся за одной весьма миленькой барышней; но я ухаживал за ней так, как будто дело это было мне не внове: точно так, как я ухаживал потом за другими. Собственно говоря, в первый и последний раз я влюбился лет шести в свою няню; но этому очень давно. Подробности наших отношений изгладились из моей памяти, да если б я их и помнил, кого это может интересовать?

– Так как же быть? – начал хозяин. – В моей первой любви тоже не много занимательного; я ни в кого не влюблялся до знакомства с Анной Ивановной, моей теперешней женой, – и все у нас шло как по маслу: отцы нас сосватали, мы очень скоро полюбились друг другу и вступили в брак не мешкая. Моя сказка двумя словами сказывается. Я, господа, признаюсь, поднимая вопрос о первой любви, надеялся на вас, не скажу старых, но и не молодых холостяков. Разве вы нас чем-нибудь потешите, Владимир Петрович?

– Моя первая любовь принадлежит действительно к числу не совсем обыкновенных, – ответил с небольшой запинкой Владимир Петрович, человек лет сорока, черноволосый, с проседью.

– А! – промолвили хозяин и Сергей Николаевич в один голос. – Тем лучше... Рассказывайте.

– Извольте... или нет: рассказывать я не стану; я не мастер рассказывать: выходит сухо и коротко или пространно и фальшиво; а если позволите, я запишу все, что вспомню, в тетрадку – и прочту вам.

Приятели сперва не согласились, но Владимир Петрович настоял на своем. Через две недели они опять сошлись, и Владимир Петрович сдержал свое обещание.

Вот что стояло в его тетрадке:

I

Мне было тогда шестнадцать лет. Дело происходило летом 1833 года.

Я жил в Москве у моих родителей. Они нанимали дачу около Калужской заставы, против Нескучного. Я готовился в университет, но работал очень мало и не торопясь.

Никто не стеснял моей свободы. Я делал что хотел, особенно с тех пор, как я расстался с последним моим гувернером-французом, который никак не мог привыкнуть к мысли, что он упал «как бомба» (*comme une bombe*) в Россию, и с ожесточенным выражением на лице по целым дням валялся на постели. Отец обходился со мной равнодушно-ласково; матушка почти не обращала на меня внимания, хотя у ней, кроме меня, не было детей: другие заботы ее поглощали. Мой отец, человек еще молодой и очень красивый, женился на ней по расчету; она

была старше его десятью годами. Матушка моя вела печальную жизнь: беспрестанно волновалась, ревновала, сердилась – но не в присутствии отца; она очень его боялась, а он держался строго, холодно, отдаленно... Я не видал человека более изысканно спокойного, самоуверенного и самовластного.

Я никогда не забуду первых недель, проведенных мною на даче. Погода стояла чудесная; мы переехали из города девятого мая, в самый Николин день. Я гулял – то в саду нашей дачи, то по Нескучному, то за заставой; брал с собою какую-нибудь книгу – курс Кайданова, например, – но редко ее развертывал, а больше вслух читал стихи, которых знал очень много на память; кровь бродила во мне, и сердце ныло – так сладко и смешно: я все ждал, робел чего-то и всему дивился и весь был наготове; фантазия играла и носилась быстро вокруг одних и тех же представлений, как на заре стрижи вокруг колокольни; я задумывался, грустил и даже плакал; но и сквозь слезы и сквозь грусть, навеянную то певучим стихом, то красотой вечера, проступало, как весенняя травка, радостное чувство молодой, закипающей жизни.

У меня была верховая лошадка, я сам ее седлал и уезжал один куда-нибудь подальше, пускался вскачь и воображал себя рыцарем на турнире – как весело дул мне в уши ветер! – или, обратив лицо к небу, принимал его сияющий свет и лазурь в разверстую душу.

Помнится, в то время образ женщины, призрак женской любви почти никогда не возникал определенными очертаниями в моем уме; но во всем, что я думал, во всем, что я ощущал, таилось полусознанное, стыдливое предчувствие чего-то нового, несказанно сладкого, женского...

Это предчувствие, это ожидание проникло весь мой состав: я дышал им, оно катилось по моим жилам в каждой капле крови... ему было суждено скоро сбыться.

Дача наша состояла из деревянного барского дома с колоннами и двух низеньких флигельков; во флигеле налево помещалась крохотная фабрика дешевых обоев... Я не раз хаживал туда смотреть, как десяток худых и взъерошенных мальчишек в засаленных халатах и с испитыми лицами то и дело вскакивали на деревянные рычаги, нажимавшие четырехугольные обрубки пресса, и таким образом тяжестью своих тщедушных тел вытискивали пестрые узоры обоев. Флигелек направо стоял пустой и отдавался внаймы. В один день – недели три спустя после девятого мая – ставни в окнах этого флигелька открылись, показались в них женские лица – какое-то семейство в нем поселилось. Помнится, в тот же день за обедом матушка осведомилась у дворецкого о том, кто были наши новые соседи, и, услышав фамилию княгини Засекиной, сперва промолвила не без некоторого уважения: «А! княгиня... – а потом прибавила: – Должно быть, бедная какая-нибудь».

– На трех извозчиках приехали-с, – заметил, почтительно подавая блюдо, дворецкий, – своего экипажа не имеют-с, и мебель самая пустая.

– Да, – возразила матушка, – а все-таки лучше.

Отец холодно взглянул на нее: она умолкла.

Действительно, княгиня Засекина не могла быть богатой женщиной: нанятый ею флигелек был так ветх, и мал, и низок, что люди, хотя несколько зажиточные, не согласились бы поселиться в нем. Впрочем, я тогда пропустил это все мимо ушей. Княжеский титул на меня мало действовал: я недавно прочел «Разбойников» Шиллера.

II

У меня была привычка бродить каждый вечер с ружьем по нашему саду и караулить ворон. К этим осторожным, хищным и лукавым птицам я издавна чувствовал ненависть. В день, о котором зашла речь, я также отправился в сад – и, напрасно исходив все аллеи (вороны меня признали и только издали отрывисто каркали), случайно приблизился к низкому забору, отделявшему собственно *наши* владения от узенькой полосы сада, простиравшейся за флигель-

ком направо и принадлежавшей к нему. Я шел потупя голову. Вдруг мне послышались голоса; я взглянул через забор – и окаменел... Мне представилось странное зрелище.

В нескольких шагах от меня – на поляне, между кустами зеленой малины, стояла высокая, стройная девушка в полосатом розовом платье и с белым платочком на голове; вокруг нее теснились четыре молодые человека, и она поочередно хлопала их по лбу теми небольшими серыми цветками, которых имени я не знаю, но которые хорошо знакомы детям: эти цветки образуют небольшие мешочки и разрываются с треском, когда хлопнешь ими по чему-нибудь твердому. Молодые люди так охотно подставляли свои лбы – а в движениях девушки (я ее видел сбоку) было что-то такое очаровательное, повелительное, ласкающее, насмешливое и милое, что я чуть не вскрикнул от удивления и удовольствия и, кажется, тут же бы отдал все на свете, чтобы только и меня эти прелестные пальчики хлопнули по лбу. Ружье мое соскользнуло на траву, я все забыл, я пожирал взором этот стройный стан, и шейку, и красивые руки, и слегка растрепанные белокурые волосы под белым платочком, и этот полузакрытый умный глаз, и эти ресницы, и нежную щеку под ними...

– Молодой человек, а молодой человек, – проговорил вдруг подле меня чей-то голос, – разве позволительно глядеть так на чужих барышень?

Я вздрогнул весь, я обомлел... Возле меня за забором стоял какой-то человек с коротко остриженными черными волосами и иронически посматривал на меня. В это самое мгновение и девушка обернулась ко мне... Я увидел огромные серые глаза на подвижном, оживленном лице – и все это лицо вдруг задрожало, засмеялось, белые зубы сверкнули на нем, брови как-то забавно поднялись... Я вспыхнул, схватил с земли ружье и, преследуемый звонким, но не злым хохотаньем, убежал к себе в комнату, бросился на постель и закрыл лицо руками. Сердце во мне так и прыгало; мне было очень стыдно и весело: я чувствовал небывалое волнение.

Отдохнув, я причесался, почистился и сошел вниз к чаю. Образ молодой девушки носился передо мною, сердце перестало прыгать, но как-то приятно сжималось.

– Что с тобой? – внезапно спросил меня отец, – убил ворону?

Я хотел было все рассказать ему, но удержался и только улыбнулся про себя. Ложась спать, я, сам не знаю зачем, раза три повернулся на одной ноге, намадился, лег и всю ночь спал как убитый. Перед утром я проснулся на мгновение, приподнял голову, посмотрел вокруг себя с восторгом – и опять заснул.

III

«Как бы с ними познакомиться?» – было первое моею мыслью, как только я проснулся поутру. Я перед чаем отправился в сад, но не подходил слишком близко к забору и никого не видел. После чаю я прошелся несколько раз по улице перед дачей – и издали заглядывал в окна... Мне почудилось за занавеской ее лицо, и я с испугом поскорее удалился. «Однако надо же познакомиться, – думал я, беспорядочно расхаживая по песчаной равнине, расстилавшейся перед Нескучным, – но как? Вот в чем вопрос». Я припоминал малейшие подробности вчерашней встречи: мне почему-то особенно ясно представлялось, как это она посмеялась надо мною... Но, пока я волновался и строил различные планы, судьба уже порадела обо мне.

В мое отсутствие матушка получила от новой своей соседки письмо на серой бумаге, запечатанной бурным сургучом, какой употребляется только на почтовых повестках да на пробках дешевого вина. В этом письме, написанном безграмотным языком и неопрятным почерком, княгиня просила матушку оказать ей покровительство: матушка моя, по словам княгини, была хорошо знакома с значительными людьми, от которых зависела ее участь и участь ее детей, так как у ней были очень важные процессы. «Я к вам обращаюсь, – писала она, – как благородная дама хблагородной даме, и при том мне прятно воспользоватца сим случаем». Кончая, она просила у матушки позволения явиться к ней. Я застал матушку в неприятном располо-

жении духа: отца не было дома, и ей не с кем было посоветоваться. Не отвечать «благородной даме», да еще княгине, было невозможно, а как отвечать – матушка недоумевала. Написать записку по-французски казалось ей неуместным, а в русской орфографии сама матушка не была сильна – и знала это и не хотела компрометироваться. Она обрадовалась моему приходу и тотчас приказала мне сходить к княгине и на словах объяснить ей, что матушка, мол, моя всегда готова оказать ее сиятельству, по мере сил, услугу и просит ее пожаловать к ней часу в первом. Неожиданно быстрое исполнение моих тайных желаний меня и обрадовало и испугало; однако я не выказал овладевшего мною смущения – и предварительно отправился к себе в комнату, чтобы надеть новенький галстук и сюртучок: дома я еще ходил в куртке и в отложных воротничках, хотя очень ими тяготился.

IV

В тесной и неопрятной передней флигелька, куда я вступил с невольной дрожью во всем теле, встретил меня старый и седой слуга с темным, медного цвета, лицом, свинными угрюмыми глазками и такими глубокими морщинами на лбу и на висках, каких я в жизни не видывал. Он нес на тарелке обглоданный хребет селедки и, притворяя ногою дверь, ведущую в другую комнату, отрывисто проговорил:

– Чего вам?

– Княгиня Засекина дома? – спросил я.

– Вонифатий! – закричал из-за двери дребезжащий женский голос.

Слуга молча повернулся ко мне спиной, причем обнаружилась сильно истертая спинка его ливреи, с одинокой порыжелой гербовой пуговицей, и ушел, поставив тарелку на пол.

– В квартал ходил? – повторил тот же женский голос. Слуга пробормотал что-то. – А?.. Пришел кто-то?.. – слышалось опять. – Барчук соседний? Ну, проси.

– Пожалуйста-с в гостиную, – проговорил слуга, появившись снова передо мною и поднимая тарелку с полу.

Я оправился и вошел в «гостиную».

Я очутился в небольшой и не совсем опрятной комнате с бедной, словно наскоро расставленной мебелью. У окна, на кресле с отломанной ручкой, сидела женщина лет пятидесяти, простоволосая и некрасивая, в зеленом старом платье и с пестрой гарусной косынкой вокруг шеи. Ее небольшие черные глазки так и впились в меня.

Я подошел к ней и раскланялся.

– Я имею честь говорить с княгиней Засекиной?

– Я княгиня Засекина; а вы сын господина В.?

– Точно так-с. Я пришел к вам с поручением от матушки.

– Садитесь, пожалуйста. Вонифатий! где мои ключи, не видал?

Я сообщил г-же Засекиной ответ моей матушки на ее записку. Она выслушала меня, постукивая толстыми красными пальцами по оконнице, а когда я кончил, еще раз уставилась на меня.

– Очень хорошо; непременно буду, – промолвила она наконец. – А как вы еще молоды! Сколько вам лет, позвольте спросить?

– Шестнадцать лет, – отвечал я с невольной запинкой.

Княгиня достала из кармана какие-то исписанные, засаленные бумаги, поднесла их к самому носу и принялась перебирать их.

– Годы хорошие, – произнесла она внезапно, поворачиваясь и ерзая на стуле. – А вы, пожалуйста, будьте без церемонии. У меня просто.

«Слишком просто», – подумал я, с невольной гадливостью окидывая взором всю ее неблагообразную фигуру.

В это мгновение другая дверь гостиной быстро распахнулась, и на пороге появилась девушка, которую я видел накануне в саду. Она подняла руку, и на лице ее мелькнула усмешка.

– А вот и дочь моя, – промолвила княгиня, указав на нее локтем. – Зиночка, сын нашего соседа, господина В. Как вас зовут, позвольте узнать?

– Владимиром, – отвечал я, вставая и пришепетывая от волнения.

– А по батюшке?

– Петровичем.

– Да! У меня был полицеймейстер знакомый, тоже Владимиром Петровичем звали. Вонифатий! не ищи ключей, ключи у меня в кармане.

Молодая девушка продолжала глядеть на меня с прежней усмешкой, слегка шурясь и склонив голову немного набок.

– Я уже видела мсье Вольдемара, – начала она. (Серебристый звук ее голоса пробежал по мне каким-то сладким холодком.) – Вы мне позволите так называть вас?

– Помилуйте-с, – пролепетал я.

– Где это? – спросила княгиня.

Княжна не отвечала своей матери.

– Вы теперь заняты? – промолвила она, не спуская с меня глаз.

– Никак нет-с.

– Хотите вы мне помочь шерсть распутать? Подите сюда, ко мне.

Она кивнула мне головой и пошла вон из гостиной. Я отправился вслед за ней.

В комнате, куда мы вошли, мебель была немного получше и расставлена с ббльшим вкусом. Впрочем, в это мгновение я почти ничего заметить не мог: я двигался как во сне и ощущал во всем составе своем какое-то до глупости напряженное благополучие.

Княжна села, достала связку красной шерсти и, указав мне на стул против нее, старательно развязала связку и положила мне ее на руки. Все это она делала молча, с какой-то забавной медлительностью и с той же светлой и лукавой усмешкой на чуть-чуть раскрытых губах. Она начала наматывать шерсть на перегнутую карту и вдруг озарила меня таким ясным и быстрым взглядом, что я невольно потупился. Когда ее глаза, большую частью полуприщуренные, открывались во всю величину свою, – ее лицо изменялось совершенно: точно свет проливался по нем.

– Что вы подумали обо мне вчера, мсье Вольдемар? – спросила она погодя немного. – Вы, наверно, осудили меня?

– Я... княжна... я ничего не думал... как я могу... – отвечал я с смущением.

– Послушайте, – возразила она. – Вы меня еще не знаете: я престранная; я хочу, чтоб мне всегда правду говорили. Вам, я слышала, шестнадцать лет, а мне двадцать один: вы видите, я гораздо старше вас, и потому вы всегда должны мне говорить правду... и слушаться меня, – прибавила она. – Глядите на меня – отчего вы на меня не глядите?

Я смутился еще более, однако поднял на нее глаза. Она улыбнулась, только не прежней, а другой, одобрительной улыбкой.

– Глядите на меня, – промолвила она, ласково понижая голос, – мне это не неприятно... Мне ваше лицо нравится; я предчувствую, что мы будем друзьями. А я вам нравлюсь? – прибавила она лукаво.

– Княжна... – начал было я.

– Во-первых, называйте меня Зинаидой Александровной, а во-вторых, что это за привычка у детей (она поправилась) – у молодых людей – не говорить прямо то, что они чувствуют? Это хорошо для взрослых. Ведь я вам нравлюсь?

Хотя мне очень было приятно, что она так откровенно со мной говорила, однако я немного обиделся. Я хотел показать ей, что она имеет дело не с мальчиком, и, приняв по возможности развязный и серьезный вид, промолвил:

– Конечно, вы очень мне нравитесь, Зинаида Александровна; я не хочу это скрывать. Она с расстановкой покачала головой.

– У вас есть гувернер? – спросила она вдруг.

– Нет, у меня уже давно нет гувернера.

Я лгал; еще месяца не прошло с тех пор, как я расстался с моим французом.

– О! да я вижу – вы совсем большой.

Она легонько ударила меня по пальцам.

– Держите прямо руки! – И она прилежно занялась наматыванием клубка.

Я воспользовался тем, что она не поднимала глаз, и принялся ее рассматривать, сперва украдкой, потом все смелее и смелее. Лицо ее показалось мне еще прелестнее, чем накануне: так все в нем было тонко, умно и мило. Она сидела спиной к окну, завешенному белой сторой; солнечный луч, пробиваясь сквозь эту стору, обливал мягким светом ее пушистые золотистые волосы, ее невинную шею, покатые плечи и нежную, спокойную грудь. Я глядел на нее – и как дорогá и близка становилась она мне! Мне сдавалось, что и давно-то я ее знаю и ничего не знал и не жил до нее... На ней было темненькое, уже поношенное, платье с передником; я, кажется, охотно поласкал бы каждую складку этого платья и этого передника. Кончики ее ботинок выглядывали из-под ее платья: я бы с обожанием преклонился к этим ботинкам... «И вот я сижу перед ней, – подумал я, – я с ней познакомился... какое счастье, боже мой!» Я чуть не соскочил со стула от восторга, но только ногами немного поболтал, как ребенок, который лакомится.

Мне было хорошо, как рыбе в воде, и я бы век не ушел из этой комнаты, не покинул бы этого места.

Ее веки тихо поднялись, и опять ласково засияли передо мною ее светлые глаза – и опять она усмехнулась.

– Как вы на меня смотрите, – медленно проговорила она и погрозила мне пальцем.

Я покраснел... «Она все понимает, она все видит, – мелькнуло у меня в голове. – И как ей всего не понимать и не видеть!»

Вдруг что-то застучало в соседней комнате – зазвенела сабля.

– Зина! – закричала в гостиной княгиня, – Беловзоров принес тебе котенка.

– Котенка! – воскликнула Зинаида и, стремительно поднявшись со стула, бросила клубок мне на колени и выбежала вон.

Я тоже встал и, положив связку шерсти и клубок на оконницу, вышел в гостиную и остановился в недоумении. Посредине комнаты лежал, растопыря лапки, полосатый котенок; Зинаида стояла перед ним на коленях и осторожно поднимала ему мордочку. Возле княгини, заслонив почти весь простенок между окнами, виднелся белокурый и курчавый молодец, гусар с румяным лицом и глазами навывкате.

– Какой смешной! – твердила Зинаида, – и глаза у него не серые, а зеленые, и уши какие большие. Спасибо вам, Виктор Егорыч! Вы очень милы.

Гусар, в котором я узнал одного из виденных мною накануне молодых людей, улыбнулся и поклонился, причем щелкнул шпорами и брякнул колечками сабли.

– Вам угодно было вчера сказать, что вы желаете иметь полосатого котенка с большими ушами... вот, я и достал-с. Слово – закон. – И он опять поклонился.

Котенок слабо пискнул и начал нюхать пол.

– Он голоден! – воскликнула Зинаида. – Вонифатий! Соня! принесите молока.

Горничная, в старом желтом платье с полинялым платочком на шее, вошла с блюдечком молока в руке и поставила его перед котенком. Котенок дрогнул, зажмурился и принялся лакать.

– Какой у него розовый язычок, – заметила Зинаида, пригнув голову почти к полу и заглядывая ему сбоку под самый нос.

Котенок насытился и замурлыкал, жеманно перебирая лапками. Зинаида встала и, обернувшись к горничной, равнодушно промолвила:

– Унеси его.

– За котенка – ручку, – проговорил гусар, осклабясь и передернув всем своим могучим телом, туго затянутым в новый мундир.

– Обе, – возразила Зинаида и протянула к нему руки. Пока он целовал их, она смотрела на меня через плечо.

Я стоял неподвижно на одном месте и не знал – засмеяться ли мне, сказать ли что-нибудь, или так промолчать. Вдруг, сквозь раскрытую дверь передней, мне бросилась в глаза фигура нашего лакея Федора. Он делал мне знаки. Я машинально вышел к нему.

– Что ты? – спросил я.

– Маменька прислали за вами, – проговорил он шепотом. – Оне гневаются, что вы с ответом не ворочаетесь.

– Да разве я давно здесь?

– Час с лишком.

– Час с лишком! – повторил я невольно и, вернувшись в гостиную, начал раскланиваться и шаркать ногами.

– Куда вы? – спросила меня княжна, взглянув из-за гусара.

– Мне нужно домой-с. Так я скажу, – прибавил я, обращаясь к старухе, – что вы пожелаете к нам во втором часу.

– Так и скажите, батюшка.

Княгиня торопливо достала табакерку и так шумно понюхала, что я даже вздрогнул.

– Так и скажите, – повторила она, слезливо моргая и кряхтя.

Я еще раз поклонился, повернулся и вышел из комнаты с тем чувством неловкости в спине, которое ощущает очень молодой человек, когда он знает, что ему глядят след.

– Смотрите же, мсье Вольдемар, заходите к нам, – крикнула Зинаида и опять рассмеялась.

«Что это она все смеется?» – думал я, возвращаясь домой в сопровождении Федора, который ничего мне не говорил, но двигался за мной неодобрительно. Матушка меня побранила и удивилась: что я мог так долго делать у этой княгини? Я ничего не отвечал ей и отправился к себе в комнату. Мне вдруг стало очень грустно... Я силился не плакать... Я ревновал к гусару.

V

Княгиня, по обещанию, навестила матушку и не понравилась ей. Я не присутствовал при их свидании, но за столом матушка рассказывала отцу, что эта княгиня Засекина ей кажется une femme très vulgaire¹³, что она очень ей надоела своими просьбами ходатайствовать за нее у князя Сергия, что у ней все какие-то тяжбы и дела – des vilaines affaires d'argent¹⁴ – и что она должна быть великая кляузница. Матушка, однако же, прибавила, что она позвала ее с дочерью на завтрашний день обедать (услыхав слово «с дочерью», я уткнул нос в тарелку), потому что она все-таки соседка, и с именем. На это отец объявил матушке, что он теперь припоминает, какая это госпожа; что он в молодости знал покойного князя Засекина, отлично воспитанного, но пустого и вздорного человека; что его в обществе звали «le Parisien»¹⁵, по причине его долгого житья в Париже; что он был очень богат, но проиграл все свое состояние – и неизвестно почему, чуть ли не из-за денег, – впрочем, он бы мог лучше выбрать, – прибавил

¹³ женщиной весьма вульгарной (фр.).

¹⁴ гадкие денежные дела (фр.).

¹⁵ «Парижанин» (фр.).

отец и холодно улыбнулся, – женился на дочери какого-то приказного, а женившись, пустился в спекуляции и разорился окончательно.

– Как бы она денег займы не попросила, – заметила матушка.

– Это весьма возможно, – спокойно промолвил отец. – Говорит она по-французски?

– Очень плохо.

– Гм. Впрочем, это все равно. Ты мне, кажется, сказала, что ты и дочь ее позвала; меня кто-то уверял, что она очень милая и образованная девушка.

– А! Стало быть, она не в мать.

– И не в отца, – возразил отец. – Тот был тоже образован, да глуп.

Матушка вздохнула и задумалась. Отец умолк. Мне было очень неловко в течение этого разговора.

После обеда я отправился в сад, но без ружья. Я дал было себе слово не подходить к «засекинскому саду», но неотразимая сила влекла меня туда – и не даром. Не успел я приблизиться к забору, как увидел Зинаиду. На этот раз она была одна. Она держала в руках книжку и медленно шла по дорожке. Она меня не замечала.

Я чуть-чуть не пропустил ее; но вдруг спохватился и кашлянул.

Она обернулась, но не остановилась, отвела рукою широкую голубую ленту своей круглой соломенной шляпы, посмотрела на меня, тихонько улыбнулась и опять устремила глаза в книжку.

Я снял фуражку и, помявшись немного на месте, пошел прочь с тяжелым сердцем. «*Que suis-je pour elle?*»¹⁶ – подумал я (бог знает почему) по-французски.

Знакомые шаги раздались за мною: я оглянулся – ко мне своей быстрой и легкой походкой шел отец.

– Это княжна? – спросил он меня.

– Княжна.

– Разве ты ее знаешь?

– Я ее видел сегодня утром у княгини.

Отец остановился и, круто повернувшись на каблуках, пошел назад. Поравнявшись с Зинаидой, он вежливо ей поклонился. Она также ему поклонилась, не без некоторого изумления на лице, и опустила книгу. Я видел, как она провожала его глазами. Мой отец всегда одевался очень изящно, своеобразно и просто; но никогда его фигура не показалась мне более стройной, никогда его серая шляпа не сидела красивее на его едва поредевших кудрях.

Я направился было к Зинаиде, но она даже не взглянула на меня, снова приподняла книгу и удалилась.

VI

Целый вечер и следующее утро я провел в каком-то унылом онемении. Помнится, я попытался работать и взялся за Кайданова – но напрасно мелькали передо мною разгонистые строчки и страницы знаменитого учебника. Десять раз сряду прочел я слова: «Юлий Цезарь отличался воинской отвагой» – не понял ничего и бросил книгу. Перед обедом я опять напоялся и опять надел сюртучок и галстук.

– Это зачем? – спросила матушка. – Ты еще не студент, и бог знает, выдержишь ли ты экзамен. Да и давно ли тебе сшили куртку? Не бросать же ее!

– Гости будут, – прошептал я почти с отчаянием.

– Вот вздор! какие это гости!

¹⁶ «Что я для нее?» (фр.).

Надо было покориться. Я заменил сюртучок курткой, но галстука не снял. Княгиня с дочерью явилась за полчаса до обеда; старуха сверх зеленого, уже знакомого мне платья накинула желтую шаль и надела старомодный чепец с лентами огненного цвета. Она тотчас заговорила о своих векселях, вздыхала, жаловалась на свою бедность, «канючила», но нисколько не чинилась: так же шумно нюхала табак, так же свободно поворачивалась и ерзала на стуле. Ей как будто и в голову не входило, что она княгиня. Зато Зинаида держала себя очень строго, почти надменно, настоящей княжной. На лице ее появилась холодная неподвижность и важность – и я не узнавал ее, не узнавал ее взглядов, ее улыбки, хотя и в этом новом виде она мне казалась прекрасной. На ней было легкое барежевое платье с бледно-синими разводами; волосы ее падали длинными локонами вдоль щек – на английский манер; эта прическа шла к холодному выражению ее лица. Отец мой сидел возле нее во время обеда и со свойственной ему изящной и спокойной вежливостью занимал свою соседку. Он изредка взглядывал на нее – и она изредка на него взглядывала, да так странно, почти враждебно. Разговор у них шел по-французски; меня, помнится, удивила чистота Зинаидина произношения. Княгиня, во время стола, по-прежнему ничем не стеснялась, много ела и хвалила кушанья. Матушка видимо ею тяготилась и отвечала ей с каким-то грустным пренебрежением; отец изредка чуть-чуть морщил брови. Зинаида также не понравилась матушке.

– Это какая-то гордячка, – говорила она на следующий день. – И подумаешь – чего гордиться – *avec sa mine de grisette!*¹⁷

– Ты, видно, не видала гризеток, – заметил ей отец.

– И слава богу!

– Разумеется, слава богу... только как же ты можешь судить о них?

На меня Зинаида не обращала решительно никакого внимания. Скоро после обеда княгиня стала прощаться.

– Буду надеяться на ваше покровительство, Марья Николаевна и Петр Васильич, – сказала она нараспев матушке и отцу. – Что делать! Были времена, да прошли. Вот и я – сиятельная, – прибавила она с неприятным смехом, – да что за честь, коли нечего есть.

Отец почтительно ей поклонился и проводил ее до двери передней. Я стоял тут же в своей куцей куртке и глядел на пол, словно к смерти приговоренный. Обращение Зинаиды со мной меня окончательно убило. Каково же было мое удивление, когда, проходя мимо меня, она скороговоркой и с прежним ласковым выражением в глазах шепнула мне:

– Приходите к нам в восемь часов, слышите, непременно...

Я только развел руками – но она уже удалилась, накинув на голову белый шарф.

VII

Ровно в восемь часов я в сюртуке и с приподнятым на голове коком входил в переднюю флигелька, где жила княгиня. Старик слуга угрюмо посмотрел на меня и неохотно поднялся с лавки. В гостиной раздавались веселые голоса. Я отворил дверь и отступил в изумлении. Посреди комнаты, на стуле, стояла княжна и держала перед собой мужскую шляпу; вокруг стула толпилось пятеро мужчин. Они старались запустить руки в шляпу, а она поднимала ее кверху и сильно встряхивала ею. Увидевши меня, она вскрикнула:

– Постойте, постойте! новый гость, надо и ему дать билет, – и, легко соскочив со стула, взяла меня за обшлаг сюртука. – Пойдемте же, – сказала она, – что вы стоите? *Messieurs*¹⁸, позвольте вас познакомить: это мсье Вольдемар, сын нашего соседа. А это, – прибавила она, обращаясь ко мне и указывая поочередно на гостей, – граф Малевский, доктор Лушин, поэт

¹⁷ С манерой гризетки (*фр.*).

¹⁸ Господа (*фр.*).

Майданов, отставной капитан Нирмацкий и Беловзоров, гусар, которого вы уже видели. Прошу любить да жаловать.

Я до того сконфузился, что даже не поклонился никому; в докторе Лушине я узнал того самого черномазого господина, который так безжалостно меня пристыдил в саду; остальные были мне незнакомы.

– Граф! – продолжала Зинаида, – напишите мсье Вольдемару билет.

– Это несправедливо, – возразил с легким польским акцентом граф, очень красивый и щегольски одетый брюнет, с выразительными карими глазами, узким белым носиком и тонкими усиками над крошечным ртом. – Они не играли с нами в фанты.

– Несправедливо, – повторили Беловзоров и господин, названный отставным капитаном, человек лет сорока, рябой до безобразия, курчавый как арап, сутуловатый, кривоногий и одетый в военный сюртук без эполет, нараспашку.

– Пишите билет, говорят вам, – повторила княжна. – Это что за бунт? Мсье Вольдемар с нами в первый раз, и сегодня для него закон не писан. Нечего ворчать, пишите, я так хочу.

Граф пожал плечами, но наклонил покорно голову, взял перо в белую, перстнями украшенную руку, оторвал клочок бумаги и стал писать на нем.

– По крайней мере, позвольте объяснить господину Вольдемару, в чем дело, – начал насмешливым голосом Лушин, – а то он совсем растерялся. Видите ли, молодой человек, мы играем в фанты; княжна подверглась штрафу, и тот, кому вынется счастливый билет, будет иметь право поцеловать у ней ручку. Поняли вы, что я вам сказал?

Я только взглянул на него и продолжал стоять как отуманенный, а княжна снова вскочила на стул и снова принялась встряхивать шляпой. Все к ней потянулись – и я за другими.

– Майданов, – сказала княжна высокому молодому человеку с худощавым лицом, маленькими слепыми глазками и чрезвычайно длинными черными волосами, – вы, как поэт, должны быть великодушны и уступить ваш билет мсье Вольдемару, так, чтобы у него было два шанса вместо одного.

Но Майданов отрицательно покачал головой и взмахнул волосами. Я после всех опустил руку в шляпу, взял и развернул билет... Господи! что случилось со мною, когда я увидел на нем слово: поцелуй!

– Поцелуй! – вскрикнул я невольно.

– Bravo! он выиграл, – подхватила княжна. – Как я рада! – Она сошла со стула и так ясно и сладко заглянула мне в глаза, что у меня сердце покатилося. – А вы рады? – спросила она меня.

– Я?... – пролепетал я.

– Продайте мне свой билет, – брякнул вдруг над самым моим ухом Беловзоров. – Я вам сто рублей дам.

Я отвечал гусару таким негодующим взором, что Зинаида захлопала в ладоши, а Лушин воскликнул: молодец!

– Но, – продолжал он, – я, как церемониймейстер, обязан наблюдать за исполнением всех правил. Мсье Вольдемар, опуститесь на одно колено. Так у нас заведено.

Зинаида стала передо мной, наклонила немного голову набок, как бы для того, чтобы лучше рассмотреть меня, и с важностью протянула мне руку. У меня помутилось в глазах; я хотел было опуститься на одно колено, упал на оба – и так неловко прикоснулся губами к пальцам Зинаиды, что слегка оцарапал себе конец носа ее ногтем.

– Добре! – закричал Лушин и помог мне встать.

Игра в фанты продолжалась. Зинаида посадила меня возле себя. Каких ни придумывала она штрафов! Ей пришлось, между прочим, представлять «статую» – и она в пьедестал себе выбрала безобразного Нирмацкого, велела ему лечь ничком, да еще уткнуть лицо в грудь. Хохот не умолкал ни на мгновение. Мне, уединенно и трезво воспитанному мальчику, вырос-

шему в барском степенном доме, весь этот шум и гам, эта бесцеремонная, почти буйная веселость, эти небывалые сношения с незнакомыми людьми так и бросились в голову. Я просто опьянел, как от вина. Я стал хохотать и болтать громче других, так что даже старая княгиня, сидевшая в соседней комнате с каким-то приказным от Иверских ворот, позванным для совещания, вышла посмотреть на меня. Но я чувствовал себя до такой степени счастливым, что, как говорится, в ус не дул и в грош не ставил ничьих насмешек и ничьих косых взглядов. Зинаида продолжала оказывать мне предпочтение и не отпускала меня от себя. В одном штрафе мне довелось сидеть с ней рядом, накрывшись одним и тем же шелковым платком: я должен был сказать ей *свой секрет*. Помню я, как наши обе головы вдруг очутились в душной, полупрозрачной, пахучей мгле, как в этой мгле близко и мягко светились ее глаза и горячо дышали раскрытые губы, и зубы виднелись, и концы ее волос меня щекотали и жгли. Я молчал. Она улыбалась таинственно и лукаво и наконец шепнула мне: «Ну, что же?», а я только краснел, и смеялся, и отворачивался, и едва переводил дух. Фанты наскучили нам, – мы стали играть в веревочку. Боже мой! какой я почувствовал восторг, когда, зазевавшись, получил от ней сильный и резкий удар по пальцам и как потом я нарочно старался показывать вид, что зазевываюсь, а она дразнила меня и не трогала подставляемых рук!

Да то ли мы еще проделывали в течение этого вечера! Мы и на фортепьяно играли, и пели, и танцевали, и представляли цыганский табор. Нирмацкого одели медведем и напоили водою с солью. Граф Малевский показывал нам разные карточные фокусы и кончил тем, что, перетасовавши карты, сдал себе в вист все козыри, с чем Лушин «имел честь его поздравить». Майданов декламировал нам отрывки из поэмы своей «Убийца» (дело происходило в самом разгаре романтизма), которую он намеревался издать в черной обертке с заглавными буквами кровавого цвета; у приказного от Иверских ворот украли с колен шапку и заставили его, в виде выкупа, проплясать казачка; старика Вонифатия нарядили в чепец, а княжна надела мужскую шляпу... Всего не перечислишь. Один Беловзоров все больше держался в углу, нахмуренный и сердитый... Иногда глаза его наливались кровью, он весь краснел, и казалось, что вот-вот он сейчас ринется на всех нас и расшвыряет нас, как щепки, во все стороны; но княжна взглядывала на него, грозила ему пальцем, и он снова забивался в свой угол.

Мы, наконец, выбились из сил. Княгиня уж на что была, как сама выражалась, ходка – никакие крики ее не смущали, – однако и она почувствовала усталость и пожелала отдохнуть. В двенадцатом часу ночи подали ужин, состоявший из куса старого, сухого сыру и каких-то холодных пирожков с рубленой ветчиной, которые мне показались вкуснее всяких паштетов; вина была всего одна бутылка, и та какая-то странная: темная, с раздутым горлышком, и вино в ней отдавало розовой краской: впрочем, его никто не пил. Усталый и счастливый до изнеможения, я вышел из флигеля; на прощанье Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадочно улыбнулась.

Ночь тяжело и сыро пахнула мне в разгоряченное лицо; казалось, готовилась гроза; черные тучи росли и ползли по небу, видимо меняя свои дымные очертания. Ветерок беспокойно содрогался в темных деревьях, и где-то далеко за небосклоном, словно про себя, ворчал гром сердито и глухо.

Через заднее крыльцо пробрался я в свою комнату. Дядька мой спал на полу, и мне пришлось перешагнуть через него; он проснулся, увидел меня и доложил, что матушка опять на меня рассердилась и опять хотела послать за мною, но что отец ее удержал. (Я никогда не ложился спать, не простившись с матушкой и не испросивши ее благословения.) Нечего было делать!

Я сказал дядьке, что разденусь и лягу сам, – и погасил свечку. Но я не разделся и не лег.

Я присел на стул и долго сидел как очарованный. То, что я ощущал, было так ново и так сладко... Я сидел, чуть-чуть озираясь и не шевелясь, медленно дышал и только по временам то молча смеялся, вспоминая, то внутренне холодел при мысли, что я влюблен, что вот она,

вот эта любовь. Лицо Зинаиды тихо плыло передо мною во мраке – плыло и не проплывало; губы ее все так же загадочно улыбались, глаза глядели на меня немного сбоку, вопросительно, задумчиво и нежно... как в то мгновение, когда я расстался с ней. Наконец я встал, на цыпочках подошел к своей постели и осторожно, не раздеваясь, положил голову на подушку, как бы страхась резким движением потревожить то, чем я был переполнен...

Я лег, но даже глаз не закрыл. Скоро я заметил, что ко мне в комнату беспрестанно западали какие-то слабые отсветы. Я приподнялся и глянул в окно. Переплет его четко отделялся от таинственно и смутно белевших стекол. «Гроза», – подумал я, – и точно была гроза, но она проходила очень далеко, так что и грома не было слышно; только на небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвленные молнии: они не столько вспыхивали, сколько трепетали и подергивались, как крыло умирающей птицы. Я встал, подошел к окну и простоял там до утра... Молнии не прекращались ни на мгновение; была, что называется в народе, *воробьиная* ночь. Я глядел на немое песчаное поле, на темную массу Нескучного сада, на желтоватые фасады далеких зданий, тоже как будто вздрагивавших при каждой слабой вспышке... Я глядел – и не мог оторваться; эти немые молнии, эти сдержанные блистания, казалось, отвечали тем немым и тайным порывам, которые вспыхивали также во мне. Утро стало занимать алыми пятнами выступила заря. С приближением солнца все бледнели и сокращались молнии: они вздрагивали все реже и реже и исчезли наконец, затопленные отрезвляющим и несомнительным светом возникавшего дня...

И во мне исчезли мои молнии. Я почувствовал большую усталость и тишину... но образ Зинаиды продолжал носиться, торжествуя, над моею душой. Только он сам, этот образ, казался успокоенным: как полетевший лебедь – от болотных трав, отделился он от окружавших его других неблагоприятных фигур, и я, засыпая, в последний раз припал к нему с прощальным и доверчивым обожанием...

О краткие чувства, мягкие звуки, доброта и утихание тронутой души, тающая радость первых умилений любви, – где вы, где вы?

VIII

На следующее утро, когда я сошел к чаю, матушка побранила меня – меньше, однако, чем я ожидал – и заставила меня рассказать, как я провел накануне вечер. Я отвечал ей в немногих словах, выпуская многие подробности и стараясь придать всему вид самый невинный.

– Все-таки они люди не *comme il faut*, – заметила матушка, – и тебе нечего к ним таскаться, вместо того чтоб готовиться к экзамену да заниматься.

Так как я знал, что заботы матушки о моих занятиях ограничатся этими немногими словами, то я и не почел нужным возражать ей; но после чаю отец меня взял под руку и, отправившись вместе со мною в сад, заставил меня рассказать все, что я видел у Засекиных.

Странное влияние имел на меня отец – и странные были наши отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня; он уважал мою свободу – он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною... Только он не допускал меня до себя. Я любил его, я любовался им, он казался мне образцом мужчины – и, боже мой, как бы я страстно к нему привязался, если б я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки! Зато, когда он хотел, он умел почти мгновенно, одним словом, одним движением возбудить во мне неограниченное доверие к себе. Душа моя раскрывалась – я болтал с ним, как с разумным другом, как с снисходительным наставником... Потом он так же внезапно покидал меня – и рука его опять отклоняла меня, ласково и мягко, но отклоняла.

На него находила иногда веселость, и тогда он готов был резвиться и шалить со мной, как мальчик (он любил всякое сильное телесное движение); раз – всего только раз! – он приласкал меня с такою нежностью, что я чуть не заплакал... Но и веселость его и нежность исче-

зали без следа – и то, что происходило между нами, не давало мне никаких надежд на будущее, точно я все это во сне видел. Бывало, стану я рассматривать его умное, красивое, светлое лицо... сердце мое задрожит, все существо мое устремится к нему... он словно почувствует, что во мне происходит, мимоходом потреплет меня по щеке – и либо уйдет, либо займется чем-нибудь, либо вдруг весь застынет, как он один умел застывать, и я тотчас же сожмусь и тоже похолодею. Редкие припадки его расположения ко мне никогда не были вызваны моими безмолвными, но понятными мольбами: они приходили всегда неожиданно. Размышляя впоследствии о характере моего отца, я пришел к тому заключению, что ему было не до меня и не до семейной жизни; он любил другое и наслаждался этим другим вполне. «Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать – в этом вся штука жизни», – сказал он мне однажды. В другой раз я в качестве молодого демократа пустился в его присутствии рассуждать о свободе (он в тот день был, как я это называл, «добрый»; тогда с ним можно было говорить о чем угодно).

– Свобода, – повторил он, – а знаешь ли ты, что может человеку дать свободу?

– Что?

– Воля, собственная воля, и власть она даст, которая лучше свободы. Умей хотеть – и будешь свободным, и командовать будешь.

Отец мой прежде всего и больше всего хотел жить – и жил... Быть может, он предчувствовал, что ему не придется долго пользоваться «штукой» жизни: он умер сорока двух лет.

Я подробно рассказал отцу мое посещение у Засекиных. Он полувнимательно, полурассеянно слушал меня, сидя на скамье и рисуя концом хлыстика на песке. Он изредка посмеивался, как-то светло и забавно поглядывал на меня и подзадоривал меня короткими вопросами и возражениями. Я сперва не решался даже выговорить имя Зинаиды, но не удержался и начал превозносить ее. Отец все продолжал посмеиваться. Потом он задумался, потянулся и встал.

Я вспомнил, что, выходя из дома, он велел оседлать себе лошадь. Он был отличный ездок – и умел, гораздо раньше г. Рери, укрощать самых диких лошадей.

– Я с тобой поеду, папаша? – спросил я его.

– Нет, – ответил он, и лицо его приняло обычное равнодушно-ласковое выражение. – Ступай один, коли хочешь; а кучеру скажи, что я не поеду.

Он повернулся ко мне спиной и быстро удалился. Я следил за ним глазами – он скрылся за воротами. Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора: он вошел к Засекиным.

Он остался у них не более часа, но тотчас же отправился в город и вернулся домой только к вечеру.

После обеда я сам пошел к Засекиным. В гостиной я застал одну старуху княгиню. Увидев меня, она почесала себе в голове под чепцом концом спицы и вдруг спросила меня, могу ли я переписать ей одну просьбу.

– С удовольствием, – отвечал я и присел на кончик стула.

– Только смотрите покрупнее буквы ставьте, – промолвила княгиня, подавая мне измятый лист, – да нельзя ли сегодня, батюшка?

– Сегодня же перепишу-с.

Дверь из соседней комнаты чуть-чуть отворилась – и в отверстии показалось лицо Зинаиды – бледное, задумчивое, с небрежно откинутыми назад волосами: она посмотрела на меня большими холодными глазами и тихо закрыла дверь.

– Зина, а Зина! – проговорила старуха.

Зинаида не откликнулась. Я унес просьбу старухи и целый вечер просидел над ней.

IX

Моя «страсть» началась с того дня. Я, помнится, почувствовал тогда нечто подобное тому, что должен почувствовать человек, поступивший на службу: я уже перестал быть просто молодым мальчиком; я был влюбленный. Я сказал, что с того дня началась моя страсть; я бы мог прибавить, что и страдания мои начались с того же самого дня. Я изнывал в отсутствие Зинаиды: ничего мне на ум не шло, все из рук валялось, я по целым дням напряженно думал о ней... Я изнывал... но в ее присутствии мне не становилось легче. Я ревновал, я сознавал свое ничтожество, я глупо дулся и глупо раболепствовал – и все-таки непреодолимая сила влекла меня к ней, и я всякий раз с невольной дрожью счастья переступал порог ее комнаты. Зинаида тотчас же догадалась, что я в нее влюбился, да я и не думал скрываться; она потешалась моей страстью, дурачила, баловала и мучила меня. Сладко быть единственным источником, самовластной и безответной причиной величайших радостей и глубочайшего горя для другого – а я в руках Зинаиды был как мягкий воск. Впрочем, не я один влюбился в нее: все мужчины, посещавшие ее дом, были от ней без ума – и она их всех держала на привязи, у своих ног. Ее забавляло возбуждать в них то надежды, то опасения, вертеть ими по своей прихоти (это она называла: стучать людей друг о друга) – а они и не думали сопротивляться и охотно покорялись ей. Во всем ее существе, живучем и красивом, была какая-то особенно обаятельная смесь хитрости и беспечности, искусственности и простоты, тишины и резвости; над всем, что она делала, говорила, над каждым ее движением носилась тонкая, легкая прелесть, во всем сказывалась своеобразная, играющая сила. И лицо ее беспрестанно менялось, играло тоже: оно выражало, почти в одно и то же время, – насмешливость, задумчивость и страстность. Разнообразнейшие чувства, легкие, быстрые, как тени облаков в солнечный ветреный день, перебежали то и дело по ее глазам и губам.

Каждый из ее поклонников был ей нужен. Беловзоров, которого она иногда называла «мой зверь», а иногда просто «мой», охотно кинулся бы за нее в огонь; не надеясь на свои умственные способности и прочие достоинства, он все предлагал ей жениться на ней, намекая на то, что другие только болтают. Майданов отвечал поэтическим струнам ее души: человек довольно холодный, как почти все сочинители, он напряженно уверял ее, а может быть, и себя, что он ее обожает, воспевал ее в нескончаемых стихах и читал их ей с каким-то и неестественным и искренним восторгом. Она и сочувствовала ему и чуть-чуть трунила над ним; она плохо ему верила и, наслушавшись его излияний, заставляла его читать Пушкина, чтобы, как она говорила, очистить воздух. Лушин, насмешливый, цинический на словах доктор, знал ее лучше всех – и любил ее больше всех, хотя бранил ее за глаза и в глаза. Она его уважала, но не спускала ему – и подчас с особенным, злорадным удовольствием давала ему чувствовать, что и он у ней в руках. «Я кокетка, я без сердца, я актерская натура, – сказала она ему однажды в моем присутствии, – а, хорошо! Так подайте ж вашу руку, я воткну в нее булавку, вам будет стыдно этого молодого человека, вам будет больно, а все-таки вы, господин правдивый человек, извольте смеяться». Лушин покраснел, отворотился, закусил губы, но кончил тем, что подставил руку. Она его уколола, и он точно начал смеяться... и она смеялась, запуская довольно глубоко булавку и заглядывая ему в глаза, которыми он напрасно бегал по сторонам...

Хуже всего я понимал отношения, существовавшие между Зинаидой и графом Малевским. Он был хорош собою, ловок и умен, но что-то сомнительное, что-то фальшивое чудилось в нем даже мне, шестнадцатилетнему мальчику, и я дивился тому, что Зинаида этого не замечает. А может быть, она и замечала эту фальшь и не гнушалась ею. Неправильное воспитание, странные знакомства и привычки, постоянное присутствие матери, бедность и беспорядок в доме, все, начиная с самой свободы, которою пользовалась молодая девушка, с сознания ее превосходства над окружающими ее людьми, развило в ней какую-то полупрезрительную

небрежность и невзыскательность. Бывало, что ни случится – придет ли Вонифатий доложить, что сахару нет, выйдет ли наружу какая-нибудь дрянная сплетня, поссорятся ли гости, – она только кудрями встряхнет, скажет: пустяки! – и горя ей мало.

Зато у меня, бывало, вся кровь загоралась, когда Малевский подойдет к ней, хитро покачиваясь, как лиса, изящно обопрется на спинку ее стула и начнет шептать ей на ухо с самодовольной и заискивающей улыбочкой, – а она скрестит руки на груди, внимательно глядит на него, и сама улыбается и качает головой.

– Что вам за охота принимать господина Малевского? – спросил я ее однажды.

– А у него такие прекрасные усики, – отвечала она. – Да это не по вашей части.

– Вы не думаете ли, что я его люблю, – сказала она мне в другой раз. – Нет; я таких любить не могу, на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне надобно такого, который сам бы меня сломил... Да я на такого не наткнуся, бог милостив! Не попадусь никому в лапы, ни-ни!

– Стало быть, вы никогда не полюбите?

– А вас-то? Разве я вас не люблю? – сказала она и ударила меня по носу концом перчатки.

Да, Зинаида очень потешалась надо мною. В течение трех недель я ее видел каждый день – и чего, чего она со мной не выделывала! К нам она ходила редко, и я об этом не сожалел: в нашем доме она превращалась в барышню, в княжну, – и я ее дичился. Я боялся выдать себя перед матушкой; она очень не благоволила к Зинаиде и неприязненно наблюдала за нами. Отца я не так боялся: он словно не замечал меня, а с ней говорил мало, но как-то особенно умно и значительно. Я перестал работать, читать – я даже перестал гулять по окрестностям, ездить верхом. Как привязанный за ножку жук, я кружился постоянно вокруг любимого флигелька: казалось, остался бы там навсегда... но это было невозможно; матушка ворчала на меня, иногда сама Зинаида меня прогоняла. Тогда я запирался у себя в комнате или уходил на самый конец сада, взбирался на уцелевшую развалину высокой каменной оранжереи и, свесив ноги со стены, выходявшей на дорогу, сидел по часам и глядел, глядел, ничего не видя. Возле меня, по запыленной крапиве, лениво перепархивали белые бабочки; бойкий воробей садился недалеко на полусломанном красном кирпиче и раздражительно чирикал, беспрестанно поворачиваясь всем телом и распутив хвостик; все еще недоверчивые вороны изредка каркали, сидя высоко, высоко на обнаженной макушке березы; солнце и ветер тихо играли в ее жидких ветках; звон колоколов Донского монастыря прилетал по временам, спокойный и унылый – а я сидел, глядел, слушал и наполнялся весь каким-то безыменным ощущением, в котором было все: и грусть, и радость, и предчувствие будущего, и желание, и страх жизни. Но я тогда ничего этого не понимал и ничего бы не сумел назвать изо всего того, что во мне бродило, или бы назвал это все одним именем – именем Зинаиды.

А Зинаида все играла со мной, как кошка с мышью. Она то кокетничала со мной – и я волновался и таял, то она вдруг меня отталкивала – и я не смел приблизиться к ней, не смел взглянуть на нее.

Помнится, она несколько дней сряду была очень холодна со мною, я совсем заробел и, трусливо забегая к ним во флигель, старался держаться около старухи княгини, несмотря на то что она очень бранилась и кричала именно в это время: ее вексельные дела шли плохо, и она уже имела два объяснения с квартальным.

Однажды я проходил в саду мимо известного забора – и увидел Зинаиду: подпершись обеими руками, она сидела на траве и не шевелилась. Я хотел было осторожно удалиться, но она внезапно подняла голову и сделала мне повелительный знак. Я замер на месте: я не понял ее с первого раза. Она повторила свой знак. Я немедленно перескочил через забор и радостно подбежал к ней; но она остановила меня взглядом и указала мне на дорожку в двух шагах от нее. В смущении, не зная, что делать, я стал на колени на краю дорожки. Она до того была бледна, такая горькая печаль, такая глубокая усталость сказывалась в каждой ее черте, что сердце у меня сжалось, и я невольно пробормотал:

– Что с вами?

Зинаида протянула руку, сорвала какую-то травку, укусила ее и бросила ее прочь, подальше.

– Вы меня очень любите? – спросила она наконец. – Да?

Я ничего не отвечал – да и зачем мне было отвечать?

– Да, – повторила она, по-прежнему глядя на меня. – Это так. Такие же глаза, – прибавила она, задумалась и закрыла лицо руками. – Все мне опротивело, – прошептала она, – ушла бы я на край света, не могу я это вынести, не могу сладить... И что ждет меня впереди!.. Ах, мне тяжело... боже мой, как тяжело!

– Отчего? – спросил я робко.

Зинаида мне не отвечала и только пожала плечами. Я продолжал стоять на коленях и с глубоким унынием глядел на нее. Каждое ее слово так и врезалось мне в сердце. В это мгновение я, кажется, охотно бы отдал жизнь свою, лишь бы она не горевала. Я глядел на нее – и, все-таки не понимая, отчего ей было тяжело, живо воображал себе, как она вдруг, в припадке неудержимой печали, ушла в сад и упала на землю, как подкошенная. Кругом было и светло и зелено; ветер шелестел в листьях деревьев, изредка качая длинную ветку малины над головой Зинаиды. Где-то ворковали голуби – и пчелы жужжали, низко перелетывая по редкой траве. Сверху ласково синело небо – а мне было так грустно...

– Прочтите мне какие-нибудь стихи, – промолвила вполголоса Зинаида и оперлась на локоть. – Я люблю, когда вы стихи читаете. Вы поете, но это ничего, это молодо. Прочтите мне «На холмах Грузии». Только сядьте сперва.

Я сел и прочел «На холмах Грузии».

– «Что не любить оно не может», – повторила Зинаида. – Вот чем поэзия хороша: она говорит нам то, чего нет и что не только лучше того, что есть, но даже больше похоже на правду... Что не любить оно не может – и хотело бы, да не может! – Она опять умолкла и вдруг встрепенулась и встала. – Пойдемте. У мамыши сидит Майданов; он мне принес свою поэму, а я его оставила. Он также огорчен теперь... что делать! Вы когда-нибудь узнаете... только не сердитесь на меня!

Зинаида торопливо пожала мне руку и побежала вперед. Мы вернулись во флигель. Майданов принялся читать нам своего только что отпечатанного «Убийцу», но я не слушал его. Он выкрикивал нараспев свои четырехстопные ямбы, рифмы чередовались и звенели, как бубенчики, пусто и громко, а я все глядел на Зинаиду и все старался понять значение ее последних слов.

Иль, может быть, соперник тайный
Тебя неожиданно покорил? —

воскликнул вдруг в нос Майданов – и мои глаза и глаза Зинаиды встретились. Она опустила их и слегка покраснела. Я увидел, что она покраснела, и похолодел от испуга. Я уже прежде ревновал к ней, но только в это мгновение мысль о том, что она полюбила, сверкнула у меня в голове: «Боже мой! она полюбила!»

Х

Настоящие мои терзания начались с того мгновения. Я ломал себе голову, раздумывал, передумывал – и неотступно, хотя по мере возможности скрытно, наблюдал за Зинаидой. В ней произошла перемена – это было очевидно. Она уходила гулять одна и гуляла долго. Иногда она гостям не показывалась; по целым часам сидела у себя в комнате. Прежде этого за ней не водилось. Я вдруг сделался – или мне показалось, что я сделался – чрезвычайно проницателен.

«Не он ли? или уж не он ли?» – спрашивал я самого себя, тревожно перебегая мыслью от одного ее поклонника к другому. Граф Малевский (хоть я и стыдился за Зинаиду в этом сознаться) втайне казался мне опаснее других.

Моя наблюдательность не видала дальше своего носа, и моя скрытность, вероятно, никого не обманула; по крайней мере доктор Лушин скоро меня раскусил. Впрочем, и он изменился в последнее время: он похудел, смеялся так же часто, но как-то глуше, злее и короче – невольная, нервическая раздражительность сменила в нем прежнюю легкую иронию и напущенный цинизм.

– Что вы это беспрестанно таскаетесь сюда, молодой человек, – сказал он мне однажды, оставшись со мною в гостиной Засекиных. (Княжна еще не возвращалась с прогулки, а крикливый голос княгини раздавался в мезонине: она бранилась со своей горничной.) – Вам бы надобно учиться, работать, – пока вы молоды, – а вы что делаете?

– Вы не можете знать, работаю ли я дома, – возразил я ему не без надменности, но и не без замешательства.

– Какая уж тут работа! у вас не то на уме. Ну, я не спорю... в ваши годы это в порядке вещей. Да выбор-то ваш больно неудачен. Разве вы не видите, что это за дом?

– Я вас не понимаю, – заметил я.

– Не понимаете? Тем хуже для вас. Я считаю долгом предостеречь вас. Нашему брату, старому холостяку, можно сюда ходить: что нам делается? мы народ прокаленный, нас ничем не проберешь; а у вас кожа еще нежная; здесь для вас воздух вредный – поверьте мне, заразиться можете.

– Как так?

– Да так же. Разве вы здоровы теперь? Разве вы в нормальном положении? Разве то, что вы чувствуете, полезно вам, хорошо?

– Да что же я чувствую? – сказал я, а сам в душе сознавал, что доктор прав.

– Эх, молодой человек, молодой человек, – продолжал доктор с таким выражением, как будто в этих двух словах заключалось что-то для меня весьма обидное, – где вам хитрить, ведь у вас еще, слава богу, что на душе, то и на лице. А впрочем, что толковать? Я бы и сам сюда не ходил, если б (доктор стиснул зубы) ... если б я не был такой же чудаком. Только вот чему я удивляюсь: как вы, с вашим умом, не видите, что делается вокруг вас?

– А что же такое делается? – подхватил я и весь насторожился.

Доктор посмотрел на меня с каким-то насмешливым сожалением.

– Хорош же и я, – промолвил он, словно про себя, – очень нужно это ему говорить. Одним словом, – прибавил он, возвысив голос, – повторяю вам: здешняя атмосфера вам не годится. Вам здесь приятно, да мало чего нет? И в оранжерее тоже приятно пахнет – да жить в ней нельзя. Эй! послушайте, возьмитесь опять за Кайданова!

Княгиня вошла и начала жаловаться доктору на зубную боль. Потом явилась Зинаида.

– Вот, – прибавила княгиня, – господин доктор, побраните-ка ее. Целый день пьет воду со льдом; разве ей это здорово, при ее слабой груди?

– Зачем вы это делаете? – спросил Лушин.

– А что из этого может выйти?

– Что? вы можете простудиться и умереть.

– В самом деле? Неужели? Ну что ж – туда и дорога!

– Вот как! – проворчал доктор.

Княгиня ушла.

– Вот как, – повторила Зинаида. – Разве жить так весело? Оглянитесь-ка кругом... Что – хорошо? Или вы думаете, что я этого не понимаю, не чувствую? Мне доставляет удовольствие – пить воду со льдом, и вы серьезно можете уверять меня, что такая жизнь стоит того, чтоб не рискнуть ею за миг удовольствия, – я уже о счастье не говорю.

– Ну да, – заметил Лушин, – каприз и независимость... Эти два слова вас исчерпывают: вся ваша натура в этих двух словах.

Зинаида нервически засмеялась.

– Опоздали почтой, любезный доктор. Наблюдаете плохо; отстаете. Наденьте очки. Не до капризов мне теперь; вас дурачить, себя дурачить... куда как весело! – А что до независимости... Мсье Вольдемар, – прибавила вдруг Зинаида и топнула ножкой, – не делайте меланхолической физиономии. Я терпеть не могу, когда обо мне сожалеют. – Она быстро удалилась.

– Вредна, вредна вам здешняя атмосфера, молодой человек, – еще раз сказал мне Лушин.

XI

Вечером того же дня собрались у Засекиных обычные гости; я был в их числе.

Разговор зашел о поэме Майданова; Зинаида чистосердечно ее хвалила.

– Но знаете ли что? – сказала она ему, – если б я была поэтом, я бы другие брала сюжеты. Может быть, все это вздор, но мне иногда приходят в голову странные мысли, особенно когда я не сплю, перед утром, когда небо начинает становиться и розовым и серым. Я бы, например... Вы не будете надо мной смеяться?

– Нет! нет! – воскликнули мы все в один голос.

– Я бы представила, – продолжала она, скрестив руки на груди и устремив глаза в сторону, – целое общество молодых девушек, ночью, в большой лодке – на тихой реке. Луна светит, а они все в белом и в венках из белых цветов, и поют, знаете, что-нибудь вроде гимна.

– Понимаю, понимаю, продолжайте, – значительно и мечтательно промолвил Майданов.

– Вдруг – шум, хохот, факелы, бубны на берегу... Это толпа вакханок бежит с песнями, с криком. Уж тут ваше дело нарисовать картину, господин поэт... только я бы хотела, чтобы факелы были красны и очень бы дымились и чтобы глаза у вакханок блестели под венками, а венки должны быть темные. Не забудьте также тигровых кож и чаш – и золота, много золота.

– Где же должно быть золото? – спросил Майданов, откидывая назад свои плоские волосы и расширяя ноздри.

– Где? На плечах, на руках, на ногах, везде. Говорят, в древности женщины золотые кольца носили на щиколотках. Вакханки зовут к себе девушек в лодке. Девушки перестали петь свой гимн – они не могут его продолжать, – но они не шевелятся: река подносит их к берегу. И вот вдруг одна из них тихо поднимается... Это надо хорошо описать: как она тихо встает при лунном свете и как ее подруги пугаются... Она перешагнула край лодки, вакханки ее окружили, умчали в ночь, в темноту... Представьте тут дым клубами, и все смешалось. Только слышится их визг, да веночек ее остался на берегу.

Зинаида умолкла. («О! она полюбила!» – подумал я опять.)

– И только? – спросил Майданов.

– Только, – отвечала она.

– Это не может быть сюжетом для целой поэмы, – важно заметил он, – но для лирического стихотворения я вашей мыслию воспользуюсь.

– В романтическом роде? – спросил Малевский.

– Конечно, в романтическом роде, байроновском.

– А по-моему, Гюго лучше Байрона, – небрежно промолвил молодой граф, – интереснее.

– Гюго – писатель первоклассный, – возразил Майданов, – и мой приятель Тонкошеев, в своем испанском романе «Эль-Тровадор»...

– Ах, это та книга с опрокинутыми вопросительными знаками? – перебила Зинаида.

– Да. Это так принято у испанцев. Я хотел сказать, что Тонкошеев...

– Ну, вы опять заспорите о классицизме и романтизме, – вторично перебила его Зинаида. – Давайте лучше играть...

– В фанты? – подхватил Лушин.

– Нет, в фанты скучно; а в сравненья. (Эту игру придумала сама Зинаида: назывался какой-нибудь предмет, всякий старался сравнить его с чем-нибудь, и тот, кто подбирал лучшее сравнение, получал приз.)

Она подошла к окну. Солнце только что село: на небе высоко стояли длинные красные облака.

– На что похожи эти облака? – спросила Зинаида и, не дожидаясь нашего ответа, сказала: – Я нахожу, что они похожи на те пурпуровые паруса, которые были на золотом корабле у Клеопатры, когда она ехала навстречу Антонию. Помните, Майданов, вы недавно мне об этом рассказывали?

Все мы, как Полоний в «Гамлете», решили, что облака напоминали именно эти паруса и что лучшего сравнения никто из нас не приищет.

– А сколько лет было тогда Антонию? – спросила Зинаида.

– Уж, наверное, был молодой человек, – заметил Малевский.

– Да, молодой, – уверительно подтвердил Майданов.

– Извините, – воскликнул Лушин, – ему было за сорок лет.

– За сорок лет, – повторила Зинаида, взглянув на него быстрым взглядом.

Я скоро ушел домой. «Она полюбила, – невольно шептали мои губы. – Но кого?»

ХП

Дни проходили. Зинаида становилась все странней, все непонятней. Однажды я вошел к ней и увидел ее сидящей на соломенном стуле, с головой, прижатой к острому краю стола. Она выпрямилась... все лицо ее было облито слезами.

– А! вы! – сказала она с жестокой усмешкой. – Подите-ка сюда.

Я подошел к ней: она положила мне руку на голову и, внезапно ухватив меня за волосы, начала крутить их.

– Больно... – проговорил я наконец.

– А! больно! а мне не больно? не больно? – повторила она. – Ай! – вскрикнула она вдруг, увидав, что выдернула у меня маленькую прядь волос. – Что это я сделала? Бедный мсье Вольдемар!

Она осторожно расправила вырванные волосы, обмотала их вокруг пальца и свернула их в колечко.

– Я ваши волосы к себе в медальон положу и носить их буду, – сказала она, а у самой на глазах все блестели слезы. – Это вас, быть может, утешит немного... а теперь прощайте.

Я вернулся домой и застал там неприятность. У матушки происходило объяснение с отцом: она в чем-то упрекала его, а он, по своему обыкновению, холодно и вежливо отмалчивался – и скоро уехал. Я не мог слышать, о чем говорила матушка, да и мне было не до того; помню только, что по окончании объяснения она велела позвать меня к себе в кабинет и с большим неудовольствием отозвалась о моих частых посещениях у княгини, которая, по ее словам, была une femme sarable de tout¹⁹. Я подошел к ней к ручке (это я делал всегда, когда хотел прекратить разговор) и ушел к себе. Слезы Зинаиды меня совершенно сбили с толку: я решительно не знал, на какой мысли остановиться, и сам готов был плакать: я все-таки был ребенком, несмотря на мои шестнадцать лет. Уже я не думал более о Малевском, хотя Беловзоров с каждым днем становился все грознее и грознее и глядел на увертливого графа, как волк на барана; да я ни о чем и ни о ком не думал. Я терялся в соображениях и все искал уединенных мест. Особенно полюбил я развалины оранжереи. Взберусь, бывало, на высокую стену,

¹⁹ Женщиной, способной на что угодно (*фр.*).

сяду и сижу там таким несчастным, одиноким и грустным юношей, что мне самому становится себя жалко, – и так мне были отрадны эти горестные ощущения, так упивался я ими!..

Вот однажды сижу я на стене, гляжу вдаль и слушаю колокольный звон... Вдруг что-то пробежало по мне – ветерок не ветерок и не дрожь, а словно дуновение, словно ощущение чьей-то близости... Я опустил глаза. Внизу, по дороге, в легком сереньком платье, с розовым зонтиком на плече, поспешно шла Зинаида. Она увидела меня, остановилась и, откинув край соломенной шляпы, подняла на меня свои бархатные глаза.

– Что это вы делаете там, на такой высоте? – спросила она меня с какой-то странной улыбкой. – Вот, – продолжала она, – вы все уверяете, что вы меня любите, – спрыгните ко мне на дорогу, если вы действительно любите меня.

Не успела Зинаида произнести эти слова, как я уже летел вниз, точно кто подтолкнул меня сзади. В стене было около двух сажен высоты. Я пришелся о землю ногами, но толчок был так силен, что я не мог удержаться: я упал и на мгновение лишился сознания. Когда я пришел в себя, я, не раскрывая глаз, почувствовал возле себя Зинаиду.

– Милый мой мальчик, – говорила она, наклонясь надо мною, и в голосе ее звучала встревоженная нежность, – как мог ты это сделать, как мог ты послушаться... Ведь я люблю тебя... встань.

Ее грудь дышала возле моей, ее руки прикасались моей голове, и вдруг – что случилось со мной тогда! – ее мягкие, свежие губы начали покрывать все мое лицо поцелуями... они коснулись моих губ... Но тут Зинаида, вероятно, догадалась, по выражению моего лица, что я уже пришел в себя, хотя я все глаз не раскрывал, – и, быстро приподнявшись, промолвила:

– Ну вставайте, шалун, безумный; что это вы лежите в пыли?

Я поднялся.

– Подайте мне мой зонтик, – сказала Зинаида, – вишь, я его куда бросила; да не смотрите на меня так... что за глупости? Вы не ушиблись? чай, обожглись в крапиве? Говорят вам, не смотрите на меня... Да он ничего не понимает, не отвечает, – прибавила она, словно про себя. – Ступайте домой, мсье Вольдемар, почиститесь, да не смейте идти за мной – а то я рассержусь, и уже больше никогда...

Она не договорила своей речи и проворно удалилась, а я присел на дорогу... ноги меня не держали. Крапива обожгла мне руки, спина ныла, и голова кружилась; но чувство блаженства, которое я испытал тогда, уже не повторилось в моей жизни. Оно стояло сладкой болью во всех моих членах и разрешилось наконец восторженными прыжками и восклицаниями. Точно: я был еще ребенок.

ХІІІ

Я так был весел и горд весь этот день, я так живо сохранял на моем лице ощущение Зинаидины поцелуев, я с таким содроганием восторга вспоминал каждое ее слово, я так лелеял свое неожиданное счастье, что мне становилось даже страшно, не хотелось даже увидеть ее, виновницу этих новых ощущений. Мне казалось, что уже больше ничего нельзя требовать от судьбы, что теперь бы следовало «взять, вздохнуть хорошенько в последний раз, да и умереть». Зато на следующий день, отправляясь во флигель, я чувствовал большое смущение, которое напрасно старался скрыть под личиною скромной развязности, приличной человеку, желающему дать знать, что он умеет сохранить тайну. Зинаида приняла меня очень просто, без всякого волнения, только погрозила мне пальцем и спросила: нет ли у меня синих пятен? Вся моя скромная развязность и таинственность исчезли мгновенно, а вместе с ними и смущение мое. Конечно, я ничего не ожидал особенного, но спокойствие Зинаиды меня точно холодной водой окатило. Я понял, что я дитя в ее глазах, – и мне стало очень тяжело! Зинаида ходила взад и вперед по комнате, всякий раз быстро улыбалась, как только взглядывала на меня; но

мысли ее были далеко, я это ясно видел... «Заговорить самому о вчерашнем деле, – подумал я, – спросить ее, куда она так спешила, чтобы узнать окончательно...», но я только махнул рукой и присел в уголок.

Беловзоров вошел; я ему обрадовался.

– Не нашел я вам верховой лошади, смирной, – заговорил он суровым голосом, – Фрейтаг мне ручается за одну – да я не уверен. Боюсь.

– Чего же вы боитесь, – спросила Зинаида, – позвольте спросить?

– Чего? Ведь вы не умеете ездить. Сохрани бог, что случится! И что за фантазия пришла вам вдруг в голову?

– Ну, это мое дело, мсье мой зверь. В таком случае я попрошу Петра Васильевича... (Моего отца звали Петром Васильевичем. Я удивился тому, что она так легко и свободно упомянула его имя, точно она была уверена в его готовности услужить ей.)

– Вот как, – возразил Беловзоров. – Вы это с ним хотите ездить?

– С ним или с другим – это для вас все равно. Только не с вами.

– Не со мной, – повторил Беловзоров. – Как хотите. Что ж? Я вам лошадь доставлю.

– Да только смотрите, не корову какую-нибудь. Я вас предупредю, что я хочу скакать.

– Скачите, пожалуй... С кем же это, с Малевским, что ли, вы поедете?

– А почему бы и не с ним, воин? Ну, успокойтесь, – прибавила она, – и не сверкайте глазами. Я и вас возьму. Вы знаете, что для меня теперь Малевский – фи! – Она тряхнула головой.

– Вы это говорите, чтобы меня утешить, – проворчал Беловзоров.

Зинаида прищурилась.

– Это вас утешает?... О... о... о... воин! – сказала она наконец, как бы не найдя другого слова. – А вы, мсье Вольдемар, поехали ли бы вы с нами?

– Я не люблю... в большом обществе... – пробормотал я, не поднимая глаз.

– Вы предпочитаете tête-à-tête?...²⁰ Ну, вольному воля, спасенному... рай, – промолвила она, вздохнувши. – Ступайте же, Беловзоров, хлопчите. Мне лошадь нужна к завтрашнему дню.

– Да; а деньги откуда взять? – вмешалась княгиня.

Зинаида наморщила брови.

– Я у вас их не прошу; Беловзоров мне поверит.

– Поверит, поверит... – проворчала княгиня – и вдруг во все горло закричала: – Дуняшка!

– Мамап, я вам подарила колокольчик, – заметила княжна.

– Дуняшка! – повторила старуха.

Беловзоров откланялся; я ушел вместе с ним. Зинаида меня не удерживала.

XIV

На следующее утро я встал рано, вырезал себе палку и отправился за заставу. Пойду, мол, размыкаю свое горе. День был прекрасный, светлый и не слишком жаркий; веселый, свежий ветер гулял над землею и в меру шумел и играл, все шевеля и ничего не тревожа. Я долго бродил по горам, по лесам; я не чувствовал себя счастливым, я вышел из дому с намерением предаться унынию – но молодость, прекрасная погода, свежий воздух, потеха быстрой ходьбы, нега уединенного лежания на густой траве – взяли свое: воспоминание о тех незабвенных словах, о тех поцелуях опять втеснилось мне в душу. Мне приятно было думать, что Зинаида не может, однако, не отдать справедливости моей решимости, моему героизму... «Другие для нее

²⁰ С глазу на глаз? (фр.).

лучше меня, – думал я, – пускай! Зато другие только скажут, что сделают, а я сделал! И то ли я в состоянии еще сделать для нее!..» Воображение мое заиграло. Я начал представлять себе, как я буду спасать ее из рук неприятелей, как я, весь облитый кровью, исторгну ее из темницы, как умру у ее ног. Я вспомнил картину, висевшую у нас в гостиной: Малек-Аделя, уносящего Матильду, – и тут же занялся появлением большого пестрого дятла, который хлопотливо поднимался по тонкому стволу березы и с беспокойством выглядывал из-за нее, то направо, то налево, точно музыкант из-за шейки контрабаса.

Потом я запел: «Не белы снеги» и свел на известный в то время романс: «Я жду тебя, когда зефир игривый»; потом я начал громко читать обращение Ермака к звездам из трагедии Хомякова; попытался было сочинить что-нибудь в чувствительном роде, придумал даже строчку, которой должно было заканчиваться все стихотворение: «О Зинаида! Зинаида!», но ничего не вышло. Между тем наступало время обеда. Я спустился в долину; узкая песчаная дорожка вилась по ней и вела в город. Я пошел по этой дорожке... Глухой стук лошадиных копыт раздался за мною. Я оглянулся, невольно остановился и снял фуражку: я увидел моего отца и Зинаиду. Они ехали рядом. Отец говорил ей что-то, перегнувшись к ней всем станом и опершись рукою на шею лошади; он улыбался. Зинаида слушала его молча, строго опустив глаза и сжавши губы. Я сперва увидал их одних; только через несколько мгновений, из-за поворота долины, показался Беловзоров в гусарском мундире с ментиком, на опененном вороном коне. Добрый конь мотал головою, фыркал и плясал: всадник и сдерживал его и шпорил. Я посторонился. Отец подобрал поводья, отклонился от Зинаиды, она медленно подняла на него глаза – и оба поскакали... Беловзоров промчался вслед за ними, гремя саблей. «Он красен, как рак, – подумал я, – а она... Отчего она такая бледная? ездил верхом целое утро – и бледная?»

Я удвоил шаги и поспел домой перед самым обедом. Отец уже сидел переодетый, вымытый и свежий, возле матушкиного кресла и читал ей своим ровным и звучным голосом фельетон «*Journal des Débats*»²¹, но матушка слушала его без внимания и, увидавши меня, спросила, где я пропадал целый день, и прибавила, что не любит, когда таскаются бог знает где и бог знает с кем. «Да я гулял один», – хотел было я ответить, но посмотрел на отца и почему-то промолчал.

XV

В течение следующих пяти, шести дней я почти не видел Зинаиды: она сказывалась больною, что не мешало, однако, обычным посетителям флигеля являться, как они выражались, на свое дежурство – всем, кроме Майданова, который тотчас падал духом и скучал, как только не имел случая восторгаться. Беловзоров сидел угрюмо в углу, весь застегнутый и красный; на тонком лице графа Малевского постоянно бродила какая-то недобрая улыбка; он действительно впал в немилость у Зинаиды и с особенным стараньем подслуживался старой княгине, ездил с ней в ямской карете к генерал-губернатору. Впрочем, эта поездка оказалась неудачной, и Малевскому вышла даже неприятность: ему напомнили какую-то историю с какими-то путейскими офицерами – и он должен был в объяснениях своих сказать, что был тогда неопытен. Лушин приезжал раза по два в день, но оставался недолго; я немножко боялся его после нашего последнего объяснения и в то же время чувствовал к нему искреннее влечение. Он однажды пошел гулять со мною по Нескучному саду, был очень добродушен и любезен, сообщал мне названия и свойства разных трав и цветов и вдруг, как говорится, ни к селу ни к городу, воскликнул, ударив себя по лбу: «А я, дурак, думал, что она кокетка! Видно, жертвовать собою сладко – для иных».

– Что вы хотите этим сказать? – спросил я.

²¹ Дословно: «Дневник прений» (фр.).

– Вам я ничего не хочу сказать, – отрывисто возразил Лушин.

Меня Зинаида избегала: мое появление – я не мог этого не заметить – производило на нее впечатление неприятное. Она невольно отворачивалась от меня... невольно; вот что было горько, вот что меня сокрушало! Но делать было нечего – и я старался не попадаться ей на глаза и лишь издали ее подкарауливал, что не всегда мне удавалось. С ней по-прежнему происходило что-то непонятное; ее лицо стало другое, вся она другая стала. Особенно поразила меня происшедшая в ней перемена в один теплый, тихий вечер. Я сидел на низенькой скамеечке под широким кустом бузины; я любил это местечко: оттуда было видно окно Зинаидиной комнаты. Я сидел: над моей головой в потемневшей листве хлопотливо ворошилась маленькая птичка; серая кошка, вытянув спину, осторожно кралась в сад, и первые жуки тяжело гудели в воздухе, еще прозрачном, хотя уже не светлом. Я сидел и смотрел на окно – и ждал, не отворится ли оно: точно – оно отворилось, и в нем появилась Зинаида. На ней было белое платье – и сама она, ее лицо, плечи, руки были бледны до белизны. Она долго осталась неподвижной и долго глядела неподвижно и прямо из-под сдвинутых бровей. Я и не знал за ней такого взгляда. Потом она стиснула руки, крепко-крепко, поднесла их к губам, ко лбу – и вдруг, раздернув пальцы, откинула волосы от ушей, встряхнула ими и, с какой-то решительностью кивнув сверху вниз головою, захлопнула окно.

Дня три спустя она встретила меня в саду. Я хотел уклониться в сторону, но она сама меня остановила.

– Дайте мне руку, – сказала она мне с прежней лаской, – мы давно с вами не болтали.

Я взглянул на нее: глаза ее тихо светились, и лицо улыбалось, точно сквозь дымку.

– Вы все еще нездоровы? – спросил я ее.

– Нет, теперь все прошло, – отвечала она и сорвала небольшую красную розу. – Я немножко устала, но и это пройдет.

– И вы опять будете такая же, как прежде? – спросил я.

Зинаида поднесла розу к лицу – и мне показалось, как будто отблеск ярких лепестков упал ей на щеки.

– Разве я изменилась? – спросила она меня.

– Да, изменились, – ответил я вполголоса.

– Я с вами была холодна – я знаю, – начала Зинаида, – но вы не должны были обращать на это внимания... Я не могла иначе... Ну, да что об этом говорить!

– Вы не хотите, чтоб я любил вас, вот что! – воскликнул я мрачно, с невольным порывом.

– Нет, любите меня – но не так, как прежде.

– Как же?

– Будемте друзьями – вот как! – Зинаида дала мне понюхать розу. – Послушайте, ведь я гораздо старше вас – я могла бы быть вашей тетушкой, право; ну, не тетушкой, старшей сестрой. А вы...

– Я для вас ребенок, – перебил я ее.

– Ну да, ребенок, но милый, хороший, умный, которого я очень люблю. Знаете ли что? Я вас с нынешнего же дня жалею к себе в пажи; а вы не забывайте, что пажи не должны отлучаться от своих господ. Вот вам знак вашего нового достоинства, – прибавила она, вдвывая розу в петлю моей курточки, – знак нашей к вам милости.

– Я от вас прежде получал другие милости, – пробормотал я.

– А! – промолвила Зинаида и сбоку посмотрела на меня. – Какая у него память! Что ж? Я и теперь готова...

И, склонившись ко мне, она напечатлела мне на лоб чистый, спокойный поцелуй.

Я только посмотрел на нее, а она отвернулась и, сказавши: «Ступайте за мной, мой паж», – пошла к флигелю. Я отправился вслед за нею – и все недоумевал. «Неужели, – думал

я, – эта кроткая, рассудительная девушка – та самая Зинаида, которую я знал?» И походка ее мне казалась тише – вся ее фигура величественнее и стройней...

И боже мой! с какой новой силой разгоралась во мне любовь!

XVI

После обеда опять собрались во флигеле гости – и княжна вышла к ним. Все общество было налицо, в полном составе, как в тот первый, незабвенный для меня вечер: даже Нирмацкий притащился; Майданов пришел в этот раз раньше всех – он принес новые стихи. Начались опять игры в фанты, но уже без прежних странных выходов, без дурачеств и шума – цыганский элемент исчез. Зинаида дала новое настроение нашей сходке. Я сидел подле нее по праву пажа. Между прочим, она предложила, чтобы тот, чей фант вынется, рассказывал свой сон; но это не удалось. Сны выходили либо неинтересные (Беловзоров видел во сне, что накормил свою лошадь карасями и что у ней была деревянная голова), либо неестественные, сочиненные. Майданов угостил нас целую повестью: тут были и могильные склепы, и ангелы с лирами, и говорящие цветы, и несущиеся издалека звуки. Зинаида не дала ему докончить.

– Коли уж дело пошло на сочинения, – сказала она, – так пускай каждый расскажет что-нибудь непременно выдуманное.

Первому досталось говорить тому же Беловзорову.

Молодой гусар смутился.

– Я ничего выдумать не могу! – воскликнул он.

– Какие пустяки! – подхватила Зинаида. – Ну, вообразите себе, например, что вы женаты, и расскажите нам, как бы вы проводили время с вашей женой. Вы бы ее заперли?

– Я бы ее запер.

– И сами бы сидели с ней?

– И сам непременно сидел бы с ней.

– Прекрасно. Ну, а если бы ей это надоело, и она бы изменила вам?

– Я бы ее убил.

– А если б она убежала?

– Я бы догнал ее и все-таки бы убил.

– Так. Ну, а положим, я была бы вашей женой, что бы вы тогда сделали?

Беловзоров помолчал.

– Я бы себя убил...

Зинаида засмеялась.

– Я вижу, у вас недолга песня.

Второй фант вышел Зинаидин. Она подняла глаза к потолку и задумалась.

– Вот, послушайте, – начала она наконец, – что я выдумала... Представьте себе великолепный чертог, летнюю ночь и удивительный бал. Бал этот дает молодая королева. Везде золото, мрамор, хрусталь, шелк, огни, алмазы, цветы, куренья, все прихоти роскоши.

– Вы любите роскошь? – перебил ее Лушин.

– Роскошь красива, – возразила она, – я люблю все красивое.

– Больше прекрасного? – спросил он.

– Это что-то хитро, не понимаю. Не мешайте мне. Итак, бал великолепный. Гостей множество, все они молоды, прекрасны, храбры, все без памяти влюблены в королеву.

– Женщин нет в числе гостей? – спросил Малевский.

– Нет – или погодите – есть.

– Все некрасивые?

– Прелестные. Но мужчины все влюблены в королеву. Она высока и стройна; у ней маленькая золотая диадема на черных волосах.

Я посмотрел на Зинаиду – и в это мгновение она мне показалась настолько выше всех нас, от ее белого лба, от ее неподвижных бровей веяло таким светлым умом и такою властью, что я подумал: «Ты сама эта королева!»

– Все толпятся вокруг нее, – продолжала Зинаида, – все расточают перед ней самые льстивые речи.

– А она любит лести? – спросил Лушин.

– Какой несносный! все перебивает... Кто ж не любит лести?

– Еще один, последний вопрос, – заметил Малевский. – У королевы есть муж?

– Я об этом и не подумала. Нет, зачем муж?

– Конечно, – подхватил Малевский, – зачем муж?

– Silence!²² – воскликнул Майданов, который по-французски говорил плохо.

– Merci²³, – сказала ему Зинаида. – Итак, королева слушает эти речи, слушает музыку, но не глядит ни на кого из гостей. Шесть окон раскрыты сверху донизу, от потолка до полу; а за ними темное небо с большими звездами да темный сад с большими деревьями. Королева глядит в сад. Там, около деревьев, фонтан; он белеет во мраке – длинный, длинный, как привидение. Королева слышит сквозь говор и музыку тихий плеск воды. Она смотрит и думает: вы все, господа, благородны, умны, богаты, вы окружили меня, вы дорожите каждым моим словом, вы все готовы умереть у моих ног, я владею вами... А там, возле фонтана, возле этой плещущей воды, стоит и ждет меня тот, кого я люблю, кто мною владеет. На нем нет ни богатого платья, ни драгоценных камней, никто его не знает, но он ждет меня и уверен, что я приду, – и я приду, и нет такой власти, которая бы остановила меня, когда я захочу пойти к нему, и остаться с ним, и потеряться с ним там, в темноте сада, под шорох деревьев, под плеск фонтана...

Зинаида умолкла.

– Это выдумка? – хитро спросил Малевский.

Зинаида даже не посмотрела на него.

– А что бы мы сделали, господа, – вдруг заговорил Лушин, – если бы мы были в числе гостей и знали про этого счастливец у фонтана?

– Пойдите, пойдите, – перебила Зинаида, – я сама скажу вам, что бы каждый из вас сделал. Вы, Беловзоров, вызвали бы его на дуэль; вы, Майданов, написали бы на него эпиграмму... Впрочем, нет – вы не умеете писать эпиграмм; вы сочинили бы на него длинный ямб, вроде Барбье, и поместили бы ваше произведение в «Телеграфе». Вы, Нирмацкий, заняли бы у него... нет, вы бы дали ему займы денег за проценты; вы, доктор... – Она остановилась. – Вот я про вас не знаю, что бы вы сделали.

– По званию лейб-медика, – отвечал Лушин, – я бы присоветовал королеве не давать балов, когда ей не до гостей...

– Может быть, вы были бы правы. А вы, граф?..

– А я? – повторил со своей недоброй улыбкой Малевский...

– А вы бы поднесли ему отравленную конфетку.

Лицо Малевского слегка перекопилось и приняло на миг жидовское выражение, но он тотчас же захохотал.

– Что же касается до вас, Вольдемар... – продолжала Зинаида, – впрочем, довольно; давайте играть в другую игру.

– Мсье Вольдемар, в качестве пажа королевы, держал бы ей шлейф, когда бы она побежала в сад, – ядовито заметил Малевский.

Я вспыхнул, но Зинаида проворно положила мне на плечо руку и, приподнявшись, промолвила слегка дрожащим голосом:

²² Тише! (фр.).

²³ Спасибо (фр.).

– Я никогда не давала вашему сиятельству права быть дерзким и потому прошу вас удалиться. – Она указала ему на дверь.

– Помилуйте, княжна, – пробормотал Малевский и весь побледнел.

– Княжна права, – воскликнул Беловзоров и тоже поднялся.

– Я, ей-богу, никак не ожидал, – продолжал Малевский, – в моих словах, кажется, ничего не было такого... у меня и в мыслях не было оскорбить вас... Простите меня.

Зинаида окинула его холодным взглядом и холодно усмехнулась.

– Пожалуй, останьтесь, – промолвила она с небрежным движением руки. – Мы с мсье Вольдемаром напрасно рассердились. Вам весело жалиться... на здоровье.

– Простите меня, – еще раз повторил Малевский, а я, вспоминая движение Зинаиды, подумал опять, что настоящая королева не могла бы с большим достоинством указать дерзновенному на дверь.

Игра в фанты продолжалась недолго после этой небольшой сцены; всем немного стало неловко, не столько от самой этой сцены, сколько от другого, не совсем определенного, но тяжелого чувства. Никто о нем не говорил, но всякий сознавал его и в себе и в своем соседе. Майданов прочел нам свои стихи – и Малевский с преувеличенным жаром расхвалил их. «Как ему теперь хочется показаться добрым», – шепнул мне Лушин. Мы скоро разошлись. На Зинаиду внезапно напало раздумье; княгиня выслала сказать, что у ней голова болит; Нирмацкий стал жаловаться на свои ревматизмы...

Я долго не мог заснуть, меня поразил рассказ Зинаиды.

– Неужели в нем заключался намек? – спрашивал я самого себя, – и на кого, на что она намекала? И если точно есть на что намекнуть... как же решиться? Нет, нет, не может быть, – шептал я, переворачиваясь с одной горячей щеки на другую... Но я вспоминал выражение лица Зинаиды во время ее рассказа... я вспоминал восклицание, вырвавшееся у Лушина в Нескучном, внезапные перемены в ее обращении со мною – и терялся в догадках. «Кто он?» Эти два слова точно стояли перед моими глазами, начертанные во мраке; точно низкое злое облако повисло надо мною – и я чувствовал его давление и ждал, что вот-вот оно разрастется. Ко многому я привык в последнее время, на многое насмотрелся у Засекиных; их беспорядочность, сальные огарки, сломанные ножи и вилки, мрачный Вонифатий, обтерханные горничные, манеры самой княгини – вся эта странная жизнь уже не поражала меня более... Но к тому, что мне смутно чудилось теперь в Зинаиде, – я привыкнуть не мог... «Авантюрьерка»²⁴, – сказала про нее однажды моя мать. Авантюрьерка – она, мой идол, мое божество! Это название жгло меня, я старался уйти от него в подушку, я негодовал – и в то же время, на что бы я не согласился, чего бы я не дал, чтобы только быть тем счастливецом у фонтана!..

Кровь во мне загорелась и расходилась. «Сад... фонтан... – подумал я. – Пойду-ка я в сад». Я проворно оделся и выскользнул из дому. Ночь была темна, деревья чуть шептали; с неба падал тихий холодок, от огорода тянуло запахом укропа. Я обошел все аллеи; легкий звук моих шагов меня и смущал и бодрил; я останавливался, ждал и слушал, как стучало мое сердце – крупно и скоро. Наконец, я приблизился к забору и оперся на тонкую жердь. Вдруг – или это мне почудилось? – в нескольких шагах от меня промелькнула женская фигура... Я усиленно устремил взор в темноту – я притаил дыхание. Что это? Шаги ли мне слышатся – или это опять стучит мое сердце? «Кто здесь?» – пролепетал я едва внятно. Что это опять? подавленный ли смех?... или шорох в листьях... или вздох над самым ухом? Мне стало страшно... «Кто здесь?» – повторил я еще тише.

Воздух заструился на мгновение; по небу сверкнула огненная полоска: звезда покатила. «Зинаида?» – хотел спросить я, но звук замер у меня на губах. И вдруг все стало глубоко безмолвно кругом, как это часто бывает в середине ночи... Даже кузнечики перестали трещать

²⁴ Авантюристка, искательница приключений (от фр. *aventurière*).

в деревьях – только окошко где-то звякнуло. Я постоял, постоял и вернулся в свою комнату, к своей простывшей постели. Я чувствовал странное волнение: точно я ходил на свидание – и остался одиноким и прошел мимо чужого счастья.

XVII

На следующий день я видел Зинаиду только мельком: она ездила куда-то с княгиней на извозчике. Зато я видел Лушина, который, впрочем, едва удостоил меня привета, и Малевского. Молодой граф ослабилась и дружелюбно заговорил со мною. Из всех посетителей флигелька он один умел втереться к нам в дом и полюбился матушке. Отец его не жаловал и обращался с ним до оскорбительности вежливо.

– Ah, monsieur le page!²⁵ – начал Малевский, – очень рад вас встретить. Что делает ваша прекрасная королева?

Его свежее, красивое лицо так мне было противно в эту минуту – и он глядел на меня так презрительно-игриво, что я не отвечал ему вовсе.

– Вы все сердитесь? – продолжал он. – Напрасно. Ведь не я вас назвал пажем, а пажи бывают преимущественно у королев. Но позвольте вам заметить, что вы худо исполняете свою обязанность.

– Как так?

– Пажи должны быть неотлучны при своих владычицах; пажи должны все знать, что они делают, они должны даже наблюдать за ними, – прибавил он, понизив голос, – днем и ночью.

– Что вы хотите сказать?

– Что я хочу сказать? Я, кажется, ясно выражаюсь. Днем – и ночью. Днем еще так и сяк; днем светло илюдно; но ночью – тут как раз жди беды. Советую вам не спать по ночам и наблюдать, наблюдать из всех сил. Помните – в саду, ночью, у фонтана – вот где надо караулить. Вы мне спасибо скажете.

Малевский засмеялся и повернулся ко мне спиной. Он, вероятно, не придавал особенного значенья тому, что сказал мне; он имел репутацию отличного мистификатора и славился своим умением дурачить людей на маскарадах, чему весьма способствовала та почти бессознательная лживость, которою было проникнуто все его существо... Он хотел только подразнить меня; но каждое его слово протекло ядом по всем моим жилам. Кровь бросилась мне в голову. «А! вот что! – сказал я самому себе, – добро! Стало быть, мои вчерашние предчувствия были справедливы! Стало быть, меня недаром тянуло в сад! Так не бывать же этому!» – воскликнул я громко и ударил кулаком себя в грудь, хотя я собственно и не знал – чему не бывать. «Сам ли Малевский пожалует в сад, – думал я (он, может быть, проболтался: на это дерзости у него станет), – другой ли кто (ограда нашего сада была очень низка, и никакого труда не стоило перелезть через нее), – но только несдобровать тому, кто мне попадется! Никому не советую встречаться со мною! Я докажу всему свету и ей, изменнице (я так-таки и назвал ее изменницей), что я умею мстить!»

Я вернулся к себе в комнату, достал из письменного стола недавно купленный английский ножик, пощупал острие лезвия и, нахмутив брови, с холодной и сосредоточенной решительностью сунул его себе в карман, точно мне такие дела делать было не в диво и не впервой. Сердце во мне злобно приподнялось и окаменело; я до самой ночи не раздвинул бровей и не разжал губ, и то и дело похаживал взад и вперед, стискивая рукою в кармане разогревшийся нож и заранее приготавливаясь к чему-то страшному. Эти новые, небывалые ощущения до того занимали и даже веселили меня, что собственно о Зинаиде я мало думал. Мне все мерещились: Алеко, молодой цыган – «Куда, красавец молодой? – Лежи...», а потом: «Ты весь обрызган

²⁵ А, господин паж! (фр.).

кровью!..О, что ты сделал?..» – «Ничего!» С какой жестокой улыбкой я повторил это: ничего! Отца не было дома; но матушка, которая с некоторого времени находилась в состоянии почти постоянного глухого раздражения, обратила внимание на мой фатальный вид и сказала мне за ужином: «Чего ты дуешься, как мышь на крупу?» Я только снисходительно усмехнулся ей в ответ и подумал: «Если б они знали!» Пробило одиннадцать часов; я ушел к себе, но не раздевался, я выжидал полночи; наконец пробила и она. «Пора!» – шепнул я сквозь зубы и, застегнувшись доверху, засучив даже рукава, отправился в сад.

Я уже заранее выбрал себе место, где караулить. На конце сада, там, где забор, разделявший наши и засекинские владения, упирался в общую стену, росла одинокая ель. Стоя под ее низкими, густыми ветвями, я мог хорошо видеть, насколько позволяла ночная темнота, что происходило вокруг; тут же вилась дорожка, которая мне всегда казалась таинственной: она змеей проползала под забором, носившим в этом месте следы перелезавших ног, и вела к круглой беседке из сплошных акаций. Я добрался до ели, прислонился к ее стволу и начал караулить.

Ночь стояла такая же тихая, как и накануне; но на небе было меньше туч – и очертанья кустов, даже высоких цветов, яснее виднелись. Первые мгновенья ожидания были томительны, почти страшны. Я на все решился, я только соображал: как мне поступить? Загреметь ли: «Куда идешь? Стой! сознайся – или смерть!» – или просто поразить... Каждый звук, каждый шорох и шелест казался мне значительным, необычайным... Я готовился... Я наклонился вперед... Но прошло полчаса, прошел час; кровь моя утихала, холодела; сознание, что я напрасно все это делаю, что я даже несколько смешон, что Малевский подшутил надо мною, – начало прокрадываться мне в душу. Я покинул мою засаду и обошел весь сад. Как нарочно, нигде не было слышно малейшего шума; все покоилось; даже собака наша спала, свернувшись в клубочек у калитки. Я взобрался на развалину оранжереи, увидел пред собою далекое поле, вспомнил встречу с Зинаидой и задумался...

Я вздрогнул... Мне почудился скрип отворявшейся двери, потом легкий треск переломанного сучка. Я в два прыжка спустился с развалины – и замер на месте. Быстрые, легкие, но осторожные шаги явственно раздавались в саду. Они приближались ко мне. «Вот он... Вот он, наконец!» – промчалось у меня по сердцу. Я судорожно выдернул нож из кармана, судорожно раскрыл его – какие-то красные искры закрутились у меня в глазах, от страха и злости на голове зашевелились волосы... Шаги направлялись прямо на меня – я сгибался, я тянулся им навстречу... Показался человек... боже мой! это был мой отец!

Я тотчас узнал его, хотя он весь закутался в темный плащ и шляпу надвинул на лицо. На цыпочках прошел он мимо. Он не заметил меня, хотя меня ничто не скрывало, но я так скорчился и съежился, что, кажется, сравнялся с самою землею. Ревнивый, готовый на убийство Отелло внезапно превратился в школьника... Я до того испугался неожиданного появления отца, что даже на первых порах не заметил, откуда он шел и куда исчез. Я только тогда выпрямился и подумал: «Зачем это отец ходит ночью по саду», – когда опять все утихло вокруг. Со страху я уронил нож в траву, но даже искать его не стал: мне было очень стыдно. Я разом отрезвился. Возвращаясь домой, я, однако, подошел к моей скамеечке под кустом бузины и взглянул на окошко Зинаидиной спальни. Небольшие, немного выгнутые стекла окошка тускло синели при слабом свете, падавшем с ночного неба. Вдруг – цвет их стал изменяться... За ними – я это видел, видел явственно – осторожно и тихо спускалась беловатая штора, спустилась до оконницы – и так и осталась неподвижной.

– Что ж это такое? – проговорил я вслух, почти невольно, когда снова очутился в своей комнате. – Сон, случайность или... – Предположения, которые внезапно вошли мне в голову, так были новы и странны, что я не смел даже предаться им.

XVIII

Я встал поутру с головною болью. Вчерашнее волнение исчезло. Оно заменилось тяжелым недоумением и какою-то еще небывалою грустью – точно во мне что-то умирало.

– Что это вы смотрите кроликом, у которого вынули половину мозга? – сказал мне, встретившись со мною, Лушин.

За завтраком я украдкой взглядывал то на отца, то на мать: он был спокоен, по обыкновению; она, по обыкновению, тайно раздражалась. Я ждал, не заговорит ли отец со мною дружелюбно, как это иногда с ним случалось... Но он даже не поласкал меня своей вседневной, холодной лаской. «Рассказать все Зинаиде?.. – подумал я. – Ведь уж все равно – все кончено между нами». Я отправился к ней, но не только ничего не рассказал ей – даже побеседовать с ней мне не удалось, как бы хотелось. К княгине на вакансию приехал из Петербурга родной ее сын, кадет, лет двенадцати; Зинаида тотчас поручила мне своего брата.

– Вот вам, – сказала она, – мой милый Володя (она в первый раз так меня называла), товарищ. Его тоже зовут Володей. Пожалуйста, полюбите его; он еще дичок, но у него сердце доброе. Покажите ему Нескучное, гуляйте с ним, возьмите его под свое покровительство. Не правда ли, вы это сделаете? вы тоже такой добрый!

Она ласково положила мне обе руки на плечи – а я совсем потерялся. Прибытие этого мальчика превращало меня самого в мальчика. Я глядел молча на кадета, который так же безмолвно устоялся на меня. Зинаида расхохоталась и толкнула нас друг на друга.

– Да обнимитесь же, дети!

Мы обнялись.

– Хотите, я вас поведу в сад? – спросил я кадета.

– Извольте-с, – отвечал он сиплым, прямо кадетским голосом.

Зинаида опять рассмеялась... Я успел заметить, что никогда еще не было у ней на лице таких прелестных красок. Мы с кадетом отправились. У нас в саду стояли старенькие качели. Я его посадил на тоненькую дощечку и начал его качать. Он сидел неподвижно, в новом своем мундирчике из толстого сукна, с широкими золотыми позументами, и крепко держался за веревки.

– Да вы расстегните свой воротник, – сказал я ему.

– Ничего-с, мы привыкли-с, – проговорил он и откашлялся.

Он походил на свою сестру; особенно глаза ее напоминали. Мне было и приятно ему услуживать, и в то же время та же ноющая грусть тихо грызла мне сердце. «Теперь уж я точно ребенок, – думал я, – а вчера...» Я вспомнил, где я накануне уронил ножик, и отыскал его. Кадет выпросил его у меня, сорвал толстый стебель зори, вырезал из него дудку и принялся свистать. Отелло посвистал тоже.

Но зато вечером, как он плакал, этот самый Отелло, на руках Зинаиды, когда, отыскав его в уголку сада, она спросила его, отчего он так печален? Слезы мои хлынули с такой силой, что она испугалась.

– Что с вами? что с вами, Володя? – твердила она и, видя, что я не отвечаю ей и не перестаю плакать, вздумала было поцеловать мою мокрую щеку.

Но я отвернулся от нее и прошептал сквозь рыдания:

– Я все знаю; зачем же вы играли мною?.. На что вам нужна была моя любовь?

– Я виновата перед вами, Володя... – промолвила Зинаида. – Ах, я очень виновата... – прибавила она и стиснула руки. – Сколько во мне дурного, темного, грешного... Но я теперь не играю вами, я вас люблю – вы и не подозреваете, почему и как... Однако что же вы знаете?

Что мог я сказать ей? Она стояла передо мною и глядела на меня – а я принадлежал ей весь, с головы до ног, как только она на меня глядела... Четверть часа спустя я уже бегал с

кадетом и с Зинаидой взапуски; я не плакал, я смеялся, хотя напухшие веки от смеха роняли слезы; у меня на шее, вместо галстучка, была повязана лента Зинаиды, и я закричал от радости, когда мне удалось поймать ее за талию. Она делала со мной все, что хотела.

XIX

Я пришел бы в большое затруднение, если бы меня заставили рассказать подробно, что происходило со мною в течение недели после моей неудачной ночной экспедиции. Это было странное, лихорадочное время, хаос какой-то, в котором самые противоположные чувства, мысли, подозренья, надежды, радости и страдания кружились вихрем; я страшился заглянуть в себя, если только шестнадцатилетний мальчик может в себя заглянуть, страшился отдать себе отчет в чем бы то ни было; я просто спешил прожить день до вечера; зато ночью я спал... детское легкомыслие мне помогало. Я не хотел знать, любят ли меня, и не хотел сознаться самому себе, что меня не любят; отца я избегал – но Зинаиды избегать я не мог... Меня жгло как огнем в ее присутствии... но к чему мне было знать, что это был за огонь, на котором я горел и таял, – благо мне было сладко таять и гореть. Я отдавался всем своим впечатлениям и сам с собой лукавил, отворачивался от воспоминаний и закрывал глаза перед тем, что предчувствовал впереди... Это томление, вероятно, долго бы не продолжилось... громовой удар разом все прекратил и перебрросил меня в новую колею.

Вернувшись однажды к обеду с довольно продолжительной прогулки, я с удивлением узнал, что буду обедать один, что отец уехал, а матушка нездорова, не желает кушать и заперлась у себя в спальне. По лицам лакеев я догадывался, что произошло нечто необыкновенное... Расспрашивать их я не смел, но у меня был приятель, молодой буфетчик Филипп, страстный охотник до стихов и артист на гитаре – я к нему обратился. От него я узнал, что между отцом и матушкой произошла страшная сцена (а в девичьей все было слышно до единого слова; многое было сказано по-французски – да горничная Маша пять лет жила у швеи из Парижа и все понимала); что матушка моя упрекала отца в неверности, в знакомстве с соседней барышней, что отец сперва оправдывался, потом вспыхнул и в свою очередь сказал какое-то жестокое слово, «якобы об ихних летах», отчего матушка заплакала; что матушка также упомянула о векселе, будто бы данном старой княгине, и очень о ней дурно отзывалась и о барышне также, и что тут отец ей пригрозил.

– А произошла вся беда, – продолжал Филипп, – от безымянного письма; а кто его написал – неизвестно; а то бы как этим делам наружу выйти, причины никакой нет.

– Да разве что-нибудь было? – с трудом проговорил я, между тем как руки и ноги у меня холодели и что-то задрожало в самой глубине груди.

Филипп знаменательно мигнул.

– Было. Этих делов не скроешь; уж на что батюшка ваш в этом разе осторожен – да ведь надобно ж, примерно, карету нанять или там что... без людей не обойдешься тоже.

Я услал Филиппа – и повалился на постель. Я не зарыдал, не предался отчаянию; я не спрашивал себя, когда и как все это случилось; не удивлялся, как я прежде, как я давно не догадался, – я даже не роптал на отца... То, что я узнал, было мне не под силу: это внезапное откровение раздавило меня... Все было кончено. Все цветы мои были вырваны разом и лежали вокруг меня, разбросанные и истоптанные.

XX

Матушка на следующий день объявила, что переезжает в город. Утром отец вошел к ней в спальню и долго сидел с нею наедине. Никто не слышал, что он сказал ей, но матушка уже не плакала больше; она успокоилась и кушать потребовала – однако не показала и решения

своего не переменяла. Помнится, я пробродил целый день, но в сад не заходил и ни разу не взглянул на флигель, а вечером я был свидетелем удивительного происшествия: отец мой вывел графа Малевского под руку через залу в переднюю и, в присутствии лакея, холодно сказал ему: «Несколько дней тому назад вашему сиятельству в одном доме указали на дверь; а теперь я не буду входить с вами в объяснения, но имею честь вам доложить, что если вы еще раз пожалуете ко мне, то я вас выброшу в окошко. Мне ваш почерк не нравится». Граф наклонился, стиснул зубы, съежился и исчез.

Начались сборы к переселению в город, на Арбат, где у нас был дом. Отцу, вероятно, самому уже не хотелось более оставаться на даче; но, видно, он успел упротребить матушку не затевать истории. Все делалось тихо, не спеша, матушка велела даже поклониться княгине и изъявить ей сожаление, что по нездоровью не увидится с ней до отъезда. Я бродил, как шальной, – и одного только желал, как бы поскорее все это кончилось. Одна мысль не выходила у меня из головы: как могла она, молодая девушка – ну, и все-таки княжна, – решиться на такой поступок, зная, что мой отец человек несвободный, и имея возможность выйти замуж хоть, например, за Беловзорова? На что же она надеялась? Как не побоялась погубить всю свою будущность? Да, думал я, вот это – любовь, это – страсть, это – преданность... и вспоминались мне слова Лушина: жертвовать собою сладко для иных. Как-то пришлось мне увидеть в одном из окон флигеля бледное пятно... «Неужели это лицо Зинаиды?» – подумал я... Точно, это было ее лицо. Я не вытерпел. Я не мог расстаться с нею, не сказав ей последнего прости. Я улучил удобное мгновение и отправился во флигель.

В гостиной княгиня встретила меня своим обычным, неопратно-небрежным приветом.

– Что это, батюшка, ваши так рано всполошились? – промолвила она, забывая табак в обе ноздри.

Я посмотрел на нее, и у меня отлегло от сердца. Слово: вексель, сказанное Филиппом, мучило меня. Она ничего не подозревала... по крайней мере мне тогда так показалось. Зинаида появилась из соседней комнаты, в черном платье, бледная, с развитыми волосами; она молча взяла меня за руку и увела с собой.

– Я слышала ваш голос, – начала она, – и тотчас вышла. И вам так легко было нас покинуть, злой мальчик?

– Я пришел с вами проститься, княжна, – отвечал я, – вероятно, навсегда. Вы, может быть, слышали – мы уезжаем.

Зинаида пристально посмотрела на меня.

– Да, я слышала. Спасибо, что пришли. Я уже думала, что не увижу вас. Не поминайте меня лихом. Я иногда мучила вас; но все-таки я не такая, какую вы меня воображаете.

Она отвернулась и прислонилась к окну.

– Право, я не такая. Я знаю, вы обо мне дурного мнения.

– Я?

– Да, вы... вы.

– Я? – повторил я горестно, и сердце у меня задрожало по-прежнему под влиянием неотразимого, невыразимого обаяния. – Я? Поверьте, Зинаида Александровна, что бы вы ни сделали, как бы вы ни мучили меня, я буду любить и обожать вас до конца дней моих.

Она быстро обернулась ко мне и, раскрыв широко руки, обняла мою голову и крепко и горячо поцеловала меня. Бог знает, кого искал этот долгий, прощальный поцелуй, но я жадно вкусил его сладость. Я знал, что он уже никогда не повторится.

– Прощайте, прощайте, – твердил я...

Она вырвалась и ушла. И я удалился. Я не в состоянии передать чувство, с которым я удалился. Я бы не желал, чтобы оно когда-нибудь повторилось; но я почел бы себя несчастлив, если бы я никогда его не испытал.

Мы переехали в город. Не скоро я отделался от прошедшего, не скоро принялся за работу. Рана моя медленно заживала; но собственно против отца у меня не было никакого дурного чувства. Напротив: он как будто еще вырос в моих глазах... Пускай психологи объяснят это противоречие как знают. Однажды я шел по бульвару и, к неописанной моей радости, столкнулся с Лушиным. Я его любил за его прямой и нелицемерный нрав, да притом он был мне дорог по воспоминаниям, которые он во мне возбуждал. Я бросился к нему.

– Ага! – промолвил он и нахмурил брови. – Это вы, молодой человек! Покажите-ка себя. Вы все еще желты, а все-таки в глазах нет прежней дряни. Человеком смотрите, не комнатной собачкой. Это хорошо. Ну, что же вы? работаете?

Я вздохнул. Лгать мне не хотелось, а правду сказать я стыдился.

– Ну, ничего, – продолжал Лушин, – не робейте. Главное дело: жить нормально и не поддаваться увлечениям. А то что пользы? Куда бы волна ни понесла – все худо; человек хоть на камне стой, да на своих ногах. Я вот кашляю... а Беловзоров – слышали вы?

– Что такое? нет.

– Без вести пропал; говорят, на Кавказ уехал. Урок вам, молодой человек. А вся штука оттого, что не умеют вовремя расстаться, разорвать сети. Вот вы, кажется, выскочили благополучно. Смотрите же, не попадитесь опять. Прощайте.

«Не попадусь... – думал я, – не увижу ее больше»; но мне было суждено еще раз увидеть Зинаиду.

XXI

Отец мой каждый день выезжал верхом; у него была славная рыже-чалая английская лошадь, с длинной тонкой шеей и длинными ногами, неутомимая и злая. Ее звали Электрик. Кроме отца, на ней никто ездить не мог. Однажды он пришел ко мне в добром расположении духа, чего с ним давно не бывало; он собирался выехать и уже надел шпоры. Я стал просить его взять меня с собою.

– Давай лучше играть в чехарду, – отвечал мне отец, – а то ты на своем клепере за мной не поспеешь.

– Поспею; я тоже шпоры надену.

– Ну, пожалуй.

Мы отправились. У меня был вороненький, косматый конек, крепкий на ноги и довольно резвый: правда, ему приходилось скакать во все лопатки, когда Электрик шел полной рысью, но я все-таки не отставал. Я не видывал всадника, подобного отцу; он сидел так красиво и небрежно-ловко, что, казалось, сама лошадь под ним это чувствовала и щеголяла им. Мы проехали по всем бульварам, побывали на Девичьем поле, перепрыгнули через несколько заборов (сперва я боялся прыгать, но отец презирал робких людей, – и я перестал бояться), переехали дважды чрез Москву-реку – и я уже думал, что мы возвращаемся домой, тем более что сам отец заметил, что лошадь моя устала, как вдруг он повернул от меня в сторону от Крымского брода и поскакал вдоль берега. Я пустился вслед за ним. Поравнявшись с высокой грудой сложенных старых бревен, он проворно соскочил с Электрика, велел мне слезть и, отдав мне поводья своего коня, сказал, чтобы я подождал его тут же, у бревен, а сам повернул в небольшой переулок и исчез. Я принялся расхаживать взад и вперед вдоль берега, ведя за собой лошадей и бранясь с Электриком, который на ходу то и дело дергал головой, встряхивался, фыркал, ржал; а когда я останавливался, попеременно рыл копытом землю, с визгом кусал моего клепера в шею, словом, вел себя как избалованный *pur sang*²⁶. Отец не возвращался. От реки несло неприятной сыростью; мелкий дождик тихонько набежал и испестрил крошечными темными

²⁶ Конь чистокровной породы (*фр.*).

пятнами сильно надоевшие мне глупые серые бревна, около которых я скитался. Тоска меня брала, а отца все не было. Какой-то будочник из чухонцев, тоже весь серый, с огромным старым кивером в виде горшка на голове и с алебардой (зачем, кажется, было будочнику находиться на берегу Москвы-реки!), приблизился ко мне и, обратив ко мне свое старушечье, сморщенное лицо, промолвил:

– Что вы здесь делаете с лошадьми, барчук? Дайте-ка я подержу.

Я не отвечал ему; он попросил у меня табаку. Чтобы отвязаться от него (к тому же нетерпение меня мучило), я сделал несколько шагов к тому направлению, куда удалился отец; потом прошел переулочек до конца, повернул за угол и остановился. На улице, в сорока шагах от меня, перед раскрытым окном деревянного домика, спиной ко мне стоял мой отец; он опирался грудью на оконницу, а в домике, до половины скрытая занавеской, сидела женщина в темном платье и разговаривала с отцом; эта женщина была Зинаида.

Я остолбенел. Этого я, признаюсь, никак не ожидал. Первым движением моим было убежать. «Отец оглянется, – подумал я, – и я пропал...» Но странное чувство, чувство сильнее любопытства, сильнее даже ревности, сильнее страха – остановило меня. Я стал глядеть, я силился прислушаться. Казалось, отец настаивал на чем-то. Зинаида не соглашалась. Я как теперь вижу ее лицо – печальное, серьезное, красивое и с непередаваемым отпечатком преданности, грусти, любви и какого-то отчаяния – я другого слова подобрать не могу. Она произносила односложные слова, не поднимала глаз и только улыбалась – покорно и упрямо. По одной этой улыбке я узнал мою прежнюю Зинаиду. Отец повел плечами и поправил шляпу на голове, что у него всегда служило признаком нетерпения... Потом послышались слова: «Vous devez vous séparer de cette...»²⁷ Зинаида выпрямилась и протянула руку... Вдруг в глазах моих совершилось невероятное дело: отец внезапно поднял хлыст, которым сбивал пыль с полы своего сюртука, – и послышался резкий удар по этой обнаженной до локтя руке. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а Зинаида вздрогнула, молча посмотрела на моего отца и, медленно поднеся свою руку к губам, поцеловала заалевшийся на ней рубец. Отец швырнул в сторону хлыст и, торопливо взбежав на ступеньки крылечка, ворвался в дом... Зинаида обернулась – и, протянув руки, закинув голову, тоже отошла от окна.

С замиранием испуга, с каким-то ужасом недоумения на сердце бросился я назад и, пробежав переулок, чуть не упустив Электрика, вернулся на берег реки. Я не мог ничего сообразить. Я знал, что на моего холодного и сдержанного отца находили иногда порывы бешенства, и все-таки я никак не мог понять, что я такое видел... Но я тут же почувствовал, что, сколько бы я ни жил, забыть это движение, взгляд, улыбку Зинаиды было для меня навсегда невозможно, что образ ее, этот новый, внезапно представший передо мною образ, навсегда запечатлелся в моей памяти. Я глядел бессмысленно на реку и не замечал, что у меня слезы лились. «Ее бьют, – думал я, – бьют... бьют...»

– Ну, что же ты – давай мне лошадь! – раздался за мной голос отца.

Я машинально подал ему поводья. Он вскочил на Электрика... Прозябший конь взвился на дыбы и прыгнул вперед на полторы сажени... но скоро отец укротил его; он вонзил ему шпоры в бока и ударил его кулаком по шее... «Эх, хлыста нету», – пробормотал он.

Я вспомнил недавний свист и удар этого самого хлыста и содрогнулся.

– Куда ж ты дел его? – спросил я отца погодя немного.

Отец не отвечал мне и поскакал вперед. Я нагнал его. Мне непременно хотелось видеть его лицо.

– Ты соскучился без меня? – проговорил он сквозь зубы.

– Немножко. Где же ты уронил свой хлыст? – спросил я его опять.

Отец быстро глянул на меня.

²⁷ «Вы должны расстаться с этой...» (фр.).

– Я его не уронил, – промолвил он, – я его бросил.

Он задумался и опустил голову... И тут-то я в первый и едва ли не в последний раз увидел, сколько нежности и сожаления могли выразить его строгие черты.

Он опять поскакал, и уж я не мог его догнать; я приехал домой четверть часа после него.

«Вот это любовь, – говорил я себе снова, сидя ночью перед своим письменным столом, на котором уже начали появляться тетради и книги, – это страсть!.. Как, кажется, не возмутиться, как снести удар от какой бы то ни было!.. от самой милой руки! А, видно, можно, если любишь... А я-то... я-то воображал...»

Последний месяц меня очень состарил – и моя любовь, со всеми своими волнениями и страданиями, показалась мне самому чем-то таким маленьким, и детским, и мизерным перед тем другим, неизвестным чем-то, о котором я едва мог догадываться и которое меня пугало, как незнакомое, красивое, но грозное лицо, которое напрасно силишься разглядеть в полумраке...

Странный и страшный сон мне приснился в эту самую ночь. Мне чудилось, что я вхожу в низкую темную комнату... Отец стоит с хлыстом в руке и топает ногами; в углу прижалась Зинаида, и не на руке, а на лбу у ней красная черта... А сзади их обоих поднимается весь окровавленный Беловзоров, раскрывает бледные губы и гневно грозит отцу.

Два месяца спустя я поступил в университет, а через полгода отец мой скончался (от удара) в Петербурге, куда только что переселился с моей матерью и со мною. За несколько дней до своей смерти он получил письмо из Москвы, которое его чрезвычайно взволновало... Он ходил просить о чем-то матушку и, говорят, даже заплакал, он, мой отец! В самое утро того дня, когда с ним сделался удар, он начал было письмо ко мне на французском языке. «Сын мой, – писал он мне, – бойся женской любви, бойся этого счастья, этой отравы...» Матушка после его кончины послала довольно значительную сумму денег в Москву.

XXII

Прошло года четыре. Я только что вышел из университета и не знал еще хорошенько, что мне начать с собою, в какую дверь стучаться: шлялся пока без дела. В один прекрасный вечер я в театре встретил Майданова. Он успел жениться и поступить на службу; но я не нашел в нем перемены. Он так же ненужно восторгался и так же внезапно падал духом.

– Вы знаете, – сказал он мне, – между прочим, госпожа Дольская здесь.

– Какая госпожа Дольская?

– Вы разве забыли? бывшая княжна Засекина, в которую мы все были влюблены, да и вы тоже. Помните, на даче, возле Нескучного.

– Она замужем за Дольским?

– Да. – И она здесь, в театре? – Нет, в Петербурге, она на днях сюда приехала; собирается за границу. – Что за человек ее муж? – спросил я. – Прекрасный малый, с состоянием. Сослуживец мой московский. Вы понимаете – после той истории... вам это все должно быть хорошо известно (Майданов значительно улыбнулся) ... ей не легко было составить себе партию; были последствия... но с ее умом все возможно. Ступайте к ней: она вам будет очень рада. Она еще похорошела.

Майданов дал мне адрес Зинаиды. Она остановилась в гостинице Демут. Старые воспоминания во мне расшевелились... я дал себе слово на другой же день посетить бывшую мою «пассию». Но встретились какие-то дела; прошла неделя, другая, и когда я, наконец, отправился в гостиницу Демут и спросил госпожу Дольскую – я узнал, что она четыре дня тому назад умерла почти внезапно от родов. Меня как будто что-то в сердце толкнуло. Мысль, что я мог ее увидеть и не увидел и не увижу ее никогда, – эта горькая мысль впиалась в меня со всею силою неотразимого упрека. «Умерла!» – повторил я, тупо глядя на швейцара, тихо выбрался

на улицу и пошел не зная сам куда. Все прошедшее разом всплыло и встало передо мною. И вот чем разрешилась, вот к чему, спеша и волнуясь, стремилась эта молодая, горячая, блистательная жизнь! Я это думал, я воображал себе эти дорогие черты, эти глаза, эти кудри – в тесном ящике, в сырой подземной тьме – тут же, недалеко от меня, пока еще живого, и, может быть, в нескольких шагах от моего отца... Я все это думал, я напрягал свое воображение, а между тем:

Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я, —

звучало у меня в душе. О молодость! молодость! тебе нет ни до чего дела, ты как будто бы обладаешь всеми сокровищами вселенной, даже грусть тебя тешит, даже печаль тебе к лицу, ты самоуверенна и дерзка, ты говоришь: я одна живу – смотрите! а у самой дни бегут и исчезают без следа и без счета, и все в тебе исчезает, как воск на солнце, как снег... И, может быть, вся тайна твоей прелести состоит не в возможности все сделать, а в возможности думать, что ты все сделаешь, – состоит именно в том, что ты пускаешь по ветру силы, которые ни на что другое употребить бы не умела, – в том, что каждый из нас не шутя считает себя расточителем, не шутя полагает, что он вправе сказать: «О, что бы я сделал, если б я не потерял времени даром!»

Вот и я... на что я надеялся, чего я ожидал, какую богатую будущность предвидел, когда едва проводил одним вздохом, одним унылым ощущением на миг возникший призрак моей первой любви?

А что сбылось из всего того, на что я надеялся? И теперь, когда уже на жизнь мою начинают набегать вечерние тени, что у меня осталось более свежего, более дорогого, чем воспоминания о той быстро пролетевшей, утренней, весенней грозе?

Но я напрасно клевету на себя. И тогда, в то легкомысленное молодое время, я не остался глух на печальный голос, воззавший ко мне, на торжественный звук, долетевший до меня из-за могилы. Помнится, несколько дней спустя после того дня, когда я узнал о смерти Зинаиды, я сам, но собственному неотразимому влечению, присутствовал при смерти одной бедной старушки, жившей в одном с нами доме. Покрытая лохмотьями, на жестких досках, с мешком под головою, она трудно и тяжело кончалась. Вся жизнь ее прошла в горькой борьбе с ежедневной нуждой; не видела она радости, не вкушала от меду счастья – казалось, как бы ей не обрадоваться смерти, ее свободе, ее покою? А между тем пока ее ветхое тело еще упорствовало, пока грудь еще мучительно вздымалась под налегшей на нее леденящей рукою, пока ее не покинули последние силы, – старушка все крестилась и все шептала: «Господи, отпусти мне грехи мои», – и только с последней искрой сознания исчезло в ее глазах выражение страха и ужаса кончины. И помню я, что тут, у одра этой бедной старушки, мне стало страшно за Зинаиду, и захотелось мне помолиться за нее, за отца – и за себя.

1860

Вешние воды

*Веселые годы,
Счастливые дни —
Как вешние воды
Промчались они!
Из старинного романа*

... Часу во втором ночи он вернулся в свой кабинет. Он выслал слугу, зажегшего свечки, и, бросившись в кресло около камина, закрыл лицо обеими руками.

Никогда еще он не чувствовал такой усталости – телесной и душевной. Целый вечер он провел с приятными дамами, с образованными мужчинами; некоторые из дам были красивы, почти все мужчины отличались умом и талантами – сам он беседовал весьма успешно и даже блистательно... и, со всем тем, никогда еще то «*taedium vitae*», о котором говорили уже римляне, то «отвращение к жизни» – с такой неотразимой силой не овладевало им, не душило его. Будь он несколько помоложе – он заплакал бы от тоски, от скуки, от раздражения: горечь едкая и жгучая, как горечь полыни, наполняла всю его душу. Что-то неотвязчиво-постылое, противно-тяжкое со всех сторон обступило его, как осенняя, темная ночь; и он не знал, как отделаться от этой темноты, от этой горечи. На сон нечего было рассчитывать: он знал, что он не заснет.

Он принялся размышлять... медленно, вяло и злобно.

Он размышлял о суете, ненужности, о пошлой фальши всего человеческого. Все возрасты постепенно проходили перед его мысленным взором (ему самому недавно минул 52-й год) – и ни один не находил пощады перед ним. Везде все то же вечное переливание из пустого в порожнее, то же толчение воды, то же наполовину добросовестное, наполовину сознательное самообольщение, – чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, – а там вдруг, уж точно как снег на голову, нагрянет старость – и вместе с нею тот постоянно возрастающий, все разъедающий и подтачивающий страх смерти... и бух в бездну! Хорошо еще, если так разыграется жизнь! А то, пожалуй, перед концом пойдут, как ржа по железу, немощи, страдания... Не бурными волнами покрытым, как описывают поэты, представлялось ему жизненное море; нет; он воображал себе это море невозмутимо гладким, неподвижным и прозрачным до самого темного дна; сам он сидит в маленькой, валкой лодке – а там, на этом темном, илистом дне, наподобие громадных рыб, едва виднеются безобразные чудища: все житейские недуги, болезни, горести, безумие, бедность, слепота... Он смотрит – и вот одно из чудищ выделяется из мрака, поднимается выше и выше, становится все явственнее, все отвратительно явственнее... Еще минута – и перевернется подпертая им лодка! Но вот оно опять как будто тускнеет, оно удаляется, опускается на дно – и лежит оно там, чуть-чуть шевеля плесом... Но день урочный придет – и перевернет оно лодку.

Он тряхнул головою, вскочил с кресла, раза два прошелся по комнате, присел к письменному столу и, выдвигая один ящик за другим, стал рыться в своих бумагах, в старых, большей частью женских, письмах. Он сам не знал, для чего он это делал, он ничего не искал – он просто хотел каким-нибудь внешним занятием отделаться от мыслей, его томивших. Развернув наудачу несколько писем (в одном из них оказался засохший цветок, перевязанный полинявшей ленточкой), – он только плечами пожал и, глянув на камин, отбросил их в сторону, вероятно, собираясь сжечь весь этот ненужный хлам. Торопливо засовывая руки то в один, то в другой ящик, он вдруг широко раскрыл глаза и, медленно вытащив наружу небольшую осьмиугольную коробку старинного покроя, медленно приподнял ее крышку. В коробке, под двойным слоем пожелтевшей хлопчатой бумаги, находился маленький гранатовый крестик.

Несколько мгновений с недоумением рассматривал он этот крестик – и вдруг слабо вскрикнул... Не то сожаление, не то радость изобразили его черты. Подобное выражение являет лицо человека, когда ему приходится внезапно встретиться с другим человеком, которого он давно потерял из виду, которого нежно любил когда-то и который неожиданно возникает теперь перед его взором, все тот же – и весь измененный годами.

Он встал и, возвратясь к камину, сел опять в кресло – и опять закрыл руками лицо... «Почему сегодня? именно сегодня?» – думалось ему – и вспомнил он многое, давно прошедшее.

Вот что вспомнил он...

Но нужно сперва сказать его имя, отчество и фамилию. Его звали Саниным, Дмитрием Павловичем.

Вот что он вспомнил:

I

Дело было летом 1840 года. Санину минул двадцать второй год, и он находился во Франкфурте, на возвратном пути из Италии в Россию. Человек он был с небольшим состоянием, но независимый, почти бессемейный. У него, по смерти отдаленного родственника, оказалось несколько тысяч рублей – и он решился прожить их за границей, перед поступлением на службу, перед окончательным возложением на себя того казенного хомута, без которого обеспеченное существование стало для него невыносимым. Санин в точности исполнил свое намерение и так искусно распорядился, что в день прибытия во Франкфурт у него оказалось ровно столько денег, сколько нужно было для того, чтобы добраться до Петербурга. В 1840 году железных дорог существовала самая малость; г-да туристы разъезжали в дилижансах. Санин взял место в «бейвагене»²⁸; но дилижанс отходил только в одиннадцатом часу вечера. Времени оставалось много. К счастью, погода стояла прекрасная – и Санин, пообедав в знаменитой тогдашней гостинице «Белого лебедя», отправился бродить по городу. Зашел посмотреть Даннекерову Ариадну, которая ему понравилась мало, посетил дом Гете, из сочинений которого он, впрочем, прочел одного «Вертера» – и то во французском переводе; погулял по берегу Майна, поскучал, как следует добропорядочному путешественнику; наконец, в шестом часу вечера, усталый, с запыленными ногами, очутился в одной из самых незначительных улиц Франкфурта. Эту улицу он долго потом забыть не мог. На одном из немногочисленных ее домов он увидел вывеску: «Итальянская кондитерская Джиованни Розелли» заявляла о себе прохожим. Санин зашел в нее, чтобы выпить стакан лимонаду; но в первой комнате, где, за скромным прилавком, на полках крашеного шкафа, напоминая аптеку, стояло несколько бутылок с золотыми ярлыками и столько же стеклянных банок с сухарями, шоколадными лепешками и леденцами, – в этой комнате не было ни души; только серый кот жмурился и мурлыкал, перебирая лапками на высоком плетеном стуле возле окна, и, ярко рдея в косом луче вечернего солнца, большой клубок красной шерсти лежал на полу рядом с опрокинутой корзинкой из резного дерева. Смутный шум слышался в соседней комнате. Санин постоял – и, дав колокольчику на дверях прозвенеть до конца, произнес, возвысив голос: «Никого здесь нет?» В то же мгновение дверь из соседней комнаты растворилась – и Санину поневоле пришлось изумиться.

²⁸ В добавочной (прицепной) повозке (нем. *Beiwagen*).

II

В кондитерскую, с рассыпанными по обнаженным плечам темными кудрями, с протянутыми вперед обнаженными руками, порывисто вбежала девушка лет девятнадцати и, увидев Санина, тотчас бросилась к нему, схватила его за руку и повлекла за собою, приговаривая задыхавшимся голосом: «Скорей, скорей, сюда, спасите!» Не из нежелания повиноваться, а просто от избытка изумления Санин не тотчас последовал за девушкой – и как бы уперся на месте: он в жизни не видывал подобной красавицы. Она обернулась к нему – и с таким отчаянием в голосе, во взгляде, в движении сжатой руки, судорожно поднесенной к бледной щеке, произнесла: «Да идите же, идите!» – что он тотчас ринулся за нею в раскрытую дверь.

В комнате, куда он вбежал вслед за девушкой, на старомодном диване из конского волоса лежал, весь белый – белый с желтоватыми отливами, как воск или как древний мрамор, – мальчик лет четырнадцати, поразительно похожий на девушку, очевидно ее брат. Глаза его были закрыты, тень от черных густых волос падала пятном на словно окаменелый лоб, на недвижные тонкие брови; из-под посиневших губ виднелись стиснутые зубы. Казалось, он не дышал; одна рука опустилась на пол, другую он закинул за голову. Мальчик был одет и застегнут; тесный галстук сжимал его шею.

Девушка с воплем бросилась к нему.

– Он умер, он умер! – вскричала она, – сейчас он тут сидел, говорил со мною – и вдруг упал и сделался недвижим... Боже мой! неужели нельзя помочь? И мамы нет! Панталеоне, Панталеоне, что же доктор? – прибавила она вдруг по-итальянски: – Ты ходил за доктором?

– Синьора, я не ходил, я послал Луизу, – раздался хриплый голос за дверью, – и в комнату, ковыляя на кривых ножках, вошел маленький старичок в лиловом фраке с черными пуговицами, высоком белом галстуке, нанковых коротких панталонах и синих шерстяных чулках. Его крошечное личико совершенно исчезало под целой громадой седых, железного цвета волос. Со всех сторон круто вздымаясь кверху и падая обратно растрепанными косицами, они придавали фигуре старичка сходство с хохлатой курицей – сходство тем более поразительное, что под их темно-серой массой только и можно было разобрать, что заостренный нос да круглые желтые глаза.

– Луиза скорей сбегает, а я не могу бегать, – продолжал старичок по-итальянски, поочередно поднимая плоские, подагрические ноги, обутые в высокие башмаки с бантиками, – а я вот воды принес.

Своими сухими, корявыми пальцами он стискивал длинное горлышко бутылки.

– Но Эмиль пока умрет! – воскликнула девушка и протянула руки к Санину. – О мой господин, о mein Herr! Неужели вы не можете помочь?

– Надо ему кровь пустить – это удар, – заметил старичок, носивший имя Панталеоне.

Хотя Санин не имел ни малейшего понятия о медицине, однако одно он знал достоверно: с четырнадцатилетними мальчиками ударов не случается.

– Это обморок, а не удар, – проговорил он, обратясь к Панталеоне. – Есть у вас щетки?

Старичок приподнял свое личико.

– Что?

– Щетки, щетки, – повторил Санин по-немецки и по-французски. – Щетки, – прибавил он, показывая вид, что чистит себе платье.

Старичок, наконец, его понял.

– А, щетки! Spazzette! Как не быть щеток!

– Давайте их сюда; мы снимем с него сюртук – и станем растирать его.

– Хорошо... Venone! А воду на голову не надо вылить?

– Нет... после; ступайте теперь поскорей за щетками.

Панталеоне поставил бутылку на пол, выбежал вон и тотчас вернулся с двумя щетками, одной головной и одной платяной. Курчавый пудель сопровождал его и, усиленно вертя хвостом, с любопытством оглядывал старика, девушку и даже Санина – как бы желая знать, что значила вся эта тревога?

Санин проворно снял сюртук с лежавшего мальчика, расстегнул ворот, засучил рукава его рубашки – и, вооружившись щеткой, начал изо всех сил тереть ему грудь и руки. Панталеоне так же усердно тер другой – головной щеткой – по его сапогам и панталонам. Девушка бросилась на колени возле дивана и, схватив обеими руками голову, не мигая ни одной векою, так и впилась в лицо своему брату. Санин сам тер – а сам искоса поглядывал на нее. Боже мой! какая же это была красавица!

Ш

Нос у ней был несколько велик, но красивого, орлиного ладу, верхнюю губу чуть-чуть оттенял пушок; зато цвет лица, ровный и матовый, ни дать ни взять слоновая кость или молочный янтарь, волнистый лоск волос, как у Аллориевой Юдифи в Палаццо-Питти, – и особенно глаза, темно-серые, с черной каемкой вокруг зениц, великолепные, торжествующие глаза, – даже теперь, когда испуг и горе омрачили их блеск... Санину невольно вспомнился чудесный край, откуда он возвращался... Да он и в Италии не встречал ничего подобного! Девушка дышала редко и неровно; казалось, она всякий раз ждала, не начнет ли брат ее дышать?

Санин продолжал растирать его; но он глядел не на одну девушку. Оригинальная фигура Панталеоне также привлекла его внимание. Старик совсем ослабел и запыхался; при каждом ударе щеткой подпрыгивал и визгливо кричал, а огромные космы волос, смоченные потом, грузно раскачивались из стороны в сторону, словно корни крупного растения, подмытые водою.

«Снимите, по крайней мере, с него сапоги», – хотел было сказать ему Санин...

Пудель, вероятно возбужденный необычайностью всего происходившего, вдруг припал на передние лапы – и принялся лаять.

– Tartaglia – canaglia!²⁹ – зашипел на него старик...

Но в это мгновение лицо девушки преобразилось. Ее брови приподнялись, глаза стали еще больше и засияли радостью...

Санин оглянулся... По лицу молодого человека выступила краска; веки шевельнулись... ноздри дрогнули. Он потянул воздух сквозь все еще стиснутые зубы, вздохнул...

– Эмиль!.. – крикнула девушка. – Эмилио мио!

Медленно раскрылись большие черные глаза. Они глядели еще тупо, но уже улыбались – слабо; та же слабая улыбка спустилась на бледные губы. Потом он двинул повислой рукою – и с размаху положил ее себе на грудь.

– Эмилио! – повторила девушка и приподнялась. Выражение ее лица было так сильно и ярко, что казалось, вот сейчас либо слезы у нее брызнут, либо вырвется хохот.

– Эмиль! Что такое? Эмиль! – послышалось за дверью – и в комнату проворными шагами вошла опрятно одетая дама с серебристо-седыми волосами и смуглым лицом. Мужчина пожилых лет выступал за нею следом; голова служанки мелькнула у него за плечами.

Девушка побежала к ним навстречу.

– Он спасен, мама, он жив! – воскликнула она, судорожно обнимая вошедшую даму.

– Да что такое? – повторила та. – Я возвращаюсь... и вдруг встречаю господина доктора и Луизу...

²⁹ Тарталья – каналья! (*ит.*).

Девушка принялась рассказывать, что случилось, а доктор подошел к больному, который все более и более приходил в себя – и все продолжал улыбаться: он словно начинал стыдиться наделанной им тревоги.

– Вы, я вижу, его растирали щетками, – обратился доктор к Санину и Панталеоне, – и прекрасно сделали... Очень хорошая мысль... а вот мы теперь посмотрим, какие еще средства... – Он пощупал у молодого человека пульс. – Гм! Покажите-ка язык!

Дама заботливо наклонилась к нему. Он еще откровеннее улыбнулся, взвел на нее глаза – и покраснел...

Санину пришло на мысль, что он становится лишним; он вышел в кондитерскую. Но не успел он еще взяться за ручку уличной двери, как девушка опять появилась перед ним и остановила его.

– Вы уходите, – начала она, ласково заглядывая ему в лицо, – я вас не удерживаю, но вы должны непременно прийти к нам сегодня вечером, мы вам так обязаны – вы, может быть, спасли брата – мы хотим благодарить вас – мама хочет. Вы должны сказать нам, кто вы, вы должны порадоваться вместе с нами...

– Но я уезжаю сегодня в Берлин, – заикнулся было Санин.

– Вы еще успеете, – с живостью возразила девушка. – Придите к нам через час на чашку шоколада. Вы обещаетесь? А мне нужно опять к нему! Вы придете?

Что оставалось делать Санину?

– Приду, – отвечал он.

Красавица быстро пожала ему руку, выпорхнула вон – и он очутился на улице.

IV

Когда Санин часа полтора спустя вернулся в кондитерскую Розелли, его там приняли как родного. Эмилио сидел на том же самом диване, на котором его растирали; доктор прописал ему лекарство и рекомендовал «большую осторожность в испытании ощущений», – так как субъект темперамента нервного и с склонностью к болезням сердца. Он и прежде подвергался обморокам; но никогда припадок не был так продолжителен и силен. Впрочем, доктор объявил, что всякая опасность миновалась. Эмиль одет был, как приличествует выздоравливающему, в просторный шлафрок; мать намотала ему голубую шерстяную косынку вокруг шеи; но вид он имел веселый, почти праздничный; да и все кругом имело праздничный вид. Перед диваном, на круглом столе, покрытом чистой скатертью, возвышался наполненный душистым шоколадом, окруженный чашками, графинами с сиропом, бисквитами и булками, даже цветами, – огромный фарфоровый кофейник; шесть тонких восковых свечей горело в двух старинных серебряных шандалах; с одной стороны дивана вольтеровское кресло раскрывало свои мягкие объятия – и Санина посадили именно в это кресло. Все обитатели кондитерской, с которыми ему пришлось познакомиться в тот день, находились налицо, не исключая пуделя Тарталью и кота; все казались несказанно счастливыми; пудель даже чихал от удовольствия; один кот по-прежнему все жеманился и жмурился. Санина заставили объяснить, кто он родом, и откуда, и как его зовут; когда он сказал, что он русский, обе дамы немного удивились и даже ахнули – и тут же, в один голос, объявили, что он отлично выговаривает по-немецки; но что если ему удобнее выразиться по-французски, то он может употреблять и этот язык, – так как они обе хорошо его понимают и выражаются на нем. Санин немедленно воспользовался этим предложением. «Санин! Санин!» Дамы никак не ожидали, что русская фамилия может быть так легко произносима. Имя его: «Димитрий» также весьма понравилось. Старшая дама заметила, что она в молодости слышала прекрасную оперу: «Demetrio e Polibio» – но что «Dimitri» гораздо лучше, чем «Demetrio». Таким манером Санин беседовал около часу. С своей стороны дамы посвятили его во все подробности собственной жизни. Говорила больше мать, дама с

седыми волосами. Санин узнал от нее, что имя ее – Леонора Розелли; что она осталась вдовой после мужа своего, Джиованни Баттиста Розелли, который двадцать пять лет тому назад поселился во Франкфурте в качестве кондитера; что Джиованни Баттиста был родом из Виченцы, и очень хороший, хотя немного вспылчивый и заносчивый человек, и к тому республиканец! При этих словах г-жа Розелли указала на его портрет, писанный масляными красками и висевший над диваном. Должно полагать, что живописец – «тоже республиканец!», как со вздохом заметила г-жа Розелли – не вполне умел уловлять сходство, ибо на портрете покойный Джиованни Баттиста являлся каким-то сумрачным и суровым бригаantom – вроде Ринальдо Ринальдини! Сама г-жа Розелли была уроженка «старинного и прекрасного города Пармы, где находится такой чудный купол, расписанный бессмертным Корреджио!» Но от давнего пребывания в Германии она почти совсем онемечилась. Потом она прибавила, грустно покачав головою, что у ней только и осталось, что вот *эта* дочь да вот *этот* сын (она указала на них поочередно пальцем); что дочь зовут Джеммой, а сына – Эмилием; что оба они очень хорошие и послушные дети – особенно Эмилио... («Я не послушна?» – вернула тут дочь; «Ох, ты тоже республиканка!» – ответила мать); что дела, конечно, идут теперь хуже, чем при муже, который по кондитерской части был великий мастер... («Un grand'uomo!» – с суровым видом подхватил Панталеоне); но что все-таки, слава богу, жить еще можно!

V

Джемма слушала мать – и то посмеивалась, то вздыхала, то гладила ее по плечу, то грозила ей пальцем, то посматривала на Санина; наконец она встала, обняла и поцеловала мать в шею – «в душку», отчего та много смеялась и даже пищала. Панталеоне был также представлен Санину. Оказалось, что он был когда-то оперным певцом, для баритонных партий, но уже давно прекратил свои театральные занятия и состоял в семействе Розелли чем-то средним между другом дома и слугою. Несмотря на весьма долговременное пребывание в Германии, он немецкому языку выучился плохо и только умел браниться на нем, немилосердно коверкая даже и бранные слова. «Феррофлукто спиччбуббио!»³⁰ – обзывал он чуть не каждого немца. Итальянский же язык выговаривал в совершенстве – ибо был родом из Синигальи, где слышится «lingua toscana in bocca romana!»³¹. Эмилио видимо нежился и предавался приятным ощущениям человека, который только что избегнул опасности или выздоравливает; да и, кроме того, по всему можно было заметить, что домашние его баловали. Он застенчиво поблагодарил Санина, а впрочем, больше налегал на сироп и на конфекты. Санин принужден был выпить две большие чашки превосходного шоколада и съесть замечательное количество бисквитов: он только что проглотит один, а Джемма уже подносит ему другой – и отказаться нет возможности! Он скоро почувствовал себя как дома: время летело с невероятной быстротой. Ему пришлось много рассказывать – о России вообще, о русском климате, о русском обществе, о русском мужике – и особенно о казаках; о войне двенадцатого года, о Петре Великом, о Кремле, и о русских песнях, и о колоколах. Обе дамы имели весьма слабое понятие о нашей пространной и отдаленной родине; г-жа Розелли, или, как ее чаще звали, фрау Леноре, даже повергла Санина в изумление вопросом: существует ли еще знаменитый, построенный в прошлом столетии, ледяной дом в Петербурге, о котором она недавно прочла такую любопытную статью в одной из книг ее покойного мужа: «Bellezze delle arti»?³² А в ответ на восклицание Санина: «Неужели же вы полагаете, что в России никогда не бывает лета?!» – фрау Леноре возразила, что она до сих пор так себе представляла Россию: вечный снег, все ходят в шубах и все военные

³⁰ «Проклятый плут!» (искаж. нем.).

³¹ «Тосканский язык в римских устах!» (ит.).

³² «Красоты искусства» (ит.).

– но гостеприимство чрезвычайное, и все крестьяне очень послушны! Санин постарался сообщить ей и ее дочери сведения более точные. Когда речь коснулась русской музыки, его тотчас попросили спеть какую-нибудь русскую арию и указали на стоявшее в комнате крошечное фортепиано, с черными клавишами вместо белых и белыми вместо черных. Он повинился без дальних околичностей и, аккомпанируя себе двумя пальцами правой и тремя (большим, средним и мизинцем) левой, – спел тоненьким носовым тенорком сперва «Сарафан», потом «По улице мостовой». Дамы похвалили его голос и музыку, но более восхищались мягкостью и звучностью русского языка и потребовали перевода текста. Санин исполнил их желание, но так как слова «Сарафана» и особенно: «По улице мостовой» (*sur une rue pavée une jeune fille allait à l'eau*³³ – он так передал смысл оригинала) – не могли внушить его слушательницам высокое понятие о русской поэзии, то он сперва продекламировал, потом перевел, потом спел пушкинское: «Я помню чудное мгновенье», положенное на музыку Глинкой, минорные куплеты которого он слегка переврал. Тут дамы пришли в восторг – фрау Леноре даже открыла в русском языке удивительное сходство с итальянским. «Мгновенье» – «o, vieni»³⁴, «со мной» – «siam poi»³⁵ – и т. п. Даже имена: Пушкин (она выговаривала: Пуссекин) и Глинка звучали ей чем-то родным. Санин в свою очередь попросил дам что-нибудь спеть: они также не стали чиниться. Фрау Леноре села за фортепиано и вместе с Джеммой спела несколько дуэтино и «сторнелло». У матери был когда-то хороший контральт; голос дочери был несколько слаб, но приятен.

VI

Но не голосом Джеммы – ею самую любовался Санин. Он сидел несколько позади и сбоку и думал про себя, что никакая пальма – даже в стихах Бенедиктова, тогдашнего модного поэта, – не в состоянии соперничать с изящной стройностью ее стана. Когда же она, на чувствительных нотках, возводила кверху глаза – ему казалось, что нет такого неба, которое не разверзлось бы перед таким взором. Даже старик Панталеоне, который, прислонясь плечом к притолке двери и уткнув подбородок и рот в просторный галстух, слушал важно, с видом знатока, – даже тот любовался лицом прекрасной девушки и дивился ему – а, кажется, должен был он к нему привыкнуть! Окончив свои дуэтино с дочерью, фрау Леноре заметила, что у Эмилио голос отличный, настоящее серебро, но что он теперь вступил в тот возраст, когда голос меняется (он действительно говорил каким-то беспреестанно ловавшимся басом), – и что по этой причине ему запрещено петь; а что вот Панталеоне мог бы, в честь гостя, тряхнуть стариной! Панталеоне тотчас принял недовольный вид, нахмурился, взъерошил волосы и объявил, что он уже давно все это бросил, хотя действительно мог в молодости постоять за себя, – да и вообще принадлежал к той великой эпохе, когда существовали настоящие, классические певцы – не чета теперешним пискунам! – и настоящая школа пения; что ему, Панталеоне Чиппатоло из Варэзе, поднесли однажды в Модене лавровый венок и даже по этому случаю выпустили в театре несколько белых голубей; что, между прочим, один русский князь Тарбусский – «il principe Tarbusski», – с которым он был в самых дружеских отношениях, постоянно за ужином звал его в Россию, обещал ему горы золота, горы!.. но что он не хотел расстаться с Италией, с страной Данта – *il paese del Dante!* – Потом, конечно, произошли... несчастные обстоятельства, он сам был неосторожен... Тут старик перервал самого себя, вздохнул глубоко раза два, потупился – и снова заговорил о классической эпохе пения, о знаменитом теноре Гарсия, к которому питал благоговейное, безграничное уважение.

³³ По замощенной улице молодая девушка шла за водой (*фр.*).

³⁴ «О, приходи» (*ит.*).

³⁵ «Это мы» (*ит.*).

«Вот был человек! – воскликнул он. – Никогда великий Гарсиа – «il gran Garcia» – не унижался до того, чтобы петь, как теперешние теноришки – tenoracci – фальцетом: все грудью, грудью, voce di petto sit!»³⁶ Старик крепко постучал маленьким засохшим кулачком по собственному жабо! «И какой актер! Вулкан, signori miei³⁷, вулкан, un Vesuvio! Я имел честь и счастье петь вместе с ним в опере dell'illustrissimo maestro³⁸ Россини – в «Отелло»! Гарсиа был Отелло – я был Яго – и когда он произносил эту фразу...»

Тут Панталеоне стал в позитуру и запел дрожавшим и сильным, но все еще патетическим голосом:

L'i... ra da ver... so da ver... so il fato
Jo più no... no... no... non temerr!³⁹

– Театр трепетал, signori miei! но и я не отставал; и я тоже за ним:

L'i... ra da ver... so da ver... so il fato
Temer più non dovró!⁴⁰

И вдруг он – как молния, как тигр:

Morrò!.. ma vendicato...⁴¹

Или вот еще, когда он пел... когда он пел эту знаменитую арию из «Matrimonio segreto»: Pria che spunti...⁴² Тут он, il gran Garcia, после слов: I cavalli di galoppo⁴³ – делал на словах: Senza posa caccera⁴⁴ – послушайте, как это изумительно, com'è stupendo!⁴⁵ Тут он делал...» – Старик начал было какую-то необыкновенную фиоритуру – и на десятой ноте запнулся, закашлялся и, махнув рукою, отвернулся и пробормотал: «Зачем вы меня мучите?» Джемма тотчас же вскочила со стула и, громко хлопая в ладоши, с криком: «Браво!.. браво!» – подбежала к бедному отставному Яго и обеими руками ласково потрепала его по плечам. Один Эмиль безжалостно смеялся. Cetâge est sans pitié – этот возраст не знает жалости, – сказал уже Лафонтен.

Санин попытался утешить престарелого певца и заговорил с ним на итальянском языке (он слегка его нахватался во время своего последнего путешествия) – заговорил о «paese del Dante, dove il sì suona»⁴⁶. Эта фраза вместе с «Lasciate ogni speranza»⁴⁷ составляла весь поэтический итальянский багаж молодого туриста; но Панталеоне не поддавался на его заискивания. Глубже чем когда-либо уткнув подбородок в галстук и угрюмо пуча глаза, он снова уподобился птице, да еще сердитой, – вброду, что ли, или коршуну. Тогда Эмиль, мгновенно и легко краснея, как это обыкновенно случается с балованными детьми, – обратился к сестре и сказал ей, что если она желает занять гостя, то ничего она не может придумать лучшего, как прочесть ему

³⁶ Грудным голосом, да! (ит.).

³⁷ Господа мои (ит.).

³⁸ Знаменитейшего маэстро (ит.).

³⁹ Гнева... судьбы... Я больше не буду бояться! (ит.).

⁴⁰ Гнева... судьбы... Бояться я больше не должен! (ит.).

⁴¹ Умру!.. но отомщенный... (ит.).

⁴² «Тайного брака»: Прежде чем взойдет... (ит.).

⁴³ Скаковые лошади (ит.).

⁴⁴ Без передышки будет гнать (ит.).

⁴⁵ Как великолепно!

⁴⁶ «Стране Данте, где звучит слово «да» (ит.).

⁴⁷ «Оставь надежду, всяк» (ит.).

одну из комедий Мальца, которые она так хорошо читает. Джемма засмеялась, ударила брата по руке, воскликнула, что он «всегда такое придумает!» Однако тотчас пошла в свою комнату и, вернувшись оттуда с небольшой книжкой в руке, уселась за столом перед лампой, оглянулась, подняла палец – «молчать, дескать!» – чисто итальянский жест – и принялась читать.

VII

Мальц был франкфуртский литератор 30-х годов, который в своих коротеньких и легко набросанных комедийках, писанных на местном наречии, выводил, с забавным и бойким, хотя и не глубоким юмором, – местные, франкфуртские типы. Оказалось, что Джемма читала точно превосходно – совсем по-актерски. Она оттеняла каждое лицо и отлично выдерживала его характер, пуская в ход свою мимику, унаследованную ею вместе с итальянской кровью; не щадя ни своего нежного голоса, ни своего прекрасного лица, она – когда нужно было представить либо выжившую из ума старуху, либо глупого бургомистра, – корчила самые уморительные гримасы, ежила глаза, морщила нос, картавила, пищала... Сама во время чтения она не смеялась; но когда слушатели (за исключением, правда, Панталеоне: он тотчас с негодованием удалился, как только зашла речь о *quel ferroflucto Tedesco*)⁴⁸, когда слушатели прерывали ее взрывом дружного хохота, – она, опустив книгу на колени, звонко хохотала сама, закинув голову назад, – и черные ее кудри прыгали мягкими кольцами по шее и по сотрясенным плечам. Хохот прекращался – она тотчас поднимала книгу и, снова придав чертам своим надлежащий склад, серьезно принималась за чтение. Санин не мог довольно надивиться ей; его особенно поражало то, каким чудом такое идеально-прекрасное лицо принимало вдруг такое комическое, иногда почти тривиальное выражение? Менее удовлетворительно читала Джемма роли молодых девиц – так называемых «*jeunes premières*»;⁴⁹ особенно любовные сцены не удавались ей; она сама это чувствовала и потому придавала им легкий оттенок насмешливости – словно она не верила всем этим восторженным клятвам и возвышенным речам, от которых, впрочем, сам автор воздерживался – по мере возможности.

Санин не заметил, как пролетел вечер, – и только тогда вспомнил о предстоявшем путешествии, когда часы пробили десять часов. Он вскочил со стула, как ужаленный.

– Что с вами? – спросила фрау Леноре.

– Да я должен был сегодня уехать в Берлин – и уже место взял в дилижансе!

– А когда отходит дилижанс?

– В половине одиннадцатого!

– Ну, так вы уже не успеете, – заметила Джемма, – оставайтесь... я еще почитаю.

– Вы все деньги заплатили или только задаток дали? – полюбопытствовала фрау Леноре.

– Все! – с печальной ужимкой возопил Санин.

Джемма посмотрела на него, прищурилась, – и рассмеялась, а мать ее побранила:

– Молодой человек попусту деньги затратил, а ты смеешься!

– Ничего, – отвечала Джемма, – это его не разорит, а мы постараемся его утешить. Хотите лимонаду?

Санин выпил стакан лимонада, Джемма снова принялась за Мальца – и все опять пошло как по маслу.

Часы пробили двенадцать. Санин стал прощаться.

– Вы теперь несколько дней должны остаться во Франкфурте, – сказала ему Джемма, – куда вам спешить? Веселей в другом городе не будет. – Она помолчала. – Право, не будет, – прибавила она и улыбнулась. Санин ничего не отвечал и подумал, что в силу пустоты своего

⁴⁸ Каком-то проклятом немце (*ит. и нем.*).

⁴⁹ «Героинь» (*фр.*).

кошелек ему поневоле придется остаться во Франкфурте, пока не придет ответ от одного берлинского приятеля, к которому он собирался обратиться за деньгами.

– Оставайтесь, оставайтесь, – промолвила и фрау Леноре. – Мы познакомим вас с женихом Джеммы, господином Карлом Клюббером. Он сегодня не мог прийти, потому что он очень занят у себя в магазине... Вы, наверное, видели на Цейле самый большой магазин сукон и шелковых материй? Ну, так он там главным. Но он очень будет рад вам отрекомендоваться.

Санина это известие – бог ведает почему – слегка огорошило. «Счастливчик этот жених!» – мелькнуло у него в уме. Он посмотрел на Джемму – и ему показалось, что он подметил насмешливое выражение в ее глазах. Он начал раскланиваться.

– До завтра? Не правда ли, до завтра? – спросила фрау Леноре.

– До завтра! – произнесла Джемма не вопросительным, а утвердительным тоном, как будто это иначе и быть не могло.

– До завтра! – отозвался Санин.

Эмиль, Панталеоне и пудель Тарталья проводили его до угла улицы. Панталеоне не утерпел, чтобы не выразить своего неудовольствия по поводу Джеммина чтения.

– Как ей не стыдно! Кривляется, пищит – una caricatura! Ей бы Меропу представлять или Клитемнестру – нечто великое, трагическое, а она передразнивает какую-то скверную немку! Этак и я могу... Мерц, керц, смерц, – прибавил он хриплым голосом, уткнув лицо вперед и растопыря пальцы. Тарталья залаял на него, а Эмиль расхохотался. Старик круто повернул назад.

Санин возвратился в гостиницу «Белого лебедя» (он оставил там свои вещи в общей зале) в довольно смутном настроении духа. Все эти немецко-французско-итальянские разговоры так и звенели у него в ушах.

– Невеста! – шептал он, уже лежа в постели в отведенном ему скромном номере. – Да и красавица же! Но к чему я остался?

Однако на следующий день он послал письмо к берлинскому приятелю.

VIII

Он не успел еще одеться, как кельнер доложил ему о приходе двух господ. Один из них оказался Эмилем; другой, видный и рослый молодой мужчина, с благообразнейшим лицом, был герр Карл Клюббер, жених прекрасной Джеммы.

Должно полагать, что в то время в целом Франкфурте ни в одном магазине не существовало такого вежливого, приличного, важного, любезного главного коммй, каковым являлся г-н Клюббер. Безукоризненность его туалета стояла на одной высоте с достоинством его осанки, с изящностью – немного, правда, чопорной и сдержанной, на английский лад (он провел два года в Англии), – но все-таки пленительной изящностью его манер! С первого взгляда становилось явно, что этот красивый, несколько строгий, отлично воспитанный и превосходно вымытый молодой человек привык повиноваться высшим и повелевать низшим и что за прилавком своего магазина он неизбежно должен был внушать уважение самим покупателям! В сверхъестественной его честности не могло быть ни малейшего сомнения: стоило только взглянуть на его туго накрахмаленные воротнички! И голос у него оказался такой, какого следовало ожидать: густой и самоуверенно-сочный, но не слишком громкий, с некоторой даже ласковостью в тембре. Таким голосом особенно удобно отдавать приказания подчиненным комми: «Покажите, мол, ту штуку пунсового лионского бархата!» или: «Подайте стул этой даме!»

Г-н Клюббер начал с того, что отрекомендовался, причем так благородно наклонил стан, так приятно сдвинул ноги и так учтиво тронул каблук о каблук, что всякий непременно должен был почувствовать: «У этого человека и белье и душевные качества – первого сорта!» Отделка обнаженной правой руки (в левой, облеченной в шведскую перчатку, он держал до зер-

кальности выложенную шляпу, на дне которой лежала другая перчатка) – отделка этой правой руки, которую он скромно, но с твердостью протянул Санину, превосходила всякое вероятие: каждый ноготь был в своем роде совершенство! Потом он сообщил, на отборнейшем немецком языке, что желал заявить свое почтение и свою признательность г-ну иностранцу, который оказал такую важную услугу будущему его родственнику, брату его невесты; при этом он повел левой рукой, державшей шляпу, в направлении Эмиля, который словно застыдил и, отвернувшись к окну, положил палец в рот. Г-н Клубер прибавил, что почтет себя счастливым, если с своей стороны будет в состоянии сделать что-нибудь приятное г-ну иностранцу. Санин отвечал, не без некоторого труда, тоже по-немецки, что он очень рад... что услуга его была мало-важная... и попросил своих гостей присесть. Герр Клубер поблагодарил – и, мгновенно раскинув фалды фрака, опустился на стул, – но опустился так легко и держался на нем так непрочно, что нельзя было не понять: «Человек этот сел из вежливости – и сейчас опять вспорхнет!» И действительно, он немедленно вспорхнул и, стыдливо переступив два раза ногами, словно танцуя, объявил, что, к сожалению, не может долее остаться, ибо спешит в свой магазин – дела прежде всего! – но так как завтра воскресенье – то он, с согласия фрау Леноре и фрейлейн Джеммы, устроил увеселительную прогулку в Соден, на которую честь имеет пригласить г-на иностранца, и питает надежду, что он не откажется украсить ее своим присутствием. Санин не отказался ее украсить – и герр Клубер отрекомендовался вторично и ушел, приятно мелькая панталонами нежнейшего горохового цвета и столь же приятно поскрипывая подошвами наинновейших сапогов.

IX

Эмиль, который продолжал стоять лицом к окну, даже после приглашения Санина «присесть», сделал налево кругом, как только будущий его родственник вышел, и, ужимаясь по-ребячески и краснея, спросил Санина, может ли он еще немного у него остаться. «Мне сегодня гораздо лучше, – прибавил он, – но доктор запретил мне работать».

– Оставайтесь! Вы мне нисколько не мешаете, – воскликнул немедленно Санин, который, как всякий истый русский, рад был ухватиться за первый попавшийся предлог, лишь бы не быть самому поставлену в необходимость что-нибудь делать.

Эмиль поблагодарил его – и в самое короткое время совершенно освоился и с ним, и с его квартирой; рассматривал его вещи, расспрашивал чуть не о каждой из них: где он ее купил и какое ее достоинство? Помог ему выбриться, причем заметил, что он напрасно не отпускает себе усов; сообщил ему, наконец, множество подробностей о своей матери, о сестре, о Панталеоне, даже о пуделе Тарталье, обо всем их житье-бытье. Всякое подобие робости исчезло в Эмиле; он вдруг почувствовал чрезвычайное влечение к Санину – и вовсе не потому, что тот накануне спас его жизнь, а потому, что человек он был такой симпатический! Он не замедлил доверить Санину все свои тайны. С особенным жаром настаивал он на том, что мама его непременно хочет сделать из него купца – а он *знает*, знает наверное, что рожден художником, музыкантом, певцом; что театр – его настоящее призвание; что даже Панталеоне его поощряет, но что г-н Клубер поддерживает маму, на которую имеет большое влияние; что самая мысль сделать из него торговца принадлежит собственно г-ну Клуберу, по понятиям которого ничего в мире не может сравниться с званием купца! Продавать сукно и бархат и надувать публику, брать с нее «Narren-, oder Russen-Preise» (дурацкие, или русские цены) – вот его идеал!⁵⁰

⁵⁰ В прежние времена – да, пожалуй, и теперь это не перевелось – когда, начиная с мая месяца, множество русских появлялось во Франкфурте, во всех магазинах цены увеличивались и получали название: «Russen-, или – увы! – Narren-Preise». (Прим. автора.)

– Ну, что ж! теперь надо идти к нам! – воскликнул он, как только Санин окончил свой туалет и написал письмо в Берлин.

– Теперь еще рано, – заметил Санин.

– Это ничего не значит, – промолвил Эмиль, ласкаясь к нему. – Пойдемте! Мы завернем на почту, а оттуда к нам. Джемма вам так рада будет! Вы у нас позавтракаете... Вы можете сказать что-нибудь маме обо мне, о моей карьере...

– Ну, пойдемте, – сказал Санин, и они отправились.

Х

Джемма ему действительно обрадовалась, и фрау Леноре его очень дружелюбно приветствовала: видно было, что он накануне произвел на обеих впечатление хорошее. Эмиль побуждал распорядиться насчет завтрака, предварительно шепнув Санину на ухо: «Не забудьте!»

– Не забуду, – отвечал Санин.

Фрау Леноре не совсем здоровилось: она страдала мигренью – и, полулежа в кресле, старалась не шевелиться. На Джемме была широкая желтая блуза, перехваченная черным кожаным поясом; она тоже казалась утомленной и слегка побледнела; темноватые круги оттеняли ее глаза, но блеск их не умалился от того, а бледность придавала что-то таинственное и милое классически строгим чертам ее лица. Санина в тот день особенно поразила изящная красота ее рук; когда она поправляла и поддерживала ими свои темные, лоснистые кудри – взор его не мог оторваться от ее пальцев, гибких и длинных и отделенных дружка от дружки, как у Рафаэлевой Форнарины.

На дворе было очень жарко; после завтрака Санин хотел было удалиться, но ему заметили, что в такой день лучше всего не двигаться с места, – и он согласился; он остался. В задней комнате, в которой он сидел с своими хозяйками, царствовала прохлада; окна выходили в небольшой садик, заросший акациями. Множество пчел, ос и шмелей дружно и жадно гудело в их густых ветках, осыпанных золотыми цветами; сквозь полузакрытые ставни и опущенные створы проникал в комнату этот немолчный звук: он говорил о зное, разлитом во внешнем воздухе, – и тем слаще становилась прохлада закрытого и уютного жилья.

Санин разговаривал много, по-вчерашнему, но не о России и не о русской жизни. Желая угодить своему молодому другу, которого тотчас после завтрака услали к г-ну Клуберу – практиковаться в бухгалтерии, – он навел речь на сравнительные выгоды и невыгоды художества и коммерции. Он не удивился тому, что фрау Леноре держала сторону коммерции, – он это ожидал; но и Джемма разделяла ее мнение.

– Коли ты художник – и особенно певец, – утверждала она, энергически двигая рукою сверху вниз, – будь непременно на первом месте! Второе уже никуда не годится; а кто знает, можешь ли ты достигнуть первого места?

Панталеоне, который также участвовал в разговоре (ему, как давнишнему слуге и старому человеку, дозволялось даже сидеть на стуле в присутствии хозяев; итальянцы вообще не строги насчет этикета), – Панталеоне, разумеется, стоял горой за художество. Правду сказать, доводы его были довольно слабы: он больше все толковал о том, что нужно прежде всего обладать *d'un certo estro d'ispirazione* – неким порывом вдохновенья! Фрау Леноре заметила ему, что и он, конечно, обладал этим «estro», – а между тем...

– Я имел врагов, – сумрачно заметил Панталеоне.

– Да почему же ты знаешь (итальянцы, как известно, легко «тыкаются»), что у Эмиля врагов не будет, если даже и откроется в нем это «estro»?

– Ну так сделайте из него торгаша, – с досадой промолвил Панталеоне, – а Джиован'Баттиста так бы не поступил, хотя сам был кондитером!

– Джиован’Баттиста, муж мой, был человек благоразумный – и если он в молодости увлеклся...

Но уже старик ничего слышать не хотел – и удалился, еще раз проговорив с укоризной:

– А! Джиован’Баттиста!..

Джемма воскликнула, что если б Эмиль чувствовал себя патриотом и желал посвятить все силы свои освобождению Италии, то, конечно, для такого высокого и священного дела можно пожертвовать обеспеченной будущностью – но не для театра! Тут фрау Леноре пришла в волнение и начала умолять свою дочь не сбивать с толку, по крайней мере, брата и удовольствоваться тем, что она сама такая отчаянная республиканка! Произнесши эти слова, фрау Леноре заохала и стала жаловаться на голову, которая у нее была «готова лопнуть». (Фрау Леноре, из уважения к гостю, говорила с дочерью по-французски.)

Джемма тотчас принялась ухаживать за нею, тихонько дула ей на лоб, намочив его сперва одеколоном, тихонько целовала ее щеки, укладывала ей голову в подушки, запрещала ей говорить – и опять ее целовала. Потом, обратившись к Санину, она начала рассказывать ему полусутоливым, полутронутым тоном – какая у ней отличная мать и какая она была красавица! «Что я говорю: была! она и теперь – прелесть. Посмотрите, посмотрите, какие у ней глаза!»

Джемма мгновенно достала из кармана белый платок, закрыла им лицо матери и, медленно опуская кайму сверху вниз, обнажила постепенно лоб, брови и глаза фрау Леноры; подождала и попросила открыть их. Та повиновалась, Джемма вскрикнула от восхищения (глаза у фрау Леноре были действительно очень красивы) – и, быстро скользнув платком по нижней, менее правильной части лица своей матери, снова бросилась ее целовать. Фрау Леноре смеялась, и слегка отворачивалась, и с притворным усилием отстраняла свою дочь. Та тоже притворялась, что борется с матерью, и ласкалась к ней – но не по-кошачьи, не на французский манер, а с той итальянской грацией, в которой всегда чувствуется присутствие силы.

Наконец фрау Леноре объявила, что устала... Тогда Джемма тотчас присоветовала ей заснуть немножко, тут же, на кресле, а мы с господином русским – «avec le monsieur russe» – будем так тихи, так тихи... как маленькие мыши... «comme des petites souris». Фрау Леноре улыбнулась ей в ответ, закрыла глаза и, повздыхав немного, задремала. Джемма проворно опустилась на скамейку возле нее и уже не шевельнулась более, только изредка подносила палец одной руки к губам – другую она поддерживала подушку за головою матери – и чуть-чуть шикала, искоса посматривая на Санина, когда тот позволял себе малейшее движение. Кончилось тем, что и он словно замер – и сидел неподвижно, как очарованный, и всеми силами души своей любовался картиной, которую представляли ему и эта полутемная комната, где там и сям яркими точками рдели вставленные в зеленые старинные стаканы свежие, пышные розы – и эта заснувшая женщина с скромно подобранными руками и добрым, усталым лицом, окаймленным снежной белизной подушки, и это молодое, чутко-настороженное и тоже доброе, умное, чистое и несказанно прекрасное существо с такими черными глубокими, залитыми тенью и все-таки светившимися глазами... Что это? Сон? Сказка? И каким образом *он* тут?

XI

Колокольчик звякнул над наружной дверью. Молодой крестьянский парень в меховой шапке и красном жилете вошел с улицы в кондитерскую. С самого утра ни один покупатель не заглядывал в нее... «Вот так-то мы торгуем!» – заметила со вздохом во время завтрака фрау Леноре Санину. Она продолжала дремать; Джемма боялась принять руку от подушки и шепнула Санину: «Ступайте поторгуйте вы за меня!» Санин тотчас же на цыпочках вышел в кондитерскую. Парню требовалось четверть фунта мятных лепешек.

– Сколько с него? – шепотом спросил Санин через дверь у Джеммы.

– Шесть крейцеров! – таким же шепотом отвечала она.

Санин отвесил четверть фунта, отыскал бумажку, сделал из нее рожок, завернул лепешки, просыпал их, завернул опять, опять просыпал, отдал их, наконец, получил деньги... Парень глядел на него с изумлением, переминая свою шапку на желудке, а в соседней комнате Джемма, зажав рот, помирала со смеху. Не успел этот покупатель удалиться, как явился другой, потом третий... «А видно, рука у меня легкая!» – подумал Санин. Второй потребовал стакан оршаду, третий – полфунта конфект. Санин удовлетворил их, с азартом стуча ложечками, передвигая блюдечки и лихо запуская пальцы в ящики и банки. При расчете оказалось, что оршад он продешевил, а за конфекты взял два крейцера лишних. Джемма не переставала смеяться втихомолку, да и сам Санин ощущал веселость необычайную, какое-то особенно счастливое настроение духа. Казалось, век стоял бы он так за прилавком да торговал бы конфектами и оршадом; между тем как то милое существо смотрит на него из-за двери дружелюбно-насмешливыми глазами, а летнее солнце, пробиваясь сквозь мощную листву растущих перед окнами каштанов, наполняет всю комнату зеленоватым золотом полуденных лучей, полуденных теней, и сердце нежится сладкой истомой лени, беспечности и молодости – молодости первоначальной!

Четвертый посетитель потребовал чашку кофе: пришлось обратиться к Панталеоне (Эмиль все еще не возвращался из магазина г-на Клюбера). Санин снова подсел к Джемме. Фрау Леноре продолжала дремать, к великому удовольствию ее дочери.

– У мамы во время сна мигрень проходит, – заметила она.

Санин заговорил – конечно, по-прежнему, шепотом – о своей «торговле»; пресерьезно осведомлялся о цене разных «кондитерских» товаров; Джемма так же серьезно называла ему эти цены, и между тем оба внутренне и дружно смеялись, как бы сознавая, что разыгрывают презабавную комедию. Вдруг на улице шарманка заиграла арию из «Фрейшюца»: «Durch die Felder, durch die Auen...»⁵¹ Плаксивые звуки заныли, дрожа и посвистывая, в неподвижном воздухе. Джемма вздрогнула... «Он разбудит маму!» Санин немедленно выскочил на улицу, сунул шарманщику несколько крейцеров в руку – и заставил его замолчать и удалиться. Когда он возвратился, Джемма поблагодарила его легким кивком головы и, задумчиво улыбнувшись, сама принялась чуть слышно напевать красивую веберовскую мелодию, которою Макс выражает все недоумения первой любви. Потом она спросила Санина, знает ли он «Фрейшюца», любит ли Вебера, и прибавила, что хотя она сама итальянка, но *такую* музыку любит больше всего. С Вебера разговор соскользнул на поэзию и романтизм, на Гофмана, которого тогда еще все читали...

А фрау Леноре все дремала и даже похрапывала чуть-чуть, да лучи солнца, узкими полосками прорывавшиеся сквозь ставни, незаметно, но постоянно передвигались и путешествовали по полу, по мебели, по платью Джеммы, по листьям и лепесткам цветов.

XII

Оказалось, что Джемма не слишком жаловала Гофмана и даже находила его... скучным! Фантастически-туманный, северный элемент его рассказов был мало доступен ее южной, светлой натуре. «Это все сказки, все это для детей писано!» – уверяла она не без пренебрежения. Отсутствие поэзии в Гофмане тоже смутно чувствовалось ею. Но была одна у него повесть, заглавие которой она, впрочем, позабыла и которая ей очень нравилась; собственно говоря, ей нравилось только начало этой повести: конец она или не прочла, или тоже позабыла. Дело шло об одном молодом человеке, который где-то, чуть ли не в кондитерской, встречает девушку поразительной красоты, гречанку; ее сопровождает таинственный и странный, злой старик. Молодой человек с первого взгляда влюбляется в девушку; она смотрит на него так жалобно,

⁵¹ «Через поля, через долины...» (нем.).

словно умоляет его освободить ее... Он удаляется на мгновение – и, возвратившись в кондитерскую, уж не находит ни девушки, ни старика; бросается ее отыскивать, беспрестанно натывается на самые свежие их следы, гоняется за ними – и никоим образом, нигде, никогда не может их достигнуть. Красавица на веки веков исчезает для него – и не в силах он забыть ее умоляющий взгляд, и терзается он мыслью, что, быть может, все счастье его жизни ускользнуло из его рук...

Гофман едва ли таким образом оканчивает свою повесть; но такую она сложилась, такую осталась в памяти Джеммы.

– Мне кажется, – промолвила она, – подобные свидания и подобные разлуки случаются на свете чаще, чем мы думаем.

Санин промолчал... и немного спустя заговорил... о г-не Клюбере. Он в первый раз упомянул о нем; он ни разу не вспомнил о нем до того мгновения.

Джемма промолчала в свою очередь и задумалась, слегка кусая ноготь указательного пальца и устремив глаза в сторону. Потом она похвалила своего жениха, упомянула об устроенной им на завтрашний день прогулке и, быстро глянув на Санина, замолчала опять.

Санин не знал, о чем завести речь.

Эмиль шумно вбежал и разбудил фрау Леноре... Санин обрадовался его появлению.

Фрау Леноре встала с кресла. Явился Панталеоне и объявил, что обед готов. Домашний друг, экс-певец и слуга исправлял также должность повара.

ХШ

Санин остался и после обеда. Его не отпускали все под тем же предлогом ужасного зноя, а когда зной свалил, ему предложили отправиться в сад пить кофе в тени акаций. Санин согласился. Ему было очень хорошо. В однообразно тихом и плавном течении жизни таятся великие прелести – и он предавался им с наслаждением, не требуя ничего особенного от настоящего дня, но и не думая о завтрашнем, не вспоминая о вчерашнем. Чего стоила одна близость такой девушки, какова была Джемма! Он скоро расстанется с нею и, вероятно, навсегда; но пока один и тот же челнок, как в Уландовом романсе, несет их по жизненным укрошенным струям – радуйся, наслаждайся, путешественник! И все казалось приятным и милым счастливому путешественнику. Фрау Леноре предложила ему сразиться с нею и с Панталеоне в «тресетте», выучила его этой несложной итальянской карточной игре – обыграла его на несколько крейцеров – и он был очень доволен; Панталеоне, по просьбе Эмиля, заставил пуделя Тарталья проделывать все свои шутки – и Тарталья прыгал через палку, «говорил», то есть лаял, чихал, запирали дверь носом, притащил стоптанную туфлю своего хозяина – и, наконец, с старым кивером на голове, представлял маршала Бернадотта, подвергающегося жестоким упрекам императора Наполеона за измену. Наполеона представлял, разумеется, Панталеоне – и представлял очень верно: скрестил руки на груди, нахлобучил трехуголку на глаза – и говорил грубо и резко, на французском, но, боже! на *каком* французском языке! Тарталья сидел перед своим владыкой, весь скорчившись, поджавши хвост и смущенно моргая и шурясь под козырьком косо надвинутого кивера; от времени до времени, когда Наполеон возвышал голос, Бернадотт поднимался на задние лапы. «Fuori, traditore!»⁵² – закричал наконец Наполеон, позабыв, в избытке раздражения, что ему следовало до конца выдержать свой французский характер, – и Бернадотт опрометью бросился под диван, но тотчас же выскочил оттуда с радостным лаем, как бы давая тем знать, что представление кончено. Все зрители много смеялись – и Санин больше всех.

⁵² «Вон, предатель!» (ит.).

У Джеммы был особенно милый, непрестанный, тихий смех с маленькими презабавными взвизгиваньями... Санина так и разбирало от этого смеха – расцеловал бы он ее за эти взвизгиванья!

Ночь наступила наконец. Надо ж было и честь знать! Простившись несколько раз со всеми, сказавши всем по несколько раз: до завтра! (с Эмилем он даже облобызался), Санин отправился домой и понес с собою образ молодой девушки, то смеющейся, то задумчивой, то спокойной и даже равнодушной, – но постоянно привлекательной! Ее глаза, то широко раскрытые и светлые и радостные, как день, то полузастланные ресницами и глубокие и темные, как ночь, так и стояли перед его глазами, странно и сладко проникая все другие образы и представления.

О г-не Клубере, о причинах, побудивших его остаться во Франкфурте, – словом, о всем том, что волновало его накануне, – он не подумал ни разу.

XIV

Надо ж, однако, сказать несколько слов о самом Санине.

Во-первых, он был очень и очень недурен собою. Статный, стройный рост, приятные, немного расплывчатые черты, ласковые голубоватые глазки, золотистые волосы, белизна и румянец кожи – а главное: то простодушно-веселое, доверчивое, откровенное, на первых порах несколько глуповатое выражение, по которому в прежние времена тотчас можно было признать детей степенных дворянских семей, «отецких» сыновей, хороших баричей, родившихся и утучненных в наших привольных полустепных краях; походочка с запинкой, голос с пришепеткой, улыбка, как у ребенка, чуть только взглянешь на него... наконец, свежесть, здоровье – и мягкость, мягкость, мягкость, – вот вам весь Санин. А во-вторых, он и глуп не был и понабрался кое-чего. Свежим он остался, несмотря на заграничную поездку: тревожные чувства, обуревавшие лучшую часть тогдашней молодежи, были ему мало известны.

В последнее время в нашей литературе после тщетного искания «новых людей» начали выводить юношей, решившихся во что бы то ни стало быть свежими... свежими, как фленсбургские устрицы, привозимые в С.-Петербург... Санин не походил на них. Уж коли пошло дело на сравнения, он скорее напоминал молодую, кудрявую, недавно привитую яблоню в наших черноземных садах, – или, еще лучше: выхоленного, гладкого, толстоногого, нежного трехлетка бывших «господских» конских заводов, которого только что начали подганивать на корде... Те, которые сталкивались с Саниным впоследствии, когда жизнь порядком его поломала и молодой, наигранный жирок давно с него соскочил, – видели в нем уже совсем иного человека.

* * *

На следующий день Санин лежал еще в постели, как уже Эмиль, в праздничном платье, с тросточкой в руке и сильно напомаженный, ворвался к нему в комнату и объявил, что герр Клубер сейчас прибудет с каретой, что погода обещает быть удивительной, что у них уже все готово, но что мама не поедет, потому что у нее опять разболелась голова. Он стал торопить Санина, уверяя его, что нельзя терять минуты... И действительно: г-н Клубер застал Санина еще за туалетом. Постучался в дверь, вошел, поклонился, изогнул стан, выразил готовность ждать сколько угодно – и сел, изящно опираясь шляпой о колено. Благообразный комми расфрантился и раздушился напропалую: каждое движение его сопровождалось усиленным наплывом тончайшего аромата. Он прибыл в просторной открытой карете, так называемом ландо, запряженном двумя сильными и рослыми, хоть и некрасивыми лошадьми. Четверть часа спустя Санин, Клубер и Эмиль в этой самой карете торжественно подкатили к крыльцу

кондитерской. Г-жа Розелли решительно отказалась участвовать в прогулке; Джемма хотела остаться с матерью, но та ее, как говорится, прогнала.

– Мне никого не нужно, – уверяла она, – я буду спать. Я бы и Панталеоне с вами отправила – да некому будет торговать.

– Можно взять Тарталью? – спросил Эмиль.

– Конечно, можно.

Тарталья немедленно, с радостными усилиями, вскарабкался на козлы и сел, облизываясь: видно, дело ему было привычное. Джемма надела большую соломенную шляпу с коричневыми лентами; шляпа эта спереди пригибалась книзу, заслоняя почти все лицо от солнца. Черта тени останавливалась над самыми губами: они рдели девственно и нежно, как лепестки столиственной розы, и зубы блистали украдкой – тоже невинно, как у детей. Джемма села на заднем месте, рядом с Саниным; Клубер и Эмиль сели напротив. Бледная фигура фрау Леноре показалась у окна. Джемма махнула ей платком – и лошади тронулись.

XV

Соден – небольшой городок в получасовом расстоянии от Франкфурта. Он лежит в красивой местности, на отрогах Таунуса, и известен у нас в России своими водами, будто бы полезными для людей с слабой грудью. Франкфуртцы ездят туда больше для развлечения, так как Соден обладает прекрасным парком и разными «виртшафтами», где можно пить пиво и кофе в тени высоких лип и кленов. Дорога от Франкфурта до Содена идет по правому берегу Майна и вся обсажена фруктовыми деревьями. Пока карета тихонько катилась по отличному шоссе, Санин украдкой наблюдал за тем, как Джемма обращалась со своим женихом: он в первый раз видел их обоих вместе. *Она* держалась спокойно и просто – но несколько сдержаннее и серьезнее обыкновенного; *он* смотрел снисходительным наставником, разрешившим и самому себе, и своим подчиненным скромное и вежливое удовольствие. Особенных ухаживаний за Джеммой, того, что французы называют «*empressement*»⁵³, Санин в нем не заметил. Видно было, что г-н Клубер считал это дело поконченным, а потому и не имел причины хлопотать или волноваться. Но снисходительность не покидала его ни на один миг! Даже во время большой передобеденной прогулки по лесистым горам и долинам за Соденом; даже наслаждаясь красотами природы, он относился к ней, к этой самой природе, все с тою же снисходительностью, сквозь которую изредка прорывалась обычная начальническая строгость. Так, например, он заметил про один ручей, что он слишком прямо протекает по ложбине, вместо того чтобы сделать несколько живописных изгибов; не одобрял также поведения одной птицы – зяблика, – которая не довольно разнообразила свои колена! Джемма не скучала и даже, по-видимому, ощущала удовольствие; но прежней Джеммы Санин в ней не узнавал: не то чтобы тень на нее набежала – никогда ее красота не была лучезарней, – но душа ее ушла в себя, внутрь. Распустив зонтик и не расстегнув перчаток, она гуляла степенно, не спеша, – как гуляют образованные девицы – и говорила мало. Эмиль тоже чувствовал стеснение, а Санин и подавно. Его, между прочим, несколько конфузило то обстоятельство, что разговор постоянно шел на немецком языке. Один Тарталья не унывал! С бешеным лаем мчался он за попадавшимися ему дроздами, перепрыгивал рытвины, пни, корчаги, бросался с размаху в воду и торопливо лакал ее, отряхался, взвизгивал – и снова летел стрелою, закинув красный язык на самое плечо! Г-н Клубер, с своей стороны, сделал все, что полагал нужным для увеселения компании; попросил ее усесться в тени развесистого дуба – и, достав из бокового кармана небольшую книжечку, под заглавием: «*Knallerbsen – oder Du sollst und wirst lachen!*» (Петарды – или Ты должен и будешь смеяться!), принялся читать разбирательные анекдоты, которыми эта книжечка была напол-

⁵³ «Услужливость» (*фр.*).

нена. Прочел их штук двенадцать; однако веселости возбудил мало: один Санин из приличия скалил зубы, да сам он, г-н Клюбер, после каждого анекдота, производил короткий, деловой – и все-таки снисходительный смех. К двенадцати часам вся компания вернулась в Соден, в лучший тамошний трактир.

Предстояло распорядиться об обеде.

Г-н Клюбер предложил было совершить этот обед в закрытой со всех сторон беседке – «im Gartensalon»; но тут Джемма вдруг взбунтовалась и объявила, что не будет иначе обедать, как на воздухе, в саду, за одним из маленьких столов, поставленных перед трактиром; что ей наскучило быть все с одними и теми же лицами и что она хочет видеть другие. За некоторыми из столиков уже сидели группы новоприбывших гостей.

Пока г-н Клюбер, снисходительно покорившись «капризу своей невесты», ходил советовать с оберкельнером, Джемма стояла неподвижно, опустив глаза и стиснув губы; она чувствовала, что Санин неотступно и как бы вопросительно глядел на нее – это, казалось, ее сердило. Наконец г-н Клюбер вернулся, объявил, что через полчаса обед будет готов, и предложил до тех пор поиграть в кегли, прибавив, что это очень хорошо для аппетита, хе-хе-хе! В кегли он играл мастерски; бросая шар, принимал удивительно молодцеватые позы, щегольски играл мускулами, щегольски взмахивал и потрясал ногою. В своем роде он был атлет – и сложен превосходно! И руки у него были такие белые и красивые, и утирал он их таким богатейшим, золотисто-пестрым, индийским фуляром!

Наступил момент обеда – и все общество уселось за столик.

XVI

Кому не известно, что такое немецкий обед? Водянистый суп с шишковатыми клецками и корицей, разварная говядина, сухая, как пробка, с приросшим белым жиром, ослизлым картофелем, пухлой свеклой и жеваным хреном, посинелый угорь с капорцами и уксусом, жареное с вареньем и неизбежная «Mehlspeise», нечто вроде пудинга, с кисловатой красной подливкой; зато вино и пиво хоть куда! Точно таким обедом попотчевал соденский трактирщик своих гостей. Впрочем, самый обед прошел благополучно. Особенного оживления, правда, не замечалось; оно не появилось даже тогда, когда г-н Клюбер провозгласил тост за «то, что мы любим!» (was wir lieben!). Уж очень все было пристойно и прилично. После обеда подали кофе, жидкий, рыжеватый, прямо немецкий кофе. Г-н Клюбер, как истый кавалер, попросил у Джеммы позволения закурить сигару... Но тут вдруг случилось нечто непредвиденное и уж точно неприятное – и даже неприличное!

За одним из соседних столиков поместилось несколько офицеров майнцского гарнизона. По их взглядам и перешептываньям можно было легко догадаться, что красота Джеммы поразила их; один из них, вероятно, уже успевший побывать во Франкфурте, то и дело посматривал на нее, как на фигуру, ему хорошо знакомую: он, очевидно, знал, кто она такая. Он вдруг поднялся и со стаканом в руке – гг. офицеры сильно подпили, и вся скатерть перед ними была установлена бутылками – приблизился к тому столу, за которым сидела Джемма. Это был очень молодой белобрысый человек, с довольно приятными и даже симпатическими чертами лица; но выпитое им вино исказило их: его щеки подергивало, воспаленные глаза блуждали и приняли выражение дерзостное. Товарищи сначала пытались удержать его, но потом пустили: была не была – что, мол, из этого выйдет?

Слегка покачиваясь на ногах, офицер остановился перед Джеммой и насильственно-крикливым голосом, в котором, мимо его воли, все-таки высказывалась борьба с самим собою, произнес: «Пью за здоровье прекраснейшей кофейницы в целом Франкфурте, в целом мире (он разом «хлопнул» стакан) – и в возмездие беру этот цветок, сорванный ее божественными пальчиками!» Он взял со стола розу, лежавшую перед прибором Джеммы. Сначала

она изумилась, испугалась и побледнела страшно... потом испуг в ней сменился негодованием, она вдруг покраснела вся, до самых волос – и ее глаза, прямо устремленные на оскорбителя, в одно и то же время потемнели и вспыхнули, наполнились мраком, загорелись огнем неудержимого гнева. Офицера, должно быть, смутил этот взгляд; он пробормотал что-то невнятное, поклонился – и пошел назад к своим. Они встретили его смехом и легким рукоплесканием.

Г-н Клубер внезапно поднялся со стула и, вытянувшись во весь свой рост и надев шляпу, с достоинством, но не слишком громко, произнес: «Это неслыханно! Неслыханная дерзость!» (Unerhört! Unerhörte! Frechheit!) – и тотчас же, строгим голосом подзвав к себе кельнера, потребовал немедленного расчета... мало того: приказал заложить карету, причем прибавил, что к ним порядочным людям ездить нельзя, ибо они подвергаются оскорблениям! При этих словах Джемма, которая продолжала сидеть на своем месте не шевелясь, – ее грудь резко и высоко поднималась, – Джемма перевела глаза свои на г-на Клубера... и так же пристально, таким же точно взором посмотрела на него, как и на офицера. Эмиль просто дрожал от бешенства.

– Встаньте, мойн фрейлейн, – промолвил все с той же строгостью г-н Клубер, – здесь вам неприлично оставаться. Мы расположимся там, в трактире!

Джемма поднялась молча; он подставил ей руку калачиком, она подала ему свою – и он направился к трактиру величественной походкой, которая, так же как и осанка его, становилась все величественней и надменней, чем более он удалялся от места, где происходил обед. Бедный Эмиль поплелся вслед за ними.

Но пока г-н Клубер рассчитывался с кельнером, которому он, в виде штрафа, не дал на водку ни одного крейцера, Санин быстрыми шагами подошел к столу, за которым сидели офицеры, и, обратившись к оскорбителю Джеммы (он в это мгновение давал своим товарищам поочередно нюхать ее розу), – произнес отчетливо, по-французски:

– То, что вы сейчас сделали, милостивый государь, недостойно честного человека, недостойно мундира, который вы носите, – и я пришел вам сказать, что вы дурно воспитанный нахал!

Молодой человек вскочил на ноги, но другой офицер, постарше, остановил его движением руки, заставил сесть и, повернувшись к Санину, спросил его, тоже по-французски:

– Что, он родственник, брат или жених той девицы?

– Я ей совсем чужой человек, – воскликнул Санин, – я русский – но я не могу равнодушно видеть такую дерзость; впрочем, вот моя карточка и мой адрес: господин офицер может отыскать меня.

Сказав эти слова, Санин бросил на стол свою визитную карточку и в то же время ловко схватил Джеммину розу, которую один из сидевших за столом офицеров уронил к себе на тарелку. Молодой человек снова хотел было вскочить со стула, но товарищ снова остановил его, промолвив: «Дёнгоф, тише!» (Dönhof, sei still!). Потом сам приподнялся – и, приложась к козырьку рукою, не без некоторого оттенка почтительности в голосе и манерах, сказал Санину, что завтра утром один офицер их полка будет иметь честь явиться к нему на квартиру. Санин отвечал коротким поклоном – и поспешно вернулся к своим приятелям.

* * *

Г-н Клубер притворился, что вовсе не заметил ни отсутствия Санина, ни его объяснения с гг. офицерами; он понукал кучера, запрягавшего лошадей, и сильно гневался на его медлительность. Джемма тоже ничего не сказала Санину, даже не взглянула на него: по сдвинутым ее бровям, по губам, побледневшим и сжатым, по самой ее неподвижности можно было понять, что у ней нехорошо на душе. Один Эмиль явно желал заговорить с Саниним, желал расспросить его: он видел, как Санин подошел к офицерам, видел, как он подал им что-то белое –

клочок бумажки, записку, карточку... Сердце билось у бедного юноши, щеки пылали, он готов был броситься на шею к Санину, готов был заплакать или идти тотчас вместе с ним расколотить в пух и прах всех этих противных офицеров! Однако он удержался и удовольствовался тем, что внимательно следил за каждым движением своего благородного русского друга.

Кучер наконец заложил лошадей; все общество село в карету. Эмиль, вслед за Тартальей, взобрался на козлы; ему там было привольнее, да и Клубер, которого он видеть не мог равнодушно, не торчал перед ним.

Во всю дорогу герр Клубер разглагольствовал... и разглагольствовал один; никто, никто не возражал ему, да никто и не соглашался с ним. Он особенно настаивал на том, как напрасно не послушались его, когда он предлагал обедать в закрытой беседке. Никаких неприятностей бы не произошло! Потом он высказал несколько резких и даже либеральных суждений насчет того, как правительство непростительно потакает офицерам, не наблюдает за их дисциплиной и не довольно уважает гражданский элемент общества (*das bürgerliche Element in der Societät*) – и как от этого со временем возрождаются неудовольствия, от которых уже недалеко до революции, чему печальным примером (тут он вздохнул сочувственно, но строго) – печальным примером служит Франция! Однако тут же присовокупил, что лично благоговеет перед властью и никогда... никогда!.. революционером не будет – но не может не выразить своего... неодобрения при виде такой распушенности! Потом прибавил еще несколько общих замечаний о нравственности и безнравственности, о приличии и чувстве достоинства!

В течение всех этих «разглагольствований» Джемма, которая уже во время дообеденной прогулки не совсем казалась довольной г-м Клубером – оттого она и держалась в некотором отдалении от Санина и как бы смущалась его присутствием, – Джемма явно стала стыдиться своего жениха! Под конец поездки она положительно страдала и хотя по-прежнему не заговаривала с Саниним, но вдруг бросила на него умоляющий взор... С своей стороны, он ощущал гораздо более жалости к ней, чем негодования против г-на Клубера; он даже втайне, полусознательно радовался всему, что случилось в продолжение того дня, хотя и мог ожидать вызова на следующее утро.

Мучительная эта *partie de plaisir*⁵⁴ прекратилась наконец. Высаживая перед кондитерской Джемму из кареты, Санин, ни слова не говоря, положил ей в руку возвращенную им розу. Она вся вспыхнула, стиснула его руку и мгновенно спрятала розу. Он не хотел войти в дом, хотя вечер только что начинался. Она сама его не пригласила. Притом появившийся на крыльце Панталеоне объявил, что фрау Леноре почивает. Эмилио застенчиво простился с Саниним; он словно дичился его: уж очень он ему удивлялся. Клубер отвез Санина на его квартиру и чопорно раскланялся с ним. Правильно устроенному немцу, при всей его самоуверенности, было неловко. Да и всем было неловко.

Впрочем, в Санине это чувство – чувство неловкости – скоро рассеялось. Оно заменилось неопределенным, но приятным, даже восторженным настроением. Он расхаживал по комнате, ни о чем не хотел думать, посвистывал – и был очень доволен собою.

XVII

«Буду ждать г-на офицера для объяснения до десяти часов утра, – размышлял он на следующее утро, совершая свой туалет, – а там пусть он меня отыскивает!» Но немецкие люди встают рано: девяти часов еще не пробило, как уже кельнер доложил Санину, что г-н подпоручик (*der Herr Seconde Lieutenant*) фон Рихтер желает его видеть. Санин проворно накинул сюртук и приказал «просить». Г-н Рихтер оказался, против ожидания Санина, весьма молодым

⁵⁴ Увеселительная прогулка (*фр.*).

человеком, почти мальчиком. Он старался придать важности выражению своего безбородого лица – но это ему не удавалось вовсе: он даже не мог скрыть свое смущение – и, садясь на стул, чуть не упал, зацепившись за саблю. Запинаясь и заикаясь, он объявил Санину на дурном французском языке, что приехал с поручением от своего приятеля, барона фон Дёнгофа; что поручение это состояло в истребовании от г-на фон Занин извинения в употребленных им накануне оскорбительных выражениях; и что в случае отказа со стороны г-на фон Занин – барон фон Дёнгоф желает сатисфакции. Санин отвечал, что извиняться он не намерен, а сатисфакцию дать готов. Тогда г-н фон Рихтер, все так же запинаясь, спросил, с кем, в котором часу и в котором месте придется ему вести нужные переговоры? Санин отвечал, что он может прийти к нему часа через два и что до тех пор он, Санин, постарается сыскать секунданта. («Кого я, к черту, возьму в секунданты?» – думал он между тем про себя.) Г-н фон Рихтер встал и начал раскланиваться... но на пороге двери остановился, как бы почувствовав угрызение совести, – и, повернувшись к Санину, промолвил, что его приятель, барон фон Дёнгоф, не скрывает от самого себя... некоторой степени... собственной вины во вчерашнем происшествии – и потому удовлетворился бы легкими извинениями – «des exghizes léchères»⁵⁵. На это Санин отвечал, что никаких извинений, ни тяжелых, ни легких, он давать не намерен, так как он виноватым себя не почитает.

– В таком случае, – возразил г-н фон Рихтер и покраснел еще более, – надо будет поменяться дружелюбными выстрелами – *des coups de bisdolet à l'amiable!*⁵⁶

– Этого я уже совершенно не понимаю, – заметил Санин, – на воздух нам стрелять, что ли?

– О, не то, не так, – залепетал окончательно сконфузившийся подпоручик, – но я полагал, что так как дело происходит между порядочными людьми... Я поговорю с вашим секундантом, – перебил он самого себя – и удалился.

Санин опустил на стул, как только тот вышел, и устался на пол. «Что, мол, это такое? Как это вдруг так завертелась жизнь? Все прошедшее, все будущее вдруг ступшевалось, пропало – и осталось только то, что я во Франкфурте с кем-то за что-то дерусь». Вспомнилась ему одна его сумасшедшая тетушка, которая, бывало, все подплясывала и напевала:

Подпоручик!
Мой огурчик!
Мой амурчик!
Пропляши со мной, голубчик!

И он захохотал и пропел, как она: «Подпоручик! пропляши со мной, голубчик!»

– Однако надо действовать, не терять времени, – воскликнул он громко, вскочил и увидел перед собой Панталеоне с записочкой в руке.

– Я несколько раз стучался, но вы не отвечали; я подумал, что вас дома нет, – промолвил старик и подал ему записку. – От синьорины Джеммы.

Санин взял записку – как говорится, машинально, – распечатал и прочел ее. Джемма писала ему, что она весьма беспокоится по поводу известного ему дела и желала бы свидеться с ним тотчас.

– Синьорина беспокоится, – начал Панталеоне, которому, очевидно, было известно содержание записки, – она велела мне посмотреть, что вы делаете, и привести вас к ней.

Санин взглянул на старого итальянца – и задумался. Внезапная мысль сверкнула в его голове. В первый миг она показалась ему странной до невозможности...

⁵⁵ «Легкие извинения» (искаж. фр.: *des excuses légères*).

⁵⁶ Дружелюбными пистолетными выстрелами (искаж. фр.: *des coups des pistolet à l'amiable*).

«Однако... почему же нет?» – спросил он самого себя.

– Господин Панталеоне! – произнес он громко.

Старик встрепенулся, уткнул подбородок в галстук и уставился на Санина.

– Вы знаете, – продолжал Санин, – что произошло вчера?

Панталеоне пожевал губами и тряхнул своим огромным хохлом.

– Знаю.

(Эмиль только что вернулся, рассказал ему все.)

– А! знаете! – Ну, так вот что. Сейчас от меня вышел офицер. Тот нахал вызывает меня на поединок. Я принял его вызов. Но у меня нет секунданта. Хотите *вы* быть моим секундантом?

Панталеоне дрогнул и так высоко поднял брови, что они скрылись у него под нависшими волосами.

– Вы непременно должны драться? – проговорил он наконец по-итальянски; до того мгновения он изъяснялся по-французски.

– Непременно. Иначе поступить – значило бы опозорить себя навсегда.

– Гм. Если я не соглашусь пойти к вам в секунданты, – то вы будете искать другого?

– Буду... непременно.

Панталеоне потупился.

– Но позвольте вас спросить, синьор де Цанини, не бросит ли ваш поединок некоторую неблагоприятную тень на репутацию одной персоны?

– Не полагаю; но как бы то ни было – делать нечего.

– Гм. – Панталеоне совсем ушел в свой галстук. – Ну, а тот феррофлукто Клуберио, – что же он? – воскликнул он вдруг и вскинул лицо кверху.

– Он? Ничего.

– Кэ! (Chè!)⁵⁷ – Панталеоне презрительно пожал плечами. – Я должен, во всяком случае, благодарить вас, – произнес он наконец неверным голосом, – что вы и в теперешнем моем унижении умели признать во мне порядочного человека – un galant'uomo! Поступая таким образом, вы сами выказали себя настоящим galant'uomo. Но я должен обдумать ваше предложение.

– Время не терпит, любезный господин Чи... чиппа...

– Тóла, – подсказал старик. – Я прошу всего один час на размышление. Тут замешана дочь моих благодетелей... И потому я должен, я обязан – подумать!! Через час... через три четверти часа – вы узнаете мое решение.

– Хорошо; я подожду.

– А теперь... какой же я дам ответ синьорине Джемме?

Санин взял листок бумаги, написал на нем: «Будьте покойны, моя дорогая приятельница, часа через три я приду к вам – и все объяснится. Душевно вас благодарю за участие» – и вручил этот листик Панталеоне.

Тот бережно положил его в боковой карман – и, еще раз повторив: «Через час!» – направился было к дверям; но круто повернул назад, подбежал к Санину, схватил его руку – и, притиснув ее к своему жабо, подняв глаза к небу, воскликнул:

– Благородный юноша! Великое сердце! (Nobil giovanotto! Gran cuore!) – позвольте слабому старцу (a un vecchiotto) пожать вашу мужественную десницу! (la vostra valorosa destra!). – Потом отскочил немного назад, взмахнул обеими руками – и удалился.

Санин посмотрел ему вслед... взял газету и принялся читать. Но глаза его напрасно бегали по строкам: он не понимал ничего.

⁵⁷ Итальянское восклицание вроде нашего: ну! (Прим. автора.)

XVIII

Час спустя кельнер снова вошел к Санину и подал ему старую, запачканную визитную карточку, на которой стояли следующие слова: Панталеоне Чиппатола, из Варезе, придворный певец (*cantante di camera*) его королевского высочества герцога Моденского; а вслед за кельнером явился и сам Панталеоне. Он переоделся с ног до головы. На нем был порыжелый черный фрак и белый пикеневый жилет, по которому затейливо извивалась томпаковая цепочка; тяжелая сердоликовая печатка спускалась низко на узкие черные панталоны с гультфиком. В правой руке он держал черную шляпу из заячьего пуха, в левой две толстые замшевые перчатки; галстух он повязал еще шире и выше обыкновенного – и в накрахмаленное жабо воткнул булавку с камнем, называемым «кошачьим глазом» (*oeil de chat*). На указательном пальце правой руки красовался перстень, изображавший две сложенные длани, а между ними пылающее сердце. Залежалым запахом, запахом камфары и мускуса несло от всей особы старика; озабоченная торжественность его осанки поразила бы самого равнодушного зрителя! Санин встал ему навстречу.

– Я ваш секундант, – промолвил Панталеоне по-французски – и наклонился всем корпусом вперед, причем носки поставил врозь, как это делают танцоры. – Я пришел за инструкциями. Желаете вы драться без пощады?

– Зачем же без пощады, дорогой мой господин Чиппатола! Я ни за что в мире не возьму моих вчерашних слов назад – но я не кровопийца!.. Да вот постойте, сейчас придет секундант моего противника. Я уйду в соседнюю комнату – а вы с ним и условитесь. Поверьте, я ввек не забуду вашей услуги и благодарю вас от души.

– Честь прежде всего! – отвечал Панталеоне и опустился в кресла, не дожидаясь, чтобы Санин попросил его сесть. – Если этот феррофлукто спичебуббио, – заговорил он, мешая французский язык с итальянским, – если этот торгош Клуберио не умел понять свою прямую обязанность или струсил, – тем хуже для него!.. Грошовая душа – и баста!.. Что же касается до условий поединка – я ваш секундант и ваши интересы для меня священны!.. Когда я жил в Падуе, там стоял полк белых драгунов – и я со многими офицерами был очень близок!.. Весь их кодекс мне очень хорошо известен. Ну и с вашим принчипе Тарбуски я часто беседовал об этих вопросах... Тот секундант скоро должен прийти?

– Я жду его каждую минуту – да вот он сам и идет, – прибавил Санин, глянув на улицу.

Панталеоне встал, посмотрел на часы, поправил свой кок и поспешно засунул в башмак болтавшуюся из-под панталон тесемку. Молодой подпоручик вошел, все такой же красный и смущенный.

Санин представил секундантов друг другу.

– Mounsieur Richter, souslieutenant! – Mounsieur Zippatola, artiste!⁵⁸

Подпоручик слегка изумился при виде старика... О, что бы он сказал, если б кто шепнул ему в это мгновение, что представленный ему «артист» занимается также и поваренным искусством!.. Но Панталеоне принял такой вид, как будто участвовать в устройстве поединков было для него самым обычным делом: вероятно, ему в этом случае помогали воспоминания его театральной карьеры – и он разыгрывал роль секунданта именно как роль. И он и подпоручик, оба помолчали немного.

– Что ж? Приступим! – первый промолвил Панталеоне, играя сердоликовой печаткой.

– Приступим, – ответил подпоручик, – но... присутствие одного из противников...

– Я вас немедленно оставляю, господа, – воскликнул Санин, поклонился, вышел в спальню – и запер за собою дверь.

⁵⁸ Господин Рихтер, подпоручик! – Господин Чиппатола, артист! (*фр.*)

Он бросился на кровать – и принялся думать о Джемме... но разговор секундантов проник к нему сквозь закрытую дверь. Он происходил на французском языке; оба коверкали его нещадно, каждый на свой лад. Панталеоне опять упомянул о драгунах в Падуе, о принчипе Тарбуски – подпоручик об «exghizes lécheres» и о «goups a l'amiaple». Но старик и слышать не хотел ни о каких exghizes! К ужасу Санина, он вдруг пустился толковать своему собеседнику о некоторой юной невинной девице, один мизинец которой стоит больше, чем все офицеры мира... (oune zeune damigella innoucenta, qu'a ella sola dans soun péti doa vale piu que toutt le zouffissié del mondo!) и несколько раз с жаром повторил: «Это стыд! это стыд!» (E ouna onta, ouna onta!) Поручик сперва не возражал ему, но потом в голосе молодого человека послышалась гневная дрожь, и он заметил, что пришел не затем, чтобы выслушивать моральные сентенции...

– В вашем возрасте всегда полезно выслушивать справедливые речи! – воскликнул Панталеоне.

Прение между г-ми секундантами несколько раз становилось бурным; оно продолжалось более часа и завершилось наконец следующими условиями: «Стреляться барону фон Донгофу и господину де Санину на завтрашний день, в десять часов утра, в небольшом лесу около Ганау, на расстоянии двадцати шагов; каждый имеет право стрелять два раза по знаку, данному секундантами; пистолеты без шнеллера и не нарезные». Г-н фон Рихтер удалился, а Панталеоне торжественно открыл дверь спальни и, сообщив результат совещания, снова воскликнул: «Bravo, Russo! Bravo, giovanotto!»⁵⁹ Ты будешь победителем!»

Несколько минут спустя они оба отправились в кондитерскую Розелли. Санин предвзительно взял с Панталеоне слово держать дело о дуэли в глубочайшей тайне. В ответ старик только палец кверху поднял и, прищутив глаз, прошептал два раза сряду: «Segredezza!» (Таинственность!) Он видимо помолодел и даже выступал свободнее. Все эти необычайные, хотя и неприятные события живо переносили его в ту эпоху, когда он сам и принимал и делал вызовы, – правда, на сцене. Баритоны, как известно, очень петушатся в своих рблях.

XIX

Эмиль выбежал навстречу Санину – он более часа караулил его приход – и торопливо шепнул ему на ухо, что мать ничего не знает о вчерашней неприятности и что даже намекать на нее не следует, а что его опять посылают в магазин!.. но что он туда не пойдет, а спрячется где-нибудь! Сообщив все это в течение нескольких секунд, он внезапно припал к плечу Санина, порывисто поцеловал его и бросился вниз по улице. В кондитерской Джемма встретила Санина; хотела что-то сказать – и не могла. Ее губы слегка дрожали, а глаза шурились и бегали по сторонам. Он поспешил успокоить ее уверением, что все дело кончилось... сущими пустяками.

– У вас никого не было сегодня? – спросила она.

– Было у меня одно лицо – мы с ним объяснились – и мы... мы пришли к самому удовлетворительному результату.

Джемма вернулась за прилавок.

«Не поверила она мне!» – подумал он... однако отправился в соседнюю комнату и застал там фрау Ленору.

У ней мигрень прошла, но она находилась в настроении меланхолическом. Она радушно улыбнулась ему, но в то же время предупредила его, что ему будет сегодня с нею скучно, так как она не в состоянии его занять. Он подсел к ней и заметил, что ее веки покраснели и опухли.

– Что с вами, фрау Леноре? Неужели вы плакали?

⁵⁹ Bravo, русский! Bravo, мальчик! (ит.).

– Тсссс... – прошептала она и указала головою на комнату, где находилась ее дочь. – Не говорите этого... громко.

– Но о чем же вы плакали?

– Ах, мосье Санин, сама не знаю о чем!

– Вас никто не огорчил?

– О нет!.. Мне очень скучно вдруг сделалось. Вспомнила я Джиован'Баттиста... свою молодость... Потом, как это все скоро прошло. Стара я становлюсь, друг мой, – и не могу я никак с этим помириться. Кажется, сама я все та же, что прежде... а старость – вот она... вот она! – На глазах фрау Леноры показались слезинки. – Вы, я вижу, смотрите на меня да удивляетесь... Но вы тоже постареете, друг мой, и узнаете, как это горько!

Санин принялся утешать ее, упомянул об ее детях, в которых воскресала ее собственная молодость, попытался даже подтрунить над нею, уверяя, что она напрашивается на комплименты... но она, не шутя, попросила его «перестать», и он тут в первый раз мог убедиться, что подобную унылость, унылость сознанный старости, ничем утешить и рассеять нельзя; надо подождать, пока она пройдет сама собою. Он предложил ей сыграть с ним в тресетте – и ничего лучшего он не мог придумать. Она тотчас согласилась и как будто повеселела.

Санин играл с ней до обеда и после обеда. Панталеоне также принял участие в игре. Никогда его хохол не падал так низко на лоб, никогда подбородок не уходил так глубоко в галстух! Каждое движение его дышало такой сосредоточенной важностью, что, глядя на него, невольно рождалась мысль: какую это тайну с такою твердостью хранит этот человек?

Но – *segredezza! Segredezza!*

Он в течение всего того дня всячески старался оказывать глубочайшее почтение Санину; за столом, торжественно и решительно, минуя дам, подавал блюда ему первому; во время карточной игры уступал ему прикупку, не дерзал его ремизить; объявлял, ни к селу ни к городу, что русские – самый великодушный, храбрый и решительный народ в мире!

«Ах ты, старый лицедей!» – думал про себя Санин.

И не столько дивился он неожиданному настроению духа в г-же Розелли, сколько тому, как ее дочь с ним обращалась. Она не то чтобы избегала его... напротив, она постоянно садилась в небольшом от него расстоянии, прислушивалась к его речам, глядела на него; но она решительно не хотела вступать с ним в беседу, и как только он заговаривал с нею – тихонько поднималась с места и тихонько удалялась на несколько мгновений. Потом она появлялась опять, и опять усаживалась где-нибудь в уголке – и сидела неподвижно, словно размышляя и недоумевая... недоумевая пуще всего. Сама фрау Леноре заметила наконец необычайность ее поведения и раза два спросила, что с ней.

– Ничего, – ответила Джемма, – ты знаешь, я бываю иногда такая.

– Это точно, – соглашалась с нею мать.

Так прошел весь этот длинный день, ни оживленно, ни вяло – ни весело, ни скучно. Держи себя Джемма иначе – Санин... как знать? не совладал бы с искушением немного порисоваться – или просто поддался бы чувству грусти перед возможной, быть может, вечной разлукой... Но так как ему ни разу не пришлось даже поговорить с Джеммой, то он должен был удовлетвориться тем, что в течение четверти часа, перед вечерним кофе, брал минорные аккорды на фортепиано.

Эмиль вернулся поздно и, во избежание расспросов о г-не Клубере, отретировался весьма скоро. Пришла очередь удалиться и Санину.

Он стал прощаться с Джеммой. Вспомнилось ему почему-то расставание Ленского с Ольгой в «Онегине». Он крепко стиснул ей руку и попытался заглянуть ей в лицо – но она слегка отворотилась и высвободила свои пальцы.

XX

Уже совсем «вызвездило», когда он вышел на крыльцо. И сколько ж их высыпало, этих звезд – больших, малых, желтых, красных, синих, белых! Все они так и рдели, так и роились, наперерыв играя лучами. Луны не было на небе, но и без нее каждый предмет четко виднелся в полусветлом, бестенном сумраке. Санин прошел улицу до конца... Не хотелось ему тотчас возвратиться домой; он чувствовал потребность побродить на чистом воздухе. Он вернулся назад – и не успел еще поравняться с домом, в котором помещалась кондитерская Розелли, как одно из окон, выходящих на улицу, внезапно стукнуло и отворилось – на черном его четырехугольнике (в комнате не было огня) появилась женская фигура – и он услышал, что его зовут: «Monsieur Dimitri!»

Он тотчас бросился к окну... Джемма!

Она облокотилась о подоконник и наклонилась вперед.

– Monsieur Dimitri, – начала она осторожным голосом, – я в течение целого нынешнего дня хотела вам дать одну вещь... но не решалась; и вот теперь, неожиданно увидя вас снова, подумала, что, видно, так суждено...

Джемма невольно остановилась на этом слове. Она не могла продолжать: нечто необыкновенное произошло в это самое мгновение.

Внезапно, среди глубокой тишины, при совершенно безоблачном небе, налетел такой порыв ветра, что сама земля, казалось, затрепетала под ногами, тонкий звездный свет задрожал и заструился, самый воздух завертелся клубом. Вихорь, не холодный, а теплый, почти знойный, ударил по деревьям, по крыше дома, по его стенам, по улице; он мгновенно сорвал шляпу с головы Санина, взвил и разметал черные кудри Джеммы. Голова Санина приходилась в уровень с подоконником; он невольно прильнул к нему – и Джемма ухватилась обеими руками за его плечи, припала грудью к его голове. Шум, звон и грохот длились около минуты... Как стая громадных птиц, промчался прочь зыгравший вихорь... Настала вновь глубокая тишина.

Санин приподнялся и увидел над собою такое чудное, испуганное, возбужденное лицо, такие огромные, страшные, великолепные глаза – такую красавицу увидел он, что сердце в нем замерло, он приник губами к тонкой пряди волос, упавшей ему на грудь, – и только мог проговорить:

– О Джемма!

– Что это было такое? Молния? – спросила она, широко поводя глазами и не принимая с его плеч своих обнаженных рук.

– Джемма! – повторил Санин.

Она вздохнула, оглянулась назад, в комнату, – и быстрым движением, достав из-за корсажа уже увядшую розу, бросила ее Санину.

– Я хотела дать вам этот цветок...

Он узнал розу, которую он отвоевал накануне...

Но уже окошко захлопнулось, и за темным стеклом ничего не виднелось и не белело.

Санин пришел домой без шляпы... Он и не заметил, что он ее потерял.

XXI

Он заснул под самое утро. И не мудрено! Под ударом того летнего, мгновенного вихря он почти так же мгновенно почувствовал – не то, что Джемма красавица, не то, что она ему нравилась – это он знал и прежде... а то, что он едва ли... не полюбил ее! Мгновенно, как тот вихрь, налетела на него любовь. А тут эта глупая дуэль! Скорбные предчувствия начали его мучить. Ну, положим, не убьют его... Что же может выйти из его любви к этой девушке, к

невесте другого? Положим даже, что этот «другой» ему не опасен, что сама Джемма полюбит или уже полюбила его... Что же из этого? Как что? Такая красавица...

Он ходил по комнате, садился за стол, брал лист бумаги, чертил на нем несколько строк – и тотчас их вымарывал... Вспоминал удивительную фигуру Джеммы, в темном окне, под лучами звезд, всю развеванную теплым вихрем; вспоминал ее мраморные руки, подобные рукам олимпийских богинь, чувствовал их живую тяжесть на плечах своих... Потом он брал брошенную ему розу – и казалось ему, что от ее полузавядших лепестков веяло другим, еще более тонким запахом, чем обычный запах роз...

«И вдруг его убьют или изувечат?»

Он не ложился в постель и заснул, одетый, на диване.

* * *

Кто-то потрепал его по плечу...

Он открыл глаза и увидел Панталеоне.

– Спит, как Александр Македонский накануне вавилонского сражения! – воскликнул старик.

– Да который час? – спросил Санин.

– Семь часов без четверти; до Ганау – два часа езды, а мы должны быть первые на месте. Русские всегда предупреждают врагов! Я взял лучшую карету во Франкфурте!

Санин начал умываться.

– А пистолеты где?

– Пистолеты привезет тот феррофлюкто тедеско. И доктора он же привезет.

Панталеоне видимо бодрился, по-вчерашнему; но когда он сел в карету с Саниным, когда кучер защелкал бичом и лошади с места пустились вскачь, – с бывшим певцом и приятелем падуйских драгунов произошла внезапная перемена. Он смутился, даже струхнул. В нем словно что-то обрушилось, как плохо выведенная стенка.

– Однако что это мы делаем, боже мой, *santissima Madonna!*⁶⁰ – воскликнул он неожиданно пискливым голосом и схватил себя за волосы. – Что я делаю, я старый дурак, сумасшедший, *frenetico?*

Санин удивился и засмеялся и, слегка обняв Панталеоне за талью, напомнил ему французскую поговорку: «*Le vin est tiré – il faut le boire*»⁶¹ (по-русски: «Взявшись за гуж, не говори, что не дюж»).

– Да, да, – отвечал старик, – эту чашу мы разопьем с вами, – а все же я безумец! Я – безумец! Все было так тихо, хорошо... и вдруг: та-та-та, тра-та-та!

– Словно *tutti*⁶² в оркестре, – заметил Санин с натянутой улыбкой. – Но виноваты не вы.

– Я знаю, что не я! Еще бы! Все же это... необузданный такой поступок. *Diavolo!* *Diavolo!*⁶³ – повторял Панталеоне, потрясая хохлом и вздыхая.

А карета все катилась да катилась.

Утро было прелестное. Улицы Франкфурта, едва начинавшие оживать, казались такими чистыми и уютными; окна домов блестели переливчато, как фольга; а лишь только карета выехала за заставу – сверху, с голубого, еще не яркого неба, так и посыпались голосо-

⁶⁰ Пресвятая Мадонна! (*ит.*).

⁶¹ «Вино откупорено – надо его пить» (*фр.*).

⁶² Все (*ит.*).

⁶³ Вот черт! Вот черт! (*ит.*).

стые раскаты жаворонков. Вдруг на повороте шоссе из-за высокого тополя показалась знакомая фигура, ступила несколько шагов и остановилась. Санин пригляделся... Боже мой! Эмиль!

– Да разве он знает что-нибудь? – обратился он к Панталеоне.

– Я же вам говорю, что я безумец, – отчаянно, чуть не с криком возопил бедный итальянец, – этот злополучный мальчик всю ночь мне не дал покоя – и я ему сегодня утром наконец все открыл!

«Вот тебе и *segredizza!*» – подумал Санин.

Карета поравнялась с Эмилем; Санин велел кучеру остановить лошадей и подозвал к себе «злополучного мальчика». Нерешительными шагами приблизился Эмиль, бледный, бледный, как в день своего припадка. Он едва держался на ногах.

– Что вы здесь делаете? – строго спросил его Санин, – зачем вы не дома?

– Позвольте... позвольте мне ехать с вами, – пролепетал Эмиль трепетным голосом – и сложил руки. Зубы у него стучали как в лихорадке. – Я вам не помешаю – только возьмите меня!

– Если вы чувствуете хоть на волос привязанности или уважения ко мне, – промолвил Санин, – вы сейчас вернетесь домой или в магазин к господину Клуберу, и никому не скажете ни единого слова, и будете ждать моего возвращения!

– Вашего возвращения, – простонал Эмиль, – и голос его зазвенел и оборвался, – но если вас...

– Эмиль! – перебил его Санин и указал глазами на кучера, – опомнитесь! Эмиль, пожалуйста, ступайте домой! Послушайтесь меня, друг мой! Вы уверяете, что любите меня. Ну, я вас прошу!

Он протянул ему руку. Эмиль покачнувшись вперед, всхлипнул, прижал ее к своим губам – и, соскочив с дороги, побежал назад к Франкфурту, через поле.

– Тоже благородное сердце, – пробормотал Панталеоне, но Санин угрюмо взглянул на него... Старик уткнулся в угол кареты. Он сознавал свою вину; да, сверх того, он с каждым мгновением все более изумлялся: неужели это *он* взаправду сделался секундантом, и лошадей *он* достал, и всем распорядился, и мирное свое обиталище покинул в шесть часов утра? К тому же ноги его разболелись и заныли.

Санин почел за нужное ободрить его – и попал в жилку, нашел настоящее слово.

– Где же ваш прежний дух, почтенный синьор Чиппатола? Где – *il antico valor*?

Синьор Чиппатола выпрямился и нахмурился.

– *Il antico valor*? – провозгласил он басом. – *Non* и *ancora spento* (он еще не весь утрачен) – *il antico valor!!*

Он приосанился, заговорил о своей карьере, об опере, о великом теноре Гарсиа – и приехал в Ганау молодцом. Как подумаешь: нет ничего на свете сильнее... и бессильнее слова!

XXII

Лесок, в котором должно было происходить побоище, находился в четверти мили от Ганау. Санин с Панталеоне приехали первые, как он предсказывал; велели карете остаться на опушке леса и углубились в тень довольно густых и частых деревьев. Им пришлось ждать около часу.

Ожидание не показалось особенно тягостным Санину; он расхаживал взад и вперед по дорожке, прислушивался, как пели птицы, следил за пролетающими «коромыслами» и, как большая часть русских людей в подобных случаях, старался не думать. Раз только на него нашло раздумье: он наткнулся на молодую липу, сломанную, по всем вероятностям, вчерашним шквалом. Она положительно умирала... все листья на ней умирали. «Что это? предзнаменование?» – мелькнуло у него в голове; но он тотчас же засвистал, перескочил через ту самую липу,

зашагал по дорожке. Панталеоне – тот ворчал, бранил немцев, кряхтел, потирал то спину, то колена. Он даже зевал от волнения, что придавало презабавное выражение его маленькому, съезженному личику. Санин чуть не расхохотался, глядя на него.

Послышалось наконец рокотание колес по мягкой дороге. «Они!» – промолвил Панталеоне и насторожился и выпрямился, не без мгновенной нервической дрожи, которую, однако, поспешил замаскировать восклицанием: брррр! – и замечанием, что сегодняшнее утро довольно свежее. Обильная роса затопляла травы и листья, но зной проникал уже в самый лес.

Оба офицера скоро показали под его сводами; их сопровождал небольшой плотненький человечек с флегматическим, почти заспаным лицом – военный доктор. Он нес в одной руке глиняный кувшин с водою – на всякий случай; сумка с хирургическими инструментами и бинтами болталась на его левом плече. Видно было, что он к подобным экскурсиям привык донельзя; они составляли один из источников его доходов: каждая дуэль приносила ему восемь червонцев – по четыре с каждой из воюющих сторон. Г-н фон Рихтер нес ящик с пистолетами, г-н фон Дёнгоф вертел в руке – вероятно, для «шику» – небольшой хлыстик.

– Панталеоне! – шепнул Санин старику, – если... если меня убьют – все может случиться, – достаньте из моего бокового кармана бумажку – в ней завернут цветок – и отдайте эту бумажку синьоре Джемме. Слышите? Вы обещаетесь?

Старик уныло взглянул на него – и качнул утвердительно головою... Но бог ведает, понял ли он, о чем просил его Санин.

Противники и секунданты обменялись, как водится, поклонами; один доктор даже бровью не повел – и присел, зевая, на траву: «Мне, мол, не до изъявлений рыцарской вежливости». Г-н фон Рихтер предложил г-ну «Тшибадола» выбрать место; г-н «Тшибадола» отвечал, тупо ворочая языком («стенка» в нем опять обрушилась), что: «Действуйте, мол, вы, милостивый государь; я буду наблюдать...»

И г-н фон Рихтер начал действовать. Отыскал тут же, в лесу, прехорошенькую, всю испещренную цветами, поляну; отмерил шаги, обозначил два крайних пункта оструганными наскоро палочками, достал из ящика пистолеты и, присев на корточки, заколотил пули; словом, трудился и хлопотал изо всех сил, беспрестанно утирая свое вспотевшее лицо белым платочком. Сопровождавший его Панталеоне походил более на озябшего человека. В течение всех этих приготовлений оба противника стояли поодаль, напоминая собою двух наказанных школьников, которые дуются на своих гувернеров.

Настало решительное мгновенье...

Каждый взял свой пистолет...

Но тут г-н фон Рихтер заметил Панталеоне, что ему, как старшему секунданту, следует, по правилам дуэли, прежде чем провозгласить роковое: «Раз, два! три!», обратиться к противникам с последним советом и предложением: помириться; что хотя это предложение не имеет никогда никаких последствий и вообще не что иное, как пустая формальность, однако исполнением этой формальности г-н Чиппатола отклоняет от себя некоторую долю ответственности; что, правда, подобная аллокуция⁶⁴ составляет прямую обязанность так называемого «беспристрастного свидетеля» (*unparteiischer Zeuge*) – но так как у них такового не имеется – то он, г-н фон Рихтер, охотно уступает эту привилегию своему почтенному собрату. Панталеоне, который успел уже затушеваться за куст так, чтобы не видеть вовсе офицера-обидчика, сперва ничего не понял изо всей речи г-на фон Рихтера – тем более что она была произнесена в нос; но вдруг встрепенулся, проворно выступил вперед и, судорожно стуча руками в грудь, хриплым голосом возопил на своем смешанном наречии: «A-la-la-la... Che bestialita! Deux zeun' ommes comme за qué si battono – perché? Che diavolo? Andate a casa!»⁶⁵

⁶⁴ Речь, обращение (*лат. allocutio*).

⁶⁵ А-ла-ла-ла... Что за зверство! Два молодых человека дерутся – зачем? Что за дьявол! Идите домой! (*ит. и фр.*).

- Я не согласен на примирение, – поспешно проговорил Санин.
- И я тоже не согласен, – повторил за ним его противник.
- Ну так кричите: раз, два, три! – обратился фон Рихтер к растерявшемуся Панталеоне. Тот немедленно опять нырнул в куст – и уже оттуда прокричал, весь скорчившись, зажав глаза и отвернув голову, но во все горло:
- Une ... due... e tre!⁶⁶
- Первый выстрелил Санин – и не попал. Пуля его звякнула о дерево. Барон Дёнгоф выстрелил тотчас вслед за ним – преднамеренно в сторону, на воздух.
- Наступило напряженное молчание... Никто не трогался с места. Панталеоне слабо охнул.
- Прикажете продолжать? – проговорил Донгоф.
- Зачем вы выстрелили на воздух? – спросил Санин.
- Это не ваше дело.
- Вы и во второй раз будете стрелять на воздух? – спросил опять Санин.
- Может быть; не знаю.
- Позвольте, позвольте, господа... – начал фон Рихтер, – дуэлянты не имеют права говорить между собою. Это совсем не в порядке.
- Я отказываюсь от своего выстрела, – промолвил Санин и бросил пистолет на землю.
- И я тоже не намерен продолжать дуэль, – воскликнул Дёнгоф и тоже бросил свой пистолет. – Да, сверх того, я теперь готов сознаться, что я был не прав – третьего дня.
- Он помялся на месте – и нерешительно протянул руку вперед. Санин быстро приблизился к нему – и пожал ее. Оба молодых человека с улыбкой поглядели друг на друга – и лица у обоих покрылись краской.
- Bravi! bravi! – внезапно, как сумасшедший, загорланил Панталеоне и, хлопая в ладоши, турманом выбежал из-за куста; а доктор, усевшийся в стороне, на срубленном дереве, немедленно встал, вылил воду из кувшина – и пошел, лениво переваливаясь, к опушке леса.
- Честь удовлетворена – и дуэль кончена! – провозгласил фон Рихтер.
- Fuori! (фора!) – по старой памяти, еще раз гаркнул Панталеоне.

* * *

Разменявшись поклонами с г-ми офицерами и садясь в карету, Санин, правда, ощущал во всем существе своем если не удовольствие, то некоторую легкость, как после выдержанной операции; но и другое чувство зашевелилось в нем, чувство, похожее на стыд... Фальшью, заранее условленной казенщиной, обыкновенной офицерской, студенческой штукой показался ему поединок, в котором он только что разыграл свою роль. Вспомнил он флегматического доктора, вспомнил, как он улыбнулся – то есть сморщил нос, когда увидел его выходящего из лесу чуть не под руку с бароном Дёнгофом. А потом, когда Панталеоне выплачивал тому же доктору следуемые ему четыре червонца... Эх! нехорошо что-то!

Да; Санину было немножко совестно и стыдно... хотя, с другой стороны, что же ему было сделать? Не оставлять же без наказания дерзости молодого офицера, не уподобиться же г-ну Клуберу? Он заступился за Джемму, он защитил ее... Оно так; а все-таки у него скребло на душе, и было ему совестно, и даже стыдно.

Зато Панталеоне – просто торжествовал! Им внезапно обуяла гордость. Победоносный генерал, возвращающийся с поля выигранной им битвы, не озирался бы с большим самоудовольствием. Поведение Санина во время поединка наполняло его восторгом. Он величал его героем – и слышать не хотел его увещаний и даже просьб. Он сравнивал его с монументом из мрамора или бронзы – со статуей командора в «Дон-Жуане»! Про самого себя он сознавался,

⁶⁶ Раз... два... и три! (*ит.*).

что почувствовал некоторое смятение. «Но ведь я артист, – заметил он, – у меня натура нервная, а вы – сын снегов и скал гранитных».

Санин решительно не знал, как ему унять расходившегося артиста.

* * *

Почти на том же самом месте дороги, где часа два тому назад они настигли Эмиля, – он снова выскочил из-за дерева и с радостным криком на губах, помахивая картузом над головою и подпрыгивая, бросился прямо к карете, чуть-чуть не попал под колеса и, не дожидаясь, чтобы лошади остановились, вскарабкался через закрытые дверцы – и так и впился в Санина.

– Вы живы, вы не ранены! – твердил он. – Простите меня, я не послушался вас, я не вернулся во Франкфурт... Я не мог! Яждал вас здесь... Расскажите мне, как это было? Вы... убили его?

Санин с трудом успокоил и усадил Эмиля.

Многоглаголиво, с видимым удовольствием сообщил ему Панталеоне все подробности поединка и, уж конечно, не преминул снова упомянуть о монументе из бронзы, о статуе командора! Он даже встал с своего места и, растопырив ноги, для удержания равновесия, скрестив на груди руки и презрительно скосясь через плечо – воочию представлял командора-Санина! Эмиль слушал с благоговением, изредка прерывая рассказ восклицанием или быстро приподнимаясь и столь же быстро целуя своего героического друга.

Колеса кареты застучали о мостовую Франкфурта – и остановились наконец перед гостиницей, в которой жил Санин.

В сопровождении своих двух спутников взбирался он по лестнице во второй этаж – как вдруг из темного коридорчика проворными шагами вышла женщина: лицо ее было покрыто вуалью; она остановилась перед Саниним, слегка пошатнулась, вздохнула трепетно, тотчас же побежала вниз на улицу – и скрылась, к великому изумлению кельнера, который объявил, что «эта дама более часа ожидала возвращения господина иностранца». Как ни мгновенно было ее появление, Санин успел узнать в ней Джемму. Он узнал ее глаза под плотным шелком коричневой вуали.

– Разве фрейлейн Джемме было известно... – протянул он недовольным голосом, по-немецки, обратившись к Эмилю и Панталеоне, которые шли за ним по пятам.

Эмиль покраснел и смешался.

– Я принужден был ей все сказать, – пролепетал он, – она догадывалась – и я никак не мог... Но ведь теперь это ничего не значит, – подхватил он с живостью, – все так прекрасно кончилось, и она вас видела здоровым и невредимым!

Санин отвернулся.

– Какие вы, однако, болтуны оба! – промолвил он с досадой, вошел к себе в комнату и сел на стул.

– Не сердитесь, пожалуйста, – взмолился Эмиль.

– Хорошо, я не буду сердиться. (Санин действительно не сердился – да и наконец едва ли бы мог он желать, чтобы Джемма *ничего* не узнала.) Хорошо, полноте обниматься. Ступайте теперь. Я хочу остаться наедине. Я лягу спать. Я устал.

– Превосходная мысль! – воскликнул Панталеоне. – Вам нужно отдохновение! Вы его вполне заслужили, благородный синьоре! Пойдем, Эмилио! На цыпочках! На цыпочках! Шшшш!

Сказавши, что он хочет спать, Санин желал только отделаться от своих товарищей; но, оставшись один, он взаправду почувствовал значительную усталость во всех членах: всю предшествовавшую ночь он почти не смыкал глаз и, бросившись на постель, немедленно заснул глубоким сном.

XXIII

Несколько часов сряду он спал беспробудно. Потом ему стало грезиться, что он опять дерется на дуэли, что в качестве противника стоит перед ним г-н Клубер, а на елке сидит попугай, и этот попугай Панталеоне, и твердит он, шелкая носом: раз-раз-раз! раз-раз-раз!

Раз... раз... раз!! – послышалось ему уже слишком явственно: он открыл глаза, приподнял голову... кто-то стучался к нему в дверь.

– Войдите! – крикнул Санин.

Появился кельнер и доложил, что одной даме очень нужно его видеть.

«Джемма!» – мелькнуло у него в голове... но дама оказалась ее матерью – фрау Леноре.

Она, как только вошла, тотчас опустилась на стул и начала плакать.

– Что с вами, моя добрая, милая госпожа Розелли? – начал Санин, подсев к ней и с тихой лаской касаясь ее руки. – Что случилось? успокойтесь, прошу вас.

– Ах, Herr Dimitri, я очень... очень несчастна!

– Вы несчастны?

– Ах, очень! И могла ли я ожидать? Вдруг, как гром из ясного неба...

Она с трудом переводила дыхание.

– Но что такое? Объяснитесь! Хотите стакан воды?

– Нет, благодарствуйте. – Фрау Леноре утерла платком глаза и с новой силой заплакала. –

Ведь я все знаю! Все!

– То есть как же: все?

– Все, что произошло сегодня! И причина... мне тоже известна! Вы поступили, как благородный человек; но какое несчастное стечение обстоятельств! Недаром мне не нравилась эта поездка в Соден... недаром! (Фрау Леноре ничего подобного не говорила в самый день поездки, но теперь ей казалось, что уже тогда она «все» предчувствовала.) Я и пришла к вам, как к благородному человеку, как к другу, хотя я увидела вас в первый раз пять дней тому назад... Но ведь я вдова, одинокая... Моя дочь...

Слезы заглушили голос фрау Леноре. Санин не знал, что подумать.

– Ваша дочь? – повторил он.

– Моя дочь, Джемма, – вырвалось почти со стоном у фрау Леноре из-под смоченного слезами платка, – объявила мне сегодня, что не хочет выйти замуж за господина Клубера и что я должна отказать ему!

Санин даже отодвинулся слегка: он этого не ожидал.

– Я уже не говорю о том, – продолжала фрау Леноре, – что это позор, что этого никогда на свете не бывало, чтобы невеста отказала жениху; но ведь это для нас разорение, Herr Dimitri! – Фрау Леноре старательно и туго свернула платок в маленький-маленький клубочек, точно она хотела заключить в него все свое горе. – Жить доходами с нашего магазина мы больше не можем, Herr Dimitri! а господин Клубер очень богат и будет еще богаче. И за что же ему отказать? За то, что он не вступился за свою невесту? Положим, это не совсем хорошо с его стороны, но ведь он статский человек, в университете не воспитывался и, как солидный торговец, должен был презреть легкомысленную шалость неизвестного офицерчика. И какая же это обида, Herr Dimitri?

– Позвольте, фрау Леноре, вы словно осуждаете меня...

– Нисколько я вас не осуждаю, нисколько! Вы совсем другое дело; вы, как все русские, военный...

– Позвольте, я вовсе не...

– Вы иностранец, проезжий, я вам благодарна, – продолжала фрау Леноре, не слушая Санина. Она задыхалась, разводила руками, снова развертывала платок и сморкалась. По

одному тому, как выражалось ее горе, можно было видеть, что она родилась не под северным небом.

– И как же будет господин Клубер торговать в магазине, если он будет драться с покупателями? Это совсем несообразно! И теперь я должна ему отказать? Но чем мы будем жить? Прежде мы одни делали девичью кожу и нуга с фисташками – и к нам ходили покупатели, а теперь все делают девичью кожу!! Вы подумайте: уж без того в городе будут говорить о вашей дуэли... разве это можно утаить? И вдруг свадьба расстраивается! Ведь это скандал, скандал! Джемма – прекрасная девушка; она очень любит меня, но она упрямая республиканка, бравирует мнением других. Вы одни можете ее уговорить!

Санин изумился еще пуще прежнего.

– Я, фрау Леноре?

– Да, вы одни... Вы одни. Я затем и пришла к вам: я ничего другого придумать не умела! Вы такой ученый, такой хороший человек! Вы же за нее заступились. Вам она поверит! Она *должна* вам поверить – вы ведь жизнью своей рисковали! Вы ей докажете, а я уже больше ничего не могу! Вы ей докажете, что она и себя, и всех нас погубит. Вы спасли моего сына – спасите и дочь! Вас сам бог послал сюда... Я готова на коленях просить вас...

И фрау Леноре наполовину приподнялась со стула, как бы собираясь упасть Санину в ноги... Он удержал ее.

– Фрау Леноре! Ради бога! Что вы это?

Она судорожно схватила его за руки.

– Вы обещаетесь?

– Фрау Леноре, подумайте, с какой стати я...

– Вы обещаетесь? Вы не хотите, чтоб я тут же, сейчас, умерла перед вами?

Санин потерялся. Ему в первый раз в жизни приходилось иметь дело с загоревшейся итальянскою кровью.

– Я сделаю все, что будет вам угодно! – воскликнул он. – Я поговорю с фрейлейн Джеммой...

Фрау Леноре вскрикнула от радости.

– Только я, право, не знаю, какой может выйти результат...

– Ах, не отказывайтесь, не отказывайтесь! – промолвила фрау Леноре умоляющим голосом, – вы уже согласились! Результат, наверное, выйдет отличный. Во всяком случае, я уже больше ничего не могу! *Меня* она не послушается!

– Она так решительно объявила вам свое нежелание выйти за господина Клубера? – спросил Санин после небольшого молчания.

– Как ножом отрезала! Она вся в отца, в Джован'Баттиста! Бедовая!

– Бедовая? она?.. – протяжно повторил Санин.

– Да... да... но она тоже ангел. Она вас послушается. Вы придете, придете скоро? О мой милый русский друг! – Фрау Леноре порывисто встала со стула и так же порывисто обхватила голову сидевшего перед ней Санина. – Примите благословение матери – и дайте мне воды!

Санин принес г-же Розелли стакан воды, дал ей честное слово, что придет немедленно, проводил ее по лестнице до улицы – и, вернувшись в свою комнату, даже руками всплеснул и глаза вытаращил.

«Вот, – подумал он, – вот *теперь* завертелась жизнь! Да и так завертелась, что голова кругом пошла». Он и не попытался взглянуть внутрь себя, понять, что там происходит: сумятица – и basta! «Выдался денек! – невольно шептали его губы. – Бедовая... говорит ее мать... И я должен ей советовать – ей?! И что советовать?!»

Голова действительно кружилась у Санина – и над всем этим вихрем разнообразных ощущений, впечатлений, недосказанных мыслей постоянно носился образ Джеммы, тот образ,

который так неизгладимо врезался в его память в ту теплую, электрически-потрясенную ночь, в том темном окне, под лучами роившихся звезд!

XXIV

Нерешительными шагами подходил Санин к дому г-жи Розелли. Сердце его сильно билось; он явственно чувствовал и даже слышал, как оно толкалось в ребра. Что он скажет Джемме, как заговорит с нею? Он вошел в дом не через кондитерскую, но по заднему крыльцу. В небольшой передней комнате он встретил фрау Леноре. Она и обрадовалась ему и испугалась.

– Я ждала, ждала вас, – проговорила она шепотом, попеременно обеими руками стискивая его руку. – Ступайте в сад; она там. Смотрите же: я на вас надеюсь!

Санин отправился в сад.

Джемма сидела на скамейке, близ дорожки, и из большой корзины, наполненной вишнями, отбирала самые спелые на тарелку. Солнце стояло низко – был уже седьмой час вечера – и в широких косых лучах, которыми оно затопляло весь маленький садик г-жи Розелли, было больше багрянца, чем золота. Изредка, чуть слышно и словно не спеша, перешептывались листья, да отрывисто жужжали, перелетывая с цветка на соседний цветок, запоздалые пчелы, да где-то ворковала горlinka – однообразно и неумоимо.

На Джемме была та же круглая шляпа, в которой она ездила в Соден. Она глянула на Санина из-под ее выгнутого края и снова наклонилась к корзинке.

Санин приблизился к Джемме, невольно укорачивая каждый шаг, и... и... И ничего другого не нашелся сказать ей, как только спросить: зачем это она отбирает вишни?

Джемма не тотчас отвечала ему:

– Эти – поспелее, – промолвила она наконец, – пойдут на варенье, а те на начинку пирогов. Знаете, мы продаем такие круглые пироги с сахаром.

Сказав эти слова, Джемма еще ниже наклонила голову, и правая ее рука, с двумя вишнями в пальцах, остановилась на воздухе между корзинкой и тарелкой.

– Можно подсесть к вам? – спросил Санин.

– Можно. – Джемма слегка подвинулась на скамейке. Санин поместился возле нее. «Как начать?» – думалось ему. Но Джемма вывела его из затруднения.

– Вы дрались сегодня на дуэли, – заговорила она с живостью и обернулась к нему всем своим прекрасным, стыдливо вспыхнувшим лицом, – а какой глубокой благодарностью светились ее глаза! – И вы так спокойны? Стало быть, для вас не существует опасности?

– Помилуйте! Я никакой опасности не подвергался. Все обошлось очень благополучно и безобидно.

Джемма повела пальцем направо и налево перед глазами... Тоже итальянский жест.

– Нет! нет! не говорите этого! Вы меня не обманете! Мне Панталеоне все сказал!

– Нашли кому верить! Сравнивал он меня с статуей командора?

– Выражения его могут быть смешны, но ни чувство его не смешно, ни то, что вы сделали сегодня. И все это из-за меня... для меня... Я этого никогда не забуду.

– Уверяю вас, фрейлейн Джемма...

– Я этого не забуду, – с расстановкой повторила она, еще раз пристально посмотрела на него и отвернулась.

Он мог теперь видеть ее тонкий, чистый профиль, и ему казалось, что он никогда не видывал ничего подобного – и не испытывал ничего подобного тому, что он чувствовал в этот миг. Душа его разгоралась.

«А мое обещание!» – мелькнуло у него в мыслях.

– Фрейлейн Джемма... – начал он после мгновенного колебания.

– Что?

Она не повернулась к нему, она продолжала разбирать вишни, осторожно бралась концами пальцев за их хвостики, заботливо приподнимала листочки... Но какой доверчивой лаской прозвучало это одно слово: «что»!

– Вам ваша матушка ничего не сообщала... насчет...

– Насчет?

– На мой счет?

Джемма вдруг отбросила назад в корзину взятые ею вишни.

– Она говорила с вами? – спросила она в свою очередь.

– Да.

– Что же она вам такое сказала?

– Она сказала мне, что вы... что вы внезапно решились переменить... свои прежние намерения.

Голова Джеммы опять наклонилась. Она вся исчезла под шляпой; виднелась только шея, гибкая и нежная, как стебель крупного цветка.

– Какие намерения?

– Ваши намерения... касательно... будущего устройства вашей жизни.

– То есть... Вы это говорите... о господине Клубере?

– Да.

– Вам мама сказала, что я не желаю быть женою господина Клубера?

– Да.

Джемма подвинулась на скамейке. Корзина накренилась, упала... несколько вишен покатились на дорожку. Прошла минута... другая...

– Зачем она вам это сказала? – слышался ее голос.

Санин по-прежнему видел одну шею Джеммы. Грудь ее поднималась и опускалась быстрее прежнего.

– Зачем? Ваша матушка подумала, что так как мы с вами в короткое время, можно сказать, подружились и вы возымели некоторое доверие ко мне, то я в состоянии подать вам полезный совет – и вы меня слушаетесь.

Руки Джеммы тихонько соскользнули на колени... Она принялась перебирать складки своего платья.

– Какой же вы мне совет дадите, *monsieur Dimitri*? – спросила она походя немного.

Санин увидал, что пальцы Джеммы дрожали на ее коленях... Она и складки платья перебирала только для того, чтобы скрыть эту дрожь. Он тихонько положил свою руку на эти бледные, трепетные пальцы.

– Джемма, – промолвил он, – отчего вы не смотрите на меня?

Она мгновенно отбросила назад через плечо свою шляпу – и устремила на него глаза, доверчивые и благодарные по-прежнему. Она ждала, что он заговорит... Но вид ее лица смутил и словно ослепил его. Теплый блеск вечернего солнца озарял ее молодую голову – и выражение этой головы было светлее и ярче самого этого блеска.

– Я вас слушаю, *monsieur Dimitri*, – начала она, чуть-чуть улыбаясь и чуть-чуть приподнимая брови, – но какой же совет дадите вы мне?

– Какой совет? – повторил Санин. – Вот видите ли, ваша матушка полагает, что отказать господину Клуберу только потому, что он третьего дня не выказал особенной храбрости...

– Только потому? – проговорила Джемма, нагнулась, подняла корзину и поставила ее возле себя на скамейку.

– Что... вообще... отказать ему, с вашей стороны – неблагоприятно; что это – такой шаг, все последствия которого нужно хорошенько взвесить; что, наконец, самое положение ваших дел налагает известные обязанности на каждого члена вашего семейства...

– Это все – мнение мамы, – перебила Джемма, – это – ее слова. Это я знаю; но ваше какое мнение?

– Мое? – Санин помолчал. Он чувствовал, что-то подступило к нему под горло и захватывало дыхание. – Я тоже полагаю, – начал он с усилием...

Джемма выпрямилась.

– Тоже? Вы – тоже?

– Да... то есть... – Санин не мог, решительно не мог прибавить ни единого слова.

– Хорошо, – сказала Джемма. – Если вы, как друг, советуете мне изменить мое решение... то есть не менять моего прежнего решения, – я подумаю. – Она, сама не замечая, что делает, начала переключать вишни обратно из тарелки в корзину... – Мама надеется, что я вас послушаюсь... Что ж? Я, быть может, точно послушаюсь вас...

– Но позвольте, фрейлейн Джемма, я сперва желал бы узнать, какие причины побудили вас...

– Я вас послушаюсь, – повторила Джемма, а у самой брови все надвигались, щеки бледнели; она покусывала нижнюю губу. – Вы так много для меня сделали, что и я обязана сделать, что вы хотите; обязана исполнить ваше желание. Я скажу маме... я подумаю. Вот она, кстати, идет сюда.

Действительно: фрау Леноре показалась на пороге двери, ведущей из дома в сад. Нетерпение ее разбирало: она не могла усидеть на месте. По ее расчету, Санин давным-давно должен был окончить свое объяснение с Джеммой, хотя его беседа с нею не продолжалась и четверти часа.

– Нет, нет, нет, ради бога, не говорите ей пока ничего, – торопливо, почти с испугом произнес Санин. – Подождите... я вам скажу, я вам напишу... а вы до тех пор не решайтесь ни на что... подождите!

Он стиснул руку Джеммы, вскочил со скамейки – и, к великому изумлению фрау Леноры, прошмыгнул мимо нее, приподняв шляпу, пробурчал что-то невнятное – и скрылся.

Она подошла к дочери.

– Скажи мне, пожалуйста, Джемма...

Та вдруг поднялась и обняла ее.

– Милая мама, можете вы подождать немножко, крошечку... до завтрашнего дня? Можете? И с тем, чтобы уж до завтра ни слова?.. Ах!..

Она залилась внезапными светлыми, для нее самой неожиданными слезами. Это тем более удивило фрау Леноре, что выражение Джеммина лица было далеко не печальное, скорее радостное.

– Что с тобой? – спросила она. – Ты у меня никогда не плачешь – и вдруг...

– Ничего, мама, ничего! только вы подождите! Нам обеим надо подождать. Не спрашивайте ничего до завтра – и давайте разбирать вишни, пока солнце не село.

– Но ты будешь благоразумна?

– О, я очень благоразумна! – Джемма значительно покачала головою. Она начала связывать небольшие пучки вишен, держа их высоко перед краснеющим лицом. Слез своих она не утирала: они высохли сами.

XXV

Чуть не бегом возвратился Санин в свою квартиру. Он чувствовал, он сознавал, что только там, только наедине с самим собою, ему выяснится наконец, что с ним, что с ним такое? И действительно: не успел он войти в свою комнату, не успел сесть перед письменным столом, как, облокотясь об этот самый стол обеими руками и прижав обе ладони к лицу, – он горестно и глухо воскликнул: «Я ее люблю, люблю безумно!» – и весь внутренне зарделся, как уголь, с

которого внезапно сдули наросший слой мертвого пепла. Мгновение... и уже он не в силах был понять, как он мог сидеть рядом с нею... с нею! – и разговаривать с нею, и не чувствовать, что он обожает самый край ее одежды, что он готов, как выражаются молодые люди, «умереть у ее ног». Последнее свидание в саду все решило. Теперь, когда он думал о ней, – она уже не представлялась ему с развеянными кудрями, в сиянии звезд, – он видел ее сидящей на скамейке, видел, как она разом сбрасывает с себя шляпу – и смотрит на него так доверчиво... и трепет и жажда любви перебежали по всем его жилам. Он вспомнил о розе, которую вот уже третий день носил у себя в кармане: он выхватил ее – и с такой лихорадочной силой прижал ее к своим губам, что невольно поморщился от боли. Теперь уже он ни о чем не рассуждал, ничего не соображал, не рассчитывал и не предвидел; он отделился от всего прошлого, он прыгнул вперед: с унылого берега своей одинокой, холостой жизни бухнулся он в тот веселый, кипучий, могучий поток – и горя ему мало, и знать он не хочет, куда он его вынесет, и не разобьет ли он его о скалу! Это уже не те тихие струи улановского романса, которые недавно его баюкали... Это сильные, неудержимые волны! Они летят и скачут вперед – и он летит с ними!

Он взял лист бумаги – и без помарки, почти одним взмахом пера, написал следующее:

«Милая Джемма!

Вы знаете, какой совет я взял на себя преподать вам, вы знаете, чего желает ваша матушка и о чем она меня просила, – но чего вы не знаете и что я обязан вам теперь сказать, – это то, что я люблю вас, люблю со всею страстью сердца, полюбившего в первый раз! Этот огонь вспыхнул во мне внезапно, но с такой силой, что я не нахожу слов!! Когда ваша матушка пришла ко мне и просила меня – он еще только тлел во мне – а то я, как честный человек, наверное бы отказался исполнить ее поручение... Самое признание, которое я вам теперь делаю, есть признание честного человека. Вы должны знать, с кем имеете дело, – между нами не должно существовать недоразумений. Вы видите, что я не могу давать вам никаких советов... Я вас люблю, люблю, люблю – и больше нет у меня ничего – ни в уме, ни в сердце!

Дм. Санин».

Сложив и запечатав эту записку, Санин хотел было позвонить кельнера и послать ее с ним... «Нет! этак неловко... Через Эмиля? Но отправиться в магазин, отыскивать его там между другими комми – неловко тоже. Притом уже ночь на дворе – и он, пожалуй, уже ушел из магазина». Размышляя таким образом, Санин, однако, надел шляпу и вышел на улицу; повернул за угол, за другой – и, к неописанной своей радости, увидал перед собою Эмиля. С сумкой под мышкой, со свертком бумаги в руке, молодой энтузиаст спешил домой.

«Недаром говорят, что у каждого влюбленного есть звезда», – подумал Санин и позвал Эмиля.

Тот обернулся и тотчас бросился к нему.

Санин не дал ему восторгаться, вручил ему записку, объяснил ему, кому и как ее передать...

Эмиль слушал внимательно.

– Чтобы никто не видел? – спросил он, придав своему лицу выражение знаменательное и таинственное: мы, дескать, понимаем, в чем вся суть!

– Да, мой дружок, – проговорил Санин и немножко сконфузился, однако потрепал Эмиля по щеке... – И если ответ будет... Вы мне принесете ответ, не правда ли? Я буду сидеть дома.

– Уж об этом не беспокойтесь! – весело шепнул Эмиль, побежал прочь – и на бегу еще раз кивнул ему.

Санин вернулся домой – и, не зажигая свечи, бросился на диван, занес руки за голову и предался тем ощущениям только что сознанный любви, которые и описывать нечего: кто их испытал, тот знает их томление и сладость; кто их не испытал – тому их не растолкуешь.

Дверь растворилась – показалась голова Эмиля.

– Принес, – сказал он шепотом, – вот он, ответ-то!

Он показал и поднял над головою свернутую бумажку.

Санин вскочил с дивана и выхватил ее из рук Эмиля. Страсть в нем слишком сильно разыгралась: не до скрытности было ему теперь, не до соблюдения приличия – даже перед этим мальчиком, ее братом. Он бы посовестился его, он бы принудил себя – если б мог!

Он подошел к окну – и при свете уличного фонаря, стоявшего перед самым домом, прочел следующие строки:

«Я вас прошу, я умоляю вас – *целый завтрашний день не приходите к нам, не показываться*. Мне это нужно, непременно нужно – а там все будет решено. Я знаю, вы мне не откажете, потому что...

Джемма».

Санин два раза прочел эту записку – о, как трогательно мил и красив показался ему ее почерк! – подумал немного и, обратившись к Эмилю, который, желая дать понять, какой он скромный молодой человек, стоял лицом к стене и колупал в ней ногтем, – громко назвал его по имени.

Эмиль тотчас подбежал к Санину.

– Что прикажете?

– Послушайте, дружок...

– Monsieur Димитрий, – перебил его Эмиль жалобным голосом, – отчего вы не говорите мне: ты?

Санин засмеялся.

– Ну, хорошо. Послушай, дружок (Эмиль слегка подпрыгнул от удовольствия), – послушай: *там*, ты понимаешь, *там* ты скажешь, что все будет исполнено в точности (Эмиль сжал губы и важно качнул головою), – а сам... Что ты делаешь завтра?

– Я? Что я делаю? Что вы хотите, что бы я делал?

– Если тебе можно, приходи ко мне поутру, пораньше, – и мы до вечера будем гулять по окрестностям Франкфурта... Хочешь?

Эмиль опять подпрыгнул.

– Помилуйте, что может быть на свете лучше? Гулять с вами – да это просто чудо! Приду непременно!

– А если тебя не отпустят?

– Отпустят!

– Слушай... Не сказывай *там*, что я тебя звал на целый день.

– Зачем сказывать? Да я так уйду! Что за беда!

Эмиль крепко поцеловал Санина и убежал.

А Санин долго ходил по комнате и поздно лег спать. Он предавался тем же жутким и сладким ощущениям, тому же радостному замиранию перед новой жизнью. Санин был очень доволен тем, что возымел мысль пригласить на завтрашний день Эмиля; он походил лицом на сестру. «Будет напоминать ее», – думалось Санину.

Но больше всего удивлялся он тому: как мог он вчера быть иначе, чем сегодня? Ему казалось, что он «вечно» любил Джемму – и именно так точно ее любил, как он любил ее сегодня.

XXVI

На другой день, в восемь часов утра, Эмиль, с Тартальей на сворке, отъявился к Санину. Происходи он от германских родителей, он бы не мог выказать бóльшую аккуратность. Дома

он солгал: сказал, что погуляет с Саниным до завтрака, а потом отправится в магазин. Пока Санин одевался, Эмиль заговорил было с ним, правда, довольно нерешительно, о Джемме, об ее размолвке с г-м Клюббером; но Санин сурово промолчал ему в ответ, а Эмиль, показав вид, что понимает, почему не следует слегка касаться этого важного пункта, уже не возвращался к нему – и только изредка принимал сосредоточенное и даже строгое выражение.

Напившись кофе, оба приятеля отправились – пешком, разумеется, – в Гаузен, небольшую деревеньку, лежащую в недалеком расстоянии от Франкфурга и окруженную лесами. Вся цепь гор Таунуса видна оттуда как на ладони. Погода была прекрасная; солнце сияло и грело, но не пекло; свежий ветер бойко шумел в зеленых листьях; по земле, небольшими пятнами, плавно и быстро скользили тени высоких круглых облачков. Молодые люди скоро выбрались из города и бодро и весело зашагали по гладко выметенной дороге. Зашли в лес – и долго там проплутали; потом очень плотно позавтракали в деревенском трактире; потом лазали на горы, любовались видами, пускали сверху камни и хлопали в ладоши, глядя, как эти камни забавно и странно сигают, наподобие кроликов, пока проходивший внизу, невидимый для них, человек не выбрал их звонким и сильным голосом; потом лежали, раскинувшись, на коротком сухом мохе желто-фиолетового цвета; потом пили пиво в другом трактире, потом бегали взапуски, прыгали на пари: кто дальше? Открыли эхо и беседовали с ним, пели, аукались, боролись, ломали сучья, украшали свои шляпы ветками папоротника – и даже танцевали. Таргалья, насколько мог и умел, участвовал во всех этих занятиях: камней он, правда, не бросал, но сам кубарем катился за ними, подвывал, когда молодые люди пели, – и даже пиво пил, хотя с видимым отвращением: этому искусству его выучил студент, которому он некогда принадлежал. Впрочем, Эмиля он слушался плохо – не то что своего хозяина Панталеоне, и когда Эмиль приказывал ему «говорить» или «чихать», – только хвостиком повиливал и высовывал язык трубочкой.

Молодые люди также беседовали между собою. В начале прогулки Санин, как старший и потому более рассудительный, завел было речь о том, что такое фатум, или предопределение судьбы, и что значит и в чем состоит призвание человека; но разговор вскорости принял направление менее серьезное. Эмиль стал расспрашивать своего друга и патрона о России, о том, как там дерутся на дуэли, и красивы ли там женщины, и скоро ли можно выучиться русскому языку, и что он почувствовал, когда офицер целился в него? А Санин в свою очередь расспрашивал Эмиля об его отце, о матери, вообще об их семейных делах, всячески стараясь не упоминать имени Джеммы – и думая только о ней. Собственно говоря, он даже о ней не думал – а о завтрашнем дне, о том таинственном завтрашнем дне, который принесет ему неведомое, небывалое счастье! Точно завеса, тонкая, легкая завеса висит, слабо колыхаясь, перед его умственным взором, – и за той завесой он чувствует... чувствует присутствие молодого, неподвижного, божественного лика с ласковой улыбкой на устах и строго, притворно-строго опущенными ресницами. И этот лик – не лицо Джеммы, это лицо самого счастья! И вот настал наконец *его* час, завеса взвилась, открываются уста, ресницы поднимаются – увидало его божество – и тут уже свет, как от солнца, и радость, и восторг нескончаемый!! Он думает об этом завтрашнем дне – и душа его опять радостно замирает в млеющей тоске беспрестанно возрождающегося ожидания!

И ничему не мешает это ожидание, эта тоска. Она сопровождает каждое его движение – и ничему не мешает. Не мешает она ему отлично пообедать в третьем трактире с Эмилем – и только изредка, как короткая молния, вспыхивает в нем мысль, что – если б ктонибудь на свете знал?!! Не мешает ему эта тоска играть после обеда с Эмилем в чехарду. На привольном зеленом лужку происходит эта игра... и каково изумление, каков конфуз Санина, когда, под ярый лай Таргальи, ловко растопырив ноги и перелетая птицей через прикорнувшего Эмиля, – он внезапно видит перед собою, на самой кайме зеленого лужка, двух офицеров, в которых он немедленно узнает своего вчерашнего противника и его секунданта, гг. фон Дёнгофа и фон

Рихтера! Каждый из них вставил по стеклышку в глаз и глядит на него и ухмыляется... Санин падает на ноги, отворачивается, поспешно надевает сброшенное пальто, говорит отрывистое слово Эмилю, тот тоже надевает куртку – и оба немедленно удаляются.

Поздно вернулись они во Франкфурт.

– Будут меня бранить, – говорил Санину Эмиль, прощаясь с ним, – ну да все равно! Зато я такой чудный, чудный день провел!

Вернувшись к себе в гостиницу, Санин нашел записку от Джеммы. Она назначала ему свидание – на следующий день, в семь часов утра, в одном из публичных садов, со всех сторон окружающих Франкфурт.

Как дрогнуло его сердце! Как рад он был тому, что так беспрекословно ей повиновался! И, боже мой, что сулил... чего не сулил этот небывалый, единственный, невозможный – и несомненный завтрашний день!

Он впился глазами в записку Джеммы. Длинный, изящный хвостик буквы G, первой буквы ее имени, стоявшей на конце листа, напомнил ему ее красивые пальцы, ее руку... Он подумал, что ни разу не прикоснулся к этой руке губами...

«Итальянки, – думал он, – вопреки молве о них, стыдливы и строги... А уж Джемма и подавно! Царица... богиня... мрамор девственный и чистый...

Но придет время – и оно недалеко...»

Был в ту ночь во Франкфурте один счастливый человек... Он спал; но он мог сказать про себя словами поэта:

Я сплю... но сердце чуткое не спит.

Оно и билось так легко, как бьет крылами мотылек, приникший к цветку и облитый летним солнцем.

XXVII

В пять часов Санин проснулся, в шесть уже был одет, в половине седьмого расхаживал по публичному саду, в виду небольшой беседки, о которой Джемма упомянула в своей записке.

Утро было тихое, теплое, серое. Иногда казалось, что вот-вот пойдет дождь; но протянутая рука ничего не ощущала, и только глядя на рукав платья, можно было заметить следы крохотных, как мельчайший бисер, капель; но и те скоро прекратились. Ветра – точно на свете никогда не бывало. Каждый звук не летел, а разливался кругом; в отдалении чуть сгушался беловатый пар, в воздухе пахло резедой и цветами белых акаций.

На улицах еще не открывались лавки, но уже показались пешеходы; изредка стучала одинокая карета... В саду гулявших не было. Садовник скоблил, не торопясь, дорожку лопатой, да дряхлая старушонка в черном суконном плаще проковыляла через аллею. Ни на одно мгновение не мог Санин принять это убогое существо за Джемму – и, однако же, сердце в нем екнуло, и он внимательно следил глазами за удалявшимся черным пятном.

Семь! прогудели часы на башне.

Санин остановился. Неужели она не придет? Трепет холода внезапно пробежал по его членам. Тот же трепет повторился в нем мгновенье спустя, но уже от другой причины. Санин услышал за собою легкие шаги, легкий шум женской одежды... Он обернулся: она!

Джемма шла сзади его по дорожке. На ней была серенькая мантилья и небольшая темная шляпа. Она глянула на Санина, повернула голову в сторону – и, поравнявшись с ним, быстро прошла мимо.

– Джемма, – проговорил он едва слышно.

Она слегка кивнула ему – и продолжала идти вперед. Он последовал за нею.

Он дышал прерывисто. Ноги плохо его слушались.

Джемма миновала беседку, взяла направо, миновала небольшой плоский бассейн, в котором хлопотливо плескался воробей, и, зайдя за клумбу высоких сиреней, опустилась на скамью. Место было уютное и закрытое. Санин сел возле нее.

Прошла минута – и ни он, ни она слова не промолвили; она даже не глядела на него – и он глядел ей не в лицо, а на сложенные руки, в которых она держала маленький зонтик. Что было говорить? Что было сказать такого, что по значению своему могло бы равняться одному их присутствию здесь, вместе, наедине, так рано, так близко друг от друга?

– Вы... на меня не сердитесь? – произнес наконец Санин.

Трудно было Санину сказать что-нибудь глупее этих слов... он сам это сознавал... Но по крайней мере молчание было нарушено.

– Я? – отвечала она. – За что? Нет.

– И вы верите мне? – продолжал он.

– Тому, что вы написали?

– Да.

Джемма опустила голову и ничего не промолвила. Зонтик выскользнул из ее рук. Она поспешно поймала его, прежде чем он упал на дорожку.

– Ах, верьте мне, верьте тому, что я писал вам, – воскликнул Санин; вся робость его вдруг исчезла – он заговорил с жаром: – Если есть на земле правда, святая, несомненная правда, – так это то, что я люблю вас, люблю вас страстно, Джемма!

Она бросила на него косвенный, мгновенный взгляд – и опять чуть не уронила зонтик.

– Верьте мне, верьте мне, – твердил он. Он умолял ее, протягивал к ней руки – и не смел коснуться ее. – Что вы хотите, чтобы я сделал... чтоб убедить вас?

Она опять глянула на него.

– Скажите, monsieur Dimitri, – начала она, – третьего дня, когда вы пришли меня уговаривать, – вы, стало быть, еще не знали... не чувствовали...

– Я чувствовал, – подхватил Санин, – но не знал. Я полюбил вас с самого того мгновенья, как я вас увидел, – но не тотчас понял, чем вы стали для меня! К тому же я услышал, что вы обрученная невеста... Что же касается до поручения вашей матушки, – то, во-первых, как бы я мог отказаться? а, во-вторых, – я, кажется, так передал вам это поручение, что вы могли догадаться...

Послышались тяжелые шаги, и довольно плотный господин, с саквояжем через плечо, очевидно иностранец, выдвинулся из-за клумбы – и, с бесцеремонностью заезжего путешественника окинув взором сидевшую на скамейке парочку, громко кашлянул и прошел далее.

– Ваша матушка, – заговорил Санин, как только стук тяжелых ног затих, – сказала мне, что ваш отказ произведет скандал (Джемма чуть-чуть нахмурилась); что я отчасти сам подал повод к неблагоприятным толкам и что... следовательно... на мне – до некоторой степени – лежала обязанность уговорить вас не отказывать вашему жениху, господину Клуберу...

– Monsieur Dimitri, – промолвила Джемма и провела рукой по волосам со стороны, обращенной к Санину, – не называйте, пожалуйста, господина Клубера моим женихом. Я не буду его женой никогда. Я ему отказала.

– Вы ему отказали? Когда?

– Вчера.

– Ему самому?

– Ему самому. У нас в доме. Он приходил к нам.

– Джемма! Стало быть, вы любите меня?

Она обернулась к нему.

– Иначе... разве бы я пришла сюда? – шепнула она, и обе ее руки упали на скамью.

Санин схватил эти бессильные, ладонями кверху лежавшие руки – и прижал их к своим глазам, к своим губам... Вот когда взвилась та завеса, которая мерещилась ему накануне. Вот оно, счастье, вот его лучезарный лик!

Он приподнял голову – и посмотрел на Джемму – прямо и смело. Она тоже смотрела на него – несколько сверху вниз. Взор ее полузакрытых глаз едва мерцал, залитый легкими, блаженными слезами. А лицо не улыбалось... нет! оно смеялось, тоже блаженным, хотя беззвучным смехом.

Он хотел привлечь ее к себе на грудь, но она отклонилась и, не переставая смеяться тем же беззвучным смехом, отрицательно покачивала головой. «Подожди», – казалось, говорили ее счастливые глаза.

– О Джемма! – воскликнул Санин, – мог ли я думать, что ты (сердце в нем затрепетало, как струна, когда его губы в первый раз произнесли это: «ты»), – что ты меня полюбишь!

– Я сама не ожидала этого, – тихо проговорила Джемма.

– Мог ли я думать, – продолжал Санин, – мог ли я думать, подъезжая к Франкфурту, где я полагал остаться всего несколько часов, что я здесь найду счастье всей моей жизни!

– Всей жизни? Точно? – спросила Джемма.

– Всей жизни, навек и навсегда! – воскликнул Санин с новым порывом.

Лопата садовника внезапно заскребла в двух шагах от скамейки, на которой они сидели.

– Пойдем домой, – шепнула Джемма, – пойдем вместе – хочешь?

Если б она сказала ему в это мгновение: «Бросься в море – *хочешь?*» – она не договорила бы последнего слова, как уж он бы летел стремглав в бездну.

Они вместе вышли из сада и направились к дому, не городскими улицами, а предместьем.

XXVIII

Санин шел то рядом с Джеммой, то несколько позади ее, не спускал с нее глаз и не переставал улыбаться. А она как будто спешила... как будто останавливалась. Правду сказать, оба они, он весь бледный, она вся розовая от волнения, подвигались вперед, как отуманенные. То, что они сделали вдвоем, несколько мгновений тому назад – это отдание своей души другой душе, – было так сильно, и ново, и жутко; так внезапно все в их жизни переставилось и переменялось, что они оба не могли опомниться и только сознавали подхвативший их вихорь, подобный тому ночному вихрю, который чуть-чуть не бросил их в объятия друг другу. Санин шел и чувствовал, что он даже иначе смотрит на Джемму: он мгновенно заметил несколько особенностей в ее походке, в ее движениях, – и, боже мой! как они были ему бесконечно дороги и милы! И она чувствовала, что он *так* на нее смотрит.

Санин и она – полюбили в первый раз; все чудеса первой любви совершались над ними. Первая любовь – та же революция: однообразно-правильный строй сложившейся жизни разбит и разрушен в одно мгновение, молодость стоит на баррикаде, высоко вьется ее яркое знамя – и что бы там впереди ее ни ждало – смерть или новая жизнь, – всему она шлет свой восторженный привет.

– Что? это, никак, наш старик? – промолвил Санин, указывая пальцем на закутанную фигуру, которая поспешно пробиралась сторонкой, как бы стараясь остаться незамеченной. Среди избытка блаженства он ощущал потребность говорить с Джеммой не о любви – то было дело решенное, святое, – а о чем-нибудь другом.

– Да, это Панталеоне, – весело и счастливо отвечала Джемма. – Он, наверное, вышел из дому по моим пятам; он уже вчера целый день следил за каждым моим шагом... Он догадывается!

– Он догадывается! – с восхищением повторил Санин. Что бы такое могла сказать Джемма, от чего он не пришел бы в восхищение?

Потом он попросил ее рассказать подробно все, что именно произошло накануне.

И она немедленно начала рассказывать, спеша, путаясь, улыбаясь, вздыхая короткими вздохами и меняясь с Саниным короткими светлыми взглядами. Она рассказала ему, как, после третьегодневного разговора, мама все хотела добиться от нее, Джеммы, чего-нибудь положительного; как она отделалась от фрау Леноры обещанием сообщить свое решение в течение суток; как она выпросила себе этот срок – и как это было трудно; как совершенно неожиданно явился г-н Клубер, более чопорный и накрахмаленный, чем когда-либо; как он изъявил свое негодование по поводу мальчишески-непростительной и для него, Клубера, глубоко оскорбительной (так именно он выразился) выходки русского незнакомца – он разумел *твою* дуэль – и как он потребовал, чтобы *тебе* немедленно отказали от дому. «Потому, – прибавил он, – и тут Джемма слегка передразнила его голос и манеру, – это бросает тень на мою честь; как будто я не сумел бы заступиться за свою невесту, если б нашел это необходимым или полезным! Весь Франкфурт завтра узнает, что чужой дрался с офицером за мою невесту, – на что это похоже? Это марает мою честь!» Мама с ним соглашалась – представь! – но тут я ему вдруг объявила, что он напрасно беспокоится о своей чести и о своей персоне, напрасно оскорбляется толками о своей *невесте* – потому что я больше ему не невеста, и никогда его женой не буду! Признаться, я хотела было сперва поговорить с вами... с тобою, прежде чем отказать ему окончательно; но он пришел... и я не могла удержаться. Мама даже закричала от испуга, а я вышла в другую комнату и принесла ему его кольцо – ты не заметил, я уже два дня тому назад сняла это кольцо – и отдала ему. Он ужасно обиделся; но так как он ужасно самолюбив и чванлив, то он не стал много разговаривать – и ушел. Разумеется, мне пришлось много вытерпеть от мамы, и очень мне было больно видеть, как она огорчалась, – и думала я, что я немножко поторопилась; но ведь у меня была твоя записка – и я без того уже знала...

– Что я тебя люблю, – подхватил Санин.

– Да... что ты полюбил меня.

Так говорила Джемма, путаясь и улыбаясь, и понижая всякий раз голос или вовсе умолкая, когда кто-нибудь шел ей навстречу или проходил мимо. А Санин слушал восторженно, наслаждаясь самым звуком ее голоса, как накануне он любовался ее почерком.

– Мама чрезвычайно огорчена, – начала снова Джемма, – и слова ее быстро-быстро бежали одно за другим, – она никак не хочет взять в соображение то, что господин Клубер мог мне опротивить, что я и выходила-то за него не по любви, – а вследствие ее усиленных просьб... Она подозревает... вас... тебя; то есть, прямо говоря, она уверена, что я тебя полюбила, – и это ей тем больнее, что еще третьего дня ей ничего подобного в голову не приходило, и она даже поручала тебе меня уговаривать... А странное это было поручение – не правда ли? Теперь она тебя... вас величает хитрецом, лукавым человеком, говорит, что вы обманули ее доверие, и предсказывает мне, что меня вы обманете...

– Но, Джемма, – воскликнул Санин, – разве ты ей не сказала...

– Я ничего не сказала! Какое я имела право, не переговоривши с вами?

Санин всплеснул руками.

– Джемма, я надеюсь, что теперь по крайней мере ты во всем ей сознаешься, ты приведешь меня к ней... Я хочу доказать твоей матушке, что я не обманщик!

Грудь Санина так и вздымалась от прилива великодушных и пламенных чувств!

Джемма глянула на него во все глаза.

– Вы точно хотите идти теперь к маме со мною? к маме, которая уверяет, что... что все это между нами невозможно – и никогда сбыться не может?

Было одно слово, которое Джемма не решалась выговорить... Оно жгло ей губы; но тем охотнее произнес его Санин.

– Вступить с тобою в брак, Джемма, быть твоим мужем – я выше блаженства не знаю!

Ни любви своей, ни своему великодушию, ни решимости своей он уже не знал никаких пределов.

Услышав эти слова, Джемма, которая остановилась было на мгновение, пошла еще скорее... Она как будто хотела убежать от этого слишком великого и неожиданного счастья!

Но вдруг у ней ноги подкосились. Из-за угла переуллка, в нескольких шагах от нее, в новой шляпе и новой бекеше, прямой, как стрела, завитый, как пудель, появился г-н Клубер. Он увидел Джемму, увидел Санина – и, как-то внутренне фыркнув и перегнув назад свой гибкий стан, щегольски пошел им навстречу. Санина покорило; но, взглянув на клуберовское лицо, которому владелец его, насколько в нем хватало умения, тщился придать выражение презрительного изумления и даже соболезнования, – взглянув на это румяное, пошлое лицо, он внезапно почувствовал прилив гнева – и шагнул вперед.

Джемма схватила его руку и, с спокойной решительностью подав ему свою, посмотрела прямо в лицо своему бывшему жениху... Тот прищурился, съежился, вильнул в сторону – и, пробормотав сквозь зубы: «Обычный конец песенки!» (*Das alte Ende vom Liede!*) – удалился той же щегольской, слегка подпрыгивающей походкой.

– Что он сказал, негодяй? – спросил Санин и хотел было броситься вслед за Клубером; но Джемма его удержала и пошла с ним дальше, уже не принимая руки, продетой в его руку.

Кондитерская Розелли показалась впереди. Джемма еще раз остановилась.

– *Dimitri, monsieur Dimitri*, – сказала она, – мы еще не вошли туда, мы еще не видели мамы... Если вы хотите еще подумать, если... вы еще свободны, Димитрий.

В ответ ей Санин крепко-крепко притиснул ее руку к своей груди – и повлек ее вперед.

– Мама, – сказала Джемма, входя с Саниним в комнату, где сидела фрау Леноре, – я привела настоящего!

XXIX

Если бы Джемма объявила, что привела с собою холеру или самую смерть, фрау Леноре, должно полагать, не могла бы с большим отчаянием принять это известие. Она немедленно села в угол, лицом к стене, – и залилась слезами, почти заголосила, ни дать ни взять русская крестьянка над гробом мужа или сына. На первых порах Джемма до того смутилась, что даже не подошла к матери – и остановилась, как статуя, посреди комнаты; а Санин совсем потерялся – хоть самому удариться в слезы! Целый час продолжался этот безутешный плач: целый час! Панталеоне почел за лучшее запереть наружную дверь кондитерской, как бы кто чужой не вошел – благо, пора стояла ранняя. Старик сам чувствовал недоумение – и во всяком случае не одобрял поспешности, с которой поступили Джемма и Санин, а, впрочем, осуждать их не решался и готов был оказать им покровительство – в случае нужды: уж очень не любил он Клубера! Эмиль считал себя посредником между своим другом и сестрой – и чуть не гордился тем, что как это все превосходно удалось! Он никак не в состоянии был понять, чего фрау Леноре так убивается, и в сердце своем он тут же решил, что женщины, даже самые лучшие, страдают отсутствием сообразительной способности! Санину приходилось хуже всех. Фрау Леноре поднимала вопль и отмахивалась руками, как только он приближался к ней, – и напрасно он попытался, стоя в отдалении, несколько раз громко воскликнуть: «Прошу руки вашей дочери!» Фрау Леноре особенно досадовала на себя за то, что «как могла она быть до того слепой – и ничего не видеть!» «Был бы мой Джиован’Баттиста жив, – твердила она сквозь слезы, – ничего бы этого не случилось!» – «Господи, что же это такое? – думал Санин, – ведь это глупо наконец!» Ни сам он не смел взглянуть на Джемму, ни она не решалась поднять на него глаза. Она ограничивалась тем, что терпеливо ухаживала за матерью, которая сначала и ее отталкивала...

Наконец, мало-помалу буря утихла. Фрау Леноре перестала плакать, позволила Джемме вывести ее из угла, куда она забилась, усадить ее в кресло возле окна и дать ей напиться воды с флердоранжем; позволила Санину – не приблизиться... о нет! – но по крайней мере остаться в комнате (прежде она все требовала, чтобы он удалился) и не перебивала его, когда он говорил. Санин немедленно воспользовался наступившим штилем – и выказал красноречие изумительное: едва ли бы сумел он с таким жаром и с такой убедительностью изложить свои намерения и свои чувства перед самой Джеммой. Эти чувства были самые искренние, эти намерения – самые чистые, как у Альмавивы в «Севильском цирюльнике».

Он не скрывал ни от фрау Леноры, ни от самого себя невыгодной стороны этих намерений; но эти невыгоды были только кажущиеся! Правда: он чужестранец, с ним недавно познакомились, не знают ничего положительного ни об его личности, ни об его средствах; но он готов привести все нужные доказательства того, что он человек порядочный и не бедный; он сошлется на самые несомненные свидетельства своих соотчичей! Он надеется, что Джемма будет счастлива с ним и что он сумеет усладить ей разлуку с родными!.. Упомянутое разлуки – одно это слово: «разлука» – чуть было не испортило всего дела... Фрау Леноре так и затрепетала вся и заметалась... Санин поспешил заметить, что разлука будет только временная – и что наконец, быть может, ее не будет вовсе!

Красноречие Санина не пропало даром. Фрау Леноре начала взглядывать на него, хотя все еще с горестью и упреком, но уже не с прежним отвращением и гневом; потом она позволила ему подойти и даже сесть возле нее (Джемма сидела по другую сторону); потом она стала упрекать его – не одними взорами, но словами, что уже означало некоторое смягчение ее сердца; она стала жаловаться, и жалобы ее становились все тише и мягче; они чередовались вопросами, обращенными то к дочери, то к Санину; потом она позволила ему взять ее за руку и не тотчас отняла ее... потом она заплакала опять – но уже совсем другими слезами... потом она грустно улыбнулась и пожалела об отсутствии Джиован'Баттиста, но уже в другом смысле, чем прежде... Прошло еще мгновение – и оба преступника – Санин и Джемма – уже лежали на коленях у ног ее, и она клала им поочередно свои руки на головы; прошло другое мгновение – и они уже обнимали и целовали ее, и Эмиль, с сияющим от восторга лицом, вбежал в комнату и тоже бросился к тесно сплоченной группе.

Панталеоне глянул в комнату, ухмыльнулся и нахмурился в одно и то же время – и, отправившись в кондитерскую, отпер наружную дверь.

XXX

Переход от отчаяния к грусти, а от нее к «тихой резиньяции» совершился довольно скоро в фрау Леноре; но и эта тихая резиньяция не замедлила превратиться в тайное довольство, которое, однако, всячески скрывалось и сдерживалось ради приличия. Санин с первого дня знакомства пришелся по нутру фрау Леноре; свыкшись с мыслию, что он будет ее зятем, она уже не находила в ней ничего особенно неприятного, хотя и считала долгом сохранять на лице своем несколько обиженное... скорей озабоченное выражение. К тому же все, что произошло в последние дни, было так необычайно... Одно к одному! Как женщина практическая и как мать, фрау Леноре почла также своим долгом подвергнуть Санина разнообразным вопросам, и Санин, который, отправляясь утром на свидание с Джеммой, и в помыслах не имел, что он женится на ней, – правда, он ни о чем тогда не думал, а только отдавался влечению своей страсти, – Санин с полной готовностью и, можно сказать, с азартом вошел в свою роль, роль жениха, и на все расспросы отвечал обстоятельно, подробно, охотно. Удостоверившись, что он настоящий, природный дворянин, и даже несколько удивившись тому, что он не князь, фрау Леноре приняла серьезный вид и – «предупредила его заранее», что будет с ним совершенно бесцере-

монно откровенна, потому что к этому принуждает ее священная обязанность матери! – на что Санин отвечал, что он от нее иного не ожидал, и сам ее убедительно просит – не щадить его!

Тогда фрау Леноре заметила ему, что г-н Клюббер (произнесши это имя, она слегка вздохнула и сжала губы и запнулась) – г-н Клюббер, *бывший* Джеммин жених, уже теперь обладает восемью тысячами гульденов дохода – и с каждым годом эта сумма будет быстро увеличиваться, – а его, г-на Санина, каков доход?

– Восемь тысяч гульденов, – повторил протяжно Санин... – Это на наши деньги – около пятнадцати тысяч рублей ассигнациями... Мой доход гораздо меньше. У меня есть небольшое имение в Тульской губернии... При хорошо устроенном хозяйстве оно может дать – и даже непременно должно дать тысяч пять или шесть... Да если я поступлю на службу – я легко могу получить тысячи две жалованья.

– На службу в России? – воскликнула фрау Леноре. – Я, стало быть, должна расстаться с Джеммой!

– Можно будет определиться по дипломатической части, – подхватил Санин, – у меня есть некоторые связи... Тогда служба происходит за границей. А то вот еще что можно будет сделать – и это гораздо лучше всего: продать имение и употребить вырученный капитал на какое-нибудь выгодное предприятие, например, на усовершенствование вашей кондитерской. – Санин и чувствовал, что говорит нечто несообразное, но им овладела непонятная отвага! Он глянет на Джемму, которая с тех пор, как начался «практический» разговор, то и дело вставала, ходила по комнате, садилась опять, – глянет он на нее – и нет для него препятствий, и готов он устроить все, сейчас, самым лучшим образом, лишь бы она не тревожилась!

– Господин Клюббер тоже хотел дать мне небольшую сумму на поправку кондитерской, – промолвила, после небольшого колебания, фрау Леноре.

– Матушка! ради бога! матушка! – воскликнула Джемма по-итальянски.

– Об этих вещах надо говорить заблаговременно, дочь моя, – отвечала ей фрау Леноре на том же языке.

Она снова обратилась к Санину и стала его расспрашивать о том, какие законы существуют в России насчет браков и нет ли препятствий для вступления в супружество с католичками – как в Пруссии? (В то время, в сороковом году, вся Германия еще помнила ссору прусского правительства с кельнским архиепископом из-за смешанных браков.) Когда же фрау Леноре услышала, что, выйдя замуж за русского дворянина, ее дочь сама станет дворянкой, – она выказала некоторое удовольствие.

– Но ведь вы должны сперва отправиться в Россию?

– Зачем?

– А как же? Получить позволение от вашего государя?

Санин объяснил ей, что это вовсе не нужно... но что, быть может, ему точно придется перед свадьбой съездить на самое короткое время в Россию (он сказал эти слова – и сердце в нем болезненно сжалось, глядевшая на него Джемма поняла, что оно сжалось, и покраснела и задумалась) – и что он постарается воспользоваться своим пребыванием на родине, чтобы продать имение... во всяком случае, он вывезет оттуда нужные деньги.

– Я бы также попросила вас привезти мне оттуда астраханские хорошие мерлушки на мантилью, – проговорила фрау Леноре. – Они там, по слухам, удивительно хороши и удивительно дешевы!

– Непременно, с величайшим удовольствием привезу и вам, и Джемме! – воскликнул Санин.

– А мне вышитую серебром сафьянную шапочку, – вмешался Эмиль, выставив голову из соседней комнаты.

– Хорошо – привезу и тебе... и Панталеоне туфли.

– Ну к чему это? к чему? – заметила фрау Леноре. – Мы говорим теперь о серьезных вещах. Но вот еще что, – прибавила практическая дама. – Вы говорите: продать имение. Но как же вы это сделаете? Вы, стало быть, и крестьян тоже продадите?

Санина точно что в бок кольнуло. Он вспомнил, что, разговаривая с г-жой Розелли и ее дочерью о крепостном праве, которое, по его словам, возбуждало в нем глубокое негодование, он неоднократно заверял их, что никогда и ни за что своих крестьян продавать не станет, ибо считает подобную продажу безнравственным делом.

– Я постараюсь продать мое имение человеку, которого я буду знать с хорошей стороны, – произнес он не без запинки, – или, быть может, сами крестьяне захотят откупиться.

– Это лучше всего, – согласилась и фрау Леноре. – А то продавать живых людей...

– *Barbari!*⁶⁷ – проворчал Панталеоне, который, вслед за Эмилем, показался было у дверей, тряхнул тупеем и скрылся.

«Скверно!» – подумал про себя Санин – и украдкой поглядел на Джемму. Она, казалось, не слышала его последних слов. «Ну ничего!» – подумал он опять.

Таким манером продолжался практический разговор почти вплоть до самого обеда. Фрау Леноре совсем укротилась под конец – и называла уже Санина Дмитрием, ласково грозила ему пальцем и обещалась отомстить за его коварство. Много и подробно расспрашивала она об его родне, потому что – «это тоже очень важно»; потребовала также, чтобы он описал ей церемонию брака, как он совершается по обряду русской церкви, – и заранее восхищалась Джеммой в белом платье, с золотой короной на голове.

– Ведь она у меня красива, как королева, – промолвила она с материнской гордостью, – да и королев таких на свете нет!

– Другой Джеммы на свете нет! – подхватил Санин.

– Да; оттого-то она и – Джемма! (Известно, что на итальянском языке Джемма значит: драгоценный камень.)

Джемма бросилась целовать свою мать... Казалось, только теперь она вздохнула свободно – и удручавшая ее тяжесть спала с ее души.

А Санин вдруг почувствовал себя до того счастливым, такую детскую веселостью наполнилось его сердце при мысли, что вот сбылись же, сбылись те грезы, которым он недавно предавался в тех же самых комнатах; все существо его до того выиграло, что он немедленно отправился в кондитерскую; он пожелал непременно, во что бы то ни стало, поторговать за прилавком, как несколько дней тому назад... «Я, мол, имею полное теперь на это право! Я ведь теперь домашний человек!»

И он действительно стал за прилавок и действительно поторговал, то есть продал двум зашедшим девочкам фунт конфект, вместо которого он им отпустил целых два, взявши с них только полцены.

За обедом он официально, как жених, сидел рядом с Джеммой. Фрау Леноре продолжала свои практические соображения. Эмиль то и дело смеялся и приставал к Санину, чтобы тот его взял с собой в Россию. Было решено, что Санин уедет через две недели. Один Панталеоне являл несколько угрюмый вид, так что даже фрау Леноре ему попеняла: «А еще секундантом был!» – Панталеоне взглянул исподлобья.

Джемма молчала почти все время, но никогда ее лицо не было прекраснее и светлее. После обеда она отозвала Санина на минуту в сад и, остановившись около той самой скамейки, где она третьего дня отбирала вишни, сказала ему:

– Димитрий, не сердись на меня; но я еще раз хочу напомнить тебе, что ты не должен почитать себя связанным...

Он не дал ей договорить...

⁶⁷ Варвары! (*ит.*).

Джемма отклонила свое лицо.

– А насчет того, что мама упомянула – помнишь? – о различии нашей веры, то вот!..

Она схватила гранатовый крестик, висевший у нее на шее на тонком шнурке, сильно дернула и оборвала шнурок – и подала ему крестик.

– Если я твоя, так и вера твоя – моя вера!

Глаза Санина были еще влажны, когда он вместе с Джеммой вернулся в дом.

К вечеру все пришло в обычную колею. Даже в тресетте поиграли.

XXXI

Санин проснулся очень рано на следующий день. Он находился на высшей степени человеческого благополучия; но не это мешало ему спать; вопрос, жизненный, роковой вопрос: каким образом он продаст свое имение как можно скорее и как можно выгоднее – тревожил его покой. В голове его скрещивались различнейшие планы, но ничего пока еще не выяснилось. Он вышел из дому, чтобы проветриться, освежиться. С готовым проектом – не иначе – хотел он предстать перед Джеммой.

Что это за фигура, достаточно грузная и толстоногая, впрочем, прилично одетая, идет перед ним, слегка переваливаясь и ковыляя? Где видел он этот затылок, поросший белобрысыми вихрами, эту голову, как бы насаженную прямо на плечи, эту мягкую, жирную спину, эти пухлые отвислые руки? Неужели это – Полозов, его старинный пансионский товарищ, которого он уже вот пять лет, как потерял из виду? Санин обогнал шедшую перед ним фигуру, обернулся... Широкое, желтоватое лицо, маленькие свинные глазки с белыми ресницами и бровями, короткий, плоский нос, крупные, словно склеенные губы, круглый, безволосый подбородок – и это выражение всего лица, кислое, ленивое и недоверчивое – да точно: это он, это Ипполит Полозов!

«Уже не опять ли моя звезда действует?» – мелькнуло в мыслях Санина.

– Полозов! Ипполит Сидорыч! Это ты?

Фигура остановилась, подняла свои крохотные глаза, подождала немного – и, расклеив, наконец, свои губы, проговорила сиповатой фистулой:

– Дмитрий Санин?

– Он самый и есть! – воскликнул Санин и пожал одну из рук Полозова; облеченные в тесные лайковые перчатки серо-пепельного цвета, они по-прежнему безжизненно висели вдоль его выпуклых ляжек. – Давно ли ты здесь? Откуда приехал? Где остановился?

– Я приехал вчера из Висбадена, – отвечал, не спеша, Полозов, – за покупками для жены – и сегодня же возвращаюсь в Висбаден.

– Ах, да! Ведь ты женат – и, говорят, на такой красавице!

Полозов повел в сторону глазами.

– Да, говорят.

Санин засмеялся.

– Я вижу, ты все такой же... флегматик, каким ты был в пансионе.

– На что я буду меняться?

– И говорят, – прибавил Санин с особым ударением на слово «говорят», – что твоя жена очень богата.

– Говорят и это.

– А тебе самому, Ипполит Сидорыч, разве это неизвестно?

– Я, брат, Дмитрий... Павлович? – да, Павлович! в женины дела не мешаюсь.

– Не мешаешься? Ни в какие дела?

Полозов опять повел глазами.

– Ни в какие, брат. Она – сама по себе... ну и я – сам по себе.

– Куда же ты теперь идешь? – спросил Санин.

– Теперь я никуда не иду; стою на улице и с тобой беседую; а вот как мы с тобой покончим, отправлюсь к себе в гостиницу и буду завтракать.

– Меня в товарищи – хочешь?

– То есть это ты насчет завтрака?

– Да.

– Сделай одолжение, есть вдвоем гораздо веселее. Ты ведь не говорун?

– Не думаю.

– Ну и ладно.

Полозов двинулся вперед, Санин отправился с ним рядом. И думалось Санину – губы Полозова опять склеились, он сопел и переваливался молча, – думалось Санину: каким образом удалось этому чурбану подцепить красивую и богатую жену? Сам он ни богат, ни знатен, ни умен; в пансионе слыл за вялого и тупого мальчика, за соню и обжору – и прозвище носил «слюня». Чудеса!

«Но если жена его очень богата – сказывают, она дочь какого-то откупщика, – то не купит ли она мое имение? Хотя он и говорит, что ни в какие женины дела не входит, но ведь этому веры дать нельзя! Притом же и цену я назначу сходную, выгодную цену! Отчего не попытаться? Быть может, это все моя звезда действует... Решено! попытаюсь!»

Полозов привел Санина в одну из лучших гостиниц Франкфурта, в которой занимал уже, конечно, лучший номер. На столах и стульях громоздились картонные коробки, ящики, свертки... «Все, брат, покупки для Марьи Николаевны!» (так звали жену Ипполита Сидорыча). Полозов опустился в кресло, простонал: «Эка жара!» – и развязал галстук. Потом позвонил обер-кельнера и тщательно заказал ему обильнейший завтрак. «А в час чтобы карета была готова! Слышите, ровно в час!»

Обер-кельнер подобострастно наклонился – и рабски исчез.

Полозов расстегнул жилет. По одному тому, как он приподнимал брови, отдувался и морщил нос, можно было видеть, что говорить будет для него большою тягостью и что он не без некоторой тревоги ожидал, заставит ли его Санин ворочать языком, или сам возьмет на себя труд вести беседу?

Санин понял настроение своего приятеля и потому не стал обременять его вопросами; ограничился лишь самым необходимым; узнал, что он два года состоял на службе (в уланах! то-то, чай, хорош был в коротком-то мундирчике!), три года тому назад женился – и вот уже второй год находится за границей с женой, «которая теперь от чего-то лечится в Висбадене», – а там отправляется в Париж. С своей стороны, Санин также мало распространялся о своей прошедшей жизни, о своих планах; он прямо приступил к главному – то есть заговорил о своем намерении продать имение.

Полозов слушал его молча, лишь изредка взглядывая на дверь, откуда должен был явиться завтрак. Завтрак явился наконец. Обер-кельнер, в сопровождении двух других слуг, принес несколько блюд под серебряными колпаками.

– Это в Тульской губернии имение? – промолвил Полозов, садясь за стол и затыкая салфетку за ворот рубашки.

– В Тульской.

– Ефремовского уезда... Знаю.

– Ты мою Алексеевку знаешь? – спросил Санин, тоже садясь за стол.

– Знаю, как же. – Полозов запихал себе в рот кусок яичницы с трюфелями. – У Марьи Николаевны – жены моей – по соседству есть имение... Откупорьте эту бутылку, кельнер! Земля порядочная – только мужики у тебя лес вырубил. Ты зачем же продаешь?

– Деньги нужны, брат. Я бы дешево продал. Вот бы тебе купить... Кстати.

Полозов проглотил стакан вина, утерся салфеткой и опять принялся жевать – медленно и шумно.

– Н-да, – проговорил он наконец... – Я имений не покупаю: капиталов нет. Пододвинь-ка масло. Разве вот жена купит. Ты с ней поговори. Коли дорого не запросишь – она этим не брезгает... Экие, однако, эти немцы – ослы! Не умеют рыбу сварить. Чего, кажется, проще? А еще толкуют: фатерланд, мол, объединить следует. Кельнер, примите эту мерзость!

– Неужели же твоя жена сама распоряжается... по хозяйству? – спросил Санин.

– Сама. Вот котлеты – хороши. Рекомендую. Я сказал тебе, Дмитрий Павлович, что ни в какие женины дела я не вхожу, и теперь тебе то же повторяю.

Полозов продолжал чавкать.

– Гм... Но как я с ней переговорить могу, Ипполит Сидорыч?

– А очень просто, Дмитрий Павлович. Отправляйся в Висбаден. Отсюда недалече. Кельнер, нет ли у вас английской горчицы? Нет? Скоты! Только времени не теряй. Мы послезавтра уезжаем. Позволь, я тебе налью рюмку: с букетом вино – не кислятина.

Лицо Полозова оживилось и покраснело; оно и оживлялось только тогда, когда он ел... или пил.

– Право же... я не знаю, как это сделать? – пробормотал Санин.

– Да что тебе так вдруг приспичило?

– То-то и есть, что приспичило, брат.

– И большая сумма нужна?

– Большая. Я... как бы это тебе сказать? я затеял... жениться.

Полозов поставил на стол рюмку, которую поднес было к губам.

– Жениться! – промолвил он хриплым, от изумленья хриплым, голосом и сложил свои пухлые руки на желудке. – Так скоропостижно?

– Да... скоро.

– Невеста – в России, разумеется?

– Нет, не в России.

– Где же?

– Здесь, во Франкфурте.

– И кто она?

– Немка; то есть нет – итальянка. Здешняя жительница.

– С капиталом?

– Без капитала.

– Стало быть, любовь уж очень сильная?

– Какой ты смешной! Да, сильная.

– И для этого тебе деньги нужны?

– Ну да... да, да.

Полозов проглотил вино, выполоскал себе рот и руки вымыл, старательно вытер их о салфетку, достал и закурил сигару. Санин молча глядел на него.

– Одно средство, – промычал наконец Полозов, закидывая назад голову и выпуская дым тонкой струйкой. – Ступай к жене. Она, коли захочет, всю беду твою руками разведет.

– Да как я ее увижу, жену твою? Ты говоришь, вы послезавтра уезжаете?

Полозов закрыл глаза.

– Знаешь, что я тебе скажу, – проговорил он наконец, вертя губами сигару и вздыхая. – Ступай-ка домой, снарядись попроворнее – да приходи сюда. В час я выезжаю, карета у меня просторная – я тебя с собой возьму. Этак всего лучше. А теперь я посплю. Я, брат, как поем, непременно поспать должен. Натура требует – и я не противлюсь. И ты не мешай мне.

Санин подумал, подумал – и внезапно поднял голову: он решился!

– Ну хорошо, согласен – и благодарю тебя. В половине первого я здесь – и мы отправимся вместе в Висбаден. Я надеюсь, жена твоя не рассердится...

Но Полозов уже сопел. Пролепетал: «Не мешай!» – поболтал ногами и заснул, как младенец.

Санин еще раз окинул взором его грузную фигуру, его голову, шею, его высоко поднятый, круглый, как яблоко, подбородок – и, выйдя из гостиницы, проворными шагами направился к кондитерской Розелли. Надо было предварить Джемму.

XXXII

Он застал ее в кондитерской комнате, вместе с матерью. Фрау Леноре, перегнувши спину, измеряла небольшим складным футом промежутки между окнами. Увидя Санина, она выпрямилась и весело приветствовала его, не без маленького замешательства, однако.

– У меня, с ваших вчерашних слов, – начала она, – все в голове вертятся мысли, как бы нам улучшить наш магазин. Вот тут, я полагаю, два шкафчика с зеркальными полочками поставить. Теперь, знаете, это в моде. И потом еще...

– Прекрасно, прекрасно, – перебил ее Санин, – это все надо будет сообразить. Но подите-ка сюда, я вам что сообщу.

Он взял фрау Леноре и Джемму под руки и повел их в другую комнату. Фрау Леноре встревожилась и мерку из рук выронила. Джемма встревожилась было тоже, но глянула попристальнее на Санина и успокоилась. Лицо его, правда озабоченное, выражало в то же время оживленную бодрость и решимость.

Он попросил обеих женщин сесть, а сам стал перед ними – и, размахивая руками да ероша волосы, сообщил им все: встречу с Полозовым, предполагаемую поездку в Висбаден, возможность продажи имения.

– Вообразите мое счастье, – воскликнул он наконец, – дело приняло такой оборот, что мне даже, быть может, незачем будет ехать в Россию! И свадьбу мы можем сыграть гораздо скорее, чем я предполагал!

– Когда вы должны ехать? – спросила Джемма.

– Сегодня же – через час; мой приятель нанял карету – он меня довезет.

– Вы нам напишете?

– Немедленно! как только переговорю с этой дамой – так тотчас и напишу.

– Эта дама, вы говорите, очень богата? – спросила практическая фрау Леноре.

– Чрезвычайно! ее отец был миллионером – и все ей оставил.

– Все – ей одной? Ну – это ваше счастье. Только смотрите не продешевите вашего имения! Будьте благоразумны и тверды. Не увлекайтесь! Я понимаю ваше желание быть как можно скорее мужем Джеммы... но осторожность прежде всего! Не забудьте: чем вы дороже продадите имение, тем больше останется вам обоим – и вашим детям.

Джемма отвернулась, и Санин опять замахал руками.

– В моей осторожности вы можете быть уверены, фрау Леноре! Да я и торговаться не стану. Скажу ей настоящую цену: даст – хорошо; не даст – бог с ней.

– Вы с ней знакомы... с этой дамой? – спросила Джемма.

– Я ее никогда в лицо не видал.

– И когда же вы вернетесь?

– Если ничем не кончится наше дело – послезавтра; если же оно пойдет на лад – может быть, придется пробыть лишний день или два. Во всяком случае – минуты не промешкаю. Ведь я душу свою оставляю здесь! Однако я с вами заговорился, а мне нужно перед отъездом еще домой сбегать... Дайте мне руку на счастье, фрау Леноре, – у нас в России всегда так делается.

– Правую или левую?

– Левую – ближе к сердцу. Явлюсь послезавтра – со щитом или на щите! Мне что-то говорит: я вернусь победителем! Прощайте, мои добрые, мои милые...

Он обнял и поцеловал фрау Леноре, а Джемму попросил пойти за ним в ее комнату – на минутку, так как ему нужно сообщить ей что-то очень важное... Ему просто хотелось проститься с ней наедине. Фрау Леноре это поняла – и не любопытствовала узнать, какая это была такая важная вещь...

Санин никогда еще не бывал в комнате Джеммы. Все обаяние любви, весь ее огонь, и восторг, и сладкий ужас – так и вспыхнули в нем, так и ворвались в его душу, как только он переступил заветный порог... Он кинул вокруг умиленный взор, пал к ногам милой девушки и прижал лицо свое к ее стану...

– Ты мой? – шепнула она, – ты вернешься скоро?

– Я твой... я вернусь, – твердил он задыхаясь.

– Я буду ждать тебя, мой милый!

Несколько мгновений спустя Санин уже бежал по улице к себе на квартиру. Он и не заметил того, что вслед за ним из двери кондитерской, весь растрепанный, выскочил Панталеоне – и что-то кричал ему, и потрясал, и как будто грозил высоко поднятой рукою.

* * *

Ровно в три четверти первого Санин объявился к Полозову. У ворот его гостиницы уже стояла карета, запряженная четырьмя лошадьми. Увидав Санина, Полозов только промолвил: «А! решился?» – и, надев шляпу, шинель и калоши, заткнув себе хлопчатой бумагой уши, хотя дело было летом, вышел на крыльцо. Кельнеры, по его указанию, расположили во внутренности кареты все многочисленные его покупки, обложили место его сиденья шелковыми подушечками, сумочками, узелками, поставили в ноги короб с провизией и привязали к козлам чемодан. Полозов расплатился щедрой рукой – и, хотя сзади, но почтительно поддерживаемый услужливым привратником, полез, кряхтя, в карету, уселся, обмял хорошенько все вокруг себя, выбрал и закурил сигару – и тогда только кивнул пальцем Санину: полезай, мол, и ты! Санин поместился с ним рядом, Полозов приказал через привратника почтальону ехать исправно – если желает получить на водку; подножки загремели, дверцы хлопнули, карета покатила.

XXXIII

От Франкфурта до Висбадена теперь по железной дороге менее часа езды; в то время экстра-почта поспевала часа в три. Лошадей меняли раз пять. Полозов не то дремал, не то так покачивался, держа сигару в зубах, и говорил очень мало; в окошко не выглянул ни разу: живописными видами он не интересовался и даже объявил, что «природа – смерть его!». Санин тоже молчал и тоже не любовался видами: ему было не до того. Он весь отдался размышлениям, воспоминаниям. На станциях Полозов аккуратно расплачивался, замечал время по часам и награждал почтальонов – мало или много, смотря по их усердию. На полдороге он достал из короба с съестными припасами два апельсина и, выбрав лучший, предложил Санину другой. Санин пристально поглядел на своего спутника – и вдруг рассмеялся.

– Чему ты? – спросил тот, старательно отдирая своими короткими белыми ногтями кожу с апельсина.

– Чему? – повторил Санин. – Да нашему с тобой путешествию.

– А что? – переспросил Полозов, пропуская в рот один из тех продольных ломтиков, на которые распадается мясо апельсина.

– Очень оно уже странно. Вчера я, признаться, так же мало думал о тебе, как о китайском императоре, а сегодня я еду с тобой продавать мое имение твоей жене, о которой тоже не имею малейшего понятия.

– Всяко бывает, – отвечал Полозов. – Ты только поживи подольше – всего насмотришься. Например, можешь ты себе представить меня подвезжающим на ординарцы? А я подвезжал; а великий князь Михаил Павлович скомандовал: «Рысью, рысью этого толстого корнета! Прибавь рыси!»

Санин почесал у себя за ухом.

– Скажи мне, пожалуйста, Ипполит Сидорыч, какова твоя жена? Нрав у ней каков? Мне ведь это нужно знать.

– Ему хорошо командовать: «рысью!» – с внезапной запальчивостью подхватил Полозов, – а мне-то... мне-то каково? Я и подумал: возьмите вы себе ваши чины да эполеты – ну их с богом! Да... ты о жене спрашивал? Что – жена? Человек, как все. Пальца ей в рот не клади – она этого не любит. Главное – говори побольше... чтобы посмеяться было над чем. Про любовь свою расскажи, что ли... да позабавней, знаешь.

– Как позабавней?

– Да так же. Ведь ты мне сказывал, что влюблен, жениться хочешь. Ну вот, ты это и опиши.

Санин обиделся.

– Что же в этом ты находишь смешного?

Полозов только глазами повел. Сок от апельсина тек по его подбородку.

– Это твоя жена тебя во Франкфурт за покупками посылала? – спросил Санин спустя немного времени.

– Она самая.

– Какие же это покупки?

– Известно: игрушки.

– Игрушки? разве у тебя есть дети?

Полозов даже посторонился от Санина.

– Вона! С какой стати у меня будут дети? Женские колифишэ...⁶⁸ Уборы. По части туалета.

– Ты разве в этом толк знаешь?

– Знаю.

– Как же ты мне говорил, что ни во что женино не входишь?

– В другое не вхожу. А это... ничего. От скуки – можно. Да и жена вкусу моему верит.

Я ж и торговаться лих.

Полозов начинал говорить отрывисто; он уже устал.

– И очень жена твоя богата?

– Богата-то богата. Только больше для себя.

– Однако, кажется, и ты пожаловаться не можешь?

– На то я муж. Еще бы мне не пользоваться! И полезный же я ей человек! Ей со мной – лафа! Я – удобный!

Полозов утер лицо фуляром и тяжело фукнул: «Пошади, дескать; не заставляй еще проносить слова. Видишь, как оно мне трудно».

Санин оставил его в покое и снова погрузился в размышления.

⁶⁸ Безделушки (*фр.*: colifichet).

* * *

Гостиница в Висбадене, перед которой остановилась карета, уже прямо смахивала на дворец. Колокольчики немедленно зазвонили в ее недрах, поднялась суетня и беготня; благообразные люди в черных фраках запрыгали у главного входа; залитый золотом швейцар с размаху отворил дверцы кареты.

Как некий триумфатор высадился Полозов и начал подниматься по устланной коврами и благовонной лестнице. К нему подлетел человек, тоже отлично одетый, но с русским лицом – его камердинер. Полозов заметил ему, что впредь будет всегда брать его с собою, ибо, накануне, во Франкфурте, его, Полозова, оставили на ночь без теплой воды! Камердинер изобразил ужас на лице – и, проворно наклонясь, снял с барина калоши.

– Марья Николаевна дома? – спросил Полозов.

– Дома-с. Изволят одеваться. У графини Ласунской изволят обедать.

– А! у этой!.. Стой! Там вещи в карете, все вынь сам и внеси. А ты, Дмитрий Павлович, – прибавил Полозов, – возьми себе комнату да через три четверти часа и приходи. Пообедаем вместе.

Полозов поплыл дальше, а Санин спросил себе номер попроще – и, приведя туалет свой в порядок да отдохнув немножко, отправился в громадный апартамент, занимаемый его светлостью (Durchlaucht) князем фон Полозобф.

Он застал этого «князя» восседающим на роскошнейшем бархатном кресле посреди великолепнейшего салона. Флегматический приятель Санина успел уже ванну взять и облачиться в богатейший атласный шлафрок; на голову он надел малиновую феску. Санин приблизился к нему и некоторое время рассматривал его. Полозов сидел неподвижно, как идол; даже лица в его сторону не повернул, даже бровью не повел, звука не издал. Зрелище было поистине величественное! Полюбовавшись им минуты с две, Санин хотел было заговорить, нарушить эту священную тишину – как вдруг дверь из соседней комнаты растворилась, и на пороге появилась молодая, красивая дама в белом шелковом платье, с черными кружевами, в бриллиантах на руках и на шее – сама Марья Николаевна Полозова. Ее густые русые волосы падали с обеих сторон головы – заплетенными, но не подобранными косами.

XXXIV

– Ах, извините! – проговорила она с полусмущенной, полунасмешливой улыбкой, мгновенно прихватив рукою конец одной косы и вперив на Санина свои большие серые светлые глаза. – Я не думала, что вы уже пришли.

– Санин, Дмитрий Павлович, приятель мой с детства, – промолвил Полозов, по-прежнему не оборачиваясь к нему и не вставая, но указывая на него пальцем.

– Да... знаю... Ты мне уже сказывал. Очень рада познакомиться. Но я хотела было попросить тебя, Ипполит Сидорыч... Моя горничная сегодня какая-то бестолковая...

– Волосы тебе убрать?

– Да, да, пожалуйста. Извините, – повторила Марья Николаевна с прежней улыбкой, кивнула головою Санину и, быстро повернувшись, скрылась за дверью, оставив за собою мимолетное, но стройное впечатление прелестной шеи, удивительных плеч, удивительного стана.

Полозов встал и, тяжело переваливаясь, ушел в ту же дверь.

Санин ни одной секунды не сомневался в том, что присутствие его в салоне «князя Полозова» было как нельзя лучше известно самой хозяйке; весь форс состоял в том, чтобы показать свои волосы, которые были точно хороши. Санин внутренне даже порадовался этой выходке г-жи Полозовой: коли, мол, захотели меня поразить, блеснуть передо мною – может быть, как

знать? и насчет цены на имение окажут податливость. Его душа до того была наполнена Джеммой, что все другие женщины уже не имели для него никакого значения: он едва замечал их; и на этот раз он ограничился только тем, что подумал: «Да, вправду говорили мне: эта барыня хоть куда!»

А будь он не в таком исключительном душевном состоянии, он бы, вероятно, иначе выразился: Мария Николаевна Полозова, урожденная Колышкина, была очень замечательная особа. И не то чтобы она была отъявленная красавица: в ней даже довольно явственно сказывались следы ее плебейского происхождения. Лоб у ней был низкий, нос несколько мясистый и вздернутый; ни тонкостью кожи, ни изяществом рук и ног она похвалиться не могла – но что все это значило? Не перед «святыней красоты», говоря словами Пушкина, остановился бы всякий, кто бы встретился с нею, но перед обаянием мощного, не то русского, не то цыганского, цветущего женского тела... и не невольно остановился бы он!

Но образ Джеммы охранял Санина, как та тройная броня, о которой поют стихотворцы.

Минут десять спустя Марья Николаевна появилась опять в сопровождении своего супруга. Она подошла к Санину... а походка у ней была такая, что иные чудачки в те, увя! уже далекие времена, – от одной этой походки с ума сходили. «Эта женщина, когда идет к тебе, точно все счастье твоей жизни тебе навстречу несет», – говаривал один из них. Она подошла к Санину – и, протянув ему руку, промолвила своим ласковым и как бы сдержанным голосом по-русски: «Вы меня дождетесь, не правда? Я вернусь скоро».

Санин наклонился почтительно, а Марья Николаевна уже исчезала за портьерой выходной двери – и, исчезая, опять повернула голову назад через плечо – и опять улыбнулась, и опять оставила за собою прежнее, стройное впечатление.

Когда она улыбалась – не одна и не две, а целых три ямочки обозначались на каждой щеке, и ее глаза улыбались больше, чем губы, чем ее алые, длинные, вкусные губы, с двумя крошечными родинками на левой их стороне.

Полозов ввалился в комнату и опять поместился на кресле. Безмолвствовал он по-прежнему; но странная усмешка от времени до времени пучила его бесцветные и уже сморщенные щеки.

Он был старообразен, хотя всего тремя годами старше Санина.

Обед, которым он попотчевал своего гостя, конечно, удовлетворил бы самого взыскательного гастронома, но Санину он показался бесконечным, несносным! Полозов ел медленно, «с чувством, с толком, с расстановкой», внимательно наклоняясь над тарелкой, нюхая чуть не каждый кусок; сперва пополощет себе рот вином, потом уже проглотит и губами пошлепает... А за жарким он вдруг разговорился – но о чем? О мериносах, которых намеревался выписать целое стадо, да так подробно, с такой нежностью, употребляя все уменьшительные имена. Выпив чашку горячего, как кипятка, кофе (он несколько раз, слезливо-раздраженным голосом, напомнил кельнеру, что накануне ему подали кофе – холодный, холодный, как лед!) и прикусив гаванскую сигару своими желтыми, кривыми зубами, он, по обычаю своему, задремал, к великой радости Санина, который начал ходить взад и вперед, неслышными шагами, по мягкому ковру, и мечтал о том, как он будет жить с Джеммой и с каким известием вернется к ней. Однако Полозов проснулся, по собственному замечанию, раньше обыкновенного, – он поспал всего полтора часика и, выпив стакан зельтерской воды со льдом да проглотив ложечку с восемь варенья, русского варенья, которое принес ему камердинер в темно-зеленой, настоящей «киевской» банке и без которого он, по его словам, жить не мог, – он уставился припухшими глазами на Санина и спросил его, не хочет ли он поиграть с ним в дурачки? Санин охотно согласился; он боялся, как бы Полозов опять не заговорил о барашках, да о ярочках, да о курдючках с жирком. Хозяин и гость – оба перешли в гостиную, кельнер принес карты – и началась игра, разумеется, не на деньги.

За этим невинным занятием застала их Марья Николаевна, вернувшись от графини Ласунской.

Она громко рассмеялась, как только вошла в комнату и увидела карты и раскрытый ломберный стол. Санин вскочил с места, но она воскликнула:

– Сидите играйте. Я сейчас переоденусь и к вам вернусь, – и опять исчезла, прошумев платьем и сдергивая перчатки на ходу.

Она точно вернулась очень скоро. Свое нарядное платье она заменила широкой шелковой блузой лилового цвета с открытыми висячими рукавами; толстый крученный шнурок перехватывал ее талию. Она под села к мужу – и, дождавшись, что он остался в дураках, сказала ему: «Ну, пышка, довольно! (при слове «пышка» Санин с изумлением глянул на нее, а она весело улыбнулась, отвечая взглядом на его взгляд и выказывая все свои ямочки на щеках) – довольно; я вижу, ты спать хочешь; целуй ручку и отправляйся; а мы с господином Саниным побеседуем вдвоем».

– Спать я не хочу, – промолвил Полозов, грузно поднимаясь с кресла, – а отправиться – отправлюсь и ручку поцелую. – Она подставила ему свою ладонь, не переставая улыбаться и глядеть на Санина.

Полозов тоже глянул на него – и ушел не простившись.

– Ну, рассказывайте, рассказывайте, – с живостью проговорила Марья Николаевна, разом ставя оба обнаженные локтя на стол и нетерпеливо постукивая ногтями одной руки о ногти другой. – Правда, вы, говорят, женитесь?

Сказав эти слова, Марья Николаевна даже голову немножко набок нагнула, чтобы пристальнее и пронзительнее заглянуть Санину в глаза.

XXXV

Развязное обхождение г-жи Полозовой, вероятно, на первых порах смутило бы Санина – хотя он новичком не был и уже потерялся между людьми, – если бы в самой этой развязности и фамильярности он опять-таки не увидел хорошего предзнаменования для своего предприятия. «Будем потакать капризам этой богатой барыни», – решил он про себя – и так же непринужденно, как она его спрашивала, ответил ей:

– Да, я женюсь.

– На ком? На иностранке?

– Да.

– Вы недавно с ней познакомились? Во Франкфурте?

– Точно так.

– И кто она такая? Можно узнать?

– Можно. Она дочь кондитера.

Марья Николаевна широко раскрыла глаза и подняла брови.

– Да ведь это прелесть, – проговорила она медлительным голосом, – это чудо! Я уже полагала, что таких молодых людей, как вы, на свете больше не встречается. Дочь кондитера!

– Вас это, я вижу, удивляет, – заметил не без достоинства Санин, – но, во-первых, у меня вовсе нет тех предрассудков...

– Во-первых, это меня нисколько не удивляет, – перебила Марья Николаевна, – предрассудков и у меня нет. Я сама дочь мужика. А? что, взяли? Меня удивляет и радует то, что вот человек не боится любить. Ведь вы ее любите?

– Да.

– Она очень хороша собою?

Санина слегка покоробило от этого последнего вопроса... Однако отступать уже не приходилось.

– Вы знаете, Марья Николаевна, – начал он, – всякому человеку лицо его возлюбленной кажется лучше всех других; но моя невеста – действительно красавица.

– В самом деле? В каком роде? итальянском? античном?

– Да; у ней очень правильные черты.

– С вами нет ее портрета?

– Нет. (В то время о фотографиях еще помину не было, дагеротипы едва стали распространяться.)

– Как ее зовут?

– Ее имя – Джемма.

– А ваше – как?

– Димитрий.

– По отчеству?

– Павлович.

– Знаете что, – проговорила Марья Николаевна все тем же медлительным голосом, – вы мне очень нравитесь, Димитрий Павлович. Вы, должно быть, хороший человек. Дайте-ка мне вашу руку. Будемте приятелями.

Она крепко пожала его руку своими красивыми, белыми, сильными пальцами. Ее рука была немногим меньше его руки – но гораздо теплей и глаже, и мягче, и жизненней.

– Только знаете, что мне приходит в голову?

– Что?

– Вы не рассердитесь? Нет? Она, вы говорите, ваша невеста. Но разве... разве это непременно было нужно?

Санин нахмурился.

– Я вас не понимаю, Марья Николаевна.

Марья Николаевна засмеялась тихохонько – и, встряхнув головою, откинула назад падавшие ей на щеки волосы.

– Решительно – он прелесть, – промолвила она не то задумчиво, не то рассеянно. – Рыцарь! Подите верьте после этого людям, которые утверждают, что идеалисты все перевелись!

Марья Николаевна все время говорила по-русски удивительно чистым, прямо московским языком – народного, не дворянского пошиба.

– Вы, наверное, дома воспитывались, в старозаветном, богобоязненном семействе? – спросила она. – Вы какой губернии?

– Тульской.

– Ну, так мы однокорытники. Мой отец... Ведь вам известно, кто был мой отец?

– Да, известно.

– Он в Туле родился... Туляк был. Ну хорошо... (Это «хорошо» Марья Николаевна уже с намерением выговорила совсем по-мещанскому – вот так: хершбо.) Ну давайте же теперь за дело примемся.

– То есть... как же это так за дело приняться? Что вам угодно этим сказать?

Марья Николаевна прищурилась.

– Да вы зачем сюда приехали? (Когда она щурила глаза, выражение их становилось очень ласковым и немного насмешливым; когда же она раскрывала их во всю величину – в их светлом, почти холодном блеске проступало что-то недоброе... что-то угрожающее. Особенную красоту придавали ее глазам ее брови, густые, немного надвинутые, настоящие соболиные.) Вы хотите, чтобы я у вас купила имение? Вам нужны деньги для вашего бракосочетания? Не так ли?

– Да, нужны.

– И много вам их требуется?

– На первый случай я бы удовольствовался несколькими тысячами франков. Вашему супругу мое имение известно. Вы можете посоветоваться с ним, – а я бы взял цену недорогою.

Марья Николаевна повела головою направо и налево.

– *Во-первых*, – начала она с расстановкой, ударяя концами пальцев по обшлагу санинского сюртука, – я не имею привычки советоваться с мужем, разве вот насчет туалета – он на это у меня молодец, а *во-вторых*, зачем вы говорите, что вы цену назначите недорогою? Я не хочу воспользоваться тем, что вы теперь очень влюблены и готовы на всякие жертвы... Я никаких жертв от вас не приму. Как? Вместо того чтобы поощрять в вас... ну, как бы это сказать получше?.. благородные чувства, что ли? я вас стану обдирать как липку? Это не в моих привычках. Когда случится, я людей не щажу – только не таким манером.

Санин никак не мог понять, что она – смеется ли над ним, или говорит серьезно? а только думал про себя: «О, да с тобой держи ухо востро!»

Слуга вошел с русским самоваром, чайным прибором, сливками, сухарями и т. п. на большом подносе, расставил всю эту благодать на столе между Саниным и г-жою Полозовой – и удалился.

Она налила ему чашку чаю.

– Вы не брезгаете? – спросила она, накладывая ему сахар в чашку пальцами... а щипчики лежали тут же.

– Помилуйте!.. От такой прекрасной руки...

Он не закончил фразы и чуть не поперхнулся глотком чаю, а она внимательно и ясно глядела на него.

– Я потому упомянул о недорогой цене моего имения, – продолжал он, – что так как вы теперь находитесь за границей, то я не могу предполагать у вас много свободных денег и, наконец, я сам чувствую, что продажа... или покупка имения при подобных условиях есть нечто ненормальное, и я должен взять это в соображение.

Санин путался и сбивался, а Марья Николаевна тихонько отклонилась на спинку кресла, скрестила руки и глядела на него тем же внимательным и ясным взглядом. Он наконец умолк.

– Ничего, говорите, говорите, – промолвила она, как бы приходя ему на помощь, – я вас слушаю – мне приятно вас слушать; говорите.

Санин принялся описывать свое имение, сколько в нем десятин, и где оно находится, и каковы в нем хозяйственные угодья, и какие можно извлечь из него выгоды... упомянул даже о живописном местоположении усадьбы; а Марья Николаевна все глядела да глядела на него – все светлее и пристальнее, и губы ее чуть-чуть двигались, без улыбки: она покусывала их. Ему стало неловко наконец; он замолчал вторично.

– Дмитрий Павлович, – начала Марья Николаевна – и задумалась... – Дмитрий Павлович, – повторила она... – Знаете что: я уверена, что покупка вашего имения – очень выгодная для меня афера и что мы сойдемся; но вы должны мне дать... два дня – да, два дня сроку. Ведь вы в состоянии на два дня расстаться с вашей невестой? Дольше я вас не продержу, против вашей воли – даю вам честное слово. Но если вам нужны теперь же пять, шесть тысяч франков, я с великим удовольствием готова предложить вам их взаймы – а там мы сочтемся.

Санин поднялся.

– Я должен благодарить вас, Марья Николаевна, за вашу радушную и любезную готовность услужить человеку, почти совсем вам незнакомому... Но если уже вам непременно так угодно, то я предпочту дожидаться вашего решения насчет моего имения – останусь здесь два дня.

– Да; мне так угодно, Дмитрий Павлович. А вам будет очень тяжело? Очень? Скажите.

– Я люблю свою невесту, Марья Николаевна, и разлука с ней мне нелегка.

– Ах, вы золотой человек! – со вздохом промолвила Марья Николаевна. – Обещаюсь не слишком томить вас. Вы уходите?

– Уже поздно, – заметил Санин.

– А вам надо отдохнуть от дороги – и от игры в дурачки с моим мужем. Скажите: вы Ипполиту Сидорычу, моему мужу, большой приятель?

– Мы воспитывались в одном пансионе.

– И он уже тогда был такой?

– Какой «такой»? – спросил Санин.

Марья Николаевна вдруг засмеялась, засмеялась до красноты всего лица, поднесла платок к губам, встала с кресла и, покачиваясь, как усталая, подошла к Санину и протянула ему руку. Он раскланялся и направился к двери.

– Извольте завтра пораньше явиться – слышите? – крикнула она ему вслед.

Он глянул назад, уходя из комнаты, и увидел, что она опять опустилась в кресло и закинула обе руки за голову. Широкие рукава блузы скатились почти до самых плеч и нельзя было не сознаться, что поза этих рук, что вся эта фигура была обаятельно прекрасна.

XXXVI

Далеко за полночь горела лампа в комнате Санина. Он сидел за столом и писал «своей Джемме». Рассказал ей все; описал ей Полозовых, мужа и жену – впрочем, больше распространялся насчет собственных чувств – и кончил тем, что назначил ей свидание через три дня!!! (с тремя восклицательными знаками). Утром рано он отнес это письмо на почту и пошел прогуляться по саду Кургауза, где уже играла музыка. Народу было еще мало; он постоял перед беседкой, в которой помещался оркестр, прослушал поурри из «Роберта-Дьявола» и, напившись кофе, отправился в боковую, уединенную аллею, присел на лавочку – и задумался.

Ручка зонтика проворно – и довольно крепко – постучала по его плечу. Он встрепнулся... Перед ним, в легком, серо-зеленом барежевом платье, в белой тюлевой шляпке, в шведских перчатках, свежая и розовая, как летнее утро, но с не исчезнувшей еще негой безмятежного сна в движениях и во взорах, стояла Марья Николаевна.

– Здравствуйте, – промолвила она. – Я сегодня посылала за вами, да вы уже ушли. Я только что отпила свой второй стакан – меня, вы знаете, заставляют здесь воду пить, бог ведает зачем... уж я ли не здорова? И вот я должна гулять целый час. Хотите вы быть моим спутником? А там мы кофе напьемся.

– Я уже пил, – промолвил Санин, вставая, – но я очень рад гулять с вами.

– Ну так дайте же мне вашу руку... Не бойтесь: вашей невесты здесь нет – она вас не увидит.

Санин принужденно улыбнулся. Он испытывал ощущение неприятное всякий раз, когда Марья Николаевна упоминала о Джемме. Однако он поспешно и послушно наклонился... Рука Марьи Николаевны медленно и мягко опустилась на его руку, и скользнула по ней, и как бы прильнула к ней.

– Пойдемте – вот сюда, – сказала она ему, закинув раскрытый зонтик за плечо. – Я в здешнем парке как дома: поведу вас по хорошим местам. И знаете что (она часто употребляла эти два слова): мы с вами не будем говорить теперь об этой покупке; мы о ней после завтрака хорошенько потолкуем; а вы должны мне теперь рассказать о себе... чтобы я знала, с кем я имею дело. А после, если хотите, я вам о себе порасскажу. Согласны?

– Но, Марья Николаевна, что может быть для вас интересного...

– Постойте, постойте. Вы не так меня поняли. Я с вами не кокетничать хочу. – Марья Николаевна пожала плечами. – У него невеста, как древняя статуя, а я буду с ним кокетничать?! Но у вас товар – а я купец. Я и хочу знать, каков у вас товар. Ну-ка, показывайте – каков он? Я хочу знать не только, что я покупаю, но и у кого я покупаю. Это было правило моего батюшки.

Ну, начинайте... Ну, хоть не с детства – ну вот – давно ли вы за границей? И где вы были до сих пор? Только идите тише – нам некуда спешить.

– Я сюда прибыл из Италии, где я пробыл несколько месяцев.

– А у вас, видно, особое влечение ко всему итальянскому? Странно, что вы не *там* нашли свой предмет. Вы любите искусства? Картины? или больше – музыку?

– Я люблю искусство... Я все прекрасное люблю.

– И музыку?

– И музыку тоже.

– А я ее совсем не люблю. Нравятся мне одни русские песни – и то в деревне, и то весной – с пляской, знаете... Красные кумачи, поднизи, на выгоне молоденькая травка, дымком пахнет... чудесно! Но не обо мне речь. Говорите же, рассказывайте.

Марья Николаевна сама шла, а сама то и дело взглядывала на Санина. Она была высокого роста – ее лицо приходилось почти в уровень с его лицом.

Он принялся рассказывать – сначала неохотно, неумело, а потом разговорился, разболтался даже. Марья Николаевна очень умно слушала; да к тому же она сама казалась до того откровенной, что невольно и других вызывала на откровенность. Она обладала тем великим даром «обиходности» – *le terrible don de la familiarité*, о котором упоминает кардинал Ретц. Санин говорил о своих путешествиях, о житье в Петербурге, о своей молодости... Будь Марья Николаевна светской дамой, с утонченными манерами – он никогда бы так не распустился; но она сама называла себя добрым малым, не терпящим никаких церемоний; она именно так отрекомендовала себя Санину. И в то же время этот «добрый малый» шел рядом с ним кошащей походкой, слегка прислоняясь к нему, и заглядывал ему в лицо; и шел он в образе молодого женского существа, от которого так и веяло тем разбирающим и томящим, тихим и жгучим соблазном, каким способны донимать нашего брата – грешного, слабого мужчину, одни – и то некоторые и то не чистые, а с надлежащей помесью – славянские натуры!

Прогулка Санина с Марьей Николаевной, беседа Санина с Марьей Николаевной продолжалась час с лишком. И ни разу они не останавливались – все шли да шли по бесконечным аллеям парка, то поднимаясь в гору и на ходу любясь видом, то спускаясь в долину и укрываясь в непроницаемую тень – и все рука с рукой. Временами Санину даже досадно становилось: он с Джеммой, с своей милой Джеммой никогда так долго не гулял... а тут эта барыня завладела им – и баста!

– Не устали ли вы? – спрашивал он ее не однажды.

– Я никогда не устаю, – отвечала она.

Изредка им попадались гуляющие; почти все ей кланялись – иные почтительно, другие даже подобострастно. Одному из них, весьма красивому, щегольски одетому брюнету она крикнула издали, с самым лучшим парижским акцентом: «Comte, vous savez, il ne faut pas venir me voir – ni aujourd'hui, ni demain»⁶⁹. Тот снял молча шляпу и отвесил низкий поклон.

– Кто это? – спросил Санин, по дурной привычке «любопытствовать», свойственной всем русским.

– Это? Один французик – их здесь много вертится... За мной ухаживает – тоже. Однако пора кофе пить. Пойдемте домой; вы, чай, успели проголодаться. Мой благоверный, должно быть, теперь глаза продрал.

«Благоверный! Глаза продрал!! – повторил про себя Санин... – И говорит так отлично по-французски... Что за чудачка!»

⁶⁹ «Знаете, граф, ни сегодня, ни завтра ко мне нельзя приходиться» (*фр.*).

* * *

Марья Николаевна не ошиблась. Когда она вместе с Саниным вернулась в гостиницу – «благочестивый», или «пышка», сидел уже, с неизменной феской на голове, перед накрытым столом.

– А я тебя прождался! – воскликнул он, скорчив кислую мину. – Хотел уже кофе без тебя пить.

– Ничего, ничего, – весело возразила Марья Николаевна. – Ты сердился? Это тебе здорово: а то ты совсем застынешь. Я вот гостя привела. Звони скорее! Давайте пить кофе, кофе – самый лучший кофе – в саксонских чашках, на белоснежной скатерти!

Она скинула шляпу, перчатки и захлопала в ладоши.

Полозов глянул на нее исподлобья.

– Что это вы сегодня так рассказали, Марья Николаевна? – проговорил он вполголоса.

– А не ваше дело, Ипполит Сидорыч! Звони! Дмитрий Павлович, садитесь – и пейте кофе во второй раз! Ах, как весело приказывать! Другого удовольствия на свете нет!

– Когда слушаются, – проворчал опять супруг.

– Именно, когда слушаются! Оттого-то мне и весело. Особенно с тобою. Не правда ли, пышка? А вот и кофе.

На громадном подносе, с которым появился кельнер, находилась также и театральная афишка. Марья Николаевна тотчас ухватила за нее.

– Драма! – произнесла она с негодованием, – немецкая драма. Все равно: лучше, чем немецкая комедия. Велите мне взять ложу – бенуар – или нет... лучше Fremden-Loge⁷⁰, – обратилась она к кельнеру. – Слышите ли: непременно Fremden-Loge!

– Но если Fremden-Loge уже взята его превосходительством, директором города (seine Excellenz der Herr Stadt-Director), – осмелился доложить кельнер.

– Дайте его превосходительству десять талеров, – а чтоб ложа у меня была! Слышите!

Кельнер покорно и печально наклонил голову.

– Дмитрий Павлович, вы поедете со мной в театр? немецкие актеры ужасны, но вы поедете... Да? Да! Какой вы любезный! Пышка, а ты не пойдешь?

– Как прикажешь, – проговорил Полозов в чашку, которую поднес ко рту.

– Знаешь что: останься. Ты в театре все спишь – да и по-немецки ты понимаешь плохо. Ты лучше вот что сделай: напиши ответ управляющему – помнишь, насчет нашей мельницы... насчет крестьянского помолу. Скажи ему, что я не хочу, не хочу и не хочу! Вот тебе и занятие на целый вечер...

– Слушаю, – заметил Полозов.

– Ну, вот и прекрасно. Ты у меня умница. А теперь, господа, благо мы заговорили об управляющем, будемте толковать о главном нашем деле. Вот как только кельнер уберет со стола, вы нам все расскажете, Дмитрий Павлович, о своем имени – как, что, за какую цену продаете, сколько хотите задатку вперед, – словом, все! («Наконец-то, – подумал Санин, – слава богу!») Вы уж мне кое-что сообщили, сад свой, помнится, чудесно описали, да «пышки» при этом не было... Пусть он послушает – все что-нибудь пробуркнет! Мне очень приятно думать, что я могу помочь вам жениться, да я же обещала вам, что после завтрака займусь вами; а я всегда держу свои обещания; не правда ли, Ипполит Сидорыч?

Полозов потер себе лицо ладонью.

– Что правда, то правда, вы никого не обманываете.

⁷⁰ Ложу для иностранцев (нем.).

– Никогда! И никогда никого не обману. Ну, Дмитрий Павлович, излагайте дело, как мы выражаемся в сенате.

XXXVII

Санин принялся «излагать дело» – то есть опять, во второй раз, описывать свое имение, но уже не касаясь красот природы и от времени до времени ссылаясь на Полозова, для подтверждения приводимых «фактов и цифр». Но Полозов только хмыкал и головой покачивал – одобрительно ли, или неодобрительно – этого, кажется, сам черт бы не разобрал. Впрочем, Марья Николаевна и не нуждалась в его участии. Она выказывала такие коммерческие и административные способности, что оставалось только изумляться! Вся подноготная хозяйства была ей отлично известна; она обо всем аккуратно расспрашивала, во все входила; каждое ее слово попадало в цель, ставило точку прямо на *i*. Санин не ожидал подобного экзамена: он не приготовился. И продолжался этот экзамен целых полтора часа. Санин испытывал все ощущения подсудимого, сидящего на узенькой скамеечке перед строгим и пронизательным судьей. «Да это допрос!» – тоскливо шептал он про себя. Марья Николаевна все время посмеивалась, словно шутила, но от этого Санину не было легче; а когда в течение «допроса» оказалось, что он не совсем ясно понимал значение слов: «передел» и «запашка» – так его даже пот прошиб...

– Ну, хорошо! – решила наконец Марья Николаевна. – Ваше имение я теперь знаю... не хуже вас. Какую же цену вы положите за душу? (В то время цены имениям, как известно, определялись по душам.)

– Да... я полагаю... меньше пятисот рублей взять нельзя, – с трудом проговорил Санин. (О, Панталеоне, Панталеоне, где ты? Вот бы когда тебе пришлось снова воскликнуть: *Barbari!*)

Марья Николаевна взвела глаза к небу, как бы соображая.

– Что ж? – промолвила она наконец. – Эта цена мне кажется безобидной. Но я выговорила себе два дня сроку – и вы должны подождать до завтра. Я полагаю, что мы сойдемся – и тогда вы скажете, сколько вам потребуется задатку. А теперь *basta cosi!*⁷¹ – подхватила она, заметив, что Санин хотел что-то возразить. – Довольно мы занимались презренным металлом... *á demain les affaires!*⁷² Знаете что: я теперь отпускаю вас (она глянула на эмалевые часики, заткнутые у ней за пояс) ... до трех часов... Надо ж дать вам отдохнуть. Ступайте поиграйте в рулетку.

– Я никогда в азартные игры не играю, – заметил Санин.

– В самом деле? Да вы совершенство. Впрочем, и я не играю. Глупо бросать деньги на ветер – наверняка. Но подите в игорную залу, посмотрите на физиономии. Попадаются презабавные. Старуха есть там одна, с фероньеркой и с усами – чудо! Наш князь там один – тоже хорош. Фигура величественная, нос как у орла, а поставит талер – и крестится украдкой под жилеткой. Читайте журналы, гуляйте, – словом, делайте что хотите... А в три часа я вас ожидаю... *de pied ferme*⁷³. Надо будет пораньше пообедать. Театр у этих смешных немцев начинается в половине седьмого. – Она протянула руку. – *Sans rancune, n'est-ce pas?*⁷⁴

– Помилуйте, Марья Николаевна, за что я буду на вас досадовать?

– А за то, что я вас мучила. Погодите, я вас еще не так, – прибавила она, прищуриив глаза, и все ее ямочки разом выступили на заалевшихся щеках. – До свидания!

Санин поклонился и вышел. Веселый смех раздался вслед за ним – и в зеркале, мимо которого он проходил в это мгновение, отразилась следующая сцена: Марья Николаевна надвинула своему супругу его феску на глаза, а он бессильно барахтался обеими руками.

⁷¹ Довольно! (*ит.*).

⁷² Дела на завтра! (*фр.*).

⁷³ Непременно (*фр.*).

⁷⁴ Забудем старые обиды, не правда ли? (*фр.*).

XXXVIII

О, как глубоко и радостно вздохнулось Санину, как только он очутился у себя в комнате! Точно: Марья Николаевна правду сказала – ему следовало отдохнуть, отдохнуть от всех этих новых знакомств, столкновений, разговоров, от этого чада, который забрался ему в голову, в душу – от этого негаданного, непрошеного сближения с женщиной, столь чуждой ему! И когда же все это совершается? Чуть ли не на другой день после того, как он узнал, что Джемма его любит, как он стал ее женихом! Да ведь это святотатство! Тысячу раз просил он мысленно прощенья у своей чистой, непорочной голубицы – хотя он, собственно, ни в чем обвинить себя не мог; тысячу раз целовал данный ею крестик. Не имей он надежды скоро и благополучно окончить дело, за которым приехал в Висбаден, опрометью бросился бы он оттуда назад – в милый Франкфурт, в тот дорогой, теперь уже родственный ему дом, к ней, к возлюбленным ее ногам... Но делать нечего! Надо испить фиал до дна, надо одеться, идти обедать – а оттуда в театр... Хоть бы завтра она его поскорей отпустила!

Еще одно его смущало, его сердило: он с любовью, с умилением, с благодарным восторгом думал о Джемме, о жизни с нею вдвоем, о счастье, которое его ожидало в будущем, – и между тем эта странная женщина, эта госпожа Полозова неотступно носилась... нет! не носилась – торчала... так именно, с особым злорадством выразился Санин – *торчала* перед его глазами, – и не мог он отделаться от ее образа, не мог не слышать ее голоса, не вспоминать ее речей, не мог не ощущать даже того особенного запаха, тонкого, свежего и пронзительного, как запах желтых лилий, которым веяло от ее одежд. Эта барыня явно дурачит его, и так и сяк к нему подъезжает... Зачем это? что ей надо? Неужели же это одна прихоть избалованной, богатой и едва ли не безнравственной женщины? И этот муж?! Что это за существо? Какие его отношения к ней? И к чему лезут эти вопросы в голову ему, Санину, которому, собственно, нет никакого дела ни до г-на Полозова, ни до его супруги? Почему не может он прогнать этот неотвязный образ даже тогда, когда обращается всей душою к другому, светлому и ясному, как божий день? Как смеют – сквозь те, почти божественные черты – сквозить *эти*? И они не только сквозят – они ухмыляются дерзостно. Эти серые, хищные глаза, эти ямочки на щеках, эти змеевидные косы – да неужели же это все словно прилипло к нему, и он стряхнуть, отбросить прочь все это не в силах, не может?

Вздор! вздор! завтра же это все исчезнет без следа... Но отпустит ли она его завтра?

Да... Все эти вопросы он себе ставил, а стало время пододвигаться к трем часам – и надел он черный фрак да, погулявши немного по парку, отправился к Полозовым.

* * *

Он застал у них в гостиной секретаря посольства из немцев, длинного-длинного, белокурого, с лошадиным профилем и пробором сзади (тогда это было еще внове) и... о чудо! кого еще? Фон Дёнгофа, того самого офицера, с которым дрался несколько дней тому назад! Он никак не ожидал встретить его именно тут – и невольно смутился, однако раскланялся с ним.

– Вы знакомы? – спросила Марья Николаевна, от которой не ускользнуло смущение Санина.

– Да... я имел уже честь, – промолвил Дёнгоф и, наклонившись слегка в сторону Марьи Николаевны, прибавил вполголоса, с улыбкой: – Тот самый... Ваш соотечественник... русский...

– Не может быть! – воскликнула она также вполголоса, погрозила ему пальцем и тотчас же стала прощаться – и с ним и с длинным секретарем, который, по всем признакам, был смертельно в нее влюблен, ибо даже рот раскрывал всякий раз, когда на нее взглядывал. Дёнгоф

удалился немедленно, с любезной покорностью, как друг дома, который с полуслова понимает, чего от него требуют; секретарь заартачился было, но Марья Николаевна выпроводила его без всяких церемоний.

– Ступайте к вашей владетельной особе, – сказала она ему (тогда в Висбадене проживала некая принципесса ди Монако, изумительно смахивавшая на плохую лоретку), – что вам сидеть у такой плебейки, как я?

– Помилуйте, сударыня, – уверял злополучный секретарь, – все принципессы в мире...

Но Марья Николаевна была безжалостна – и секретарь ушел вместе со своим пробором.

Марья Николаевна в тот день принарядилась очень к своему «авантажу», как говаривали наши бабушки. На ней было шелковое розовое платье глясэ, с рукавами á la Fontanges⁷⁵, и по крупному бриллианту в каждом ухе. Глаза ее блистали не хуже тех бриллиантов: она казалась в духе и в ударе.

Она усадила Санина возле себя и начала говорить ему о Париже, куда собиралась ехать через несколько дней, о том, что немцы ей надоели, что они глупы, когда умничают, и некстати умны, когда глупят; да вдруг, как говорится, в упор – a brule rougpoint – спросила его, правда ли, что он вот с этим самым офицером, который сейчас тут сидел, на днях дрался из-за одной дамы?

– Вам это почему известно? – пробормотал изумленный Санин.

– Слухом земля полнится, Дмитрий Павлович; но, впрочем, я знаю, что вы были правы, тысячу раз правы – и вели себя как рыцарь. Скажите – эта дама была ваша невеста?

Санин слегка наморщил брови...

– Ну, не буду, не буду, – поспешно проговорила Марья Николаевна. – Вам это неприятно, простите меня, не буду! не сердитесь! – Полозов появился из соседней комнаты с листом газеты в руках. – Что ты? или обед готов?

– Обед сейчас подают, а ты посмотри-ка, что я в «Северной пчеле» вычитал... Князь Громобой умер.

Марья Николаевна подняла голову.

– А! царство ему небесное! Он мне каждый год, – обратилась она к Санину, – в феврале, ко дню моего рождения, все комнаты убирал камелиями. Но для этого еще не стоит жить в Петербурге зимой. Что, ему, пожалуй, за семьдесят лет было? – спросила она мужа.

– Было. Похороны его в газете описывают. Весь двор присутствовал. Вот и стихи князя Коврижкина по этому случаю.

– Ну и чудесно.

– Хочешь, прочту? Князь его называет мужем совета.

– Нет, не хочу. Какой он был муж совета! Он просто был муж Татьяны Юрьевны. Пойдемте обедать. Живой живое думает. Дмитрий Павлович, вашу руку.

* * *

Обед был, по-вчерашнему, удивительный и прошел весьма оживленно. Марья Николаевна умела рассказывать... редкий дар в женщине, да еще в русской! Она не стеснялась в выражениях; особенно доставалось от нее соотечественницам. Санину не раз пришлось расхохотаться от иного бойкого и меткого словца. Пуще всего Марья Николаевна не терпела ханжества, фразы и лжи... Она находила ее почти повсюду. Она словно щеголяла и хвасталась той низменной средою, в которой началась ее жизнь; сообщала довольно странные анекдоты о своих родных из времени своего детства; называла себя лапотницей, не хуже Натальи Кирилловны

⁷⁵ Как у фонтанж (фр.).

Нарышкиной. Санину стало очевидным, что она испытала на своем веку гораздо больше, чем многое множество ее сверстниц.

А Полозов кушал обдуманно, пил внимательно и только изредка вскидывал то на жену, то на Санина свои белесоватые, с виду слепые, в сущности очень зрячие глаза.

– Какой ты у меня умница! – воскликнула Марья Николаевна, обратившись к нему, – как ты все мои комиссии во Франкфурте исполнил! Поцеловала бы я тебя в лобик – да ты у меня за этим не гоняешься.

– Не гоняюсь, – отвечал Полозов и взрезал ананас серебряным ножом.

Марья Николаевна посмотрела на него и постучала пальцами по столу.

– Так идет наше пари? – промолвила она значительно.

– Идет.

– Ладно. Ты проиграешь.

Полозов выставил подбородок вперед.

– Ну, на этот раз, как ты на себя ни надейся, Марья Николаевна, а я полагаю, что проиграешь-то ты.

– О чем пари? Можно узнать? – спросил Санин.

– Нет... нельзя теперь, – ответила Марья Николаевна – и засмеялась.

Пробило семь часов. Кельнер доложил, что карета готова. Полозов проводил жену и тотчас же поплелся назад к своему креслу.

– Смотри же! Не забудь письма к управляющему! – крикнула ему Марья Николаевна из передней.

– Напишу, не беспокойся. Я человек аккуратный.

XXXIX

В 1840 году театр в Висбадене был и по наружности плох, а труппа его, по фразистой и мизерной посредственности, по старательной и пошлой рутине, ни на волос не возвышалась над тем уровнем, который до сих пор можно считать нормальным для всех германских театров и совершенство которого в последнее время представляла труппа в Карлсруэ, под «знаменитым» управлением г-на Девриента. Позади ложи, взятой для «ее светлости г-жи фон Полозоб» (бог ведает, как умудрился кельнер ее достать – не подкупил же он штатт-директора в самом деле!) – позади этой ложи находилась небольшая комнатка, обставленная диванчиками; прежде чем войти в нее, Марья Николаевна попросила Санина поднять ширмочки, отделявшие ложу от театра.

– Я не хочу, чтобы меня видели, – сказала она, – а то ведь сейчас полезут.

Она и его посадила возле себя, спиной к зале, так, чтобы ложа казалась пустою.

Оркестр проиграл увертюру из «Свадьбы Фигаро»... Занавес поднялся: пьеса началась.

То было одно из многочисленных доморощенных произведений, в которых начитанные, но бездарные авторы отборным, но мертвенным языком, прилежно, но неуклюже проводили какую-нибудь «глубокую» или «животрепещущую» идею, представляли так называемый трагический конфликт и наводили скуку... азиатскую, как бывает азиатская холера. Марья Николаевна терпеливо выслушала половину акта, но когда первый любовник, узнав об измене своей возлюбленной (одет он был в коричневый сюртук с «буфами» и плисовым воротником, полосатый жилет с перламутровыми пуговицами, зеленые панталоны со штрипками из лакированной кожи и белые замшевые перчатки), когда этот любовник, уперев оба кулака в грудь и оттопырив локти вперед, под острым углом, завыл уже прямо по-собачьи – Марья Николаевна не выдержала.

– Последний французский актер в последнем провинциальном городишке естественнее и лучше играет, чем первая немецкая знаменитость, – с негодованием воскликнула она и пере-

села в заднюю комнатку. – Подите сюда, – сказала она Санину, постукивая рукою возле себя по дивану. – Будемте болтать.

Санин повиновался.

Марья Николаевна глянула на него.

– А вы, я вижу, шелковый! Вашей жене будет с вами легко. Этот шут, – продолжала она, указывая концом веера на завывавшего актера (он исполнял роль домашнего учителя), – напомнил мне мою молодость: я тоже была влюблена в учителя. Это была моя первая... нет, моя вторая пассия. В первый раз я влюбилась в служку Донского монастыря. Мне было двенадцать лет. Я видала его только по воскресеньям. Он носил бархатный подрясник, душился оде­лаваном, пробираясь в толпе с кадилом, говорил дамам по-французски: «пардон, экскюзэ» – и никогда не поднимал глаз, а ресницы у него были вот какие! – Марья Николаевна отделила ногтем большого пальца целую половину своего мизинца и показала Санину. – Учителя моего звали – *monsieur Gaston*! Надо вам сказать, что он был ужасно ученый и престо­рогий человек, из швейцарцев – и с таким энергическим лицом! Бакенбарды черные, как смоль, греческий профиль – и губы как из железа вылитые! Я его боялась! Я во всей моей жизни только одного этого человека и боялась. Он был гувернером моего брата, который потом умер... утонул. Одна цыганка и мне предсказала насильственную смерть, но это вздор. Я этому не верю. Представьте вы себе Ипполита Сидорыча с кинжалом?!

– Можно умереть и не от кинжала, – заметил Санин.

– Все это вздор! Вы суеверны? Я – несколько. А чему быть, того не миновать. *Monsieur Gaston* жил у нас в доме, над моей головой. Бывало, я проснусь ночью и слышу его шаги – он очень поздно ложился – и сердце замирает от благоговения... или от другого чувства. Мой отец сам едва разумел грамоте, но воспитание нам дал хорошее. Знаете ли, что я по-латыни понимаю?

– Вы? по-латыни?

– Да – я. Меня *monsieur Gaston* выучил. Я с ним «Энеиду» прочла. Скучная вещь, но есть места хорошие. Помните, когда Дидона с Энеем в лесу...

– Да, да, помню, – торопливо промолвил Санин. Сам он давным-давно всю свою латынь забыл и об «Энеиде» понятие имел слабое.

Марья Николаевна глянула на него, по своей привычке, несколько вбок и из-под низу.

– Вы не думайте, однако, что я очень учена. Ах, боже мой, нет – я не учена, и никаких талантов у меня нет. Писать едва умею... право; читать громко не могу; ни на фортепьяно, ни рисовать, ни шить – ничего! Вот я какая – вся тут!

Она расставила руки.

– Я вам все это рассказываю, – продолжала она, – во-первых, для того, чтобы не слушать этих дураков (она указала на сцену, где в это мгновение вместо актера подвывала актриса, тоже выставив локти вперед), а во-вторых, для того, что я перед вами в долгу: вы вчера мне про себя рассказывали.

– Вам угодно было спросить меня, – заметил Санин.

Марья Николаевна внезапно повернулась к нему.

– А вам не угодно знать, что, собственно, я за женщина? Впрочем, я не удивляюсь, – прибавила она, снова прислонясь к подушкам дивана. – Человек собирается жениться, да еще по любви, да после дуэли... Где ему помышлять о чем-нибудь другом?

Марья Николаевна задумалась и начала кусать ручку веера своими крупными, но ровными и, как молоко, белыми зубами.

А Санину казалось, что ему в голову опять стал подниматься тот чад, от которого он не мог отделаться вот уже второй день.

Разговор между им и Марьей Николаевной происходил вполголоса, почти шепотом – и это еще более его раздражало и волновало его...

Когда же это все кончится?

Слабые люди никогда сами не кончают – все ждут конца.

На сцене кто-то чихал; чиханье это было введено автором в свою пьесу, как «комический момент» или «элемент»; другого комического элемента в ней уже, конечно, не было; и зрители удовлетворялись этим моментом, смеялись.

Этот смех также раздражал Санина.

Были минуты, когда он решительно не знал: что он – злится или радуется, скучает или веселится? О, если б Джемма его видела!

* * *

– Право, это странно, – заговорила вдруг Марья Николаевна. – Человек объявляет вам, и таким спокойным голосом: «Я, мол, намерен жениться»; а никто вам не скажет спокойно: «Я намерен в воду броситься». И между тем – какая разница? Странно, право.

Досада взяла Санина.

– Разница большая, Марья Николаевна! Иному броситься в воду вовсе не страшно: он плавать умеет; а сверх того... что касается до странности браков... уж коли на то пошло...

Он вдруг умолк и прикусил язык.

Марья Николаевна ударила себя веером по ладони.

– Договаривайте, Дмитрий Павлович, договаривайте – я знаю, что вы хотели сказать. «Уж коли на то пошло, милостивая государыня, Марья Николаевна Полозова, – хотели высказать, – страннее *вашего* брака ничего нельзя себе представить... ведь я вашего супруга знаю хорошо, с детства!» Вот что вы хотели сказать, вы, умеющий плавать!

– Позвольте, – начал было Санин...

– Разве это не правда? Разве не правда? – настойчиво произнесла Марья Николаевна. – Ну, посмотрите мне в лицо и скажите, что я неправду сказала!

Санин не знал, куда деть свои глаза.

– Ну, извольте: правда, коли вы уж этого непременно требуете, – проговорил он наконец. Марья Николаевна покачала головою.

– Так... так. – Ну – и спрашивали вы себя, вы, умеющий плавать, какая может быть причина такого странного... поступка со стороны женщины, которая не бедна... и не глупа... и не дурна? Вас это не интересует, может быть; но все равно. Я вам скажу причину не теперь, а вот как только кончится антракт. Я все беспокоюсь, как бы кто-нибудь не зашел...

Не успела Марья Николаевна выговорить это последнее слово, как наружная дверь действительно растворилась наполовину – и в ложу всунулась голова красная, маслянисто-потная, еще молодая, но уже беззубая, с плоскими длинными волосами, отвислым носом, огромными ушами, как у летучей мыши, с золотыми очками на любопытных и тупых глазенках, и с *pinse-nez* на очках. Голова осмотрелась, увидела Марию Николаевну, дрянно ослабилась, закивала... Жилистая шея вытянулась вслед за нею...

Марья Николаевна замахала на нее платком.

– Меня дома нет! Ich bin nicht zu Hause, Herr P.! Ich bin nich zu Hause... Кшшш, кшшш!

Голова изумилась, принужденно засмеялась, проговорила, словно всхлипывая, в раздражение Листу, у ног которого когда-то пресмыкалась: «Sehr gut! sehr gut!»⁷⁶ – и исчезла.

– Это что за субъект? – спросил Санин.

– Это? Критик висбаденский. «Литтерат» или лон-лакей⁷⁷, как угодно. Он нанят здешним откупщиком и потому обязан все хвалить и всем восторгаться, а сам весь налит гаденькой

⁷⁶ «Очень хорошо! очень хорошо!» (нем.).

⁷⁷ Наемный лакей (нем.: Lohn-Lakai).

желчью, которую даже выпускать не смеет. Я боюсь: он сплетник ужасный; сейчас побежит рассказывать, что я в театре. Ну, все равно.

Оркестр проиграл вальс, занавес взвился опять... Поднялось опять на сцене кривлянье да хныканье.

– Ну-с, – начала Марья Николаевна, снова опускаясь на диван, – так как вы попались и должны сидеть со мною, вместо того чтобы наслаждаться близостью вашей невесты... не вращайте глазами и не гневайтесь – я вас понимаю и уже обещала вам, что отпущу вас на все четыре стороны, – а теперь слушайте мою исповедь. Хотите знать, что я больше всего люблю?

– Свободу, – подсказал Санин.

Марья Николаевна положила руку на его руку.

– Да, Дмитрий Павлович, – промолвила она, и голос ее прозвучал чем-то особенным, какой-то несомненной искренностью и важностью, – свободу, больше всего и прежде всего. И не думайте, чтоб я этим хвасталась – в этом нет ничего похвального, – только оно *так*, и всегда было и будет *так* для меня, до самой смерти моей. Я в детстве, должно быть, уж очень много насмотрелась рабства и натерпелась от него. Ну, и *monsieur Gaston*, мой учитель, глаза мне открыл. Теперь вы, может быть, понимаете, почему я вышла за Ипполита Сидорыча; с ним я свободна, совершенно свободна, как воздух, как ветер... И это я знала перед свадьбой, я знала, что с ним я буду вольный казак!..

Марья Николаевна помолчала и бросила веер в сторону.

– Скажу вам еще одно: я не прочь размышлять... оно весело, да и на то ум нам дан; но о последствиях того, что я сама делаю, я никогда не размышляю, и когда придется, не жалею себя – ни на *эстолько*: не стоит. У меня есть поговорка: «*Cela ne tire pas a conséquence*»⁷⁸ – не знаю, как это сказать по-русски. Да и точно: что *tire a conséquence*? – Ведь от меня отчета не потребуют *здесь*, на сей земле; а там (она подняла палец кверху) – ну, там пусть распоряжаются, как знают. Когда меня будут *там* судить, *то я не я буду!* Вы слушаете меня? Вам не скучно?

Санин сидел наклонившись. Он поднял голову.

– Мне вовсе не скучно, Марья Николаевна, и слушаю я вас с любопытством. Только я... признаюсь... я спрашиваю себя, зачем вы это все говорите мне?

Марья Николаевна слегка подвинулась на диване.

– Вы себя спрашиваете... Вы такой недогадливый? Или такой скромный?

Санин поднял голову еще выше.

– Я вам все это говорю, – продолжала Марья Николаевна спокойным тоном, который, однако, не совсем соответствовал выражению ее лица, – потому что вы мне очень нравитесь; да, не удивляйтесь, я не шучу; потому, что после встречи с вами мне было бы неприятно думать, что вы сохраните обо мне воспоминание нехорошее... или даже не нехорошее, это мне все равно, а неверное. Оттого-то я и залучила вас сюда, и остаюсь с вами наедине, и говорю с вами так откровенно... Да, да, откровенно. Я не лгу. И заметьте, Дмитрий Павлович, я знаю, что вы влюблены в другую, что вы собираетесь жениться на ней... Отдайте же справедливость моему бескорыстию! А впрочем, вот вам случай сказать в свою очередь: *cela ne tire pas a conséquence!*

Она засмеялась, но смех ее внезапно оборвался – и она осталась неподвижной, как будто ее собственные слова ее самое поразили, а в глазах ее, в обычное время столь веселых и смелых, мелькнуло что-то похожее на робость, похожее даже на грусть.

«Змея! ах, она змея! – думал между тем Санин, – но какая красивая змея!»

– Дайте мне мою лорнетку, – проговорила вдруг Марья Николаевна. – Мне хочется посмотреть: неужели эта *jeune première* в самом деле так дурна собою? Право, можно подумать, что ее определило правительство с нравственной целью, чтобы молодые люди не слишком увлекались.

⁷⁸ Это не влечет за собою никаких последствий (*фр.*).

Санин подал ей лорнетку, а она, принимая ее от него, быстро, но чуть слышно, охватила обеими руками его руку.

– Не извольте серьезничать, – шепнула она с улыбкой. – Знаете что: на меня цепей наложить нельзя, но ведь и я не накладываю цепей. Я люблю свободу и не признаю обязанностей – не для себя одной. А теперь посторонитесь немножко и давайте послушаемте пьесу.

Марья Николаевна навела лорнетку на сцену – и Санин принялся глядеть туда же, сидя с нею рядом, в полутьме ложи, и вдыхая, невольно вдыхая теплоту и благовоние ее роскошного тела и столь же невольно переворачивая в голове своей все, что она ему сказала в течение вечера – особенно в течение последних минут.

XL

Пьеса длилась еще час с лишком, но Марья Николаевна и Санин скоро перестали смотреть на сцену. У них снова завязался разговор, и пробирался он, разговор этот, по той же дорожке, как и прежде; только на этот раз Санин меньше молчал. Внутренно он и на себя сердился и на Марью Николаевну; он старался доказать ей всю неосновательность ее «теории», как будто ее занимали теории! Он стал с ней спорить, чему она втайне очень порадовалась: коли спорит, значит уступает или уступит. На прикормку пошел, подается, дичиться перестал! Она возражала, смеялась, соглашалась, задумывалась, нападала... а между тем его лицо и ее лицо сближались, его глаза уже не отворачивались от ее глаз... Эти глаза словно блуждали, словно кружили по его чертам, и он улыбался ей в ответ – учтиво, но улыбался. Ей на руку было уже и то, что он пускался в отвлеченности, рассуждал о честности взаимных отношений, о долге, о святости любви и брака... Известное дело: эти отвлеченности очень и очень годятся как начало... как исходная точка...

Люди, хорошо знавшие Марью Николаевну, уверяли, что когда во всем ее сильном и крепком существе внезапно проступало нечто нежное и скромное, что-то почти девически стыдливое – хотя, подумаешь, откуда оно бралось?... тогда... да, тогда дело принимало оборот опасный.

Оно, по-видимому, принимало этот оборот и для Санина... Презрение он бы почувствовал к себе, если б ему удалось хотя на миг сосредоточиться; но он не успевал ни сосредоточиться, ни презирать себя.

А она не теряла времени. И все это происходило оттого, что он был очень недурен собою! Поневоле придется сказать: «Как знать, где найдешь, где потеряешь?»

Пьеса кончилась. Марья Николаевна попросила Санина накинуть на нее шаль и не шевелилась, пока он окутывал мягкой тканью ее поистине царственные плечи. Потом она взяла его под руку, вышла в коридор – и чуть не вскрикнула: у самой двери ложи, как некое привидение, торчал Дёнгоф; а из-за его спины выглядывала паскудная фигурка висбаденского критика. Маслянистое лицо «литтерата» так и сияло злорадством.

– Не прикажете ли, сударыня, я вам отыщу вашу карету? – обратился к Марье Николаевне молодой офицер с трепетом худо сдержанного бешенства в голосе.

– Нет, благодарствуйте, – ответила она, – мой лакей ее найдет. – Останьтесь! – прибавила она повелительным шепотом – и быстро удалилась, увлекая за собою Санина.

– Ступайте к черту! Что вы ко мне пристали? – гаркнул вдруг Дёнгоф на «литтерата». Надо было ему на ком-нибудь сорвать свое сердце!

– Sehr gut! Sehr gut! – пробормотал «литтерат» – и стушевался.

Лакей Марьи Николаевны, ожидавший ее в сенях, в мгновение ока отыскал ее карету – она проворно села в нее, за нею вскочил Санин. Дверцы захлопнулись – и Марья Николаевна разразилась смехом.

– Чему вы смеетесь? – полюбопытствовал Санин.

– Ах, извините меня, пожалуйста... но мне пришло в голову, что если Дёнгоф с вами опять будет стреляться... из-за меня... Не чудеса ли это?

– А вы с ним очень коротко знакомы? – спросил Санин.

– С ним? С этим мальчиком? Он у меня на побегушках. Вы не беспокойтесь!

– Да я и не беспокоюсь вовсе.

Марья Николаевна вздохнула.

– Ах, я знаю, что вы не беспокоитесь. Но слушайте – знаете что: вы такой милый, вы не должны отказать мне в одной последней просьбе. Не забудьте: через три дня я уезжаю в Париж, а вы возвращаетесь во Франкфурт... Когда мы встретимся?

– Какая это просьба?

– Вы верхом, конечно, умеете ездить?

– Умею.

– Ну вот что. Завтра поутру я вас возьму с собою – и мы поедем вместе за город. У нас будут отличные лошади. Потом мы вернемся, дело покончим – и аминь. Не удивляйтесь, не говорите мне, что это каприз, что я сумасшедшая – все это может быть, – но скажите только: я согласен!

Марья Николаевна обернула к нему свое лицо. В карете было темно, но глаза ее сверкнули в самой этой темноте.

– Извольте, я согласен, – промолвил Санин со вздохом.

– Ах! Вы вздохнули! – передразнила его Марья Николаевна. – Вот что значит: взялся за жуж – не говори, что не дюж. Но нет, нет... Вы – прелесть, вы хороший – а обещание я свое сдержу. Вот вам моя рука, без перчатки, правая, деловая. Возьмите ее – и верьте ее пожатию. Что я за женщина, я не знаю; но человек я честный – и дела иметь со мною можно.

Санин, сам хорошенько не отдавая себе отчета в том, что делает, поднес эту руку к своим губам. Марья Николаевна тихонько ее приняла и вдруг умолкла – и молчала, пока карета не остановилась.

Она стала выходить... Что это? показалось ли Санину, или он точно почувствовал на щеке своей какое-то быстрое и жгучее прикосновение?

– До завтра! – шепнула Марья Николаевна ему на лестнице, вся освещенная четырьмя свечами канделябра, ухваченного при ее появлении золотообрезным привратником. Она держала глаза опущенными. – До завтра!

Вернувшись к себе в комнату, Санин нашел на столе письмо от Джеммы. Он мгновенно... испугался – и тотчас же обрадовался, чтобы поскорей замаскировать перед самим собою свой испуг. Оно состояло из нескольких строк. Она радовалась благополучному «началу дела», советовала ему быть терпеливым и прибавила, что все в доме здоровы и заранее радуются его возвращению. Санин нашел это письмо довольно сухим – однако взял перо, бумагу... и все бросил. «Что писать?! Завтра сам вернусь... пора, пора!»

Он немедленно лег в постель и постарался как можно скорее заснуть. Оставшись на ногах и бодрствуя, он, наверное, стал бы думать о Джемме – а ему было почему-то... стыдно думать о ней. Совесть шевелилась в нем. Но он успокаивал себя тем, что завтра все будет навсегда кончено и он навсегда расстанется с этой взбалмошной барыней – и забудет всю эту чепуху!..

Слабые люди, говоря с самими собою, охотно употребляют энергические выражения.

Et puis... cela ne tire pas a conséquence!

XLI

Вот что думал Санин, ложась спать; но что он подумал на следующий день, когда Марья Николаевна нетерпеливо постучала коралловой ручкой хлыстика в его дверь, когда он увидел ее на пороге своей комнаты – с шлейфом темно-синей амазонки на руке, с маленькой мужской

шляпой на крупно заплетенных кудрях, с откинутым на плечо вуалем, с вызывающей улыбкой на губах, в глазах, на всем лице, – что он подумал тогда – об этом молчит история.

– Ну? готовы? – прозвучал веселый голос.

Санин застегнул сюртук и молча взял шляпу. Марья Николаевна бросила на него светлый взгляд, кивнула головой и быстро побежала вниз по лестнице. И он побежал вслед за нею.

Лошади стояли уже на улице перед крыльцом. Их было три: золотисто-рыжая чистокровная кобыла с сухой, оскалистой мордой, черными глазами навывкате, с оленьими ногами, немного поджарая, но красивая и горячая как огонь – для Марьи Николаевны; могучий, широкий, несколько тяжелый конь, вороной, без отмет – для Санина; третья лошадь назначалась груму. Марья Николаевна ловко вскочила на свою кобылу... Та затопала ногами и завертелась, отделяя хвост и поджимая круп, но Марья Николаевна (отличная наездница!) удержала ее на месте: нужно было проститься с Полозовым, который, в неизменной своей феске и в шлафроке нараспашку, появился на балконе и махал оттуда батистовым платочком, нисколько, впрочем, не улыбаясь, а скорее хмурясь. Взобрался и Санин на своего коня; Марья Николаевна отсалютовала г-ну Полозову хлыстиком, потом ударила им свою лошадь по выгнутой и плоской шее: та взвилась на дыбы, прыгнула вперед и пошла щепотким, укрошенным шагом, вздрагивая всеми жилками, собираясь на мундштуке, кусая воздух и порывисто фыркая. Санин ехал сзади и глядел на Марью Николаевну; самоуверенно, ловко и стройно покачивался ее тонкий и гибкий стан, тесно и вольно охваченный корсетом. Она обернула голову назад и подозвала его одними глазами. Он поравнялся с нею.

– Ну, вот видите, как хорошо, – сказала она. – Я вам говорю напоследях, перед разлукой: вы прелесть – и раскаиваться не будете.

Выговорив эти последние слова, она несколько раз повела голову сверху вниз, как бы желая подтвердить их и дать ему почувствовать их значение.

Она казалась до того счастливой, что Санин просто удивлялся; у нее на лице появилось даже то степенное выражение, какое бывает у детей, когда они очень... очень довольны.

Шагом доехали они до недалекой заставы, а там пустились крупной рысью по шоссе. Погода была славная, прямо летняя; ветер струился им навстречу и приятно шумел и свистал в их ушах. Им было хорошо: сознание молодой, здоровой жизни, свободного, стремительного движения вперед охватывало их обоих; оно росло с каждым мигом.

Марья Николаевна осадилась свою лошадь и опять поехала шагом; Санин последовал ее примеру.

– Вот, – начала она с глубоким, блаженным вздохом, – вот для этого только и стоит жить. Удалось тебе сделать, чего тебе хотелось, что казалось невозможным, – ну и пользуйся, душа, по самый край! – Она провела рукой себе по горлу поперек. – И каким добрым человек тогда себя чувствует! Вот теперь я... какая добрая! Кажется, весь свет бы обняла. То есть нет, не весь свет!.. Вот этого я бы не обняла. – Она указала хлыстиком на пробиравшегося сторонкой нищенски одетого старика. – Но осчастливить его я готова. Натэ, возьмите, – крикнула она громко по-немецки и бросила к его ногам кошелек. Увесистый мешочек (тогда еще портмоне в помину не было) стукнул о дорогу. Прохожий изумился, остановился, а Марья Николаевна захохотала и пустила лошадь вскачь.

– Вам так весело верхом ездить? – спросил Санин, догнав ее.

Марья Николаевна опять разом осадилась свою лошадь: она иначе ее не останавливала.

– Я хотела только уехать от благодарности. Кто меня благодарит – удовольствие мое портит. Ведь я не для него это сделала, а для себя. Как же он смеет меня благодарить? Я не слышала, о чем вы меня спрашивали.

– Я спрашивал... я хотел знать, отчего вы сегодня так веселы?

– Знаете что, – промолвила Марья Николаевна: она либо опять не слышала Санина, либо не почла за нужное отвечать на его вопрос. – Мне ужасно надоел этот грум, который

торчит за нами и который, должно быть, только и думает о том, когда, мол, господа домой поедут? Как бы от него отделаться? – Она проворно достала из кармана записную книжечку. – Послать его с письмом в город? Нет... не годится. А! вот как! Это что такое впереди? Трактир?

Санин глянул, куда она указывала.

– Да, кажется, трактир.

– Ну и прекрасно. Я прикажу ему остаться в этом трактире – и пить пиво, пока мы вернемся.

– Да что он подумает?

– А нам что за дело! Да он и думать не будет: будет пить пиво – и только. Ну, Санин (она в первый раз назвала его по одной фамилии), – вперед, рысью!

Поравнявшись с трактиром, Марья Николаевна подозвала грума и сообщила ему, что она от него требовала. Грум, человек английского происхождения и английского темперамента, молча поднес руку к козырьку своей фуражки, соскочил с лошади и взял ее под уздцы.

– Ну, теперь мы – вольные птицы! – воскликнула Марья Николаевна. – Куда нам ехать – на север, на юг, на восток, на запад? Смотрите – я как венгерский король на коронации (она указала концом хлыста на все четыре стороны света). Все наше! Нет, знаете что: видите, какие там славные горы – и какой лес! Поедемте туда, в горы, в горы!

In die Berge, wo die Freiheit thront!⁷⁹

Она свернула с шоссе и поскакала по узкой, неторной дорожке, которая действительно как будто направлялась к горам. Санин поскакал за нею.

XLII

Дорожка эта скоро превратилась в тропинку и наконец совсем исчезла, пересеченная канавой. Санин посоветовал вернуться, но Марья Николаевна сказала: «Нет! я хочу в горы! Поедем прямо, как летают птицы», – и заставила свою лошадь перескочить канаву. Санин тоже перескочил. За канавой начинался луг, сперва сухой, потом влажный, потом уже совсем болотистый: вода просачивалась везде, стояла лужицами. Марья Николаевна пускала лошадь нарочно по этим лужицам, хохотала и твердила: «Давайте школьничать!»

– Вы знаете, – спросила она Санина, – что значит: охотиться по брызгám?

– Знаю, – отвечал Санин.

– У меня дядя был псовый охотник, – продолжала она. – Я с ним езживала – весною. Чудо! Вот и мы теперь с вами – по брызгám. А только я вижу: вы русский человек, а хотите жениться на итальянке. Ну да это – ваша печаль. Это что? Опять канава? Гоп!

Лошадь перескочила – но шляпа упала с головы Марьи Николаевны, и кудри ее рассыпались по плечам. Санин хотел было слезть с коня и поднять шляпу, но она крикнула ему: «Не трогайте, я сама достану», нагнулась низко с седла, зацепила ручкой хлыста за вуаль и точно: достала шляпу, надела ее на голову, но волос не подобрала и опять помчалась, даже гикнула. Санин мчался с нею рядом, рядом с нею перепрыгивал рвы, ограды, ручейки, проваливался и выкарабкивался, несся под гору, несся в гору и все глядел ей в лицо. Что за лицо! Все оно словно раскрыто: раскрыты глаза, алчные, светлые, дикие; губы, ноздри раскрыты тоже и дышат жадно; глядит она прямо, в упор перед собою, и, кажется, всем, что она видит, землею, небом, солнцем и самым воздухом хочет завладеть эта душа, и об одном только она и жалеет: опасностей мало – все бы их одолела! «Санин! – кричит она, – ведь это как в Бюргеровой «Леноре»! Только вы не мертвый – а? Не мертвый?.. Я живая!» Разыгрались удалые силы. Это уж не амазонка пускает коня в галоп – это скачет молодой женский кентавр, полужверь и полубог, и изумляется степенный и благовоспитанный край, попираемый ее буйным разгулом!

⁷⁹ В горы, где царит свобода! (нем.).

Марья Николаевна остановила наконец свою вспененную забрызганную лошадь: она шаталась под нею, а у могучего, но тяжкого санинского жеребца прерывалось дыхание.

– Что? любо? – спросила Марья Николаевна каким-то чудным шепотом.

– Любо! – восторженно отозвался Санин. И в нем кровь разгорелась.

– Постойте, то ли еще будет! – Она протянула руку. Перчатка на ней была разорвана.

– Я сказала, что приведу вас к лесу, к горам... Вот они, горы! – Точно: покрытые высоким лесом, зачинались горы шагах в двухстах от того места, куда вылетели лихие всадники. – Смотрите: вот и дорога. Оправимтесь – и вперед. Только шагом. Надо дать лошадям вздохнуть.

Они поехали. Одним сильным взмахом руки Марья Николаевна отбросила назад свои волосы. Посмотрела потом на свои перчатки – и сняла их.

– Руки будут кожей пахнуть, – сказала она, – да ведь это вам ничего? А?..

Марья Николаевна улыбалась, и Санин улыбался тоже. Эта бешеная скачка их как будто окончательно сблизила и подружила.

– Сколько вам лет? – спросила она вдруг.

– Двадцать два.

– Не может быть! Мне двадцать два тоже. Годы хорошие. Сложи их вместе, и то до старости далеко. Однако жарко. Что, я раскраснелась?

– Как маков цвет!

Марья Николаевна утерла лицо платком.

– Только бы до лесу добраться, а там будет прохладно. Этакой старый лес – точно старый друг. Есть у вас друзья?

Санин подумал немного.

– Есть... только мало. Настоящих нет.

– А у меня есть, настоящие – только не старые. Вот тоже друг – лошадь. Как она тебя бережно несет! Ах, да здесь отлично! Неужто я послезавтра в Париж еду?

– Да... неужто? – подхватил Санин.

– А вы во Франкфурт?

– Я непременно во Франкфурт.

– Ну, что ж – с богом! Зато сегодняшней день наш... наш... наш!

* * *

Лошади добрались до опушки и вошли в нее. Тень леса накрыла их широко и мягко, и со всех сторон.

– О, да тут рай! – воскликнула Марья Николаевна. – Глубже, дальше в эту тень, Санин!

Лошади тихо двигались «глубже в тень», слегка покачиваясь и похрапывая. Дорожка, по которой они выступали, внезапно повернула в сторону и вошла в довольно тесное ущелье. Запах вереска, папоротника, смолы сосновой, промозглой, прошлогодней листвы так и сперся в нем – густо и дремотно. Из расщелин бурых крупных камней било крепкой свежестью. По обеим сторонам дорожки высились круглые бугры, поросшие зеленым мохом.

– Стойте! – воскликнула Марья Николаевна. – Я хочу присесть и отдохнуть на этом бархате. Помогите мне сойти.

Санин соскочил с коня и подбежал к ней. Она оперлась об его плечи, мгновенно спрыгнула на землю и села на одном из моховых бугров. Он стоял перед нею, держа в руках поводья обеих лошадей.

Она подняла на него глаза...

– Санин, вы умеете забывать?

Санину вспомнилось вчерашнее... в карете:

– Что это – вопрос... или упрек?

– Я отроду никого и ни в чем не упрекала. А в присуху вы верите?

– Как?

– В присуху – знаете, о чем у нас в песнях поется. В простонародных русских песнях?

– А! Вы вот о чем говорите... – протянул Санин.

– Да, об этом. Я верю... и вы поверите.

– Присуха... колдовство... – повторил Санин. – Все на свете возможно. Прежде я не верил, а теперь верю. Я себя не узнаю.

Марья Николаевна подумала – и оглянулась:

– А мне сдается, место это мне как будто знакомое. Посмотрите-ка, Санин, за тем широким дубом – стоит деревянный красный крест? аль нет?

Санин сделал несколько шагов в сторону.

– Стоит.

Марья Николаевна ухмыльнулась.

– А, хорошо! Я знаю, где мы. Пока еще не потерялись. Это что стучит? Дровосек?

Санин поглядел в чашу.

– Да... там какой-то человек сухие сучья рубит.

– Надо волосы в порядок привести, – проговорила Марья Николаевна. – А то увидит – осудит. – Она сняла шляпу и начала заплетать свои длинные косы – молча и важно. Санин стоял перед нею... Ее стройные члены явственно рисовались под темными складками сукна, с кое-где приставшими волокнами моха.

Одна из лошадей внезапно встряхнулась за спиною Санина; он сам затрепетал невольно, с ног до головы. Все в нем было перепутано – нервы натянулись как струны. Недаром он сказал, что сам себя не узнает... Он действительно был околдован. Все существо его было полно одним... одним помыслом, одним желаньем. Марья Николаевна бросила на него проницательный взгляд.

– Ну, вот теперь все как следует, – промолвила она, надевая шляпу. – Вы не садитесь? Вот тут! Нет, погодите... не садитесь! Что это такое?

По верхушкам деревьев, по воздуху лесному, прокатилось глухое сотрясение.

– Неужели это гром?

– Кажется, точно гром, – ответил Санин.

– Ах, да это праздник! просто праздник! Только этого не доставало! – Глухой гул раздался вторично, поднялся – и упал раскатом. – Bravo! Bis! Помните, я вам говорила вчера об «Энейде»? Ведь *их* тоже в лесу застала гроза. Однако надо убраться. – Она быстро поднялась на ноги. – Подведите мне лошадь... Подставьте мне руку. Вот так. Я не тяжела.

Она птицей взвилась на седло. Санин тоже сел на коня.

– Вы – домой? – спросил он неверным голосом.

– Домой?? – отвечала она с расстановкой и подобрала поводья. – Ступайте за мной, – приказала она почти грубо.

Она выехала на дорогу и, минуя красный крест, опустилась в ложину, добралась до перекрестка, повернула направо, опять в гору... Она, очевидно, знала, куда держала путь – и шел этот путь все в глубь да в глубь леса. Она ничего не говорила, не оглядывалась; она повелительно двигалась вперед – и он послушно и покорно следовал за нею, без искры воли в замиравшем сердце. Дождик начал накрапывать. Она ускорила ход своей лошади – и он не отставал от нее. Наконец, сквозь темную зелень еловых кустов, из-под навеса серой скалы, глянула на него убогая караулка, с низкой дверью в плетеной стене... Марья Николаевна заставила лошадь продрасться сквозь кусты, спрыгнула с нее – и, очутившись вдруг у входа караулки, обернулась к Санину и шепнула: «Эней?»

* * *

Четыре часа спустя Марья Николаевна и Санин, в сопровождении дремавшего на седле грума, возвратились в Висбаден, в гостиницу. Г-н Полозов встретил свою супругу, в руках письмо к управляющему. Вглядевшись в нее попристальнее, он, однако, выразил на лице своем некоторое неудовольствие – и даже пробормотал:

– Неужто проиграл пари?

Марья Николаевна только плечами пожала.

* * *

А в тот же день, два часа спустя, Санин в своей комнате стоял перед нею, как потерянный, как погибший...

– Куда же ты едешь? – спрашивала она его. – В Париж – или во Франкфурт?

– Я еду туда, где будешь ты, – и буду с тобой, пока ты меня не прогонишь, – отвечал он с отчаянием и припал к рукам своей властительницы. Она высвободила их, положила их ему на голову и всеми десятью пальцами схватила его волосы. Она медленно перебирала и крутила эти безответные волосы, сама вся выпрямилась, на губах змеилось торжество – а глаза, широкие и светлые до белизны, выражали одну безжалостную тупость и сытость победы. У ястреба, который когтит пойманную птицу, такие бывают глаза.

XLIII

Вот что припомнил Дмитрий Санин, когда в тишине кабинета, разбирая свои старые бумаги, он нашел между ними гранатовый крестик. Рассказанные нами события ясно и последовательно возникали перед его мысленным взором... Но, дойдя до той минуты, когда он с таким униженным молением обратился к г-же Полозовой, когда он отдался ей под ноги, когда началось его рабство, – он отвернулся от вызванных им образов, он не захотел более вспоминать. И не то чтобы память изменила ему – о нет! он знал, он слишком хорошо знал, что последовало за той минутой, но стыд душил его – даже и теперь, столько лет спустя; он страшился того чувства неодолимого презрения к самому себе, которое, он в этом не мог сомневаться, непременно нахлынет на него и затопит, как волною, все другие ощущения, как только он не велит памяти своей замолчать. Но как он ни отворачивался от возникавших воспоминаний, вполне заглушить он их не мог. Он вспомнил дрянное, слезливое, лживое, жалкое письмо, посланное им Джемме, письмо, оставшееся без ответа... Явиться к ней, вернуться к ней – после такого обмана, такой измены – нет! нет! на столько совести и честности осталось еще в нем. К тому же он всякое доверие потерял к себе, всякое уважение: он уже ни за что не смел ручаться. Санин вспомнил также, как он потом – о, позор! – отправил полозовского лакея за своими вещами во Франкфурт, как он трусил, как он думал лишь об одном: поскорей уехать в Париж, в Париж; как он, по приказанию Марьи Николаевны, подлаживался и поддельвался к Ипполиту Сидорычу – и любезничал с Донгофом, на пальце которого он заметил точно такое же железное кольцо, какое дала ему Марья Николаевна!!! Потом пошли воспоминания еще хуже, еще позорнее... Кельнер подает ему визитную карточку – и стоит на ней имя Панталеоне Чиппатоло, придворного певца е. к. в. герцога Моденского! Он прячется от старика, но не может избежать встречи с ним в коридоре – и встает перед ним раздраженное лицо под взвившимся кверху седым хохлом; горят, как уголья, старческие глаза – и слышатся грозные восклицания

и проклятия: «Maledizione!»⁸⁰, слышатся даже страшные слова: «Codardo! Infame traditore!»⁸¹ Санин жмурит глаза, встряхивает головою, отворачивается вновь и вновь – и все-таки видит себя сидящим в дорожном дормезе на узком переднем месте... На задних, покойных местах сидят Марья Николаевна и Ипполит Сидорыч – четверня лошадей несет дружной рысью по мостовой Висбадена – в Париж! в Париж! Ипполит Сидорыч кушает грушу, которую он, Санин, ему очистил, а Марья Николаевна глядит на него – и усмехается тою, ему, закрепощенному человеку, уже знакомой усмешкой – усмешкой собственника, владыки...

Но боже мой! Вон там, на углу улицы, недалеко от выезда из города, не Панталеоне ли стоит опять – и кто с ним? Неужели Эмилио? Да, это он, тот восторженный, преданный мальчик! Давно ли его юное сердце благоговело перед своим героем, идеалом, а теперь его бледное красивое – до того красивое лицо, что Марья Николаевна его заметила и высунулась в окошко кареты – это благородное лицо пышет злобой и презрением; глаза, столь похожие на *те* глаза! – впиваются в Санина, и губы сжимаются... и раскрываются вдруг для обиды...

А Панталеоне протягивает руку и указывает на Санина – кому? – стоящему возле Тарталье, и Тарталья лает на Санина – и самый лай честного пса звучит невыносимым оскорблением... Безобразно!

А там – житье в Париже и все унижения, все гадкие муки раба, которому не позволено ни ревновать, ни жаловаться и которого бросают наконец, как изношенную одежду...

Потом – возвращение на родину, отравленная, опустошенная жизнь, мелкая возня, мелкие хлопоты, раскаяние горькое и бесплодное и столь же бесплодное и горькое забвение – наказание не явное, но ежеминутное и постоянное, как незначительная, но неизлечимая боль, уплата по копейке долга, которого и сосчитать нельзя...

Чаша переполнилась – довольно!

* * *

Каким образом уцелел крестик, данный Санину Джеммой, почему не возвратил он его, как случилось, что до того дня он ни разу на него не наткнулся? Долго, долго сидел он в раздумье – и уже наученный опытом, через столько лет – все не в силах был понять, как мог он покинуть Джемму, столь нежно и страстно им любимую, для женщины, которую он и не любил вовсе?... На следующий день он удивил всех своих приятелей и знакомых: он объявил им, что уезжает за границу.

Недоумение распространилось в обществе. Санин покинул Петербург, среди белой зимы, только что нанявши и обмобилировавши отличную квартиру, даже абонировавшись на представления итальянской оперы, в которой участвовала сама г-жа Патти – сама, сама, сама г-жа Патти! Приятели и знакомые недоумевали; но людям вообще не свойственно долго заниматься чужими делами, и когда Санин отправился за границу – его на станцию железной дороги приехал провожать один француз-портной – и то в надежде получить недоплаченный счетец – «pour un saute-en-barque en velours noir, tout a fait chic»⁸².

XLIV

Санин сказал своим друзьям, что уезжает за границу, но не сказал, куда именно; читатели легко догадаются, что он покатил прямо во Франкфурт. Благодаря повсеместно распространенным железным дорогам он на четвертый день после выезда из Петербурга был уже там.

⁸⁰ Проклятье! (*ит.*)

⁸¹ Трус! Гнусный изменник! (*ит.*)

⁸² «За матросскую куртку из черного бархата, самую модную» (*фр.*)

Он не посещал его с самого 1840 года. Гостиница «Белого лебедя» стояла на прежнем месте и процветала, хотя уже не считалась первоклассной; Цейль, главная улица Франкфурта, мало изменилась, но не только от дома г-жи Розелли – от самой улицы, где находилась ее кондитерская, – не осталось ни следа. Санин бродил как ошалелый по местам, когда-то столь знакомым, и ничего не узнавал: прежние постройки исчезли; их заменили новые улицы, уставленные громадными сплошными домами, изящными виллами; даже публичный сад, где происходило его последнее объяснение с Джеммой, разросся и переменялся до того, что Санин себя спрашивал – полно, тот ли это сад? Что было ему делать? Как и где наводить справки? Тридцать лет прошло с тех пор... Легкое ли дело! К кому он ни обращался – никто даже имени Розелли не слышал; хозяин гостиницы советовал ему справиться в публичной библиотеке: там он, дескать, найдет все старые газеты, но какую он из этого извлечет пользу – хозяин сам объяснить не умел. Санин, с отчаянья, осведомился о г-не Клюбере. Это имя было хорошо известно хозяину – но и тут вышла неудача. Изящный комми, прогремев и возвысившись до звания капиталиста, проторговался, обанкрутился и умер в тюрьме... Это известие не причинило, впрочем, Санину ни малейшего огорчения. Он начинал уже находить свое путешествие несколько необдуманым... Но вот однажды, перелистывая франкфуртский адрес-календарь, он наткнулся на имя фон Дёнгофа, майора в отставке (Major a. D.). Он немедленно взял карету и поехал к нему – хотя почему *этот* Дёнгоф должен был непременно быть *тем* Дёнгофом и почему даже *тот* Дёнгоф мог сообщить ему какие-либо сведения о семействе Розелли? Все равно: утопающий за соломинку хватается.

Санин застал отставного майора фон Дёнгофа дома – и в принявшем его поседлом господине немедленно узнал своего бывшего противника. И тот его узнал, и даже обрадовался его появлению: оно напомнило ему молодость и молодые проказы. Санин услышал от него, что семейство Розелли давным-давно переселилось в Америку, в Нью-Йорк; что Джемма вышла замуж за негоцианта; что, впрочем, у него, Дёнгофа, есть знакомый, тоже негоциант, которому, вероятно, известен адрес ее мужа, так как у него много дел с Америкой. Санин упросил Дёнгофа сходить к этому знакомому, и – о радость! – Дёнгоф принес ему адрес Джеммина мужа, г-на Иеремии Слокома – М-г J. Slocum, New-York, Broadway, № 501. – Только адрес этот относился к 1863 году.

– Будем надеяться, – воскликнул Дёнгоф, – что наша бывшая франкфуртская красавица еще жива и не покинула Нью-Йорка! Кстати, – прибавил он, понизив голос, – а что та русская дама, что, помните, гостила тогда в Висбадене – госпожа фон Бо... фон Бозолоф – еще жива?
– Нет, – отвечал Санин, – она давно умерла.

Дёнгоф поднял глаза, но, заметив, что Санин отвернулся и нахмурился, не прибавил ни слова – и удалился.

* * *

В тот же день Санин послал письмо к г-же Джемме Слоком в Нью-Йорк. В этом письме он говорил ей, что пишет к ней из Франкфурта, куда приехал единственно для того, чтобы отыскать ее следы; что он очень хорошо сознает, до какой степени он лишен малейшего права на то, чтобы она ему отозвалась; что он ничем не заслужил ее прощения – и надеется только на то, что она, среди счастливой обстановки, в которой находится, давно позабыла о самом его существовании. Он прибавлял, что решил напомнить ей о себе вследствие случайного обстоятельства, которое слишком живо возбудило в нем образы прошедшего; рассказал ей свою жизнь, одинокую, бессемейную, безрадостную; заклинал ее понять причины, побудившие его обратиться к ней, не дать ему унести в могилу горестное сознание своей вины – давно выстраданной, но не прощенной – и порадовать его хотя самой краткой весточкой о том, как ей живется в этом новом мире, куда она удалилась. «Написав мне хоть одно слово, – так кончал

Санин свое письмо, – вы сделаете доброе дело, достойное вашей прекрасной души, – и я буду благодарить вас до последнего моего дыхания. Я остановился здесь, в гостинице *Белого лебедя* (эти слова он подчеркнул) и буду ждать – ждать до весны – вашего ответа».

Он отправил это письмо и принялся ждать. Целых шесть недель прожил он в гостинице, почти не выходя из комнаты и решительно никого не видя. Никто не мог написать к нему ни из России, ни откуда; и это было ему по сердцу; приди на его имя письмо – он уже знает, что оно *то*, которого он ждет. Он читал с утра до вечера – и не журналы, а серьезные книги, исторические сочинения. Эти продолжительные чтения, это безмолвие, это улиткообразное, скрытое житье – все это пришлось как раз под лад его душевного строя: уж за это за одно спасибо Джемме! Но жива ли она? Ответит ли она?

Наконец пришло письмо – с американской почтовой маркой – из Нью-Йорка на его имя. Почерк адреса на обертке был английский... Он не узнал его, и сердце в нем сжалось. Не разом решил он надломить пакет. Он глянул на подпись: Джемма! Слезы так и брызнули из его глаз: одно то, что она подписалась своим именем, без фамилии – служило ему залогом примирения, прощения! Он развернул тонкий лист синей почтовой бумаги – фотография выскользнула оттуда. Он поспешно ее поднял – и так и обомлел: Джемма, живая Джемма, молодая, какую он ее знал тридцать лет тому назад! Те же глаза, те же губы, тот же тип всего лица. На оборотной стороне фотографии стояло: «Дочь моя, Марианна». Все письмо было очень ласково и просто. Джемма благодарила Санина за то, что он не усумнился обратиться к ней, что он имел к ней доверие; не скрывала от него и того, что она точно после его бегства пережила тяжелые мгновенья, но тут же прибавляла, что все-таки считает – и всегда считала – свою встречу с ним за счастье, так как эта встреча помешала ей сделаться женою г-на Клюбера и таким образом, хотя косвенно, но была причиной ее брака с теперешним мужем, с которым она живет вот уже двадцать восьмой год совершенно счастливо, в довольстве и изобилии: дом их известен всему Нью-Йорку. Джемма извещала Санина, что у ней пять человек детей – четыре сына и одна восемнадцатилетняя дочь, невеста, фотографию которой она ему посылает, так как она, по общему суждению, весьма похожа на свою мать. Печальные вести Джемма прибегла к концу письма. Фрау Леноре скончалась в Нью-Йорке, куда она последовала за дочерью и зятем, – однако успела порадоваться счастьем своих детей, помянуть внучат; Панталоне тоже собирался в Америку, но умер перед самым отъездом из Франкфурта. «А Эмилио, наш милый, несравненный Эмилио – погиб славною смертью за свободу родины, в Сицилии, куда он отправился в числе тех «Тысячи», которыми предводительствовал великий Гарибальди; мы все горячо оплакали кончину нашего бесценного брата, но, и проливая слезы, мы гордились им – и вечно будем им гордиться и свято чтить его память! Его высокая, бескорыстная душа была достойна мученического венца!» Потом Джемма изъявляла свое сожаление о том, что жизнь Санина, по-видимому, так дурно сложилась, желала ему прежде всего успокоения и душевной тишины и говорила, что была бы рада свидеться с ним – хотя и сознает, как мало вероятно подобное свиданье...

Не беремся описывать чувства, испытанные Саниным при чтении этого письма. Подобным чувствам нет удовлетворительного выражения: они глубже и сильнее – и неопределеннее всякого слова. Музыка одна могла бы их передать.

Санин отвечал тотчас – и в подарок невесте послал «Марианне Слоком от неизвестного друга» гранатовый крестик, обделанный в великолепное жемчужное ожерелье. Подарок этот, хотя весьма ценный, не разорил его: в течение тридцати лет, протекших со времени его первого пребывания во Франкфурте, он успел нажить значительное состояние. В первых числах мая он вернулся в Петербург – но едва ли надолго. Слышно, что он продает все свои имения и собирается в Америку.

1871

Антон Чехов

Драма на охоте

В один из апрельских полудней 1880 года в мой кабинет вошел сторож Андрей и таинственно доложил мне, что в редакцию явился какой-то господин и убедительно просит свидания с редактором.

– Должно быть, чиновник-с, – добавил Андрей, – с кокардой...

– Попроси его прийти в другое время, – сказал я. – Сегодня я занят. Скажи, что редактор принимает только по субботам.

– Он и третьего дня приходил, вас спрашивал. Говорит, что дело большое. Просит и чуть не плачет. В субботу, говорит, ему несвободно... Прикажете принять?

Я вздохнул, положил перо и принялся ждать господина с кокардой. Начинающие писатели и вообще люди, не посвященные в редакционные тайны, приходящие при слове «редакция» в священный трепет, заставляют ждать себя немалое время. Они, после редакторского «проси», долго кашляют, долго сморкаются, медленно отворяют дверь, еще медленнее входят и этим отнимают немало времени. Господин же с кокардой не заставил ждать себя. Не успела за Андреем затвориться дверь, как я увидел в своем кабинете высокого широкоплечего мужчину, державшего в одной руке бумажный сверток, а в другой – фуражку с кокардой.

Человек, так добивавшийся свидания со мной, играет в моей повести очень видную роль. Необходимо описать его наружность.

Он, как я уже сказал, высок, широкоплеч и плотен, как хорошая рабочая лошадь. Все его тело дышит здоровьем и силой. Лицо розовое, руки велики, грудь широкая, мускулистая, волосы густы, как у здорового мальчика. Ему под сорок. Одет он со вкусом и по последней моде в новенький, недавно сшитый триковый костюм. На груди большая золотая цепь с брелоками, на мизинце мелькает крошечными яркими звездочками бриллиантовый перстень. Но, что главное всего и что так немаловажно для всякого мало-мальски порядочного героя романа или повести, – он чрезвычайно красив. Я не женщина и не художник. Мало я смыслю в мужской красоте, но господин с кокардой своею наружностью произвел на меня впечатление. Его большое мускулистое лицо осталось навсегда в моей памяти. На этом лице вы увидите настоящий греческий нос с горбинкой, тонкие губы и хорошие голубые глаза, в которых светятся доброта и еще что-то, чему трудно подобрать подходящее название. Это «что-то» можно подметить в глазах маленьких животных, когда они тоскуют или когда им больно. Что-то умоляющее, детское, безропотно терпящее... У хитрых и очень умных людей не бывает таких глаз.

От всего лица так и веет простотой, широкой, простецкой натурой, правдой... Если не ложь, что лицо есть зеркало души, то в первый день свидания с господином с кокардой я мог бы дать честное слово, что он не умеет лгать. Я мог бы даже держать пари.

Проиграл бы я пари или нет, – читатель увидит далее.

Каштановые волосы и борода густы и мягки, как шелк. Говорят, что мягкие волосы служат признаком мягкой, нежной, «шелковой» души... Преступники и злые, упрямые характеры имеют, в большинстве случаев, жесткие волосы. Правда это или нет, – читатель опять-таки увидит далее... Ни выражение лица, ни борода – ничто так не мягко и не нежно в господине с кокардой, как движения его большого, тяжелого тела. В этих движениях сквозят воспитанность, легкость, грация и даже, – простите за выражение, – некоторая женственность. Не много нужно усилий моему герою, чтобы согнуть подкову или сплющить в кулаке коробку из-под сардинок, а между тем ни одно его движение не выдает в нем физически сильного. За дверную ручку или за шляпу он берется, как за бабочку: нежно, осторожно, слегка касаясь пальцами.

Шаги его бесшумны, рукопожатия слабы. Глядя на него, забываешь, что он могуч, как Голиаф, что одной рукой может поднять он то, чего не поднять пяти редакционным Андреем. Глядя на его легкие движения, не верится, что он силен и тяжел. Спенсер мог бы назвать его образцом грации.

Войдя ко мне в кабинет, он сконфузился. Его нежную, чуткую натуру, вероятно, шокировал мой нахмуренный, недовольный вид.

– Извините, ради бога! – начал он мягким, сочным баритоном. – Я врываюсь к вам не в урочное время и заставляю вас делать для меня исключение. Вы так заняты! Но видите ли, в чем дело, г. редактор: я завтра уезжаю в Одессу по одному очень важному делу... Имей я возможность отложить эту поездку до субботы, то, верьте, я не просил бы вас делать для меня исключение. Я преклоняюсь перед правилами, потому что люблю порядок...

«Как, однако, он много говорит!» – подумал я, протягивая руку к перу и тем давая знать, что мне некогда. (Уж больно надоели мне тогда посетители!)

– Я отниму у вас одну только минуту! – продолжал мой герой извиняющимся голосом. – Но прежде всего позвольте представиться... Кандидат прав Иван Петрович Камышев, бывший судебный следователь... К пишущим людям не имею чести принадлежать, но тем не менее явился к вам с чисто писательскими целями. Перед вами стоит желающий попасть в начинающие, несмотря на свои под сорок. Но лучше поздно, чем никогда.

– Очень рад... Чем могу быть полезен?

Желающий попасть в начинающие сел и продолжал, глядя на пол своими умоляющими глазами:

– Я притащил к вам маленькую повесть, которую мне хотелось бы напечатать в вашей газете. Я вам откровенно скажу, г. редактор: написал я свою повесть не для авторской славы и не для звуков сладких... Для этих хороших вещей я уже постарел. Вступаю же на путь авторский просто из меркантильных побуждений... Заработать хочется... Я теперь решительно никаких не имею занятий. Был, знаете ли, судебным следователем в С-м уезде, прослужил пять с лишком лет, но ни капитала не нажил, ни невинности не сохранил...

Камышев вскинул на меня своими добрыми глазами и тихо засмеялся.

– Надоедлая служба... Служил-служил, махнул рукой и бросил. Занятий у меня теперь нет, есть почти нечего... И если вы, минуя достоинства, напечатаете мою повесть, то сделаете мне больше, чем одолжение... Вы поможете мне... Газета не богадельня, не странноприимный дом... Я это знаю, но... уж вы будьте так добры...

«Лжешь!» – подумал я.

Брелоки и перстень на мизинце плохо вязались с письмом ради куска хлеба, да и по лицу Камышева пробежала чуть заметная, уловимая опытным глазом тучка, которую можно видеть на лицах только редко лгущих людей.

– Какой сюжет вашей повести? – спросил я.

– Сюжет... Как бы вам сказать? Сюжет не новый... Любовь, убийство... Да вы прочтете, увидите... «Из записок судебного следователя»...

Я, вероятно, поморщился, потому что Камышев сконфуженно замигал глазами, встрепетнулся и проговорил быстро:

– Повесть моя написана по шаблону бывших судебных следователей, но... в ней вы найдете быль, правду... Все, что в ней изображено, все от крышки до крышки происходило на моих глазах... Я был и очевидцем и даже действующим лицом.

– Дело не в правде... Не нужно непременно видеть, чтоб описать... Это не важно. Дело в том, что наша бедная публика давно уже набила оскомину на Габорио и Шкляревском. Ей надоели все эти таинственные убийства, хитросплетения сыщиков и необыкновенная находчивость допрашивающих следователей. Публика, конечно, разная бывает, но я говорю о той публике, которая читает мою газету. Как называется ваша повесть?

– «Драма на охоте».

– Гм... Несерьезно, знаете ли... Да и, откровенно говоря, у меня накопилась такая масса материала, что решительно нет возможности принимать новые вещи, даже при несомненных их достоинствах...

– А уж мою-то вещь примите, пожалуйста... Вы говорите, что несерьезно, но... трудно ведь назвать вещь, не выдавши ее... И неужели вы не можете допустить, что и судебные следователи могут писать серьезно?

Все это проговорил Камышев заикаясь, вертя между пальцами карандаш и глядя себе под ноги. Кончил он тем, что сильно сконфузился и замигал глазами. Мне стало жаль его.

– Хорошо, оставьте, – сказал я. – Только не обещаю вам, что ваша повесть будет прочтена в скором времени. Вам придется подождать...

– Долго?

– Не знаю... Зайдите месяца... этак через два, через три...

– Долгонько... Но не смею настаивать... Пусть будет по-вашему...

Камышев поднялся и взялся за фуражку.

– Спасибо за аудиенцию, – сказал он. – Пойду теперь домой и буду питать себя надеждами. Три месяца надежд! Но, однако, я вам надоел. Честь имею кланяться!

– Позвольте, одно только слово, – сказал я, перелистывая его толстую, исписанную мелким почерком тетрадь. – Вы пишете здесь от первого лица... Вы, стало быть, под судебным следователем разумеете здесь себя?

– Да, но под другой фамилией. Роль моя в этой повести несколько скандальна... Неловко же под своей фамилией... Так через три месяца?

– Да, пожалуй, не ранее...

– Будьте здоровехоньки!

Бывший судебный следователь галантно раскланялся, осторожно взялся за дверную ручку и исчез, оставив на моем столе свое произведение. Я взял тетрадь и спрятал ее в стол.

Повесть красавца Камышева покоилась в моем столе два месяца. Однажды, уезжая из редакции на дачу, я вспомнил о ней и взял ее с собою.

Сидя в вагоне, я открыл тетрадь и начал читать из середины. Середина заинтересовала меня. В тот же день вечером я, несмотря на отсутствие досуга, прочел всю повесть от начала до слова «Конец», написанного размашистым почерком. Ночью я еще раз прочел эту повесть, а на заре ходил по террасе из угла в угол и тер себе виски, словно хотел вытереть из головы новую, внезапно набравшую, мучительную мысль... А мысль была действительно мучительная, невыносимо острая... Мне казалось, что я, не судебный следователь и еще того менее не присяжный психолог, открыл страшную тайну одного человека, тайну, до которой мне не было никакого дела... Я ходил по террасе и убеждал себя не верить своему открытию...

Повесть Камышева не попала в мою газету по причинам, изложенным в конце моей беседы с читателем. С читателем я встречаюсь еще раз. Теперь же, надолго расставаясь с ним, я предлагаю на его прочтение повесть Камышева.

Эта повесть не выделяется из ряда вон. В ней много длиннот, немало шероховатостей... Автор питает слабость к эффектам и сильным фразам... Видно, что он пишет первый раз в жизни, рукой непривычной, невоспитанной... Но все-таки повесть его читается легко. Фабула есть, смысл тоже, и, что важнее всего, она оригинальна, очень характерна и то, что называется, *sui generis*⁸³. Есть в ней и кое-какие литературные достоинства. Прочсть ее стоит... Вот она.

⁸³ Свообразна в своем роде (*лат.*).

Глава I

– Муж убил свою жену! Ах, как вы глупы! Дайте же мне наконец сахару!

Этот крик разбудил меня. Я потянулся и почувствовал во всех своих членах тяжесть, недомогание... Можно отлежать себе руку и ногу, но на этот раз мне казалось, что я отлежал себе все тело от головы до пяток. Не укрепляющим, а расслабляющим образом действует послеобеденный сон в душной, сушащей атмосфере, под жужжанье мух и комаров. Разбитый и облитый потом, я поднялся и пошел к окну. Был шестой час вечера. Солнце стояло еще высоко и жгло с таким же усердием, как и три часа тому назад. До захода и прохлады оставалось еще много времени.

– Муж убил свою жену!

– Полно тебе врать, Иван Демьяныч! – сказал я, давая легкий щелчок носу Ивана Демьяныча. – Мужья убивают жен только в романах да под тропиками, где кипят африканские страсти, голубчик. С нас же довольно и таких ужасов, как кражи со взломом или проживание по чужому виду.

– Кражи со взломом... – процедил сквозь свой крючковатый нос Иван Демьяныч. – Ах, как вы глупы!

– Но что же поделаешь, голубчик? Чем мы, люди, виноваты, что нашим мозгам предел положен? Впрочем, Иван Демьяныч, не грешно быть дураком при такой температуре. Ты вот у меня умница, но небось и твои мозги раскисли и поглупели от этой жары.

Моего попугая зовут не попкой и не другим каким-нибудь птичьим названием, а Иваном Демьянычем. Это имя получил он совершенно случайно. Однажды мой человек Поликарп, чистя его клетку, вдруг сделал открытие, без которого моя благородная птица и доселе величалась бы попкой... Лентяя вдруг ни с того ни с сего осенила мысль, что нос моего попугая очень похож на нос нашего деревенского лавочника Ивана Демьяныча, и с той поры за попугаем навсегда осталось имя и отчество длинноносого лавочника. С легкой руки Поликарпа и вся деревня окрестила мою диковинную птицу в Ивана Демьяныча. Волею Поликарпа птица попала в люди, а лавочник потерял свое настоящее прозвище: он до конца дней своих будет фигурировать в устах деревенщины, как «следователей попугай».

Ивана Демьяныча я купил у матери моего предшественника, судебного следователя Пospelова, умершего незадолго перед моим назначением. Я купил его вместе со старинною дубовою мебелью, кухонным хламом и всем вообще хозяйством, оставшимся после покойника. Мои стены до сих пор еще украшают фотографические карточки его родственников, а над моею кроватью все еще висит портрет самого хозяина. Покойник, худошавый, жилистый человек с рыжими усами и большой нижней губой, сидит, выпучив глаза, в полинялой ореховой раме и не отрывает от меня глаз все время, пока я лежу на его кровати... Я не снял со стен ни одной карточки, короче говоря – я оставил квартиру такой же, какую и принял. Я слишком ленив для того, чтобы заниматься собственным комфортом, и не мешаю висеть на моих стенах не только покойникам, но даже и живым, если последние того пожелают⁸⁴.

Ивану Демьянычу было так же душно, как и мне. Он ерошил свои перья, оттопыривал крылья и громко выкрикивал фразы, выученные им у моего предшественника Пospelова и Поликарпа. Чтобы занять чем-нибудь свой послеобеденный досуг, я сел перед клеткой и стал наблюдать за движениями попугая, старательно искавшего и не находившего выхода из тех

⁸⁴ Прошу у читателя извинения за подобные выражения. Ими богата повесть несчастного Камышева, и если я их не вычеркнул, то только потому, что счел нужным, в интересах характеристики автора, печатать его повесть *in toto* (целиком. – *лат.*) – А. Ч.

мук, которые причиняли ему духота и насекомые, обитавшие в его перьях... Бедняжка казался очень несчастным...

– А в котором часу они просыпаются? – донесся до меня чей-то бас из передней...

– Как когда! – отвечал голос Поликарпа. – Когда и в пять просыпается, а когда и до утра дрыхнет... Известно, делать нечего...

– Вы ихний камердинер будете?

– Прислуга. Ну, не мешай мне, замолчи... Нешто не видишь, что я читаю?

Я заглянул в переднюю. Там, на большом красном сундуке, валялся мой Поликарп и, по обыкновению, читал какую-то книгу. Впившись своими сонными, никогда не моргающими глазами в книгу, он шевелил губами и хмурился. Видимо, его раздражало присутствие постороннего лица, высокого мужика-бородача, стоявшего перед сундуком и тщетно старавшегося завязать беседу. При моем появлении мужик сделал шаг от сундука и по-солдатски вытянулся в струнку. Поликарп соорудил недовольное лицо и, не отрывая глаз от книги, слегка приподнялся.

– Что тебе нужно? – обратился я к мужику.

– Я от графа, ваше благородие. Граф изволили вам кланяться и просили вас немедля к себе-с...

– Разве граф приехал? – удивился я.

– Точно так, ваше благородие... Вчерась ночью приехали... Письмо вот извольте-с...

– Опять черти принесли! – проговорил мой Поликарп. – Два лета без него покойно прожили, а нынче опять свинюшник в уезде заведет. Опять сраму не оберешься.

– Молчи, тебя не спрашивают!

– Меня и спрашивать не надо... Сам скажу. Опять будете от него в пьяном безобразии приезжать и в озере купаться, как есть, во всем костюме... Чисть потом! И за три дня не вычистишь!

– Что теперь граф делает? – спросил я мужика...

– Изволили обедать садиться, когда меня к вам посылали... До обеда рыбку удили в купальне-с... Как прикажете отвечать?

Я распечатал письмо и прочел в нем следующее:

«Милый мой Лекок! Если ты еще жив, здравствуешь и еще не забыл своего всепьянейшего друга, то, ни минуты не медля, облачайся в свои одежды и мчись ко мне. Приехал только прошлой ночью, но уже умираю от скуки. Нетерпение, с которым я ожидаю тебя, не знает границ. Хотел было сам съездить за тобой и увезти тебя в мою берлогу, но жара сковала все мои члены. Сижу на одном месте и обмахиваюсь веером. Ну, как живешь ты? Как поживает твой умнейший Иван Демьяныч? Все еще воюешь со своим педантом Поликарпом? Приезжай скорей и рассказывай.

Твой А. К.»

Не нужно было глядеть на подпись, чтобы в крупном, некрасивом почерке узнать пьяную, редко пишущую руку моего друга, графа Алексея Карнеева. Краткость письма, претензия его на некоторую игривость и бойкость свидетельствовали, что мой недалекий друг много изорвал почтовой бумаги, прежде чем сумел сочинить это письмо.

В письме отсутствовало местоимение «который» и старательно обойдены деепричастия – то и другое редко удается графу в один присест.

– Как прикажете ответить? – повторил мужик.

Я не сразу ответил на этот вопрос, да и всякий чистоплотный человек промедлил бы на моем месте. Граф любил меня и искреннейше навязывался ко мне в друзья, я же не питал к нему ничего похожего на дружбу и даже не любил его; честнее было бы поэтому прямо раз

навсегда отказаться от его дружбы, чем ехать к нему и лицемерить. К тому же ехать к графу – значило еще раз окунуться в жизнь, которую мой Поликарп величал «свинюшником» и которая два года тому назад, во все время до отъезда графа в Петербург, расшатывала мое крепкое здоровье и сушила мой мозг. Эта беспутная, необычная жизнь, полная эффектов и пьяного бешенства, не успела подорвать мой организм, но зато сделала меня известным всей губернии... Я популярен...

Рассудок говорил мне всю сухую правду, краска стыда за недавнее прошлое разливалась по моему лицу, сердце сжималось от страха при одной мысли, что у меня не хватит мужества отказаться от поездки к графу, но я не долго колебался. Борьба продолжалась не более минуты.

– Кланяйся графу, – сказал я посланному, – и поблагодари за память... Скажи, что я занят и что... Скажи, что я...

И в тот самый момент, когда с моего языка готово уже было сорваться решительное «нет», мною вдруг овладело тяжелое чувство... Молодой человек, полный жизни, сил и желаний, заброшенный волею судеб в деревенские дебри, был охвачен чувством тоски, одиночества...

Вспомнился мне графский сад с роскошью его прохладных оранжерей и полумраком узких, заброшенных аллей... Эти аллеи, защищенные от солнца сводом из зеленых, сплетающихся ветвей старушек-лип, знают меня... Знают они и женщин, которые искали моей любви и полумрака... Вспомнилась мне роскошная гостиная, с сладкою ленью ее бархатных диванов, тяжелых портьер и ковров, мягких, как пух, с ленью, которую так любят молодые, здоровые животные... Пришла мне на память моя пьяная удаля, не знающая границ в своей шири, сатанинской гордости и презрения к жизни. И мое большое тело, утомленное сном, вновь захотело движений...

– Скажи, что я буду!

Мужик поклонился и вышел.

– Знал бы, не впускал его, черта! – проворчал Поликарп, быстро и бесцельно перелистывая книгу.

– Оставь книгу и поди оседлай Зорьку! – сказал я строго. – Живо!

– Живо... Как же, непременно... Так вот возьму и побегу... Добро бы за делом ехал, а то поедет черту рога ломать!

Это было сказано полупшепотом, но так, чтоб я слышал. Лакей, прошептавши дерзость, вытянулся передо мной и, презрительно ухмыляясь, стал ожидать ответной вспышки, но я сделал вид, что не слышал его слов. Мое молчание – лучшее и острейшее оружие в сражениях с Поликарпом. Это презрительное пропускание мимо ушей его ядовитых слов обезоруживает его и лишает почвы. Оно как наказание действует сильнее, чем подзатыльник или поток ругательных слов... Когда Поликарп вышел на двор седлать Зорьку, я заглянул в книгу, которую помешал ему читать... Это был «Граф Монте-Кристо», страшный роман Дюма... Мой цивилизованный дурак читает все, начиная с вывесок питейных домов и кончая Огюстом Контом, лежащим у меня в сундуке вместе с другими мною не читаемыми, заброшенными книгами; но из всей массы печатного и писанного он признает одни только страшные, сильно действующие романы с знатными «господами», ядами и подземными ходами, остальное же он окрестил «чепухой». Об его чтении мне придется еще говорить в будущем, теперь же – ехать! Через четверть часа копыта моей Зорьки уже вздымали пыль по дороге от деревни до графской усадьбы. Солнце было близко к своему ночлегу, но жар и духота давали еще себя чувствовать... Накаленный воздух был неподвижен и сух, несмотря на то, что дорога моя лежала по берегу громаднейшего озера... Справа видел я водную массу, слева ласкала мой взгляд молодая, весенняя листва дубового леса, а между тем мои щеки переживали Сахару.

«Быть грозе!» – подумал я, мечтая о хорошем, холодном ливне...

Озеро тихо спало. Ни одним звуком не приветствовало оно полета моей Зорьки, и лишь писк молодого кулика нарушал гробовое безмолвие неподвижного великана. Солнце гляделось

в него, как в большое зеркало, и заливало всю его ширь от моей дороги до далекого берега ослепительным светом. Ослепленным глазам казалось, что не от солнца, а от озера берет свой свет природа.

Зной вогнал в дремоту и жизнь, которую так богато озеро и его зеленые берега... Попрятались птицы, не плескалась рыба, тихо ждали прохлады полевые кузнечики и сверчки. Кругом была пустыня. Лишь изредка моя Зорька вносила меня в густое облако прибрежных комаров, да вдали на озере еле шевелились три черные лодочки старика Михея, нашего рыбака, взявшего на откуп все озеро.

Я ехал не по прямой линии, а по окружности, какую представлялись берега круглого озера. Ехать по прямой линии можно было только на лодке, ездящие же сухим путем делают большой круг и проигрывают около восьми верст. Во все время пути я, глядя на озеро, видел противоположный глинистый берег, над которым белела полоса цветшего черешневого сада, из-за черешен высилась графская клуня, усеянная разноцветными голубями, и белела маленькая колокольня графской церкви. У глинистого берега стояла купальня, обитая парусом; на перилах сушились простыни. Все это я видел, и моим глазам казалось, что меня отделяет от моего приятеля-графа какая-нибудь верста, а между тем, чтобы добраться до графской усадьбы, мне нужно было проскакать шестнадцать верст.

На пути я думал о своих странных отношениях к графу. Интересно мне было дать себе в них отчет, регулировать их, но – увы! – этот отчет оказался непосильной задачей. Сколько я ни думал, ни решал, а в конце концов пришлось остановиться на заключении, что я плохой знаток самого себя и вообще человека. Люди, знавшие меня и графа, различно истолковывают наши взаимные отношения. Узкие лбы, не видящие ничего дальше своего носа, любят утверждать, что знатный граф видел в «бедном и незнатном» судебном следователе хорошего прихвостня-собутыльника. Я, пишущий эти строки, по их разумению, ползал и пресмыкался у графского стола ради крох и огрызков! По их мнению, знатный богач, пугало и зависть всего С-го уезда, был очень умен и либерален; иначе тогда непонятно было бы милостивое снисхождение до дружбы с неимущим следователем и тот сущий либерализм, который сделал графа нечувствительным к моему «ты». Люди же поумнее объясняют наши близкие отношения общностью «духовных интересов». Я и граф – сверстники. Оба мы кончили курс в одном и том же университете, оба мы юристы и оба очень мало знаем: я знаю кое-что, граф же забыл и утопил в алкоголе все, что знал когда-нибудь. Оба мы гордецы и, в силу каких-то одним только нам известных причин, как дикари, чуждаемся общества. Оба мы не стесняемся мнением света (т. е. С-го уезда), оба безнравственны и оба плохо кончим. Таковы связующие нас «духовные интересы». Более этого ничего не могут сказать о наших отношениях знавшие нас люди.

Они, конечно, сказали бы более, если бы знали, как слаба, мягка и податлива натура друга моего, графа, и как силен и крепок я. Они многое сказали бы, если бы знали, как любил меня этот тшедушный человек и как я его не любил! Он первый предложил мне свою дружбу, и я первый сказал ему «ты», но с какою разницей в тоне! Он, в припадке хороших чувств, обнял меня и робко попросил моей дружбы – я же, охваченный однажды чувством презрения, безгливости, сказал ему:

– Полно тебе молоть чепуху!

И это «ты» он принял как выражение дружбы и стал носить его, платя мне честным, братским «ты»...

Да, лучше и честнее я сделал бы, если бы повернул свою Зорьку и поехал назад к Поликарпу и Ивану Демьянычу.

Впоследствии я думал не раз: сколько несчастий не пришлось бы мне перенести на своих плечах и сколько добра принес бы я своим ближним, если бы в этот вечер у меня хватило решимости поворотить назад, если бы моя Зорька взбесилась и унесла меня подальше от этого страшного большого озера! Сколько мучительных воспоминаний не давили бы теперь моего

мозга и не заставляли бы мою руку то и дело оставлять перо и хвататься за голову! Но не стану забегать вперед, тем более что впереди придется еще много раз останавливаться на горечи. Теперь о веселом...

Моя Зорька внесла меня в ворота графской усадьбы. У самых ворот она споткнулась, и я, потеряв стремя, чуть было не свалился на землю.

– Худой знак, барин! – крикнул мне какой-то мужик, стоявший у одной из дверей длинных графских конюшен.

Я верю в то, что человек, упавший с лошади, может сломать себе шею, но не верую в предзнаменования. Отдав повода мужику и обивая хлыстом пыль с ботфортов, я побежал в дом. Меня никто не встретил. Окна и двери в комнатах были открыты настежь, но, несмотря на это, в воздухе стоял тяжелый, странный запах. То была смесь запаха ветхих, заброшенных покоев с приятным, но едким, наркотическим запахом тепличных растений, недавно принесенных из оранжереи в комнаты... В зале, на одном из диванов, обитых светло-голубой шелковой материей, лежали две помятые подушки, а перед диваном на круглом столе я увидел стакан с несколькими каплями жидкости, распространявшей запах крепкого рижского бальзама. Все это говорило за то, что дом обитаем, но я, обойдя все одиннадцать комнат, не встретил ни одной живой души. В доме царила такая же пустыня, как и вокруг озера...

Из так называемой «мозаиковой» гостиной вела в сад большая стеклянная дверь. Я с шумом отворил ее и по мраморной террасе спустился в сад. Тут, пройдя несколько шагов по аллее, я встретил девятистолетнюю старуху Настасью, бывшую когда-то нянькой у графа. Это – маленькое, сморщенное, забытое смертью существо, с лысой головкой и колючими глазами. Когда глядишь на ее лицо, то невольно припоминаешь прозвище, данное ей дворней: «Сычиха»... Увидев меня, она вздрогнула и чуть не уронила стакан со сливками, который она несла обеими руками.

– Здорово, Сычиха! – сказал я ей.

Она искоса поглядела на меня и молча прошла мимо... Я взял ее за плечо...

– Не бойся, дура... Где граф?

Старуха показала себе на уши.

– Ты глуха? А давно ты оглохла?

Старуха, несмотря на свой преклонный возраст, отлично слышит и видит, но находит нелишним клеветать на свои органы чувств... Я пригрозил ей пальцем и отпустил ее.

Пройдя еще несколько шагов, я услышал голоса, а немного погодя увидел и людей. В том месте, где аллея расширялась в площадку, окруженную чугунными скамьями, под тенью высоких белых акаций стоял стол, на котором блестел самовар. Около стола говорили. Я тихо подошел по траве к площадке и, скрывшись за сиреневый куст, стал искать глазами графа.

Мой друг, граф Карнеев, сидел за столом на складном решетчатом стуле и пил чай. На нем был пестрый халат, в котором я видел его два года тому назад, и соломенная шляпа. Лицо было озабочено, сосредоточено, сжато в складки, так что человек, незнакомый с ним, мог бы подумать, что его мучит в данную минуту солидная мысль, забота... Наружно граф несколько не изменился за время нашей двухлетней разлуки. То же маленькое худое тело, жидкое и дряблое, как тело коростеля. Те же узкие чахоточные плечи с маленькой рыженькой головкой. Носик по-прежнему розов, щеки, как и два года тому назад, отвисают тряпочками. На лице ничего смелого, сильного, мужественного... Все слабо, апатично и вяло. Внушительны одни только большие, отвисающие вниз усы. Моему другу кто-то сказал, что ему идут длинные усы. Он поверил и теперь каждое утро меряет, насколько длиннее стала растительность над его бледными губами. С этими усами он напоминает усатого, но очень молодого и хилого котенка.

Рядом с графом за тем же столом сидел какой-то неизвестный мне толстый человек с большой стриженной головой и очень черными бровями. Лицо этого было жирно и лоснилось, как спелая дыня. Усы длиннее, чем у графа, лоб маленький, губы сжаты, и глаза лениво глядят

на небо... Черты лица расплылись, но тем не менее они жестки, как высохшая кожа. Тип не русский... Толстый человек был без сюртука и без жилета, в одной сорочке, на которой темнели мокрые от пота места. Он пил не чай, а зельтерскую воду.

В почтительном отдалении от стола стоял плотный, приземистый человечек с красным, жирным затылком и оттопыренными ушами. Это был управляющий графа, Урбенин. Ради приезда его сиятельства он нарядился в новую черную пару и теперь испытывал муки. Пот ручьями лил с его красного, загоревшего лица. Рядом с управляющим стоял мужик, приехавший ко мне с письмом. Только тут я заметил, что у этого мужика не было одного глаза. Вытянувшись в струнку и не позволяя себе ни малейшего движения, он стоял, как статуя, и ждал вопросов.

– Взять бы вот у тебя, Кузьма, твою нагайку да отшпандорить тебя во все корки, – говорил ему с расстановкой своим внушительным и мягким баском управляющий. – Разве можно так неряшливо исполнять господские приказания? Ты должен был просить их пожаловать сюда немедленно и узнать, когда именно они могут быть?

– Да, да, да... – нервничал граф. – Ты должен был все узнать! Он сказал: буду! Но ведь этого недостаточно! Он мне сейчас нужен! Обя-за-тель-но сейчас! Ты его просил, а он тебя не понял!

– На что он тебе так понадобился? – спросил графа толстяк.

– Мне нужно его видеть!

– Только-то? А по-моему, Алексей, этот твой следователь лучше бы сделал, если бы сегодня посидел у себя дома. Мне теперь не до гостей.

Я сделал большие глаза. Что значило это хозяйское, повелительное «мне»?

– Но ведь это не гость! – сказал умоляющим голосом мой друг. – Он не помешает тебе отдохнуть после дороги. С ним, пожалуйста, не церемонься!.. Увидишь, что это за человек! Ты сразу его полюбишь и подружишься с ним, голубчик!

Я вышел из-за сиреневых кустов и направился к столу. Граф увидел меня, узнал, и на просиявшем лице его заиграла улыбка.

– Вот и он! Вот и он! – заговорил он, краснея от удовольствия и выскакивая из-за стола. – Как это мило с твоей стороны!

И, подбежав ко мне, он подскочил, обнял меня и своими жесткими усами несколько раз поцарапал мою щеку. За поцелуями следовало продолжительное рукопожатие и засматривание мне в глаза...

– А ты, Сергей, нисколько не изменился! Все тот же! Такой же красавец и силач! Спасибо, что уважил и приехал!

Освободившись от графских объятий, я поздоровался с управляющим, моим хорошим знакомым, и сел за стол.

– Ах, голубчик! – продолжал встревоженный и обрадованный граф. – Если бы ты знал, как мне приятно видеть твою серьезную физиономию! Ты незнаком? Позволь тебе представить: мой хороший друг Каэтан Казимирович Пшехоцкий. А это вот, – продолжал он, указав толстяку на меня, – мой хороший, давнишний друг Сергей Петрович Зиновьев! Здешний следователь...

Чернобровый толстяк слегка приподнялся и подал мне свою жирную, ужасно потную руку.

– Очень приятно, – пробормотал он, рассматривая меня. – Очень рад.

Изливши свои чувства и успокоившись, граф налил мне стакан холодного красно-бурого чая и придвинул к моим рукам ящик с печеньями.

– Кушай... Проездом через Москву у Эйнема купил. А я на тебя сердит, Сережа, так сердит, что даже хотел поругаться с тобой!.. Мало того, что ты не написал мне в эти два года ни строчки, но даже не удостоил ответом ни одного моего письма! Это не по-дружески!

– Я не умею писать писем, – сказал я, – да кстати же у меня нет и времени для переписки. И о чем, скажи, пожалуйста, я мог писать тебе?

– Мало ли о чем?

– Право, не о чем. Я признаю письма только трех сортов: любовные, поздравительные и деловые. Первых я не писал потому, что ты не женщина и я в тебя не влюблен, вторые тебе не нужны, а от третьих мы избавлены, так как у нас с тобой отродясь общих дел не было.

– Это, положим, так, – согласился граф, быстро и охотно со всем соглашающийся, – но все-таки мог бы хоть строчку... И потом, как рассказывает вот Петр Егорыч, ты за все два года ни разу не наведалься сюда, точно за тысячу верст живешь или... брезгуешь моим добром. Мог бы здесь пожить, поохотиться. И мало ли что могло здесь без меня случиться!

Граф говорил много и долго. Раз начавши говорить о чем-нибудь, он болтал языком без умолку и без конца, как бы мелка и жалка ни была тема.

В произнесении звуков он был неумолим, как мой Иван Демьяныч. Я едва выносил его за эту способность. Остановил его на этот раз лакей Илья, высокий, тонкий человек в поношенной пятнистой ливрее, поднесший графу на серебряном подносе рюмку водки и полстакана воды. Граф выпил водку, запил водой и, поморщившись, покачал головой.

– А ты еще не бросил походя дуть водку! – сказал я.

– Не бросил, Сережа!

– Ну, хоть брось пьяную манеру морщиться и качать головой! Противно.

– Я, голубчик, все бросаю... Мне доктора запретили пить. Пью теперь только потому, что сразу нездорово бросать... Нужно постепенно...

Я поглядел на больное, истрепавшееся лицо графа, на рюмку, на лакея в желтых башмаках, поглядел я на чернобрового поляка, который с первого же раза показался мне почему-то негодяем и мошенником, на одноглазого вытянувшегося мужика, – и мне стало жутко, душно... Мне вдруг захотелось оставить эту грязную атмосферу, предварительно открыв графу глаза на всю мою к нему безграничную антипатию... Был момент, когда я готов уже был подняться и уйти... Но я не ушел... Мне помешала (стыдно сознаться!) простая физическая лень...

– Дай и мне водки! – сказал я Илье.

Продолговатые тени стали ложиться на аллею и нашу площадку...

Далекое кваканье лягушек, карканье ворон и пение иволги приветствовали уже закат солнца. Наступал весенний вечер...

– Посади Урбенина, – шепнул я графу. – Он стоит перед тобой, как мальчишка.

– Ах, сам я и не догадался! Петр Егорыч, – обратился граф к управляющему, – садитесь, пожалуйста! Будет вам стоять!

Урбенин сел и поглядел на меня благодарными глазами. Вечно здоровый и веселый, он показался мне на этот раз больным, скучающим. Лицо его было точно помято, сонно, и глаза глядели на нас лениво, нехотя...

– Что у нас новенького, Петр Егорыч? Что хорошенького? – спросил его Карнеев. – Нет ли чего-нибудь эдакого... из ряда вон выдающегося?

– Все по-старому, ваше сиятельство...

– Нет ли того... новеньких девочек, Петр Егорыч?

Нравственный Петр Егорыч покраснел.

– Не знаю, ваше сиятельство... Я в это не вхожу.

– Есть, ваше сиятельство, – пробасил все время до этого молчавший одноглазый Кузьма. – И очень даже стоящие.

– Хорошие?

– Всякие есть, ваше сиятельство, на всякий вкус... И брунетки, и баландинки, и всякие...

– Ишь ты!.. Пстой, пстой... Я теперь припоминаю тебя... Мой бывший лопорелло, секретарь по части... Тебя, кажется, Кузьмой зовут?

– Точно так...

– Помню, помню... Какие же теперь у тебя есть на примете? Небось, все мужички?

– Больше, известно, мужички, но есть и почище...

– Где ж это ты почище нашел? – спросил Илья, щура на Кузьму глаза.

– На Святой к почтарю свояченица приехала... Настась Иванна... Девка вся на винтах – сам бы ел, да деньги надобны... Кровь во всю щеку и прочее такое... Есть и того почище. Только вас и дожидалась, ваше сиятельство. Молоденькая, пухлявенькая, шустренькая... красота! Этакой красоты, ваше сиятельство, и в Питинбурге не изволили видеть...

– Кто же это?

– Оленька, лесничего Скворцова дочка.

Под Урбениным затрещал стул. Упираясь руками о стол и багровея, управляющий медленно поднялся и повернул свое лицо к одноглазому мужику. Выражение утомления и скуки уступило свое место сильному гневу...

– Замолчи, хам! – проворчал он. – Гадина одноглазая!.. Говори, что хочешь, но не смей ты трогать порядочных людей!

– Я вас не трогаю, Петр Егорыч, – невозмутимо проговорил Кузьма.

– Я не про себя говорю, болван! Впрочем... простите меня, ваше сиятельство, – обратился управляющий к графу. – Простите, что я сделал сцену, но я просил бы ваше сиятельство запретить вашему лопорелло, как вы изволили его назвать, распространять свое усердие на особ, достойных всякого уважения!

– Я ничего... – пролепетал наивный граф. – Он ничего не сказал такого особенного.

Обиженный и взволнованный до крайности, Урбенин отошел от стола и стал к нам боком. Скрестив на груди руки и мигая глазами, он спрятал от нас свое багровое лицо за веточку и задумался.

Не предчувствовал ли этот человек, что в недалеком будущем его нравственному чувству придется испытать оскорбления в тысячу раз горшие?

– Не понимаю, чего он обиделся! – шепнул мне граф. – Вот чудак! Оскорбительного ведь ничего не было сказано.

После двухлетнего трезвого житья рюмка водки подействовала на меня слегка опьяняюще. В мозгу и по всему телу моему разлилось чувство легкости, удовольствия. К тому же я стал ощущать вечернюю прохладу, которая мало-помалу вытесняла дневную духоту... Я предложил пройтись. Из дома принесли графу и его новому другу-полюку их сюртуки, и мы пошли. За нами последовал и Урбенин.

Графский сад, по которому мы гуляли, ввиду его поражающей роскоши, достоин особого, специального описания. В ботаническом, хозяйственном и во многих других отношениях он богаче и грандиознее всех садов, какие я когда-либо видел. Кроме вышеописанных поэтических аллей с зелеными сводами, вы найдете в нем все, чего только может требовать от сада взгляд прихотливого баловня. Тут и всевозможные, туземные и иностранные, фруктовые деревья, начиная с черешен и слив и кончая крупным, с гушиное яйцо, абрикосом. Шелковица, барбарис, французские бергамотовые деревья и даже маслина попадают на каждом шагу... Тут и полуразрушенные, поросшие мхом гроты, фонтаны, прудики, предназначенные для золотой рыбы и ручных карпов, горы, беседки, дорогие оранжереи... И эта редкая роскошь, собранная руками дедов и отцов, это богатство больших, полных роз, поэтических гротов и бесконечных аллей было варварски заброшено и отдано во власть сорным травам, воровскому топору и галкам, бесцеремонно вившим свои уродливые гнезда на редких деревьях! Законный владелец этого добра шел рядом со мной, и ни один мускул его испитого и сытого лица не дрогнул при виде запущенности и кричащей человеческой неряшливости, словно не он был хозяином сада.

Раз только, от нечего делать, он заметил управляющему, что недурно было бы, если бы дорожки были посыпаны песочком. Он обратил внимание на отсутствие никому не нужного песочка, а не заметил голых, умерших за холодную зиму деревьев и коров, гулявших по саду. На его замечание Урбенин ответил, что для надзора за садом нужно иметь человек десять работников, а так как его сиятельство не изволит жить у себя в имении, то затраты на сад являются роскошью ненужной и непроизводительной. Граф, конечно, согласился с этим доводом.

– Да и некогда мне, признаться! – махнул рукой Урбенин. – Летом в поле, зимой в городе хлеб продаешь... Не до сада тут!

Главная, так называемая «генеральная» аллея, вся прелесть которой состояла в ее старых, широких липах и в массе тюльпанов, тянувшихся двумя пестрыми полосами во всю ее длину, оканчивалась вдали желтым пятном. То была желтая каменная беседка, в которой когда-то был буфет с бильярдом, кеглями и китайской игрой. Мы бесцельно направились к этой беседке... У ее входа мы были встречены живым существом, несколько расстроившим нервы моих не храбрых спутников.

– Змея! – вдруг взвизгнул граф, хватая меня за руку и бледнея. – Посмотри!

Поляк сделал шаг назад, остановился как вкопанный и растопырил руки, точно загоразживая путь привидению... На верхней ступени каменной полуразрушенной лестнички лежала молодая змея из породы наших обыкновенных русских гадюк. Увидев нас, она подняла головку и зашевелилась... Граф еще раз взвизгнул и спрятался за мою спину.

– Не бойтесь, ваше сиятельство!.. – сказал лениво Урбенин, занося ногу на первую ступень...

– А если укусит?

– Не укусит. Да и вообще, кстати говоря, вред от укушения этих змей преувеличен. Я был раз укушен старой змеей – и не умер, как видите. Человеческое жало опаснее змеиного! – не преминул сморальничать со вздохом Урбенин.

И подлинно. Не успел управляющий пройти две-три ступени, как змея вытянулась во всю свою длину и с быстротою молнии юркнула в щель между двух плит. Войдя в беседку, мы увидели другое живое существо. На старом, полинявшем бильярде с порванным сукном лежал старик невысокого роста в синем пиджаке, полосатых панталонах и жокейском картузике. Он сладко и безмятежно спал. Вокруг его беззубого, похожего на дупло рта и на остром носу хозяйничали мухи. Худой, как скелет, с открытым ртом и неподвижный, он походил на труп, только что принесенный из мертвецкого подвала для вскрытия.

– Франц! – толкнул его Урбенин. – Франц!

После пяти-шести толчков Франц закрыл рот, приподнялся, обвел всех нас глазами и опять лег. Через минуту рот его был опять открыт, и мух, гулявших около его носа, опять беспокоило легкое дрожанье от храпа.

– Спит, свинья беспутная! – вздохнул Урбенин.

– Это, кажется, наш садовник Трихер? – спросил граф.

– Он самый... Вот так вот каждый день... Днем спит как убитый, а ночью в карты играет.

Сегодня, говорят, до шести часов утра играл...

– Во что же он играет?

– В азартные игры... Больше все в стуколку.

– Ну, такие господа плохо дело делают... Жалованье они только даром берут.

– Это я не для того вам сказал, ваше сиятельство, – спохватился Урбенин, – чтобы жаловаться или выражать неудовольствие, а просто так... хотелось пожалеть, что такой способный человек и страсти подвержен. А человек он трудящийся, ничего себе... не даром жалованье берет.

Мы еще раз взглянули на картежника Франца и вышли из беседки. Отсюда мы направились к садовой калитке, выходившей в поле.

В редком романе не играет солидной роли садовая калитка. Если вы сами не подметили этого, то справьтесь у моего Поликарпа, проглотившего на своем веку множество страшных и нестрашных романов, и он, наверное, подтвердит вам этот ничтожный, но все-таки характерный факт.

Мой роман тоже не избавлен от калитки. Но моя калитка разнится от других тем, что моему перу придется провести сквозь нее много несчастных и почти ни одного счастливого, что бывает в других романах только в обратном порядке. И, что хуже всего, эту калитку мне приходилось уже раз описывать, но не как романисту, а как судебному следователю... У меня проведет она сквозь себя более преступников, чем влюбленных.

Через четверть часа мы, подпираясь тростями, плелись на гору, называемую у нас Каменной Могилкой. У деревень существует легенда, что под этой каменной грудой покоится тело какого-то татарского хана, боявшегося, чтобы после его смерти враги не надругались над его прахом, а потому и завещавшего взвалить на себя гору камня. Но эта легенда едва ли справедлива... Каменные пласты, их взаимное положение и величина исключают вмешательство человеческих рук в происхождение этой горы. Она стоит особняком в поле и напоминает собою опрокинутый колпак.

Взобравшись на нее, мы увидели все озеро во всей его пленительной шири и не поддающейся описанию красоте. Солнце уже не отражалось в нем; оно зашло и оставило после себя широкую багровую полосу, окрасившую окрестности в приятный, розовато-желтый цвет. У наших ног расстилалась графская усадьба с ее домом, церковью и садом, а вдали, по ту сторону озера, серела деревенька, в которой волею судеб я имел свою резиденцию. Поверхность озера была по-прежнему неподвижна. Лодочки старика Михея, отделившись друг от друга, спешили к берегу.

В сторону от моей деревеньки темнела железнодорожная станция с дымком от локомотива, а позади нас, по другую сторону Каменной Могилы, расстилалась новая картина. У подножия Могилы шла дорога, по бокам которой высились старики-тополи. Дорога эта вела к графскому лесу, тянувшемуся до самого горизонта.

Я и граф стояли на горе. Урбенин и поляк, как люди тяжелые, предпочли подождать нас внизу, на дороге.

– Что это за шишка? – спросил я графа, кивнув на поляка. – Где ты его подцепил?

– Это очень милый господин, Сережа, очень милый! – встревоженно заговорил граф. – Ты скоро подружишься с ним!

– Ну, это едва ли. Отчего он все молчит?

– По натуре он молчалив! Но зато как умен!

– Да что он за человек?

– В Москве я с ним познакомился. Он очень милый. После ты все узнаешь, Сережа, а теперь не спрашивай. Спустимся?

Мы спустились с Могилы и пошли по дороге к лесу. Стало заметно темнеть. Из лесу доносилось кукуканье кукушки и голосовые вздрагивания утомленного, вероятно молодого, соловья.

– Ау! ау! – услышали мы звонкий детский голосок, подходя к лесу. – Ловите меня!

И из лесу выбежала маленькая девочка, лет пяти, с белой, как лен, головкой и в голубом платье. Увидев нас, она звонко захохотала и, подпрыгивая, подскочила к Урбенину и обняла его колено. Урбенин поднял ее и поцеловал в щеку.

– Моя дочка, Саша! – сказал он. – Рекомендую.

За Сашей гнался из лесу гимназист лет пятнадцати, сын Урбенина. Увидев нас, он в нерешимости снял шапку, надел и опять снял. За ним тихо двигалось красное пятно. Это пятно сразу приковало к себе наше внимание.

– Какое чудное видение! – воскликнул граф, хватая меня за руку. – Погляди! Какая прелесть! Что это за девочка? Я и не знал, что в моих лесах обитают такие наяды!

Я взглянул на Урбенина, чтобы спросить, что это за девушка, и, странно, только в этот момент заметил, что управляющий ужасно пьян. Он, красный как рак, покачнулся и схватил меня за локоть.

– Сергей Петрович! – зашептал он мне на ухо, обдавая меня спиртными парами. – Умоляю вас – удержите графа от дальнейших замечаний относительно этой девушки. Он по привычке может лишнее сказать, а это в высшей степени достойная особа!

«В высшей степени достойная особа» представляла из себя девятнадцатилетнюю девушку с прекрасной белокурой головкой, добрыми голубыми глазами и длинными кудрями. Она была в ярко-красном, полудетском, полудевическом, платье. Стройные, как иглы, ножки в красных чулках сидели в крошечных, почти детских башмачках. Круглые плечи ее все время, пока я любовался ею, кокетливо ежились, словно им было холодно и словно их кусал мой взгляд.

– При таком молодом лице и такие развитые формы! – шепнул мне граф, потерявший еще в самой ранней молодости способность уважать женщин и не глядеть на них с точки зрения испорченного животного.

У меня же, помню, затеплилось в груди хорошее чувство. Я был еще поэтом и в обществе лесов, майского вечера и начинающей мерцать вечерней звезды мог глядеть на женщину только поэтом... Я смотрел на девушку в красном с тем же благоговением, с каким привык глядеть на леса, горы, лазурное небо. У меня еще тогда осталась некоторая доля сентиментальности, полученной мною в наследство от моей матери-немки.

– Кто это? – спросил граф.

– Это дочь лесничего Скворцова, ваше сиятельство! – сказал Урбенин.

– Это та Оленька, о которой говорил одноглазый мужик?

– Да, он упомянул ее имя, – ответил управляющий, глядя на меня умоляющими, большими глазами.

Девушка в красном пропустила нас мимо себя, по-видимому, не обращая на нас ни малейшего внимания. Глаза ее глядели куда-то в сторону, но я, человек, знающий женщин, чувствовал на своем лице ее зрачки.

– Кто из них граф? – услышал я позади нас ее шепот.

– Вот этот, с длинными усами, – отвечал гимназист.

И мы услышали сзади себя серебристый смех... То был смех разочарованной... Она думала, что граф, владелец этих громадных лесов и широкого озера – я, а не этот пигмей с испитым лицом и длинными усами...

Я услышал глубокий вздох, выходящий из коренастой груди Урбенина. Железный человек еле двигался.

– Отпусти управляющего, – шепнул я графу. – Он болен или... пьян.

– Вы, кажется, больны, Петр Егорыч! – обратился граф к Урбенину. – Вы мне не нужны, а потому я вас не задерживаю.

– Не беспокойтесь, ваше сиятельство. Благодарю вас за ваше внимание, но я не болен.

Я оглянулся... Красное пятно не двигалось и глядело нам вслед...

Бедная белокурая головка! Думал ли я в этот тихий, полный покоя майский вечер, что она впоследствии будет героиней моего беспокойного романа?

Теперь, когда я пишу эти строки, в мои теплые окна злобно стучит осенний дождь и где-то надо мной воет ветер. Я гляжу на темное окно и на фоне ночного мрака силюсь создать силу воображения мою милую героиню... И я вижу ее с ее невинно-детским, наивным, добрым личиком и любящими глазами. Мне хочется бросить перо и разорвать, сжечь то, что уже написано. К чему трогать память этого молодого, безгрешного существа?

Но тут же, около моей чернильницы, стоит ее фотографический портрет. Здесь белокурая головка представлена во всем суетном величии глубоко павшей красивой женщины. Глаза, утомленные, но гордые развратом, неподвижны. Здесь она именно та змея, вред от укушения которой Урбенин не назвал бы преувеличенным.

Она дала буре поцелуй, и буря сломала цветок у самого корня. Много взято, но зато слишком дорого и заплачено. Читатель простит ей ее грехи...

Мы пошли по лесу.

Сосны скучны своим молчаливым однообразием. Все они одинакового роста, похожи одна на другую и во все времена года сохраняют свой вид, не зная ни смерти, ни весеннего обновления. Но зато привлекательны они своею угрюмостью: неподвижны, бесшумны, словно унылую думу думают.

– Не воротиться ли нам? – предложил граф.

На этот вопрос не последовало ответа. Поляку было решительно все равно, где бы ни быть, Урбенин не считал свой голос решающим, а я слишком обрадовался лесной прохладе и смолистому воздуху, чтобы повернуться назад. К тому же нужно было убить чем-нибудь, хотя бы простою прогулкой, время до ночи. Мысль о приближающейся дикой ночи сопровождалась сладким замиранием сердца. Я, стыдно сознаваясь, мечтал о ней и мысленно уже предвкушал ее наслаждение. А по тому нетерпению, с каким граф то и дело посматривал на часы, видно было, что и его терзало ожидание. Мы чувствовали, что понимали друг друга.

Около домика лесничего, ютившегося между сосен на маленькой квадратной площадке, нас встретили со звонким, певучим лаем две маленькие собаки желто-огненного цвета, неизвестной мне породы, гибкие, как угри, и лоснящиеся. Узнав Урбенина, они весело замахали хвостами и побежали к нему, из чего можно было заключить, что управляющий часто посещал домик лесничего. Тут же около домика встретил нас какой-то парень без сапог и без шапки, с крупными веснушками на удивленном лице. Минуту он глядел на нас молча, выпучив глаза, потом же, узнав, вероятно, графа, ахнул и опрометью побежал в домик.

– Я знаю, зачем он побежал, – засмеялся граф. – Я его помню... Это Митька.

Граф не обознался. Меньше чем через минуту Митька вышел из домика, неся на подносе рюмку водки и полстакана воды.

– На доброе здоровье, ваше сиятельство! – сказал он, поднося и улыбаясь во все свое глупое, удивленное лицо.

Граф выпил водку, «закусил» водой, но на этот раз не поморщился. В ста шагах от домика стояла чугунная скамья, такая же старая, как и сосны. Мы сели на нее и занялись созерцанием майского вечера во всей его тихой красоте... Над нашими головами с карканьем летали испуганные вороны, с разных сторон доносилось соловьиное пение; это только и нарушало всеобщую тишину.

Граф не умеет молчать даже в тихий весенний вечер, когда человеческий голос менее всего приятен.

– Я не знаю, останешься ли ты доволен? – обратился он ко мне. – Я заказал к ужину уху из ершей и дичь. К водке будет холодная осетрина и поросенок с хреном.

Словно рассердясь на эту прозу, поэтические сосны вдруг зашевелили своими верхушками, и по лесу пронесся тихий ропот. Свежий ветерок пробежал по просеке и поиграл травой.

– Будет вам! – крикнул Урбенин собачонкам огненного цвета, мешавшим ему своими ласками закурить папиросу. – А мне сдается, что сегодня будет дождь. По воздуху чувствую. Сегодня была такая ужасная жара, что не нужно быть ученым профессором, чтобы предсказать дождь. Для хлеба будет хорошо.

«А на что тебе хлеб, – подумал я, – если его граф пропьет? Незачем дождю и трудиться».

По лесу еще раз пробежал ветерок, но на этот раз более резкий. Сосны и трава зароптали громче.

– Пойдемте домой.

Мы встали и лениво поплелись назад, к домику.

– Лучше быть этой белокурой Оленькой, – обратился я к Урбенину, – и жить здесь со зверями, чем судебным следователем и жить с людьми... Покойнее. Не правда ли, Петр Егорыч?

– Чем ни быть, лишь бы на душе было покойно, Сергей Петрович.

– А у этой хорошенькой Оленьки покойно на душе?

– Одному только Богу ведома чужая душа, но мне кажется, что ей не из чего беспокоиться. Горя не много, грехов – как у малолетка... Это очень хорошая девушка! Но вот, наконец, и небо про дождь заговорило...

Послышался грохот не то далекого экипажа, не то игры в кегли... Прогремел где-то вдали за лесом гром... Митька, все время следивший за нами, вздрогнул и быстро закрестился...

– Гроза! – встрепенулся граф. – Вот сюрприз! Этак нас дорогой дождь захватит... И темно как стало! Говорил: воротимся! Так нет, дальше пошел...

– Мы в домике грозу переждем, – предложил я.

– Зачем же в домике? – заговорил Урбенин, как-то странно мигая глазами. – Дождь будет идти всю ночь, так и вы всю ночь в домике просидите? А вы не извольте беспокоиться... Идите себе, а Митька побежит вперед, экипаж вам навстречу вышлет.

– Ничего, авось и не всю ночь дождь будет хлестать... Грозовые тучи обыкновенно скоро проходят... Кстати же я незнаком еще с новым лесничим, и хотелось бы с этой Оленькой поболтать... узнать, что за птичка...

– Я не прочь! – согласился граф.

– Но как вы туда пойдете, ежели... ежели там того... не прибрано? – залепетал встревоженно Урбенин. – Просидеть там в духоте, ваше сиятельство, в то время, когда дома быть можно... Не понимаю, что за удовольствие!.. А знакомиться с лесничим, ежели он болен...

Очевидно было, что управляющему сильно не хотелось, чтобы мы вошли в домик лесничего. Он даже растопырил руки, точно желая загородить нам дорогу... Я понял по его лицу, что у него были причины не впускать нас. Уважаю я чужие причины и тайны, но на этот раз меня сильно подстрекнуло любопытство. Я настоял, и мы вошли в домик.

– В зал пожалуйте! – не сказал, а как-то особенно икнул, захлебываясь от радости, босой Митька...

Представьте вы себе самый маленький в мире зал с некрашеными деревянными стенами. Стены увешаны олеографиями «Нивы», фотографиями в раковинных, или, как они у нас называются, ракушковых рамочках и аттестатами... Один аттестат – благодарность какого-то барона за долголетнюю службу, остальные – лошадиные... Кое-где по стенам вьется плющ... В углу перед маленьким образом тихо теплится и слабо отражается в серебряной оправе синий огонек. У стен жмутся стулья, по-видимому, недавно купленные... Куплено много лишних, но и их поставили: девать некуда... Тут же теснятся кресла с диваном в белоснежных чехлах с оборками и кружевами и круглый лакированный стол. На диване дремлет ручной заяц... Уютно, чистенько и тепло... На всем заметно присутствие женщины. Даже этажерочка с книгами глядит как-то невинно, по-женски, словно ей так и хочется сказать, что на ней нет ничего, кроме слабеньких романов и смиренных стихов... Прелесть таких уютных, теплых комнаток чувствуется не так весною, как осенью, когда ищешь приюта от холода, сырости...

Митька с шумом, сопя, дуя и громко чиркая спичками, зажег две свечи и осторожно, как молоко, поставил их на стол. Мы сели на кресла, переглянулись и засмеялись...

– Николай Ефимыч больной лежит, – пояснил отсутствие хозяев Урбенин, – а Ольга Николаевна, должно быть, моих детей пошла провожать...

– Митька, двери заперты? – услышали мы слабый тенор из соседней комнаты.

– Заперты-с, Николай Ефимыч! – прохрипел Митька и полетел опроретью в соседнюю комнату.

– То-то... Смотри, чтобы все заперты были... – сказал тот же слабый голос. – На ключ, крепко-накрепко... Если воры будут лезть, то ты мне скажешь... Я их, мерзавцев, ружьем... подлецов этаких...

– Беспременно-с, Николай Ефимыч!

Мы засмеялись и вопросительно поглядели на Урбенина. Тот покраснел и, чтобы скрыть свое смущение, начал поправлять на окне занавеску... Что сей сон значил? Мы опять переглянулись.

Но недоумевать было некогда. На дворе послышались поспешные шаги, затем шум на крыльце и хлопанье двери. В «зал» влетела девушка в красном.

– «Люб-лю гро-зу в на-ча-ле мая!» – запела она высоким, визжащим сопрано, прерывая свой визг смехом, но, увидев нас, она вдруг остановилась и умолкла.

Она сконфузилась и тихо, как овечка, пошла в комнату, откуда только что слышался голос ее отца, Николая Ефимыча.

– Не ожидала! – усмехнулся Урбенин.

Через несколько времени она тихо вошла, села на стул, ближайший к двери, и стала нас рассматривать. Смотрела она на нас смело, в упор, словно мы были не новые для нее люди, а животные зоологического сада. Минуту и мы глядели на нее молча, не двигаясь... Я согласился бы и год просидеть неподвижно и глядеть на нее – до того хороша она была в этот вечер. Свежий, как воздух, румянец, часто дышащая, поднимающаяся грудь, кудри, разбросанные на лоб, на плечи, на правую руку, поправляющую воротничок, большие блестящие глаза... все это на одном маленьком теле, поглощаемое одним взглядом... Поглядишь один раз на это маленькое пространство и увидишь больше, чем если бы глядел целые века на нескончаемый горизонт... На меня глядела она серьезно, снизу вверх, вопрошающе; когда же ее глаза переходили с меня на графа или поляка, то я начинал читать в них обратное: взгляд сверху вниз и смех...

Первый заговорил я.

– Рекомендуюсь, – сказал я, вставая и подходя к ней, – Зиновьев... А это, рекомендую, мой друг, граф Карнеев... Просим прощения, что без приглашения вломились в ваш хорошенький домик... Мы, конечно, не сделали бы этого, если бы нас не загнала гроза...

– Но ведь от этого не развалится наш домик! – сказала она, смеясь и подавая мне руку.

Она показала мне прелестные зубы. Я сел рядом с ней на стул и рассказал ей о том, как неожиданно встретилась на нашем пути гроза. Начался разговор о погоде – начале всех начал. Пока мы с ней беседовали, Митька уже успел два раза поднести графу водки и неразлучной с ней воды... Пользуясь тем, что я на него не смотрю, граф после обеих рюмок сладко поморщился и покачал головой.

– Вы, может быть, закусить желаете? – спросила меня Оленька и, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты...

Первые капли застучали по стеклам... Я подошел к окну... Было уже совсем темно, и сквозь стекло я не увидел ничего, кроме ползущих вниз дождевых капель и отражения собственного носа. Блеснул свет от молнии и осветил несколько ближайших сосен...

– Двери заперты? – услышал я опять слабый тенор. – Митька, поди, подлая твоя душа, запри двери! Мучение мое, господи!

Баба с двойным, перетянутым животом и с глупым озабоченным лицом вошла в зал, низко поклонилась графу и покрыла стол белой скатертью. За ней осторожно двигался Митька, неся закуски. Через минуту на столе стояли водка, ром, сыр и тарелка с какой-то жареной птицей. Граф выпил рюмку водки, но есть не стал. Поляк недоверчиво понюхал птицу и принялся ее резать.

– Уже начался дождь! Поглядите! – сказал я вошедшей Оленьке.

Девушка в красном подошла к моему окну, и в это самое время нас осветило на мгновение белым сиянием... Раздался наверху треск, и мне показалось, что что-то большое, тяжелое

сорвалось на небе с места и с грохотом покатилося на землю... Оконные стекла и рюмки, стоявшие перед графом, содрогнулись и издали свой стеклянный звук... Удар был сильный...

– Вы боитесь грозы? – спросил я Оленьку.

Та прижала щеку к круглому плечу и поглядела на меня детски доверчиво.

– Боюсь, – прошептала она, немного подумав. – Гроза убила у меня мою мать... В газетах даже писали об этом... Моя мать шла по полю и плакала... Ей очень горько жилось на этом свете... Бог сжалился над ней и убил ее своим небесным электричеством.

– Откуда вы знаете, что там электричество?

– Я училась... Вы знаете? Убитые грозой и на войне и умершие от тяжелых родов попадают в рай... Этого нигде не написано в книгах, но это верно. Мать моя теперь в раю. Мне кажется, что и меня убьет гроза когда-нибудь и что и я буду в раю... Вы образованный человек?

– Да...

– Стало быть, вы не будете смеяться... Мне вот как хотелось бы умереть. Одеться в самое дорогое, модное платье, какое я на днях видела на здешней богачке, помещице Шеффер, надеть на руки браслеты... Потом стать на самый верх Каменной Могилы и дать себя убить молнии так, чтобы все люди видели... Страшный гром, знаете, и конец...

– Какая дикая фантазия! – усмехнулся я, заглядывая в глаза, полные священного ужаса перед страшной, но эффектной смертью. – А в обыкновенном платье вы не хотите умирать?

– Нет... – покачала головой Оленька. – И так, чтобы все люди видели.

– Ваше теперешнее платье лучше всяких модных и дорогих платьев... Оно идет к вам. В нем вы похожи на красный цветок зеленого леса.

– Нет, это неправда! – наивно вздохнула Оленька. – Это платье дешевое, не может быть оно хорошим.

К нашему окну подошел граф с явным намерением поговорить с хорошенькой Оленькой. Мой друг говорит на трех европейских языках, но не умеет говорить с женщинами. Он как-то некстати постоял около нас, нелепо улыбнулся, промычал «мда» и отошел вспять, к графину с водкой.

– Вы, когда входили сюда в комнату, – сказал я Оленьке, – пели «Люблю грозу в начале мая». Разве эти стихи переложены на песню?

– Нет, я пою по-своему все стихи, какие только знаю.

Я случайно оглянулся назад. На нас глядел Урбенин. В глазах его я прочел ненависть, злобу, которые вовсе не идут к его доброму, мягкому лицу.

«Ревнует он, что ли?» – подумал я.

Бедняга, уловив мой вопросительный взгляд, поднялся со стула и пошел зачем-то в переднюю... Даже по его походке было заметно, что он был взволнован. Удары грома, один другого сильнее и раскатистее, стали повторяться все чаще и чаще... Молния непрерывно красила в свой приятный, ослепительный свет небо, и сосны, и мокрую почву... До конца дождя было еще далеко. Я отошел от окна к этажерке с книгами и занялся осмотром Оленькиной библиотеки. «Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты», – но из добра, симметрично покоившегося на этажерке, трудно было вывести какое бы то ни было заключение об умственном уровне и «образовательном цензе» Оленьки. Тут была какая-то странная смесь. Три хрестоматии, одна книжка Борна, задачник Евтушевского, второй том Лермонтова, Шкляревский, журнал «Дело», поваренная книга, «Складчина»... Я мог бы насчитать вам еще более книг, но в то время, когда я взял с этажерки «Складчину» и начал ее перелистывать, дверь из другой комнаты отворилась, и в зал вошел субъект, сразу отвлекший мое внимание от Оленькиного образовательного ценза. Это был высокий, жилистый человек в ситцевом халате и порванных туфлях, с достаточно оригинальным лицом. Лицо его, исписанное синими жилочками, было украшено фельдфебельскими усами и бачками и в общем напоминало птичью физиономию. Все лицо было вытянуто вперед, словно стремилось к кончику носа... Такие лица называются,

кажется, «кувшинными рылами». Маленькая головка этого субъекта сидела на длинной, худощавой шейке с большим кадыком и покачивалась, как скворечня на ветре... Станный человек обвел нас мутными, зелеными глазами и уставился на графа...

– Двери заперты? – спросил он умоляющим голосом.

Граф поглядел на меня и пожал плечами...

– Не беспокойся, папаша! – сказала Оленька. – Все заперто... Иди в свою комнату!

– А сарай заперт?

– Он немножко тово... трогається иногда, – шепнул Урбенин, показываясь из передней. – Бойтся воров и вот, как видите, все насчет дверей хлопочет... Николай Ефимыч, – обратился он к странному субъекту, – иди к себе в комнату и ложись спать! Не беспокойся, все заперто!

– А окна заперты?

Николай Ефимыч быстро обегал все окна, попробовал их запоры и, не взглянув на нас, зашаркал туфлями в свою комнату.

– Находит на него иногда, на беднягу, – начал пояснять по его уходе Урбенин. – Хороший, славный такой человек, знаете ли, семейный – и этакая напасть! Чуть ли не каждое лето в уме мешается...

Я посмотрел на Оленьку. Та конфузливо, спрятав от нас свое лицо, приводила в порядок свои потревоженные книги. Ей, по-видимому, стыдно было за своего сумасшедшего отца.

– А экипаж приехал, ваше сиятельство! – сказал Урбенин. – Можете ехать, если желаете!

– Откуда же этот экипаж взялся? – спросил я.

– Я посылал за ним...

Через минуту я сидел с графом в карете, слушал раскаты грома и злился...

– Выжил-таки нас из домика этот Петр Егорыч, черт его возьми! – ворчал я, не на шутку рассердясь. – Так и не дал разглядеть эту Оленьку! Я не съел бы ее у него... Старый дурак! Все время от ревности лопался... Он влюблен в эту девочку...

– Да, да, да... Представь, и я это заметил! И не выпускал он нас в домик только из ревности и за экипажем послал из ревности... Ха-ха!

– Седина в бороду, а бес в ребро... Впрочем, брат, трудно не влюбиться в эту девушку в красном, видя ее каждый день такой, какой мы ее сегодня видели! Чертовски хорошенькая! Только не по его рылу она... Он должен это понимать и не ревновать так эгоистически... Люби, но не мешай и другим, тем более, что знаешь, что она не про тебя писана... Этакий ведь старый болван!

– Помнишь, как он вскипел, когда Кузьма за чаем упомянул ее имя? – хихикнул граф. – Я думал, что он всех нас побьет тогда... Так горячо не заступаются за честное имя женщины, к которой равнодушны...

– Заступаются, брат... Но дело не в этом... Важно вот что... Если он нами так командовал сегодня, то что выделяет он с маленькими людьми, с теми, которые находятся в его распоряжении! Небось, ключникам, экономам, охотникам и прочим малым мира сего и подступиться к ней не дает! Любовь и ревность делают человека несправедливым, бессердечным, человеконенавистником... Держу пари, что он заел уж из-за этой Оленьки не одного служащего под его начальством. Умно поэтому сделаешь, если будешь давать поменьше веры его жалобам на служащих и докладам о необходимости изгнания того или другого. Вообще на время ограничь его власть... Любовь пройдет – ну, тогда нечего будет бояться. Он добрый и честный малый...

– А как тебе нравится ее папенька? – засмеялся граф.

– Сумасшедший... Ему нужно в сумасшедшем доме сидеть, а не лесами заведовать... Вообще не солжешь, если на воротах своей усадьбы повесишь вывеску: «Сумасшедший дом»... У тебя здесь настоящий Бедлам! Лесничий этот, Сычиха, Франц, помешанный на картах, влюбленный старик, экзальтированная девушка, спившийся граф... чего лучше?

– А ведь этот лесничий жалованье получает! Как же он служит, если он сумасшедший?

– Очевидно, Урбенин держит его только из-за дочери... Урбенин говорит, что на Николая Ефимыча находит почти каждое лето... Но это едва ли... Не каждое лето, а постоянно болен этот лесничий... К счастью, твой Петр Егорыч редко лжет и выдает себя, если соврет что-нибудь...

– В прошлом году Урбенин уведомлял меня, что старый лесничий Ахметьев едет в монахи на Афон, и рекомендовал мне «опытного, честного и заслуженного» Скворцова... Я, конечно, дал согласие, как и всегда его даю. Письма ведь не лица: не выдают себя, если лгут.

Карета въехала во двор и остановилась у подъезда. Мы вышли из нее. Дождь уже прошел. Громовая туча, сверкая молниями и издавая сердитый ропот, спешила на северо-восток, все более и более открывая голубое, звездное небо. Казалось, тяжело вооруженная сила, производя опустошения и взявши страшную дань, стремилась к новым победам... Отставшие тучки гнались за ней и спешили, словно боялись не догнать... Природа получала обратно свой мир...

И этот мир чудился в тихом ароматном воздухе, полном неги и соловьиных мелодий, в молчании спящего сада, в ласкающем свете поднимающейся луны... Озеро проснулось после дневного сна и легким ворчаньем давало знать о себе человеческому слуху...

В такое время хорошо кататься по полю в покойной коляске или работать на озере веслами... Но мы пошли в дом... Там нас ожидала иного рода «поэзия».

Самоубийцей называется тот, кто, под влиянием психической боли или угнетаемый невыносимым страданием, пускает себе пулю в лоб; для тех же, кто дает волю своим жалким, опошляющим душу страстям в святые дни весны и молодости, нет названия на человеческом языке. За пулей следует могильный покой, за погубленной молодостью следуют годы скорби и мучительных воспоминаний. Кто профанировал свою весну, тот понимает теперешнее состояние моей души. Я еще не стар, не сед, но я уже не живу. Психиатры рассказывают, что один солдат, раненный при Ватерлоо, сошел с ума и впоследствии уверял всех и сам в то верил, что он убит при Ватерлоо, а что то, что теперь считают за него, есть только его тень, отражение прошлого. Нечто похожее на эту полусмерть переживаю теперь и я...

– Я очень рад, что ты ничего не ел у лесничего и не испортил себе аппетита, – сказал мне граф, когда мы входили в дом. – Мы отлично поужинаем... по-старому... Подавать! – приказал он Илье, стаскивавшему с него сюртук и надевавшему халат.

Мы отправились в столовую. Тут, на сервированном столе, уже «кипела жизнь». Бутылки всех цветов и всевозможного роста стояли рядами, как на полках в театральных буфетах, и, отражая в себе ламповый свет, ждали нашего внимания. Соленая, маринованная и всякая другая закуска стояла на другом столе с графином водки и английской горькой. Около же винных бутылок стояли два блюда: одно с поросенком, другое с холодной осетриной...

– Ну-с... – начал граф, наливая три рюмки и пожимаясь, как от холода. – Будем здоровы! Бери свою рюмку, Каэтан Казимирович!

Я выпил, поляк же отрицательно покачал головой. Он придвинул к себе осетрину, понюхал ее и начал есть.

Прошу извинения у читателя. Сейчас мне придется описывать совсем не «романтическое».

– Ну-с... они выпили по другой, – сказал граф, наливая вторые рюмки. – Дерзай, Лекок! Я взял свою рюмку, поглядел на нее и поставил...

– Черт возьми, давно уже я не пил, – сказал я. – Не вспомнить ли старину? – И, недолго думая, я налил пять рюмок и одну за другой опрокинул себе в рот. Иначе я не умел пить. Маленькие школьники учатся у больших курить папиросы: граф, глядя на меня, налил себе пять рюмок и, согнувшись дугой, сморщившись и качая головой, выпил их. Мои пять рюмок показались ему ухарством, но я пил вовсе не для того, чтобы прихвастнуть талантом пить... Мне хотелось опьянения, хорошего, сильного опьянения, какого я давно уже не испытывал, живя у себя в деревеньке. Выпивши, я сел за стол и принялся за поросенка...

Опьянение не заставило долго ждать себя. Скоро я почувствовал легкое головокружение. В груди заиграл приятный холодок – начало счастливого, экспансивного состояния. Мне вдруг, без особенно заметного перехода, стало ужасно весело. Чувство пустоты, скуки уступило свое место ощущению полного веселья, радости. Я начал улыбаться. Захотелось мне вдруг болтовни, смеха, людей. Жуя поросенка, я стал чувствовать полноту жизни, чуть ли не самое довольство жизнью, чуть ли не счастье.

– Отчего же вы ничего не выпьете? – обратился я к поляку.

– Он ничего не пьет, – сказал граф. – Ты не принуждай его.

– Но все-таки хоть что-нибудь да пьете же!

Поляк положил себе в рот большой кусок осетрины и отрицательно покачал головой. Молчание его меня подзадорило.

– Послушайте, Каэтан... как вас по батюшке... отчего вы все молчите? – спросил я его. – Я не имел еще удовольствия слышать вашего голоса.

Две брови его, похожие на летящую ласточку, поднялись, и он поглядел на меня.

– А вам желательно, чтоб я говорил? – спросил он с сильным польским акцентом.

– Весьма желательно.

– А на что вам?

– Помилуйте! На пароходах за обедом чужие и незнакомые люди поднимают между собой разговор, а мы с вами знакомы уже несколько часов, рассматриваем друг друга и не проговорили между собой еще ни одного слова! На что это похоже?

Поляк молчал.

– Отчего же вы молчите? – спросил я, обождав немного. – Ответьте что-нибудь!

– Я не желаю отвечать вам. В вашем голосе я слышу смех, а я не люблю насмешек.

– Он несколько не смеется! – встревожился граф. – Откуда это ты взял, Каэтан? Он дружески...

– Со мной графы и князья не говорили таким тоном! – сказал Каэтан, хмурясь. – Я не люблю такого тона.

– Стало быть, не удостоите беседой? – продолжал я приставать, выпивая еще рюмку и смеясь.

– Знаешь, зачем собственно я приехал сюда? – перебил граф, желая переменить разговор. – Я тебе не говорил еще об этом? Прихожу я в Петербурге к одному знакомому доктору, у которого я лечусь постоянно, и жалуясь на свою болезнь. Он выслушал, выстукал, ощупал, знаешь ли, всего и говорит: «Вы не трус». Я хоть не трус, но, знаешь, побледнел: «Не трус», – говорю.

– Короче, брат... Надоело.

– Предсказал скорую смерть, если я не оставлю Петербурга и не уеду! У меня вся печень испорчена от долгого питья... Я и решил ехать сюда. Да и глупо там сидеть... Здесь именно такое роскошное, богатое... Климат один чего стоит!.. Делом, по крайней мере, можно заняться! Труд самое лучшее, самое радикальное лекарство. Не правда ли, Каэтан? Займусь хозяйством и брошу пить... Доктор не велел мне ни одной рюмки... ни одной!

– Ну, и не пей.

– Я и не пью... Сегодня в последний раз, ради свидания с тобой (граф потянулся ко мне и чмокнул меня в щеку) ... с моим милым, хорошим другом, завтра же – ни капли! Бахус прощается сегодня со мной навеки... На прощанье, Сережа, коньячку... выпьем?

Мы выпили коньяку.

– Вылечусь, Сережа, голубчик, и займусь хозяйством... Рациональным хозяйством! Урбенин – добрый, милый... понимает все, но разве он хозяин? Он рутинер! Надо журналы выписывать, читать, следить за всем, участвовать на сельскохозяйственных выставках, а он необразован для этого! В Оленьку... неужели он влюблен? Ха-ха! Я сам займусь, а его помощ-

ником своим сделаю... В выборах буду участвовать, общество веселить... а? Ведь и тут можно счастливо прожить! Ты как думаешь? Ну, вот ты уж и смеешься! Уж и смеешься! Право, с тобой нельзя ни о чем говорить!

Мне было весело, смешно. Смешил меня граф, смешили свечи, бутылки, лепные зайцы и утки, украшавшие стены столовой... Не смешила меня одна только трезвая физиономия Каэтана Казимировича. Присутствие этого человека раздражало меня.

– Нельзя ли этого шляхтича к черту? – шепнул я графу.

– Что ты! Ради бога... – залепетал граф, хватая меня за обе руки, словно я собирался колотить его поляка. – Пусть себе сидит!

– Но я не могу его видеть! Послушайте! – обратился я к Пшехоцкому. – Вы отказались со мной говорить, но, простите меня, я не потерял еще надежды покороче познакомиться с вашей разговорной способностью...

– Оставь! – дернул меня граф за рукав. – Умоляю!

– Я буду приставать к вам до тех пор, пока вы не станете отвечать мне, – продолжал я. – Что вы хмуритесь? Нешто и теперь слышите в моем голосе смех?

– Если б я выпил столько, сколько вы, то я стал бы с вами разговаривать, а то мы с вами не пара... – проворчал поляк.

– Мы с вами не пара, что и требовалось доказать... Я хотел сказать именно то же самое... Гусь свинье не товарищ, пьяный трезвому не родня... Пьяный мешает трезвому, трезвый пьяному. В соседней гостиной есть отличные мягкие диваны! На них хорошо полежать после осетринки с хреном. Туда не слышен мой голос. Не желаете ли вы туда отправиться?

Граф всплеснул руками и, мигая глазами, заходил по столовой.

Он трус и боится «крупных» разговоров... Меня же, когда я бывал пьян, тешили недоумения и неудовольствия...

– Я не понимаю! Я не понимаю! – простонал граф, не зная, что сказать и что предпринять...

Он знал, что меня трудно было остановить.

– Я с вами еще мало знаком, – продолжал я, – может быть, вы прекраснейший человек, а потому мне и не хотелось бы с вами спозаранку ссориться... Я не ссорюсь с вами... Я приглашаю вас только понять, что трезвым не место среди пьяных... Присутствие трезвого действует раздражающе на пьяный организм!.. Поймите вы это!

– Говорите, что вам угодно! – вздохнул Пшехоцкий. – Меня ничем не проймете, молодой человек...

– Будто бы ничем? А если я назову вас упрямой свиньей, вы тоже не обидитесь?

Поляк покраснел – и только. Граф, бледный, подошел ко мне, сделал умоляющее лицо и развел руками.

– Ну, прошу тебя! Умерь свой язык!

Я вошел уже в свою пьяную роль и хотел продолжать, но, на счастье графа и поляка, послышались шаги, и в столовую вошел Урбенин.

– Приятного аппетита! – начал он. – Я пришел узнать, ваше сиятельство, не будет ли каких приказаний?

– Приказаний пока нет, а просьба есть... – отвечал граф. – Очень рад, что вы пришли, Петр Егорыч... Садитесь с нами ужинать и давайте толковать о хозяйстве...

Урбенин сел. Граф выпил коньяку и начал излагать ему план своих будущих действий в области рационального хозяйства. Говорил он долго, утомительно, то и дело повторяясь и меняя тему. Урбенин слушал его, как серьезные люди слушают болтовню детей и женщин, лениво и внимательно... Он ел ершовую уху и печально глядел в свою тарелку.

– Я привез с собой прекрасные чертежи! – сказал, между прочим, граф. – Замечательные чертежи! Хотите, я вам покажу?

Карнеев вскочил и побежал к себе в кабинет за чертежами. Урбенин, пользуясь его отсутствием, быстро налил себе пол чайного стакана водки, выпил и не закусил.

– Противная эта водка! – сказал он, глядя с ненавистью на графин.

– Отчего вы при графе не пьете, Петр Егорыч? – спросил я его. – Неужто вы боитесь?

– Лучше, Сергей Петрович, лицемерить и пить тайком, чем пить при графе. Вы знаете, у графа странный характер... Украдь я у него заведомо двадцать тысяч, он ничего, по своей беспечности, не скажет, а забудь я дать ему отчет в потраченном гривеннике или выпей при нем водки, он начнет плакаться, что у него разбойник управляющий. Вы его хорошо знаете.

Урбенин налил себе еще полстакана и выпил.

– Вы, кажется, прежде не пили, Петр Егорыч, – сказал я.

– Да, а теперь пью... Ужасно пью! – шепнул он. – Ужасно, день и ночь, не давая себе ни минуты отдыха! И граф никогда не пил в такой мере, в какой я теперь пью... Ужасно тяжело, Сергей Петрович! Одному только Богу ведомо, как тяжело у меня на сердце! Уж именно, что с горя пью... Я вас всегда любил и уважал, Сергей Петрович, и откровенно вам скажу... повеситься рад бы!

– Отчего же это?

– Глупость моя... Не одни только дети бывают глупы... Бывают дураки и в пятьдесят лет. Причин не спрашивайте.

Вошел граф и прекратил его излияния.

– Отличнейший ликер! – сказал он, ставя на стол вместо «замечательных» чертежей пузатую бутылку с сургучной печатью бенедиктинцев. – Проездом через Москву у Депре взял. Не желаешь ли, Сережа?

– Ты ведь, кажется, за чертежами ходил! – сказал я.

– Я? За какими чертежами? Ах да! Но, брат, сам черт ничего не разберет в моих чемоданах... Рылся-рылся и бросил... Ликер очень мил. Не хочешь ли?

Урбенин посидел еще немного, простился и вышел. По уходе его мы принялись за красное. Это вино окончательно меня разобрало. Получилось опьянение, какого я именно и хотел, когда ехал к графу. Я стал чрезмерно бодр душою, подвижен, необычайно весел. Мне захотелось подвига неестественного, смешного, пускающего пыль в глаза... В эти минуты, мне казалось, я мог бы переплыть все озеро, открыть самое запутанное дело, победить любую женщину... Мир с его жизнями приводил меня в восторг, я любил его, но в то же время хотелось придирааться, жечь ядовитыми остротами, издеваться... Смешного чернобрового поляка и графа нужно было осмеять, заездить едкой остротой, обратить в порошок.

– Что же вы молчите? – начал я. – Говорите, я слушаю вас! Ха-ха! Я ужасно люблю, когда люди с серьезными, солидными физиономиями говорят детскую чушь!.. Это такая насмешка, такая насмешка над человеческими мозгами!.. Лица не соответствуют мозгам! Чтобы не лгать, надо иметь идиотскую физиономию, а у вас лица греческих мудрецов!

Я не кончил... Язык у меня запутался от мысли, что я говорю с людьми ничтожными, не стоящими и полуслова! Мне нужна была зала, полная людей, блестящих женщин, тысячи огней... Я поднялся, взял свой стакан и пошел ходить по комнатам. Когда мы кутим, мы не стесняем себя пространством, не ограничиваемся одной только столовой, а берем весь дом и часто даже всю усадьбу...

В «мозаиковой» гостиной я выбрал себе турецкую софу, лег на нее и отдал себя во власть фантазий и воздушных замков. Мечты пьяные, но одна другой грандиознее и безграничнее, охватили мой молодой мозг... Получился новый мир, полный одуряющей прелести и не поддающихся описанию красот.

Недоставало только, чтоб я заговорил рифмами и стал видеть галлюцинации.

Граф подошел ко мне и сел на край софы... Ему хотелось что-то сказать мне. Это желание сообщить мне что-то особенное я начал читать в его глазах уже вскоре после вышеописанных пяти рюмок. Я знал, о чем он хотел говорить...

– Как я много выпил сегодня! – сказал он мне. – Это для меня вреднее всякого яда... Но сегодня в последний раз... Честное слово, в последний раз... У меня есть воля...

– Ладно, ладно...

– В последний... Сережа, друг, в последний раз не послать ли в город телеграмму?

– Пожалуй, пошли...

– Кутнем уж в последний раз как следует... Ну, встань же, напиши... – Сам граф не умеет писать телеграмм. У него выходят слишком длинные и неполны. Я поднялся и написал:

«С... Ресторан «Лондон». Содержателю хора Карпову. Оставить все и ехать немедленно с двухчасовым поездом. Граф».

– Теперь без четверти одиннадцать, – сказал граф. – Человек будет скакать до станции три четверти часа, максимум час... Телеграмму получит Карпов в первом часу... На поезд, стало быть, успеет... Если на этот не успеет, то приедет с товарным... Да?

Телеграмма была послана с одноглазым Кузьмой... Илье было приказано, чтобы через час были посланы экипажи на станцию... Я, чтоб убить чем-нибудь время, начал медленно зажигать лампы и свечи во всех комнатах, затем отпер рояль и попробовал клавиши...

Затем, помню, я лежал на той же софе, ни о чем не думал и молча отстранял рукой пристававшего с разговорами графа... Был я в каком-то забытьи, полудремоте, чувствуя только яркий свет ламп и веселое, покойное настроение... Образ девушки в красном, склонившей головку на плечо, с глазами, полными ужаса перед эффектною смертью, постоял передо мной и тихо погрозил мне маленьким пальцем... Образ другой девушки, в черном платье и с бледным, гордым лицом, прошел мимо и поглядел на меня не то с мольбой, не то с укоризной.

Далее я слышал шум, смех, беготню... Черные, глубокие глаза заслонили мне свет. Я видел их блеск, их смех... На сочных губах играла радостная улыбка... То улыбалась моя цыганка Тина...

– Это ты? – спросил ее голос. – Ты спишь? Вставай, милый... Я давно уже тебя не видела...

Я молча пожал ее руку и привлек ее к себе...

– Пойдем же туда... Все наши приехали...

– Останься... Мне тут хорошо, Тина...

– Но... здесь много света... Ты сумасшедший... Могут войти...

– Кто войдет, тому я сверну шею... Мне хорошо, Тина... Два года уже прошло, как я тебя не видел...

В зале заиграли на рояле. «Ах, Москва, Москва, Москва... белокаменная...» – заорало несколько голосов...

– Видишь, они все поют там... Никто не войдет...

– Да, да...

Свидание с Тиной вывело меня из забытья... Через десять минут она ввела меня в залу, где полукругом стоял хор... Граф сидел верхом на стуле и отбивал руками такт... Пшехоцкий стоял позади его стула и удивленными глазами глядел на певчих птиц... Я вырвал из рук Карпова его балалайку, махнул рукой и затянул...

– «Вниз по ма-а-атушке... па-а-а Во-о-о...»

– «Па-а В-о-о-о-лге...» – подхватил хор...

– «Ай, жги, говори... говори...»

Я махнул рукой, и мгновенно, с быстротой молнии наступил новый переход...

– «Ночи безумные, ночи веселые...»

Ничто так раздражающе и щекочуще не действует на мои нервы, как подобные резкие переходы. Я задрожал от восторга и, охватив Тину одной рукой, а другой махая в воздухе балалайкой, допел до конца «Ночи безумные»... Балалайка с треском ударилась о пол и разлетелась на мелкие щепки...

– Вина!

Далее мои воспоминания приближаются к хаосу... Все перемешалось, спуталось, все мутно, неясно... Помню я серое небо раннего утра... Мы едем на лодках... Озеро слегка волнуется и словно ворчит, глядя на наши дебоширства... Я стою посредине лодки и качаюсь... Тина уверяет меня, что я могу упасть в воду, и просит сесть... Я же громко изъясляю сожаление, что на озере нет таких высоких волн, как Каменная Могила, и пугаю своим криком мартынов, мелькающих белыми пятнами на синей поверхности озера. Далее следует длинный жаркий день с его нескончаемыми завтраками, десятилетними наливками, пуншами, дебошем... Из этого дня я помню только несколько моментов... Я помню себя качающимся с Тиной в саду на качелях. Я стою на одном конце доски, она на другом. Я работаю всем своим туловищем с ожесточением, насколько хватает у меня сил, и сам не знаю, что именно мне нужно: чтобы Тина сорвалась с качелей и убилась или же чтоб она взлетела под самые облака? Тина стоит бледная как смерть, но, гордая и самолюбивая, она стиснула зубы, чтобы ни одним звуком не выдать своего страха. Мы взлетаем все выше и выше и... не помню, чем кончилось. Далее следует прогулка с Тиной в далекую аллею с зеленым сводом, скрывающим от солнца. Поэтический полумрак, черные косы, сочные губы, шепот... Затем рядом со мной идет маленькое контраalto, блондинка с острым носиком, детскими глазками и очень тонкой талией. Я гуляю с ней до тех пор, пока Тина, проследив нас, не делает мне сцены... Цыганка бледна, взбешена... Она называет меня «проклятым» и, обиженная, собирается уехать в город. Граф, бледный, с дрожащими руками, бегаёт около нас и, по обыкновению, не находит слов, чтоб уговорить Тину остаться... Та в конце концов дает мне пощечину... Странно: я прихожу в бешенство от малейшего, едва оскорбительного слова, сказанного женщиной, и совершенно индифферентен к пощечинам, которые дают мне женщины... Опять длинное «после обеда», опять змея на лестнице, опять спящий Франц с мухами около рта, опять калитка... Девушка в красном стоит на Каменной Могиле, но, завидев нас, исчезает, как ящерица.

К вечеру мы опять друзья с Тиной. За вечером следует та же буйная ночь, с музыкой, залихватским пением, с щекочущими нервы переходами... и ни одной минуты сна!

– Это самоистребление! – шепнул мне Урбенин, зашедший на минутку послушать наше пение...

Он, конечно, прав. Далее, помню, я и граф стоим в саду друг против друга и спорим. Около нас прохаживается чернобровый Каэтан, все время не принимавший никакого участия в нашем веселье, но тем не менее не спавший и ходивший все время за нами как тень... Небо уже бело, и на верхушке самого высокого дерева уже начинают золотиться лучи восходящего солнца. Кругом возня воробьев, пенье скворцов, шелест, хлопанье отяжелевших за ночь крыльев... Слышно мычанье стада и крики пастухов. Около нас столик с мраморной доской. На столике свеча Шандора с бледным огнем. Окурки, бумажки от конфет, разбитые рюмки, апельсиновые корки...

– Ты должен это взять! – говорю я, подавая графу пачку кредитных билетов. – Я заставлю тебя взять!

– Ведь я же их приглашал, а не ты! – убеждает граф, стараясь уловить мою пуговицу. – Я здесь хозяин... я угощал тебя, – с какой же стати тебе платить? Пойми, что ты даже оскорбляешь меня этим!

– Я тоже нанимал их, потому плачу половину. Не берешь? Не понимаю этого одолжения! Неужели ты думаешь, что если ты богат, как дьявол, то имеешь право делать мне такие одол-

жения? Черт возьми, я нанимал Карпова, я ему и заплачу! Не нужно твоей половины! Я писал телеграмму!

– В ресторане, Сережа, ты можешь платить, сколько тебе угодно, в моем же доме не ресторан... И потом я решительно не понимаю, из-за чего ты хлопочешь, не понимаю твоей прыти. У тебя мало денег, у меня же добра этого куры не клюют... Сама справедливость на моей стороне!

– Так ты не возьмешь? Нет? Не нужно...

Я подношу к бледному огню Шандора кредитные бумажки, зажигаю их и бросаю на землю. Из груди Каэтана вдруг вырывается стон. Он делает большие глаза, бледнеет и падает своим тяжелым телом на землю, стараясь затушить ладонями огонь на деньгах... Это ему удастся.

– Я не понимаю! – говорит он, кладя в карман обожженные кредитки. – Жечь деньги?! Словно это прошлогоднее полово или любовные письма... Лучше я бедному отдам кому-нибудь, чем отдавать их огню.

Я иду в дом... Там во всех комнатах, на диванах и коврах, спят вразвалку изнеможенные, заезженные певцы... Моя Тина спит на софе в «мозаиковой гостиной»...

Она раскинулась и тяжело дышит... Зубы ее стиснуты, лицо бледно... Вероятно, ей снятся качели... По всем комнатам ходит Сычиха и злобно поглядывает своими острыми глазами на людей, так внезапно нарушивших мертвую тишину забытой усадьбы... Она недаром ходит и утруждает свои старые кости...

Вот все то, что осталось в моей памяти после двух диких ночей, остальное же не удержалось в пьяных мозгах или же неудобно для описания... Но довольно и этого!..

Никогда в другое время Зорька не несла меня с таким усердием, как в утро после сожжения кредиток... Ей тоже хотелось домой... Озеро тихо катило свои пенящиеся волны и, отражая в себе поднимающееся солнце, готовилось к дневному сну... Леса и прибрежные ивы стояли недвижимы, словно на утренней молитве... Трудно описать тогдашнее состояние моей души... Много не распространяясь, скажу только, что я несказанно обрадовался и в то же время чуть не сгорел со стыда, когда при повороте от графской усадьбы увидел на берегу старое, изможденное честным трудом и болезнями, святое лицо старика Михея... Михей своею наружностью напоминает библейских рыболовов... Он сед как лунь, бородач и созерцательно глядит на небо... Когда он стоит неподвижно на берегу и следит взором за бегущими облаками, то можно подумать, что он видит в небе ангелов... Я люблю такие лица...

Увидев его, я осадил свою Зорьку и подал ему руку, как бы желая очиститься прикосновением к его честной мозолистой руке... Он поднял на меня свои маленькие прозорливые глаза и усмехнулся.

– Здравствуй, хороший барин! – сказал он, неумело подавая мне руку. – Что опять заскакал? Аль тот лодырь приехал?

– Приехал.

– То-то... по лику вижу... А я стою вот тут и гляжу... Мир и есть мир. Суета сует... Взглянь-ка! Немцу помирать надо, а он о суете заботится... Видишь?

Старик указал палкой на графскую купальню. От купальни быстро плыла лодка. В ней сидел человек в жокейском картузике и синей куртке. То был садовник Франц.

– Каждое утро на остров деньги возит и прячет... Нет у глупого понятия в голове, что для него что песок, что деньги – одна цена... Умрет – не возьмет с собой. Дай, барин, сигарку!

Я подал ему портсигар. Он взял три папироски и сунул их за пазуху.

– Это я племяннику... Пушай покурит.

Нетерпеливая Зорька задвигалась и полетела. Я поклонился старику, благодарный, что он дал моим глазам отдохнуть на его лице. Он долго глядел мне вслед.

Дома встретил меня Поликарп... Презрительным, сокрушающим взглядом он измерил мое барское тело, словно желая узнать, купался ли я на этот раз во всем костюме или нет?

– Поздравляем! – проворчал он. – Получил удовольствие!

– Молчи, дурак! – сказал я.

Меня злила его глупая физиономия. Быстро раздевшись, я укрылся одеялом и закрыл глаза.

Голова закружилась, и мир окутался туманом. В тумане промелькнули знакомые образы... Граф, змея, Франц, собаки огненного цвета, девушка в красном, сумасшедший Николай Ефимыч.

– Муж убил свою жену! Ах, как вы глупы!

Девушка в красном погрозила мне пальцем, Тина заслонила мне свет своими черными глазами и... я уснул...

– Как сладко и безмятежно он спит! Глядя на это бледное, утомленное лицо, на эту невинно-детскую улыбку и прислушиваясь к этому ровному дыханию, можно подумать, что здесь на кровати лежит не судебный следователь, а сама спокойная совесть! Можно подумать, что граф Карнеев еще не приехал, что не было ни пьянства, ни цыганок, ни скандалов на озере... Вставайте, ехиднейший человек! Вы не стоите, чтобы пользоваться таким благом, как покойный сон! Поднимайтесь!

Я открыл глаза и сладко потянулся... От окна до моей кровати шел широкий солнечный луч, в котором, гоняясь одна за другой и волнуясь, летали белые пылинки, отчего и сам луч казался подернутым матовой белизной... Луч то исчезал с моих глаз, то опять появлялся, смотря по тому, входил ли в область луча или выходил из нее шагавший по моей спальне наш милейший уездный врач Павел Иванович Вознесенский. В длинном расстегнутом сюртуке, болтающемся на нем, как на вешалке, заложив руки в карманы своих необыкновенно длинных брюк, доктор ходил из угла в угол, от стула к стулу, от портрета к портрету и шурил свои близорукие глаза на все, что только попадалось на пути его взгляду. Покорный своей привычке совать свой нос и запускать «глазенапа» всюду, где только возможно, он, то нагибаясь, то сильно вытягиваясь, заглядывал в рукомойник, в складки опущенной сторы, в дверные щели, в лампу... словно искал чего-то или желал удостовериться, все ли цело... Вглядываясь пристально сквозь очки в какую-нибудь щель или пятно на обоях, он хмурился, принимал озабоченное выражение, нюхал своим длинным носом, старательно скоблил ногтем... Все это проделывал он машинально, бессознательно и по привычке, но тем не менее быстро перебегая глазами с одного предмета на другой, он имел вид знатока, производящего экспертизу.

– Поднимайтесь, вам говорят! – будил он меня своим певучим тенором, заглядывая в мыльницу и снимая с мыла ногтем волосок.

– А... а... а... здравствуйте, господин Щур! – зевнул я, увидев его, нагнувшегося над рукомойником. – Сколько зим, сколько лет!

Весь уезд дразнит доктора «Щуром» за его вечно прищуренные глаза; дразнил и я. Увидев, что я проснулся, Вознесенский подошел ко мне, сел на край кровати и тотчас же потянул к своим прищуренным глазам коробку со спичками...

– Так спят одни только лентяи да люди со спокойною совестью, – сказал он, – а так как вы ни то, ни другое, то вам подобало бы, друже, вставать немножко пораньше...

– А который теперь час?

– Одиннадцатый на исходе.

– Черт вас возьми, Щуренька! Никто не просил вас будить меня так рано! Вы знаете, я уснул сегодня только в шестом часу, и если бы не вы, то проспал бы до вечера.

– Так! – услышал я из соседней комнаты бас Поликарпа. – Мало он еще спал! Вторые сутки спит, и все ему мало! Да вы знаете, какой сегодня день? – спросил Поликарп, входя в спальную и глядя на меня так, как умные глядят на дураков.

– Среда, – сказал я.

– Как же, беспрерывно. Нарочно для вас так и сделали, чтобы в неделе две среды было...

– Сегодня четверг! – сказал доктор. – Так это, голубчик, вы изволили всю среду проспять? Мило! очень мило! Сколько же это вы выпили, позвольте вас спросить?

– Я двое суток не спал, а выпил... не помню, сколько я выпил.

Уславши Поликарпа, я начал одеваться и описывать доктору пережитые мною так недавно «ночи безумные, речи бессвязные», которые так хороши и чувствительны в романах и так безобразны на деле. В своих описаниях я старался не выходить из пределов «легкого жанра», держаться фактов и не вдаваться в мораль, хотя все это и противно натуре человека, питающего страсть к итогам и выводам... Я говорил и делал вид, что говорю о пустяках, нимало меня не тревожащих. Щадя целомудрие Павла Ивановича и зная его отвращение к графу, я многое скрыл, многого коснулся только слегка, но тем не менее, несмотря даже на игривость моего тона, на карикатурный пошиб моей речи, доктор во все время моего рассказа глядел мне в лицо серьезно, то и дело покачивая головой и нетерпеливо подергивая плечами. Он ни разу не улыбнулся... Очевидно, мой «легкий жанр» произвел на него далеко не легкое впечатление.

– Что же вы не смеетесь, Щуренька? – спросил я, покончив со своими описаниями...

– Если бы все это не вы мне рассказывали и если бы не один случай, то я не поверил бы всему этому. Уж больно безобразно, друже!

– О каком случае вы говорите?

– Вчера под вечер был у меня мужик, которого вы так неделикатно попотчевали веслом...

Иван Осипов...

– Иван Осипов... – пожал я плечами. – Первый раз слышу!

– Высокий такой, рыжий... с веснушками на лице... Припомните-ка! Вы ударили его веслом по голове.

– Ничего не понимаю! Никакого Осипова не знаю, веслом никого не потчевал... Все это вам снилось, дядя!

– Дай Бог, чтобы снилось... Он явился ко мне с отношением от карнеевского волостного правления и попросил медицинского свидетельства... В отношении написано, да и сам он не врет, что рана нанесена ему вами... И теперь не помните? Рана ушибленная, повыше лба, на границе с волосистой частью... До кости хватили, батенька!

– Не помню! – прошептал я. – Кто он? Чем занимается?

– Обыкновенный карнеевский мужик, у вас же там на озере был гребцом, когда вы кутили...

– Гм... может быть! Не помню... Вероятно, был пьян и как-нибудь нечаянно...

– Нет-с, не нечаянно... Он говорит, что вы рассердились на него за что-то, долго бранились и потом, рассвирепев, подскочили к нему и при свидетелях хватили... Мало того, вы крикнули: «Я убью тебя, шельму этакую!..»

Я покраснел и прошелся из угла в угол.

– Хоть убей, не помню! – проговорил я, изо всех сил напрягая память. – Не помню! Вы говорите «рассвирепев»... В пьяном виде я бываю непростительно мерзок!

– Чего же лучше!

– Мужик, очевидно, хочет затеять скандал, но не это важно... Важен сам факт, побои... Неужели я способен драться? И за что я ударил бедного мужика?

– Да-с... Свидетельства, конечно, я не мог ему не дать, но не преминул посоветовать ему обратиться к вам... Вы сойдитесь с ним как-нибудь... Побои легкие, но, рассуждая неофициально, рана головы, проникающая до черепа, штука серьезная... Нередки случаи, когда, по-

видимому, самая пустая рана головы, отнесенная к легким побоям, оканчивалась омертвлением костей черепа и, стало быть, путешествием *ad patres*⁸⁵.

И Щур, увлекшись, поднялся, зашагал около стен и, размахивая руками, начал выкладывать передо мною свои познания по хирургической патологии... Омертвление костей черепа, воспаление мозга, смерть и другие ужасы так и сыпались из его рта с бесконечными объяснениями макроскопических и микроскопических процессов, сопровождающих эту туманную и неинтересную для меня *terram incognitam*⁸⁶.

– Будет вам, барабошка! – остановил я его медицинскую болтовню. – Неужели вы не знаете, как все это скучно?

– Это ничего, что скучно... Вы слушайте и казнитеесь... Авось в другой раз будете поосторожней и не станете делать ненужных глупостей... Из-за этого паршивца Осипова, если вы с ним не сойдетесь, вы можете место потерять! Жрецу Фемиды судиться за побои... ведь это скандал!

Павел Иванович – единственный человек, сентенции которого я выслушиваю с легкой душой, не морщась, которому дозволяется вопросительно заглядывать в мои глаза и запускать исследующую руку в дебри моей души... Мы с ним приятели в самом лучшем смысле этого слова и уважаем друг друга, хотя у нас с ним и существуют счеты неприятного, щекотливого свойства... Между мною и им, как черная кошка, прошла женщина. Этот вечный *casus belli*⁸⁷ породил между нами счеты, но не поссорил нас, и мы продолжаем быть в мире. Щур – очень хороший малый... Я люблю его простое, далеко не пластическое лицо с большим носом, прищуренными глазами и жидкой рыжей бородкой. Я люблю его высокую, тонкую, узкоплечую фигуру, на которой сюртуки и пальто болтаются, как на вешалке.

Его уродливо сшитые брюки собираются безобразными складками у колен и безбожно топчутся сапогами; его белый галстук вечно сидит не на месте... Но вы не подумайте, что он неряха... Взглянувши раз на его доброе, сосредоточенное лицо, вы поймете, что ему некогда хлопотать о своей наружности, да и не умеет он... Он молод, честен, не суетен, любит свою медицину, вечно в разъездах, – этого достаточно, чтоб объяснить в его пользу все промахи его незатейливого туалета. Он, как артист, не знает цены деньгам и невозмутимо жертвует своим комфортом и благами жизни кое-каким своим страстишкам, и оттого-то он дает впечатление человека неимущего, еле сводящего концы с концами... Он не курит, не пьет, не платит женщинам, но тем не менее две тысячи, которые вырабатывает он службой и практикой, уходят от него так же быстро, как уходят у меня мои деньги, когда я переживаю период кутежа. Две страсти обирают его: страсть давать займы и страсть *выписывать* по газетным объявлениям... Займы дает он всякому просящему, не говоря ни слова и не заикаясь об обратной получке... Никаким гвоздем не выковыришь из него бесшабашной веры в людскую добросовестность, и эта вера еще рельефнее сказывается в его постоянных выписываниях вещей, воспеваемых в газетных объявлениях... Он выписывает все, нужное и ненужное. Выписывает книги, зрительные трубки, юмористические журналы, столовые приборы, «состоящие из 100 вещей», хронометры... И немудрено, если больные, приходящие к Павлу Ивановичу, принимают его комнату за арсенал или музей... Его надували и надувают, но вера по-прежнему сильна и бесшабашна... Малый он славный, и мы еще не раз встретимся с ним на страницах этого романа...

– Как, однако, я у вас засиделся, – спохватился он, взглянув на свои дешевые, с одной крышкой, часы, выписанные им из Москвы «с ручательством на 5 лет», но, тем не менее, два раза уже бывшие в починке. – Мне пора, друже! Прощайте и смотрите вы мне! Эти графские кутежи добром не кончатся! Не говорю уж о вашем здоровье... Ах да! Будете завтра в Теневе?

⁸⁵ К праотцам (*лат.*).

⁸⁶ Неизвестную землю, область (*лат.*).

⁸⁷ Повод к войне (*лат.*).

– А что там завтра?

– Престольный праздник! *Все* там будут, и вы приезжайте! Обязательно приезжайте! Я дал слово, что вы непременно приедете. Не сделайте же меня лгуном...

Кому дал он слово – не нужно было спрашивать. Мы понимали друг друга. Простившись со мной, доктор надел свое поношенное пальто и уехал...

Я остался один... Чтобы заглушить неприятные мысли, начинавшие копошиться в моей голове, я подошел к своему письменному столу и, стараясь не думать, не отдавать себе отчета, занялся полученными бумагами... Конверт, первый попавшийся мне на глаза, содержал в себе следующее письмо:

«Душечка мой Сережа! Извени, что я тебя беспокою, но я так удивлена, что не знаю, к кому и обратиться... Это ни на что не похоже. Конечно, теперь не варотиш, и мне не жалко, но посуди сам, что если вора́м делать поблажку, то порядочной женщине нигде нельзя быть покойной. После того, как ты уехал, я проснулась на дивани и не нашла на себе многих вещей. Украли браслет, золотую запонку, десять жемчужин из ожерелья и вынули из партмонета рублей сто дених. Я хотела жаловаться графу, но он спал, и так и уехала. Это нехорошо. Графский дом, а воруют как в трактире. Ты скажи графу. Целую тебя и кланяюсь. Твоя любящая Тина».

Что дом его сиятельства изобиловал вора́ми – для меня не было новостью, и я приобщи́л письмо Тины к сведениям, уже имевшимся у меня на этот счет в памяти. Рано или поздно – я должен был пустить в дело эти сведения... Я знал воров.

Письмо черноглазой Тины, ее жирный, сочный почерк напомнили мозаиковую гостиную и вызвали во мне желание, похожее на желание опохмелиться, но я превозмог себя и силою своей воли заставил себя работать. Сначала мне было невыразимо скучно разбирать размашистые почерки приставов, но потом мое внимание мало-помалу фиксировалось на краже со взломом, и я стал работать с наслаждением. Целый день сидел я за своим письменным столом, а Поликарп то и дело проходил мимо меня и недоверчиво поглядывал на мою работу. В мое степенство ему не верилось, и он каждую минуту ждал, что я поднимусь из-за стола и прикажу седлать Зорьку; но к вечеру, видя мое упорство, он поверил и выражение угрюмости на лице сменил выражением удовольствия... Он стал ходить на цыпочках, говорил шепотом... Когда мимо моих окон прошли парни с гармоникой, он вышел на улицу и прокричал:

– Чего вы, черти, здесь расходились? Ходите другой улицей! Нешто не знаете, махаметы, что барин занимается!

Вечером, подав в столовой самовар, он тихо отворил мою дверь и ласково позвал меня пить чай.

– Пожалуйте чай кушать! – сказал он, нежно вздохнув и почтительно улыбаясь.

А когда я пил чай, он тихо подошел сзади ко мне и поцеловал меня в плечо...

– Вот этак лучше, Сергей Петрович, – забормотал он. – Наплюйте на того белобрысого черта, чтоб ему... Статочное ли дело при вашем высоком понятии и при вашей образованности малодушием заниматься? Ваше дело благородное... Надо, чтобы все вас ублажали, боялись, а ежели будете с тем чертом людям головы проламывать да в озере в одеже купаться, то всякий скажет: «Никакого ума! Пустяковый человек!» И пойдет тогда по миру слава! Удадь купцу к лицу, а не благородному... Благородному наука требуется, служба...

– Ну, будет, будет...

– Не путайтесь с графом, Сергей Петрович! А коли желаете дружитья, то чем не человек доктор Павел Иваныч? Только что оборванный ходит, да зато ведь ума много!

Искренность Поликарпа меня растеплила... Мне захотелось сказать ему ласковое слово...

– Ты какой роман теперь читаешь? – спросил я его.

– Графа Монте-Кристова. Вот граф! Так это настоящий граф! Непохож на вашего замазуру!

После чая я опять сел за работу и работал до тех пор, пока мои веки не стали опускаться и закрывать утомленные глаза... Ложась спать, я приказал Поликарпу разбудить меня в пять часов.

На другой день, в шестом часу утра, я, весело насвистывая и сбивая тростью головки цветов, шел пешком в Тенево, где в этот день был престольный праздник и куда приглашал меня мой друг Щур, Павел Иванович. Утро было прелестное. Само счастье, казалось, висело над землей и, отражаясь в бриллиантовых росинках, манило к себе душу прохожего... Лес, окутанный утренним светом, был тих и неподвижен, словно прислушивался к моим шагам и чириканью птичьей братии, встречавшей меня выражениями недоверия и испуга... Воздух был пропитан испарениями весенней зелени и своею нежностью ласкал мои здоровые легкие. Я дышал им и, окидывая восторженными глазами простор, чувствовал весну, молодость, и мне казалось, что молодые березки, придорожная травка и гудевшие без умолку майские жуки разделяли это мое чувство.

«И к чему там, в мире, – думал я, – теснится человек в своих тесных лачугах, в своих узких и тесных идейках, если здесь такой простор для жизни и мысли? Отчего он не идет сюда?»

И мое напоэтизированное воображение не хотело мешать себе мыслью о зиме и хлебе, этих двух печалях, загоняющих поэтов в холодный, прозаический Петербург и в нечистоплотную Москву, где платят гонорар за стихи, но не дают вдохновения.

Мимо меня проезжали крестьянские обозы и помещичьи брички, спешившие к обедне и на ярмарку. То и дело приходилось снимать шапку и отвечать на приветливые поклоны мужиков и знакомых помещиков. Всякий предлагал «подвезти», но идти было лучше, чем ехать, и я всякий раз отказывался. Мимо меня, между прочими, проехал на беговых дрожках и графский садовник Франц, в синей куртке и жокейском картузике... Он лениво поглядел на меня сонными, прокисшими глазками и еще ленивее сделал под козырек. Сзади него был привязан пятиведерный бочонок с железными обручами, очевидно водочный... Противная рожа Франца и его бочонок расстроили несколько мое поэтическое настроение, но скоро поэзия опять восторжествовала, когда я услышал сзади себя шум экипажа и, оглянувшись, увидел тяжелый шарабан, запряженный в пару гнедых лошадок, а в тяжелом шарабана на кожаном ящикообразном сиденье – мою новую знакомку, «девушку в красном», говорившую со мной за два дня до этого про «электричество», убившее ее мать... Хорошенькое, свежeweымытое и несколько заспанное личико Оленьки просияло и слегка зарумянилось, когда она увидела меня, шагавшего по краю межи, отделявшей лес от дороги. Она весело закивала мне головой и улыбнулась так приветливо, как улыбаются одни только старые знакомые.

– Доброе утро! – крикнул я ей.

Она сделала мне ручкой и вместе со своим тяжелым шарабаном исчезла с моих глаз, не дав мне наглядеться на ее хорошенькое, свежее личико. На этот раз она не была одета в красное. На ней был какой-то темно-зеленый турнюр с большими пуговицами да широкополая соломенная шляпа, но тем не менее она мне понравилась не меньше прежнего. Я с удовольствием поговорил бы с ней и послушал ее голос. Я хотел бы заглянуть в ее глубокие глаза при блеске солнца, как заглядывал в них тогда вечером, при сверкавшей молнии. Мне хотелось посадить ее из некрасивого шарабана и предложить ей пройти остальной путь рядом со мной, что я и сделал бы, если бы не «условия» света. Мне почему-то казалось, что она охотно согласилась бы на это предложение... Недаром она два раза оглянулась на меня, когда шарабан поворачивал за высокие ольхи!..

До Тенева от места моего жительства было шесть верст – расстояние для человека молодого в хорошее утро почти незаметное. В начале седьмого часа я уже пробирался между возами и ярмарочными балаганами к тневской церкви. Торговый шум, несмотря на раннее утро и на то, что обедня еще не кончилась, уже стоял в воздухе. Скрипенье возов, ржанье лошадей, мыча-

нье коров, игра в игрушечные трубы – все это мешалось с возгласами барышников-цыган и пением уже успевших «налимониться» мужиков. Сколько веселых, праздничных лиц, сколько типов! Сколько прелести и движения в этой массе, пестреющей яркими цветами платьев, залитой светом утреннего солнца! Все это, многотысячное, копошилось, двигалось, шумело, чтобы в несколько часов сделать свое дело и к вечеру разъехаться, оставив после себя на площади, как бы в воспоминание, сенные отбросы, кое-где рассыпанный овес и ореховую скорлупу... Народ густыми толпами валил к церкви и от церкви.

Церковный крест испускал из себя золотые лучи, такие же яркие, как и само солнце. Он сверкал и, казалось, сгорал золотым огнем. Ниже его горела тем же огнем церковная глава, и лоснился на солнце свежескрашенный зеленый купол, а за сверкающим крестом широко расстилалась прозрачная, далекая синева. Я, пройдя через ограду, наполненную народом, пробрался в церковь. Обедня недавно еще началась, и, когда я вошел, читали еще только апостол. В церкви стояла тишина, нарушаемая чтением да шагами кадившего дьякона. Народ стоял тихо, неподвижно, с благоговением всматриваясь в открытые царские ворота и прислушиваясь к протяжному чтению. Деревенские приличия или, вернее, деревенская порядочность строго преследует всякое поползновение к нарушению в церкви благоговейной тишины. Мне всегда становилось совестно, когда меня вынуждало что-нибудь улыбаться в церкви или разговаривать. К несчастью, в редких только случаях я не встречал в церкви своих знакомых, которых у меня, к сожалению, было очень много; обыкновенно же чуть только, бывало, входил я в церковь, как ко мне тотчас же подходил какой-нибудь «интеллигент» и после длинных предисловий о погоде начинал разговор о своих грошовых делах. Я отвечал «да» и «нет», но был так щепетилен, что был не в силах совсем отказать своему собеседнику во внимании. И моя щепетильность недешево мне стоила: я беседовал и конфузливо косился на молящихся соседей, боясь, что я оскорбляю их своей праздной болтовней.

И на этот раз не обошлось без знакомых. Войдя в церковь, я у самого входа увидел мою героиню, ту самую «девушку в красном», которую я встретил, пробираясь в Тенево.

Бедняжка, красная как рак и вспотевшая, стояла в толпе и обводила умоляющими глазами все лица, ища избавителя. Она застряла в тесной толпе и, не двигаясь ни назад ни вперед, походила на птичку, которую сильно стиснули в кулаке. Увидев меня, она горько улыбнулась и закивала мне своим хорошеньким подбородком.

– Проводите меня, ради бога, вперед! – заговорила она, хватая меня за рукав. – Здесь ужасная духота и... тесно... Прошу вас!

– Но ведь и впереди тесно! – сказал я.

– Но там все чисто одетые, приличные... Здесь простой народ, а для нас отведено место впереди... И вы там должны быть...

Стало быть, красна она была не потому, что в церкви душно и тесно. Ее маленькую головку мучил вопрос местничества! Я внял мольбам суетной девочки и, осторожно расталкивая народ, провел ее до самого амвона, где был уже в сборе весь цвет нашего уездного бомонда. Поставив Оленьку на подобающее ее аристократическим поползновениям место, я стал позади бомонда и занялся наблюдениями.

Мужчины и дамы, по обыкновению, шептались и хихикали. Мировой судья Калинин, жестикулируя пальцами и поматывая головой, вполголоса рассказывал помещику Деряеву о своих болезнях. Деряев почти вслух бранил докторов и советовал мировому полечиться у какого-то Евстрата Иваныча. Дамы, увидев Оленьку, ухватились за нее, как за хорошую тему, и зашумели. Одна только девушка, по-видимому, молилась... Она стояла на коленях и, устремив свои черные глаза вперед, шевелила губами. Она не заметила, как из-под ее шляпки выпал локон и беспорядочно повис на бледном виске... Она не заметила, как около нее остановился я с Оленькой.

Это была дочь мирового Калинина, Надежда Николаевна. Когда я ранее говорил о женщине, черной кошкой пробежавшей между мною и доктором, то говорил о ней... Доктор любил ее так, как способны любить только такие хорошие натуры, как мой милый Щур, Павел Иванович... Теперь он, как шест, стоял около нее, держа руки по швам и вытянув шею... Изредка он вскидывал свои любящие вопрошающие глаза на ее сосредоточенное лицо... Он словно сторожил ее молитву, и в его глазах светилось страстное, тоскующее желание быть предметом ее молитвы. Но, к его несчастью, он знал, за кого она молилась... Не за него...

Я кивнул Павлу Ивановичу, когда тот оглянулся на меня, и мы оба вышли из церкви.

– Давайте шляться по ярмарке, – предложил я.

Мы закурили папиросы и пошли по лавкам.

– Как поживает Надежда Николаевна? – спросил я доктора, входя с ним в палатку, в которой продавались игрушки...

– Ничего себе... Кажется, здорова... – отвечал доктор, щурясь на маленького солдата с лиловым лицом и в пунцовом мундире. – О вас спрашивала...

– Что же она обо мне спрашивала?

– Так, вообще... Сердится, что вы давно у них не бывали... Ей хочется повидаться с вами и спросить вас о причинах такого внезапного охлаждения к их дому... Ездили почти каждый день и потом – на тебе! Словно отрезал... И не кланяется даже.

– Врете, Щур... Действительно, я за неимением досуга перестал посещать Калининых... Что правда, то правда. Отношения же мои с этой семьей по-прежнему отменные... Всегда кланяюсь, если встречаю кого-нибудь из них.

– Однако, встретившись в прошлый четверг с ее отцом, вы почему-то не нашли нужным ответить на его поклон.

– Я не люблю этого болвана мирового, – сказал я, – и не могу равнодушно глядеть на его рожу, но все-таки у меня еще хватает силы кланяться ему и пожимать протягиваемую им руку. Вероятно, я не заметил его в четверг или не узнал. Вы сегодня не в духе, Щуренька, и придираетесь...

– Люблю я вас, голубчик, – вздохнул Павел Иванович, – но не верю вам... «Не заметил, не узнал...» Не нужно мне ни ваших оправданий, ни отговорок... К чему они, если в них так мало правды? Вы славный, хороший человек, но в вашем больном мозгу есть, торчит гвоздем маленький кусочек, который, простите, способен на всякую пакость...

– Покорнейше благодарим.

– Вы не сердитесь, голубчик... Дай бог, чтоб я заблуждался, но мне кажется, что вы немножко психопат. У вас иногда, вопреки воле и направлению вашей хорошей натуры, вырываются такие желания и поступки, что все знающие вас за порядочного человека становятся в тупик... Диву даешься, как это ваши высоконравственные принципы, которые я имею честь знать, могут уживаться с теми вашими внезапными побуждениями, которые в исходе дают кричащую мерзость! Какой это зверь? – обратился вдруг Павел Иванович к торговцу, переменяя тон и поднося к глазам деревянного зверя с человеческим носом, гривой и серыми полосами на спине.

– Лев, – зевнул продавец. – А може, и другая какая тварь. Шут их разберет!

От игрушечных балаганов мы направились к «красным» лавкам, где уже кипела торговля.

– Эти игрушки только обманывают детей, – сказал доктор. – Они дают самые превратные понятия о флоре и фауне. Этот лев, например... Полосат, багров и пищит... Нешто львы пищат?

– Послушайте, Щуренька, – сказал я. – По-видимому, вам хочется мне что-то сказать, и вы словно не решаетесь... Говорите... Мне приятно вас слушать даже тогда, когда вы говорите неприятные вещи...

– Приятно, друже, или неприятно, а уж вы послушайте... Мне о многом хотелось бы с вами поговорить...

– Начинайте... Я обращаюсь в одно очень большое ухо.

– Я уже высказал вам свое предположение относительно того, что вы психопат. Теперь не угодно ли выслушать доказательство?.. Я буду говорить откровенно, быть может, иногда несколько резко... вас покоробит от моих слов, но вы не сердитесь, друже... Вы знаете мои к вам чувства: люблю вас больше всех в уезде и уважаю... Говорю вам не ради упрека и осуждений, не для того, чтоб колоть вас. Будем оба объективны, друже... Станем рассматривать вашу психику беспристрастным оком, как печенку или желудок...

– Хорошо, будем объективны, – согласился я.

– Превосходно... Начнем хоть с ваших отношений с Калининым... Если вы справитесь у вашей памяти, то она скажет вам, что вы начали посещать Калининых тотчас же по приезде в наш богоспасаемый уезд. Вашего знакомства не искали... Вы с первого же раза не понравились мировому своим надменным видом, насмешливым тоном и дружбой с кутилой графом, и вам не бывать бы у мирового, если бы вы сами не сделали ему визита. Помните? Вы познакомились с Надеждой Николаевной и стали ездить к мировому чуть ли не каждый день... Бывало, когда ни придешь, вы вечно там... Прием оказывался вам самый радушный. Люди ласкали вас, как только умели... И отец, и мать, и маленькие сестры... Привязались к вам, как к родному... Вами восторгаются, вас носят на руках, хохочут от малейшей вашей остроты... Вы для них образец ума, благородства, джентльменства. Вы словно понимаете все это и за привязанность платите привязанностью – ездите каждый день, даже в дни подпраздничных приборов и суматох. Наконец, для вас не секрет та несчастная любовь, которую вы возбудили к себе в Наденьке... Ведь не секрет? Вы, знающий, что она в вас по уши влюблена, все ездите и ездите... И что же, друже? Год тому назад вы вдруг, ни с того ни с сего, внезапно прекращаете свои визиты. Вас ждут неделю... месяц... ждут до сегодня, а вы все не показываетесь... Вам пишут, вы не отвечаете... Наконец, вы даже не кланяетесь... Вам, придающему большое значение приличиям, эти ваши поступки должны показаться верхом невежливости! Отчего вы так резко и круто отчалили от Калининых? Вас обидели? Нет... Вам надоело? В таком случае вы могли бы отчалить постепенно, без этой обидной, ничем не мотивированной резкости...

– Перестал в гости ездить, – усмехнулся я, – и попал в психопаты. Как вы наивны, Щуренька! Не все ли равно – сразу ли прекратить знакомство или постепенно? Сразу даже честнее – лицемерия меньше. Какие все это пустяки, однако!

– Допустим, что все это пустяки или что вас заставили так круто повернуть причины скрытые, до которых нет дела постороннему оку. Но чем объяснить ваши дальнейшие поступки?

– Например?

– Например, вы являетесь однажды в нашу земскую управу, – не знаю, какое было у вас там дело, – и на вопрос председателя, отчего вас не стало видно у Калининых, вы сказали... Припомните-ка, что вы сказали! «Боюсь, что меня женят!» Вот что сорвалось с вашего языка! И это вы сказали во время заседания, громко, отчетливо, – так, что могли вас слышать все сто человек, бывшие в зале заседания! Красиво? В ответ на ваши слова слышатся смех и скабрзные остроты на тему о ловле женихов. Вашу фразу подхватывает какой-то мерзавец, идет к Калинину и подносит ее Наденьке во время обеда... За что такая обида, Сергей Петрович?

Павел Иванович загородил мне дорогу, стал передо мной и продолжал, глядя мне в лицо умоляющими, почти плачущими глазами:

– За что такая обида? За что? За то, что эта хорошая девушка вас любит? Допустим, что отец, как и всякий отец, имел поползновения на вашу особу... Он, по-отечески, всех имеет в виду: и вас, и меня, и Маркузина... Все родители одинаковы... Нет сомнения, что и она, по уши влюбленная, быть может, надеялась стать вашей женой... Так за это давать такую звонкую

пощечину? Дяденька, дяденька! Не вы ли сами добивались этих поползновений на вашу особу? Вы каждый день ездили, обыкновенные гости так часто не ездят. Днем вы удили с нею рыбу, вечерами гуляли в саду, ревниво оберегая ваше tête-à-tête... Вы узнали, что она любит вас, и ни на йоту не изменили вашего поведения... Можно было после этого не подозревать в вас добрых намерений? Я был уверен, что вы на ней женитесь! И вы... вы пожаловались, посмеялись! За что? Что она вам сделала?

– Не кричите, Щуренька, народ смотрит, – сказал я, обходя Павла Ивановича. – Прекратим этот разговор. Это бабий разговор... Скажу вам только три строчки, и будет с вас. Ездил я к Калинин, потому что скучал и интересовался Наденькой... Она очень интересная девица... Может быть, я и женился бы на ней, но, узнав, что вы ранее меня попали в претенденты ее сердца, узнав, что вы к ней равнодушны, я порешил стушеваться... Жестоко было бы с моей стороны мешать такому хорошему малому, как вы...

– Мерси за одолжение! Я вас не просил об этой милостивой подачке, и, насколько могу судить теперь по выражению вашего лица, вы говорите сейчас неправду, говорите зря, не вдумываясь в ваши слова... И потом то обстоятельство, что я славный малый, не помешало вам, однако, в одно из последних ваших посещений сделать Наденьке в беседке предложение, от которого не поздоровилось бы славному малому, если бы он на ней женился!

– Эге-ге!.. Откуда вам известно об этом предложении, Щуренька? Стало быть, ваши дела недурно идут, если вам стали уже поверять такие тайны!.. Но, однако, вы побледнели от злости и чуть ли не собираетесь бить меня... А еще тоже уговаривался быть объективным! Какой вы смешной, Щуренька! Ну, бросим эту галиматью... Пойдем на почту...

Мы направились к почтовому отделению, которое весело глядело своими тремя окошечками на базарную площадь. Сквозь серый палисадник пестрел цветник нашего приемщика Максима Федоровича, известного в нашем уезде знатока по части устройства клумб, гряд, газонов и прочего.

Максима Федоровича мы застали за очень приятным занятием... Красный от удовольствия и улыбающийся, он сидел за своим зеленым столом и, как книгу, перелистывал толстую пачку сторублевых бумажек. По-видимому, на расположение его духа мог влиять вид даже чужих денег.

– Здравствуйте, Максим Федорыч! – поздоровался я с ним. – Откуда это у вас такая куча денег?

– А вот-с, в Санкт-Петербург отправляют! – сладенько улыбнулся приемщик и указал подбородком в угол, где на единственном имевшемся в почтовом отделении стуле сидела темная человеческая фигура...

Увидев меня, эта фигура поднялась и подошла ко мне. В ней я узнал моего нового знакомого, моего новоиспеченного врага, которого я так обидел, когда напился у графа...

– Мое почтение, – сказал он.

– Здравствуйте, Каэтан Казимирович, – ответил я, делая вид, что не вижу протянутой им руки. – Граф здоров?

– Слава богу... Скучает только немножко... Вас ждет к себе каждую минуту...

На лице Пшехоцкого я прочел желание побеседовать со мною. Откуда могло явиться такое желание после той «свиньи», которой я угостил его в тот вечер, и откуда такая перемена в обращении?

– Как много у вас денег! – сказал я, глядя на посылаемые им пачки сторублевков.

И словно кто толкнул меня по мозгам! У одной из сторублевков я увидел обожженные края и совершенно сгоревший угол... Это была та самая сторублевка, которую я хотел сжечь на огне Шандора, когда граф отказался взять ее у меня на уплату цыганам, и которую поднял Пшехоцкий, когда я бросил ее на землю.

– Лучше я бедному отдам кому-нибудь, – сказал он тогда, – чем отдавать их огню.

Каким же «бедным» посылал он ее теперь?

– Семь тысяч пятьсот рублей, – протяжно сосчитал Максим Федорыч. – Совершенно верно!

Неловко вторгаться в чужие тайны, но ужасно мне хотелось узнать, кому и чьи это деньги посылал в Петербург чернобровый поляк? Деньги эти во всяком случае были не его, графу же некому было посылать их.

«Обобрал пьяного графа, – подумал я. – Если графа умеет обирать глухая и глупая Сычиха, то что стоит этому гусю запустить в его карман свою лапу?»

– Ах... кстати, и я пошлю деньги, – спохватился Павел Иванович. – Знаете, господа? Даже невероятно! За пятнадцать рублей пять вещей с пересылкой! Зрительная труба, хронометр, календарь и еще что-то... Максим Федорыч, одолжите мне листик бумажки и конверт!

Щур послал свои пятнадцать рублей, я получил газеты и письма, и мы вышли из почтовой конторы...

Мы направились к церкви. Щуренька шагал за мной, бледный и унылый, как осенний день. Сверх ожидания, его сильно встревожил разговор, в котором он старался показать себя «объективным».

В церкви трезвонили. С паперти медленно спускалась густая толпа, которой, казалось, и конца не было. Из толпы высились ветхие хоругви и темный крест, предшествовавшие крестному ходу. Солнце весело играло на ризах духовенства, а образ Божьей Матери испускал от себя ослепительные лучи...

– А вон и наши! – сказал доктор, указывая на наш уездный бомонд, отделившийся от толпы и стоявший в стороне.

– Ваши, а не наши, – сказал я.

– Это все равно... Подойдемте к ним...

Я подошел к знакомым и стал раскланиваться. Мировой судья Калинин, высокий плечистый человек с седой бородой и выпуклыми рачьиими глазами, стоял впереди всех и что-то шептал на ухо своей дочери. Делая вид, что он меня не замечает, он ни одним движением не ответил на мой «общий» поклон, направленный в его сторону.

– Прощай же, ангелочек, – проговорил он плачущим голосом, целуя дочь в ее бледный лоб. – Поезжай домой одна, а к вечеру я возвращусь... Визиты мои будут продолжаться очень недолго.

Поцеловав дочь еще раз и сладенько улыбнувшись бомонду, он строго нахмурил брови и круто повернулся на одном каблуке к стоявшему позади него мужику с бляхой сотского.

– Скоро же, наконец, подадут мне лошадей? – прохрипел он.

Сотский вздрогнул и замахал руками.

– Беррегись!

Толпа, шедшая за крестным ходом, раздвинулась, и лошади мирового с шиком и звоном бубенчиков подкатили к Калинину. Тот сел, величественно поклонился и, тревожа толпу своим «беррегись», скрылся из глаз, не подарив меня ни одним взглядом.

– Эдакая величественная свинья, – прошептал я на ухо доктору. – Пойдемте отсюда!

– А разве вы не хотите поговорить с Надеждой Николаевной? – спросил Павел Иванович.

– Мне уж пора домой. Некогда.

Доктор сердито поглядел на меня, вздохнул и отошел. Я отдал общий поклон и направился к балаганам. Пробираясь сквозь густую толпу, я оглянулся и поглядел на дочь мирового. Она глядела мне вслед и словно пробовала, вынесу я или нет ее чистый, пронизывающий взгляд, полный горькой обиды и упрека.

«За что?!» – говорили ее глаза.

Что-то закопошилось в моей груди, и мне стало больно и стыдно за свое глупое поведение. Мне захотелось вдруг воротиться и всеми силами своей мягкой, не совсем еще испорчен-

ной души приласкать и приголубить эту горячо меня любившую, мною обиженную девушку и сказать ей, что виноват не я, а моя проклятая гордость, не дающая мне жить, дышать, ступить шаг. Гордость, глупая, фатовская, полная суетности. Мог ли я, пустой человек, протянуть руку примирения, если я знал и видел, что за каждым моим движением следили глаза уездных кумушек и «старух зловещих»? Пусть лучше они осыплют ее насмешливыми взглядами и улыбками, чем разуверятся в «непреклонности» моего характера и гордости, которые так нравятся во мне глупым женщинам.

Говоря ранее с Павлом Ивановичем о причинах, заставивших меня внезапно прекратить свои поездки к Калининым, я был неоткровенен и совсем неточен... Я скрыл настоящую причину, скрыл ее потому, что стыдился ее ничтожности... Причина была мелка, как порох... Заклучалась она в следующем. Когда я в последнюю мою поездку, отдав кучеру Зорьку, входил в калининский дом, до моих ушей донеслась фраза:

– Наденька, где ты? Твой жених приехал!

Это говорил ее отец, мировой, не рассчитывая, вероятно, что я могу услышать его. Но я услышал, и самолюбие мое заговорило.

«Я жених? – подумал я. – Кто же тебе позволил называть меня женихом? На каком основании?»

И словно что оторвалось в моей груди... Гордость забушевала во мне, и я забыл все, что помнил, едуци к Калининым... Я забыл, что я увлек девушку и сам начал уже увлекаться ею до того, что ни одного вечера не был в состоянии провести без ее общества... Я забыл ее хорошие глаза, которые день и ночь не выходили из моей памяти, ее добрую улыбку, мелодичный голос... Забыл тихие, летние вечера, которые уже никогда не повторятся ни для меня, ни для нее... Все рухнуло под напором дьявольской гордыни, взбудораженной глупой фразой простака отца... Взбешенный, я воротился из дому, сел на Зорьку и ускакал, давая себе клятву «утереть нос» Калинину, осмелившемуся без моего позволения записать меня в женихи своей дочери...

«Кстати же, Вознесенский любит ее... – оправдывал я свой внезапный отъезд, едуци домой. – Он ранее меня начал вертеться около нее и уже считался женихом, когда я с нею познакомился. Не стану ему мешать!»

И с тех пор я ни разу не был у Калининых, хотя и бывали минуты, когда я страдал от тоски о Наде и рвалась душа моя, рвалась к возобновлению прошлого... Но весь уезд знал о происшедшем разрыве, знал, что я «удрал от женитьбы...» Не могла же моя гордость сделать уступки!

Кто знает? Не скажи Калинин той фразы и не будь я так глупо горд и шепетилен, быть может, мне не понадобилось бы оглядываться, а ей – глядеть на меня такими глазами... Но пусть лучше такие глаза, пусть лучше это чувство обиды и упрек, чем то, что я увидел в этих глазах несколько месяцев спустя после встречи у тенева церкви! Горе, светившееся теперь в глубине этих черных глаз, было только началом того страшного несчастья, которое, как внезапно налетевший поезд, стерло с лица земли эту девушку... Что цветки перед теми ягодками, которые уже созрели для того, чтобы влить страшную отраву в ее хрупкое тело и тоскующую душу!

Выйдя из Тенева, я пошел той же дорогой, что шел и утром. Солнце показывало уже полдень... Крестьянские телеги и помещичьи брички, как и утром, услаждали мой слух своим скрипом и металлическим ворчаньем бубенчиков. Опять проехал садовник Франц с водочным бочонком, на этот раз, вероятно, полным... Опять он взглянул на меня своими кислыми глазками и сделал мне под козырек. Меня покорило от его противной физиономии, но и на этот раз тяжелое впечатление, произведенное встречей с ним, как рукой сняла дочка лесничего Оленька, догнавшая меня на своем тяжелом шарабане...

– Подвезите меня! – крикнул я ей.

Она весело закивала мне головой и остановила возницу. Я сел рядом с ней, и шарaban с треском покотил по дороге, светлой полосой тянувшейся через трехверстную просеку теневого леса. Минуты две мы молча разглядывали друг друга.

«Какая она, в самом деле, хорошенькая! – думал я, глядя на ее шейку и пухленький подбородок. – Если бы мне предложили выбирать кого-нибудь из двух – Наденьку или ее, то я остановился бы на этой... Эта естественнее, свежей, натура у нее шире и размашистей... Попадись она в хорошие руки – из нее многое можно было бы сделать! А та угрюма, мечтательна... умна».

У ног Оленьки лежали две штуки полотна и несколько свертков.

– Сколько у вас покупок! – сказал я. – На что вам столько полотна?

– Мне еще не столько нужно!.. – ответила Оленька. – Это я так купила, между прочим... Вы не можете себе представить, сколько хлопот! Сегодня вот по ярмарке целый час ходила, а завтра придется в город ехать за покупками... А потом извольте шить... Послушайте, у вас нет таких знакомых женщин, которых можно было бы нанять шить?

– Кажется, нет... Но для чего вам столько покупок? К чему шить? Ведь у вас семья не бог весть как велика... Раз, два... да и обчелся...

– Какие вы, все мужчины, странные! И ничего вы не понимаете! Вот когда женитесь, так сами же будете сердиться, если жена ваша после венца придет к вам растрепкой. Я знаю, Петр Егорыч не нуждается, но все-таки неловко как-то с первого же раза себя не хозяйкой показать...

– При чем же тут Петр Егорыч?

– Гм... Смеется, точно и не знает! – сказала Оленька, слегка краснея.

– Вы, барышня, говорите загадками...

– Да разве вы не слышали? Ведь я выхожу замуж за Петра Егорыча!

– Замуж? – удивился я, делая большие глаза. – За какого Петра Егорыча?

– Фу, боже мой! Да за Урбенина!

Я поглядел на ее краснеющее и улыбающееся лицо...

– Вы... замуж? За Урбенина? Этакая ведь шутница!

– Никаких тут шуток нет... Не понимаю даже, что тут шуточного...

– Вы замуж... за Урбенина... – проговорил я, бледнея, сам не зная отчего. – Если это не шутка, то что же это такое?

– Какие шуточки!.. Не знаю даже, что тут такого удивительного, странного... – проговорила Оленька, надувая губки.

Минута прошла в молчании... Я глядел на красивую девушку, на ее молодое, почти детское лицо и удивлялся, как это она может так страшно шутить? Сразу я представил себе рядом с нею пожилого, толстого, краснолицего Урбенина с оттопыренными ушами и жесткими руками, прикосновение которых может только царапать молодое, только что еще начавшее жить женское тело... Неужели мысль о подобной картине не может пугать хорошенькую лесную фею, умеющую поэтически глядеть на небо, когда на нем бегают молнии и сердито ворчит гром? Я – и то испугался!

– Правда, он несколько стар, – вздохнула Оленька, – но зато ведь он меня любит... Его любовь надежная.

– Дело не в надежной любви, а в счастье...

– С ним я буду счастлива... Состояние у него – слава богу, и не голяк он какой-нибудь, не нищий, а дворянин. Я в него, конечно, не влюблена, но разве только те и счастливы, которые по любви женятся? Знаю я эти браки по любви!

– Дитя мое, – спросил я, с ужасом глядя в ее светлые глаза, – когда вы успели нафаршировать вашу бедную головку этой ужасной житейской мудростью? Допустим, что вы шутите со мной, но где вы научились так старчески грубо шутить?... Где? Когда?

Оленька поглядела на меня с удивлением и пожала плечами...

– Я не понимаю, что вы говорите... – сказала она. – Вам неприятно, что молодая девушка выходит за старика? Да?

Оленька вдруг вспыхнула, задвигала нервно подбородком и, не дожидаясь моего ответа, проговорила быстро:

– Вам это не нравится? Так извольте вы сами идти в лес... в эту скуку, где нет никого, кроме кобчиков да сумасшедшего отца... и ждите там, пока придет молодой жених! Вам понравилось тогда вечером, а поглядели бы вы зимой, когда рада бываешь... что вот-вот смерть придет...

– Ах, все это нелепо, Оленька, все это незрело, глупо! Если вы не шутите, то... я уж не знаю, что и говорить! Замолчите лучше и не оскорбляйте воздуха вашим язычком! Я, на вашем бы месте, на семи осинах удавился, а вы полотно покупаете... улыбаетесь! Аа-ах!

– По крайней мере он на свои средства отца лечить будет... – прошептала она...

– Сколько вам нужно на лечение отца? – закричал я. – Возьмите у меня! Сто?.. двести?.. тысячу? Лжете вы, Оленька! Вам не лечение отца нужно!

Новость, сообщенная мне Оленькой, так меня взволновала, что я и не заметил, как шарабан наш проехал мимо моей деревеньки, как он въехал на графский двор и остановился у крыльца управляющего... Увидев выбежавших детишек и улыбающееся лицо Урбенина, подскочившего высаживать Оленьку, я выпрыгнул из шарабана и, не простившись, побежал к графскому дому. Здесь ждала меня новая новость.

– Как кстати! Как кстати! – встретил меня граф, царапая мою щеку своими длинными, колючими усами. – Удачнее времени ты и выбрать не мог! Мы только сию минуту сели завтракать... Ты, конечно, знаком вот... Не раз уж, небось, имел столкновение по вашей судейской части... Ха-ха!

Граф обеими руками указал мне на двух мужчин, сидевших на мягких креслах и евших холодный язык. В одном я имел неудовольствие узнать мирового судью Калинина, другой же, маленький седенький старичок с большой лунообразной лысиной, был мой хороший знакомый, Бабаев, богатый помещик, занимавший в нашем уезде должность неперменного члена. Раскланиваясь, я с удивлением поглядел на Калинина... Я знал, как ненавидел он графа и какие слухи пускал он по уезду про того, у которого теперь ел с таким аппетитом язык с горошком и пил десятилетнюю наливку. Как мог порядочный человек объяснить этот его визит? Мировой уловил мой взгляд и, вероятно, понял его.

– Сегодняшний день посвятил я визитам, – сказал он мне. – Весь уезд объезжаю... И к его сиятельству заехал, как видите...

Илья подал четвертый прибор. Я сел, выпил рюмку водки и стал завтракать...

– Нехорошо, ваше сиятельство... Нехорошо! – продолжал Калинин разговор, прерванный моим приходом. – Нам, маленьким людям, не грех, а вы человек знатный, богатый, блестящий... Вам грех манкировать.

– Это верно, что грех... – согласился Бабаев.

– В чем дело? – спросил я.

– Хорошую мысль подали мне Николай Игнатьич! – кивнул граф на мирового. – Приходит он ко мне... садится завтракать, и жалуясь я ему на скуку...

– И жалуется они мне на скуку... – перебил графа Калинин. – Скучно, грустно... то да се... Одним словом, разочарован... Онегин некоторым образом... Сами, говорю, виноваты, ваше сиятельство... Как так? Очень просто... Вы, говорю, чтобы скучно не было, служите... хозяйством занимайтесь... Хозяйство превосходное, дивное... Говорят, что они намерены заняться хозяйством, но все-таки скучно... Нет у них, так сказать, увеселяющего, возбуждающего элемента. Нет этого... как бы так выразиться... ээ... того... сильных ощущений...

– Ну, так какую же мысль вы подали?

– Собственно говоря, я не подавал никакой мысли, но только осмелился сделать его сиятельству упрек. Как это, говорю, вы, ваше сиятельство, такой молодой... образованный, блестящий, можете жить в такой замкнутости? Разве, говорю, это не грех? Вы никуда не выезжаете, сами никого не принимаете, нигде вас не видно... как старик какой-нибудь или отшельник... Что стоит, говорю, вам устраивать у себя собрания... журфиксы, так сказать?

– Для чего же ему сдались эти журфиксы? – спросил я.

– Как для чего? Во-первых, тогда его сиятельство, ежели у него будут вечера, познакомится с обществом... изучит, так сказать... Во-вторых, и общество будет иметь честь поближе познакомиться с одним из наиболее богатейших наших землевладельцев... Взаимный, так сказать, обмен мыслей, разговоры, веселье. А сколько у нас, ежели рассуждать, образованных барышень, кавалеров!.. Какие можно задавать музыкальные вечера, танцы, пикники – посудите только! Залы огромные, в саду беседки и... прочее... Такие любительские спектакли и концерты можно задавать, что никому в губернии не снилось... Да ей-богу! Посудите сами!.. Теперь все это почти пропадает даром, в землю закопано, а тогда... понять только нужно! Имей я такие средства, как у его сиятельства, я показал бы, как надо жить! А они говорят: скучно! Даже, ей-богу... слушать смешно... совестно даже...

И Калинин замигал глазами, желая показать вид, что ему действительно совестно...

– Это вполне справедливо, – сказал граф, вставая и засовывая руки в карманы. – У меня могут выходить отличные вечера... Концерты, любительские спектакли... все это действительно можно прелестно устроить. И к тому же эти вечера будут не только веселить общество, но они будут иметь и воспитывающее влияние!.. Не правда ли?

– Ну да, – согласился я. – Как посмотрят наши барышни на твою усатую физиономию, так сразу и проникнутся духом цивилизации...

– Ты все шутишь, Сережа, – обиделся граф, – а никогда ты мне дружески не посоветуешь! Все тебе смешно! Пора, мой друг, оставить эти студенческие замашки!

Граф зашагал из угла в угол и в длинных, скучных предположениях начал описывать мне пользу, какую могут принести человечеству его вечера. Музыка, литература, сцена, верховая езда, охота. Одна охота может сплотить воедино все лучшие силы уезда!..

– Мы с вами поговорим еще об этом! – сказал граф Калинину, прощаясь с ним после завтрака.

– Так позвольте, стало быть, уезду надеяться, ваше сиятельство? – спросил мировой.

– Конечно, конечно... Я разовью эту мысль, постараюсь... Я рад... даже очень... Так всем и скажите...

Нужно было видеть то блаженство, которое было написано на лице мирового, когда он сел в свой экипаж и говорил: «Пошел!» Он так обрадовался, что забыл даже наши с ним контры и на прощанье назвал меня голубчиком и крепко пожал мне руку.

По отъезде визитеров я и граф сели за стол и продолжали завтракать. Завтракали мы до семи часов вечера, когда с нашего стола сняли посуду и подали нам обед. Молодые пьяницы знают, как коротать длинные антракты. Мы все время пили и ели по маленькому кусочку, чем поддерживали аппетит, который пропал бы у нас, если бы мы совсем бросили есть.

– Ты посылал сегодня кому-нибудь деньги? – спросил я графа, вспомнив те пачки сто-рублевки, которые видел утром в тeneвском почтовом отделении.

– Никому.

– Скажи, пожалуйста, а твой этот... как его?... новый друг, Казимир Каэтанович или Каэтан Казимирович, богатый человек?

– Нет, Сережа. Это бедняк!.. Но зато какая душа, какое сердце! Ты напрасно так презрительно говоришь о нем и... нападаешь на него... Надо, брат, научиться различать людей. Выпьем еще по рюмке?

К обеду воротился Пшехоцкий. Увидев меня, сидящего за столом и пьющего, он поморщился и, повертывая около нашего стола, нашел лучшим удалиться в свою комнату. От обеда он отказался, ссылаясь на головную боль, но не выразил ничего против, когда граф посоветовал ему пообедать в своей комнате, в постели.

Во время второго блюда вошел Урбенин. Я не узнал его. Его широкое, красное лицо сияло удовольствием. Довольная улыбка, казалось, играла даже на оттопыренных ушах и толстых пальцах, которыми он то и дело поправлял свой новый, франтоватый галстук.

– Корова у нас заболела, ваше сиятельство, – доложил он. – Посылал я за нашим ветеринаром, а оказывается, что он уехал. Не послать ли, ваше сиятельство, за городским ветеринаром? Если я пошлю, то он не послушается, не поедет, а если вы ему напишете, то тогда другое дело. Может быть, у коровы пустяк, а может, и что другое.

– Хорошо, я напишу... – пробормотал граф.

– Поздравляю вас, Петр Егорыч, – сказал я, вставая и протягивая управляющему руку.

– С чем-с? – прошептал он.

– Ведь вы женитесь!

– Да, да, представь себе, женится! – заговорил граф, мигая глазом на краснеющего Урбенина. – Каков? Ха-ха-ха! Молчал-молчал, да вдруг – на тебе! И знаешь, на ком он женится? Мы тогда вечером с тобой угадали! Мы, Петр Егорыч, тогда же еще порешили, что в вашем шалунишке-сердце творится что-то такое неладное. Как поглядел он на вас и Оленьку, «ну, говорит, втюрился малый!» Ха-ха! Садитесь с нами обедать, Петр Егорыч!

Урбенин осторожно и почтительно сел, позвал глазами Илью и приказал ему подать себе супу. Я налил ему рюмку водки.

– Я не пью-с, – сказал он.

– Полноте, вы еще больше нашего пьете.

– Пил-с, а теперь уж не пью, – улыбнулся управляющий. – Теперь мне нельзя пить... Незачем... Все, слава богу, прошло благополучно, все устроилось, и так именно, как хотело мое сердце, даже больше, чем мог я ожидать.

– Ну, на радостях хоть этого выпейте, – сказал я, наливая ему хересу.

– Этого, пожалуй. А пил я действительно много. Теперь могу покаяться перед его сиятельством. От утра до ночи, бывало. Как встанешь утром, вспомнишь это самое... ну и, естественно, к шкафчику сейчас же. Теперь, слава богу, нечего водкой заглушать.

Урбенин выпил стакан хересу. Я налил ему другой. Он выпил и этот и незаметно опьянел...

– Даже не верится... – сказал он, засмеявшись вдруг счастливым детским смехом. – Гляжу вот на это кольцо, припоминаю ее слова, которыми она выразила свое согласие, и не верю... Смешно даже... Ну, мог ли я в свои годы, при своей такой наружности, надеяться, что эта достойная девушка не побрезгует стать моей... матерью моих сироток? Ведь она красавица, как изволили вы видеть, ангел во плоти! Чудеса, да и только! Вы еще мне налили?... Пожалуй, в последний раз уж... С горя пил, выпью и на радостях. А как я мучился, господа, сколько горя вынес! Увидел ее год тому назад и – верите ли? – с той поры не было ни одной ночи, чтоб я спал спокойно, не было дня, чтоб я не заливал водкой этой... слабости глупой, не бранил себя за глупость... Бывало, гляжу на нее в окно, люблюсь и... волосы рву у себя на голове... В пору бы вешаться... Но, слава богу... рискнул, сделал предложение, и точно, знаете ли, меня обухом! Ха-ха! Слышу и ушам не верю... Она говорит: «Согласна», а мне кажется: «Убирайся ты, старый хрен, к черту»... После, когда уж она меня поцеловала, убедился...

Пятидесятилетний Урбенин при воспоминании о первом поцелуе с поэтической Оленькой закрыл глаза и зарделся, как мальчишка... Мне показалось это противным...

– Господа, – сказал он, глядя на нас счастливыми, ласковыми глазами. – Отчего вы не женитесь? Зачем вы тратите попусту, кидаете за окно свои жизни? Отчего вы так чуждаетесь

того, что составляет лучшее благо всего живущего на земле? Ведь наслаждения, которые дает разврат, не дают и сотой доли того, что дала бы вам тихая, семейная жизнь! Молодые люди... ваше сиятельство и вы, Сергей Петрович... я счастлив теперь и... видит Бог, как я люблю вас обоих! Простите мне мои глупые советы, но... счастья ведь я хочу для вас! Отчего вы не женитесь? Семейная жизнь есть благо... Она – долг всякого!..

Счастливым и умильным вид старика, женящегося на молоденькой и советующего нам переменить нашу развратную жизнь на тихую, семейную, стал мне невыносим.

– Да, – сказал я, – семейная жизнь есть долг. Я с вами согласен. Стало быть, этот долг вы исполняете уже во второй раз?

– Да, во второй. Я вообще люблю семейную жизнь. Быть холостым или вдовым для меня – жизнь наполовину. Что ни говорите, господа, а супружество – великое дело!

– Конечно... Даже и тогда, если муж чуть ли не в три раза старше своей супруги?

Урбенин покраснел. Рука, несшая ко рту ложку с супом, задрожала, и суп вылился обратно в тарелку.

– Я понимаю, что вы хотите сказать, Сергей Петрович, – пробормотал он. – Благодарю вас за откровенность. Я и сам себя спрашиваю: не подло ли? Мучаюсь! Но где тут спрашивать себя, решать разные вопросы, когда каждую минуту чувствуешь, что ты счастлив, когда ты забываешь свою старость, уродство... все! Номо sum⁸⁸, Сергей Петрович! А когда на секунду забегает в мою башку вопрос о неравенстве лет, я не лезу в карман за ответом и успокаиваю себя, как умею. Мне кажется, что я дал Ольге счастье. Я дал ей отца, а детям моим мать. Впрочем, все это на роман похоже, и... у меня кружится голова. Напрасно вы меня хересом напоили.

Урбенин встал, вытер салфеткой лицо и опять сел. Через минуту он выпил залпом стакан, поглядел на меня продолжительным, умоляющим взглядом, словно прося у меня пощады, потом вдруг плечи его задрожали, и он неожиданно зарыдал, как мальчик.

– Это ничего-с... Ничего-с, – забормотал он, пересиливая рыданье. – Не беспокойтесь. Мое сердце, после ваших слов, сжало какое-то предчувствие. Но это ничего-с.

Предчувствие Урбенина сбылось, сбылось так скоро, что я не успеваю переменить перо и начать новую страницу. С следующей главы моя покойная муза выражение покоя на лице сменяет выражением гнева и скорби. Предисловие кончено, и начинается драма.

Преступная воля человека вступает в свои права.

Я помню хорошее воскресное утро. В окна графской церкви видно прозрачное, голубое небо, а всю церковь, от расписного купола до пола, пронизывает матовый луч, в котором весело играют клубы ладанного дыма... В открытые окна и двери несется пение ласточек и скворцов... Один воробей, по-видимому смельчак большой руки, влетел в дверь и, покружившись с чириканьем над нашими головами, окунувшись несколько раз в матовый луч, вылетел в окно... В самой церкви тоже пение... Поют складно, с чувством и с тем увлечением, на которое способны наши певцы-малороссы, когда чувствуют себя героями минуты и когда видят, что на них то и дело оглядываются... Мотивы все больше веселые, игривые, как светлые, солнечные «зайчики», играющие на стенах и одеждах слушающих... В необработанном, но мягком и свежем теноре мое ухо, несмотря на веселый свадебный мотив, улавливает грудную, унылую струнку, словно этому тенору жаль, что рядом с хорошенькой, поэтической Оленькой стоит тяжелый, медведеобразный и отживающий свой век Урбенин... Да и не одному тенору жалко глядеть на эту неравную пару... На многочисленных лицах, которыми усеяно мое поле зрения, как бы они ни старались казаться веселыми и беспечными, даже идиот мог бы прочесть сожаление.

Я, облеченный в новую фракную пару, стою позади Оленьки и держу над нею венец. Я бледен и не совсем здоров... Голова трещит от вчерашней попойки и прогулки по озеру, и я то

⁸⁸ Человек я (лат.).

и дело поглядываю, не дрожит ли моя рука, держащая венец... На душе моей скверно и жутко, как в лесу в дождливую осеннюю ночь. Мне досадно, противно, жалко... За сердце скребут кошки, напоминающие несколько угрызения совести... Там, в глубине, на самом дне моей души, сидит бесенок и упрямо, настойчиво шепчет мне, что если брак Оленьки с неуклюжим Урбениным – грех, то и я повинен в этом грехе... Откуда могут быть такие мысли? Разве я мог спасти эту юную дурочку от ее непонятного риска и несомненной ошибки?..

«А кто знает! – шепчет бесенок. – Тебе это лучше знать!» Видал я на своем веку много неравных браков, не раз стоял перед картиной Пукирева, читал много романов, построенных на несоответствии между мужем и женой, знал, наконец, физиологию, безапелляционно казнящую неравные браки, но ни разу еще в жизни не испытывал того отвратительного душевного состояния, от которого никакими силами не могу отделаться теперь, стоя за спиной Оленьки и исполняя обязанности шафера... Если мою душу волнует одно только сожаление, то отчего же я не знал этого сожаления ранее, присутствуя на других свадьбах?..

«Тут не сожаление, – шепчет бесенок. – Ревность...»

Но ревновать можно только тех, кого любишь, а разве я люблю девушку в красном? Если любить всех девушек, которых я встречаю, живя под луной, то не хватит сердца, да и слишком жирно...

Мой друг, граф Карнеев, стоит позади, у самой церковной двери, за ктиторским шкафом, и продает свечи. Он прилизан, примазан и испускает из себя наркотический, удушливый запах духов. Сегодня он выглядывает таким душкой, что, здороваясь с ним утром, я не удержался, чтобы не сказать:

– Сегодня ты, Алексей, выглядываешь идеальным кадрилищиком!

Каждого входящего и выходящего он провожает слащавой улыбкой, и я слышу, какими тяжеловесными комплиментами награждает он всякую даму, покупающую у него свечку. Он, баловень судьбы, никогда не имевший медных денег и не умеющий обращаться с ними, то и дело роняет на пол пятаки и трешники. Около него, облокотившись о шкаф, стоит величественный Калинин с Станиславом на шее. Физиономия его сияет и лоснится. Он рад, что его идея о «журфиксах» пала на добрую почву и уже начинает давать плод. В глубине души он сыплет Урбенину тысячи благодарностей: его свадьба нелепость, но тем не менее к ней легко придаться, чтобы устроить первый журфикс.

Тщеславная Оленька должна была радоваться... От венчального аналога до самых царских врат тянутся два ряда представительниц нашего уездного цветника... Гости разодеты так, как разоделись бы они, если бы женился сам граф: лучших нарядов и желать нельзя... Тут все больше аристократки... Ни одной попадьи, ни одной купчихи... Есть даже такие, которым Оленька ранее не считала себя вправе даже кланяться... Жених Оленьки – управляющий, привилегированный слуга, но от этого не может страдать ее тщеславие... Он дворянин и имеет в соседнем уезде заложенное имение. Отец его был уездным предводителем, а сам он уже девять лет состоит мировым судьей своего родного уезда... Чего же еще нужно честолюбию дочери личного дворянина? Даже ее шафер, известный всей губернии бонвиван⁸⁹ и Дон-Жуан, может пощекотать ее гордость... На него заглядываются все гости... Он эффектен, как сорок тысяч шаферов, взятых вместе, и, что немаловажнее всего, не отказался быть у нее, простушки, шафером, когда известно, что он даже и аристократкам отказывает, когда они приглашают его в шафера...

Но тщеславная Оленька не радуется... Она бледна, как полотно, которое она недавно везла с теневаской ярмарки. Рука ее, держащая свечу, слегка дрожит, подбородок изредка вздрагивает. В глазах какое-то оупение, словно она внезапно чему-то изумилась, испугалась... Нет и следа той веселости, которая светилась в ее глазах, когда она не дальше как вчера бегала

⁸⁹ Человек, любящий пожить в свое удовольствие (от *фр.* – *bon vivant*).

по саду и с увлечением рассказывала, какие обои будут в ее гостиной, в какие дни она будет приглашать к себе гостей и проч. Лицо ее теперь слишком серьезно, более, чем того требует торжественность случая...

Урбенин в новой фракционной паре. Одет он прилично, но причесан так, как причесывались православные в двенадцатом году. Он, по обыкновению, красен и серьезен. Его глаза молятся, и те крестные знамения, которые делает он после каждого «Господи, помилуй», не машинальны.

Позади меня стоят дети Урбенина от первого брака – гимназист Гриша и белокурая девочка Саша. Они глядят на красный затылок и оттопыренные уши отца, и лица их изображают вопросительные знаки. Им непонятно, на что их отцу сдалась тетя Оля и зачем он берет ее к себе в дом. Саша только удивлена, четырнадцатилетний же Гриша нахмурен и глядит исподлобья. Наверное, он ответил бы отказом, если бы отец попросил у него позволения жениться...

Венчальный обряд совершают с особенной торжественностью. Служат три священника и два дьякона. Служат долго, до того долго, что рука моя устает держать венец, и дамы, любящие вообще смотреть венчанье, перестают глядеть на молодых. Благодичинный читает молитвы с расстановкой, не пропуская ни одной; певчие поют что-то длинное нотное; дьячок, пользуясь случаем прихвастнуть своей октавой, читает апостола с «сугубою протяжностью»... Но вот, наконец, благодичинный берет из моих рук венец... молодые целуются... Гости волнуются, расстраиваются правильные ряды, слышатся поздравления, поцелуи, аханья. Урбенин, сияющий и улыбающийся, берет под руку молодую, и мы выходим на воздух...

Если кто из бывших со мною в церкви найдет это описание неполным и не совсем точным, тот пусть припишет эти промахи головной боли и названному душевному настроению, мешавшим мне наблюдать и подмечать... Конечно, знай я тогда, что мне придется писать роман, я не глядел бы в землю, как в описываемое утро, и не обратил бы внимания на головную боль!

Судьба позволяет себе иногда едкие, ядовитые шутки! Не успели молодые выйти из церкви, как навстречу им неся нежелательный и неожиданный сюрприз... Когда свадебный кортеж, пестрея на солнце сотнями цветов и оттенков, двигался от церкви к графскому дому, Оленька вдруг сделала шаг назад, остановилась и так дернула своего мужа за локоть, что тот покачнулся...

– Его выпустили! – сказала она вслух, поглядев на меня с ужасом.

Бедняжка! Навстречу кортежу по аллее бежал ее сумасшедший отец, лесничий Скворцов. Размахивая руками, спотыкаясь и безумно поводя глазами, он представлял из себя достаточно непривлекательную картину. Все бы это еще, пожалуй, было прилично, если бы он не был в своем ситцевом халате и в туфлях-шлепанцах, ветхость которых плохо вязалась с роскошью венчального наряда его дочери. Лицо его было зашпано, волосы развевались от ветра, ночная сорочка была расстегнута.

– Оленька! – залепетал он, поравнявшись с ними. – Зачем ты ушла?

Оленька покраснела и искоса поглядела на улыбающихся дам. Бедняжка сгорела от стыда...

– Митька дверей не запер, – продолжал лесничий, обращаясь к нам. – Трудно ли ворам забраться?.. Из кухни самовар унесли в прошлом году, так вот она хочет, чтоб и теперь нас обокрали!

– Не знаю, кто его выпустил! – шепнул мне Урбенин. – Я велел его запереть... Голубчик, Сергей Петрович, будьте милостивы, выведите нас как-нибудь из неловкого положения! Как-нибудь!

– Я знаю, кто украл у вас самовар, – обратился я к лесничему. – Пойдемте, я вам укажу.

И, обняв Скворцова за талию, я повел его к церкви... Заведя его в ограду, я поговорил с ним, и когда, по моему расчету, свадебный кортеж был уже в доме, – оставил его, не указав ему места, где находится украденный у него самовар.

Как ни неожиданна и ни экстраординарна была встреча с сумасшедшим, но, тем не менее, скоро она была забыта... Новый сюрприз, который был поднесен молодым их судьбою, был еще диковиннее...

Через час все мы сидели за длинными столами и обедали.

Кто привык к паутине, плесени и цыганскому гиканью графских апартаментов, тому странно было глядеть на эту будничную, прозаическую толпу, нарушавшую своей обыденной болтовней тишину ветхих, оставленных покоев. Эта пестрая, шумная толпа походила на стаю скворцов, мимолетом опустившуюся отдохнуть на заброшенное кладбище, или – да простит мне это сравнение благородная птица! – на стаю аистов, опустившихся в одни из сумерек перелетных дней на развалины заброшенного замка.

Я сидел и ненавидел эту толпу, с суетным любопытством рассматривавшую гниющее богатство графов Карнеевых. Мозаиковые стены, скульптурные потолки, роскошные персидские ковры и мебель в стиле рококо вызывали восторг и изумление. Усатая физиономия графа, не переставая, осклаблялась самодовольной улыбкой... Восторженную лесть своих гостей принимал он, как нечто заслуженное, хотя в сущности он нимало не был повинен в богатстве и роскоши своего брошенного им гнезда, а, напротив, заслуживал самых горьких упреков и даже презрения за свой варварски тупой индифферентизм по отношению к добру, собранному его отцом и дедами, собранному не днями, а десятками лет! Только душевно слепой и нищий духом на каждой посеревшей мраморной плите, в каждой картине, в каждом темном уголке графского сада не видел пота, слез и мозолей людей, дети которых ютились теперь в избенках графской деревеньки... И из большого числа людей, сидевших за свадебным столом, людей богатых, независимых, которым ничто не мешало говорить даже самую резкую правду, не нашлось ни одного человека, который сказал бы графу, что его самодовольная улыбка глупа и неуместна... Каждый находил нужным льстиво улыбаться и курить грошовый фимиам! Если это была «простая» вежливость (у нас любят многое сваливать на вежливость и приличия), то я этим франтам предпочел бы невеж, едящих руками, берущих хлеб с чужого куверта и сморкающихся посредством двух пальцев...

Урбенин улыбался, но на это у него были свои причины. Он улыбался и льстиво, и почти-тельно, и детски счастливо. Его широкая улыбка была суррогатом собачьего счастья. Преданную и любящую собаку приласкали, осчастливили, и теперь она в знак благодарности весело и искренно виляет хвостом...

Он, как Рислер-старший в романе Альфонса Доде, сияя и потирая от удовольствия руки, глядел на свою молодую жену и от избытка чувств не мог удержаться, чтобы не задавать вопрос за вопросом:

«Кто б мог подумать, что эта молодая красавица полюбит такого старика, как я? И неужели она не могла найти кого-нибудь помоложе и изящнее? Непостижимы эти женские сердца!»

И он даже имел храбрость обратиться ко мне и сболтнуть:

– Да и век же настал, как посмотришь! Хе-хе! Старик из-под носа молодежи утаскивает этакую фею! Чего же смотрели вы? Хе-хе... Нет, нынче уже не та молодежь!

Не зная, куда деваться от избытка чувств благодарности, распиравших его широкую грудь, он то и дело поднимался, протягивал к бокалу графа свой бокал и говорил дрожащим от волнения голосом:

– Чувства мои к вам известны, ваше сиятельство... В сегодняшний же день вы столько сделали для меня, что моя любовь к вам является просто прахом... Чем я заслужил такое внимание вашего сиятельства, что вы приняли такое участие в моей радости? Так только графы

да банкиры празднуют свои свадьбы! Эта роскошь, собрание именитых гостей... Ах, да что говорить!.. Верьте, ваше сиятельство, что моя память не оставит вас, как не оставит она этот лучший и счастливейший из дней моей жизни...

И так далее... Оленьке, по-видимому, была не по душе витиеватая почтительность мужа... Она заметно тяготилась его речами, вызывавшими улыбки на лицах обедавших, и даже, кажется, стыдилась их... Несмотря на выпитый бокал шампанского, она была невесела и угрюма по-прежнему... Та же бледность, что и в церкви, тот же испуг в глазах... Она молчала, лениво отвечала на все вопросы, насильно улыбалась островам графа и едва касалась дорогих кушаний... Насколько пьянящий Урбенин считал себя счастливейшим из смертных, настолько несчастно было ее хорошенькое личико. Мне было просто жаль глядеть на него, и я, чтобы не видеть этого личика, старался глядеть себе в тарелку.

Чем нужно было объяснить эту ее печаль? Не начало ли раскаяние грызть бедную девушку? Или, быть может, ее тщеславие ожидало еще большей помпы?

Подняв во время второго блюда на нее глаза, я был поражен до боли в сердце. Бедная девочка, отвечая на какой-то пустой вопрос графа, делала усиленные глотательные движения: в ее горле накопились рыдания. Она не отрывала платка от своего рта и робко, как испуганный зверек, поглядывала на нас: не замечаем ли мы, что ей хочется плакать?

– Чего вы такая кислая сегодня? – спросил граф. – Эге! Петр Егорыч, это вы виноваты! Извольте-ка развеселить жену! Господа, я требую поцелуя. Ха-ха!.. Не для себя поцелуя, конечно, а того... чтобы они поцеловались! Горько!

– Горько! – подхватил Калинин.

Урбенин, улыбаясь во все свое красное лицо, поднялся и замигал глазами. Оленька, понуждаемая возгласами и гиканьем гостей, слегка привстала и подставила Урбенину свои неподвижные, безжизненные губы... Тот поцеловал... Оленька стиснула свои губы, точно боясь, чтоб их не поцеловал в другой раз, и взглянула на меня... Вероятно, мой взгляд был нехорош. Уловив его, она вдруг покраснела, потянулась за платком и стала сморкаться, желая хоть чем-нибудь скрыть свое страшное замешательство... Мне пришло в голову, что она стыдится передо мной, стыдится за этот поцелуй, за брак...

«Какое мне дело до тебя?» – думал я, но сам в то же время не спускал с нее глаз, стараясь уловить причину ее замешательства...

Бедняжка не вынесла моего взгляда. Правда, краска стыда скоро сошла с ее лица, но зато из глаз выжались слезы, настоящие слезы, каких я никогда ранее не видывал на ее лице... Прижав платок к лицу, она поднялась и выбежала из столовой...

– У Ольги Николаевны голова болит, – поспешил я объяснить ее уход. – Она мне еще утром жаловалась...

– Оставь, брат! – сострил граф. – Головная боль тут ни при чем... Поцелуй все наделал, сконфузилась. Объявляю, господа, жениху строгий выговор! Он не приучил свою невесту к поцелуям! Ха-ха!

Гости, восхищенные графской остротой, захохотали... Но не следовало хохотать...

Прошло пять, десять минут, а молодая не возвращалась... Наступило молчание... Даже граф перестал острить... Отсутствие Оленьки было тем более заметно, что она ушла внезапно, не сказав ни слова... Не говоря уж об этикете, который был оскорблен тут прежде всего, Оленька вышла из-за стола тотчас же после поцелуя, словно она рассердилась, что ее заставили целоваться с мужем... Нельзя было допустить, что она ушла оттого, что сконфузилась... Сконфузиться можно на минуту, на две, но не на целую вечность, какую показали нам первые десять минут ее отсутствия... Сколько нехороших мыслей промелькнуло в хмельных головах мужчин и сколько сплетен было уже наготове у милых дам! Невеста встала из-за стола и ушла – какое эффектное и сценическое место для «великосветского» уездного романа!

Урбенин стал беспокойно поглядывать по сторонам.

– Нервы... – бормотал он. – Или, может, развязалось что-нибудь из туалета... Кто их знает, этих женщин! Сейчас придет... Сию минуту.

Но когда прошло еще десять минут и она не появлялась, он посмотрел на меня такими несчастными, умоляющими глазами, что мне стало жаль его...

«Ничего, если я пойду поищу ее? – говорили его глаза. – Не поможете ли вы мне, голубчик, выйти из этого ужасного положения? Вы здесь самый умный, смелый и находчивый человек, помогите же мне!»

Я внял мольбе его несчастных глаз и решился помочь ему. Как я помог ему, читатель увидит далее... Скажу только, что крыловский медведь, оказавший услугу пустынною, в моих глазах теряет все свое звериное величие, бледнеет и обращается в невинную инфузорию, когда я вспоминаю себя в роли «услужливого дурака»... Сходство между мной и медведем заключается только в том, что оба мы шли на помощь искренно, не предвидя дурных последствий нашей услуги, разница же между нами громадная... Мой камень, которым я хватил по лбу Урбенина, во много раз увесистее...

– Где Ольга Николаевна? – спросил я лакея, подававшего мне салат.

– В сад вышли, – отвечал он.

– Это ни на что не похоже, mesdames! – сказал я шутливым тоном, обращаясь к дамам. – Невеста ушла, и мое вино прокисло!.. Я должен пойти ее отыскать и привести ее сюда, хотя бы у нее болели все зубы! Шафер – должностное лицо, и он идет показать свою власть!

Я встал и при громких аплодисментах моего друга графа вышел из столовой в сад. В мою разгоряченную вином голову ударили прямые, жгучие лучи полуденного солнца. В лицо пахло зноем и духотой. Я наудачу пошел по одной из боковых аллей и, насвистывая какой-то мотив, дал «полный пар» своим следовательским способностям в роли простой ищейки. Я осмотрел все кусты, беседки, пещеры, и когда уже меня начало помучивать раскаяние, что я пошел вправо, а не влево, я вдруг услышал странные звуки. Кто-то смеялся или плакал. Звуки исходили из одной пещеры, которую я хотел осмотреть последней. Быстро войдя в нее, я, охваченный сыростью, запахом плесени, грибов и известки, увидел ту, которую искал.

Она стояла, облокотившись о деревянную колонну, покрытую черным мохом, и, подняв на меня глаза, полные ужаса и отчаяния, рвала на себе волосы. Из ее глаз лились слезы, как из губки, когда ее жмут.

– Что я наделала? Что наделала! – бормотала она.

– Да, Оля, что вы наделали! – сказал я, ставши перед ней и скрестив руки.

– Зачем я вышла за него замуж? Где у меня были глаза? Где был мой ум?

– Да, Оля... Трудно объяснить этот ваш шаг... Объяснять его неопытностью – слишком снисходительно, объяснять испорченностью – не хочется...

– Я сегодня только поняла... сегодня! Отчего я не поняла этого вчера? Теперь все безвозвратно, все потеряно! Все, все! Я могла бы выйти за человека, которого я люблю, который меня любит!

– За кого же это, Оля? – спросил я.

– За вас! – сказала она, посмотрев на меня прямо, открыто... – Но я поспешила! Я была глупа! Вы умны, благородны, молоды... Вы богаты... Вы казались мне недоступны!

– Ну, довольно, Оля, – сказал я, беря ее за руку. – Утром свои глазки и пойдём... Там ждут... Ну, будет плакать, будет... – Я поцеловал ее руку. – Будет, девочка! Ты сделала глупость и теперь расплачивайся за нее... Ты виновата... Ну, будет, успокойся...

– Ведь ты меня любишь? Да? Ты такой большой, красивый! Ведь любишь?

– Пора идти, душа моя... – сказал я, замечая, к своему великому ужасу, что я целую ее в лоб, беру ее за талию, что она ожигает меня своим горячим дыханием и повисает на моей шее...

– Будет тебе! – бормочу я. – Довольно!..

Когда минут через пять я вынес ее на руках из пещеры и, замученную новыми впечатлениями, поставил на землю, почти у самого порога я увидел Пшехоцкого... Он стоял, ехидно глядел на меня и тихо аплодировал... Я смерил его взглядом и, взяв Ольгу под руку, направился к дому.

– Сегодня же вас здесь не будет! – сказал я, оглянувшись, Пшехоцкому. – Ваше шпионство не пройдет вам даром!

Поцелуи мои, вероятно, были горячи, потому что лицо Ольги горело, как в огне. На нем не было и следа только что пролитых слез...

– Теперь мне, как говорится, море по колено! – бормотала она, идя со мной к дому и судорожно сжимая мой локоть. – Утром я не знала, куда деваться от ужаса, а сейчас... сейчас, мой хороший великан, я не знаю, куда деваться от счастья! Там сидит и ждет меня муж... Ха-ха! Мне-то что? Хоть бы он даже был крокодил, страшная змея... ничего не боюсь! Я тебя люблю и знать ничего не хочу.

Я поглядел на ее пылавшее счастьем лицо, на глаза, полные счастливой, удовлетворенной любви, и сердце мое сжалось от страха за будущее этого хорошенького, счастливого существа: любовь ее ко мне была только лишним толчком в пропасть... Чем кончит эта смеющаяся, не думающая о будущем женщина?.. Сердце мое сжалось и перевернулось от чувства, которое нельзя назвать ни жалостью, ни состраданием, потому что оно было сильнее этих чувств. Я остановился и взял Ольгу за плечо... Никогда в другое время я не видел ничего прекраснее, грациознее и в то же время жалче... Некогда было рассуждать, рассчитывать, думать, и я, охваченный чувством, сказал:

– Сию минуту едем ко мне, Ольга! Сейчас же!

– Как? Что ты сказал? – спросила она, не поняв моего несколько торжественного тона...

– Едем немедленно ко мне!

Ольга улыбнулась и показала мне на дом...

– Ну так что же? – сказал я. – Сегодня ли я возьму тебя или завтра – не все ли равно? Но чем раньше, тем лучше... Идем!

– Но... это как-то странно...

– Ты, девочка, боишься скандала?.. Да, скандал будет необыкновенный, грандиозный, но лучше тысяча скандалов, чем оставаться тебе здесь! Я тебя здесь не оставлю! Я не могу тебя здесь оставить! Понимаешь, Ольга? Оставь твою малодушие, твою женскую логику и слушайся! Слушайся, если не желаешь своей гибели!

Глаза Ольги говорили, что она меня не понимала... А время между тем не ждало, шло своим чередом, и стоять нам в аллее в то время, когда нас там ждали, было некогда. Нужно было решать... Я прижал к себе «девушку в красном», которая фактически была теперь моей женой, и в эти минуты мне казалось, что я действительно люблю ее, люблю любовью мужа, что она моя и судьба ее лежит на моей совести... Я увидел, что я связан с этим созданием навеки, бесповоротно.

– Послушай, моя дорогая, мое сокровище! – сказал я. – Шаг этот смел... Он рассорит нас с близкими людьми, вызовет на наши головы тысячи попреков, слезных жалоб. Он, быть может, даже испортит мою карьеру, причинит мне тысячи непроходимых неудобств, но, милая моя, решено! Ты будешь моей женой... Лучшей жены мне не нужно, да и Бог с ними, с этими женщинами! Я сделаю тебя счастливой, буду хранить тебя, как зеницу ока, пока жив буду, я воспитаю тебя, сделаю из тебя женщину! Обещаю тебе это, и вот тебе моя честная рука!

Я говорил с искренним увлечением, с чувством, как *jeune premier*⁹⁰, исполняющий самое патетическое место в своей роли... Говорил я прекрасно, и недаром похлопала мне крыльями пролетевшая над нашими головами орлица. А моя Оля взяла мою протянутую руку, подержала

⁹⁰ Первый любовник (*фр.*).

ее в своих маленьких руках и с нежностью поцеловала. Но это не было знаком согласия... На глупеньком личике неопытной, никогда ранее не слышавшей речей женщины выразалось недоумение... Она все еще продолжала не понимать меня.

– Ты говоришь, идти к тебе... – проговорила она, думая... – Я тебя не совсем понимаю...

Разве ты не знаешь, что скажет он?

– Да какое тебе дело до того, что он скажет?

– Как какое? Нет, Сережа, и не говори лучше... Оставь это, пожалуйста... Ты меня любишь, и больше мне ничего не нужно. С твоей любовью хоть в аду жить...

– Но как же ты будешь, дурочка?

– Я буду жить здесь, а ты... будешь приезжать каждый день... Я буду выходить тебя встречать.

– Но я без содрогания не могу представить себе этой твоей жизни!.. Ночью – он, днем – я... Нет, это невозможно! Оля, я так люблю тебя в настоящую минуту, что... я даже безумно ревнив... Я даже и не подозревал за собой способности на такие чувства...

Но какая неосторожность! Я держал ее за талию, а она нежно гладила мою руку в то время, когда во всякую минуту можно было ждать, что кто-нибудь пройдет по аллее и увидит нас.

– Идем, – сказал я, отдергивая свои руки. – Оденся, и едем!

– Но как ты все это скоро... – промычала она плаксивым голосом. – Спешешь, словно на пожар... И бог знает что выдумал! Убежать сейчас же после венца! Что люди скажут!

И Оленька пожала плечами. На лице ее было столько недоумения, удивления и непонимания, что я махнул рукой и отложил решение ее «жизненного вопроса» до следующего раза. Да и некогда уже было продолжать нашу беседу: мы всходили по каменным ступеням террасы и слышали людской говор. Перед дверью в столовую Оля поправила свою прическу, оглядела платье и вошла. На лице ее не заметно было смущения. Вошла она, сверх ожидания моего, очень храбро.

– Возвращаю вам, господа, беглянку, – сказал я, входя и садясь на свое место. – Насилу нашел... Даже утомился... Выхожу в сад, смотрю, а она изволит прохаживаться по аллее... «Зачем вы здесь?» – спрашиваю... – «Да так, – говорит, – душно!..»

Оля поглядела на меня, на гостей, на мужа... и захохотала. Ей стало вдруг смешно, весело. На лице ее я прочел желание поделиться со всей этой обедающей толпой своим внезапно набравшим на нее счастьем, и, не имея возможности передать его на словах, она вылила его в своем смехе.

– Какая я смешная! – сказала она. – Хохоочу и сама не знаю, чего хохоочу... Граф, смейтесь!

– Горько! – крикнул Калинин.

Урбенин кашлянул и поглядел вопросительно на Олю.

– Ну? – спросила она, на секунду нахмутив брови.

– Кричат-с – «горько», – ухмыльнулся Урбенин, поднимаясь и вытирая салфеткой губы.

Ольга поднялась и дала ему поцеловать себя в неподвижные губы... Поцелуй этот был холоден, но еще более он поджег костер, тлевший в моей груди и готовый каждую минуту вспыхнуть пламенем... Я отвернулся и, стиснув губы, стал ждать конца обеда... Конец этот наступил, к счастью, скоро, иначе бы я не выдержал...

– Поди сюда! – сказал я грубо, подходя после обеда к графу.

Граф с удивлением поглядел на меня и последовал за мной в пустую комнату, куда я повел его...

– Что тебе нужно, дружок? – спросил он, расстегивая жилетку и оторгнув...

– Выбирай кого-нибудь из двух... – сказал я, едва держась на ногах от охватившего меня гнева. – Или я, или Пшехоцкий! Если ты не обещаешь мне, что через час этот подлец оставит твою деревню, я к тебе более ни ногой!.. Даю тебе на ответ полминуты!

Граф выронил изо рта сигару и расставил руки...

– Что с тобой, Сережа? – спросил он, делая большие глаза. – На тебе лица нет!

– Без лишних слов, пожалуйста! Я не выношу шпиона, негодяя, подлеца и друга твоего Пшехоцкого и во имя наших хороших с тобой отношений требую, чтоб его не было здесь сейчас же!

– Но что он тебе сделал? – встревожился граф. – За что ты на него так нападаешь?

– Я тебя спрашиваю: я или он?

– Но, голубчик, ты ставишь меня в ужасно щекотливое положение... Пстой, у тебя на фраке перышко... Ты требуешь от меня невозможного!

– Прощай! – сказал я. – Я с тобой больше незнаком.

И, круто повернувшись, я пошел в переднюю, оделся и быстро вышел. Проходя через сад в людскую кухню, где я хотел приказать запрячь мне лошадь, я был остановлен встречей... Навстречу мне с маленькой чашечкой кофе шла Надя Калинина. Она тоже была на свадьбе Урбенина, но какой-то неясный страх заставлял меня избегать с ней разговора, и за весь день я ни разу не подошел к ней и не сказал с нею ни одного слова...

– Сергей Петрович! – сказала она неестественно низким голосом, когда я прошел мимо нее и слегка приподнял шляпу. – Пстойте!

– Что прикажете? – спросил я, подходя к ней.

– Приказывать мне нечего... да вы и не лакей, – сказала она, глядя мне в упор в лицо и страшно бледнея. – Вы куда-то спешите, но если вам не к спеху, можно задержать вас на минуту?

– Конечно... Я не знаю даже, зачем вы спрашиваете...

– В таком случае сядемте... Вы, Сергей Петрович, – продолжала она, когда мы сели, – сегодня вы все время старались не замечать меня, обходили, словно боялись встретиться, а как нарочно сегодня-то я и порешила поговорить с вами... Я горда и самолюбива... не умею навязываться встречей... но раз в жизни можно пожертвовать гордостью.

– О чем вы это?

– Я порешила сегодня спросить вас... Вопрос унижительный, тяжелый для меня... не знаю, как и перенесу... Вы отвечайте, не глядя на меня... Неужели вам не жаль меня, Сергей Петрович?

Надя поглядела на меня и слабо покачала головой. Лицо ее еще более побледнело, верхняя губа задрожала и покривилась...

– Сергей Петрович! Мне все кажется, что вас... отделило от меня какое-то недоразумение, каприз... Мне кажется, что выскажись мы – и все пойдет по-старому... Если бы мне так не казалось, то у меня не хватило бы решимости задать вам вопрос, который вы сейчас услышите... Я, Сергей Петрович, несчастна... Вы должны это видеть... Жизнь моя не в жизнь... Вся высохла... А главное – какая-то неопределенность: не знаешь, надеяться или нет... Поведение ваше по отношению ко мне так непонятно, что невозможно вывести никакого определенного заключения... Скажите мне, и я буду знать, что мне делать... Тогда моя жизнь получит хотя какое-нибудь направление... Я тогда решусь на что-нибудь...

– Вы хотите, Надежда Николаевна, спросить меня о чем-то, – сказал я, готовя мысленно ответ на вопрос, который предчувствовал.

– Да, я хочу спросить... Вопрос унижительный... Если кто подслушает, то подумает, что я навязываюсь, словно... пушкинская Татьяна... Но это вымученный вопрос...

Действительно, вопрос был вымученный. Когда Надя повернула ко мне лицо, чтобы задать этот вопрос, я испугался: Надя дрожала, судорожно сжимала свои пальцы и с тоскливой медленностью выжимала из себя роковое слово. Ее бледность была страшна.

– Могу я надеяться? – прошептала она наконец. – Вы не бойтесь говорить прямо... Какой бы ни был ответ, но он лучше неопределенности. Так как же? Могу я надеяться?

Она ждала ответа, а между тем настроение моего духа было таково, что я не был способен на разумный ответ. Пьяный, взволнованный случаем в пещере, взбешенный шпионством Пшехоцкого и нерешительностью Ольги, переживший глупую беседу с графом, я едва слушал Надю.

– Могу я надеяться? – повторила она. – Отвечайте же!

– Ах, мне не до ответов, Надежда Николаевна! – махнул я рукой, поднимаясь. – Я не способен давать теперь какие бы то ни было ответы. Простите меня, но я вас не слышал и не понял. Я глуп и взбешен... Напрасно только вы и беспокоились, право.

Я еще раз махнул рукой и оставил Надю. Только впоследствии, придя в себя, я понял, как глуп и жесток я был, не дав девушке ответа на ее простой, незамысловатый вопрос... Отчего я не ответил?

Теперь, когда я могу глядеть беспристрастно на прошлое, я не объясняю свою жестокость состоянием души... Мне сдается, что, не давая ей ответа, я кокетничал, ломался. Трудно понять человеческую душу, но душу свою собственную понять еще трудней. Если действительно я ломался, то да простит мне Бог! Хотя, впрочем, издевательство над чужими страданиями не должно быть прощаемо.

Три дня ходил я из угла в угол, как волк в клетке, и всеми силами своей недюжинной воли старался не пускать себя из дому. Я не касался груды бумаг, лежавших на столе и терпеливо ожидавших моего внимания, никого не принимал, бранился с Поликарпом, раздражался... Я не пускал себя в графскую усадьбу, и это упорство стоило мне сильной нервной работы. Я тысячу раз брался за шляпу и столько же раз бросал ее... То я решался пренебречь всем на свете и ехать к Ольге во что бы то ни стало, то окачивал себя холодом решения сидеть дома...

Рассудок мой был против поездки в графскую усадьбу. Раз я поклялся графу не бывать у него, мог ли я жертвовать своим самолюбием, гордостью? Что бы подумал этот усатый фат, если бы я, после того нашего глупого разговора, отправился к нему, как ни в чем не бывало? Не значило бы это сознаться в своей неправоте?..

Далее, как честный человек, я должен был бы порвать всякие сношения с Ольгой. Наша дальнейшая связь не могла бы ей дать ничего, кроме гибели. Выйдя замуж за Урбенина, она сделала ошибку, сойдясь же со мной, она ошиблась в другой раз. Живя с мужем-стариком и имея в то же время тайком от него любовника, не походила бы она на развратную куклу? Не говоря уже о том, как мерзка в принципе подобная жизнь, нужно было подумать и о последствиях.

Какой я трус! Я боялся и последствий, и настоящего, и прошлого... Обыкновенный человек посмеется над моими рассуждениями. Он не ходил бы из угла в угол, не хватал бы себя за голову и не строил бы всевозможных планов, а предоставил бы все жизни, которая мелет в муку даже жерновы. Жизнь переварила бы все, не спрашивая ни его помощи, ни позволения... Но я мнителен до трусости... Ходил я из угла в угол, болел от сострадания к Ольге и в то же время ужасался мысли, что она поймет мое предложение, которое сделал я ей в минуты увлечения, и явится ко мне в дом, как обещал я ей, *навсегда!* Что было бы, если бы она послушалась меня и пошла за мной? Как долго продолжалось бы это «навсегда», и что дала бы бедной Ольге жизнь со мною? Я не дал бы ей семьи, а стало быть, не дал бы и счастья. Нет, не следовало мне ехать к Ольге!

А между тем душа моя неистово рвалась к ней... Я тосковал, как впервые влюбившийся мальчишка, которого не пускают на *rendez-vous*⁹¹. Искушенный происшествием в пещере, я жаждал нового свидания, и из головы моей ни на минуту не выходил вызывающий образ Ольги, которая, как я знал, тоже ждала меня и изнывала от тоски...

⁹¹ Свидание (*фр.*).

Граф слал письмо за письмом, одно другого плачевнее и унижительнее... Он умолял меня «забыть все» и приехать, извинялся за Пшехоцкого, просил простить этого «доброего, простого, но несколько ограниченного человека», удивлялся, что я из-за пустяков решаюсь прервать старинные дружеские отношения. В одном из последних писем он обещался сам приехать и, если я пожелаю, привезти с собою Пшехоцкого, который попросит у меня извинения, «хотя и не чувствует за собой никакой вины». Я читал письма и в ответ на них просил каждого посланного оставить меня в покое. Умел я ломаться!

И в самый разгар моей нервной работы, когда я, стоя у окна, решал уже уехать куда-нибудь, помимо графской усадьбы, терзал себя рассуждениями, самопопреками и представлениями картин любви, которые ожидали меня у Ольги, моя дверь тихо отворилась, сзади меня послышались легкие шаги, и скоро шею мою обвивали две маленькие, хорошенькие руки...

– Это ты, Ольга? – спросил я, оглядываясь.

Я узнал ее по ее горячему дыханию, по манере, с которой она повисла на моей шее, и даже по запаху. Припав своей головкой к моей щеке, она казалась мне необыкновенно счастливой... От счастья она не могла выговорить ни слова... Я прижал ее к груди, и – куда девались тоска и вопросы, мучившие меня целых три дня! Я от удовольствия захохотал и запрыгал, как школьник.

Ольга была в голубом шелковом платье, которое очень шло к ее бледному цвету лица и роскошным льняным волосам. Платье это было модно и ужасно дорого. Урбенину стоило оно, вероятно, четверти годового жалованья...

– Какая ты хорошенькая сегодня!.. – сказал я, поднимая Ольгу на руки и целуя ее в шею. – Ну, что? Как? Здорова?

– Как, однако, у тебя здесь нехорошо! – проговорила она, окидывая взглядом мой кабинет. – Богатый человек, жалованье большое получаешь, а как... просто живешь!

– Не всем же, душа моя, жить так роскошно, как граф, – сказал я. – Но оставим в покое мое богатство. Какой добрый гений занес тебя в мою берлогу?

– Постой, Сережа, ты помнешь мне мое платье... Опусть меня наземь... К тебе я, голубчик, на минутку! Дома я всем сказала, что поеду к Акатыхе, графской прачке, что тут живет недалеко, за три дома от тебя... Ты меня отпусти, голубчик, а то неловко... Почему ты не приехал так долго?

Я ответил что-то, посадил ее против себя и занялся созерцанием ее красоты... Минуту мы глядели друг на друга и молчали...

– Ты очень хорошенькая, Оля! – вздохнул я. – Даже жаль и обидно, что ты такая хорошенькая!

– Почему же жаль?

– Досталась черт знает кому.

– Но чего же тебе еще! Ведь я твоя! Пришла вот... Послушай, Сережа... Ты мне правду скажешь, если тебя спрошу?

– Конечно, правду.

– Ты женился бы на мне, если бы я не вышла за Петра Егорыча?

«Вероятно, нет», – хотелось мне сказать, но к чему было ковырять и без того уж большую ранку, мучившую сердце бедной Оли?

– Конечно, – сказал я тоном человека, говорящего правду.

Оля вздохнула и потупилась...

– Как я ошиблась, как ошиблась! И что хуже всего, нельзя поправить! Развестись ведь с ним нельзя?

– Нельзя...

– И к чему я спешила, не понимаю! Мы, девушки, так глупы и ветрены... Бить нас некому! Впрочем, не воротишь, и рассуждать тут нечего... Ни рассуждения, ни слезы не помо-

гут. Я, Сережа, сегодня всю ночь плакала! Он тут... около лежит, а я про тебя думаю... спать не могу... Хотела даже бежать ночью, хоть в лес к отцу... Лучше жить у сумасшедшего отца, чем с этим... как его...

– Рассуждения, Оля, не помогут... Нужно было тогда рассуждать, когда ты ехала со мной из Тенева и радовалась, что выходишь за богатого человека... Теперь же поздно упражняться в красноречии...

– Поздно... но так тому и быть! – сказала Оля, решительно махнув рукой. – Лишь бы только хуже не было, а то еще можно жить... Прощай! Пора уж идти...

– Нет, не прощай...

Я привлек к себе Олю и стал осыпать ее лицо поцелуями, словно стараясь вознаградить себя за утерянны три дня. Она жалась ко мне, как озябший барашек, грела мое лицо своим горячим дыханием... Наступила тишина...

– Муж убил свою жену! – гаркнул мой попугай...

Оля вздрогнула, высвободилась из моих объятий и вопросительно поглядела на меня...

– Это попугай, душа моя... – сказал я. – Успокойся...

– Муж убил свою жену! – повторил Иван Демьяныч.

Оля поднялась, молча надела шляпу и подала мне руку... На лице ее был написан испуг...

– А что, если Урбенин узнает? – спросила она, глядя на меня большими глазами. – Ведь он убьет меня!

– Ну, полно... – засмеялся я. – Хорош был бы я, если бы позволил ему убить тебя! Да едва ли он способен на такое необыкновенное дело, как убийство... Ты уходишь? Ну, прощай же, дитя мое... Жду... Завтра буду в лесу около домика, где ты жила... Встретимся...

Проводивши Ольгу и воротясь в кабинет, я встретил там Поликарпа. Он стоял посреди комнаты, сурово глядел на меня и презрительно покачивал головой...

– Чтобы в другой раз у меня этого не было, Сергей Петрович! – сказал он тоном строгого родителя. – Я этого не желаю...

– Чего это?

– Того самого... Вы думаете, я не видел? Все видел... Чтоб она не смела сюда ходить! Нечего тут шуры-муры заводить! На это другие места есть...

Я был в великолепнейшем настроении духа, а потому шпионство и менторский тон Поликарпа не рассердили меня. Я засмеялся и услад его в кухню.

Не успел я еще опомниться после посещения Ольги, как ко мне пожаловал новый гость. К моей квартире подъехала с шумом карета, и Поликарп, плюя по сторонам и бормоча ругательства, доложил мне о приезде «того... энтото, чтоб его...», т. е. графа, которого он ненавидел всеми силами своей души. Граф вошел, слезливо поглядел на меня и покачал головой...

– Ты отворачиваешься... Не хочешь говорить...

– Я не отворачиваюсь, – сказал я.

– Я так любил тебя, Сережа, а ты... из-за пустяка! За что ты меня оскорбляешь? За что?

Граф сел, вздохнул и покачал головой...

– Ну, будет тебе дурака ломать! – сказал я. – Ладно!

Сильно было мое влияние над этим слабым, тщедушным человечешкой, так же сильно, как и презрение к нему... Мой презрительный тон не оскорбил его, а напротив... Услышав мое «ладно!», он вскочил и принялся обнимать меня...

– Я привез его с собой... Он сидит в карете... хочешь, чтоб он перед тобой извинился?

– А ты знаешь его вину?

– Нет...

– И отлично. Пусть не извиняется, но только предупреди его, что если случится впредь еще раз что-либо подобное, то я уж кипятиться не стану, а приму меры.

– Стало быть, мир, Сережа? И отлично! Так бы и давно, а то черт знает из-за чего поссорились!словно институтки! Ах да, голубчик! Нет ли у тебя... полрюмки водки? Ужасно пересохло в горле!

Я приказал подать водки. Граф выпил две рюмки, развалился на диване и стал болтать.

– Сейчас я, брат, встретился с Олей... Чудо женщина! Надо тебе сказать, что я начинаю ненавидеть Урбенина... Это значит, что Оленька начинает мне нравиться... Чертовски хорошенькая! Я думаю приволокнуться за ней.

– Не следует трогать замужних! – вздохнул я.

– Ну, у старика... У Петра-то Егорыча не грех его супругу подтибрить... Она ему не пара... Он, как собака: и сам не трескает, и другим не дает... Сегодня же начну свои приступы и начну систематически... Такая душонка... гм... просто шик, братец! Пальчики оближешь!

Граф выпил третью рюмку и продолжал:

– Знаешь, кто мне еще нравится из здешних?... Наденька, дочка этого дурака Калинина... Жгучая брюнетка, бледная, знаешь, с такими глазами... Тоже нужно будет удочку закинуть... На Троицу делаю вечер... музыкально-вокально-литературный... нарочно, чтоб ее позвать... А здесь, брат, как оказывается, ничего себе, весело! И общество, и женщины... и... Можно у тебя здесь уснуть... на минутку?..

– Можно... Но как же Пшехоцкий с каретой?

– Пусть ждет, черт с ним!.. Я сам, брат, его не люблю.

Граф приподнялся на локоть и проговорил таинственно:

– Держу только по необходимости... по нужде... Ну, да черт с ним!

Локоть графа подвернулся, и голова упала на подушку. Через минуту послышался храп.

Вечером, когда граф уехал, у меня был третий гость: доктор Павел Иванович. Он приезжал известить меня о болезни Надежды Николаевны и о том, что она... окончательно отказала ему в своей руке. Бедняга был печален и походил на мокрую курицу.

Прошел поэтический май...

Отцвели сирень и тюльпаны, а с ними суждено было отцвести и восторгам любви, которая, несмотря на свою преступность и мучительность, все-таки изредка доставляла нам сладкие минуты, неизгладимые из памяти. А бывают минуты, за которые можно отдать месяцы и годы!

В один из июньских вечеров, когда солнце уже зашло, но широкий след его – багрово-золотистая полоса еще красила далекий запад и пророчила на завтра тихий и ясный день, я подъехал на Зорьке к флигелю, в котором жил Урбенин. В этот вечер у графа предполагался «музыкальный» вечер. Гости уже начали съезжаться, но графа не было дома: он поехал кататься и обещал скоро вернуться.

Немного погодя я, держа свою лошадь за повод, стоял у крылечка и беседовал с дочкой Урбенина, Сашей. Сам Урбенин сидел на ступеньке и, подперев кулаками голову, всматривался в даль, которую видно было в ворота. Он был угрюм, неохотно отвечал на мои вопросы. Я оставил его в покое и занялся Сашей.

– Где твоя новая мама? – спросил я ее.

– Поехала с графом кататься. Она каждый день с ним ездит.

– Каждый день, – пробормотал Урбенин, вздохнув.

Многое слышалось в этом вздохе. Слышалось в нем то же самое, что волновало и мою душу, что старался я объяснить себе, но не мог объяснить и терялся в догадках.

Каждый день Ольга ездила с графом кататься верхом. Но это пустяки. Ольга не могла полюбить графа, и ревность Урбенина была неосновательна. Ревновать должны были мы не к графу, а к чему-то другому, чего я не мог понять так долго. Это «что-то другое» стало между мной и Ольгой целой стеной. Она продолжала любить меня, но после того посещения, которое было описано в предыдущей главе, она была у меня еще не более двух раз, а встречаясь со

мною вне моей квартиры, как-то странно вспыхивала и настойчиво уклонялась от ответов на мои вопросы. На мои ласки она отвечала горячо, но ответы ее были так порывисты и пугливы, что от наших коротких рандеву оставалось в моей памяти одно только мучительное недоумение. Совесть у нее была нечиста – это было ясно, но в чем именно – нельзя было прочесть на виноватом лице Ольги.

– Надеюсь, твоя новая мама здорова? – спросил я Сашу.

– Здолова. Но только ночью у нее зубы болели. Она плакала.

– Плакала? – повернул Урбенин свое лицо к Саше. – Ты видела? Это тебе, милочка, приснилось.

Зубы у Ольги не болели. Если она плакала, то не от боли, а от чего-то другого... Я еще хотел поговорить с Сашей, но это мне не удалось, потому что послышался лошадиный топот, и скоро мы увидели всадника, некрасиво прыгавшего на седле, и грациозную амазонку. Чтобы скрыть от Ольги свою радость, я поднял на руки Сашу и, перебирая пальцами ее белокурые волосы, поцеловал ее в голову.

– Какая ты хорошенькая, Саша! – сказал я. – Какие у тебя славные кудряшки!

Ольга мельком взглянула на меня, молча ответила на мой поклон и, опираясь о руку графа, вошла во флигель. Урбенин поднялся и пошел за ней.

Минут через пять из флигеля вышел граф. Он был весел как никогда. Даже лицо его казалось посвежевшим.

– Поздравь! – сказал он, беря меня под руку и хихикая.

– С чем?

– С победой... Еще одна такая поездка, и, клянусь прахом моих благородных предков, с этого цветка я сорву лепестки.

– Но пока еще не сорвал?

– Пока?... Чуть-чуть! В продолжение десяти минут «твоя рука в моей руке», – запел граф, – и... ни разу не отдернула ручки... Зацеловал! Но подождем до завтра, а теперь идем. Меня ждут. Ах да! Мне нужно поговорить с тобой, голубчик, об одной вещи. Скажи мне, милый, правду ли говорят, что ты тово... питаешь злостные намерения относительно Наденьки Калининой?

– А что?

– Если это правда, то мешать тебе я не стану. Подставлять другому ножку не в моих правилах. Если же ты никаких видов не имеешь, то, конечно...

– Не имею.

– Мерсі, душа моя!

Граф мечтал убить сразу двух зайцев, вполне уверенный, что это ему удастся. И я в описываемый вечер наблюдал погоню за этими зайцами. Погоня была глупа и смешна, как хорошая карикатура. Глядя на нее, можно было только смеяться или возмущаться пошлостью графа; но никто бы не мог подумать, что эта мальчишеская погоня кончится нравственным падением одних, гибелью других и преступлением третьих!

Граф убил не двух зайцев, а больше! Он их убил, но шкура и мясо достались не ему.

Я видел, как он тайком пожимал руку Ольге, всякий раз встречавшей его дружеской улыбкой, а провожавшей презрительной гримасой. Раз даже, желая показать, что между им и мною нет тайн, он поцеловал ее руку при мне.

– Какой болван! – прошептала она мне на ухо, вытирая свою руку.

– Послушай, Ольга! – сказал я по уходе графа. – Мне кажется, что тебе хочется что-то сказать мне. Хочется?

Я пылливо взглянул на ее лицо. Она вспыхнула и пугливо замигала глазами, как кошка, пойманная в воровстве.

– Ольга, – сказал я строго, – ты должна сказать мне! Я этого требую!

– Да, я хочу тебе кое-что сказать, – зашептала она, сжимая мне руку. – Я тебя люблю, жить без тебя не могу, но... не ездь ко мне, милый мой! Не люби меня больше и говори мне «вы». Я не могу уж продолжать... Нельзя... И не показывай даже виду, что ты меня любишь.

– Но почему же?

– Я так хочу. Причины знать тебе не нужно, и я их не скажу. Идут... Отойди от меня.

Я не отошел от нее, и ей самой пришлось прекратить наш разговор. Взяв под руку шедшего мимо мужа, она с лицемерной улыбкой кивнула мне головой и ушла.

Другой графский заяц – Наденька Калинина удостоилась в этот вечер особенного графского внимания. Он вертелся возле нее весь вечер, рассказывал ей анекдоты, острил, кокетничал... а она, бледная, замученная, кривила свой рот в насильственную улыбку. Мировой Калинин все время наблюдал за ними, поглаживал бороду и значительно кашлял. Ухаживанье графа было ему по нутру. У него зятем граф! Что может быть слаще этой мечты для уездного бонвивана? После того, как начались ухаживанья графа за его дочерью, он вырос в своих глазах на целый аршин. А какими величественными взглядами измерял он меня, как ехидно покашливал, когда беседовал со мною! «Ты вот, мол, поцеремонился, ушел, а мы – наплевать! Теперь у нас граф есть!»

На другой день вечером я опять был в графской усадьбе. На этот раз я беседовал не с Сашей, а с ее братом-гимназистом. Мальчик повел меня в сад и вылил передо мной всю свою душу. Излияния эти были вызваны моим вопросом о житье его с «новой мамашей».

– Она ваша хорошая знакомая, – начал он, нервно расстегивая свой мундирчик, – вы ей расскажете, но я не боюсь... Рассказывайте, сколько угодно! Она злая, низкая!

И он рассказал мне, что Ольга отняла у него комнату, прогнала старуху-няню, служившую у Урбенина десять лет, вечно кричит и злится.

– Вчера вы похвалили волосы сестры Саши... Ведь хорошие волосы? Настоящий лен! А она сегодня утром остригла ее!

«Это ревность!» – объяснил я себе это вторжение Ольги в чуждую ей парикмахерскую область...

– Ей словно завидно стало, что вы похвалили не ее волосы, а Сашины! – подтвердил мальчик мою мысль. – Она и папашу замучила. Папаша страшно тратится на нее, отрывается от дела... и опять начал пить! Опять! Она дурочка... Весь день плачет, что ей приходится жить в бедности, в таком маленьком флигеле. А разве папаша виноват, что у него не много денег? – Мальчик рассказал мне много печального. Он видел то, чего не видел или не хотел видеть его ослепленный отец. У бедняжки был оскорблен отец, оскорблены были сестра, старуха-няня. У него отняли его маленький очаг, где он привык возиться над установкой своих книжек и кормежкой пойманных им щеглят. Все было обижено, над всем посмеялась глупая и полновластная мачеха! Но бедному мальчику не могло и присниться то страшное оскорбление, которое было нанесено молодой мачехой его семье и свидетелем которого я был в тот же вечер, после разговора с ним. Все меркло перед этим оскорблением, и остриженные волосы Саши в сравнении с ним являются ничтожным пустяком.

Поздно вечером я сидел у графа. Мы, по обыкновению, пили. Граф был совершенно пьян, я же только слегка.

– Сегодня мне уже позволили нечаянно коснуться талии, – бормотал он. – Завтра, стало быть, начнем еще дальше.

– Ну, а Надя? С Надей как?

– Шестуем! С нею пока только начало. Переживаем пока еще период разговора глазами. Я брат, люблю читать в ее черных, печальных глазах. В них что-то написано этакое, чего на словах не передашь, а можешь понять только душой. Выпьем?

– Стало быть, ты ей нравишься, если она имеет терпение беседовать с тобой по целым часам. И папаше ее нравишься.

– Папаше? Это ты про того болвана? Ха-ха! Дуралей подозревает во мне честные намерения!

Граф закашлялся и выпил.

– Он думает, что я женюсь! Не говорю уж о том, что мне нельзя жениться, но если честно рассуждать, то для меня лично честнее обольстить девушку, чем жениться на ней... Вечная жизнь с пьяным, кашляющим полустариком – бррр! Жена моя зачахла бы или убежала бы на другой день... Но что это за шум?

Мы с графом вскочили... Захлопали почти одновременно несколько дверей, и к нам в комнату вбежала Ольга. Она была бледна, как снег, и дрожала, как струна, по которой сильно ударили. Волосы ее были распущены, зрачки расширены. Она задыхалась и мяла между пальцами грудные сборки своего ночного пеньюара...

– Ольга, что с тобой? – спросил я, хватая ее за руку и бледнея.

Графа должно было удивить это нечаянно пророненное «тобой», но его он не слышал. Весь обратившийся в большой вопросительный знак, раскрыв рот и выпуча глаза, он глядел на Ольгу, как на привидение.

– Что случилось? – спросил я.

– Он бьет меня! – проговорила Ольга и, зарывав, упала в кресла. – Он бьет!

– Кто он?

– Муж! Я не могу с ним жить! Я ушла!

– Это возмутительно! – стукнул граф кулаком по столу. – Какое он имеет право! Это тирания... это... это черт знает что такое! Бить жену?! Бить! За что это он вас?

– Ни за что ни про что, – заговорила Оля, утирая слезы. – Вынимаю я из кармана носовой платок, а из кармана и выпало то письмо, что вы мне вчера прислали... Он подскочил, прочел и... стал бить... Схватил меня за руку, сдвинул – посмотрите, до сих пор на руке красные пятна, – и потребовал объяснений... Я, вместо того чтоб объяснять, прибежала сюда... Хоть вы заступитесь! Он не имеет права обращаться так грубо с женой! Я не кухарка! Я дворянка!

Граф заходил из угла в угол и стал молотить пьяным, путающимся языком какую-то чушь, которая, в переводе на трезвый язык, должна была бы означать: «О положении женщин в России».

– Это варварство! Это Новая Зеландия! Не думает ли также этот мужик, что на его похоронах будет зарезана его жена? Дикари ведь, уходя на тот свет, берут с собой и своих жен!..

Я же не мог опомниться... Как нужно было понять внезапный визит Ольги в ночном пеньюаре, что нужно было думать, что решить? Если ее побили, если оскорбили ее достоинство, то почему она бежала не к отцу, не к экономке... наконец, не ко мне, который для нее был все-таки близок? Да и впрямь ли ее оскорбили? Сердце мое говорило о невинности простака Урбенина; оно, чуя правду, сжималось тою болью, которую в это время должен был чувствовать ошеломленный муж. Не задавая вопросов и не зная, с чего начать, я стал успокаивать Ольгу и предложил ей вина.

– Как я ошиблась! Как ошиблась! – вздохнула она сквозь слезы, поднося рюмку к губам. – А ведь каким тихоней прикидывался он, когда ухаживал за мной! Я думала, что это ангел, а не человек!

– А вы хотели, чтоб ему понравилось то письмо, которое выпало из кармана? – спросил я. – Хотели, чтоб он расхохотался?

– Не будем об этом говорить! – перебил меня граф. – Как бы там ни было, а его поступок подл! С женщинами так не обращаются! Я его на дуэль вызову! Я ему покажу! Верьте, Ольга Николаевна, что это не пройдет ему даром!

Граф хорохорился, как молодой индеец, хотя его никто не уполномочивал становиться между мужем и женой. Я молчал и не противоречил ему, потому что знал, что мщение за чужую жену ограничится одним только пьяным словоизвержением в четырех стенах и что о

дуэли будет забыто завтра же. Но почему молчала Ольга?.. Не хотелось думать, что она была не прочь от услуг, которые предлагал ей граф. Не хотелось верить, что у этой глупой красивой кошки было так мало достоинства, что она охотно согласится, чтобы пьяный граф стал судьей мужа и жены...

– Я его с грязью смешаю! – провизжал новоиспеченный рыцарь. – Наконец я ему пощечину дам! Завтра же!

И она не зажала рта этому прохвосту, оскорблявшему спяна человека, который был виноват только в том, что обманулся и был обманут! Урбенин сдвинул сильно ей руку, и это вызвало скандальный побег в графский дом, теперь же на ее глазах пьяный нравственный недоросль давил честное имя и лил грязными помоями на человека, который в это время должен был изнывать от тоски и неизвестности, сознавать себя обманутым, а она хоть бы бровью двинула!

Пока граф изливал свой гнев, а Ольга утирала слезы, человек подал жареных куропаток. Граф положил гостье полкуропатки... Она отрицательно покачала головой, потом же как бы машинально взяла вилку и нож и начала есть. За куропаткой следовала большая рюмка вина, и скоро от слез не осталось никакого следа, кроме розовых пятен около глаз да редких глубоких вздохов.

Скоро мы услышали смех... Ольга смеялась, как утешенное, забывшее обиду дитя. Граф, глядя на нее, тоже смеялся.

– Знаете, что я надумал? – начал он, подсаживаясь к ней. – Я хочу устроить у себя любительский спектакль. Дадим пьесу с хорошими женскими ролями. А? Как вы думаете?

Начали говорить о любительском спектакле. Как эта глупая беседа не вязалась с тем недавним ужасом, который был написан на лице Ольги, когда она вбежала час тому назад, бледная, плачущая, с распущенными волосами! Как дешево этот ужас, эти слезы!

А время между тем шло. Пробило двенадцать. Порядочные женщины в эту пору ложатся спать. Ольге пора уже была уходить. Но пробило половину первого, пробило час, а она все сидела и беседовала с графом.

– Пора уже спать, – сказал я, взглянув на часы. – Я ухожу... Вы позволите проводить вас, Ольга Николаевна?

Ольга поглядела на меня, на графа.

– Куда же я пойду? – прошептала она. – К нему я не могу идти.

– Да, да, конечно, к нему вы уже не можете идти, – сказал граф. – Кто поручится, что он не побьет вас еще раз? Нет, нет!

Я прошелся по комнате. Наступила тишина. Я ходил из угла в угол, а мой друг и моя любовница следили за моими шагами. Мне казалось, что я понимал и эту тишину и эти взгляды. В них было что-то выжидательное, нетерпеливое. Я положил шляпу и сел на диван.

– Тэк-с, – бормотал граф, нетерпеливо потирая руки. – Тэк-с... Такие-то дела...

Пробило половину второго. Граф быстро взглянул на часы, нахмурился и зашагал по комнате. По взглядам, которые он бросал на меня, видно было, что ему хотелось что-то сказать мне, что-то нужное, но щекотливое, неприятное.

– Послушай, Сережа! – решил он наконец, садясь рядом со мной и шепча мне на ухо. – Ты, голубчик, не обижайся... Ты, конечно, поймешь мое положение, и тебе не покажется странной и дерзкой моя просьба.

– Говори поскорее! Нечего мочалу жевать!

– Видишь ли, в чем дело... тово... Уйди, голубчик! Ты *нам* мешаешь... Она у меня останется... Ты меня извини за то, что я тебя гоню, но... ты поймешь мое нетерпение.

– Ладно.

Друг мой был отвратителен. Не будь я брезглив, я, быть может, раздавил бы его, как жука, когда он, трясясь, как в лихорадке, просил меня оставить его с Урбениной. Поэтическую

«девушку в красном», мечтавшую об эффектной смерти, воспитанную лесами и сердитым озером, хотел взять он, расслабленный анахорет, пропитанный насквозь спиртом и болью! Нет, она не должна быть даже за версту от него!

Я подошел к ней.

– Я ухожу, – сказал я.

Она кивнула головой.

– Мне уйти отсюда? Да? – спросил я, стараясь прочесть истину на ее хорошеньком, разгоревшемся личике. – Да?

Чуть заметным движением своих длинных черных ресниц она ответила: «Да».

– Ты обдумала?

Она отвернулась от меня, как отворачиваются от надоевшего ветра. Ей не хотелось говорить. Да и к чему было говорить? Нельзя на длинную тему ответить коротко, а для длинных речей не было ни места, ни времени.

Я взял шляпу и, не простясь, вышел. Впоследствии Ольга рассказывала мне, что тотчас же после моего ухода, как только шум от моих шагов смешался с шумом ветра и сада, пьяный граф сжимал уже ее в своих объятиях. А она, закрыв глаза, зажав себе рот и ноздри, едва стояла на ногах от чувства отвращения. Была даже минута, когда она чуть было не вырвалась из его объятий и не убежала в озеро. Были минуты, когда она рвала волосы на голове, плакала. Нелегко продаваться.

Выйдя из дома и направляясь к конюшне, где стояла моя Зорька, я должен был проходить мимо дома управляющего. Я заглянул в окно. При тусклом свете сильно пущенной, коптящей лампы за столом сидел Петр Егорыч. Лица его я не видел. Оно было закрыто руками. Но во всей его толстой, неуклюжей фигуре чудилось столько горя, тоски и отчаяния, что не нужно было видеть лица, чтобы понять состояние души. Перед ним стояли две бутылки. Одна пустая, другая только что начатая. Обе были водочные. Бедняга искал мира не в себе самом, не в людях, а в алкоголе.

Через пять минут я ехал домой. Темнота была ужасная. Озеро сердито бурлило и, казалось, гневало, что я, такой грешник, бывший сейчас свидетелем грешного дела, дерзал нарушать его суровый покой. В потемках не видал я озера. Казалось, что ревело невидимое чудовище, ревела сама окутывавшая меня тьма.

Я остановил Зорьку, закрыл глаза и задумался под рев чудовища.

– А что, если я ворочусь сейчас и уничтожу их?

Страшная злоба бушевала в душе моей... Все то небольшое хорошее и честное, что осталось во мне после продолжительной жизненной порчи, все то, что уцелело от тления, что я берег, лелеял, чем гордился, было оскорблено, оплевано, обрызгано грязью!

Ранее знавал я продажных женщин, покупал их, изучал, но у тех не было невинного румянца и искренних голубых глаз, которые видел я в то майское утро, когда шел лесом на теньскую ярмарку... Я, сам испорченный до мозга костей, прощал, проповедовал терпимость ко всему порочному, снисходил до слабости... Был я того убеждения, что нельзя требовать от грязи, чтобы она не была грязью, и нельзя винить те червонцы, которые силою обстоятельств попадают в грязь... Но ранее не знал я, что червонцы могут растворяться в грязи и смешиваться с нею в одну массу. Растворимо, значит, и золото!

Сильный порыв ветра сорвал с меня шляпу и унес ее в окружающий мрак. Сорвавшаяся шляпа на лету шмыгнула по морде Зорьки. Она испугалась, взвилась на дыбы и понеслась по знакомой дороге.

Приехав домой, я повалился в постель. Поликарп, предложивший мне раздеваться, был ни за что ни про что обруган чертом.

– Сам – черт, – проворчал Поликарп, отходя от кровати.

– Что ты сказал? Что ты сказал? – вскочил я.

– Глухому попу две обедни не служат.

– Ааа... ты еще смеешь говорить мне дерзости! – задрожал я, выливая всю свою желчь на бедного лакея. – Вон! Чтоб и духу твоего здесь не было, негодяй! Вон!

И, не дожидаясь, пока человек выйдет из комнаты, я повалился в постель и зарыдал, как мальчишка. Напряженные нервы не вынесли. Бессильная злоба, оскорбленное чувство, ревность – все должно было вылиться так или иначе.

– Муж убил свою жену! – горланил мой попугай, ероша свои жидкие перья...

Под влиянием этого крика мне пришла в голову мысль, что Урбенин мог убить свою жену...

Засыпая, я видел убийство. Кошмар был душасший, мучительный... Мне казалось, что руки мои гладили что-то холодное и что стоило бы мне только открыть глаза, и я увидел бы труп... Мерещилось мне, что у изголовья стоит Урбенин и глядит на меня умоляющими глазами...

После описанной ночи наступило затишье.

Я засел дома, позволяя себе выходить и выезжать только по делам службы. Дел у меня накопилось пропасть, а потому скучать было невозможно. От утра до вечера я сидел за столом и усердно строчил или же допрашивал попавший в мои следовательские когти люд. В Карнеевку, в графскую усадьбу, меня более уже не тянуло.

На Ольгу я махнул рукой. Что с воза упало, то пропало; а она была именно тем, что упало с моего воза и, как я думал, безвозвратно пропало. Я не думал о ней и думать не хотел.

«Глупая, развратная дрянь!» – третировал я ее всякий раз, когда она во время моих усиленных занятий появлялась в моем воображении.

Изредка разве, когда я ложился спать или просыпался утром, мне приходили на память различные моменты из знакомства и непродолжительного житья моего с Ольгой. Мне вспоминались: Каменная Могила, лесной домик, в котором жила «девушка в красном», дорога в Тенево, свидание в пещере... и сердце мое начинало усиленно биться... Я ощущал щемящую боль... Но все это было непродолжительно. Светлые воспоминания быстро стусеивались под напором тяжелых воспоминаний. Какая поэзия прошлого могла устоять перед грязью настоящего? И теперь, покончив с Ольгой, я далеко уже не так глядел на эту «поэзию», как прежде... Теперь я глядел на нее как на оптический обман, ложь, фарисейство... и она утратила в моих глазах половину прелести.

Граф же мне опротивел окончательно. Я рад был, что не вижу его, и меня всегда злило, когда его усатая физиономия робко появлялась в моем воображении. Он каждый день присылал мне письма, в которых умолял меня не хандрить и посетить «уже не одинокого отшельника». Послушаться его писем – значило бы сделать для себя неприятность.

«Кончено! – думал я. – И слава богу... Надоело...»

Я решил прервать с графом сношения, и эта решимость не стоила мне ни малейшей борьбы. Теперь я был уже не тот, что недели три тому назад, когда после ссоры из-за Пшехоцкого едва сидел дома. Приманки уже не было...

Посидев безвыходно дома, я заскучал и написал доктору Павлу Ивановичу письмо с просьбой приехать поболтать. Ответа на письмо я почему-то не получил и послал другое. На второе был такой же ответ, как и на первое... Очевидно, милый Щур делал вид, что сердится... Бедняга, получив отказ от Наденьки Калининой, причиной своего несчастья считал меня. Он имел право сердиться, и если ранее никогда не сердился, то потому, что не умел.

«Когда же это он успел научиться?» – недоумевал я, не получая ответа на свои письма.

На третьей неделе моего упорного, безвыходного сиденья меня посетил граф. Побранив меня за то, что я не езжу к нему и не отвечаю на его письма, он разлегся на диване и, прежде чем захрапеть, поговорил на свою любимую тему – о женщинах...

– Я понимаю, – сказал он, томно щуря глаза и кладя под голову руки, – ты деликатен и щепетилен. Ты не едешь ко мне из боязни нарушить наш дуэт... помешать... Гость не вовремя хуже татарина, гость же в медовый месяц хуже черта рогатого. Я тебя понимаю. Но, друг мой, ты забываешь, что ты друг, а не гость, что тебя любят, уважают... Да своим присутствием ты только дополнил бы гармонию... А уж и гармония, братец ты мой! Такая гармония, что и описать тебе не могу!

Граф вытащил из-под головы руку и махнул ею.

– Сам не разберу, хорошо ли мне с нею живется или скверно. И черт не разберет! Бывают действительно минуты, когда полжизни бы отдал за «bis», но зато бывают деньки, когда ходишь из угла в угол, как очумелый, и реветь готов...

– Чего же ради?

– Не понимаю, брат, я этой Ольги. Какая-то лихорадка, а не женщина... В лихорадке то жар, то озноб, так вот и у нее, пять перемен на день. То ей весело, то скучно до того, что глотает слезы и молится... То любит меня, то нет... Бывают минуты, когда она ласкает меня, как отроду не ласкала меня еще ни одна женщина. Но зато бывает и так. Проснешься нечаянно, откроешь глаза и видишь обращенное на тебя лицо... этакое какое-то ужасное, дикое... Перекошено оно, это лицо, злобой, отвращением... Как увидишь этакую штуку, все обаяние пропало... И часто она так на меня смотрит...

– С отвращением?

– Ну да!.. Не пойму никак... Сошлась со мной, как уверяет, только по любви, а между тем не проходит ночи, чтоб я этакое лица не видел. Чем объяснить? Мне начинает казаться, чему я, конечно, верить не хочу, что она меня терпеть не может, а отдалась мне только из-за тех тряпок, которые я теперь ей покупаю. Ужасно любит тряпки! В новом платье она в состоянии простоять перед зеркалом от утра до вечера; из-за испорченной оборки она в состоянии проплакать день и ночь... Ужасно суетна! Более всего во мне нравится ей то, что я граф. Не будь я графом, она не полюбила бы меня. Не проходит ни одного обеда и ужина, чтоб она не упрекнула меня со слезами, что я не окружаю себя аристократическим обществом. Ей, видишь, хотелось бы царить в этом обществе... Странная!

Граф устремил свой мутный взор в потолок и задумался. К великому моему удивлению, я заметил, что он на этот раз, сверх обыкновения, был трезв. Это меня поразило и даже тронуло.

– А ты сегодня нормален, – сказал я, – и не пьян, и водки не просишь. Что сей сон означает?

– Да так! Некогда было пить, все время думал... Я, надо сказать тебе, Сережа, увлекся серьезно, не на шутку. Она мне понравилась страшно. Да оно и понятно... Женщина она редкая, недюжинная, не говоря уж о наружности. Умишко не особенный, но сколько чувства, изящества, свежести!.. Сравнить ее с моими обычными Амалиями, Анжеликами да Грушами, любовью которых я доселе пользовался, невозможно. Она нечто из другого мира, мира, который мне незнаком.

– Философствуй! – засмеялся я.

– Увлекся, вроде как бы полюбил! Но теперь вижу, что напрасно я стараюсь ноль возвести в квадратную степень. То была маска, вызвавшая во мне фальшивую тревогу. Яркий румянец невинности оказывается суриком, поцелуй любви – просьбой купить новое платье... Я взял ее в дом, как жену, она же держит себя, как любовница, которой платят деньги. Но теперь шабаш! Смирно в душе тревогу и начинаю видеть в Ольге любовницу... Шабаш!

– Ну, что? Как муж?

– Муж? Гм... А как ты думаешь, что с ним?

– Я думаю, что несчастнее его человека и вообразить теперь трудно.

– Ты думаешь? Напрасно... Это такой негодяй, такая шельма, что я несколько его не жалею. Шельма никогда не может быть несчастлива, она всегда найдет себе выход...

– За что же ты его так ругаешь?

– За то, что он плут. Ты знаешь, что я его уважал, я ему верил, как другу... Я и даже ты – все вообще считали его человеком честным, порядочным, неспособным на обман. А между тем он меня обкрадывал, грабил! Пользуясь своим положением управляющего, он распоряжался моим добром, как хотел. Не брал только то, чего нельзя было сдвинуть с места.

Я, зная Урбенина как человека в высшей степени честного и бескорыстного, услышав слова графа, вскочил как ужаленный и подошел к графу.

– Ты поймал его на воровстве? – спросил я.

– Нет, но я знаю о его воровских проделках из достоверных источников.

– Из каких же это источников, позвольте узнать?

– Не беспокойся, напрасно не стану обвинять человека. Мне Ольга все про него рассказала. Она, еще не бывши его женой, собственными глазами видела, как он отправлял в город возы битых кур и гусей. Не раз она видела, как мои гуси и куры шли в подарок каким-то благодетелям, у которых квартирует его сын-гимназист. Мало того, она видела, как он туда же отправлял муку, просо, сало. Допустим, что все это пустяки, но разве эти пустяки ему принадлежат? Тут дело не в стоимости, а в принципе. Принцип оскорблен! Потом-с. Она видела у него в шкафу пачку денег. На вопрос ее, чьи это деньги и откуда он их взял, он попросил ее не проболтаться, что у него есть деньги. Милый мой, ты знаешь, что он гол как сокол! Жалованья его едва хватает на пропитание... Объясни же мне, откуда у него взялись эти деньги?

– И ты, глупец, даешь веру словам этой маленькой гадины? – закричал я, возмущенный до глубины души. – Ей мало того, что она бежала от него, опозорила его на весь уезд. Ей нужно было еще предать его! Такое маленькое, необъемистое тело, а сколько в нем таится всякой мерзости!.. Куры, гуси, просо... хозяин, хозяин! Твое политико-экономическое чувство, твоя сельскохозяйственная глупость оскорблены тем, что он к празднику посылал в подарок битую птицу, которую съели бы лисицы да хорьки, если бы ее не били да не дарили, но проверял ли ты хоть раз те громадные отчеты, которые подает тебе Урбенин? Считал ли тысячи и десятки тысяч? Нет! Да что с тобой говорить? Ты глуп и животен. Рад бы упечь мужа своей любовницы, да не знаешь как!

– Моя связь с Ольгой тут ни при чем. Муж он ей или не муж, но, раз он украл, я должен открыто назвать его вором. Но оставим плутовство в стороне. Скажи мне: честно или не честно получать жалованье и по целым дням валяться без просыпу пьяным? Он пьян каждый день! Нет того дня, чтоб я не видел, как он пишет *мыслете*! Гадко и низко! Так дела порядочные люди не делают.

– Потому-то он и пьет, что он порядочный, – сказал я.

– У тебя какая-то страсть заступаться за подобных господ. Но я порешил быть беспощадным. Сегодня я отослал ему расчет и попросил очистить место для другого. Терпение мое лопнуло.

Убеждать графа в том, что он несправедлив, непрактичен и глуп, я почел излишним. Не перед графом заступаться за Урбенина.

Дней через пять я услышал, что Урбенин с сыном-гимназистом и с дочкой переехал на житье в город. Говорили мне, что он ехал в город пьяный, полумертвый, и что два раза сваливался с телеги. Гимназист и Саша всю дорогу плакали.

Немного спустя после отъезда Урбенина мне, против моей воли, довелось побывать в графской усадьбе. У одной из графских конюшен воры сломали замок и утащили несколько дорогих седел. Дали знать судебному следователю, т. е. мне, и я *volens nolens*⁹² должен был ехать.

⁹² Волей-неволей (*лат.*).

Графа застал я пьяным и сердитым. Он ходил по всем комнатам, искал убежища от тоски и не находил его.

– Замучился я с этой Ольгой! – сказал он, махнув рукой. – Рассердилась на меня сегодня утром, пригрозила утопиться, ушла из дому, и вот, как видишь, до сих пор ее нет. Я знаю, что она не утопится, но все-таки скверно. Вчера целый день куксила и била посуду, третьего дня объелась шоколаду. Черт знает что за натура!

Я утешил графа как умел и сел с ним обедать.

– Нет, пора бросить эти ребячества, – бормотал он во все время обеда. – Пора, а то глупо и смешно. И к тому же, признаться, она начинает уже мне надоедать своими резкими переходами. Мне хочется чего-нибудь тихого, постоянного, скромного, вроде Наденьки Калининой, знаешь ли... Чудная девушка!

После обеда, гуляя в саду, я встретился с «утопленницей». Увидев меня, она страшно покраснела и – странная женщина – засмеялась от счастья. Стыд на ее лице смешался с радостью, горе с счастьем. Поглядев на меня искоса, она разбежалась и, не говоря ни слова, повисла мне на шею.

– Я люблю тебя, – зашептала она, сжимая мою шею. – Я по тебе так соскучилась, что если бы ты не приехал, то я бы умерла.

Я обнял ее и молча повел к беседке. Через десять минут, расставаясь с нею, я вынул из кармана четвертной билет и подал ей. Она сделала большие глаза.

– Зачем это?

– Это я плачу тебе за сегодняшнюю любовь.

Ольга не поняла и продолжала глядеть на меня с удивлением.

– Есть, видишь ли, женщины, – пояснил я, – которые любят за деньги. Они продажные. Им следует платить деньги. Бери же! Если ты берешь у других, почему же не хочешь взять от меня? Я не желаю одолжений!

Как я ни был циничен, нанося это оскорбление, но Ольга не поняла меня. Она не знала еще жизни и не понимала, что значит «продажные» женщины.

Был хороший августовский день.

Солнце грело по-летнему, голубое небо ласково манило вдаль, но в воздухе уже висело предчувствие осени. В зеленой листве задумчивых лесов уже золотились отжившие листки, а потемневшие поля глядели тоскливо и печально.

Предчувствие неизбежной тяжелой осени залегало и в нас самих. Нетрудно было предвидеть, что развязка была уже близка. Должен же был когда-нибудь ударить гром и брызнуть дождь, чтоб освежить душную атмосферу! Перед грозой, когда на небе надвигаются темные, свинцовые тучи, бывает душно, а нравственная духота уже сидела в нас. Она сказывалась во всем: в наших движениях, улыбках, речах.

Я ехал в легком шарабане. Возле меня сидела Наденька, дочь мирового. Она была бледна, как снег, подбородок и губы ее вздрагивали, как перед плачем, глубокие глаза были полны скорби, а между тем она всю дорогу смеялась и делала вид, что ей чрезвычайно весело.

Впереди и сзади нас двигались экипажи всех родов, времен и калибров. По бокам скакали всадники и амазонки. Граф Карнеев, облеченный в зеленый охотничий костюм, похожий более на шутовской, чем охотничий, согнувшись вперед и набок, немилосердно подпрыгивал на своем вороном. Глядя на его согнувшееся тело и на выражение боли, то и дело мелькавшее на его испитом лице, можно было подумать, что он ездил верхом впервые. На спине его болталась новенькая двустволка, а на боку висела сумка, в которой ворочался подстреленный кулик.

Украшением кавалькады была Оленька Урбенина. Сидя на вороном коне, подаренном ей графом, одетая в черную амазонку и с белым пером на шляпе, она уже не походила на ту девушку в красном, которая несколько месяцев тому назад встретилась нам в лесу. Теперь в ее фигуре было что-то величественное, «гран-дамское». Каждый взмах хлыстом, каждая улыбка

– все было рассчитано на аристократизм, на величественность. В ее движениях и улыбках было что-то вызывающее, зажигательное. Она надменно-фатовски поднимала вверх голову и с высоты своего коня обливала все общество презрением, словно ей нипочем были громкие замечания, посылаемые по ее адресу нашими добродетельными дамами. Она бравировала и кокетничала своим нахальством, своим положением «при графе», словно ей было неизвестно, что она уже надоела графу и что последний каждую минуту ждал случая, чтоб отвязаться от нее.

– Меня граф хочет прогнать! – сказала мне она с громким смехом, когда кавалькада выезжала со двора, – стало быть, ей было известно ее положение, и она понимала его...

Но к чему же громкий смех? Я глядел на нее и недоумевал: откуда у этой лесной мещанки могло взяться столько прыти? Когда она успела научиться так грациозно покачиваться на седле, гордо шевелить ноздрями и щеголять повелительными жестами?

– Развратная женщина – та же свинья, – сказал мне доктор Павел Иванович. – Когда ее сажает за стол, она и ноги на стол...

Но это объяснение слишком просто. Никто не мог быть так пристрастен к Ольге, как я, и я первый готов был бы бросить в нее камень; но смутный голос правды шептал мне, что то была не прыть, не бахвальство сытой, довольной женщины, а отчаянность, предчувствие близкой и неизбежной развязки.

Мы возвращались с охоты, на которую отправились с самого утра. Охота вышла неудачна. Около болот, на которые мы возлагали большие надежды, мы встретили компанию охотников, которые объявили нам, что дичь распугана. Нам удалось отправить на тот свет трех куликов и одного утенка – вот и все, что выпало на долю десятка охотников. В конце концов у одной из амазонок разболелись зубы, и мы должны были поспешить обратно. Возвращались мы прекрасной дорогой по полю, на котором желтели снопы недавно сжатой ржи, в виду угрюмых лесов... На горизонте белели графская церковь и дом. Вправо от них широко расстилалась зеркальная поверхность озера, влево темнела Каменная Могила...

– Какая ужасная женщина! – шептала мне Наденька всякий раз, когда Ольга равнялась с нашим шарабаном. – Какая ужасная! Она столько же зла, сколько и красива... Давно ли вы были шафером на ее свадьбе? Не успела она еще износить с тех пор башмаков, как ходит уже в чужом шелку и щеголяет чужими бриллиантами... Не верится даже этой странной и быстрой метаморфозе... Если уж у нее такие инстинкты, то была бы хоть тактична и подождала бы год, два...

– Торопится жить! Ждать некогда! – вздохнул я.

– А знаете, что делается с ее мужем?

– Говорят, пьянствует...

– Да... Папа третьего дня был в городе и видел, как он откуда-то ехал на извозчике. Голова, знаете ли, набок, шапки нет, на лице грязь... Погиб человек! Бедность, говорят, страшная: есть нечего, за квартиру не заплачено. Бедная девочка Саша по целым дням сидит не евши. Папа описал все это графу... Но ведь вы знаете графа! Он честный, добрый, но не любит задумываться и рассуждать. «Я, говорит, пошлю ему сто рублей». Взял и послал... Я думаю, что большего оскорбления нельзя было нанести Урбенину, как послать ему денег... Он оскорбится этой графской подачкой и станет пить еще больше...

– Да, граф глуп, – сказал я. – Он мог бы послать эти деньги через меня и от моего имени.

– Он не имел права посылать ему денег! Имею ли я право кормить вас, если я вас душу и вы меня ненавидите?

– Это правда...

Мы умолкли и задумались... Мысль о судьбе Урбенина была для меня всегда тяжела; теперь же, когда перед моими глазами гарцевала погубившая его женщина, эта мысль породила

во мне целый ряд тяжелых мыслей... Что станет с ним и с его детьми? Чем в конце концов кончит она? В какой нравственной луже кончит свой век этот тщедушный, жалкий граф?

Возле меня сидело существо, единственно порядочное и достойное уважения... Двух только людей знал я в нашем уезде, которых я в силах был любить и уважать, которые одни только имели право отвернуться от меня, потому что стояли выше меня... Это были Надежда Калинина и доктор Павел Иванович... Что ожидало их?

– Надежда Николаевна! – сказал я ей. – Сам того не желая, я причинил вам немало зла и менее, чем кто-либо, имею право рассчитывать на вашу откровенность. Но, клянусь вам, никто не поймет вас так, как я пойму. Ваше горе – мое горе, ваше счастье – мое счастье... Если я задам вам сейчас вопрос, то не заподозрите в нем праздное любопытство. Скажите мне, моя дорогая, зачем вы позволяете этому пигмею графу приближаться к вам? Что вам мешает гнать его от себя и не слушать его гнусных любезностей? Ведь его ухаживанья не делают чести порядочной женщине! Зачем вы даете повод этим сплетницам ставить ваше имя рядом с его именем?

Наденька поглядела на меня своими ясными глазами и, словно прочитав на моем лице искренность, весело улыбнулась.

– Что же они говорят? – спросила она.

– Они говорят, что ваш папенька и вы ловите графа и что граф, в конце концов, натянет вам нос.

– Не знают они графа, а потому так и говорят! – вспыхнула Наденька. – Бесстыдные сплетницы! Они привыкли видеть в людях одно только дурное... Хорошее недоступно их пониманию!

– А вы нашли в нем хорошее?

– Да, я нашла! Вы первый должны были бы знать, что я не допустила бы его к себе, если бы не была уверена в его честных намерениях!

– Стало быть, у вас дело дошло уже до «честных намерений»? – удивился я. – Скоро... А на что вам сдались его честные намерения?

– Вы хотите знать? – спросила она, и глаза ее заблистали. – Те сплетницы не лгут: я хочу выйти за него замуж! Не стройте удивленной физиономии и не улыбайтесь! Вы скажете, что выходить не любя нечестно и прочее, что уже тысячу раз было сказано, но... что же мне делать? Чувствовать себя на этом свете лишнюю мебелью очень тяжело... Жутко жить, не зная цели... Когда же этот человек, которого вы так не любите, сделает меня своею женою, то у меня уже будет задача жизни... Я исправлю его, я отучу его пить, научу работать... Взгляните на него! Теперь он не похож на человека, а я сделаю его человеком.

– И так далее и так далее, – сказал я. – Вы сбережете его громадное состояние, будете творить благие дела... Весь уезд будет благословлять вас и видеть в вас ангела, ниспосланного на утешение несчастных... Вы будете матерью и воспитаете его детей... Да, великая задача! Умная вы девушка, а рассуждаете, как гимназист!

– Пусть моя идея никуда не годится, пусть она смешна и наивна, но я живу ею... Под влиянием ее я стала здоровей и веселей... Не разочаровывайте же меня! Пусть я сама разочаруюсь, но не теперь, а когда-нибудь... после, в далеком будущем... Оставим этот разговор!

– Еще один нескромный вопрос: вы ждете предложения руки?

– Да... Судя по его записке, которую я сегодня получила от него, судьба моя решится вечером... сегодня... Он пишет мне, что имеет сказать что-то очень важное... От моего ответа, пишет он, будет зависеть счастье всей его жизни...

– Спасибо за откровенность, – сказал я.

Смысл записки, полученной Наденькой, для меня был ясен. Бедную девушку ожидало гнусное предложение... Я порешил избавить ее от него.

– Мы уже приехали к нашему лесу, – сказал граф, поравнявшись с нашим шарабаном. – Не желаете ли, Надежда Николаевна, устроить привал?

И, не дожидаясь ответа, он захлопал в ладоши и скомандовал громким, дребезжащим тенорком:

– Прива-а-ал!

Мы расположились на опушке леса. Солнце спряталось за деревья, крася в золотистый пурпур одни только верхушки самых высоких ольх да играя на золотом кресте видневшейся вдали графской церкви. Над нашими головами залетали встревоженные кобчики и иволги. Кто-то из мужчин выстрелил и еще более встревожил пернатое царство. Поднялся неугомонный птичий концерт. Этот концерт имеет свою прелесть весной и летом, но, когда в воздухе чувствуется приближение холодной осени, он раздражает нервы и напоминает о скором перелете.

Из чащи потянуло вечернею свежестью. Носы дам посинели, и зябкий граф стал потирать руки. Как нельзя более кстати запахло самоварной гарью и зазвучала чайная посуда. Одноглазый Кузьма, пытая и путаясь в высокой траве, притащил ящик с коньяком. Мы принялись греться.

Продолжительная прогулка на свежем, прохладном воздухе действует на аппетит лучше всяких аппетитных капель. После нее балык, икра, жареные куропатки и прочая снедь ласкают взоры, как розы в раннее весеннее утро.

– Ты сегодня умен, – сказал я графу, отрезывая себе кусок балыка. – Умен, как никогда. Трудно распорядиться умнее...

– Это мы вместе с графом распорядились! – захихикал Калинин, мигнув глазом на кучеров, таскавших из шарабанов кульки с закуской, вина и посуду. – Пикничок выйдет на славу... К концу шампанея будет...

Лицо мирового на этот раз лоснилось таким довольством, как никогда. Не думал ли он, что в этот вечер его Наденьке будет сделано предложение? Не для того ли он припас и шампанского, чтобы поздравить молодых? Я пристально взглянул на его физиономию, но, по обыкновению, не прочел ничего, кроме бесшабашного довольства, сытости и тупой важности, разлитой во всей его солидной фигуре.

Мы весело набросились на закуски. К съедобной роскоши, лежавшей перед нами на коврах, отнеслись безучастно только двое: Ольга и Наденька Калинина. Первая стояла в стороне и, облокотившись о задок шарабана, неподвижно и молча глядела на ягдташ, сброшенный на землю графом. В ягдташе ворочался подстреленный кулик. Ольга следила за движением несчастной птицы и словно ждала ее смерти.

Надя сидела рядом со мною и безучастно глядела на весело жевавшие рты.

«Когда же все это кончится?» – говорили ее утомленные глаза.

Я предложил ей бутерброд с икрой. Она поблагодарила и положила его в сторону. Очевидно, ей было не до еды.

– Ольга Николаевна! Вы же чего не садитесь? – крикнул граф Ольге.

Ольга не ответила и продолжала стоять неподвижно, как статуя, и глядеть на птицу.

– Какие есть бессердечные люди, – сказал я, подходя к Ольге. – Неужели вы, женщина, в состоянии равнодушно созерцать мучения этого кулика? Чем глядеть, как он корчится, вы бы лучше приказали его добить.

– Другие мучаются, пусть и он мучается, – сказала Ольга, не глядя на меня и хмурая брови.

– Кто же еще мучается?

– Оставь меня в покое! – прохрипела она. – Я не расположена сегодня говорить ни с тобой... ни с твоим дураком графом! Отойди от меня прочь!

Она вскинула на меня глазами, полными злобы и слез. Лицо ее было бледно, губы дрожали.

– Какая перемена! – сказал я, поднимая ягдташ и добивая кулика. – Какой тон! Поражен! Совсем поражен!

– Оставь меня в покое, говорят тебе! Мне не до шуток!

– Что же с тобой, моя прелесть?

Ольга окинула меня взором снизу вверх и отвернулась.

– Таким тоном разговаривают с развратными и продажными женщинами, – проговорила она. – Ты меня такой считаешь... ну и ступай к тем, святым!.. Я здесь хуже, подлее всех... Ты, когда ехал с этой добродетельной Наденькой, боялся глядеть на меня... Ну, и иди к ним! Чего же стоишь? Иди!

– Да, ты здесь хуже и подлее всех, – сказал я, чувствуя, как мною постепенно овладевает гнев. – Да, ты развратная и продажная.

– Да, я помню, как ты предлагал мне проклятые деньги... Тогда я не понимала значения их, теперь же понимаю...

Гнев овладел всем моим существом. И этот гнев был так же силен, как та любовь, которая начинала когда-то зарождаться во мне к девушке в красном... Да и кто бы, какой камень остался бы равнодушен? Я видел перед собою красоту, брошенную немилосердной судьбою в грязь. Не были пощажены ни молодость, ни красота, ни грация... Теперь, когда эта женщина казалась мне прекрасней, чем когда-либо, я чувствовал, какую потерю в лице ее понесла природа, и мучительная злость на несправедливость судьбы, на порядок вещей наполняла мою душу...

В минуты гнева я не умею себя сдерживать. Не знаю, что бы еще пришлось Ольге выслушать от меня, если бы она, повернувшись ко мне спиной, не отошла. Она тихо направилась к деревьям и скоро скрылась за ними... Мне казалось, что она заплакала...

– Вы, милостивые государыни и милостивые государи! – услышал я речь Калинина. – В сей день, в который мы все соединились для... для того, чтоб объединиться... Мы здесь все в сборе, все между собою знакомы, все веселимся и этим давно желанным объединением нашим мы обязаны не кому другому, как нашему светилу, звезде нашей губернии... Вы, граф, не конфузьтесь... Дамы понимают, о ком я говорю... Хе-хе-хе!.. Ну-с, будем продолжать... Так как всем этим мы обязаны нашему просвещенному и юному... юному... графу Карнееву, то предлагаю выпить сей тост за... Но кто-то едет! Кто это?

К опушке, где мы сидели, по направлению от графской усадьбы катил коляска...

– Кто бы это мог быть? – удивился граф, направляя свой бинокль в сторону коляски. – Гм... странно... Это, должно быть, проезжие... Ах, нет! Я вижу рожу Каэтана Казимировича... С кем это он?

И граф вдруг вскочил как ужаленный... Лицо его покрылось смертельной бледностью, из рук выпал бинокль. Глаза его забегали, как у пойманной мыши, и, словно прося о помощи, останавливались то на мне, то на Наде... Не все уловили его смущение, потому что внимание большинства было отвлечено приближавшейся коляской.

– Сережа, поди сюда на минутку! – зашептал он, хватая меня под руку и отводя в сторону. – Голубчик, умоляю тебя, как друга, как лучшего из людей... Ни вопросов, ни вопрошающих взглядов, ни удивления! Все расскажу после! Клянусь, что ни одна йота не останется для тебя тайной... Это такое несчастье в моей жизни, такое несчастье, что и выразить тебе не могу! Все узнаешь, а теперь без вопросов! Помогите мне!

Между тем коляска была все ближе и ближе... Наконец она остановилась, и глупая тайна нашего графа стала достоянием уезда. Из коляски, пыхтя и улыбаясь, вылез Пшехоцкий, облеченный в новый чесунчовый костюм. За ним ловко выпрыгнула молодая дама, лет 23-х. Это была высокая стройная блондинка с правильными, но несимпатичными чертами лица и с синими глазами. Я помню только эти синие, ничего не выражающие глаза, напудренный нос, тяжелое, но роскошное платье и несколько массивных браслетов на обеих руках... Я помню,

что запах вечерней сырости и пролитого коньяка уступил свое место пронзительному запаху каких-то духов.

– Как вас здесь много! – проговорила незнакомка ломаным русским языком. – Должно быть, очень весело! Здравствуй, Алексис!

Она подошла к Алексису и подставила ему свою щеку. Граф быстро чмокнул и тревожно взглянул на своих гостей.

– Моя жена, рекомендую! – забормотал он. – А это, Созя, мои хорошие знакомые... Гм... Кашель у меня.

– А я только что приехала! Каэтан говорит мне: отдохни! Но я говорю, зачем мне отдыхать, если я всю дорогу спала! И я лучше поеду на охоту! Оделась и поехала... Каэтан, где мои сигареты?

Пшехоцкий подскочил к блондинке и подал ей золотой портсигар.

– А это – брат моей жены... – продолжал граф бормотать, указывая на Пшехоцкого. – Да помоги же мне! – толкнул он меня под локоть. – Выручи, ради бога!

Говорят, что с Калининым сделалось дурно и что Надя, желая помочь ему, не могла подняться с места. Говорят, что многие поспешили сесть в свои экипажи и уехать. Я всего этого не видел. Помню, что я пошел в лес и, ища тропинки, не глядя вперед, направился куда ноги пойдут⁹³.....

На ногах моих висели куски липкой глины, и весь я был в грязи, когда вышел из лесу. Вероятно, мне приходилось перепрыгивать через ручей, но обстоятельства этого я не помню. Слово меня сильно избили палками, до того я чувствовал себя утомленным и замученным. Нужно было отправиться в графскую усадьбу, сесть на Зорьку и ехать. Но я этого не сделал, а отправился домой пешком. Не мог я видеть ни графа, ни его проклятой усадьбы⁹⁴.....

Дорога моя лежала по берегу озера. Водяное чудовище уже начинало реветь свою вечернюю песню. Высокие волны с белыми гребнями покрывали всю громадную поверхность. В воздухе стояли гул и рокот. Холодный, сырой ветер пронизывал меня до костей. Слева было сердитое озеро, а справа несся монотонный шум сурового леса. Я чувствовал себя с природой один на один, как на очной ставке. Казалось, весь ее гнев, весь этот шум и рев были для одной только моей головы. При других обстоятельствах я, быть может, ощутил бы робость, но теперь я едва замечал окружающих меня великанов. Что гнев природы был в сравнении с той бурей, которая кипела во мне?⁹⁵.....

Придя домой, я, не раздеваясь, повалился в постель.

– Опять, бесстыжие глаза, в озере в одежде купался! – заворчал Поликарп, стаскивая с меня мокрую и грязную одежду. – Опять, наказание мое! Еще тоже благородный, образованный, а хуже всякого трубочиста... Не знаю, чему там в ниверситете вас учили.

Я, не вынося ни человеческого голоса, ни лица, хотел крикнуть на Поликарпа, чтоб он оставил меня в покое, но слово мое застряло в горле. Язык был так же обессилен и изнеможен, как и все тело. Как это ни мучительно было, но пришлось позволить Поликарпу стащить с меня все, даже измокшее нижнее белье.

– И хоть бы повернулся! – ворчал мой слуга, ворочая меня с боку на бок, как маленькую куклу. – Завтра же расчет! Ни-ни... ни за какие деньги! Будет с меня, дурака! Чтобы мне провалиться, ежели останусь!

⁹³ Тут в рукописи Камышева зачеркнуто сто сорок строк. – А. Ч.

⁹⁴ На этом месте рукописи нарисована чернилами хорошенькая женская головка с искаженными от ужаса чертами. Все, написанное ниже ее, старательно зачеркнуто. Верхняя половина следующей страницы тоже зачеркнута, и сквозь сплошную чернильную кляксу можно разобрать одно только слово «висок». – А. Ч.

⁹⁵ Тут тоже зачеркнуто. – А. Ч.

Свежее, теплое белье не согрело и не успокоило меня. Я дрожал и от гнева и от страха до того сильно, что у меня стучали зубы. Страх был необъяснимый... Не пугали меня ни привидения, ни выходцы из могил, ни даже портрет моего предшественника, Пospelова, висевший над моей головой. Он не спускал с меня своих безжизненных глаз и, казалось, мигал ими, но меня нимало не коробило, когда я глядел на него. Будущее мое было не прозрачно, но все-таки можно было с большою вероятностью сказать, что мне ничто не угрожает, что черных туч вблизи нет. Смерть не скоро, болезни мне были не страшны, личным несчастьям я не придавал значения... Чего же я боялся и отчего стучали мои зубы?

Не был мне понятен и мой гнев... «Тайна» графа не могла разозлить меня так сильно. Мне не было дела ни до графа, ни до его женитьбы, которую он скрыл от меня.

Остается объяснить тогдашнее состояние моей души нервным расстройством и утомлением. Иное объяснение мне не под силу.

По уходе Поликарпа я укрылся с головой, намереваясь уснуть. Было темно и тихо... Беспокойно ворочался в своей клетке попугай, да доносилось мерное постукивание стальных часов из Поликарповой комнаты, во всем же остальном царили мир и тишина. Физическое и душевное утомление взяли свое, и я стал засыпать... Я чувствовал, как с меня постепенно спадала какая-то тяжесть, как ненавистные образы сменялись в сознании туманом... Помню, я даже начинал видеть сон. Снилось мне, что в светлое зимнее утро шел я по Невскому в Петербурге и от нечего делать засматривал в окна магазинов. На душе моей было легко, весело... Некуда было спешить, делать было нечего – свобода абсолютная... Сознание, что я далеко от своей деревни, от графской усадьбы и сердитого, холодного озера, еще более настраивало меня на мирный, веселый лад. Я остановился у самого большого окна и стал рассматривать женские шляпки... Шляпки были мне знакомы... В одной из них я видел Ольгу, в другой Надю, третью я видел в день охоты на белокурой голове внезапно приехавшей Сози... Под шляпками заулыбались знакомые физиономии... Когда я хотел им что-то сказать, они все три слились в одну большую, красную физиономию. Эта сердито задвигала своими глазами и высунула язык... Кто-то сзади сдавил мне шею...

– Муж убил свою жену! – крикнула красная физиономия. Я вздрогнул, вскрикнул и как ужаленный вскочил с постели... Сердце мое страшно билось, на лбу выступил холодный пот.

– Муж убил свою жену! – повторил попугай. – Дай же мне сахару! Как вы глупы! Дурак!

– Это попугай... – успокоил я себя, ложась в постель. – Слава богу...

Слышался монотонный ропот... То о кровлю стучал дождь... Тучи, которые я видел на западе, когда шел по берегу озера, заволокли теперь все небо. Слабо блеснула молния и осветила портрет покойного Пospelова... Над самой моей головой прогремел гром...

«Последняя гроза за это лето», – подумал я.

Вспомнилась мне одна из первых гроз... Точно такой же гром гремел когда-то в лесу, когда я первый раз был в домике лесничего... Я и девушка в красном стояли тогда у окна и глядели на сосны, которые освещала молния... В глазах прекрасного создания светился страх. Она сказала мне, что мать ее умерла от молнии и что она сама жаждет эффектной смерти... Хотелось бы ей одеться так, как одеваются богатейшие аристократки уезда. Она чувала, что к ее красоте шла роскошь наряда. И, сознавая свое суетное величие, гордая им, она хотела бы взойти на Каменную Могилу и там эффектно умереть.

Мечта ее сб... хотя и не на Камен...⁹⁶

Потеряв всякую надежду уснуть, я поднялся и сел на кровати. Тихий ропот дождя постепенно обращался в сердитый рев, который я так любил, когда душа моя была свободна от страха и злости... Теперь же этот рев казался мне зловещим. Удар грома следовал за ударом.

⁹⁶ Тут, к сожалению, опять зачеркнуто. Заметно, что Камышев зачеркивал не во время писания, а после... К концу повести я обращаю на эти зачеркивания особое внимание. – А. Ч.

– Муж убил свою жену! – каркнул попугай.

Эта была последняя его фраза... Закрыв в малодушном страхе глаза, я нащупал в темноте клетку и швырнул ее в угол...

– Черти бы тебя взяли! – крикнул я, услышав звон клетки и писк попугая...

Бедная, благородная птица! Полет в угол не обошелся ему даром... На другой день его клетка содержала в себе холодный труп. За что я убил его? Если его любимая фраза о муже, убившем свою жену, напомят⁹⁷.....

Мать моего предшественника, Пospelова, уступая мне квартиру, взяла с меня деньги за всю обстановку, даже за фотографические изображения незнакомых мне людей. Но она ни копейки не взяла с меня за дорогого попугая. Накануне своего отъезда в Финляндию она всю ночь прощалась со своей благородной птицей. Я помню всхлипывания и причитанья, которыми сопровождалось это прощанье. Помню слезы, с которыми она просила меня сбереечь ее друга до ее возвращения. Я дал ей честное слово, что ее попугай не пожалеет о том, что познакомился со мною. И не сдержал я этого слова. Я убил птицу. Воображаю, что сказала бы старуха, если бы узнала о судьбе своего крикуна!

Кто-то осторожно постучался в мое окно. Домишко, в котором я жил, стоял по дороге одним из крайних, и стук в окно приходилось мне слышать нередко, в особенности в дурную погоду, когда проезжие искали ночлега. На сей раз стучались ко мне не проезжие. Пройдя к окну и дождавшись, когда блеснет молния, я увидел темный силуэт какого-то высокого и тонкого человека. Он стоял перед окном и, казалось, ежился от холода. Я отворил окно.

– Кто здесь? Что нужно? – спросил я.

– Сергей Петрович, это я! – услышал я жалобный голос, каким говорят сильно иззябшие и испуганные люди. – Это я! К вам, мой дорогой!

В жалобном голосе темного силуэта узнал я, к своему великому удивлению, голос моего друга, доктора Павла Ивановича. Посещение Щура, ведущего регулярную жизнь и ложащегося спать раньше двенадцати, было непонятно. Что могло заставить его изменить своим правилам и явиться ко мне в два часа ночи, да вдобавок еще в такую ужасную погоду?

– Что вам нужно? – спросил я, послав в глубине души нежданного гостя к черту.

– Извините, голубчик... Я хотел постучать в дверь, но ваш Поликарп, наверное, спит теперь как мертвец. Я решился постучать в окно.

– Да что вам нужно?

Павел Иванович подошел ближе к моему окну и забормотал что-то непонятное. Он дрожал и походил на пьяного.

– Я вас слушаю! – сказал я, теряя терпение.

– Вы... вы, я вижу, сердитесь, но... если бы вы знали все, что случилось, то вы перестали бы сердиться на такие пустяки, как прерванный сон и визит не в пору... Не до сна теперь! Господи Боже мой! Жил я на свете три десятка и только впервые сегодня так страшно несчастлив! Я несчастлив, Сергей Петрович!

– Ах, да что же случилось? И какое мне дело? Я сам еле стою на ногах... Не до людей мне!

– Сергей Петрович! – проговорил Щур плачущим голосом, протягивая в потемках к моему лицу мокрую от дождя руку. – Честный человек! Друг мой!

И засим я услышал мужской плач. Плакал доктор.

– Павел Иванович, идите домой! – сказал я после некоторого молчания. – Сейчас я не могу с вами говорить... Я боюсь и своего и вашего настроения. Мы не пойдем друг друга...

– Дорогой мой! – проговорил доктор умоляющим голосом. – Женитесь на ней.

– Вы с ума сошли! – сказал я, захлопывая окно...

⁹⁷ Тут беспорядочно зачеркнута почти целая страница. Пошажены только несколько слов, не дающих ключа к уразумению зачеркнутого. – А. Ч.

После попугая доктор был второй пострадавший от моего настроения. Я не пригласил его в комнату и захлопнул перед его носом окно. Две грубые, неприличные выходки, за которые я вызвал бы на дуэль даже женщину⁹⁸. Но кроткий и незлобный Щур не имел понятия о дуэли. Он не знал, что значит сердиться.

Минуты через две блеснула молния, и я, взглянув на окно, увидел согнувшуюся фигуру моего гостя. Поза его на этот раз была просительная, выжидательная, как у нищего, стерегущего милостыню. Он ждал, вероятно, что я прощу его и позволю ему высказаться.

К счастью, во мне зашевелилась совесть. Мне стало жаль себя, жаль, что природа всадила в меня столько жесткости и мерзости! Низкая душа моя была такой же кремь, как и мое здоровое тело...⁹⁹ Я подошел к окну и открыл его.

– Войдите в комнату! – сказал я.

– Некогда!.. Каждая минута дорога! Бедная Надя отравилась, и врачу нельзя отходить от нее... Едва удалось спасти бедняжку... Это ли не несчастье? И вы можете не слушать, захлопывать окно?

– Она жива все-таки?

– Все-таки... Таким тоном не говорят о несчастных, мой хороший друг! Кто бы мог подумать, что эта умная, честная натура захочет расстаться с жизнью из-за такого субъекта, как граф? Нет, друг мой, к несчастью людей, женщины не могут быть совершенны! Как бы ни была умна женщина, какими бы совершенствами она ни была одарена, в ней все-таки сидит гвоздь, мешающий жить и ей и людям... Возьмем хоть Надю... Ну к чему она это сделала? Самолюбие и самолюбие! Болезненное самолюбие! Чтобы уколоть вас, она задумала выйти за этого графа... Не нужно ей было ни его денег, ни знатности... Ей нужно было только удовлетворить свое чудовищное самолюбие... И вдруг неудача!.. Вы знаете, что приехала *его* жена... Оказывается, что этот развратник женат... А еще тоже говорят, что женщины выносливы, что они умеют терпеть лучше мужчин!.. Где же тут выносливость, если такая жалкая причина заставляет хвататься за фосфорные спички? Это не выносливость, а суетность!

– Вы простудитесь...

– То, что я видел сейчас, хуже всякой простуды... Глаза эти, бледность... а! К неудавшейся любви, к неудавшейся попытке насолить вам прибавилось еще неудавшееся самоубийство... Большее несчастье и вообразить себе трудно!.. Дорогой мой, если у вас есть хотя капля сострадания, если... если бы вы ее увидели... ну, отчего бы вам не прийти к ней? Вы любили ее! Если уже не любите, то отчего бы и не пожертвовать ей своей свободой? Жизнь человеческая дорога, и за нее можно отдать... все! Спасите жизнь!

Кто-то сильно постучал в мою дверь. Я вздрогнул... Сердце мое обливалось кровью!.. Я не верю в предчувствие, но на этот раз тревога моя была не напрасна... Стучались ко мне с улицы...

– Кто там? – крикнул я в окно...

– К вашей милости!..

– Что нужно?

– От графа письмо, ваше благородие! Человека убили!

Какая-то темная фигура, закутанная в тулуп, подошла к окну и, ропща на погоду, подала мне письмо... Я быстро отошел от окна, зажег свечу и прочел следующее:

«Забудь, ради бога, все на свете и приезжай *сейчас же*. Убита Ольга. Я потерял голову и сейчас сойду с ума. Твой А. К.»

⁹⁸ Последняя фраза написана выше зачеркнутой строки, в которой можно разобрать: «сорвал бы с плеч голову и вышиб бы все окна». – А. Ч.

⁹⁹ Далее следует пластически-вычурное толкование о душевной выносливости автора. Вид человеческих скорбей, кровь, судебные вскрытия и пр. не производят якобы на него никакого впечатления. Все это место носит оттенок хвастливой наивности, неискренности. Оно поражает своей грубостью, и я выпустил его. Для характеристики Камышева оно не важно. – А. Ч.

Убита Ольга! От этой короткой фразы у меня закружилась голова и потемнело в глазах... Я сел на кровать и, не имея сил соображать, опустил руки.

– Это вы, Павел Иванович? – услышал я голос присланного мужика. – А я только что к вам хотел ехать... И к вам письмо есть.

Через пять минут я и Щур сидели в крытом экипаже и ехали к графской усадьбе... По верху экипажа стучал дождь, впереди нас то и дело вспыхивала ослепительная молния.

Слышался рев озера...

Начиналось последнее действие драмы, и двое из действующих лиц ехали, чтобы увидеть раздирающую душу картину.

– Ну, как вы думаете, что нас ждет? – спросил я дорогой Павла Ивановича.

– Ничего я не думаю... Не знаю...

– Я тоже не знаю...

– Гамлет жалел когда-то, что Господь земли и неба запретил грех самоубийства, так я теперь жалею, что судьба сделала меня врачом... Глубоко сожалею!

– Боюсь, чтобы в свою очередь мне не пришлось пожалеть, что я судебный следователь, – сказал я. – Если граф не смешал убийства с самоубийством и если действительно Ольга *убита*, то достанется моим бедным нервам!

– Вам можно отказаться от этого дела...

Я вопросительно поглядел на Павла Ивановича и, конечно, благодаря потемкам, ничего не увидел... Откуда он знал, что я *могу* отказаться от этого дела? Я был любовником Ольги, но кому это было известно, кроме самой Ольги да, пожалуй, еще Пшехоцкого, угостившего меня когда-то аплодисментами?..

– Почему вы думаете, что мне можно отказаться? – спросил я Щура.

– Так... Вы можете заболеть, подать в отставку... Все это несколько не бесчестно, потому что есть кому заменить вас, врач же поставлен совершенно в другие условия...

«Только-то?» – подумал я.

Экипаж после долгой, убийственной езды по глинистой почве остановился, наконец, у подъезда. Два окна над самым подъездом были ярко освещены, из крайнего правого, выходящего из спальни Ольги, слабо пробивался свет, все же остальные окна глядели темными пятнами. На лестнице нас встретила Сычиха. Она поглядела на меня своими колючими глазками, и морщинистое лицо ее наморщилось в злую, насмешливую улыбку.

«Ужо будет вам сюрприз!» – говорили ее глаза.

Вероятно, она думала, что мы приехали покутить и не знали, что в доме горе.

– Рекомендую вашему вниманию, – сказал я Павлу Ивановичу, стаскивая со старухи чепец и обнажая совершенно лысую голову. – Этой ведьме девяносто лет, душа моя. Если бы нам с вами пришлось когда-нибудь вскрывать этого субъекта, то мы сильно разошлись бы во мнениях. Вы нашли бы старческую атрофию мозга, я же уверил бы вас, что это самое умное и хитрое существо во всем нашем уезде... Черт в юбке!

Войдя в залу, я был поражен. Картина, которую я здесь увидел, была совсем неожиданная. Все стулья и диваны были заняты людьми... В углах и около окон тоже стояли группы людей. Откуда они могли взяться? Если бы мне ранее сказал кто-нибудь, что я встречу здесь этих людей, то я бы расхохотался. До того невероятно и неуместно было их присутствие в доме графа в то время, когда, быть может, в одной из комнат лежала умершая или умиравшая Ольга. Это был цыганский хор обер-цыгана Карпова из ресторана «Лондон», тот самый хор, который известен читателю по одной из первых глав. Когда я вошел, от одной из групп отделилась моя старая приятельница Тина и, узнав меня, радостно вскрикнула. По ее бледному смуглому лицу разлилась улыбка, когда я подал ей руку, и из глаз брызнули слезы, когда она хотела мне что-то сказать... Слезы не дали ей говорить, и я не добился от нее ни одного слова. Я обратился к другим цыганам, и они объяснили мне свое присутствие таким образом. Утром граф при-

слал им в город телеграмму, требуя, чтобы весь хор в полном своем составе обязательно был в графской усадьбе к 9 часам вечера. Они, исполняя этот «заказ», сели на поезд и в восемь часов были уже в этой зале...

– И мы мечтали доставить его сиятельству и господам гостям удовольствие... Мы знаем так много новых романсов!.. И вдруг...

И вдруг прилетел верхом мужик с известием, что на охоте совершено зверское убийство, и с приказанием приготовить постель Ольги Николаовны. Мужик не поверили, потому что мужик был пьян, «как свинья», но когда на лестнице послышался шум и через залу пронесли черное тело, сомневаться уже нельзя было...

– И теперь мы не знаем, что нам делать! Остаться нам здесь нельзя... Когда здесь священник, веселым людям нужно убираться... Да и к тому же все певички встревожены и плачут... Они не могут быть в том доме, где покойник... Нужно уехать, а между тем нам не хотят дать лошадей! Господин граф лежит больны и никого к себе не впускают, а прислуга на просьбу о лошадях отвечает насмешками... Не идти же нам пешком в такую погоду и в такую темную ночь! Прислуга вообще ужасно груба!.. Когда мы попросили для наших дам самовар, нас послали к черту...

Все эти жалобы кончились слезным обращением к моему великодушию: не выхлопочу ли я для них экипажи, чтобы они могли убраться из этого «проклятого» дома?

– Если лошади не в загоне и если кучера не разосланы, то вы уедете, – сказал я. – Я прикажу...

Беднягам, одетым в шутовские костюмы и привыкшим кокетничать своими ухарскими манерами, были очень не к лицу их постные физиономии и нерешительные позы. Своим обещанием отправить их на станцию я несколько расшевелил их. Мужской шепот обратился в громкий говор, а женщины перестали плакать...

Затем, проходя в графский кабинет через целую анфиладу темных, неосвещенных комнат, я заглянул в одну из многочисленных дверей и увидел умиляющую душу картину. За столом около шумевшего самовара сидели Созя и ее брат Пшехоцкий... Созя, одетая в легкую блузу, но все в тех же браслетах и перстнях, нюхала что-то из флакона и, томничая, брезгливо отхлебывала из чашки. Глаза ее были заплаканы... Вероятно, событие на охоте сильно расстроило ее нервы и надолго испортило расположение ее духа. Пшехоцкий с таким же деревянным лицом, как и прежде, хлебал большими глотками из блюдечка и что-то говорил сестре. Судя по менторскому выражению его лица и манерам, он успокаивал и убеждал не плакать.

Графа, само собою разумеется, я застал в самых разлохмаченных чувствах. Дряблый и хилый человек похудел и осунулся больше прежнего... Он был бледен, и губы его дрожали, как в лихорадке. Голова была повязана белым носовым платком, от которого на всю комнату разлило острым уксусом. При моем входе он вскочил с софы, на которой лежал, и, запахнувши полы халата, бросился ко мне...

– А? а? – начал он, дрожа и захлебываясь. – Ну?

И, издав несколько неопределенных звуков, он потащил меня за рукав к софе и, дождавшись, когда я сяду, прижался ко мне, как испуганная собачонка, и принялся изливаться свою жалобу...

– Кто б мог ожидать? а? Постой, голубчик, я укроюсь пледом... у меня лихорадка... Убита, бедная! И как варварски убита! Еще жива, но земский врач говорит, что сегодня ночью умрет... Ужасный день!.. Приехала ни к селу ни к городу эта... черт бы ее взял совсем, жена... Это моя несчастнейшая ошибка. Меня, Сережа, в Петербурге пьяного женили. Я скрывал от тебя, мне совестно было, но вот она приехала, и ты можешь ее видеть... Гляди и казись... О, проклятая слабость! Под влиянием минуты и водки я в состоянии сделать все что хочешь! Приезд жены – первый подарок, скандал с Ольгой – второй... Жду третьего... Я знаю, что еще случится... Знаю! Я сойду с ума!

Всплакнувши, выпивши три рюмки водки и назвав себя ослом, негодяем и пьяницей, граф путающимся от волнения языком описал драму, имевшую место на охоте... Рассказал он мне приблизительно следующее.

Минут через 20–30 после моего ухода, когда удивление по поводу приезда Сози несколько поулеглось и когда Соzia, познакомившись с обществом, стала изображать из себя хозяйку, компания услышала вдруг пронзительный, раздирающий душу крик. Этот крик несся со стороны леса и раза четыре был повторен эхом. Был он до того необычаен, что люди, слышавшие его, вскочили на ноги, собаки залаяли, а лошади наострили уши. Крик был неестественный, но графу удалось узнать в нем женский голос... Звучали в нем отчаяние, ужас... Так должны вскрикивать женщины, когда видят привидение или внезапную смерть ребенка... Встревоженные гости поглядели на графа, граф на них... Минуты три царило гробовое молчание...

И пока господа переглядывались и молчали, кучера и лакеи побежали к тому месту, откуда был слышен крик. Первым вестником скорби был лакей, старый Илья. Он прибежал из леса к опушке и, бледный, с расширенными зрачками, хотел что-то сказать, но одышка и волнение долго мешали ему говорить. Наконец, поборов себя и перекрестившись, он выговорил:

– Убили барыню!

Какую барыню? Кто убил? Но Илья не дал ответа на эти вопросы... Роль второго вестника выпала на долю человека, которого не ожидали и появлением которого были страшно поражены. Были поразительны и неожиданное появление, и вид этого человека... Когда граф увидел его и вспомнил, что Ольга гуляет в лесу, то у него замерло сердце и подогнулись от страшного предчувствия ноги.

Это был Петр Егорыч Урбенин, бывший управляющий графа и муж Ольги. Сначала компания услышала тяжелые шаги и треск хвороста... Казалось, что из леса на опушку пробирался медведь. Потом же показалось массивное тело несчастного Петра Егорыча... Выйдя на опушку и увидев компанию, он сделал шаг назад и остановился как вкопанный. Минуты две он молчал и не двигался и таким образом дал себя осмотреть... На нем были его обиходные серенькие пиджак и брюки, достаточно уже поношенные... На голове шляпы не было, и всклокоченные волосы прилипли к вспотевшим лбу и вискам... Лицо его, обыкновенно багровое, а часто и багрово-синее, на этот раз было бледно... Глаза смотрели безумно, неестественно широко... Губы и руки дрожали...

Но что поразительнее всего, что прежде всего обратило на себя внимание ошеломленных зрителей, так это окровавленные руки... Обе руки и манжеты были густо покрыты кровью, словно их вымыли в кровавой ванне.

После трехминутного столбняка Урбенин, как бы очнувшись от сна, сел на траву потурецки и простонал. Собаки, чувявшие что-то необычайное, окружили его и подняли лай... Обведя компанию мутными глазами, Урбенин закрыл обеими руками лицо, и наступил новый столбняк...

– Ольга, Ольга, что ты наделала! – простонал он.

Глухие рыдания вырвались из его груди и потрясли богатырские плечи... Когда он отнял от лица руки, то компания увидела на его щеках и на лбу кровь, перешедшую с рук на лицо...

Дойдя до этого места, граф махнул рукой, выпил судорожно рюмку водки и продолжал:

– Дальше мои воспоминания путаются. Как ты можешь себе представить, все происшедшее так меня ошеломило, что я потерял способность мыслить... Ничего не помню, что потом было! Помню только, что мужчины принесли из лесу какое-то тело, одетое в порванное, окровавленное платье... Я не мог на него смотреть! Положили в коляску и повезли... Не слышал я ни стонов, ни плача... Говорят, что ей в бок засадили тот кинжальчик, который при ней всегда был... помнишь его? Эту вещь я ей подарил. Тупой кинжал, тупее, чем этот край стакана...

Какую, стало быть, надо иметь силу, чтобы всадить его! Люблю я, братец, кавказское оружие, но теперь бог с ним, с этим оружием! Завтра же прикажу его выбросить вон!..

Граф выпил еще рюмку водки и продолжал:

– Но какой срам! Какая мерзость! Подвозим мы ее к дому... Все, знаешь, в отчаянии, в ужасе. И вдруг, черт бы их взял, этих цыган, слышится разудалое пение!.. Выстроились в ряд и давай, подлецы, орать!.. Хотели, видишь ли, с шиком встретить, а вышло очень некстати... Похоже на Иванушку-дурачка, который, встретивши похороны, пришел в восторг и заорал: «Таскать вам, не перетаскать!» Да, брат! хотел угодить гостям, выписал цыган, а вышла ерунда. Не цыган нужно приглашать, а докторов да духовенство. И теперь я не знаю, что делать! Что мне делать? Не знаю я этих формальностей, обычаев. Кого звать, за кем послать... Может быть, тут полиция нужна, прокурор... Ни черта я не смыслю, хоть убей!.. Спасибо, отец Иеремия, узнавши про скандал, пришел приобщить, а сам бы я не догадался его пригласить. Умоляю тебя, дружище, возьми на себя все эти хлопоты! Ей-богу, с ума схожу! Приезд жены, убийство... бррр!.. Где теперь моя жена? Ты ее не видел?

– Видел. Она с Пшехоцким чай пьет.

– С братцем, значит... Пшехоцкий – это шельма! Когда я удирал из Петербурга тайком, он пронюхал о моем бегстве и привязался... Сколько он у меня денег выжулил за все это время, так это уму непостижимо!

Разговаривать долго с графом мне было некогда. Я поднялся и направился к двери.

– Послушай, – остановил меня граф. – Тово... а меня не пырнет этот Урбенин?

– А Ольгу разве он пырнул?

– Понятно, он... Недоумеваю только, откуда он взялся! Какие черти его принесли в лес? И почему именно в этот самый лес! Допустим, что он притаился там и поджидал нас, но почему он знал, что я захочу остановиться именно там, а не в другом месте?

– Ты ничего не понимаешь, – сказал я. – Кстати, раз навсегда прошу тебя... Если я возьму на себя это дело, то, пожалуйста, не высказывай мне своих соображений... Ты потрудишься только отвечать на мои вопросы, но не больше.

Оставив графа, я отправился в комнату, где лежала Ольга...¹⁰⁰

В комнате горела маленькая голубая лампа, слабо освещавшая лица... Читать и писать при ее свете было невозможно. Ольга лежала на своей кровати. Голова ее была в повязках; видны были только чрезвычайно бледный заостренный нос да веки закрытых глаз. Грудь в то время, когда я вошел, была обнажена: на нее клали пузырь со льдом¹⁰¹. Стало быть, Ольга еще не умерла. Около нее хлопотали два врача. Когда я вошел, Павел Иваныч, щурия глаза, бесконечно сопя и пыхтя, выслушивал ее сердце.

Земский врач, чрезвычайно утомленный и на вид больной человек, сидел около кровати в кресле и, задумавшись, делал вид, что считает пульс. Отец Иеремия, только что кончивший свое дело, заворачивал в епитрахиль крест и собирался уходить...

– А вы, Петр Егорыч, не скорбите! – говорил он, вздыхая и поглядывая в угол. – На все Божья воля, к Богу и прибегните.

В углу на табурете сидел Урбенин. Он до того изменился, что я едва узнал его. Безделье и пьянство последнего времени сильно сказывались как на его платье, так и на наружности: платье было изношено, лицо тоже.

Бедняга неподвижно сидел и, подперев кулаками голову, не отрывал глаз от кровати... Руки и лицо его все еще были в крови... О мытье было забыто...

О, пророчество моей души и моей бедной птицы!

¹⁰⁰ Тут зачеркнуты две строки. – А. Ч.

¹⁰¹ Обращаю внимание читателя на одно обстоятельство. Камышев, любящий разглагольствовать о состоянии своей души всюду, даже в описаниях стычек своих с Поликарпом, ничего не говорит о впечатлении, произведенном на него видом умирающей Ольги. Думаю, что это пробел преднамеренный. – А. Ч.

Когда моя благородная, убитая мной птица выкрикивала фразу о муже, убившем свою жену, в моем воображении всегда появлялся на сцену Урбенин. Почему?.. Я знал, что ревнивые мужья часто убивают жен-изменниц, знал в то же время, что Урбенины не убивают людей... И я отгоял мысль о возможности убийства Ольги мужем, как абсурд.

«Он или не он?» – задал я себе вопрос, поглядев на его несчастное лицо.

И, откровенно говоря, я не дал себе утвердительного ответа, несмотря даже на рассказ графа, на кровь, которую я видел на руках и лице.

«Если бы он убил, то он давно бы уже смыл с рук и лица кровь... – вспомнилось мне положение одного приятеля-следователя. – Убийцы не выносят крови своих жертв».

Если бы я захотел пошевелить мозгами, то я вспомнил бы немало сему подобных положений, но не следовало забегать вперед и набивать свою голову преждевременными заключениями.

– Мое почтение! – обратился ко мне земский врач. – Очень рад, что хоть вы пришли... Скажите, пожалуйста, кто здесь хозяин?

– Здесь нет хозяина... Здесь царит хаос... – сказал я.

– Изречение очень милое, но тем не менее мне нисколько не легче, – желчно закашлялся земский врач. – Три часа прошу, умоляю дать сюда бутылку портвейна или шампанского, и хоть бы кто снизошел к мольбам! Все глухи, как тетерева! Льду только что сейчас принесли, хотя я приказал достать его три часа тому назад. Что же это такое? Человек умирает, а они словно смеются! Граф изволит в своем кабинете распивать ликеры, а сюда не могут дать рюмки! Посылаю в город, в аптеку, – говорят, что лошади заморены и ехать некому, потому что все пьяны... Хочу послать к себе в больницу за лекарствами и повязками, и мне делают одолжение: дают мне какого-то пьяницу, который еле на ногах стоит. Послал его два часа тому назад, и что же? Говорят, что он только что сейчас уехал! Ну не безобразие ли это? Все пьяны, грубы, неотесаны!.. Все какие-то идиоты! Клянусь Богом, первый раз в жизни вижу таких бессердечных людей!

Негодование врача было справедливо. Он нисколько не преувеличивал, а напротив... Чтоб излить желчь на все беспорядки и безобразия, имевшие место в графской усадьбе, не хватило бы целой ночи. Деморализованная бездельем и безначалием прислуга была отвратительна. Не было того лакея, который не мог бы служить типом зажившегося и зажившего человека.

Я отправился добывать вино. Дав две-три оплеухи, я добыл и шампанского и валерьяновых капель, чем несказанно порадовал медиков. Через час¹⁰² приехал из больницы фельдшер и привез с собою все необходимое.

Павлу Ивановичу удалось влить в рот Ольге столовую ложку шампанского. Она сделала глотательное движение и простионала. Затем ей впрыснули под кожу что-то вроде гофманских капель.

– Ольга Николаевна! – крикнул земский врач, нагнувшись к ее уху. – Ольга Николаевна!

– Трудно ожидать, чтоб она пришла в сознание! – вздохнул Павел Иванович. – Крови много потеряно, да и, кроме того, удар по голове каким-то тупым орудием, наверное, сопровождался сотрясением мозга.

Было ли сотрясение мозга или нет, не мое дело решать, но только Ольга открыла глаза и попросила пить... Возбуждающие средства на нее подействовали.

¹⁰² Я должен обратить внимание читателя еще на одно очень важное обстоятельство. В продолжение 2–3 часов г. Камышев занимается только тем, что ходит из комнаты в комнату, возмущается с врачами, прислугой, щедро сыплет оплеухи и проч... Узнаёте ли вы в нем судебного следователя? Он, видимо, не спешит и старается чем-нибудь убить время. Очевидно, «ему убийца известен». Затем, описанный ниже, ничем не мотивированный обыск у Сычихи и допрос цыган, более похожий на издевательство, чем на допрос, могут быть проделаны только для проволочки времени. – А. Ч.

– Вы теперь можете спросить, что вам нужно... – толкнул меня под локоть Павел Иванович. – Спрашивайте.

Я подошел к кровати... Глаза Ольги были обращены на меня.

– Где я? – спрашивала она.

– Ольга Николаевна! – начал я. – Вы узнаете меня?

Ольга несколько секунд поглядела на меня и закрыла глаза.

– Да! – простонала она. – Да!

– Я – Зиновьев, судебный следователь. Имел честь быть с вами знаком и даже, если помните, был шафером на вашей свадьбе...

– Это ты? – прошептала Ольга, протягивая вперед левую руку. – Сядь...

– Бредит! – вздохнул Щур.

– Я – Зиновьев, следователь... – продолжал я. – Если помните, я присутствовал на охоте... Как вы себя чувствуете?

– Задавайте вопросы по существу! – шепнул мне земский врач. – Я не ручаюсь, что сознание будет продолжительным...

– Прошу, пожалуйста, не учить! – обиделся я. – Я знаю, что мне говорить... Ольга Николаевна, – продолжал я, обращаясь к Ольге, – вы потрудитесь припомнить события истекшего дня. Я помогу вам... В час дня вы сели на лошадь и поехали с компанией на охоту... Охота продолжалась часа четыре... Засим следует привал на опушке леса... Помните?

– И ты... и ты... убил...

– Кулика? После того, как я добил подстреленного кулика, вы поморщились и удалились от компании... Вы пошли в лес...¹⁰³ Теперь потрудитесь собрать все свои силы, поработать памятью. В лесу во время прогулки вы потерпели нападение от неизвестного лица. Спрашиваю вас как судебный следователь, это кто был?

Ольга открыла глаза и поглядела на меня.

– Назовите нам имя этого человека! Здесь, кроме меня, трое...

Ольга отрицательно покачала головой.

– Вы должны назвать его, – продолжал я. – Он понесет тяжелую кару... Закон дорого выщет за его зверство! Он пойдет в каторжные работы...¹⁰⁴ Я жду.

Ольга улыбнулась и отрицательно покачала головой. Дальнейший допрос не привел ни к чему. Больше я не добился от Ольги ни одного слова, ни одного движения. В без четверти пять она скончалась.

В седьмом часу утра прибыли из деревни вытребованные мною староста и понятые. Ехать на место преступления было невозможно: дождь, начавшийся ночью, все еще лил как из ведра. Маленькие лужи обратились в озера. Серое небо глядело сурово и не обещало солнца; смоченные деревья, уныло свесив свои ветви, сыпали целый град крупных брызг при каждом дуновении ветра. Ехать было невозможно, да и, пожалуй, незачем: следы преступления, как то: кровавые пятна, человеческие следы и проч., вероятно, были за ночь размыты дождем. Но формальность требовала, чтобы место преступления было осмотрено, и я отложил эту поездку до приезда полиции, а пока занялся составлением начерно протокола и допросом. Прежде всего я допросил цыган. Бедные певцы всю ночь просидели в залах, ожидая, что им дадут лошадей для поездки на станцию. Но лошадей им не дали; прислуга посылала их к графу, предупреждая в то же время, что его сиятельство не велели никого «впускать». Не дали им и самовара, который они попросили утром. Это более чем странное, неопределенное положение в чужом

¹⁰³ Это уклонение от вопроса первой важности имело в виду только одно: растянуть время и дожидаться потери сознания, когда Ольга не могла бы уже назвать имя убийцы. Прием характерный, и удивительно, что врачи не оценили его по достоинству. – А. Ч.

¹⁰⁴ Все это наивно только на первый взгляд. Очевидно, Камышеву нужно было дать понять Ольге, какие тяжелые последствия для убийцы будет иметь ее сознание. Если ей дорог убийца, следовательно – она должна молчать. – А. Ч.

доме, где лежала покойница, безызвестность относительно часа выезда и сырая, унылая погода – все это вогнало бедных цыган и цыганок в такую тоску, что они за одну ночь похудели и побледнели. Они слонялись из угла в угол, словно испуганные или ожидающие строгого вердикта. Своим допросом я еще более увеличил их душевную тяжесть. Во-первых, мой продолжительный допрос надолго отсрочил их отъезд из «проклятого» дома и, во-вторых, испугал их. Простые люди, вообразив, что их сильно подозревают в убийстве, с плачем стали уверять меня, что они не виноваты и знать ничего не знают. Тина, увидав во мне официальное лицо, совсем забыла наши прежние отношения и, говоря со мной, дрожала и млела от страха, как высеченная девочка. На мою просьбу не волноваться и на уверения, что я вижу в них только свидетелей, помощников правосудия, они в один голос заявили мне, что никогда они свидетелями не были, знать ничего не знают и надеются, что Бог и на будущее время избавит их от близкого знакомства с судебским людом.

Я спросил их, какую дорогою ехали они со станции, не ехали ли они через тот лес, где произошло убийство, не отделялся ли кто-нибудь из них от компании, хотя бы даже на короткое время, и не был ли им слышен раздирающий душу крик Ольги¹⁰⁵. Допрос этот не привел ни к чему. Испуганные им цыгане отрядили из хора двух молодцов и послали их в деревню нанять подводы. Бедняги страстно желали уехать. К их несчастью, в деревне, где уже шли разговоры об убийстве в лесу, подозрительно взглянули на смуглых послов и, задержав их, привели ко мне. Только вечером измученный хор избавился от кошмара и вздохнул свободно, нанявши втроедорога пять мужицких подвод и выехав из графского дома. Впоследствии за их приезд было им заплачено, но никто не заплатил им за нравственные муки, которые претерпели они в графских хоромаш...

Допросив их, я произвел у Сычихи обыск¹⁰⁶. В ее сундуках я нашел пропасть всякого старушечьего хлама, но, перебрав все поношенные чепцы и перештопанные чулки, я не нашел ни денег, ни драгоценных вещей, которые старуха воровала у графа и его гостей... Не нашел я и вещей, которые были когда-то украдены у Тины... Очевидно, у яги было другое складочное место, известное ей одной...

Я не привожу здесь своего протокола, предварительных сведений и осмотра... Длинен он, да и забыл я его... Сообщаю его здесь в общих чертах вкратце... Прежде всего я описал, в каком положении я застал Ольгу, и во всех подробностях изложил приведенный мною допрос ее. Из этого допроса видно было, что Ольга давала мне ответы сознательно и сознательно же скрывала от меня имя убийцы. Она *не хотела*, чтоб убийца понес кару, и это неминуемо наводит на предположение, что преступник был для нее дорог и близок.

Осмотр платья, произведенный мною вместе с приехавшим вскоре становым, дал очень многое... Казакин от амазонки, бархатный, на шелковой подкладке, был еще влажен... Правый бок, где находилось отверстие, сделанное кинжалом, был пропитан кровью и местами носил на себе кровавые сгустки... Кровотечение было сильное, и удивительно, как это Ольга не умерла на месте. Левый бок был тоже в крови... Левый рукав был порван на плече и у кисти руки... Верхние две пуговицы были оторваны, и при осмотре мы их не нашли. Юбка амазонки, черная кашемировая, найдена страшно измятой: ее смяли, когда несли Ольгу из лесу к экипажу и из экипажа к кровати. Потом ее стащили с Ольги и, безобразно скомкав, швырнули под кровать. У пояса она была разорвана; этот продольный разрыв, имевший в длину семь вершков, получился, вероятно, при переноске и стаскивании; он мог быть также сделан при жизни: Ольга, не любившая заниматься починками и не зная, кому отдать починить юбку, могла прятать этот разрыв под казакином. Думаю, что здесь ни при чем дикое остервенение преступника, на

¹⁰⁵ Если все это нужно было г. Камышеву, то не легче ли было допросить кучеров, которые везли цыган? – А. Ч.

¹⁰⁶ К чему? Допустим, что все это сделано судебным следователем спяна или спрснонок, тогда зачем же об этом писать? Не лучше ли скрыть от читателя эти грубые ошибки? – А. Ч.

которое впоследствии напирал в своей речи товарищ прокурора. Правая часть пояса и правый карман были пропитаны кровью. Носовой платок и перчатка, лежавшие в этом кармане, представляли собой два бесформенных комочка ржавого цвета. На всей юбке, от пояса до конца шлейфа, были рассыпаны кровавые пятна различной величины и формы... Большинство из них были отпечатками окровавленных пальцев и ладоней, принадлежавших, как потом выяснилось на допросе, кучерам и лакеям, несшим Ольгу... Сорочка была окровавлена, и более всего на правой стороне, где находилась дыра, произведенная режущим орудием. Так же, как и в казакине, на левом плече и около кисти были разрывы... Манжетка была наполовину оторвана.

Вещи, бывшие при Ольге, как то: золотые часы, длинная золотая цепочка, брошка с бриллиантом, серьги, кольца и портмоне с серебряной монетой, были найдены при одежде. Ясно, что преступником руководили не корыстные побуждения.

Судебно-медицинское вскрытие, произведенное в моем присутствии Щуром и земским врачом, на другой день после смерти Ольги, дало в конечном результате очень длинный протокол, который привожу здесь в общих чертах. При наружном осмотре были найдены врачами следующие повреждения. На голове, на границе с левой височной и теменной костями, – рана, имеющая полтора дюйма длины и проникающая до кости. Края раны не ровны и не прямолинейны... Нанесена она тупым орудием, вероятно, как мы потом порешили, клинком кинжала. На шее, на уровне шейного позвонка, замечается красная полоса, имеющая вид полукруга и обхватывающая циркулярно заднюю половину шеи. На всем протяжении этой полосы усмотрены повреждения кожицы и незначительные кровоподтеки. На левой руке, на один вершок выше кисти, найдено четыре синих пятна: одно на тыльной стороне и другие три на ладонной. Произошли они от давления, и, вероятнее всего, пальцами... Последнее подтверждается еще тем, что на одном из пятен усмотрена маленькая ссадина, произведенная ногтем... Соответственно месту, где находились эти пятна, как припомнит читатель, был разорван левый рукав казакина и наполовину оторвана левая манжетка сорочки... Между четвертым и пятым ребром на линии, мысленно проведенной от середины подмышковой впадины вертикально вниз, находится большая, зияющая рана, длиною в дюйм. Края ее ровные, как бы порезанные, пропитаны жидкой и свернувшейся кровью... Рана проникающая... Произведена она режущим орудием и, как видно из собранных предварительных сведений, кинжалом, ширина которого вполне соответствовала величине раны.

Внутренний осмотр показал поранение правых легкого и плевры, воспаление легкого и кровоизлияние в полость плевры.

Врачи, насколько помню, дали приблизительно такое заключение: а) смерть произошла от малокровия, которое последовало за значительной потерей крови; потеря крови объясняется присутствием на правой стороне груди зияющей раны; б) рану головы следует отнести к тяжким повреждениям, а рану груди к безусловно смертельным; последнюю следует признать за непосредственную причину смерти; в) рана головы нанесена тупым орудием, а рана груди – режущим, и притом, вероятно, обоюдоострым; г) все вышеописанные повреждения не могли быть нанесены собственной рукою умершей и е) покушения на оскорбление женской чести, вероятно, не было.

Чтобы не откладывать в долгий ящик и потом не повторяться, передам тут же читателю картину убийства, набросанную мною под первым впечатлением осмотров, двух-трех допросов и чтения протокола вскрытия.

Ольга, отделившись от компании, гуляла в лесу. Замечтавшись или поддавшись печальным мыслям (читатель помнит ее настроение в тот злополучный вечер), она забрела далеко в чащу. Тут ей встретился убийца. Когда она стояла под деревом и думала свои думы, к ней подошел человек и заговорил с ней... Человек этот не был подозрителен, иначе бы она крикнула на помощь, но этот крик не был бы раздирающим душу. Поговорив с ней, убийца схватил ее за

левую руку, и так сильно, что порвал рукав казакина и сорочки и оставил след в виде четырех пятен. Тут вероятно, она вскрикнула тем криком, который слышала компания, – вскрикнула от боли и, вероятно, прочитав на лице и в движениях убийцы его намерение. Желая ли, чтоб она не вскрикнула еще раз, или, может быть, под влиянием злобного чувства он схватил ее за грудь около воротника, о чем свидетельствуют две оторванные верхние пуговицы и красная полоса, найденная врачами на шее... Убийца, хватая за грудь и потрясая, натянул золотую цепочку, бывшую на шее... От трения и давления цепочкой произошла полоса. Затем убийца наносит ей удар по голове каким-то тупым орудием, например палкой или, быть может, даже клинком кинжала, висевшего у Ольги на поясе. Придя в азарт или найдя, что одной этой раны недостаточно, он обнажает кинжал и с силой вонзает его в правый бок, – я говорю: с силой, потому что кинжал был туп.

Таков мрачный вид картины, которую я имел право набросать на основании вышеизложенных данных. Вопрос, кто был убийцей, по-видимому, не был труден и решался сам собою. Во-первых, убийцей руководили не корыстные цели, а какие-то другие... Подозревать, стало быть, какого-нибудь заблудившегося бродягу или оборванцев, занимавшихся на озере рыбной ловлей, не было надобности. Крик жертвы не мог обезоружить грабителя: снять брошку и часы было делом одной секунды...

Во-вторых, Ольга намеренно не назвала мне убийцы, чего бы она не сделала, если бы убийца был простым грабителем. Очевидно, убийца был ей дорог, и она не хотела, чтобы его подвергли из-за нее тяжелому наказанию... Такими людьми могли быть ее сумасшедший отец, ее муж, которого она не любила, но перед которым, вероятно, чувствовала себя виноватой, граф, которому она, быть может, в душе чувствовала себя обязанной... Сумасшедший отец в вечер убийства, как показала потом прислуга, сидел у себя в лесном домике и весь вечер сочинял письмо к исправнику, прося его обуздать мнимых воров, день и ночь будто бы окружавших квартиру сумасшедшего... Граф до и в момент убийства не отделялся от компании. Оставалось всю тяжесть подозрения взвалить на одного только несчастного Урбенина. Его внезапное появление, вид и прочее могли служить только хорошими уликами.

В-третьих, жизнь Ольги в последнее время состояла из сплошного романа. Роман этот был такого сорта, что обыкновенно оканчиваются уголовщиной. Старый, любящий муж, измена, ревность, побои, бегство к любовнику-графу через месяц-два после свадьбы... Если прекрасная героиня такого романа убита, то не ищите воров и мошенников, а поисследуйте героев романа. По этому третьему пункту самым подходящим героем-убийцей был все тот же Урбенин...

Предварительное дознание делал я в мозаиковой гостиной, в которой любил когда-то валяться на мягких диванах и любезничать с цыганками... Первым, кого я допросил, был Урбенин. Его привели ко мне из комнаты Ольги, где он все еще продолжал сидеть в углу на табурете и не отрывал глаз от опустевшей постели... Минуту он стоял передо мной молча, глядя на меня безучастно, потом же, догадавшись, вероятно, что я намереваюсь говорить с ним как судебный следователь, он проговорил голосом утомленного, убитого горем и тоскою человека:

– Допросите, Сергей Петрович, других свидетелей, а меня уж после... Не могу...

Урбенин считал себя свидетелем или думал, что его таковым считают...

– Нет, мне нужно допросить вас именно теперь, – сказал я. – Потрудитесь сесть...

Урбенин сел против меня и склонил голову. Он был утомлен и болен, отвечал неохотно, и я с большим трудом выжал из него показание.

Он показал, что он – Петр Егорыч Урбенин, дворянин, 50 лет, православного вероисповедания. Имеет имение в соседнем К-м уезде, где служил по выборам и два трехлетия состоял почетным мировым судьей. Разорившись, заложил имение и почел за нужное поступить на службу. В управляющие к графу поступил он шесть лет тому назад. Любя агрономию, он не стыдился служить частному лицу и находит, что только глупцы стыдятся труда. Жалованье

получал он от графа исправно, и жаловаться ему не на что. От первого брака имеет сына и дочь, и т. д. и т. д.

На Ольге женился по страстной любви. С чувством своим он долго и мучительно боролся, но ни здравый смысл, ни логика практического пожилого ума – ничего не поделали: пришлось поддаться чувству и жениться. Что Ольга выходит за него не по любви, он знал, но, считая ее в высокой степени нравственной, он решил довольствоваться одной только ее верностью и дружбою, которую надеялся заслужить.

Дойдя до того места, где начинаются разочарование и оскорбление седи́н, Урбенин попросил позволения не говорить о «прошлом, которое ей простит Господь», или же, по крайней мере, отложить разговор об этом до будущего.

– Не могу... Тяжело... Да и сами вы видели.

– Хорошо, оставим до будущего раза... Теперь только скажите мне: правда ли, что вы били вашу жену? Говорят, что, найдя однажды у нее записку графа, вы ударили ее...

– Это неправда... Я только схватил ее за руку, она же расплакалась и побежала в тот вечер с жалобой...

– Отношения ее к графу были вам известны?

– Я просил отложить этот разговор... Да и к чему он?

– Ответьте мне только на один этот вопрос, имеющий большую важность... Были ли вам известны отношения вашей жены к графу?

– Конечно...

– Я так и запишу, а об остальном, касающемся неверности вашей жены, до следующего раза... Теперь мы перейдем к другому, а именно: я попрошу вас объяснить мне, как вы попали вчера в лес, где была убита Ольга Николаевна... Ведь вы, как говорите, в городе были... Как же вы очутились в лесу?

– Да-с, я в городе живу, у двоюродной сестры, с самого того времени, как потерял место... Занимался тем, что искал место и пьянствовал с горя... Особенно сильно пил в этом месяце... Прошлой недели, например, совсем не помню, потому что пил без просыпа... Третьего дня напился тоже... одним словом, пропал... Пропал безвозвратно!..

– Вы хотели рассказать, каким образом вы очутились вчера в лесу...

– Да-с... Вчера утром проснулся я рано, часа в четыре... Голова болела от вчерашнего пьянства, тело все ломало, словно в горячке... Лежу я на постели, вижу в окно, как солнце всходит, и вспомнилось мне... разное... Тяжело стало... Захотелось вдруг увидеть ее, увидеть хоть раз, может в последний. И злоба охватила и тоска... Вытащил я из кармана сто рублей, что мне граф прислал, поглядел на них и давай ногами топтать... Топтал-топтал и порешил пойти и бросить ему эту милостыню в лицо. Как бы я ни был голоден и оборван, но чести своей я продать не могу и всякую попытку купить ее считаю оскорблением моей личности. Так вот-с, захотелось взглянуть на Олю, а ему, обольстителю, швырнуть в харю деньги. И так охватило меня это желание, что я чуть с ума не сошел. Чтоб ехать сюда, денег у меня не было. Его сто рублей на себя потратить я не мог. Пошел пешком. Спасибо, на пути попался мне знакомый мужичонка, который за гривенник провез меня восемнадцать верст, а то бы я до сих пор пешком шел. Мужичок ссадил меня в Тене́ве. Оттуда пошел я пешком сюда и пришел этак часа в четыре.

– Вас видел кто-нибудь здесь в это время?

– Да-с. Сторож Николай сидел у ворот и сказал мне, что господ дома нет и что они на охоте. Я изнемогал от усталости, но желание видеть жену было сильнее боли. Пришлось, ни минуты не отдыхая, идти пешком к месту, где охотились. По дороге я не пошел, а отправился лесочками... Мне каждое дерево знакомо, и заблудиться в графских лесах мне так же трудно, как в своей квартире.

– Но, идя по лесу, а не по дороге, вы могли разминуться с охотниками.

– Нет-с, я все время держался дороги, и так близко, что мог услышать не только выстрелы, но и разговор.

– Стало быть, вы не предполагали, что встретитесь в лесу с женой?

Урбенин поглядел на меня с удивлением и, подумав немного, ответил:

– Вопрос, извините, странный. Нельзя предполагать, что с волком встретишься, а предполагать страшные несчастья невозможно и подавно: Бог посылает их внезапно. Взять хоть этот ужасный случай... Иду я по Ольховскому лесу, никакого горя не жду, потому что у меня и без того много горя, и вдруг слышу страшный крик. Крик был до того резкий, что мне показалось, что меня кто-то резанул в ухо... Бегу на крик...

Рот Урбенина перекосило в сторону, подбородок его задрожал. Он замигал глазами и зарыдал.

– Бегу на крик и вдруг вижу... лежит Оля. Волоса и лоб в крови, лицо ужасное. Начинаю кричать, звать ее по имени... Она не движется... Целую ее, поднимаю.

Урбенин захлебнулся и закрыл лицо рукавом. Через минуту он продолжал:

– Негодяя я не видал... когда бежал к ней, слышал чьи-то поспешные шаги... Вероятно, это он убежал.

– Все это прекрасно придумано, Петр Егорыч, – сказал я. – Но знаете ли, следователи плохо верят в такие редкие случайности, как совпадение убийства с вашей случайной прогулкой и проч. Придумано недурно, но объясняет очень мало.

– То есть как придумано? – спросил Урбенин, делая большие глаза. – Я не придумывал-с...

Урбенин вдруг покраснел и поднялся.

– Словно вы подозреваете меня... – пробормотал он. – Подозревать, конечно, всякого можно, но вы-то, Сергей Петрович, знаете меня уже давно... Вам грех клеймить меня таким подозрением... Вы меня ведь знаете.

– Я вас знаю – это так... но мои личные мнения тут ни при чем... Личные мнения закон предоставляет только одним присяжным заседателям, в распоряжение же следователя отданы одни только улики... Улик много, Петр Егорыч.

Урбенин испуганно поглядел на меня и пожал плечами.

– Да какие ни были бы улики, – проговорил он, – вы должны понимать... Ну разве я могу... Я! И кого же?! Убить перепелку или кулика еще, пожалуй, можно, а человека... человека, который дороже мне жизни, моего спасения... одна мысль о котором просветляла мое мрачное состояние, как солнце... И вдруг вы подозреваете!

Урбенин махнул рукой и сел.

– Тут и так смерти хочется, а вы еще оскорбляете! Добро бы оскорблял незнакомый чиновник, а то вы, Сергей Петрович... Позвольте мне уйти-с!

– Можете... Еще раз я допрошу вас завтра, а пока, Петр Егорыч, я должен заключить вас под стражу... Надеюсь, что к завтрашнему допросу вы оцените всю важность имеющихся против вас улик, не станете затягивать понапрасну времени и сознаетесь. Что Ольга Николаевна убита вами, я убежден... Больше я вам сегодня ничего не скажу... Можете идти.

Я проговорил это и нагнулся к бумагам... Урбенин поглядел на меня с недоумением, поднялся и как-то странно растопырил руки.

– Вы это шутите или... серьезно? – проговорил он.

– Нам с вами не до шуток... – сказал я. – Можете идти.

Урбенин все еще продолжал стоять. Я взглянул на него. Он был бледен и растерянно глядел на мои бумаги.

– А отчего это у вас руки в крови, Петр Егорыч? – спросил я.

Он взглянул на свои руки, на которых все еще была кровь, и пошевелил пальцами.

– Отчего кровь?.. Гм... Если это одна из улик, то это плохая улика... Поднимая окровавленную Ольгу, я не мог не опачкать рук в крови... Не в перчатках же я был.

– Вы говорили сейчас мне, что, увидев свою жену, вы кричали, звали на помощь... Отчего же никто не слышал вашего крика?

– Не знаю, меня так ошеломил вид Оли, что я не мог громко кричать... Впрочем, ничего не знаю... Незачем мне оправдываться, да и не в моих это правилах.

– Едва ли вы кричали... Убив жену, вы побежали и были ужасно поражены, когда увидели на опушке людей.

– Я и не заметил ваших людей. Не до людей мне было.

Этим допрос Урбенина на сей раз кончился. После него Урбенин был взят под стражу и заперт в одном из графских флигелей.

На другой или на третий день прикатил из города товарищ прокурора Полуградов – человек, которого я не могу вспомнить без того, чтобы не испортить себе расположение духа. Представьте себе высокого и тощего человека, лет тридцати, гладко выбритого, завитого, как барашек, и щегольски одетого; черты лица его тонки, но до того сухи и малосодержательны, что по ним нетрудно угадать пустоту и хлыщеватость изображаемого индивида; голосок тихий, слащавый и до приторности вежливый.

Приехал он рано утром в наемной коляске с двумя чемоданами. Прежде всего он, с сильно озабоченным лицом и жеманно жалуясь на утомление, справился, есть ли в графском доме для него помещение. Ему по моей команде отвели маленькую, но очень уютную и светлую комнату, где поставили для него все, начиная с мраморного рукомошника и кончая спичками.

– Па-аслушайте, милый! Приготовьте мне теплой воды! – начал он, расположившись в комнате и брезгливо понюхивая воздух. – Чеаэк, я вам говорю! Теплой воды, пожалуйста...

И, прежде чем приступить к делу, он долго одевался, умывался и причесывался; даже почистил себе зубы красным порошком и минуты три обрезал свои острые, розовые ногти.

– Ну-с, – приступил он, наконец, к делу, перелистывая наши протоколы, – в чем дело?

Я рассказал ему, в чем дело, не пропуская ни одной подробности...

– А на месте преступления были?

– Нет, еще не был.

Товарищ прокурора поморщился, провел своей белой, женской рукой по свежeweымытому лбу и зашагал по комнате.

– Мне непонятны соображения, по которым вы еще там не были, – забормотал он, – это прежде всего нужно было сделать, полагаю. Вы забыли или не сочли нужным?

– Ни то, ни другое: вчера ждал полицию, а сегодня поеду.

– Там теперь ничего не осталось: все дни идет дождь, да и вы дали время преступнику скрыть следы. По крайней мере вы поставили там сторожа? Нет? Н-не понимаю!

И фронт авторитетно пожал плечами.

– Пейте чай, а то он простынет, – сказал я тоном равнодушного человека.

– Я люблю холодный.

Товарищ прокурора нагнулся к бумагам и, сопя на всю комнату, стал читать вполголоса, изредка вставляя свои замечания и поправки. Раза два его рот покривился в насмешливую улыбку: гусю лапчатому¹⁰⁷ не нравились почему-то ни мой протокол, ни протокол врачей. В вычищенном и вымытом чиновнике сильно высказывался педант, нафаршированный самомнением и чувством собственного достоинства.

В полдень мы были на месте преступления. Шел проливной дождь. Конечно, не нашли мы ни пятен, ни следов: все было размыто дождем. Кое-как удалось мне найти пуговицу, недоста-

¹⁰⁷ Напрасно Камышев бранит товарища прокурора. Виноват этот прокурор только в том, что его физиономия не понравилась г. Камышеву. Честнее было бы сознаться или в неопытности, или же в умышленных ошибках. – А. Ч.

вавшую на амазонке убитой Ольги, да товарищ прокурора подобрал какую-то красную мякоть, которая впоследствии оказалась красной табачной оберткой. Сначала мы было набрели на куст, у которого были надломаны две боковые веточки; товарищ прокурора обрадовался этим веточкам: они могли быть сломаны преступником, а потому указывали бы направление, по которому шел преступник, убив Ольгу. Но радость прокурора была напрасна: скоро мы нашли много кустов с поломанными ветками и ощипанными листьями; оказалось, что через место преступления проходил скот.

Набросав план местности и расспросив взятых с нами кучеров о положении, в котором была найдена Ольга, мы поехали обратно, чувствуя себя несолоно хлебавши. Когда мы исследовали место, в движениях наших посторонний наблюдатель мог бы уловить лень, вялость... Быть может, движения наши отчасти были парализованы тем обстоятельством, что преступник был уже в наших руках и, стало быть, не было надобности пускаться в лекоковские анализы.

Возвратившись из леса, Полуградов опять долго умывался и одевался, опять требовал теплой воды. Покончивши с туалетом, он изъявил желание допросить еще раз Урбенина. На этом допросе бедный Петр Егорыч не сказал ничего нового: он по-прежнему отрицал свою виновность и ни во что ставил наши улики.

– Я даже удивляюсь, как это можно меня подозревать, – сказал он, пожимая плечами, – странно!

– Не наивничайте, любезнейший! – сказал ему Полуградов. – Напрасно подозревать никто не станет, а если подозревают, то, значит, имеют на то причины!

– Да какие ни были бы причины, как бы ни были тяжелы улики, но надо же ведь рассуждать по-человечески! *Не могу* я убить... понимаете? Не могу... Стало быть, чего же стоят ваши улики?

– Ну! – махнул рукой товарищ прокурора. – Беда с этими интеллигентными преступниками: мужику втолкуешь, а извольте-ка с этим поговорить! *Не могу*... по-человечески... так и бьют на психологию!

– Я не преступник, – обиделся Урбенин, – прошу вас быть в ваших выражениях поосторожнее...

– Замолчите, любезнейший! Некогда нам перед вами извиняться и выслушивать ваши неудовольствия... Не угодно вам сознаваться, так и не признавайтесь, – только позвольте уж нам считать вас лгуном...

– Как вам угодно, – проворчал Урбенин, – вы можете проделывать теперь со мной, что вам угодно... ваша власть...

Урбенин махнул рукой и продолжал, глядя в окно:

– Мне, впрочем, все равно: жизнь пропала.

– Послушайте, Петр Егорыч, – сказал я, – вчера и третьего дня вы были так убиты горем, что еле держались на ногах и едва выговаривали лаконические ответы; сегодня же, напротив, вы имеете такой цветущий, конечно, сравнительно, и веселый вид и даже пускаетесь в разглагольствования. Обыкновенно ведь горюющим людям не до разговоров, а вы мало того, что длинно разговариваете, но еще и высказываете мелочное неудовольствие. Чем объяснить такую резкую перемену?

– А вы чем объясняете ее? – спросил Урбенин, насмешливо шуря на меня глаза.

– Я это объясняю тем, что вы забыли свою роль. Трудно ведь долго актерствовать: или роль забудешь, или надоест...

– Это следовательское измышление, – усмехнулся Урбенин, – и оно делает честь вашей находчивости... Да, вы правы: перемена произошла во мне большая...

– Вы можете объяснить ее?

– Извольте, скрывать не нахожу нужным: вчера я был так убит и придавлен своим горем, что думал наложить на себя руки или... сойти с ума... но сегодня ночью я раздумался... мне

пришла мысль, что смерть избавила Олю от развратной жизни, вырвала ее из грязных рук того шелолая, моего губителя; к смерти я не ревную: пусть Ольга лучше ей достается, чем графу; эта мысль повеселила меня и подкрепила; теперь уж в моей душе нет такой тяжести.

– Ловко придумано! – процедил сквозь зубы Полуградов, покачивая ногой. – За ответом в карман не лезет!

– Я чувствую, что я говорю искренно, и мне удивительно, что вы, образованные люди, не можете отличить искренности от притворства! Впрочем, предубеждение слишком сильное чувство, под влиянием его не ошибаться трудно; я понимаю ваше положение, воображаю, что будет, когда, поверив вашим уликам, станут меня судить... воображаю: возьмут во внимание мою зверскую физиономию, мое пьянство... у меня не зверская наружность, но предубеждение возьмет свое...

– Хорошо, хорошо, довольно, – сказал Полуградов, нагибаясь к бумагам, – ступайте...

По уходе Урбенина мы приступили к допросу графа. Его сиятельство пожаловал к допросу в халате и с укусной повязкой на голове; познакомившись с Полуградовым, он развалился на кресле и стал давать показания:

– Я вам все расскажу, с самого начала... Ну, что подельывает теперь ваш председатель Лионский? Все еще не развелся с женой? Я с ним случайно в Петербурге познакомился... Господа, да что же вы не велите себе чего-нибудь подать? С коньяком как-то веселее и разговаривать... а что в этом убийстве виноват Урбенин, я не сомневаюсь...

И граф рассказал нам все то, что уже знакомо читателю. По просьбе прокурора, он во всех подробностях рассказал свое житье с Ольгой и, описывая прелести житья с хорошенькой женщиной, так увлекся, что несколько раз причмокнул губами и подмигнул глазом. Из его показания я узнал одну очень важную подробность, которая неизвестна читателю. Я узнал, что Урбенин, живя в городе, беспрестанно бомбардировал графа письмами; в одних письмах он проклинал, в других умолял возвратить ему жену, обещая забыть все обиды и бесчестия; бедняга хватался за эти письма, как за соломинку.

Допросив двух-трех кучеров, товарищ прокурора плотно пообедал, прочел мне целую инструкцию и уехал. Перед отъездом он заходил во флигель, где содержался заключенный Урбенин, и объявил последнему, что наше подозрение в его виновности стало уверенностью. Урбенин махнул рукой и попросил позволения присутствовать на похоронах жены; последнее ему было разрешено.

Полуградов не лгал Урбенину: да, наше подозрение стало уверенностью, мы были убеждены, что нам известен преступник и что он уже в наших руках; но недолго сидела в нас эта уверенность!..

В одно прекрасное утро, когда я запечатывал пакет, чтобы отправить с ним Урбенина в город, в тюремный замок, я услышал страшный шум. Выглянув в окно, я увидел занимательное зрелище: десяток дюжих молодцов волокли из людской кухни одноглазого Кузьму.

Кузьма, бледный и растрепанный, упирался в землю ногами и, не имея возможности оборониться руками, бил своих врагов большой головой.

– Ваше благородие, пожалуйста туда! – сказал мне встревоженный Илья. – Не хочет идти!

– Кто не хочет идти?

– Убивец.

– Какой убивец?

– Кузьма... он убил, ваше благородие... Петр Егорыч занапрасну терпит... ей-богу-с...

Я вышел на двор и направился к людской кухне, где Кузьма, вырвавшийся уже из дюжих рук, рассыпал пощечины направо и налево...

– В чем дело? – спросил я, подойдя к толпе...

И мне рассказали нечто странное и неожиданное.

– Ваше благородие, Кузьма убил!

– Врут! – завопил Кузьма. – Побей Бог, врут!

– А зачем же ты, чертов сын, кровь отмывал, ежели у тебя совесть чистая? Пстой, их благородие все разберут!

Объездчик Трифон, проезжая мимо реки, заметил, что Кузьма что-то старательно мыл. Трифон думал сначала, что тот стирает белье, но, взглядевшись, он увидел поддевку и жилетку. Ему показалось это странным: суконного не стирают.

– Что ты делаешь? – крикнул Трифон.

Кузьма смутился. Вглядевшись еще пристальнее, Трифон заметил на поддевке бурые пятна...

– Я сейчас же догадался, что это кровь... пошел на кухню и рассказал нашим; те подстергли и видели, как он ночью сушил в саду поддевку. Ну, известно, испужались. Зачем ему мыть, ежели он не виноват? Стало быть, крива душа, коли прячется... Думали мы, думали и потащили его к вашему благородию... Его тащим, а он пятится и в глаза плюет. Зачем ему пятиться, ежели он не виноват?

Из дальнейшего допроса оказалось, что Кузьма перед самым убийством, в то время, когда граф с гостями сидел на опушке и пил чай, отправился в лес. В переноске Ольги он не участвовал, а стало быть, испачкаться в крови не мог.

Приведенный ко мне в комнату, Кузьма сначала не мог выговорить от волнения ни слова; вращая белком своего единственного глаза, он крестился и бормотал божбу...

– Ты успокойся, расскажи мне, и я тебя отпущу, – сказал я ему.

Кузьма повалился мне в ноги и, заикаясь, стал божиться...

– Чтобы мне сгинуть, ежели это я... Чтобы ни отцу, ни матери моей... Ваше благородие! Убей Бог мою душу...

– Ты уходил в лес?

– Это правильно-с, я уходил... подавал господам коньяк и, извините, хлебнул малость; ударило мне в голову и захотелось полежать, пошел, лег и заснул... А кто убил и как, не знаю и ведать – не ведаю... Истинно вам говорю!

– А зачем ты отмывал кровь?

– Боялся, чтобы чего не подумали... чтобы в свидетели не забрали...

– А откуда на твоей поддевке взялась кровь?

– Не могу знать, ваше благородие.

– Как же не можешь знать? Ведь поддевка твоя?

– Это точно, что моя, но не могу знать: увидал кровь, когда уже был проснувшись.

– Так, стало быть, ты во сне запачкал поддевку в кровь?

– Точно так...

– Ну, ступай, братец, подумай... Ты несешь чепуху; подумай, завтра мне скажешь... Иди.

На другой день, когда я проснулся, мне доложили, что Кузьма желает со мной говорить. Я велел его привести.

– Надумал? – спросил я его.

– Точно так, – надумал...

– Откуда же у тебя на поддевке кровь?

– Я, вашескоблагородие, как во сне помню: припоминается что-то, как в тумане, а правда это или нет, не разберу.

– Что же тебе припоминается?

Кузьма поднял вверх свой глаз, подумал и сказал:

– Чудное... словно, как во сне или в тумане... Лежу я на траве пьяный и дремлю, не то я дремлю, не то совсем сплю... Только слышу, кто-то идет мимо и ногами сильно стучит... открываю глаз и вижу, словно как бы в беспамятстве или во сне: подходит ко мне какой-то

барин, нагинается и вытирает руки о мои полы... вытер о полы, а потом рукой по жилетке мазнул... вот так.

– Какой же это барин?

– Не могу знать; помню только, что это был не мужик, а барин... в господском платье, а какой это барин, какое у него лицо, совсем не помню.

– Какого же цвета у него было платье?

– А кто его знает! Может, белое, а может, и черное... помнится только, что это был барин, а больше ничего не помню... Ах да, вспомнил! Нагнувшись, они вытерли свои ручки и сказали: «Пьяная сволочь!»

– Это тебе снилось?

– Не знаю... может, и снилось... Только откуда же кровь взялась?

– Барин, которого ты видел, похож на Петра Егорыча?

– Словно как бы нет... а может быть, это и они были... Только они сволочью ругаться не станут.

– Ты припомни... ступай, посиди и припомни... может быть, вспомнишь как-нибудь.

– Слушаю.

Это неожиданное вторжение одноглазого Кузьмы в почти уже законченный роман произвело неосветимую путаницу. Я решительно потерялся и не знал, как понимать мне Кузьму: виновность свою он отрицал безусловно, да и предварительное следствие было против его виновности: убита была Ольга не из корыстных целей, покушения на ее честь, по мнению врачей, «вероятно, не было»; можно было разве допустить, что Кузьма убил и не воспользовался ни одной из этих целей только потому, что был сильно пьян и потерял соображение или же струсил, что не вязалось с обстановкой убийства?..

Но если Кузьма был не виноват, то почему же он не объяснял присутствия крови на его поддевке и к чему выдумывал сны и галлюцинации? К чему припел он барина, которого он видел, слышал, но не помнит настолько, что забыл даже цвет его одежды?

Прилетал еще раз Полуградов.

– Вот видите-с! – сказал он. – Осмотри вы место преступления тотчас же, то, верьте, теперь все было бы ясно как на ладони! Допроси вы тотчас же всю прислугу, мы еще тогда бы знали, кто нес Ольгу Николаевну, а кто нет, а теперь мы не можем даже определить, на каком расстоянии от места происшествия лежал этот пьяница!

Часа два бился он с Кузьмой, но последний не сообщил ему ничего нового; сказал, что в полусне видел барина, что барин вытер о его полы руки и выбранил его «пьяной сволочью», но кто был этот барин, какие у него были лицо и одежда, он не сказал.

– Да ты сколько коньяку выпил?

– Я отпил полбутылки.

– Да то, может быть, был не коньяк?

– Нет-с, настоящий финь-шампань...

– Ах, ты даже и названия вин знаешь! – усмехнулся товарищ прокурора...

– Как не знать! Слава богу, при господах уж три десятка служим, пора научиться...

Товарищу прокурора для чего-то понадобилась очная ставка Кузьмы с Урбениным... Кузьма долго глядел на Урбенина, помотал головой и сказал:

– Нет, не помню... может быть, Петр Егорыч, а может, и не они... Кто его знает!

Полуградов махнул рукой и уехал, предоставив мне самому из двух убийц выбирать настоящего.

Следствие затянулось... Урбенин и Кузьма были заключены в арестантский дом, имевшийся в деревеньке, в которой находилась моя квартира. Бедный Петр Егорыч сильно пал духом; он осунулся, поседел и впал в религиозное настроение; раза два он присылал ко мне

с просьбой прислать ему устав о наказаниях; очевидно, его интересовал размер предстоящего наказания.

– Как же мои дети-то будут? – спросил он меня в один из допросов. – Будь я одинок, ваша ошибка не причинила бы мне горя, но ведь мне нужно жить... жить для детей! Они погибнут без меня, да и я... не в состоянии с ними расстаться! Что вы со мной делаете?!

Когда стража стала говорить ему «ты» и когда раза два ему пришлось пройти пешком из моей деревни до города и обратно под стражей, на виду знакомого ему народа, он впал в отчаяние и стал нервничать.

– Это не юристы! – кричал он на весь арестантский дом. – Это жестокие, бессердечные мальчишки, не щадящие ни людей, ни правды! Я знаю, почему я здесь сижу, знаю! Свалив на меня вину, они хотят скрыть настоящего виновника! Граф убил, а если не граф, то его наемник!

Когда ему стало известно о задержании Кузьмы, он на первых порах очень обрадовался.

– Вот и нашелся наемник! – сказал он мне. – Вот и нашелся!

Но скоро, когда он увидел, что его не выпускают, и когда сообщили ему показание Кузьмы, он опять запечалился.

– Теперь я погиб, – говорил он, – окончательно погиб: чтоб выйти из заключения, этот кривой черт, Кузьма, рано или поздно назовет меня, скажет, что это я утирал свои руки о его полы. Но ведь видели же, что у меня руки были не вытерты!

Рано или поздно наши сомнения должны были разрешиться.

В конце ноября того же года, когда перед окнами моими кружились снежинки, а озеро глядело бесконечно белой пустыней, Кузьма пожелал меня видеть: он прислал ко мне сторожа сказать, что он «надумал». Я приказал привести его к себе.

– Я очень рад, что ты, наконец, надумал, – встретил я его, – пора уж бросить скрытничать и водить нас за нос, как малых ребят. Что же ты надумал?

Кузьма не отвечал; он стоял посреди моей комнаты и молча, не мигая глазами, глядел на меня... В глазах его светился испуг; да и сам он имел вид человека, сильно испуганного: он был бледен и дрожал, с лица его струился холодный пот.

– Ну, говори, что ты надумал? – повторил я.

– Такое, что чуднее и выдумать нельзя... – выговорил он. – Вчера я вспомнил, какой на том барине галстух был, а нынче ночью задумался и самое лицо вспомнил.

– Так кто же это был?

Кузьма болезненно усмехнулся и вытер со лба пот.

– Страшно сказать, ваше благородие, уж позвольте мне не говорить: больно чудно и удивительно, думается, что это мне снилось или причудилось...

– Но кто же тебе причудился?

– Нет, уж позвольте мне не говорить; если скажу, то засудите... Дозвольте мне подумать и завтра сказать... Боязно.

– Тьфу! – рассердился я. – Зачем же ты меня беспокоил, если не хочешь говорить? Зачем ты шел сюда?

– Думал, что скажу, а теперь вот страшно. Нет, ваше благородие, отпустите меня... лучше завтра скажу... Если я скажу, то вы так разгневаетесь, что мне пуще Сибири достанется, – засудите...

Я рассердился и велел увести Кузьму¹⁰⁸. В тот же день вечером, чтобы не терять времени и покончить раз навсегда с надоевшим мне «делом об убийстве», я отправился в арестантский дом и обманул Урбенина, сказав ему, что Кузьма назвал его убийцею.

¹⁰⁸ Хорош следователь! Вместо того чтобы продолжать допрос и вынудить полезное показание, он рассердился – занятие, не входящее в круг обязанностей чиновника. Впрочем, я мало верю всему этому... Если г. Камышеву были нипочем его обязанности, то продолжать допрос должно было заставить его простое человеческое любопытство. – А. Ч.

– Я ждал этого... – сказал Урбенин, махнув рукой, – мне все равно...

Одинокое заключение сильно повлияло на медвежье здоровье Урбенина: он пожелтел и убавился в весе чуть ли не наполовину. Я обещал ему приказать сторожам пускать его гулять по коридору днем и даже ночью.

– Нет нужды опасаться, что вы уйдете, – сказал я.

Урбенин поблагодарил меня и после моего ухода уже гулял по коридору: его дверь уж более не запиралась.

Уходя от него, я постучался в дверь, за которой сидел Кузьма.

– Ну что, надумал? – спросил я.

– Нет, барин... – послышался слабый голос, – пушай господин прокурор приезжает, ему объявлю, а вам не стану сказывать.

– Как знаешь...

Утром другого дня все решилось.

Сторож Егор прибежал ко мне и сообщил, что одноглазый Кузьма найден в своей постели *мертвым*. Я отправился в арестантскую и убедился в этом... Здоровый, рослый мужик, который еще вчера дышал здоровьем и измышлял ради своего освобождения разные сказки, был неподвижен и холоден, как камень... Не стану описывать ужас мой и стражи: он понятен читателю. Для меня дорог был Кузьма как обвиняемый или свидетель, для сторожей же это был арестант, за смерть или побег которого с них дорого взыскивалось... Ужас наш был тем сильнее, что произведенное вскрытие констатировало смерть насильственную... Кузьма умер от задушения... Убедившись в том, что он задушен, я стал искать виновника, и искал его недолго... Он был близко...

Я отправился в камеру Урбенина и, не имея сил сдержаться, забыв, что я следователь, назвал его в самой резкой и жесткой форме убийцей.

– Мало вам было, негодяй, смерти вашей несчастной жены, – сказал я, – вам понадобилась еще смерть человека, который уличил вас! И вы станете после этого продолжать вашу грязную, воровскую комедию!

Урбенин страшно побледнел и покачнулся...

– Вы лжете! – крикнул он, ударяя себя кулаком по груди.

– Не лгу я! Вы проливали крокодиловы слезы на наши улики, издевались над ними... Бывали минуты, когда мне хотелось верить более вам, чем уликам... о, вы хороший актер!.. Но теперь я не поверю вам, даже если из ваших глаз вместо этих актерских, фальшивых слез потечет кровь! Говорите, вы убили Кузьму?

– Вы или пьяны, или же издеваетесь надо мной! Сергей Петрович, всякое терпение и смирение имеет свои границы! Я этого не вынесу!

И Урбенин, сверкая глазами, застучал кулаком по столу.

– Вчера я имел неосторожность дать вам свободу, – продолжал я, – позволил вам то, чего не позволяют другим арестантам: гулять по коридору. И вот, словно в благодарность, вы ночью идете к двери этого несчастного Кузьмы и душите спящего человека! Знайте, что вы погубили не одного только Кузьму: из-за вас пропадут сторожа.

– Что же я сделал такое, боже мой? – проговорил Урбенин, хватая себя за голову.

– Вы хотите знать доказательства? Извольте... ваша дверь, по моему приказанию, была отперта... дурачье-прислуга отперла дверь и забыла припрятать замок... все камеры запираются одинаковыми замками... Вы ночью взяли свой ключ и, выйдя в коридор, отперли им дверь своего соседа... Задушив его, вы дверь заперли и ключ вставили в свой замок.

– За что же я мог его задушить? За что?

– За то, что он назвал вас... Не сообщи я вам вчера этой новости, он остался бы жив... Грешно и стыдно, Петр Егорыч!

– Сергей Петрович, молодой человек! – заговорил вдруг нежным, мягким голосом убийца, хватая меня за руку. – Вы честный и порядочный человек... не губите и не пятните себя несправедливыми подозрениями и опрометчивыми обвинениями! Вы не можете только понять, как жестоко и больно вы оскорбили меня, взвалив на мою ни в чем не повинную душу новое обвинение... Я мученик, Сергей Петрович! Бойтесь обидеть мученика! Будет время, когда вам придется извиняться передо мной, и это время скоро... Не обвинят же меня в самом деле! Но извинение это не удовлетворит вас... Чем набрасываться на меня и оскорблять так ужасно, вы бы лучше по-человечески, – не говорю, по-дружески: вы уже отказались от наших хороших отношений, – вы бы лучше расспросили меня... Как свидетель и ваш помощник я для правосудия принес бы больше пользы, чем в роли обвиняемого. Взять бы хоть это новое обвинение... Я мог бы многое вам сообщить: ночью-то я не спал и все слышал...

– Что вы слышали?

– Ночью, часа в два... были потемки... слышу, кто-то тихонько ходит по коридору и все за дверь мою трогает... ходил-ходил, а потом отворил мою дверь и вошел.

– Кто?

– Не знаю: темно было – не видал... Постоял в моей камере минутку и вышел... и именно так, как вот вы говорите, – вынул из двери моей ключ и отпер соседскую камеру. Минутки через две я услышал хрипенье, а потом возню. Думал я, что это сторож ходит и возится, а хрипенье принял за храп, а то бы я поднял шум.

– Басни! – сказал я. – Некому тут, кроме вас, Кузьму убивать. Дежурные сторожа спали. Жена одного из них, не спавшая всю ночь, показала, что все три сторожа в течение ночи спали как убитые и не оставляли своих постелей ни на минуту; бедняги не знали, что в этой жалкой арестантской могут водиться такие звери. Служат они здесь уже более двадцати лет, и за все это время у них не было ни одного случая побега, не говорю уж о такой мерзости, как убийство. Теперь жизнь их, благодаря вам, перевернута вверх дном; да и мне достанется за то, что я не отправил вас в тюремный замок и дал вам здесь свободу гулять по коридорам. Благодарю вас!

Это была последняя моя беседа с Урбениным. Больше я уж с ним никогда не беседовал, если не считать тех двух-трех вопросов, которые задал он мне как свидетелю, сидя на скамье подсудимых...

Мой роман в заголовке назван «уголовным», и теперь, когда «дело об убийстве Ольги Урбениной» осложнилось еще новым убийством, мало понятным и во многих отношениях таинственным, читатель вправе ожидать вступления романа в самый интересный и бойкий фазис. Открытие преступника и мотивов преступления составляет широкое поле для проявления остроумия и мозговой гибкости. Тут злая воля и хитрость ведут войну с знанием, войну интересную во всех своих проявлениях...

Я вел войну, и читатель вправе ожидать от меня описания средств, которые дали мне победу, и он, наверное, ждет следовательских тонкостей, которыми так блещут романы Габрио и нашего Шкляревского; и я готов оправдать ожидания читателя, но... одно из главных действующих лиц оставляет поле битвы, не дождавшись конца сражения, – его не делают участником победы; все, что было им сделано ранее, пропадает даром, – и оно идет в толпу зрителей. Это действующее лицо – ваш покорнейший слуга. На другой день после описанной беседы с Урбениным я получил приглашение, или, вернее, приказ подать в отставку. Сплетни и разговоры наших уездных кумушек сделали свое дело... Моему увольнению много способствовали также убийство в арестантском доме, показания, взятые товарищем прокурора тайком от меня у прислуги, и, если помнит читатель, удар, нанесенный мною мужику веслом по голове в один из прошлых ночных кутежей. Мужик поднял дело. Произошла сильная перетасовка. В какие-нибудь два дня я должен был сдать дело об убийстве следователю по особо важным делам.

Благодаря толкам и газетным корреспонденциям поднялся на ноги весь прокурорский надзор. Прокурор наезжал в графскую усадьбу через день и принимал участие в допросах.

Протоколы наших врачей были отправлены во врачебную управу и далее. Поговаривали даже о вырытии трупов и новом осмотре, который, кстати сказать, ни к чему бы не повел.

Урбенина раза два таскали в губернский город для освидетельствования его умственных способностей, и оба раза он был найден нормальным. Я стал фигурировать в качестве свидетеля¹⁰⁹. Новые следователи так увлеклись, что в свидетели попал даже мой Поликарп.

Год спустя после моей отставки, когда я жил в Москве, мною была получена повестка, звавшая меня на разбирательство урбенинского дела. Я обрадовался случаю повидать еще раз места, к которым меня тянула привычка, и поехал. Граф, живший в Петербурге, не поехал и послал вместо себя медицинское свидетельство.

Дело разбиралось в нашем уездном городе, в отделении окружного суда. Обвинял Полуградов, тот самый, который раза четыре на день чистил свои зубы красным порошком; защищал некий Смирняев, высокий худощавый блондин с сентиментальным лицом и длинными, гладкими волосами. Присяжные в сплошную состояли из мещан и крестьян; из них только четверо были грамотные, остальные же, когда им были поданы для просмотра письма Урбенина к жене, потели и конфузились. В старшины попал лавочник Иван Демьяныч, тот самый, который дал имя моему покойному попугаю.

Войдя в зал суда, я не узнал Урбенина: он совершенно поседел и постарел телом лет на двадцать. Я ожидал прочесть на лице его равнодушие к своей судьбе и апатию, но ожидания мои были ошибочны, – Урбенин горячо отнесся к суду: он отвел трех присяжных, давал длинные объяснения и допрашивал свидетелей; вину свою отрицал он безусловно и каждого свидетеля, говорившего не за него, допрашивал очень долго.

Свидетель Пшехоцкий показал на суде, что я жил с покойной Ольгой.

– Это ложь! – крикнул Урбенин. – Он лжец! Жене моей я не верю, но *ему* я верю!

Когда я давал показания, защитник спросил меня, в каких отношениях я находился с Ольгой, и познакомил меня с показанием Пшехоцкого, когда-то мне аплодировавшего. Сказать правду – значило бы дать показание в пользу подсудимого: чем развратнее жена, тем снисходительнее присяжные к мужу-Отелло, – я понимал это... С другой стороны, моя правда оскорбила бы Урбенина... он, услышав ее, почувствовал бы неизлечимую боль... Я счел за лучшее солгать.

– Нет! – сказал я.

Прокурор в своей речи, описывая в ярких красках убийство Ольги, обращал особенное внимание на зверство убийцы, на его злобу... «Старый, поношенный сластолюбец увидел девушку, красивую собой и молодую. Зная весь ужас ее положения в доме сумасшедшего отца, он манит ее к себе куском хлеба, жильем и цветными покоем... Она соглашается: состоятельный муж-старик все-таки выносимее сумасшедшего отца и бедности. Но она молода, а молодость, гг. присяжные, имеет свои неотъемлемые права... Девушка, воспитанная на романах и среди природы, рано или поздно должна была полюбить...» и т. д. в том же роде. Кончается тем, что «он, не давший ей ничего, кроме своей старости и цветных тряпок, видя ускользающую добычу, впадает в ярость животного, к носу которого поднесли раскаленное железо. Любил он животное и ненавидеть должен животное» и проч.

Обвиняя Урбенина в убийстве Кузьмы, Полуградов указывал на те воровские приемы, здраво обдуманые и взвешенные, которыми сопровождалось убийство «спящего человека, имевшего неосторожность показать накануне против него. А что Кузьма хотел рассказать следователю именно про него, в этом вы, я полагаю, не сомневаетесь».

¹⁰⁹ Роль, конечно, более подходящая г. Камышеву, чем роль следователя: в деле Урбенина он не мог быть следователем. – А. Ч.

Защитник Смирняев не отрицал виновности Урбенина; он просил только признать, что Урбенин действовал под влиянием аффекта, и дать ему снисхождение. Описывая, как мучительно бывает чувство ревности, он привел в свидетели шекспировского Отелло. Взглянул он на этот «всечеловеческий тип» всесторонне, приводя цитаты из разных критиков, и забрел в такие дебри, что председатель должен был остановить его замечанием, что «знание иностранной литературы для присяжных необязательно».

Воспользовавшись последним словом, Урбенин призвал Бога в свидетели, что он не виноват ни делом, ни мыслью.

– Мне лично все равно, где ни быть: в этом ли уезде, где все напоминает мне мой незаслуженный позор и жену, или на каторге, но меня смущает судьба моих детей.

И, повернувшись к публике, Урбенин заплакал и просил приютить его детей.

– Возьмите их. Граф, конечно, не упустит случая щегольнуть своим великодушием, но я уже предупредил детей: они не возьмут от него ни одной крохи.

Заметив меня среди публики, он поглядел на меня умоляющими глазами и сказал:

– Защитите моих детей от благоденствий графа.

Он, видимо, забыл о предстоящем вердикте и весь предался мысли о детях. Говорил он о них до тех пор, пока не был остановлен председателем.

Присяжные совещались недолго. Урбенин был признан виновным безусловно и ни на один пункт не получил снисхождения.

Приговорен он был к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы на 15 лет.

Так дорого обошлась ему встреча в майское утро с поэтической «девушкой в красном»...

Со времени описанных событий прошло уже более восьми лет. Одни участники драмы умерли и уже сгнили, другие несут наказание за свой грех, третьи влачат жизнь, борясь с будничной скукой и ожидая смерти со дня на день.

В восемь лет изменилось многое... Граф Карнеев, не перестававший питать ко мне самую искреннюю дружбу, уже окончательно спился. Усадьба его, давшая место драме, ушла от него в руки жены и Пшехоцкого. Он теперь беден и живет на мой счет. Иногда, под вечер, лежа у меня в номере на диване, он любит вспомнить былое.

– Хорошо бы теперь цыган послушать, – бормочет он, – пошли, Сережа, за коньяком!

Я тоже изменился. Силы мои оставляют меня постепенно, и я чувствую, как выходят из моего тела здоровье и молодость. Нет уж той физической силы, нет ловкости, нет выносливости, которой я щеголял когда-то, бодрствуя несколько ночей подряд и выпивая количество, которое я теперь едва ли подниму.

На лице одна за другой появляются морщины, волосы редуют, голос грубеет и слабеет... Жизнь прошла...

Прошлое я помню, как вчерашний день. Как в тумане, вижу я места и образы людей. Беспристрастно относиться к ним нет у меня сил; люблю и ненавижу я их с прежней силой, и не проходит того дня, чтобы я, охваченный чувством негодования или ненависти, не хватал бы себя за голову. Граф для меня по-прежнему гадок, Ольга отвратительна, Калинин смешон своим тупым чванством. Зло считаю я злом, грех грехом.

Но бывают нередко минуты, когда я, взглядевшись в стоящий на моем столе портрет, чувствую непреодолимое желание пройтись с «девушкой в красном» по лесу под шумок высоких сосен и прижать ее к груди, несмотря ни на что. В эти минуты прощаю я и ложь и падение в грязную пропасть, готов простить все для того, чтобы повторилась еще раз хотя бы частица прошлого... Утомленный городской скукой, я хотел бы еще раз послушать рев великана озера и промчаться по его берегу на моей Зорьке... Я простил и забыл бы все, чтобы еще раз пройтись по теневаской дороге и встретить садовника Франца с его водочным бочонком и жокей-

ским картузиком... Бывают минуты, когда я готов даже пожать руку, обогренную кровью, и потолковать с благодушным Петром Егорычем о религии, урожае, народном образовании... Я хотел бы повидаться со Щуром, с его Наденькой...

Жизнь бешеная, беспутная и беспокойная, как озеро в августовскую ночь... Много жертв скрылось навсегда под ее темными волнами... На дне лежит тяжелый осадок...

Но за что я люблю ее в иные минуты? За что я прощаю ее и мчусь к ней душой, как нежный сын, как птица, выпущенная из клетки?..

Жизнь, которую я вижу сейчас сквозь номерное окно, напоминает мне серый круг: серый цвет и никаких оттенков, никаких светлых проблесков...

Но, закрыв глаза и припоминая прошлое, я вижу радугу, какую дает солнечный спектр... Да, там бурно, но там светлее...

С. Зиновьев

Конец

Внизу рукописи написано:

Милостивый государь, г. редактор! Предлагаемый роман (или повесть, как хотите) прошу печатать, по возможности, без сокращений, урезок и вставок. Впрочем, изменения можно делать по соглашению с автором. В случае же негодности прошу рукопись сохранить для возвращения. Жительство (временное) имею в Москве, на Тверской, в номерах «Англия». Иван Петрович Камышев.

Р. С. Гонорар – по усмотрению редакции.

Год и число.

Теперь, познаколив читателя с романом Камышева, продолжаю прерванную с ним беседу. Прежде всего я должен предупредить, что обещание, данное мною читателю в начале повести, не сдержано: роман Камышева напечатан не без пропусков, не *in toto*, как я обещал, а по значительном сокращении. Дело в том, что «Драма на охоте» не могла быть напечатана в газете, о которой шла речь в первой главе этой повести: газета прекратила свое существование, когда рукопись поступила в набор... Настоящая же редакция, давшая приют роману Камышева, нашла невозможным печатать его без урезок. Всякий раз, во все время печатания, она присылала мне корректуры отдельных глав с просьбой «изменить». Я же не хотел брать греха на душу, изменять чужое, и находил лучшим и полезным совсем выпускать, чем изменять неудобное место. По соглашению со мной, редакция выпустила много мест, поражавших своим цинизмом, длиннотами и небрежностью в литературной отделке. Эти выпуски и урезки требовали осторожности и времени – причина, отчего многие главы запаздывали. Выпущены нами, между прочим, два описания ночных оргий. Одна оргия происходила в доме графа, другая на озере. Выпущено описание библиотеки Поликарпа и оригинальная манера его чтения: это место найдено слишком растянутым и утрированным.

Более всего я отстаивал и редакция более всего невзлюбила главу, в которой описывается отчаянная игра в карты, свирепствовавшая среди графской прислуги. Самыми страстными игроками были садовник Франц и старуха Сычиха; играли они преимущественно в стуколку и три листика. В период следствия Камышев, проходя однажды мимо одной из беседок и заглянув в нее, увидел сумасшедшую игру: играли Сычиха, Франц и... Пшехоцкий. Играли в стуколку, *в темную*, со ставкой в 90 копеек; ремиз достигал до 30 рублей. Камышев подсел к игрокам и «обчистил» их, как куропаток. Обыгранный Франц, желая продолжать игру, отправился на озеро, где он прятал свои деньги. Камышев проследил его путь и, подметив, где он прячет свои деньги, *обокрал* садовника, не оставив ему ни одной копейки. Взятые деньги он

отдал рыбаку Михею. Эта странная благотворительность прекрасно характеризует взбалмошного следователя, но описана она так небрежно и беседы партнеров пещрят такими перлами сквернословия, что редакция не согласилась даже на изменения.

Выпущено несколько описаний свиданий Ольги с Камышевым; пропущено одно объяснение его с Наденькой Калининой и т. д. Но думаю, что и напечатанного достаточно для характеристики моего героя. *Sapienti sat...*¹¹⁰

Ровно через три месяца редакционный сторож Андрей доложил мне о приходе «господина с кокардой».

– Приси! – сказал я.

Вошел Камышев, такой же краснощекий, здоровый и красивый, как и три месяца назад. Шаги его были по-прежнему бесшумны... Он положил на окно свою шляпу так осторожно, что можно было подумать, что он клал какую-нибудь тяжесть... В голубых глазах его светилось по-прежнему что-то детское, бесконечно добродушное...

– Опять я вас беспокою! – начал он, улыбаясь и осторожно садясь. – Простите, ради бога! Ну что? Какой приговор произнесен для моей рукописи?

– Виновна, но заслуживает снисхождения, – сказал я.

Камышев засмеялся и высморкался в душистый платок.

– Стало быть, ссылка в огонь камина? – спросил он.

– Нет, зачем так строго? Карательных мер она не заслуживает, мы употребим исправительные.

– Исправить нужно?

– Да, кое-что... по взаимному соглашению...

Четверть минуты мы помолчали. У меня страшно билось сердце и стучало в висках, но подавать вид, что я взволнован, не входило в мои планы.

– По взаимному соглашению, – повторил я. – В прошлый раз вы говорили мне, что фавбулой своей повести вы взяли истинное происшествие.

– Да, и теперь я готов повторить это же самое. Если вы читали мой роман, то... честь имею представиться: Зиновьев.

– Стало быть, это вы были шафером у Ольги Николаевны?..

– И шафером и другом дома. Не правда ли, я симпатичен в этой рукописи? – засмеялся Камышев, поглаживая колено и краснея. – Хорош? Бить бы нужно, да некому.

– Так-с... Ваша повесть мне нравится: она лучше и интереснее очень многих уголовных романов... Только нам с вами, по взаимному соглашению, придется произвести в ней кое-какие весьма существенные изменения...

– Это можно. Например, что вы находите нужным изменить?

– Самый *habitus*¹¹¹ романа, его физиономию. В нем, как в уголовном романе, все есть: преступление, улики, следствие, даже пятнадцатилетняя каторга на закуску, но нет самого существенного.

– Чего же именно?

– В нем нет настоящего виновника...

Камышев сделал большие глаза и приподнялся.

– Откровенно говоря, я вас не понимаю, – сказал он после некоторого молчания, – если вы не считаете настоящим виновником человека, который зарезал и задушил, то... я уж не знаю, кого следует считать. Конечно, преступник есть продукт общества, и общество виновно, но... если вдаваться в высшие соображения, то нужно бросить писать романы, а взяться за рефераты.

¹¹⁰ Для умного достаточно (*лат.*).

¹¹¹ Наружный вид, облик (*лат.*).

– Ах, какие тут высшие соображения! Не Урбенин ведь убил!

– Как же? – спросил Камышев, придвигаясь ко мне.

– Не Урбенин!

– Может быть. *Humanum est errare*¹¹² – и следователи не совершенны: судебные ошибки часты под луной. Вы находите, что мы ошиблись?

– Нет, вы не ошиблись, а пожелали ошибиться.

– Простите, я вас опять не понимаю, – усмехнулся Камышев, – если вы находите, что следствие привело к ошибке и даже, как я вас стараюсь понять, к преднамеренной ошибке, то любопытно было бы знать ваш взгляд. По вашему мнению, кто убил?

– Вы!!

Камышев поглядел на меня с удивлением, почти с ужасом, покраснел и сделал шаг назад. Затем он отвернулся, отошел к окну и засмеялся.

– Вот так клюква! – пробормотал он, дыша на окно и нервно рисуя на нем вензель.

Я глядел на его рисующую руку и, казалось, узнавал в ней ту самую железную, мускулистую руку, которая одна только могла в один прием задушить спящего Кузьму, растерзать хрупкое тело Ольги. Мысль, что я вижу перед собой убийцу, наполняла мою душу непривычным чувством ужаса и страха... не за себя – нет! – а за него, за этого красивого и грациозного великана... вообще за человека...

– Вы убили! – повторил я.

– Если не шутите, то поздравляю с открытием, – засмеялся Камышев, все еще не глядя на меня. – Впрочем, судя по дрожи вашего голоса и по вашей бледности, трудно допустить, что вы шутите. Экий вы нервный!

Камышев повернул ко мне свое пылающее лицо и, силясь улыбнуться, продолжал:

– Любопытно, откуда вам могла прийти в голову такая мысль! Не написал ли я чего-нибудь такого в своем романе, – это любопытно, ей-богу... Расскажите, пожалуйста! Раз в жизни стоит испытать это ощущение, когда на тебя смотрят как на убийцу.

– Убийца вы и есть, – сказал я, – и даже скрыть этого не можете: в романе проврались, да и сейчас плохо актерствуете.

– Это совсем-таки интересно – любопытно было бы послушать, честное слово.

– Коли любопытно, так слушайте.

Я вскочил и, волнуясь, заходил по комнате. Камышев заглянул за дверь и плотнее притворил ее. Эта осторожность выдала его.

– Чего же вы боитесь? – спросил я.

Камышев конфузливо закашлялся и махнул рукой.

– Ничего я не боюсь, а просто так... взял да и взглянул за дверь. А вам и это понадобилось? Ну, рассказывайте.

– Позвольте вам допрос сделать?

– Сколько угодно.

– Предупреждаю, что я не следователь и допрашивать не мастер; порядка и системы не ждите, а потому не извольте сбивать и путать. Прежде всего скажите мне, куда вы исчезли после того, как оставили опушку, на которой кутили после охоты?

– В повести сказано: я пошел домой.

– В повести описание вашего пути старательно зачеркнуто. Вы шли тем лесом?

– Да.

– И могли, стало быть, встретиться там с Ольгой?

– Да, мог, – усмехнулся Камышев.

– И вы с ней встретились.

¹¹² Человеку свойственно ошибаться (*лат.*).

– Нет, не встречался.

– На следствии вы забыли допросить одного очень важного свидетеля, а именно себя...

Вы слышали крик жертвы?

– Нет... Ну, батенька, допрашивать вы совсем не мастер...

Это фамильярное «батенька» меня покорило: оно плохо вязалось с теми извинениями и смущением, которыми началась наша беседа. Скоро я заметил, что Камышев глядел на меня снисходительно, свысока и почти любовался моим неумением выпутаться из массы волновавших меня вопросов...

– Допустим, что в лесу вы не встретились с Ольгой, – продолжал я, – хотя, впрочем, Урбенину труднее было встретиться с Ольгой, чем вам, так как Урбенин не знал, что она в лесу, а стало быть, не искал ее, а вы, будучи пьяным и взбешенным, не могли не искать ее. Вы, наверное, искали ее – иначе зачем же вам было идти домой лесом, а не дорогой... Но допустим, что вы ее не видали... Чем объяснить ваше мрачное, почти бешеное настроение в вечер злополучного дня? Что побудило вас убить попугая, кричавшего о муже, убившем жену? Мне кажется, что он напоминал вам о вашем злодействе... Ночью вас позвали в графский дом, и вы, вместо того чтобы тотчас же приступить к делу, медлили до приезда полиции почти целые сутки и, вероятно, сами того не замечая... Так медлят только те следователи, которым известен преступник... Вам он был известен... Далее – Ольга не назвала имени убийцы, потому что он был для нее дорог... Будь убийцей муж, она назвала бы его. Если она в состоянии была доносить на него своему любовнику-графу, то обвинить его в убийстве ей ничего бы не стоило: она его не любила, и он не был ей дорог... Любила она вас, и именно вы для нее были дороги... вас щадила она... Позвольте вас также спросить, почему это вы медлили задать ей прямой вопрос, когда она пришла в минутное сознание? К чему вы ей задавали совершенно не идущие к делу вопросы? Позвольте уж мне думать, что все это вы делали ради проволочки времени, чтобы не дать ей назвать вас. Ольга затем умирает... В своем романе вы ни полслова не говорите о впечатлениях, которые произвела на вас ее смерть... Тут я вижу осторожность: не забываете писать о рюмках, которые выпиваете, а такое важное событие, как смерть «девушки в красном», проходит в романе бесследно... Почему?

– Продолжайте, продолжайте...

– Следствие ведете вы безобразно... Трудно допустить, что вы, умный и очень хитрый человек, делали это не нарочно. Все ваше следствие напоминает письмо, нарочно писанное с грамматическими ошибками, – утрировка выдает вас... Почему вы не осмотрели места преступления? Не потому, что забыли об этом или считали это неважным, а потому что ждали, чтобы дождь размыл ваши следы. Вы мало пишете о допросе прислуги. Стало быть, Кузьма не был вами допрошен до тех пор, пока его не застали за мытьем поддевки... Вам, очевидно, не было надобности впутывать его в дело. Почему вы не допросили гостей, кутивших с вами на опушке? Они видели окровавленного Урбенина и слышали крик Ольги, – допросить их следовало. Но вы этого не сделали, потому что хотя бы один из них мог бы вспомнить на допросе, что вы незадолго до убийства отправились в лес и пропали. Впоследствии, вероятно, они были допрошены, но это обстоятельство было ими уже забыто...

– Ловко! – проговорил Камышев, потирая руки. – Продолжайте, продолжайте!

– Неужели для вас недостаточно всего сказанного?.. Чтобы доказать окончательно, что Ольга убита именно вами, следует еще напомнить вам, что вы были ее любовником, любовником, которого променяли на презируемого вами человека!.. Муж может убить из ревности, любовник, полагаю, тоже... Засим перейдем к Кузьме... Судя по последнему допросу, бывшему накануне его смерти, он имел в виду вас; вы утерли руки об его поддевку, и вы назвали его сволочью... Если не вы, то зачем вам было прерывать допрос на самом интересном месте? Почему вы не спросили о цвете галстука убийцы, когда Кузьма объявил вам, что он вспомнил, какого цвета этот галстук? Почему вы дали Урбенину свободу именно тогда, когда Кузьма уже

вспомнил имя убийцы? Почему не раньше и не позже? Очевидно, вам нужно было взвалить на кого-нибудь вину, нужен был человек, который гулял бы ночью по коридору... Итак, Кузьму вы убили, боясь, чтоб он не назвал вас.

– Ну, довольно! – проговорил Камышев, смеясь. – Будет! Вы вошли в такой азарт и так побледили, что, того и гляди, в обморок упадете. Не продолжайте. Действительно, вы правы: я убил.

Наступило молчание. Я прошелся из угла в угол. Камышев сделал то же самое.

– Я убил, – продолжал Камышев, – вы поймали секрет за хвост, – и ваше счастье. Редкому это удастся: больше половины ваших читателей ругнет старика Урбенина и удивится моему следовательскому уму-разуму.

Ко мне в кабинет вошел сотрудник и прервал нашу беседу. Заметив, что я занят и взволнован, этот сотрудник повертелся около моего стола, с любопытством поглядел на Камышева и вышел. По уходе его Камышев отошел к окну и стал дышать на стекло.

– С тех пор прошло уже восемь лет, – начал он после некоторого молчания, – и восемь лет носил я в себе тайну. Но тайна и живая кровь в организме несовместимы; нельзя безнаказанно знать то, чего не знает остальное человечество. Все восемь лет я чувствовал себя мучеником. Не совесть меня мучила, нет! Совесть – само собой... да и я не обращаю на нее внимания: она прекрасно заглушается рассуждениями на тему о ее растяжимости. Когда рассудок не работает, я заглушаю ее вином и женщинами. У женщин я имею прежний успех – это à propos¹¹³. Мучило же меня другое: все время мне казалось странным, что люди глядят на меня как на обыкновенного человека; ни одна живая душа ни разу за все восемь лет пылливо не взглянула на меня; мне казалось странным, что мне не нужно прятаться; во мне сидит страшная тайна, и вдруг я хожу по улицам, бываю на обедах, любезничаю с женщинами! Для человека преступного такое положение неестественно и мучительно. Я не мучился бы, если бы мне приходилось прятаться и скрывать. Психоз, батенька! В конце концов на меня напал какой-то задор... Мне вдруг захотелось излиться чем-нибудь: начхать всем на головы, выпалить во всех своей тайной... сделать что-нибудь этакое... особенное... И я написал эту повесть – акт, по которому только недалекий затруднится узнать во мне человека с тайной... Что ни страница, то ключ к разгадке... Не правда ли? Вы небось сразу поняли... Когда я писал, я брал в соображение уровень среднего читателя...

Нам опять помешали. Вошел Андрей и принес на подносе два стакана чая... Я поспешил выслать его...

– И теперь словно легче стало, – усмехнулся Камышев, – вы глядите на меня теперь как на необыкновенного, как на человека с тайной, – и я чувствую себя в положении естественном... Но... однако, уже три часа, и меня ждут на извозчике...

– Постойте, положите шляпу... Вы рассказали мне о том, что довело вас до авторства, теперь скажите: как вы убили?

– Это вы желаете знать в дополнение прочитанного? Извольте... Убил я под влиянием аффекта. Теперь ведь и курят и чай пьют под влиянием аффекта. Вы вот в волнении мой стакан захватили вместо своего и курите чаще обыкновенного... Жизнь есть сплошной аффект... так мне кажется... Когда я шел в лес, я далек был от мысли об убийстве; я шел туда с одной только целью: найти Ольгу и продолжать жалить ее... Когда я бываю пьян, у меня всегда является потребность жалить... Я встретил ее в двухстах шагах от опушки... Стояла она под деревом и задумчиво глядела на небо... Я окликнул ее... Увидев меня, она улыбнулась и протянула ко мне руки...

– Не брани меня, я несчастна! – сказала она.

¹¹³ Кстати (фр.).

В этот вечер она была так хороша, что я, пьяный, забыл все на свете и сжал ее в своих объятиях... Она стала клясться мне, что никого никогда не любила, кроме меня... и это было справедливо: она любила меня... И в самый разгар клятв ей вздумалось вдруг сказать отвратительную фразу: «Как я несчастна! Не выйди я за Урбенина, я могла бы выйти теперь за графа!» – Эта фраза была для меня ушатом воды... Все накипевшее в груди забурлило... Меня охватило чувство отвращения, омерзения... Я схватил маленькое, гаденькое существо за плечо и бросил его оземь, как бросают мячик. Злоба моя достигла максимума... Ну... и добил ее... Взял и добил... История с Кузьмой вам понятна...

Я взглянул на Камышева. На лице его я не прочел ни раскаяния, ни сожаления. «Взял и добил» – было сказано так же легко, как «взял и покурил». В свою очередь, и меня охватило чувство злости и омерзения... Я отвернулся.

– А Урбенин там, на каторге? – спросил я тихо.

– Да... Говорят, что умер на дороге, но это еще неизвестно... А что?

– А что... Невинно страдает человек, а вы спрашиваете: «А что?»

– А что же мне делать? Идти да сознаваться?

– Полагаю.

– Ну, это положим!.. Я не прочь сменить Урбенина, но без борьбы я не отдамся... Пусть берут, если хотят, но сам я к ним не пойду. Отчего они не брали меня, когда я был в их руках? На похоронах Ольги я так ревел и такие истерики со мной делались, что даже слепые могли бы узреть истину... Я не виноват, что они... глупы.

– Вы мне гадки, – сказал я.

– Это естественно... И сам я себе гадок...

Наступило молчание... Я открыл счетную книгу и стал машинально читать цифры... Камышев взялся за шляпу.

– Вам, я вижу, со мной душно, – сказал он, – кстати: не хотите ли поглядеть графа Карнеева? Вон он, на извозчике сидит!

Я подошел к окну и взглянул в него... На извозчике, затылком к нам, сидела маленькая, согбенная фигурка в поношенной шляпе и с полинявшим воротником. Трудно было узнать в ней участника драмы!

– Узнал я, что здесь, в Москве, в номерах Андреева, живет сын Урбенина, – сказал Камышев. – Хочу устроить так, чтобы граф принял от него подачку... Пусть хоть один будет наказан! Но, однако, adieu!¹¹⁴

Камышев кивнул головой и быстро вышел. Я сел за стол и предался горьким думам.

Мне было душно.

1884

¹¹⁴ Прощайте! (фр.).

О любви

На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты; и пока ели, приходил наверх повар Никанор справиться, что гости желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый, и казалось, что усы у него были не бриты, а выщипаны.

Алехин рассказывал, что красивая Пелагея была влюблена в этого повара. Так как он был пьяница и буйного нрава, то она не хотела за него замуж, но соглашалась жить так. Он же был очень набожен, и религиозные убеждения не позволяли ему жить так; он требовал, чтобы она шла за него, и иначе не хотел, и бранил ее, когда бывал пьян, и даже бил. Когда он бывал пьян, она пряталась наверху и рыдала, и тогда Алехин и прислуга не уходили из дому, чтобы защитить ее в случае надобности.

Стали говорить о любви.

– Как зарождается любовь, – сказал Алехин, – почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, более подходящего к ней по ее душевным и внешним качествам, а полюбила именно Никанора, этого мурло, – тут у нас все зовут его мурлом, – поскольку в любви важны вопросы личного счастья, – все это неизвестно и обо всем этом можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что «тайна сия велика есть», все же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными. То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других, и самое лучшее, по-моему, – это объяснять каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай.

– Совершенно верно, – согласился Буркин.

– Мы, русские порядочные люди, питаем пристрастие к этим вопросам, остающимся без разрешения. Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями, мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами, и притом выбираем из них самые неинтересные. В Москве, когда я еще был студентом, у меня была подруга жизни, милая дама, которая всякий раз, когда я держал ее в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать ей в месяц и почем теперь говядина за фунт. Так и мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы: честно это или не честно, умно или глупо, к чему поведет эта любовь и так далее. Хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает – это я знаю.

Было похоже, что он хочет что-то рассказать. У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали. В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны, чтобы только поговорить, и иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории, в деревне же обыкновенно они изливают душу перед своими гостями. Теперь в окна было видно серое небо и деревья, мокрые от дождя, в такую погоду некуда было деваться и ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать.

– Я живу в Софьино и занимаюсь хозяйством уже давно, – начал Алехин, – с тех пор, как кончил в университете. По воспитанию я белоручка, по наклонностям – кабинетный человек, но на имении, когда я приехал сюда, был большой долг, а так как отец мой задолжал отчасти потому, что много тратил на мое образование, то я решил, что не уеду отсюда и буду работать, пока не уплачу этого долга. Я решил так и начал тут работать, признаюсь, не без некоторого отвращения. Здешняя земля дает немного, и, чтобы сельское хозяйство было не в убыток, нужно пользоваться трудом крепостных или наемных батраков, что почти одно и то же, или же вести свое хозяйство на крестьянский лад, то есть работать в поле самому, со своей семьей. Середины тут нет. Но я тогда не вдавался в такие тонкости. Я не оставлял в покое ни одного клочка земли, я сгонял всех мужиков и баб из соседних деревень, работа у меня тут кипела

неистовая, я сам тоже пахал, сеял, косил и при этом скучал и брезгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы; тело мое болело, и я спал на ходу. В первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помирить со своими культурными привычками; для этого стоит только, думал я, держаться в жизни известного внешнего порядка. Я поселился тут наверху, в парадных комнатах, и завел так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами, и, ложась спать, я читал на ночь «Вестник Европы». Но как-то пришел наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпил все мои ликеры, и «Вестник Европы» пошел тоже к поповнам, так как летом, особенно во время покоса, я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае, в санях или где-нибудь в лесной сторожке, – какое уж тут чтение? Я мало-помалу перебрался вниз, стал обедать в людской кухне, и из прежней роскоши у меня осталась только вся эта прислуга, которая еще служила моему отцу и которую уволить мне было бы больно.

В первые же годы меня здесь выбрали в почетные мировые судьи. Кое-когда приходилось наезжать в город и принимать участие в заседаниях съезда и окружного суда, и это меня развлекало. Когда поживешь здесь безвыездно месяца два-три, особенно зимой, то в конце концов начинаешь тосковать по черном сюртуке. А в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и фраки, все юристы, люди, получившие общее образование; было с кем поговорить. После спанья в санях, после людской кухни сидеть в кресле, в чистом белье, в легких ботинках, с цепью на груди – это такая роскошь!

В городе меня принимали радушно, я охотно знакомился. И из всех знакомств самым основательным и, правду сказать, самым приятным для меня было знакомство с Лугановичем, товарищем председателя окружного суда. Его вы знаете оба: милейшая личность. Это было как раз после знаменитого дела поджигателей; разбирательство продолжалось два дня, мы были утомлены. Луганович посмотрел на меня и сказал:

– Знаете что? Пойдемте ко мне обедать.

Это было неожиданно, так как с Лугановичем я был знаком мало, только официально, и ни разу у него не был. Я только на минутку зашел к себе в номер, чтобы переодеться, и отправился на обед. И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной, женой Лугановича. Тогда она была еще очень молода, не старше двадцати двух лет, и за полгода до того у нее родился первый ребенок. Дело прошлое, и теперь бы я затруднился определить, что, собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней, тогда же за обедом для меня все было неотразимо ясно; я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я раньше никогда не встречал; и сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти приветливые, умные глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на комоду у моей матери.

В деле поджигателей обвинили четырех евреев, признали шайку, и, по-моему, совсем неосновательно. За обедом я очень волновался, мне было тяжело, и уж не помню, что я говорил, только Анна Алексеевна все покачивала головой и говорила мужу:

– Дмитрий, как же это?

Луганович – это добряк, один из тех простодушных людей, которые крепко держатся мнения, что раз человек попал под суд, то, значит, он виноват, и что выражать сомнение в правильности приговора можно не иначе, как в законном порядке, на бумаге, но никак не за обедом и не в частном разговоре.

– Мы с вами не поджигали, – говорил он мягко, – и вот нас же не судят, не сажают в тюрьму.

И оба, муж и жена, старались, чтобы я побольше ел и пил; по некоторым мелочам, по тому, например, как оба они вместе варили кофе, и по тому, как они понимали друг друга с полуслов, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. После обеда играли на рояле в четыре руки, потом стало темно, и я уехал к себе. Это было в начале

весны. Затем все лето провел я в Софьиной безвыездно, и было мне некогда даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни; я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе.

Поздненью осенью в городе был спектакль с благотворительной целью. Вхожу я в губернаторскую ложу (меня пригласили туда в антракте), смотрю – рядом с губернаторшей Анна Алексеевна, и опять то же самое неотразимое, бьющее впечатление красоты и милых ласковых глаз, и опять то же чувство близости.

Мы сидели рядом, потом ходили в фойе.

– Вы похудели, – сказала она. – Вы были больны?

– Да. У меня простужено плечо, и в дождливую погоду я дурно сплю.

– У вас вялый вид. Тогда, весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе, бодрее.

Вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны, и, признаюсь, я даже увлеклась вами немножко. Почему-то часто в течение лета вы приходили мне на память, и сегодня, когда я собиралась в театр, мне казалось, что я вас увижу.

И она засмеялась.

– Но сегодня у вас вялый вид, – повторила она. – Это вас старит.

На другой день я завтракал у Лугановичей; после завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы распорядиться там насчет зимы, и я с ними. С ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай в тихой, семейной обстановке, когда горел камин, и молодая мать все уходила взглянуть, спит ли ее девочка. И после этого в каждый свой приезд я непременно бывал у Лугановичей. Ко мне привыкли, и я привык. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек.

– Кто там? – слышался из дальних комнат протяжный голос, который казался мне таким прекрасным.

– Это Павел Константиныч, – отвечала горничная или няня.

Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала:

– Почему вас так долго не было? Случилось что-нибудь?

Ее взгляд, изящная, благородная рука, которую она подавала мне, ее домашнее платье, прическа, голос, шаги всякий раз производили на меня все то же впечатление чего-то нового, необыкновенного в моей жизни и важного. Мы беседовали подолгу и подолгу молчали, думая каждый о своем, или же она играла мне на рояле. Если же никого не было дома, то я оставался и ждал, разговаривал с няней, играл с ребенком или же в кабинете лежал на турецком диване и читал газету, а когда Анна Алексеевна возвращалась, то я встречал ее в передней, брал от нее все ее покупки, и почему-то всякий раз эти покупки я нес с такою любовью, с таким торжеством, точно мальчик.

Есть пословица: не было у бабы хлопот, так купила порося. Не было у Лугановичей хлопот, так подружились они со мной. Если я долго не приезжал в город, то, значит, я был болен или что-нибудь случилось со мной, и они оба сильно беспокоились. Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки, вместо того, чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне, верчусь, как белка в колесе, много работаю, но всегда без гроша. Им казалось, что я страдаю, и если я говорю, смеюсь, ем, то только для того, чтобы скрыть свои страдания, и даже в веселые минуты, когда мне было хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. Они были особенно трогательны, когда мне в самом деле приходилось тяжело, когда меня притеснял какой-нибудь кредитор или не хватало денег для срочного платежа; оба, муж и жена, шептались у окна, потом он подходил ко мне и с серьезным лицом говорил:

– Если вы, Павел Константиныч, в настоящее время нуждаетесь в деньгах, то я и жена просим вас не стесняться и взять у нас.

И уши краснели у него от волнения. А случалось, что точно так же, пошептавшись у окна, он подходил ко мне, с красными ушами, и говорил:

– Я и жена убедительно просим вас принять от нас вот этот подарок.

И подавал запонки, портсигар или лампу; и я за это присылал им из деревни битую птицу, масло и цветы. Кстати сказать, оба они были состоятельные люди. В первое время я часто брал займы и был не особенно разборчив, брал, где только возможно, но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановичей. Да что говорить об этом!

Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней, я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика (мужу было больше сорока лет), имеет от него детей, – понять тайну этого неинтересного человека, добряка, простяка, который рассуждает с таким скучным здравомыслием, на балах и вечеринках держится около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным выражением, точно его привели сюда продавать, который верит, однако, в свое право быть счастливым, иметь от нее детей; и я все старался понять, почему она встретила именно ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка.

А приезжая в город, я всякий раз по ее глазам видел, что она ждала меня; и она сама признавалась мне, что еще с утра у нее было какое-то особенное чувство, она угадывала, что я приеду. Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если б я, например, боролся за освобождение родины или был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую такую же или еще более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти или просто если бы мы разлюбили друг друга?

И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа, как сына. Если б она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду, а в ее положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. И ее мучил вопрос: принесет ли мне счастье ее любовь, не осложнит ли она моей жизни, и без того тяжелой, полной всяких несчастий? Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня, недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь, и она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умной достойной девушке, которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей, – и тотчас же добавляла, что во всем городе едва ли найдется такая девушка.

Между тем годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась приветливо, дети кричали, что пришел дядя Павел Константиныч, и вешались мне на шею; все радовались. Не понимали, что делалось в моей душе, и думали, что я тоже радуюсь. Все видели во мне благородное существо. И взрослые, и дети чувствовали, что по комнате ходит благородное существо, и это вносило в их отношения ко мне какую-то особую прелесть, точно в моем присутствии и их жизнь была чище и красивее. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в театр, всякий раз пешком; мы сидели в креслах рядом, плечи наши касались, я молча брал из ее рук бинокль и в это время чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга, но, по какому-то странному недоразумению, выйдя из театра, мы всякий раз прощались и расходились, как чужие. В городе уже говорили о нас бог знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды.

В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре; у нее уже бывало дурное настроение, являлось сознание неудовлетворенной, испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни мужа, ни детей. Она уже лечилась от расстройства нервов.

Мы молчали и все молчали, а при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня; о чем бы я ни говорил, она не соглашалась со мной, и если я спорил, то она принимала сторону моего противника. Когда я ронял что-нибудь, то она говорила холодно:

– Поздравляю вас.

Если, идя с ней в театр, я забывал взять бинокль, то потом она говорила:

– Я так и знала, что вы забудете.

К счастью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Наступило время разлуки, так как Лугановича назначили председателем в одной из западных губерний. Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтобы в последний раз взглянуть на сад, на зеленую крышу, то было всем грустно, и я понимал, что пришла пора прощаться не с одной только дачей. Было решено, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали ее доктора, а немного погодя уедет Луганович с детьми в свою западную губернию.

Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми и до третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла; и нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, – о, как мы были с ней несчастны! – я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было все то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе.

Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались – навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе, – оно было пусто, – и до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошел к себе в Софьино пешком.

Пока Алехин рассказывал, дождь перестал, и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иванович вышли на балкон, отсюда был прекрасный вид на сад и на плес, который теперь на солнце блестел, как зеркало. Они любовались и в то же время жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной; и они думали о том, какое, должно быть, скорбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи. Оба они встречали ее в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой.

1898

Дама с собачкой

I

Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете; за нею бежал белый шпиц.

И потом он встречал ее в городском саду и на сквере, по несколько раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем; никто не знал, кто она, и называли ее просто так: дама с собачкой.

«Если она здесь без мужа и без знакомых, – соображал Гуров, – то было бы не лишнее познакомиться с ней».

Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет и два сына гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах ъ, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно, изменял часто и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно, и когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так:

– Низшая раса!

Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но все же без «низшей расы» он не мог бы прожить и двух дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он был неразговорчив, холоден, но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя; и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их; он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним.

Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересною женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно.

И вот однажды, под вечер, он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь... В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды, он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если б умели; но когда дама села за соседний стол в трех шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы, и соблазнительная мысль о скорой, мимолетной связи, о романе с неизвестною женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им.

Он ласково поманил к себе шпица и, когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил.

Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза.

– Он не кусается, – сказала она и покраснела.

– Можно дать ему кость? – И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо: – Вы давно изволили приехать в Ялту?

– Дней пять.

– А я уже дотягиваю здесь вторую неделю.

Помолчали немного.

– Время идет быстро, а между тем здесь такая скука! – сказала она, не глядя на него.

– Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздре – и ему не скучно, а приедет сюда: «Ах, скучно! ах, пыль!» Подумаешь, что он из Гренады приехал.

Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые; но после обеда пошли рядом – и начался шуточный, легкий разговор людей свободных, довольных, которым все равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море; вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке; готовился когда-то петь в частной опере, но бросил, имеет в Москве два дома... А от нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С., где живет уже два года, что пробудет она в Ялте еще с месяц и за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж, – в губернском правлении или в губернской земской управе, и это ей самой было смешно. И узнал еще Гуров, что ее зовут Анной Сергеевной.

Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой, училась, все равно как теперь его дочь, вспомнил, сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым, – должно быть, это первый раз в жизни она была одна, в такой обстановке, когда за ней ходят, и на нее смотрят, и говорят с ней только с одной тайною целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую, слабую шею, красивые серые глаза.

«Что-то в ней есть жалкое все-таки», – подумал он и стал засыпать.

II

Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывало шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться.

Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придет пароход. На пристани было много гуляющих; собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бросались в глаза две особенности нарядной ялтинской толпы: пожилые дамы были одеты, как молодые, и было много генералов.

По случаю волнения на море пароход пришел поздно, когда уже село солнце, и, прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блестели. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала; потом потеряла в толпе лорнетку.

Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли, точно ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода. Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова.

– Погода к вечеру стала получше, – сказал он. – Куда же мы теперь пойдем? Не поехать ли нам куда-нибудь?

Она ничего не ответила.

Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы, и его обдало запахом и влагой цветов, и тотчас же он пугливо огляделся: не видел ли кто?

– Пойдемте к вам... – проговорил он тихо.

И оба пошли быстро.

У нее в номере было душно, пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров, глядя на нее теперь, думал: «Каких только не бывает в жизни встреч!» От прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое; и о таких, – как, например, его жена, – которые любили без искренности, с излишними разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное; и о таких двух-трех, очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькнуло на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать, и это были не первой молодости, капризные, нерассуждающие, властные, неумные женщины, и когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть, и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую.

Но тут все та же несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство; и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта «дама с собачкой», к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению, – так казалось, и это было странно и некстати. У нее опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине.

– Нехорошо, – сказала она. – Вы же первый меня не уважаете теперь.

На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло по крайней мере полчаса в молчании.

Анна Сергеевна была трогательна, от нее веяло чистотой порядочной, наивной, мало жившей женщины; одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было видно, что у нее нехорошо на душе.

– Отчего бы я мог перестать уважать тебя? – спросил Гуров. – Ты сама не знаешь, что говоришь.

– Пусть бог меня простит! – сказала она, и глаза у нее наполнились слезами. – Это ужасно.

– Ты точно оправдываешься.

– Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей! Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет, меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше; ведь есть же, – говорила я себе, – другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и пожить... Любопытство меня жгло... вы этого не понимаете, но, клянусь богом, я уже не могла владеть собой, со мной что-то делалось, меня нельзя было удержать, я сказала мужу, что больна, и поехала сюда... И здесь все ходила, как в угаре, как безумная... и вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать.

Гурову было уже скучно слушать, его раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное; если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль.

– Я не понимаю, – сказал он тихо, – что же ты хочешь?

Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему.

– Верьте, верьте мне, умоляю вас... – говорила она. – Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый.

– Полно, полно... – бормотал он.

Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась, и веселость вернулась к ней; стали оба смеяться.

Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души, город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид, но море еще шумело и билось о берег; один баркас качался на волнах, и на нем сонно мерцал фонарик.

Нашли извозчика и поехали в Ореанду.

– Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию: на доске написано фон Дидериц, – сказал Гуров. – Твой муж немец?

– Нет, у него, кажется, дед был немец, но сам он православный.

В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки – моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве.

Подошел какой-то человек – должно быть, сторож, – посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней.

– Роса на траве, – сказала Анна Сергеевна после молчания.

– Да. Пора домой.

Они вернулись в город.

Потом каждый полдень они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце, задавала все одни и те же вопросы, волнуемая то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И часто на сквере или в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность, эти поцелуи среди белого дня, с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его; он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг, а она часто задумывалась и все просила его сознаться, что он ее не уважает, несколько не любит, а только видит в ней пошлую женщину. Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Ореанду или на водопад; и прогулка удавалась, впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы.

Ждали, что придет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глаза, и умолял жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна заторопилась.

– Это хорошо, что я уезжаю, – говорила она Гурову. – Это сама судьба.

Она поехала на лошадах, и он провожал ее. Ехали целый день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробил второй звонок, она говорила:

– Дайте, я погляжу на вас еще... Погляжу еще раз. Вот так.

Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нее дрожало.

– Я буду о вас думать... вспоминать, – говорила она. – Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся, это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, господь с вами.

Поезд ушел быстро, его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума, точно все сговорились нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытие, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение, и оно, может, уже кончилось, и осталось теперь воспоминание... Он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние; ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидится, не была с ним счастлива; он был приветлив с ней и сердечен, но все же в обращении с ней, в его тоне и ласках сквозила тень легкая насмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее. Все время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным; очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле, значит, невольно обманывал ее...

Здесь на станции уже пахло осенью, вечер был прохладный.

«Пора и мне на север, – думал Гуров, уходя с платформы. – Пора!»

III

Дома в Москве уже все было по-зимнему, топили печи и по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно, и в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез, белых от инея, добродушное выражение, они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море.

Гуров был москвич, вернулся он в Москву в хороший, морозный день, и когда надел шубу и теплые перчатки и прошелся по Петровке, и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него все очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты и что в Докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке...

Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти все было ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания разгорались все сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинете голоса детей, приготовлявших уроки, слышал ли он романс или орган в ресторане, или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти все: и то, что было на молу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он долго ходил по комнате, и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее, как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была; и сам он казался себе лучше, чем был тогда, в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкапа, из камина, из угла, он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее...

И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома – не с кем. Не с жильцами же и не в банке. И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое, или поучительное, или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело, и только жена шевелила своими темными бровями и говорила:

– Тебе, Димитрий, совсем не идет роль фата.

Однажды ночью, выходя из Докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал:

– Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!

Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул:

– Дмитрий Дмитрич!

– Что?

– А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!

Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унижительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры все об одном. Ненужные дела и разговоры все об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах!

Гуров не спал всю ночь и возмущался и затем весь день провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно, все сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить.

В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в Петербург хлопотать за одного молодого человека, – и уехал в С. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно.

Приехал он в С. утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения: фон Дидериц живет на Старо-Гончарной улице, в собственном доме – это недалеко от гостиницы, живет хорошо, богато, имеет своих лошадей, его все знают в городе. Швейцар выговаривал так: Дрыдыриц.

Гуров не спеша пошел на Старо-Гончарную, отыскал дом, как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями.

«От такого забора убежишь», – думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор.

Он соображал: сегодня день неприсутственный, и муж, вероятно, дома. Да и все равно, было бы бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки мужу, и тогда все можно испортить. Лучше всего положиться на случай. И он все ходил по улице и около забора и поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий и на него напали собаки, потом, час спустя, слышал игру на рояле, и звуки доносились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отворилась, и из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забило сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица.

Он ходил, и все больше и больше ненавидел серый забор, и уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нем и, быть может, уже развлекается с другим, и это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать, потом обедал, потом долго спал.

«Как все это глупо и беспокойно, – думал он, проснувшись и глядя на темные окна: был уже вечер. – Вот и выспался зачем-то. Что же я теперь ночью буду делать?»

Он сидел на постели, покрытой дешевым серым, точно больничным, одеялом, и дразнил себя с досадой: «Вот тебе и дама с собачкой... Вот тебе и приключение... Вот и сиди тут».

Еще утром, на вокзале, ему бросилась в глаза афиша с очень крупными буквами: шла в первый раз «Гейша». Он вспомнил об этом и поехал в театр.

«Очень возможно, что она бывает на первых представлениях», – думал он.

Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры, шумно беспокоилась галерка; в первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад; и тут, в губернаторской ложе, на первом месте сидела губернаторская дочь в боа, а сам губернатор скромно прятался за портьерой, и видны были только его руки; качался занавес, оркестр долго настраивался. Все время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами.

Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека; она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарною лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя; и под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал.

Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакенами, очень высокий, сутулый; он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте, в порыве горького чувства, обозвала лакеем. И в самом деле, в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски-скромное, улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок, точно лакейский номер.

В первом антракте муж ушел курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно:

– Здравствуйте.

Она взглянула на него и побледнела, потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта, стало вдруг страшно, казалось, что из всех лож смотрят. Но вот она встала и быстро пошла к выходу; он – за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и все со значками; мелькали и дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков. И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал: «О господи! И к чему эти люди, этот оркестр...»

И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что все кончилось и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца!

На узкой, мрачной лестнице, где было написано «Ход в амфитеатр», она остановилась.

– Как вы меня испугали! – сказала она, тяжело дыша, все еще бледная, ошеломленная. – О, как вы меня испугали! Я едва жива. Зачем вы приехали? Зачем?

– Но поймите, Анна, поймите... – проговорил он вполголоса, торопясь. – Умоляю вас, поймите...

Она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью, глядела пристально, чтобы покрепче задержать в памяти его черты.

– Я так страдаю! – продолжала она, не слушая его. – Я все время думала только о вас, я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть, но зачем, зачем вы приехали?

Повыше, на площадке, два гимназиста курили и смотрели вниз, но Гурову было все равно, он привлек к себе Анну Сергеевну и стал целовать ее лицо, щеки, руки.

– Что вы делаете, что вы делаете! – говорила она в ужасе, отстраняя его от себя. – Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас... Заклинаю вас всем святым, умоляю... сюда идут!

По лестнице снизу вверх кто-то шел.

– Вы должны уехать... – продолжала Анна Сергеевна шепотом. – Слышите, Дмитрий Дмитрич? Я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива, я теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива, никогда! Не заставляйте же меня страдать еще больше! Клянусь, я приеду в Москву. А теперь расстанемся! Мой милый, добрый, дорогой мой, расстанемся!

Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, все оглядываясь на него, и по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива... Гуров постоял немного, прислушался, потом, когда все утихло, отыскал свою вешалку и ушел из театра.

IV

И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в два-три месяца она уезжала из С. и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет своей женской болезни, – и муж верил и не верил. Приехав в Москву, она останавливалась в «Славянском базаре» и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом.

Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро (посыльный был у него накануне вечером и не застал). С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию, это было по дороге. Валил крупный мокрый снег.

– Теперь три градуса тепла, а между тем идет снег, – говорил Гуров дочери. – Но ведь это тепло только на поверхности земли, в верхних же слоях атмосферы совсем другая температура.

– Папа, а почему зимой не бывает грома?

Он объяснил это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание, и ни одна живая душа не знает об этом и, вероятно, никогда не будет знать. У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая – протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может случайному, все, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других, все же, что было его ложью, его оболочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его «низшая раса», хождение с женой на юбилеи, – все это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна.

Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в «Славянский базар». Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомленная дорогой и ожиданием, поджидала его со вчерашнего вечера; она была бледна, глядела на него и не улыбалась, и едва он вошел, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись года два, поцелуй их был долгий, длительный.

– Ну, как живешь там? – спросил он. – Что нового?

– Погоди, сейчас скажу... Не могу.

Она не могла говорить, так как плакала. Отвернулась от него и прижала платок к глазам. «Ну, пускай поплачет, а я пока посижу», – подумал он и сел в кресло.

Потом он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю; и потом, когда пил чай, она все стояла, отвернувшись к окну... Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась; они видятся только тайно, скрываются от людей, как воры! Разве жизнь их не разбита?

– Ну, перестань! – сказал он.

Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда. Анна Сергеевна привязывалась к нему все сильнее, обожала его, и было бы немислимо сказать ей, что все это должно же иметь когда-нибудь конец; да она бы и не поверила этому.

Он подошел к ней и взял ее за плечи, чтобы приласкать, пошутить, и в это время увидел себя в зеркале.

Голова его уже начинала седеть. И ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни жадно искали; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходил, расставался, но ни разу не любил; было все, что угодно, но только не любовь.

И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил как следует, по-настоящему – первый раз в жизни.

Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих.

Прежде в грустные минуты он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову, теперь же ему было не до рассуждений, он чувствовал глубокое сострадание, хотелось быть искренним, нежным...

– Перестань, моя хорошая, – говорил он, – поплакала – и будет... Теперь давай поговорим, что-нибудь придумаем.

Потом они долго советовались, говорили о том, как избежать себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видаться подолгу. Как освободиться от этих невыносимых пут?

– Как? Как? – спрашивал он, хватая себя за голову. – Как?

И казалось, что еще немного – и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается.

1899

Александр Куприн

Впотьмах

I

На дебаркадере одного из московских вокзалов шумно двигалась взад и вперед пестрая, разноголосая толпа. Окрики артельщиков, быстро и ловко сновавших с тюками и тележками, мимолетные отрывки обыкновенных вокзальных разговоров, шарканье нескольких сот ног о плитняной помост – все это, вместе с шипением машины, сливалось в утомляющую своим ритмическим однообразием суету.

У дверей вагона второго класса стояло трое молодых людей, в нетерпении ожидая третьего звонка.

Один из них, полный брюнет с выхоленным барским лицом, пробегал газету, дымя дорожной сигарой; другой – высокий, тонкий и гибкий, как хлыст, франтик, который как будто только что сорвался с первой страницы юмористического листка, – так много было в его фигуре, начиная с монокля и красной гвоздики в петлице и кончая удивительно узкими носками желтых ботинок, особенной, свойственной людям этого рода, вычурности, – держал под руку третьего, смуглого красавца в инженерной форме, с дорожной сумкой через плечо.

Все трое, по-видимому, сильно скучали и лишь изредка перебрасывались вялыми замечаниями.

Между ними было очень мало общего: случайно попавши на вокзал, они теперь сильно тяготились друг другом и в особенности неизбежной сценой прощания, где каждому предстояла неприятная обязанность притворяться растроганным.

К тому же они имели несчастье попасть на вокзал за целый час до отхода поезда, и все те разговоры, которые обыкновенно ведутся в этих случаях и которые способны своею неестественностью только раздражать нервы, уже давно были переговорены.

Неловкость этого положения особенно сильно испытывал на себе уезжающий инженер – Александр Егорович Аларин. Он любил шумную, кипучую жизнь вокзалов, любил смешаться с толпой, прислушиваясь и приглядываясь к ней, чувствуя себя в это время бодрым и веселым; но двое приятелей, которые встретились с ним случайно за обедом в «Славянском базаре» и после нескольких бокалов почувствовали, что не могут отпустить его не проводивши, связали его по рукам и ногам и испортили его расположение духа.

Раздался третий звонок, и у каждого из молчаливых приятелей вырвался вздох облегчения.

Суета на платформе заметно усилилась.

– Ну, садись, Саша, садись, пожалуйста, – заторопился внезапно оживившийся франтик с моноклем. – Знаешь ведь, как курьерские поезда трогаются. Пиши же, смотри!..

Но ему стало неловко от собственных слов, так как, даже при самом искреннем желании, у него с Алариним не могло найтись никаких общих интересов. Он замолчал и полез целоваться, оставляя на губах Аларина запах фиксажура, которым были намазаны его усы.

У полнолицего брюнета нашлось больше такта. Он молча широко улыбнулся, показав великолепные вставные зубы, и крепко стиснул руку Аларина. Он радовался тому, что сейчас кончится тяжелое и неловкое положение и он опять станет господином своего времени. Аларин понял его без слов и отвечал таким же красноречивым рукопожатием.

Паровоз свистнул, шум мгновенно возрос до галдения, застучали буфера вагонов, точно кто-то два раза встряхнул огромными железными цепями, и поезд тронулся.

Аларин высунулся из окошка. Его приятели махали платками, и ему казалось, что он вследствие этого обращает на себя общее внимание, но он, преодолевая смущение, махнул им, в свою очередь, фуражкой.

«И для чего эта комедия? – думалось ему. – Ведь мы все трое очень рады, что отделались друг от друга. Для чего ж это?»

Но в силу чего-то, бывшего сильнее его здравого смысла, он продолжал махать фуражкой до тех пор, покуда не затерял своих приятелей в густой толпе, покрывавшей платформу. И как только их совсем не стало видно, он опустил на диван.

Аларин, еще по воспоминаниям детства, инстинктивно избегал заводить знакомства в вагоне, так как на опыте убедился, что человек, долго едущий по железной дороге, ищет постоянно развлечения от сосущей сердце скуки и делается пошло-любопытен, а вследствие этого докучает соседям ненужными расспросами. Поэтому-то и теперь Александр Егорович прислонился к углу дивана, стараясь не привлекать к себе ничего досужего внимания, закурил папиросу и искоса оглядел своих соседей.

Прямо против него сидела скромно одетая в серенькое драповое пальто и котиковую шапочку, по всей вероятности, барышня: последнее сказывалось в той особенной легкости и воздушности в фигуре, которые свойственны девушкам. Насколько позволяли видеть полутьма вагона и редкий вуаль, закрывавший ее лицо, она была совсем не хороша собою. Лицо с неправильными чертами было болезненно и бледно, тонкие сухие губы почти бескровны. Этих непривлекательных качеств не сглаживали даже синие глаза прекрасного очертания.

«Анемическая особа», – решил Аларин.

Барышня подышала на стекло, протерла его крошечной рукой в желтой перчатке и стала глядеть, не отрываясь, в черневшую перед ней мглу сентябрьской дождливой ночи. Ее лицо было грустно, и вся тоненькая, хрупкая фигурка жалко-беспомощна.

Рядом с бледной барышней помещался грузный мужчина восточного типа. Он обладал носом непомерной длины и толщины, крупными ярко-красными губами, которые никак не могли сойтись вместе, и большими глазами навыкат.

Как только поезд тронулся, восточный человек извлек из кармана золотые часы-луковицу со множеством брелоков, внимательно разглядывал их и вдруг, с шумом захлопнув крышку, уставился с изумленным видом на Аларина, на затылок барышни, в окошко, и затем, неожиданно свесив голову на грудь, поднял оглушительный храп. Он был чрезвычайно противен в эту минуту, с головой, болтавшейся во все стороны, и широко раскрытым ртом, придававшим его лицу идиотское выражение.

Аларин вдруг с озлоблением зевнул и тотчас закрыл глаза. Сначала ухо ловило размеренный ход поезда, но в уме звучал какой-то знакомый мотив, и к нему подбирались, рифмуя друг с другом, нелепые стихи; потом он вспомнил натянутые лица провожавших его приятелей, наконец, мысли его смешались, и он задремал.

Он проснулся через полчаса при остановке поезда. В разных углах слышалось сонное дыхание пассажиров, облака табачного дыма ходили, точно туманные волны. Где-то в конце вагона два голоса – молодой мужской и старушечий – наперерыв лепетали, споря и захлебываясь.

Аларин поглядел на девушку, сидевшую напротив него. Она боязливо забилась в самый угол дивана и даже прижала рукой складки своего пальто, сторонясь от восточного человека, который, по-видимому, уже давно проснулся и теперь не сводил своих масляных глаз с ее испуганного лица. Должно быть, он только что обращался к ней с разговором, но не решался продолжать его из боязни быть услышанным посторонними в то время, когда поезд стоял.

Действительно, только что поезд тронулся, он нагнулся к девушке и с выразительной мимикой заговорил что-то. Девушка ничего не отвечала, но все теснее прижималась к своему уголку.

– Чего, барышня, боишься? Я тебэ нэ мидвед, кусать не хочу. Ну? Поджалуста, прошу: нэ пугайся, – услышал Аларин хриплый голос.

– Оставьте меня, ради Бога, – произнесла в отчаянии барышня.

Ее свежий миленький голосок дрожал от волнения.

Аларин одну секунду подумал было осадить расходившегося в своих аппетитах восточного человека, но боязнь скандала, из-за которого многие порядочные люди стушевываются в то время, когда требуется их помощь, и, наконец, то обстоятельство, что барышня была нехороша собою, заставили его отложить свое намерение. «Сам отстанет», – решил он.

Но восточный человек с удивительным упорством не хотел прекратить свое назойливое ухаживание. На отчаянный протест своей соседки он глупо захихикал.

– Ну, ну, нэ горячись. Слушай, цыпка, что я тебе скажу. Сейчас приедем в К., слезай с вагона, поедем ко мне в гостиницу обедать. Ей-богу, поедем, весело будет! А назад поедешь, – я тебе билет куплю. Хорошо?

Девушка молчала, но Аларин заметил, что она вся дрожит.

– Чего молчишь? Хорошо? А? Ну, скажи, душа, хорошо?

И восточный человек вдруг схватил и крепко сжал рукой ее колено.

– Господи! Да что же это такое! – вскакивая с места, вскрикнула барышня. В ее голосе слышались слезы, через секунду она заплакала.

Аларин почувствовал, как у него сразу похолодели руки и по спине забегали мурашки.

– Слушайте, вы! – обратился он к нахалу и почувствовал в то же мгновение, что его голос силен и значителен. – Извольте сейчас же пересесть на другое место и оставить эту барышню в покое!

Из-за спинок диванов стали выглядывать заспанные лица пассажиров, разбуженных восклицанием.

Восточный человек отпустил ногу своей соседки.

– Ва! Ти мнэ началнык? – заговорил он, стараясь показаться дерзким, но, очевидно, порядком струхнув. – Садись сам на свой диван, а я не хочу уходить!

Публика стала волноваться.

– Что такое? В чем дело? Ишь ты, армяшка проклятый, кишмиш... В чем дело-то, господин? – слышалось с разных сторон.

Эти восклицания и нагло смеющееся жирное лицо восточного человека привели Аларина в бешенство.

– А-а? Не хочешь? – задыхаясь, воскликнул он. – Не хочешь?.. – И вдруг, совершенно неожиданно для самого себя, он схватил своего противника за воротник и с силой рванул со скамейки. – Не хочешь?.. – повторял он, чувствуя новый прилив силы и озлобления, когда бархатный воротник затрещал в его руках.

Восточный человек пронзительно завизжал. Он уцепился было за ножку дивана, но после того как Аларин, судорожно стиснув зубы, снова дернул его изо всех сил, он уже не пробовал сопротивляться. Аларин вытащил его на платформу. Мелкий осенний дождик, брызгавший в лицо, и холодный ветер отрезвили его; он выпустил из руки полуоторванный воротник и сказал, тяжело дыша:

– Убирайся живо из вагона, и чтобы духу твоего не было.

Восточный человек сделался кроток, как агнец.

– Чего таскал, – заговорил он укоризненно, – зачем не сказал, что самому тебе барышня понравилась? Горячий человек!..

Александр Егорович повернулся к нему спиной и ушел в вагон, крепко захлопнув за собой дверь.

II

Когда Аларин сел на свое место, пассажиры продолжали волноваться.

– Есть же такие мерзавцы, – негодовал кто-то вроде приказчика, маленький, головаственный человек, весь обросший черным лесом курчавых волос. – Как же это, помилуйте, вдруг с такими глупостями лезть к одиноко едущей особе! Да им морду следует за это бить, а не то что...

Он обращался как будто к своей собеседнице – старушке, но голову поворачивал по направлению к барышне, с которой произошел этот неприятный эпизод, вероятно ожидая, что она поддержит его негодование.

Однако она была так напугана и возмущена всем происшедшим, что лишь дрожала и молчала.

Аларин почувствовал глубокую жалость к этому беззащитному созданию.

«В самом деле, – подумал он, – чем может оградить себя от подобной назойливости эта худенькая девушка? У нее, кроме слез, нет никакого оружия, да и те не на всякого действуют».

Однако в то же время, хотя ему и было неловко от обращенных на него со всех сторон глаз, он все-таки в глубине души немножко любовался своей «бешеной вспыльчивостью», с большим удовольствием припоминая ту тишину, которая наступила в вагоне, когда он закричал: «Не хочешь?»

Все это требовало теперь нескольких утешительных, пожалуй, даже великодушных слов, которые должны были окончательно успокоить бедную барышню.

Эти ощущения смешивались весьма странным образом. Аларин, вообще склонный к анализу своих внутренних побуждений, часто замечал в себе подобную двойственность, и если на него находила в это время минута самобичевания, то он называл себя с горечью «раздвоенным человеком».

Когда глазающие из-за диванов головы мало-помалу скрылись, Аларин наклонился к своей соседке.

– Успокойтесь, ради Бога, – ласково и тихо сказал он, стараясь заглянуть ей в лицо, – все подобные господа ужасные трусы и негодяи, и из-за них волноваться не стоит. Может быть, я вас тоже напугал?

– Ах, я действительно так перепугалась! – отвечала девушка, улыбаясь сквозь слезы. – У меня сердце до сих пор еще стучит. Вы были так рассержены, что я думала, вы его убьете. Я не знаю, как благодарить вас.

И она быстро протянула Аларину руку и опять застенчиво улыбнулась.

У нее была очаровательная улыбка, обнаруживавшая ровные и блестящие зубы и образовавшая на каждой щеке по две ямочки. Эта улыбка освещала и делала чрезвычайно симпатичным ее лицо.

– С ним, слава Богу, ничего не сделалось, – произнес Аларин, невольно отвечая на ее улыбку, – но это послужит ему на будущее время хорошим уроком. Если такие наглецы, как вот этот, время от времени не получают таких энергичных встрясок, то это обычно располагает их к дальнейшим действиям такого же характера. Интересно, почему он к вам так пристал?

Он сказал это и тотчас же спохватился и сконфузился. Ведь, конечно, эта худенькая девица боялась даже обернуться на своего пылкого соседа и не могла ни одним взглядом дать ему повод к приставаниям. Но она была так далека от понимания всех этих житейских гадостей, что не заметила даже тени неуместности подобного вопроса и горячо ответила:

– Уверю вас, я сразу испугалась его, как только он сел рядом со мною.

– Но хуже всего, – перебил ее Аларин, – что у нас ни одна женщина не может быть гарантирована от подобного рода неприятностей. Ведь здесь проглядывает самое грубое сознание превосходства физической силы, а между тем я знаю многих образованных и даже гуманных людей, которые не стыдятся проделывать почти то же самое.

– Но ведь это ужасно! – возразила барышня. – Как же порядочный человек может позволить себе?..

– В том-то и дело, что здесь полное отсутствие какой бы то ни было порядочности. Конечно, люди, о которых я сейчас сказал, не выражают так грубо, как этот кавказец, своих низменных инстинктов, но все-таки... Я, право, не могу решить, догнали ли мы в этом отношении чересчур быстро Европу, или это остатки старинного русского неуважения к женщине!

Александр Егорович в эту минуту совершенно искренно позабыл о кое-каких своих похождениях.

– Но если некоторые сознают это, почему же они не постараются как-нибудь подействовать на других? – спросила девушка. – Ну, писать, что ли, об этом?

– Пишут, – сказал Александр Егорович, – отовсюду слышатся голоса, ратующие за то, чтобы женщина заняла в обществе принадлежащее ей по праву место, отнятое у нее паразитом-мужчиной. Но это, по-моему, смешно. Здесь нужны коренные реформы в семейном и общественном воспитании целых поколений, а не жалкие возгласы.

Аларин с удовольствием высказывал эти обиходные истины. Он умел и любил говорить только тогда, если вокруг него не было слушателей, которых он инстинктивно считал бы сильнее себя. Сосредоточенное внимание сидевшей перед ним девушки, представлявшей олицетворенную неопытность и наивность, делало его развязным.

Кроме того, он был не чужд любования собою и своим голосом, свойственного очень молодым, в особенности красивым людям, которые, оставаясь даже совершенно одни, постоянно воображают, что на них кто-то с любопытством смотрит, и ведут себя точно на сцене. Они являются перед собою то разочарованными, пресыщенными циниками, то современными дельцами, с полным отсутствием принципов и с девизом «нажива», то светскими денди, свысока глядящими на род человеческий, но всегда чем-нибудь красивым и выдающимся. Та или другая роль зависит от настроения духа или прочитанной книжки, что, впрочем, не мешает в них выработываться собственным оригинальным качествам. Теперь вот, разговаривая со своей соседкой, Аларин чувствовал себя пожилым мужчиной, относящимся с симпатией и жалостью к этому наивному ребенку.

– Да, – продолжал он, увлекаясь собственными словами, – у нас вот и электричество, и гипнотизм, и все кричат, что человечество прогрессирует, а поглядите, в каком положении во всех цивилизованных странах находится женщина.

И он легко и быстро очертил современное положение женщины, черпая мотивы из недавно прочитанной модной повести. Он с эффектной, деланой злобой говорил о том, к чему готовят ее с пеленок, как извращают воображение и приучают к роскоши.

Для его собеседницы все это было совершенной новостью, она ловила каждое слово и притом невольно любовалась красивым лицом Аларина с его блестящими от оживления, черными, притягивающими глазами. Это, после институтских учителей и швейцаров, был первый «настоящий» мужчина, которого она видела.

Аларин коснулся тех «жалких обрывков познаний, которые западают в юную женскую головку». Он описывал все это очень удачно в карикатурных гиперболах и вдруг перебил самого себя.

– Извините, – сказал он смущенно, – вы, если я не ошибаюсь, бывшая институтка! Поверьте, что я не хотел сказать ничего обидного...

– Нет, нет, пожалуйста, продолжайте, – возразила девушка, – вы все это так хорошо знаете. Представьте себе, у нас даже русским языком никто не интересовался.

– А занимались тем, что сшивали тетрадки розовыми ленточками с надписью «Souvenir». Или приклеивали на первой странице целующихся голубков? Да?

– Вы и это даже знаете?

– Знаю. А в библиотеке ничего, кроме произведений madame Жанлис, конечно, не было?

– Ах, эта противная Жанлис. Мы просто ненавидели ее и называли ее именем одну сердитую классную даму. Пушкина нам только в первом классе стали давать и Тургенева кое-что. Правда, прелесть Тургенев?

– Как вам сказать, – не утерпел Аларин, – у него, пожалуй, многое и в архив можно сдать?

– О нет! Не говорите так! – протестовала она. – «Записки охотника» – это... я вам не сумею передать, это – божественно! Я «Накануне» читала летом на загородной даче, целые дни читала. Утром из-под подушки выну и целый день не расстаюсь с ними. Даже за обед ухитрялась приносить, конечно потихоньку, чтобы не заметила madame Швейгер...

Но Аларина мало занимали ее рассказы, потому что он сам говорил не для нее, а для собственного удовольствия.

Его поразил ее свежий, серебристый голос.

– Скажите, пожалуйста, вы не поете? – неожиданно спросил он.

Барышня вспыхнула и, как-то совсем по-институтски, взглянув на него исподлобья, спросила:

– Почему вы это узнали?

– У вас такой чистый и полный голос, и тембр такой богатый. Я только поэтому и предположил. Но вы все-таки поете?

– Да, я немного училась. Monsieur Орлов, наш учитель пения, говорил мне, что если я поработаю над голосом, то могу выступить на сцену. Но я ужасно стыжусь петь. У нас на Масленице был концерт, и я пела в мендельсоновском дуэте: «Хотел бы в единое слово излить...» Вы слышали его?

Аларин в музыке ровно ничего не понимал, но ответил, что, к сожалению, этого дуэта не слышал, хотя обожает Мендельсона.

– Это очень известный романс, – заторопилась барышня. – Вы, верно, слышали...

Хотел бы в единое слово излить
Я, что на сердце есть! —

пропела она вполголоса первые две строчки и вдруг, спохватившись, покраснела до слез. Аларина эти десять нежных, дрожащих нот привели в восторг.

– У вас чудный голос, – сказал он совершенно чистосердечно, – на меня пение еще никогда не производило такого впечатления, как эти несколько звуков. Как бы я хотел услышать вас с аккомпанементом!.. Вы, впрочем, извините, я до сих пор не знаю вашего имени!.. – прибавил он полувопросительно.

Они назвали друг другу свои имена и фамилии. Барышню звали Зинаидой Павловной.

– Вы до какой станции едете, Зинаида Павловна? – спросил Аларин.

– Я прямо в Р*.

– Неужели? Представьте себе, мы едем в один город. Ведь это положительно судьба, что мы с вами попали в один и тот же вагон и так хорошо разговорились.

Он, конечно, сказал про судьбу единственно «для красоты слога», но, склонная к мечтательности, Зинаида Павловна серьезно увидела в этих случайностях действие предопределения и внезапно после его слов ощутила какую-то тихую, бессознательную радость. Точно она узнала, что там, в далеком, чужом городе, у нее будет близкий человек, который поддержит и защитит в случае надобности.

– И вы, по всей вероятности, едете в Р* к родным? – продолжал расспрашивать Аларин.

– Нет, – отвечала она и запнулась. – Я еду туда гувернанткой...

И, быстро вскинув на него глаза, точно желая удостовериться, нет ли на его лице улыбки, она продолжала:

– Вы знаете, к нам в институт присылают для пепиньерок предложения, но я от многих больших городов отказалась, потому что думала поступить в консерваторию; только это ужасно дорого, а для стипендии надо иметь большую протекцию. А у меня мама... совсем без средств...

По институтским традициям Зинаиде Павловне было тяжело признаться в бедности матери, но Александр Егорович производил на нее впечатление такого хорошего, сердечного человека, которому можно было рассказать «все».

– Так вам и улыбнулась консерватория? – спросил Аларин.

– Да, так и улыбнулась. Моя подруга Посникова поступила, ее тоже Зиной зовут... У нее самый простой комнатный голос, но она... хорошенькая... понятно, ей нетрудно...

Последние слова барышни звучали самой неподдельной, наивной грустью.

– Ну вот, и я должна была принять первое попавшееся место, – продолжала она, – хотя даже не знаю условий. Вы, может быть, знакомы с этим господином... фамилия его Кашперов?..

Аларин, живший в Р* уже два года, не мог не знать Кашперова.

– Скажите, пожалуйста, что это за человек, то есть кто он такой? Чем он занимается? Много у него детей? – засыпала она вопросами Александра Егоровича.

– Да не торопитесь так, я не знаю, на что отвечать. Кашперов, про которого вы спрашиваете, вдовец, у него есть маленькая дочка, необыкновенно капризное насекомое, которое раз укусило меня за палец. Сам Кашперов человек, безусловно, честный и собою красив, так что за ним до сих пор барыни бегают: представьте себе, седые волосы и черная борода. Какой он образ жизни ведет? Конечно, как подобает вдовцу и богатому человеку; ведь он, между прочим, страшно богат, но денег своих не прячет и делает на них много добра. Вообще он человек не совсем обыкновенного десятка. Впрочем, вы это сами увидите.

– Да, – задумчиво произнесла Зинаида Павловна, – воспитание – очень серьезное дело!

– Ну, что касается воспитания, то я положительно отвергаю его, – сказал Аларин.

– Как отвергаете? У нас сам инспектор читал педагогику и столько говорил об ее великих задачах.

– Поверьте, что он сам в это время над собой смеялся, – шутливо перебил Александр Егорович.

– Какой вы злой!.. Ну, так не будем говорить о воспитании. Вы давно живете в Р*?

– Нельзя сказать, чтобы особенно давно, но мне каждый камешек в нем опротивел. При этом вы, должно быть, слыхали о нашей грязи. У нас однажды исправник с целой тройкой лошадей утонул в грязи перед городским клубом, только об этом запретили в газетах печатать. Но у нас и кроме грязи много замечательного. Во-первых, рысаки, похожие на выкормленных купцов, и, во-вторых, купцы, близкие к первобытному состоянию. Замечательно, что в этом богоспасаемом граде живешь, как в фонарике. Представьте себе, я не только всех жителей, но даже их собак знаю по кличкам. Точно так же всему городу известно, что у меня к обеду готовится и о чем я вчера разговаривал по секрету со своим приятелем. Зато уж если наши провинциальные премьерши примутся кому-нибудь перемывать косточки, то делают это с неподражаемым совершенством, тем более что тем для такого занятия бывает много, ибо город изобилует легкими и приятными нравами.

– А вы сами, кажется, служите? что это у вас за форма? – осведомилась Зинаида Павловна.

– Я больше по инженерной части состою... говорю «больше», так как на пристани, в порту, где, собственно, и есть место моих занятий, я существую только в виде декорации. Но у меня много частных работ; вот Кашперов ко мне тоже часто обращается.

Аларин любил говорить о себе и потому с удовольствием посвятил новую знакомую в подробности своей жизни, но когда он вскользь упомянул о матери и Зинаида Павловна наивно спросила, кто был его «рара», он осекся, и кровь бросилась ему в лицо.

Однако вдруг им овладело неудержимое желание сейчас, сию минуту рассказать все до мельчайших подробностей этому чистому существу.

– Знаете ли, – произнес он медленно и значительно, – я этого никому еще не говорил, но вы, я знаю, добрая, вам не будет смешно... Я – незаконнорожденный!

Она сначала не поняла его, но потом ей стало жаль Александра Егоровича той особенной, болезненной жалостью, которую возбуждает калека или тяжело больной человек. Она поняла, что этого пункта нельзя касаться, и продолжала молчать.

А он, преодолев первую неловкость, рассказал ей подробно всю свою биографию, причем говорил так горячо, искренно и жалея в эту минуту самого себя, что у Зинаиды Павловны сжималось сердце.

– Ну вот, вы теперь все знаете обо мне, – закончил Аларин свой рассказ. – Это я только вам одной говорил, потому что вы не употребите во зло моего доверия... Поглядите, какая чудная ночь! – воскликнул он вдруг, заглянув в окошко.

Они оба прислонились к окну, так что их головы почти касались.

А ночь действительно была необыкновенно хороша. Ветер разогнал тучи, и луна сияла на чистом темно-синем своде. В ночном пейзаже было что-то сказочное. Лужайки, окруженные кустами и залитые потоками лунного света, казались бездонными озерами; стройные прозрачные березы дремали, точно заколдованные тихой ночью. И все это призрачное, обольстительно-прекрасное царство света и теней показывалось на одну минуту и исчезало, давая место новым картинам.

– Чудная ночь, – почти шепотом повторил Александр Егорович, – не правда ли, в ней есть что-то таинственное?

– Да, таинственное... и грустное, – отвечала Зинаида Павловна, и Аларин услышал в ее голосе дрожь.

– Нет, зачем же грустное, – перебил он, – в этикие ночи мною, наоборот, овладевает прилив какой-то неудержимой отваги; теперь бы коня, и – мчаться где-нибудь в степи так, чтоб захватывало дух... Однако скоро будет светать, и вот уже огоньки нашего Р* виднеются. Собирайтесь, Зинаида Павловна, почти домой приехали.

Поезд подходил к Р*. На станции, где сходились три ветви железных дорог, была страшная суматоха. Аларин вывел растерянную и озябшую Зинаиду Павловну на крыльцо вокзала.

– Телеграфировали вы Кашперову о приезде? – спросил он, останавливаясь.

– Да.

– В таком случае должен быть экипаж! – И он закричал во все горло: – Лошади Кашперова!

– Здесь! – ответил чей-то голос.

К крыльцу подъехала щегольская коляска, запряженная парой серых видных лошадей.

– Барышня приехали? – осведомился кучер, приподнимая шапку.

Зинаида Павловна, пожимаясь от ночного холода, стала прощаться с Алариним. Ей вдруг стало жалко и этой так быстро промелькнувшей ночи, и этого красивого лица, казавшегося совсем бледным при свете луны.

– Прощайте, Александр Егорович, – грустно сказала она, протягивая ему руку. – Как мне благодарить вас?

– Самой лучшей благодарностью для меня будет, – ответил Аларин, ласково смеясь, – если вы обратитесь ко мне в случае надобности.

– Непременно!

Лошади дружно тронули, и коляска загремела по камням мостовой.

III

Зинаида Павловна проснулась раньше всех в доме, несмотря на то что накануне легла очень поздно. Проснувшись, она не могла сразу сообразить, каким образом попала в эту уютную, нарядную, как бонбоньерка, комнату, обитую розовым кретоном. Вчера она так была утомлена дорогой, что едва только коснулась головой подушки, как в ту же минуту заснула крепким сном усталого человека.

Ей не хотелось тотчас же одеваться, потому что ленивая утренняя нега овладела всем ее существом, и в памяти носилось бесформенное воспоминание чего-то светлого и хорошего.

«Что ж такое у меня есть приятного? – старалась припомнить Зинаида Павловна, – может быть, эта комнатка?»

Комната действительно была очень красива, но от изящной отделки веяло чем-то совершенно чуждым; этот кокетливый будуар не выдерживал никакого сравнения с тесной, обитой дешевенькими обоями комнатой Зинаиды Павловны в Москве... Может быть, рояль, который она видела вчера, проходя ряд больших, со вкусом обставленных комнат, произвел на нее такое приятное впечатление? Нет, не рояль, – она тогда же подумала, что будет неловко перед хозяином часто играть на нем... Или те шесть новеньких полуимпериалов – подарок мамы при последнем прощанье, – которые она так часто пересматривала, любуясь их ярким блеском?

И вдруг в воображении девушки мелькнуло бледное от лунного света, прекрасное лицо с черными смеющимися глазами.

«Это – Аларин!» – чуть не вскрикнула, обрадовавшись, Зинаида Павловна и сама тихо улыбнулась тому, что назвала его по фамилии.

– Милый, хорошенький, красавчик мой! – прошептала она, прижимаясь лицом к подушке с неопределенной улыбкой. – Какой у него голос славный: мягкий такой и задушевный. Любят ли его женщины? Да, конечно, любят! Разве можно его не любить? Когда он говорит или смеется, его глаза так и смотрят в душу, точно ласкают... Он, видно, очень, очень умный; когда он говорит, его можно заслушаться...

Зинаида Павловна была мечтательницей по призванию. Природа снабдила ее такой пылкой и широкой фантазией, перед необузданными размахами которой ступеньками была самая яркая действительность. Еще будучи в низших классах института, она пристрастилась к чтению. По вечерам, когда классная дама пространно и скучно объясняла ученицам заданный к завтрашнему дню урок математики, Зинаида Павловна тихонько вынимала из стола описание какого-нибудь фантастического путешествия по девственным лесам Америки или пустыням Африки, раскладывала его на коленях и жадно погружалась в чтение, причем этот таинственный, сказочный мир увлекательного рассказа, полный жизни и благоуханий, заставлял ее забывать не только страх остаться на целый месяц без передника за невнимание к научным истинам классной дамы, но и все, что только хоть немного напоминало действительность, переставало существовать для нее в эти блаженные минуты. Стены класса раздвигаются на бесконечное пространство... звезды... громадная кровавая луна показывается из-за горизонта безбрежной пустыни, и везде одна и та же нескончаемая даль, покрытая горячим желтым песком... Луна выплывает в самую середину неба... пустыня кажется окутанной белым туманом... Мертвая тишина не нарушается ни единым звуком... И вдруг рев льва, могучий и величественный, потрясает воздух...

– Колосова, повторите все, что я сейчас объяснила, – раздается в то же время скрипучий голос.

Зина вскакивает, растерянная, ничего не понимающая...

Перед ее глазами опять грязная, измазанная мелом комната, тускло освещенная шестью казенными лампами; несколько десятков утомленных детских лиц с улыбкой глядят на ее замешательство, пред нею зеленая, повязанная косынкой физиономия наставницы.

– Извините, я не поняла... мне было не слышно, – пробует оправдаться Зина.

– А! Вам неуютно слушать мои объяснения, – скрипит классная дама, – покажите мне ту книгу, которая была у вас на коленях!..

С летами грезы Зинаиды Павловны приняли более жгучий характер; особенно сильно повлияли на нее в этом отношении лекции истории, которую увлекательно читал симпатичный, знающий учитель. Зина слушала его со сверкающими глазами и полуоткрытым ртом, а он в минуты своих горячих импровизаций обращался к ней одной. Его объяснения не прошли даром для Зинаиды Павловны. По ночам она до мельчайших подробностей переживала все то, что ей приходилось узнать днем. Описание блеска и роскоши средневековой жизни, победы и завоевания римских цезарей гораздо меньше шевелили ее воображение, чем пассивный героизм мучеников идеи. Она так живо вызвала в своем воображении казнь Иоанна Гуса, что плакала и молилась всю ночь до утра. Она обожала Жанну д'Арк и иногда находила в ее образе и поступках много общего с собой; ей тогда начинало казаться, что и в ее груди таятся и зреют до нужной минуты могущественные силы, назначенные судьбой для каких-то великих целей. Ею овладевала тогда страшная жажда самопожертвования, желание совершить неслыханно-громадный подвиг, радостно отдать свою молодую жизнь во имя чего-то далекого и прекрасного.

Иногда Зинаида Павловна проводила целые ночи, не отрывая взора от какой-нибудь яркой звезды, между тем как в ней самой трепетали такие фантастические мечты, в которых она сама не сумела бы дать себе отчета. Весь день после такой ночи она ходила бледная, точно разбитая, на вопросы подруг говорила, что у нее болит голова, но своих задушевных грез никогда никому не поверяла. Вообще она никогда не была слишком откровенна, но каждый, кто только встречался с ней, невольно чувствовал в ней присутствие ее собственного внутреннего мира, а также то, что она в это святая святых, наверно, никого не пустит.

Зинаида Павловна долго лежала неподвижно, погруженная в свои неясные грезы, и все время задумчивая улыбка не сходила с ее лица. Она думала о том, сколько оскорблений вынес Аларин вследствие каприза своего пресыщенного, развратного отца. Он боится насмешки; да разве можно смеяться над этим? Ведь это все равно что смеяться над человеком с оторванной ногой, над уродом от рождения! У него в речах слышится злобное презрение к людям... он, верно, не встречал еще ни разу любящей, нежной души, которая сумела бы понять и оценить его и заставить забыть все оскорбления!.. Что, если бы Бог подарил это счастье ей!.. Какими заботами, какой нежной предупредительностью окружила бы она Аларина!..

И ее пылкое воображение в одну минуту нарисовало сцену безмятежного счастья.

Он возвращается со службы веселый и проголодавшийся. Она ждет его, с нетерпением поглядывая на часы; она нарочно заказала к обеду его любимые кушанья. За обедом он рассказывает ей все, что видел днем, пересыпая свой разговор веселыми шутками и красноречивыми взглядами. Она его внимательно слушает, не забывая, однако, о своих хозяйственных обязанностях. Когда они встают из-за стола, уже начинает темнеть. Они привыкли проводить в это время полчаса перед горящим камином... здесь так тепло, дрова так весело трещат и сыплют тучи искр, так приятно ведутся задушевные беседы!..

Зинаиду Павловну вывел из этого состояния задумчивости легкий стук в дверь, сопровождаемый молодым женским голосом, спрашивавшим, можно ли войти. В комнату влетела хорошенькая, кокетливо одетая горничная и предложила свои услуги. Однако Зинаида Павловна, не привыкшая к тому, чтобы ей помогли одеваться, отказалась от этого.

– Благодарю вас, – сказала она, – если понадобится, я позову.

– А чай прикажете вам в комнату принести, – приставала горничная, – или изволите сойти вниз? Барин и барышня всегда в это время кушают чай в столовой.

Зинаида Павловна предпочла сойти вниз.

«Ну, каково-то будет наше первое знакомство? – думала она не без волнения. – Во всяком случае, надо поставить себя с самого начала так, чтобы он никогда не осмелился глядеть на меня, как на «наемную»!..»

Когда она вошла в просторную, светлую столовую, навстречу ей поднялся и вышел из-за стола представительный мужчина высокого роста. У него было умное лицо с высоким белым лбом, обрамленным волнами совсем седых волос, с живыми, как у юноши, блестящими глазами и свежим чувственным ртом. В черных же усах и в бороде не виднелось ни одного седого волоса. Кашперов был одет в широкий домашний вестон¹¹⁵, сидевший на нем просторно и изящно. Каждое движение этого человека отличалось твердой, самоуверенной грацией, свойственной сильно развитым мышцам. На вид ему было лет сорок пять, но если бы он надел шапку и скрыл этим свою седину, то никто не дал бы ему более тридцати пяти-шести лет. Однако его видная наружность не понравилась Зинаиде Павловне; ее нежному, болезненному вкусу было неприятно в мужчине преобладание грубой силы и здоровья.

«Однако ж ты, бедненькая, не из красавиц, да, кажется, еще и с характерцем», – решил, в свою очередь, после обмена обыкновенных в этих случаях фраз, Кашперов, окидывая девушку с ног до головы зорким взглядом опытного женолюбца.

Он почему-то непременно воображал себе гувернантку смазливой брюнеткой с бойкой речью и разбитными манерами, которая при случае с удовольствием выслушает пикантный анекдот, и похочет, и пококетничает. При благоприятных условиях совместная жизнь с такой особой обещала много соблазнительных удовольствий.

Но перед ним стояла бледная девушка с некрасивым лицом и невинными глазами, смотревшими холодно и в то же время вполне независимо...

Пристальный, бесцеремонный взгляд Кашперова подействовал на Зинаиду Павловну самым неблагоприятным образом. Он почему-то внезапно напомнил ей вчерашнего нахала соседа, и это обстоятельство еще более усилило первое неблагоприятное впечатление. Но тем не менее она глаз своих не опустила, хотя и чувствовала себя неловко.

В то время, когда эти мысли и сравнения быстро проносились в головах у обоих, Сергей Григорьевич предупредительно расспрашивал Зинаиду Павловну, благополучно ли она доехала, нашла ли все необходимое у себя в комнате, и предложил ей место за столом.

– Вы, я думаю, не откажетесь иногда похозяйничать за чаем, – произнес он, стараясь казаться любезным, – у меня до сих пор все это делала Лиза, но у нее мало терпения и умелости. Позвольте представить вам вашу будущую ученицу...

Он показал на девочку лет четырнадцати, худую и нескладную, как всегда бывают девочки в этом возрасте; она все время осторожно, одним глазом, выглядывала из-за стоявшего перед ней самовара и при обращенных к ней словах поспешила совсем спрятаться за него.

– Только надо вам сказать, она у меня страшный дичок, – продолжал Кашперов, – и при чужих ее ни за что не вытащишь из какого-нибудь угла... Лиза, подойди к Зинаиде Павловне!.. Нет, ни за что не послушается!..

– Лиза, отчего вы не хотите подойти познакомиться со мною? – спросила Зинаида Павловна, впрочем невольно обращаясь больше к самовару, чем к спрятавшейся за ним дикарке. – Она у вас, может быть, немного... запугана? – спросила она Кашперова.

Тот вдруг громко расхохотался и сквозь смех едва проговорил:

¹¹⁵ Пиджак (от *фр.* veston).

– Мне смешно, как вы сразу уже начинаете свои педагогические наблюдения и притом таким деловым тоном. Но что касается Лизы, – продолжал он уже серьезно, – то заранее говорю вам, что никакие средства, если она чего не захочет, не помогут. К вам она еще долго будет избегать подходить...

Но в это время девочка, робко выглянув еще раз из-за своего убежища, совершенно неожиданно встала и подошла к Зинаиде Павловне, краснея от замешательства. Она некоторое время постояла в нерешительности и вдруг, вероятно уже окончательно побежденная ласковой улыбкой своей будущей гувернантки, быстро обвила руками ее шею и поцеловала в самые губы.

– Правда, Лиза, мы с вами будем друзьями? – шепнула ей на ухо растроганная этой лаской Зинаида Павловна. – Вы ведь не будете от меня бегать? Да?

– Нет, не буду никогда, – еще тише ответила девочка, глядя в землю, – вы... добрая...

– Bravo, Зинаида Павловна! Однако вы сразу сделали уже громадный успех, завоевав расположение этой капризницы! – воскликнул Кашперов. – Поверите ли, я в первый раз вижу, чтобы Лиза сама подошла к кому-нибудь, кроме двух существ в мире: своей старой няньки и собачонки Крошки. У вас, должно быть, необыкновенно добрая душа, – дети на это ведь чуткий народ. Или вы владеете, может быть, каким-нибудь педагогическим секретом? – И он опять расхохотался.

Зинаида Павловна ничего не отвечала. Ее коробили и пристальный взгляд, и громкий, действительно неприятный смех, и насмешливо-снисходительный тон Кашперова. «Почему он говорит со мной как с девочкой? – думала она. – Или он уже смотрит на меня, как на свою собственность, как на «что-то» закупленное им, над чем можно беспрепятственно практиковать дешевое остроумие?»

Она, конечно, ошиблась, потому что Кашперов вообще был деликатен с чужим самолюбием, но у него уже давно выработалась манера говорить со всеми женщинами несколько небрежно и самоуверенно, а чуткое ухо Зинаиды Павловны, не изведавшей еще настоящих жизненных передраг, готово было в каждом слове находить намек на обиду.

Кашперов пытался поддержать неклеившийся разговор: он рассказывал о городе, о бирже, о своем заводе и о новой, выписанной из-за границы динамо-электрической машине, расспрашивал о Москве и институтской жизни. Но ему приходилось все время говорить одному. Зинаида Павловна совершенно ушла в себя и на все вопросы отвечала короткими «да» и «нет».

Они в молчании допили свой чай и разошлись, вынеся друг о друге неприятное впечатление.

«Странная девчонка, – думал Кашперов, садясь в пролетку, чтобы ехать на завод, – только что сорвалась со скамейки, нищая, а держит себя совсем недотрогой. Жалко, однако, будет, если мы с ней поссоримся. Лизку сразу к ней потянуло... может быть, и вправду какой-нибудь прок выйдет. Душонка у ней добренькая, это что говорить... да собой-то она уж очень не того...»

В то же время, хотя Кашперов и не терпел ни в ком подобострастия, но спокойная независимость, которая неволью чувствовалась в этой гувернантке – существе обыкновенно жалком и подвластном, – сильно его удивляла.

Зинаида Павловна, выйдя из-за стола, хотела пойти в свою комнату, чтобы написать письмо. Она уже поднималась по лестнице, как услышала за собою торопливые шаги и, обернувшись, увидела бегущую к ней Лизу.

– Милая Зинаида Павловна, – сказала девочка, обхватывая ее за талию, – я у вас хочу кое-что спросить, только вы обещайте, что не рассердитесь...

– Ну, хорошо, не рассержусь, – ответила Зинаида Павловна, рассмеявшись. – Что же это за важная вещь? Спрашивайте.

– Скажите мне, пожалуйста: ведь мой папа не понравился вам?

– Нет, Лиза, это вам только показалось, – поспешила разуверить девочку Зинаида Павловна, удивляясь в то же время ее детской прозорливости, – наоборот, ваш папа произвел на меня очень приятное впечатление...

– Ах, зачем же говорить неправду? Я знаю, вам папа показался таким... нет, не злым, а грубым... ну, да я не умею объяснить...

– С чего это вы взяли?

– Нет, я наверно знаю, потому что у вас было такое же лицо, как бывало у мамы, когда папа скажет что-нибудь резкое, а она замолчит и на все его вопросы не отвечает...

– Давно ваша мама умерла?

Девочка задумалась; видно было, что какое-то обстоятельство затрудняет ее в ответе.

– Видите ли, – сказала она вдруг с внезапным порывом откровенности, – я вам расскажу, только никому не говорите, потому что это рассказывать нельзя. Моя мама жива, но она уже давно уехала куда-то, и когда я спрашиваю про нее у папы, то он на меня сердится...

Это открытие поразило Зинаиду Павловну. Для нее, смотревшей на брак как на таинственные, священные узы, муж и жена, живущие врозь, были каким-то чудовищным явлением, и она мысленно поспешила обвинить во всем Кашперова. Конечно, несчастная женщина не могла ужиться с этим неприятным человеком; может быть, она теперь мучится всю жизнь и проклинает ту минуту, когда связала с ним свою судьбу...

Разговаривая таким образом, они дошли до дверей комнаты Зинаиды Павловны.

– Можно мне к вам зайти? – спросила Лиза, умильно заглядывая в лицо своей гувернантки.

Конечно, она получила согласие. Тогда она осторожно пересмотрела все вещи Зинаиды Павловны, расспросила, для чего употребляется каждый флакончик, каждый клочок бумажки; затем, все время, пока Зинаида Павловна писала письмо, она сидела, не сводя с нее взора.

– Вы кончили? – спросила она, когда Зинаида Павловна стала заклеивать конверт.

– Кончила, а что?

– Я все время смотрела на вас, и, знаете, вы – ужасно милая! Можно мне поцеловать вас?

IV

Однажды Кашперов приехал к обеду в самом сияющем расположении духа: дела на заводе шли прекрасно, погода была ясная и холодная, и, проехавшись с завода верхом, Сергей Григорьевич чувствовал сильный аппетит.

Когда Зинаида Павловна налила ему полную тарелку горячего супа, он совсем развеселился: действительно, эта девушка обладала удивительной способностью придавать всему, за что только она ни бралась, отпечаток той свежести и женской аккуратности, которой было полно все ее существо.

– Знаете ли, великая вещь, если за столом хозяйничает хорошенькая женщина, – сказал Кашперов весело и дружелюбно, – ведь на первый взгляд кажется, что это – предрассудок, а между тем, ей-богу, все приобретает особенно приятный вкус, и даже аппетит удесятряется.

Кашперов хотел своим полушутливым, полудружеским обращением хотя немного расположить к живому разговору Зинаиду Павловну, эту «диконькую барышню», которая, как он инстинктивно чувствовал, боялась и избегала его. Сегодня, когда яркие солнечные лучи так весело заливали столовую, когда в душе у Кашперова так сильно сказывалось радостное ощущение жизни, ему неприятно было видеть хмурое лицо гувернантки.

– Да что ж вы молчите, точно в воду опущенная, Зинаида Павловна? – досадливо прибавил он, не дождавшись ответа. – Вы, кажется, с первых шагов уже имеете что-то против меня. Оставьте, голубушка моя; ведь это – институтство!.. Я даже не могу понять: щекотливость ли заставляет вас так относиться ко мне, или же вы просто-напросто капризничаете!..

Зинаида Павловна подняла на него с упреком взор своих детских глаз.

– Для чего вы смеетесь надо мной, Сергей Григорьевич? – с упреком произнесла она внезапно дрогнувшим голосом.

– Как смеюсь?! – удивился Кашперов. – Да у меня и мысли такой в голове не было, чтобы смеяться. Когда? В чем вы могли усмотреть насмешку? Я, право, отказываюсь понимать вас.

– Да вот вы сейчас нарочно упомянули про каких-то хорошеньких женщин... Поверьте, я никогда не обольщалась своей наружностью и знаю о том, что некрасива... Но с какой стати вам было напоминать об этом?..

– Позвольте, Зинаида Павловна, успокойтесь, ради Бога, – почти в отчаянии сказал Сергей Григорьевич, – ведь это же, наконец, ужасно, что вы обо мне думаете!.. Ну, если хотите, я с вами никогда не буду ни о чем, кроме дела, говорить. Мне страшно неприятно, что вы с первых же дней видите во мне врага. Уверяю вас, я вовсе не такое чудовище, каким кажусь.

Зинаида Павловна ничего не ответила, но, как только обед кончился, тотчас же встала, ушла в свою комнату и со слезами бросилась лицом в подушку.

Скоро жизнь в доме Кашперова потекла обычным, размеренным ходом. Он приезжал только на минуточку и при встречах с Зинаидой Павловной был официально вежлив, в остальное же время совершенно позабывал об ее существовании.

Она, в свою очередь, все время посвящала исключительно Лизе. В девочке складывалась богатая натура, стремительная в своих побуждениях и отзывчивая на все хорошее. Зинаида Павловна без всякого труда, исподволь приохотила ее к музыке и рисованию; учебе же шло у них довольно вяло, потому что ни гувернантка, ни воспитанница не имели достаточно выдержки... Но один случай неожиданно возмутил однообразное спокойствие этой жизни и совершенно перевернул вверх дном судьбу всех ее участников.

В начале декабря у Кашперова выдался свободный вечер, который он не знал, куда употребить. Он ходил без цели по комнатам, заложив руки в карманы, и производил в уме какое-то математическое вычисление для своего завода.

Было то странное время дня, когда потухающий день слабо борется с надвигающеюся темнотою, придавая всему какое-то грустное освещение, располагающее к тихой мечтательности.

Случайно проходя мимо дверей залы, Кашперов услышал, что кто-то берет на рояле мягкие аккорды, и хотел было войти туда, но в это время до него донесся голос Зинаиды Павловны, разговаривавшей с Лизой. Кашперов остановился за портьерой и стал прислушиваться.

– Ну, что же я вам спою, Лиза? У меня, кажется, больше ничего не осталось, чего бы вы не слышали, – сказала Зинаида Павловна.

– Душечка, ну спойте, что вам первое придет в голову! – горячо упрашивала Лиза. – Помните, вы пели что-то из «Фауста»? Ну, теперь еще один разик; я уж больше не буду приставать...

– Ну, хорошо, хорошо, не теребите только меня, а то зацелуете до смерти, – ответила Зинаида Павловна, смеясь и отбиваясь от порывистых ласк своей воспитанницы.

– Вам темно, Зинаида Павловна! Может быть, зажечь свечи? – спросила Лиза.

– Не надо, прошу вас, не зажигайте, я буду наизусть играть... Ну, слушайте...

И она начала играть второй акт, изредка объясняя содержание музыки.

– Вот это – народный праздник во время ярмарки... Мефистофель приводит туда и Фауста... Слушайте, какой чудный вальс, лучше его нет ни одного вальса в мире... Маргарита проходит с молитвенником... Фауст поражен ее красотой... Он долго смотрит в восхищении издали, а затем подходит к ней...

И она запела на низких нотах своего голоса известные слова: «Позвольте предложить, прелестная, вам руку...»

– Маргарита взглянула на него, потупилась и тихо отвечает: «Ах, не блещу я красотой и потому не стою рыцарской руки...»

Кашперов хорошо знал оперу «Фауст», слышал ее в исполнении европейских знаменитостей и всегда любил ее. Но теперь фраза, так нежно пропетая серебристым голосом Зинаиды Павловны, совершенно потрясла его.

Из таинственной полутьмы, царившей в зале, лились один за другим звуки мелодии, полные наивной грусти, и в уме Кашперова с поразительной ясностью восстал образ Зинаиды Павловны, с ее девственным молодым обликом и спокойными глазами, ясными, как утреннее небо.

«Да, она Маргарита, – невольно пронеслось у него в уме, – только кто же будет ее Фаустом?»

Сергей Григорьевич, часто и близко сталкиваясь с различными женскими характерами, так изучил все перипетии любви, все мельчайшие оттенки в тоне и взгляде, что почти никогда не ошибался в своих заключениях на этот счет, и теперь, когда голос Зинаиды Павловны дрожал, замирая на последней ноте, он сказал себе: «Да, у нее есть Фауст, потому что никакая выучка не может придать музыке такой глубины чувства... Вероятно, кузен... какой-нибудь юнкер или гимназист...»

Зинаида Павловна замолкла. Настала такая тишина, что Кашперову казалось, будто стук его сердца раздается по всему дому.

– Ну, дальше, Зинаида Павловна, – взволнованным шепотом проговорила Лиза, – милая Зиночка, дальше!..

– А дальше то, – тихо отозвалась через некоторое время Зинаида Павловна, – что Фауст скоро позабыл о Маргарите, а она... она никак не может забыть о нем...

«Я не ошибся, – решил Кашперов, услышав, сколько затаенной грусти прозучало в последних словах, – да притом еще, кажется, ее Фауст не подает никакой надежды на взаимность».

– Ну, слушайте еще, – заговорила опять Зинаида Павловна, – только уж в самый последний раз: Маргарита сидит за прялкой и поет.

И опять, вместе со сказкой о фульском короле, полился этот чистый, хватающий за сердце голос.

«Боже мой, какая прелесть, – думал Кашперов, с жадностью ловя каждую ноту. – Вот оно, истинное наслаждение. Но где же эта бедная девушка могла обрести такие чудные звуки?..»

Он чувствовал, что у него в глазах стоят слезы. В то же время им овладел прилив какой-то безграничной, смутной злобы... «Уж не ее ли Фауст так огорчает меня?» – насмешливо спросил он себя и не мог ответить на этот вопрос.

– Ну, теперь довольно, – сказала Зинаида Павловна, окончив сказку и громко захлопнув ноты, – нервы расстраивать не годится. Ловите меня, Лиза!

И она побежала, сопровождаемая Лизой, и откуда-то издалека донесся до слуха Кашперова ее смех, рассыпавшийся в серебристых трелях.

«Однако я размяк порядком», – с озлоблением решил Сергей Григорьевич и тотчас же велел закладывать себе лошадь. Он очень долго остался в этот вечер на заводе, особенно тщательно наблюдал за его ходом, бессознательно стараясь как можно больше утомиться.

Ему удалось привести себя в уравновешенное состояние, но, когда поздно ночью он уже окончательно улегся в постель и потушил свечу, из темноты вдруг нежно и задумчиво прозвучало: «Ах, не блещу я красотой...»

– Тьфу ты, черт побери! – сердито отплюнулся Сергей Григорьевич. – Нужно же было этой итальянщины послушаться!

Хотя Кашперов и отплеивался так энергично, тем не менее на другой день, едва только начало смеркаться, он уже стоял на том же месте за портьерой... Он прождал около получаса, пока наконец пришла Зинаида Павловна и села за рояль.

На этот раз Лизы с ней не было. Она долго брала рассеянные аккорды, потом заиграла бурную интродукцию шубертовского «Erlkönig»¹¹⁶ и запела. Но она не кончила баллады и, оборвав ее на середине, перешла сразу в C-mol'-ный вальс Шопена.

Когда она перестала играть и сидела, задумчиво трогая пальцами клавиши, Кашперов нечаянно скрипнул дверью. Звуки прекратились совсем: по-видимому, Зинаида Павловна прислушалась. Оставаться долее за портьерой становилось неудобно, и Сергей Григорьевич предпочел войти в залу.

– Извините, Зинаида Павловна, – мягко сказал он, – я подслушивал вас. Но вы ведь не стали бы при мне играть? А между тем я получил столько наслаждения, стоя вот здесь... за дверью.

Зинаида Павловна, при виде этого человека, с которым она всегда избегала встречаться, быстро встала с своего места.

– Извините, кажется, я своей музыкой помешала вам заниматься? Я постараюсь больше не делать этого!

И она направилась к дверям, стараясь обойти его подальше.

– Да подождите же, ради самого Бога, Зинаида Павловна! – почти закричал Кашперов, хватая ее руку. – Неужели вам даже быть со мною в одной комнате гадко? Поймите вы наконец, – умоляю вас, – что между нами лежит какое-то чудовищное недоразумение... Разве я не вижу, что если бы не Лиза, которая к вам привязалась, то вы давно оставили бы мой дом...

– Да, вы не ошибаетесь в этом, – отвечала Зинаида Павловна, не глядя на него и вырывая свою руку из его горячей, сильной руки, – но если вам только хотелось напомнить об этом, то вы могли бы не трудиться начинать издали...

– Ну вот, опять точно так же, как и в первый раз, вы нарочно не хотите понять меня, – досадливо перебил ее Кашперов и быстро заговорил, боясь, что она уйдет, не выслушав его, – вы смотрите на меня с предубеждением, почему-то отказываете мне даже в таком человеческом чувстве, как любовь к музыке... Да где же здесь кроется моя вина? Поверите ли, я – сильный человек, я лошадиные подковы гну, я никогда не знал, что такое нервы, но вчера, стоя за портьерой, чувствовал на своих глазах слезы. И, раз вы обладаете силой действовать так своим искусством, вам грешно было враждебно отнестись к моему восторгу! Вы не имели права отказывать мне в этом наслаждении!.. Наконец, все это – ломание, все это – страшно неестественно!

В его голосе слышалось волнение. Зинаида Павловна внимательно и пытливо взглянула ему в лицо своими невинными глазами.

Нет, он не лгал, потому что его щеки пылали и глаза горели, но ей это горячее увлечение было и чуждо и непонятно.

– Я не понимаю вас, Сергей Григорьевич, – холодно произнесла она и быстро вышла из залы.

Между ними действительно лежало недоразумение.

«Что мне в этой девчонке? – злился через несколько часов Кашперов, ворочаясь на своей кровати. – Отчего я не могу ни о чем думать, кроме нее? Ведь не мог же я влюбиться? Правда, в ней есть что-то влекущее: эти ясные глаза, эта женственность... Да что же мне-то до нее за дело? «В Фуле жил да был король...» Да, с таким голосом можно совсем перевернуть человека! Откуда у нее эта выразительность? Кто с ней занимался? Или, может быть, она уже любила и мучилась? «И до самой своей смерти он...» Ах, черт побери, да засну ли я наконец в эту проклятую ночь?.. Вот тебе и хваленое равновесие... Недостает еще, чтобы я начал принимать валерьяновые капли!..»

¹¹⁶ «Лесного царя» (нем.).

Кашперов влюбился. Он уже давно, лет десять тому назад, оставил всякие любовные глупости, пресытившись женским вниманием, которое ему давалось чересчур легко, и стал исключительно человеком дела. Но в былое время самые опытные в деле ведения интриг, прошедшие сквозь огонь и воду женщины всегда говорили, что в нем есть «что-то магнетическое».

Действительно, он тогда в своих желаниях не признавал препятствий: чем больше их было, тем сильнее разгоралось в нем желание достигнуть заветной цели, и он смело шагал через них, обольщая дерзостью и поработывая слабую волю женщины своей дикой, необузданной волей. Но как только цель бывала достигнута, ему становилось скучно; впереди рисовались другие заманчивые перспективы, иные соблазны. И судьба, как будто умышленно, покровительствовала ему, все предприятия этого человека носили на себе печать необыкновенного успеха. Он играл, рискуя последним, и всегда был баснословно счастлив; ударился в коммерческие предприятия и неожиданно для всех разбогател. В любви, как и во всем остальном, он не знал проигрыша, но шатание по женским сердцам интересовало его только до тех пор, пока он не убедился, что, в сущности, нового ни в одном из них не встретишь.

А теперь перед ним, как живой, стоял нежный образ бледной девушки, с синими прозрачными глазами и пленительным голосом, и он не знал, как к нему приступить, с чего начать.

– Нет, врешь, я тебя пересилю, – озлобленно шептал уже на рассвете Кашперов, весь охваченный взрывом запоздалой любви, – я заставлю тебя! Пусть ты чиста, я в тебе разбужу такие инстинкты, в которых ты сама себя не узнаешь!

Он говорил эти слова, полные безумной страсти, и в то же время ни одной секунды не верил себе, а в душе его грустный голос пел: «Ах, не блещу я красотой!»

V

Почти во всяком городе, среди так называемого «общества», есть личности, которые хотя и пользуются всеми внешними знаками уважения, но существование которых, подверженное разным неожиданным превратностям, не может не быть подозрительным даже для самого близорукого наблюдателя. Конечно, никто даже в мыслях не подумает назвать их «темными личностями», потому что темная личность ходит обыкновенно в отрепьях, одна штанина навыпуск, другая – в сапоге, говорит возвышенным слогом, называя себя благородным офицером, пострадавшим за правду, и не выдерживает более двух секунд внимательно устремленного на нее взгляда. Но зато каждый мирный обыватель, который вчера только видел одного из них в самом бедственном положении, а нынче застаёт его в шикарном ресторане, бросающего без счета совершенно новенькими кредитками, невольно начинает терзаться смутной мыслью: не придется ли ему, ни в чем не повинному обывателю, и даже в самом непродолжительном времени, расплачиваться за этот бесшабашный кутеж?

К числу таких загадочных личностей принадлежал Павел Афанасьевич Круковский, у которого вечером на второй день Нового года собралось все, что было хоть немного похожего на интеллигенцию в городе Р*. Павел Афанасьевич давал такие вечера раза четыре в год, иногда положительно без всякого повода, и нигде с таким удовольствием не веселилась молодежь, нигде за ужином не лилось столько шампанского и нигде после ужина не велась такая сумасшедшая игра, рассказы о которой долгое время ходили потом по всей губернии, как у него. Между тем никто из посещавших вечера Круковского никогда не мог бы дать себе отчета, на какие средства все это делается. Правда, Круковский уверял, что у него в Пензенской губернии есть огромное имение, куда он на будущий год собирается уехать, потому что «нельзя же полагаться на подлеца управляющего», но это доброе намерение так и оставалось всегда невыполненным. Его изредка видали на бирже, озабоченно шепчущимся с «зайцами», видали за карточным столом, где он выигрывал и проигрывал совершенно хладнокровно огромные

суммы, но каков был специальный род его занятий, оставалось покрыто непроницаемым мраком неизвестности.

На этот раз съезд у Круковского был громадный: трое городских работали в поте лица перед его домом, тщетно стараясь восстановить порядок, беспрестанно нарушаемый подъезжающими каретами, «семейными» санками и такими экипажами, не известными нигде – кроме Р-ской губернии, для которых нет названий ни на каком языке.

Из ярко освещенных окон неслись красивые звуки военной музыки, игравшей веселую польку, в окнах виднелись, привлекая внимание толпы, собравшейся на улице, разряженные фигуры гостей.

К крыльцу подъехали низенькие сани Кашперова. Кучер едва сдерживал великолепного черного рысака, который храпел, косясь испуганным глазом на сияющий подъезд, и в нетерпении бил передними ногами.

Сергей Григорьевич быстро выскочил из саней и помог выбраться сначала Зинаиде Павловне, а потом дочери.

Это был первый бал, на который Зинаида Павловна уговорила поехать свою воспитанницу. Лиза ужасно волновалась. При одеванье, всегда сдержанная с прислугой, она закричала на горничную, неловко затягивавшую шнуровку корсета, а когда Сергей Григорьевич, совсем уже одетый, крикнул через дверь, что пора ехать, ею вдруг овладел такой страх, что она в изнеможении опустилась на стул. Всю дорогу девочка ехала молча, тревожно выглядывая из-под окутывавшего ее большого коврового платка. Теперь же, когда, слегка вздрагивая от волнения и не прошедшего еще ощущения холода, она раздевалась в уборной, страх совершенно неожиданно исчез. Блеск и шум, господствовавшие в уборной, смешанный запах разных духов, красивые туалеты дам, подмывающий мотив польки, глухо доносившийся сверху, – одним словом, вся эта опьяняющая атмосфера первого бала лихорадочно оживила Лизу, и когда она в сопровождении Зинаиды Павловны входила в залу, то какое-то внутреннее ощущение говорило ей, что она чрезвычайно мила в эту минуту. Действительно, ее заметили и в один миг расхватили у нее все танцы... Усталая, задыхающаяся, со сбившимися волосами, она сияла счастливой улыбкой и едва только присаживалась на место, как новый кавалер увлекал ее в круг танцующих.

Зинаида Павловна с удовольствием следила глазами за своей любимицей. Она знала, что ее, одетую чуть ли не в домашнее простенькое платьице, бледную и некрасивую, никто не станет приглашать (она привыкла к этому еще в институте), и потому скромно заняла один из тех дальних уголков залы, которые самой судьбой предназначены для разного рода безличных существ: маменек в невозможных чепцах и озлобленно зевающих наперсниц. Успех Лизы искренне радовал Зинаиду Павловну, но хотя она и была чужда мелочной завистливости кисейных барышень, тем не менее не могла избавиться от грустного сознания, что ей не место среди этого праздника красоты и молодости, счастливых улыбок, нежных фраз, грациозных, согласных движений.

Какой-то пестрый «молодой человек», по всем признакам мелкий канцелярский чиновник с дряблым, испытанным лицом, украшенным нафабранными усами и огненным галстуком, потеряв случайно даму на кадрили, разлетелся впопыхах к Зинаиде Павловне и пригласил ее, но, увидев незнакомое лицо, скучное и некрасивое, в смущении заегозил на месте. Это не укрылось от Зинаиды Павловны, и едва только она отказала акцизнику, он радостно вздохнул и побежал дальше той развязной иноходью, которая до сих пор еще употребляется на вечерах провинциальными «львами» как несомненный признак щегольства и хорошего тона.

– Зинаида Павловна! Наконец-то я нашел вас! – раздался над нею приветливый голос.

Она вся радостно вздрогнула и подняла голову: перед ней стоял, дружелюбно улыбаясь и протягивая руку, Аларин. Он был удивительно хорош в эту минуту; безукоризненного покроя

фрак ловко обрисовывал его изящную фигуру, черные волосы живописно вились вокруг его красивого открытого лица.

Зинаида Павловна вспыхнула от неожиданного прилива громадного, еще ни разу не изведанного счастья. Этот красавец, постоянный предмет ее ночных девических грез, о мимолетной встрече с которым она вспоминала как о волшебном, прекрасном сне, опять был подле нее, все такой же обаятельный, с тем же чарующим взглядом своих черных глаз.

Она ничего не могла ответить, кроме взволнованного «здравствуйте», хотя на язык ей и просились горячие, полные восторга слова.

– Я как только увидел Кашперова, – заговорил Аларин, опускаясь рядом с нею на стул, – так сейчас же подумал, что вы здесь, но насилу мог отыскать, так вы далеко запрятались.

– Я не танцую, – ответила Зинаида Павловна, не сводя с него восхищенного взгляда.

– А наблюдаете только? Действительно, здесь для наблюдения обильная пища. Знаете ли, что меня постоянно смешит на балах? Это – страшная неестественность, которая всеми овладевает. Да и не на балах только, а и на гуляньях, в театрах, в суде, – одним словом, перед лицом публики.

– Отчего же вы думаете, что все чувствуют себя неловко? Посмотрите, вот, например, пара; разве можно предположить, что сегодняшний вечер не самый веселый в их жизни? – И Зинаида Павловна указала глазами на полную даму с лицом пожилой певицы или цыганки из кафешантана, одетую в розовое шелковое платье, вырезанное до последних границ приличия, проходившую под руку с высоким бакенбардистом в очках и заливавшуюся непринужденным хохотом.

– Вот вы и ошиблись, – возразил Аларин, – у этой пары на уме вовсе не смех, а самое пылкое желание вцепиться друг другу в глаза. Дама в розовом платье, видите ли, жена нашего исправника, а ее кавалер – здешний прокурор. А прокурор и исправник поклялись взаимно в такой непримиримой вражде, что если даже опустеет весь мир, то они все-таки не перестанут истреблять друг друга до тех пор, пока от обоих не останутся только кончики хвостов. И выходит, что этот заразительный смех – те же крокодиловы слезы!

– Ну, это, положим, частный случай; но поглядите кругом, разве вы мало видите веселых лиц?

– Уверяю вас, настоящего веселья нет ни капли, все это страшно фальшиво и натянуто. Человек улыбается и заботится о том, чтобы его телячья улыбка произвела впечатление, разговаривает и старается делать грациозные жесты. Посмотрите, вот идут два офицера, – ведь они как будто горячо спорят между собою о чем-то, а, в сущности, оба городят страшный вздор и изо всех сил стараются привлечь на себя общее внимание. Ну разве бывают у людей, собравшихся повеселиться, такие выпяченные груди и такая неправдоподобная походка? Так ведь только ходят короли и военачальники в операх...

Зинаида Павловна поглядела на офицеров и не могла не улыбнуться удачному сравнению Аларина.

– Однако же вы беспощадны, Александр Егорович. Неужели вы надо всеми так зло издеваетесь? – спросила она.

– Надо всеми, потому что это – лучшее средство не быть никогда самому осмеянным.

– Но для чего же вы бываете на балах, если они в вас ничего, кроме насмешки, не возбуждают?

– А вот именно для того, чтобы посмеяться; так или иначе, а это похвальное желание свойственно каждому из нас, грешных. Но, кроме того, меня тянет еще вон та комнатка, в которой можно испытать самые сильные ощущения в мире, – и Аларин показал рукой на растворенные двери кабинета, где среди облаков дыма виднелись солидные фигуры почтенных представителей дворянства, чинно сидящих за зелеными столиками.

– Неужели вы играете в карты? Ведь это, должно быть, ужасно скучно?

– Я играю только в азартные игры.

– Какие это азартные? Объясните, пожалуйста, я не понимаю.

– Самый простой способ наживы: я беру в руку сторублевую кредитку, подхожу к вам и говорю: «В какой руке?» Вы говорите: «В правой». Угадали – сторублевка ваша, не угадали – позвольте мне столько же. Это, собственно говоря, идея, но, конечно, умные люди додумались до множества вариантов ее и даже до целых теорий о счастье!

Зинаида Павловна широко раскрыла глаза.

– Но ведь это возмутительно, – произнесла она, пораженная его объяснением, – это... извините меня, пожалуйста, но ведь это похоже на грабёж... А если я увлекусь, проиграю больше, чем у меня есть?

Аларин заметил ужас Зинаиды Павловны, и им овладело желание порисоваться.

– Разные бывают способы, – ответил он, щеголяя напускным хладнокровием, – некоторые предпочитают в этих случаях спастись бегством, другие – пускают себе в лоб пулю... Да вообще сильные ощущения даром не даются, – человек во время игры становится самым опасным из всех диких зверей.

– Господи, неужели и вы?..

– Зинаида Павловна, не судите меня так строго: вам жизнь – новинка, а между тем она так мелка, так ничтожна, так бедна чем-нибудь шевелящим воображение... А в игре – страсть!.. Каждый нерв живет... чувствуешь биение каждой жилы... И вовсе не деньги влекут... а счастье, счастье, одно только милое, нелепое счастье. Ведь я – добрый человек, я готов со всяким нищим поделиться, но вы не поймете, что это за необъяснимое блаженство – пустить в один вечер по миру два или три почтенных семейства.

При последних словах Зинаида Павловна побледнела.

– Не говорите так, Александр Егорович, прошу вас, – сказала она с грустным упреком, – вы не можете быть таким... вы клеветаете на себя!..

Аларин поглядел на нее с изумлением: от него не ускользнули ни ее бледность, ни то глубокое чувство, с которым она произнесла эти слова.

– Да вы не подумайте, Зинаида Павловна, – воскликнул он веселым, добродушным голосом, – что я какой-нибудь драматический злодей... я просто, как художник, увлекся картиной, и больше ничего. Пойдемте танцевать вальс!

И он встал, приглашая ее красивым поклоном.

Аларин прекрасно вальсировал. Зинаида Павловна совершенно отдалась в его волю, и они быстро закружились под плавные, упоительные звуки. Ей казалось, что горевшие по стенам бра сливаются в один громадный огненный круг... голова кружилась... глаза ничего не различали. Она чувствовала на своих волосах горячее, прерывистое дыхание Аларина, чувствовала его сильную руку, плотно лежащую на ее талии. Какие-то волны блаженства подняли и несли ее все выше и выше... Это было какое-то чудное, сладкое забытие, – состояние, подобного которому она еще никогда не испытывала.

– Мерси! – едва могла, наконец, проговорить Зинаида Павловна, еле дыша от утомления. – Пожалуйста, уведите меня куда-нибудь из зала, здесь ужасно душно.

Они пошли по направлению к дверям, но вдруг Зинаида Павловна, как будто вследствие внезапного толчка, который испытывает человек, если ему упорно глядят в затылок, быстро обернулась назад.

Из глубокой амбразуры окна на нее жадно и пристально смотрели два сверкающих глаза. Девушка вся сжалась от ощущения инстинктивного страха и, прильнув к локтю своего кавалера, торопливо прошептала:

– Ради Бога, скорее... скорее...

Они дошли до маленькой, никем не занятой гостиной. В этой комнате, заставленной роскошной мягкой мебелью и залитой розовым полусветом, струившимся из висячего фонарика, было тихо и прохладно.

– Чего вы так испугались, Зинаида Павловна? – спросил Аларин, когда они уселись на диван. – Я начинаю предполагать здесь что-то таинственное. Может быть, вам понадобится, как в старинных сказках, храбрый рыцарь, который избавил бы свою даму от каких-нибудь магических чар?

Он видел замешательство Зинаиды Павловны и хотел разогнать его веселой шуткой.

– Благодарю вас, – ответила она, все еще не оправившись от овладевшего ею волнения, – мне просто стало очень нехорошо, потому что я отвыкла от вальса... – И вдруг у нее совершенно неожиданно сорвалось с языка: – Кроме того... эти ужасные глаза...

«Ага! – подумал Аларин, – стало быть, действительно что-то есть», – и он спросил серьезно и значительно:

– Помните, Зинаида Павловна, наш уговор?

– Какой уговор?

Она отлично знала, что напоминает Аларин, но ей казалось, что если бы она ответила прямо, то ее тон выдал бы то радостное волнение, которое охватило ее при этом вопросе.

– Когда мы прощались после нашей первой встречи, вы обещали обратиться ко мне в затруднительных обстоятельствах. Может быть, это время уже настало?

– Не... не знаю, – тихо ответила она, опустив низко голову.

– Значит, я не ошибся, Зинаида Павловна! Скажите мне правду: ответите ли вы на один мой вопрос?

Она уже чувствовала, что он понял ее, знала даже, в чем будет заключаться его вопрос.

«Если верно, то «да», – подумала она про себя, не сознавая, впрочем, ясно, в чем будет заключаться это «да».

– Хорошо, я отвечу вам, – сказала она, с замиранием сердца ожидая вопроса.

Аларин произнес только одно слово:

– Кашперов?

«Да!» – пронеслось быстрее молнии в голове Зинаиды Павловны, но она не сказала ни одного слова, а только еще ниже опустила свое лицо, загоревшееся ярким румянцем. Ей казалось, что Аларин читает в сокровенных тайниках ее души.

Прошло несколько минут в молчании.

– Он преследует вас? – спросил Аларин, стараясь произнести эти слова по возможности мягче и деликатнее. – Давно?

Зинаида Павловна не могла больше сдерживаться и, нервно сжав руки, так что ее тонкие пальцы хрустнули, горячо заговорила:

– Я не знаю, что ему надо от меня! С того несчастного вечера, когда я играла на рояле и пела что-то из «Фауста», он не дает мне покоя. Он ничего не говорит, да и не может сказать, потому что я избегаю его... но он смотрит на меня такими ужасными глазами, что у меня теперь постоянно предчувствие чего-то очень нехорошего... Я боюсь этого человека, – добавила она дрогнувшим голосом.

– Я понимаю вас, – задумчиво сказал Аларин. – Но вы, должно быть, с самой первой встречи отнеслись к нему сухо и враждебно?

– Да.

– Это ничего доброго не обещает. Кашперов один из тех людей, про которых Гейне сказал: «Сударыня, если вы хотите заслужить мою любовь, то должны обращаться со мной, как с канальей!» Их тянет к себе только невозможное, а препятствия еще сильнее раздражают. Мой искренний совет вам: ехать как можно скорее домой. Кашперов – такая сила, с которой считаться вам, слабой и нежной девушке, – трудно. Я знаю, что ни с вашей, ни с его стороны

никакие компромиссы немислимы, а чем может все это кончиться – трудно даже предположить... Уезжайте, ради Бога, скорее.

Аларин очень жалел эту девушку, которая с первой же встречи завоевала его симпатию своею незащищенностью.

– Разве я об этом не думала раньше? – возразила Зинаида Павловна, – но мне все как-то жаль было оставить Лизу, – девочка очень полюбила меня. Да и маму надо было бы предупредить, а то она Бог знает что подумает...

– Позвольте вам предложить одну услугу, Зинаида Павловна?

– Что такое?

– Если вам будет уж очень тяжело, черкните мне словечка два. Адрес самый простой: пристань, контора правления, такому-то... Хорошо? Я около самой пристани и живу.

Ласковый тон его голоса действовал на Зинаиду Павловну успокоительно; в нем было так много почти родственного участия.

– Нет, в самом деле, я об этом прошу вас серьезно, – настаивал Аларин. – Если нужно будет, я попрошу своих хороших знакомых приютить вас недельки на две...

И, боясь, чтобы она не нашла его последние слова обидными, он добавил:

– Они рады будут для меня сделать что-нибудь приятное. Так обещаете?

– Обещаю.

– Ну, вот и отлично, большое вам спасибо за доверие... Дайте мне в залог вашу руку...

– Pardon!¹¹⁷ Я, кажется, несколько помешал вам? – раздался в дверях насмешливый голос.

Они вздрогнули и, точно пойманные в чем-нибудь дурном, быстро одернули свои руки: на пороге гостиной, заложив руки в карманы и презрительно шуря глаза, стоял Кашперов.

Бывают иногда такие внезапно обостряющиеся положения, когда люди каким-то внутренним чутьем постигают не только слова или выражение лиц друг друга, но и самые темные, сокровенные мысли... Таким образом и у этих трех людей мгновенно выяснились и определились взаимные отношения. Кашперов по устремленным на него взглядам тотчас же догадался, что речь шла о нем. Он даже знал, что именно говорилось: от него не укрылось ни участливое, растроганное лицо Аларина, ни протянутая рука Зинаиды Павловны.

Аларин, возмущенный всем только что слышанным про этого человека, поднялся ему навстречу с вызывающим взглядом, ища и не находя дерзкого ответа на насмешливо-небрежное извинение.

– Я отыскал вас, Зинаида Павловна, – продолжал Кашперов тем же тоном, – чтобы узнать, когда вам будет угодно ехать домой. Я уже отвез Лизу; у нее болела голова.

– Напрасно вы мне не сказали этого раньше, я тоже поехала бы с вами, – сухо ответила Зинаида Павловна, глядя в сторону.

– Извините, пожалуйста, я не хотел мешать вашей увлекательной беседе с господином Аларьевым, – умышленно переврал Кашперов фамилию Александра Егоровича.

Аларин хотел бросить ему гневное замечание, но самоуверенная, спокойно-дерзкая манера Кашперова совершенно парализовала его обычную смелость и находчивость.

– Потрудитесь отвезти меня, – сказала Зинаида Павловна и пошла из гостиной, сопровождаемая Кашперовым, который предварительно отвесил Аларину насмешливый поклон.

Но у дверей она вдруг остановилась, как будто что-то припомнив, и, быстро повернувшись, подошла к Александру Егоровичу.

– Прощайте, – произнесла она быстрым шепотом. – Пожалуйста, исполните мою просьбу, не играйте сегодня. Это для меня очень, очень важно... – И вдруг, взглянув ему прямо в глаза, с порывом внезапной страсти она прибавила: – Ради Бога, родной мой, у меня сердце за вас беспокойно...

¹¹⁷ Извините! (фр.)

Аларин был поражен ее словами. «Что с ней случилось? Неужели это любовь? – подумал он, следя глазами за удаляющейся девушкой. – Вот чего я никак не ожидал!» И, пожав плечами, Александр Егорович медленными шагами направился в карточную комнату.

VI

Едва только успел Кашперов усестыся в сани и застегнуть полость, как застоявшийся и промерзший на холоде рысак, которого уже не в силах был сдерживать бородастый кучер, рванулся вперед всей своей могучей грудью, и целая туча искристой морозной пыли в одно мгновение обдала лицо Зинаиды Павловны.

– Гони! – крикнул Кашперов, когда сани выехали на широкую безлюдную улицу.

Кучер быстро нагнулся вперед, пустил вожжи, гикнул, и рысак понесся, как бешеный, вскидывая широким крупом и покачивая высоко поднятой головой.

Это был тот самый знаменитый Барс, который взял два первых приза на московских бегах. Он ни одного движения не тратил даром; со страшной силой выбрасывая вперед саженными взмахами свои длинные, в белых чулочках, ноги, жеребец точно расстился по земле и нес, как игрушку, легкие сани. Комья грязного снега далеко летели из-под его копыт, с дробным стуком разбиваясь о передок. Ветер свистал в уши и захватывал дыхание. Пустынные улицы тонули в темноте зимней ночи и казались какими-то совсем незнакомыми, широкими и бесконечными. В этой сумасшедшей езде среди тишины и мрака было что-то и жуткое, и веселое, и таинственное.

– Куда вы везете меня, Сергей Григорьевич?.. Я просила вас отвезти меня домой!

– Теперь это вам уже решительно все равно, – ответил со смехом Кашперов, – мне нужно было украсть у вас несколько минут... Я вас не выпущу.

В тоне его голоса слышалось злое торжество успеха.

– Сергей Григорьевич, – воскликнула Зинаида Павловна, – я, по крайней мере, считала вас до сих пор за честного человека... Если вы что-нибудь позволите себе, я выскочу из саней!

– Нет, не выскочите, – возразил Кашперов и вдруг крепко охватил ее талию. – Не выскочите! Вы – в моей власти! Я давно ждал этой минуты... Я знаю, вы завтра же оставите мой дом, но сегодня вы – моя...

Он говорил неразборчиво, точно пьяный, задыхаясь от страшного волнения.

– Пустите меня, слышите, сейчас же пустите! – крикнула Зинаида Павловна, тщетно стараясь освободиться из железных рук своего спутника. – Это бесчеловечно, пустите меня, говорю вам!.. Я не хочу!..

– Не пу-щу! – резко отчеканил он сквозь стиснутые зубы. – Вы не понимаете, что значит разбудить такого зверя, которого вы заставили проснуться во мне. Нет? О! Я не похож на того сладкого студентика, с которым вы сейчас так нежно ворковали. Если я поклялся, что вы будете моей, то отдам жизнь, пойду на каторгу, уничтожу всякого, кто станет мне на дороге, а вы все-таки будете моею... Да, моей! Слышите ли: моей любовницей, моей вещью...

И вдруг, сразу переменив этот страстный тон, он заговорил медленно и тяжело, как человек, истомленный долгим страданием:

– Не верьте, Зинаида Павловна, тому, что я сейчас говорил. Это – страсть... Здесь нет ни одного слова, которое бы принадлежало мне! Пожалейте же меня! Ведь вы – женщина, у вас сердце доброе. Отчего же вы надо мной-то не хотите сжалиться? Если бы вы знали, как я люблю вас! Ах, да где же вам понять это! Это – не любовь даже, это – ад, это – такая дьявольская мука, о которой вы, чистая, невинная, даже представления не можете иметь! Так слушайте, я вам все расскажу... Вы пели тогда... Поймите, этот мотив не оставляет меня... точно кто выжиг его огнем в моей памяти... И ночью, и днем, и за работой мне мерещится ваш голос. Если бы вы не избегали меня, если бы хотя даже просто оставались ко мне совершенно равнодушны,

ничего и не случилось бы! Но я увидел одно только отвращение. Да, я был противен вам. И началось... И чем больше вы боитесь меня, чем гаже я для вас становлюсь, тем...

Кашперов, говоря эти странные слова, все ближе и ближе привлекал к себе слабое тело Зинаиды Павловны и вдруг, прикоснувшись пылающими губами к ее холодной щеке, совершенно обезумел. Он свободной левой рукой отогнул назад голову Зинаиды Павловны и впился в ее губы страстным, продолжительным поцелуем. Она пробовала сопротивляться, кричать, но мало-помалу воля этого человека совершенно обессилила ее... Ей стало душно... кровь прилила к внезапно закружившейся голове... Пред глазами со страшной быстротой завертелись громадные огненные круги, и ею овладело какое-то полное фантастических грез забытье, похожее на гипнотическое состояние или на бред морфиниста.

«Что со мной? Где я? – пронеслись в ее голове обрывки мыслей. – Зачем он держит меня так близко? Ах да! Это – вальс с Алариным. Какие у него чудные глаза... глубокие-глубокие... можно в них глядеть целый день и не добраться до дна... Боже мой... так близко... так жутко... Милый, еще, еще!..»

И она, вздрагивая под жгучими поцелуями Кашперова, покорно опустила ему на грудь свою голову.

– Дорогая моя, деточка милая, – шептал еле слышно Сергей Григорьевич, трясаясь, точно в ознобе, – не отталкивай меня!..

Кашперов взглянул в лицо Зинаиды Павловны; ее глаза были полузакрыты, губы, на которых блуждала томная улыбка, шептали непонятные слова.

Одна мысль, точно молния, мелькнула в голове Кашперова.

– Слушайте! – сказал он резким, повелительным тоном, грубо освобождая девушку из своих объятий. – Вы думаете об этом инженере?

Зинаида Павловна мгновенно очнулась и произнесла спокойно и твердо:

– Да, я думала о нем.

– Ступай домой, – крикнул Сергей Григорьевич кучеру, – живо!

Всю дорогу Кашперов и Зинаида Павловна не сказали ни одного слова, и, как только кучер сдержал перед подъездом взмыленного Барса, она поспешно вышла из саней, не воспользовавшись протянутой рукой Сергея Григорьевича. Она быстро бежала по лестнице, торопясь добраться до своей комнаты, но он догнал ее в полутемной гостиной и остановил, крепко схватив за руку. Он был страшен в эту минуту, с глазами, сверкающими бешенством, и с багровыми пятнами на щеках.

– Я вас в последний раз спрашиваю, – проговорил он, с усилием выпуская одно слово за другим, – будете ли вы моей добровольно? Не делайте глупостей... Вы – нищая, вы еще не знаете цены деньгам, я осыплю вас ими... Я вас повезу за границу, и вы со своим голосом приобретете славу!.. Я отдам вам все... все, что у меня есть... Не доводите меня до крайности... В этой комнате вашего крика ни один дьявол не услышит.

– Вы – подлец! – едва могла произнести Зинаида Павловна, чувствуя уже приближение обморока. – Вы... мне... противны!..

– А-а! Противен?

И с диким воплем, ничего уже не видя, не слыша и не сознавая, Кашперов рванулся к ней, обвинил ее своими могучими руками и вдруг остановился точно вкопанный: в дверях, высоко подняв над головой горящую свечу, стояла Лиза, с ужасом глядя на происходящую пред ней картину.

Кашперов скрипнул зубами и выбежал из гостиной.

– Зиночка, что с вами? – вскрикнула Лиза, подбегая к своей гувернантке.

Но Зинаида Павловна уже ничего не слыхала. Все помутилось перед ее глазами, быстро пронеслось в какую-то бездонную пропасть, и она упала, крепко ударившись головой о паркет.

В то самое время, когда происходила эта безобразная сцена, к дому Круковского подъезжал, страшно волнуясь и ежеминутно подгоняя извозчика, Александр Егорович Аларин. Ему все казалось, что лошадь бежит слишком медленно, и он, чтобы обмануть свое нетерпение, изо всех сил старался помогать ей, упираясь руками в облучок. Как только извозчик остановился перед подъездом, Аларин быстро соскочил, сунув ему в руку первую попавшуюся ассигнацию. «Ванька» долго в немом изумлении следил за своим седоком, взбегающим по лестнице, и вдруг, как ошалелый, принялся нахлестывать клячонку.

Как только уехала с вечера Зинаида Павловна, Аларин, несмотря на всю свою выдержку, которой он так хвастался, проиграл все наличные деньги. Но ему не хотелось отходить от стола; он верил в повороты счастья и продолжал играть уже на запись до тех пор, пока банкомет не заметил с неудовольствием:

– Пришлите, за вами ровно тысяча!

Александр Егорович, краснея, стал просить подождать полчаса. У него не было больше ни копейки своих денег, и он уже мысленно решил заплатить эту тысячу из тех казенных денег, которые лежали в его шкатулке на квартире.

«Займу завтра у жида, пополню», – думал он, упрашивая банкомета об отсрочке.

Аларин, как сумасшедший, прилетел домой, вынул из-под кровати большую несгораемую шкатулку и стал отпирать ее. Но рука дрожала, и ключик никак не хотел попасть в замочную щелочку. Наконец Аларину удалось сделать это; он ощупью отыскал пачку с казенными деньгами и развернул ее. Надо было зажечь огонь, потому что в комнате со спущенными шторами была непроницаемая темнота, а спички, как нарочно, не находились.

«А, не один ли черт!» – решил, рассердясь, Аларин и, сунув всю толстую пачку в боковой карман сюртука, поспешно отправился в дом Круковского.

Александр Егорович вошел в игральную комнату и со странным чувством окинул ее глазами. Столы, исчерченные мелом, запах табачного дыма – все это неприятно поразило его после того, как он успел подышать свежим воздухом.

Вокруг одного из столов сбились в кучу, следя в жадном молчании за руками банкомета, десять или двенадцать игроков с бледными, измятыми лицами, которые казались совсем мертвыми при слабом утреннем освещении.

Метал сам Круковский, невысокий, худой, но крепкий, как сталь, и жилистый мужчина, совершенно неопределенного возраста. Он был плешив, и все его лицо было изборождено глубокими морщинами, но ясные голубые глаза навывкате глядели смело и твердо. Он мог проводить без сна, в самых страшных попойках и бесчинствах, несколько ночей напролет и ничуть не изменяться в лице: природа отпустила ему громадные силы.

Увидя подошедшего Аларина, Круковский, не прерывая талии, быстро вскинул на него взор и кивнул головой. Он уже по лицу знал, что Александр Егорович привез деньги, и даже больше, – что он будет отыгрываться.

Действительно, Алариным внезапно овладело страстное желание отыграться.

«Не может же быть, чтобы мне теперь не повезло, – соображал он, – счастье идет полосами... Я должен вернуть свое... и баста!»

И ему живо представилось, какое будет счастье, если он избавится от тяжелой необходимости платить казенными деньгами. «Господи, только бы тысячу воротить, больше и играть не буду, – проносилось в его голове. – Ах, какое было бы наслаждение уехать из этого вертепа и лечь спать со спокойной совестью!»

Аларин долго глядел на игру, бледнея и вздрагивая от волнения: он уже знал, что будет играть, но старался продолжить то жгучее ощущение, которое испытывает страстный игрок, имеющий возможность поставить крупный куш и медлящий сделать это.

«Начну с тридцати рублей, – думал Александр Егорович, – конечно, возьму, затем угол и десять мазу, а потом мирандолями и мирандолями... две карты маленьких, две больших...»

Круковский стал тасовать карты для новой талии и искоса кинул взгляд на Аларина.

– Сколько в банке? – спросил Александр Егорович таким внезапно охрипшим голосом, что все игроки обернулись к нему.

Круковский пристально посмотрел ему в глаза и, переставая тасовать, сказал:

– Послушайте, Аларин, я не советую вам играть.

– Как не советуете? Что вам до меня за дело? – возразил Александр Егорович резким тоном, но невольно опуская взор.

– А то, что есть известная примета: кто отыгрывается или рискует на казенные, – всегда проигрывает.

Он произнес это внушительно и отчетливо, продолжая так же внимательно глядеть в глаза Аларину. Круковский вовсе не хотел, чтобы Александр Егорович отказался от игры, но ему нужно было, чтобы он публично, при свидетелях, признал принесенные деньги своими.

Расчет был совершенно верен, потому что Аларин густо покраснел и сказал с деланой иронией:

– Я думаю, вы не сомневаетесь, что деньги принадлежат мне?

– Спаси Господи! – хладнокровно отпарировал Круковский, уже окончательно убедившись, что Аларин взял казенные деньги. – Я просто вижу, что вы хотите отыграться, ну, и сообщаю вам мудрое житейское правило: не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался. А впрочем, как угодно-с... В банке около четырех тысяч.

«Красные – сто, черные – двести», – подумал Александр Егорович и снял с колоды несколько карт. Вышла красная...

И вдруг среди мертвой тишины глухо, но явственно раздался его голос: «Ва-банк!» – и он вытащил из колоды карту, стараясь сам не видеть ее.

– Со входящими? – спросил совершенно хладнокровно Круковский.

– Ва-банк! – озлобленно повторил Аларин.

Банкомет перевернул колоду; Александр Егорович посмотрел на свою карту: оказалась дама бубен, и в его уме почему-то быстро мелькнул и скрылся образ Зинаиды Павловны.

Круковский отчетливо выкидывал каждую карту, пристукивая по столу костяшкой среднего пальца, и с каждым ударом сердце Аларина крепко и болезненно билось об грудную клетку, а в виски, точно два громадных молота, ударяли попеременно: «бита, дана, бита, дана».

– Бита! – шумно вырвалось у всех зрителей.

– А-а! – медленно протянул Аларин, и им сразу овладело безразличное спокойствие...

VII

Александр Егорович проснулся в два часа дня и долго не мог сообразить: утро теперь или вечер. Он лежал на кровати во всей той одежде, которая была на нем вчера; голова, точно налитая ртутью, страшно болела, глаза, с красными от утомления веками, мигали и слезились от света, во рту ощущался какой-то неприятный вкус... Сердце Аларина тревожно ныло ожиданием большого несчастья, но он никак не мог припомнить, что такое с ним вчера произошло, и усиленно тер переносицу.

Случайно его взгляд упал на шкатулку: она, как была ночью вытащена из-под кровати, так и лежала, раскрытая, на середине комнаты. Возле валялись лист газетной бумаги и конец английского шпагата, которым были обмотаны деньги.

Аларин в один миг, точно кто толкнул его, с поразительной ясностью припомнил до мельчайших подробностей картину своей последней ставки: грязная комната, совершенно залитая ослепительно-яркими лучами холодного зимнего солнца, десяток желтых лиц, нагнувшихся над столом с хищно сверкающими глазами, проклятая пятерка червей с надломленным углом и спокойный, ненавистный голос, медленно произносящий: «Больше не мечу... Не угодно ли,

господа, кому-нибудь занять мое место?» Аларин вспомнил еще, как он тотчас же после этого бессмысленно рассмеялся и начал хвастливо уверять, что хотя он и проиграл уже одиннадцать тысяч, но что ему «наплевать» и что сильные ощущения даром не даются... Но этот деревянный смех и эти нелепые слова принадлежали не ему, не Аларину, а как будто совершенно чужому, незнакомому человеку; настоящий же Аларин слушал с трепетом самого себя, между тем как истерические спазмы душили его горло. Игроки, толпившиеся вокруг стола, глядели на его судорожную развязность, близкую к умопомешательству, с тем холодным и вполне безучастным любопытством, с которым некогда смотрели римские гладиаторы на смерть своих товарищей.

Потом откуда-то появилось шампанское, кого-то поздравляли и кричали «ура». Каждый из присутствующих с жадностьюпил, точно желая забыться от долгого созерцания целых ворохов кредиток, переходивших в одно мгновение из рук в руки.

Пил и Аларин... Он теперь, точно сквозь сон, вспоминал, как с пьяными слезами он лез целовать Круковского и божился, больно ударяя себя в грудь кулаком, что проиграл казенные деньги, а Круковский с неожиданно вспыхнувшим взором резко оттолкнул его и сказал: «Ты бы, братец, домой ехал спать, а не болтал пустяков!» Затем все впечатления слились, перед глазами заколыхался какой-то синий туман, и больше он ничего не помнил.

Пока все эти бессвязные сцены проносились перед глазами Аларина, он сидел в оцепенении на своей кровати и, не отрываясь, глядел в угол. Какая-то громадная тяжесть обрушилась на него, завладела всем его существом и сковала ледяным холодом ужаса все его нервы, все умственные способности... Это было состояние, похожее на кошмар, когда человек чувствует, что ему что-то надо сделать, бежать или крикнуть, но язык онемел, ноги не могут шевелиться, а грозящая опасность надвигается все ближе и ближе.

– Что же это такое? – растерянно шептал Аларин, вперяя в какую-то далекую точку свой неподвижный, точно стеклянный взгляд. – Неужели все, все пропало? И честь, и молодость, и свобода!.. Неужели мне, Александру Егоровичу Аларину, такому славному и красивому молодому человеку, на которого всегда с удовольствием заглядывались женщины, – неужели мне теперь всякий писарь, всякий уличный бродяга может сказать в глаза: «Ты – вор! Да, ты – вор, потому что украл казенные деньги»? Да нет же, нет! Это – неправда! Я никогда чужой копеечкой не воспользовался; я, когда еще мальчишкой был, куска сахара не брал без спросу... я – не вор! Вор крадет из нужды или из нежелания работать, вор крадет каждый день, и если его выбрасывают из общества, то это так и нужно, потому что иначе никто спокойно не мог бы спать. Разве я похож на вора? На меня только вчера нашло проклятое затмение, но я остался тот же, мне ничто не мешает жить со всеми и приносить свою долю пользы... Не смейте отворачиваться от меня! О Господи, помоги же мне, помоги! Устрой так, чтобы все это был сон, ужасный... ужасный сон! Я сейчас проснусь... все окажется по-прежнему... Ну вот, я просыпаюсь...

И, жадно ухватившись за последнюю мысль, он, как безумный, кинулся к шкатулке, вывернул на пол все заключавшиеся в ней бумаги и письма и принялся перерывать их дрожащими руками. Ему на глаза попалась прежде всего довольно толстая, перевязанная розовой атласной лентой пачка, заключавшая в себе целую любовную эпопею в письмах, начиная от официально-любезного приглашения к обеду и кончая теми лаконически страстными записками, поспешно набросанными неочиненным карандашом на первом попавшемся лоскутке, содержание которых не решится прочесть вслух самый испорченный человек. Все эти письма со следами слез и чернильных брызгов, пропитанные тонким запахом духов и написанные безобразнейшим почерком, принадлежали перу одной хорошенькой вдовы, очень эксцентричной и непостоянной особы, два года до безумия любившей Александра Егоровича, чтобы потом сменить его на капельмейстера гвардейского полка, которого, в свою очередь, заменил красавец бас из архиерейских певчих. Аларин часто, с тайной и сладкой грустью вспоминая прошедшее, любил перечитывать эти послания, но теперь они вдруг показались ему такими ничтожными до

пошлости, что, внезапно обозлившись, он с силой швырнул всю пачку под кровать. Он заглядывал в такие уголки шкапулки, где не только не могли уместиться одиннадцать тысяч рублей, но было трудно спрятать простой почтовый конверт. Холодный пот выступил уже давно на его лбу, ноги затекли и сильно болели, а он все стоял на коленях перед шкапулкой, в десятый раз переворачивая высыпанные вещи. Его действия были похожи на движения утопающего, который судорожно, но тщетно ищет руками какой-нибудь твердой точки.

Дверь тихо скрипнула и отворилась, и из нее показалась голова рассыльного с пристани.

– Чего тебе нужно? – закричал Аларин со злостью в голосе и в ту же минуту покраснел, как уличенный преступник: ему казалось, что рассыльному уже известно все и он понимает, чем занимался Аларин, стоя посреди комнаты на коленях.

– Письмо вашему благородию, – отвечал рассыльный, подавая Александру Егоровичу большой форменный конверт и в недоумении приготавливаясь на всякий случай к быстрой ретираде, – приказано отдать в собственные руки.

Аларин быстро оборвал края конверта. Он уже чувствовал смутно, что в этом письме кроется последний, самый страшный удар.

«Ревизионная комиссия правления просит вас пожаловать в шесть часов пополудни с имеющимися у вас на руках казенными суммами и шнуровыми книгами для производства гласной проверки».

Аларин читал с трудом, потому что буквы сливались в мутные полосы и строчки прыгали перед его глазами. Он не понял ни одной из этих казенных фраз, не мог даже сообразить, какую связь имеют они с происшествиями вчерашнего дня, но из глубины его души какой-то внутренний голос внятно и уверенно произнес «баста», и письмо вывалилось из рук.

Рассыльный сначала хотел было спросить, можно ли ему идти, но, увидев, что впечатление произведено письмом довольно сильное, счел более благоразумным и уместным удалиться после этого опроса.

Аларин не мог стоять, потому что его ноги дрожали и подгибались; он через силу доплелся до кровати и лег. Он знал, что ему надо немедленно собрать разбегающиеся мысли, уяснить, обдумать свое положение и предпринять что-нибудь. Но рассудок совсем не повиновался; в голове царил невообразимый хаос; все, что думалось, было чрезвычайно незначительно и совершенно не относилось к делу. Аларин лежал, повернувшись лицом к стене, и машинально обводил пальцем узор, нарисованный на обоях, а перед его глазами, как это бывает после долгой игры, одна за другою ярко обрисовывались различные карты: короли грозно хмурили брови, дамы с изумленными лицами протягивали желтые цветки... Аларин даже позабыл о своем тяжелом положении, ему начало казаться, что это безразличное состояние покоя и полудремоты, лишённое всяких мыслей, продолжится навсегда. Но вскоре холод, наполнявший комнату, отрезвил его, и он мало-помалу возвратился к действительности. Мысли опять стали вертеться около необходимости принять какое-нибудь решение.

«Взять займы? Да ведь ни один дурак не поверит; ведь это не десять рублей, а одиннадцать тысяч! Всякий в глаза насмеется, да еще за сумасшедшего сочтет. Украсть? Ограбить кого-нибудь? Он, пожалуй, и таким средством не побрезговал бы, но как же это делается? Надо идти куда-то, подслушивать, подсматривать, подстергать, но куда же идти?»

– Нет, нет, все равно, надо бежать, разыскивать, хотя, может быть, и ничего не выйдет! – воскликнул Аларин, вдруг охватив мысленно всю безвыходность своего положения, и поспешно начал одеваться, не попадая в рукава пальто и страшно злясь на это.

VIII

Когда Александр Егорович вышел из дома, короткий зимний день уже потухал и на улице кое-где зажигали фонари.

Первая мысль, за которую уцепился Аларин, было пойти к Гойдбергу, известному во всем городе ростовщику, снабжавшему его деньгами в некоторые критические моменты жизни. Хотя Гойдберг и брал невозможные проценты, а Аларин был весьма неаккуратен, но и кредитор и должник никогда не имели основания жаловаться друг на друга: первый во всякое время дня и ночи готов был предложить свои услуги, а второй беспрекословно соглашался на самые трудновыполнимые условия. Александр Егорович напрасно старался отыскать в карманах какой-нибудь завалившийся двугривенный. Ему пришлось идти пешком на самый конец города, и когда он подходил к невзрачной хатенке, в которой обитал Гойдберг, то насилу держался на ногах от усталости. Прежде чем войти, он заглянул в окно. Самуил Исаакович Гойдберг, красивый, типичный еврей с умными чертами матового лица, сидел, нагнувшись над письменным столом, и внимательно заносил в какую-то очень толстую книгу длинные столбцы цифр.

Аларин на мгновение закрыл глаза, им овладела внезапная слабость духа, сердце перестало биться. Но это продолжалось очень короткое время. «Э! Не все ли равно, – подумал он, с отчаянием махнув рукой, – хуже не будет!» – и стукнул два раза в стекло. Гойдберг вздрогнул и устремил беспокойный взгляд по направлению окошка, заслоняясь рукой от света. Он долго смотрел таким образом, стараясь проникнуть в темноту ночи, и только когда Аларин повторил стук, нерешительно поднялся с места и пошел отворять дверь.

Александр Егорович вошел в комнату, стараясь казаться спокойным и самоуверенным, но от опытного взгляда ростовщика не укрылись ни бледность его лица, ни нервное движение нижней челюсти, ни тревожно бегающие по сторонам глаза. Умный еврей тотчас же понял, что этого всегда беззаботного, веселого красавца скрутили самые затруднительные обстоятельства...

Они уселись к столу и несколько минут в молчании не отрывали взоров друг от друга.

Гойдберг в своей специальности был тонким психологом и довел до виртуозности искусство незаметным, но подавляющим образом влиять на нуждающегося человека. Он никогда не начинал первый щекотливого разговора о деньгах, наблюдая лишь, как его клиент мнетя, конфузится, еле нанизывает одно на другое слова и междометия и, наконец, радостно соглашается на все предложения, чтобы только покончить с этим тяжелым состоянием неловкости.

– Видите ли, почтеннейший Самуил Исаакович, – робко начал Аларин, не выдержавший пристального взгляда и уже окончательно смущенный этим, – мне нужно... видите ли... не можете ли вы одолжить мне некоторую... небольшую сумму денег?..

Ростовщик уже по одному тону, которым было сказано «небольшую», догадался, что Аларину нужна громадная сумма, но лицо его не выдавало этого ни одним мускулом.

– Ну, зачем же не одолжить? – ответил он подобострастно. – Я вам с удовольствием могу дать сколько угодно!.. Вы такой аккуратный и никогда не торгуетесь. Дай Бог, чтобы со всеми было так приятно вести дела, как с вами. Сколько же вам надо?

И он, вопросительно глядя на Аларина, уже отпирал письменный стол, как будто приготовляясь достать вексельную бумагу...

Алариным опять овладел припадок трусости; ему почему-то показалось невозможным назвать целиком такую большую сумму, как одиннадцать тысяч рублей.

– Мне... мне... девять тысяч, – солгал он, потупляясь и одновременно с этим поняв, как нелепа была мысль обратиться к Гойдбергу.

– Гм... девять тысяч рублей? – протянул еврей, который сам не ожидал ничего подобного. – Да у меня никогда и денег-то таких в руках не бывало! – прибавил он, быстро захлопывая ящик и запирая его на ключ. – Нет, это невозможно, поищите где-нибудь в другом месте.

После такого категорического отказа Аларину сразу стало легче, и он почувствовал себя развязнее.

– Слушайте, Гойдберг, вы должны дать мне... понимаете – должны. Иначе... черт знает, что будет иначе... Я вам подпишу доверенность на все свое жалованье.

Тонкая усмешка появилась на губах еврея.

– Ну, зачем же вам надо столько тысяч?

Аларин растерялся... Он тщетно старался солгать, сочинить какую-нибудь историю; как нарочно, ни одна правдоподобная мысль не лезла в голову.

– Ах, черт побери! – воскликнул он грубо, – да не все ли тебе равно, дьявол! Давай или не давай, это твое дело, а не смей спрашивать...

– Пхе! Господин инженер думает, верно, что я – совсем дурак! Я вам говорю, поищите в другом месте, где деньги на полу валяются...

Нервы Аларина не выдержали. Кровь со страшной силой прилила к голове.

«А что, если я схвачу его за горло, – быстрее молнии пронеслось в его голове, – ни одна душа не услышит!»

И вдруг, с помутившимися глазами, ничего не чувствуя, кроме ужасного озлобления, он кинулся на Гойдберга и в один миг обвил своими гибкими пальцами его шею.

– Пойдите, пойдите, – захрипел побледневший еврей, – отпустите меня, господин инженер! Я вам дам деньги... я сейчас дам!

Аларин отнял руки, с необыкновенной быстротой перейдя от безумного отчаяния к еще более безумной радости.

– Ну, давай, голубчик, давай! Неси скорее... Ах, боже мой!.. Чего же ты меня раньше-то мучил? – бессмысленно твердил он, еле переводя дух.

Гойдберг подошел к двери, ведущей в другую комнату, и спрятался за нее так, что виднелась только одна его голова.

– Вы с ума сошли! – закричал он визгливым голосом. – Разве я осел, чтобы бросать деньги? Разве я не знаю, что вы вчера проигрались? А если вы будете орать, как пьяница, я позову полицию. Убирайтесь вон из моего дома!

Аларин вскочил со своего места, но дверь моментально захлопнулась, и когда он схватился за ручку, то услышал, как в замке зазвенел ключ.

IX

Едва держась на ногах и шатаясь, точно расслабленный, вышел Александр Егорович на улицу. Было почти совершенно темно. Холодный ветер дул ему в лицо, а он, не разбирая дороги, шел бессознательно вперед в расстегнутом пальто и криво надетой шапке, из-под которой выбивались пряди мокрых волос. Его губы бормотали бессвязные слова, и встречавшиеся с ним прохожие невольно останавливались, провожая его взорами.

Аларин дошел до бульвара и только тогда почувствовал страшную физическую усталость. Идти далее было некуда, да и зачем? Везде та же холодная, пустая темнота.

Он уселся на полузанесенную снегом скамью и замер; нелепые фантастические мысли беспорядочно теснились в его мозгу.

«Как зябнут ноги!.. И спать хочется. Никуда бы отсюда не пошел; так бы и остался здесь навсегда... Говорят, приятно замерзнуть!.. Ах, если бы и мне!.. Вот так сидел бы, сидел бы, потом заснул бы и ничего уже, совсем ничего не чувствовал бы... А завтра подойдет ко мне городской; сначала он все только сбоку будет поглядывать, а потом тронет за плечо и... отскочит. Интересно, пожалуют ли «они», когда об этом услышат!»

Аларин не сознавал ясно, кто это «они», которые услышат об его смерти, но в его воображении нарисовалась яркая картина. Он лежит в белом глазетовом гробу, и не в церкви и не у себя дома, а в той зале правления, где обыкновенно собирались всякие комиссии. Его красивое лицо бледно и торжественно-спокойно... Кругом громадная толпа... У всех на лицах жалость,

всякий как будто хочет сказать: «Вот мы не понимали его страданий, не хотели подать ему руку помощи... а теперь уже поздно... теперь он больше ни в чем не нуждается».

«Нет, зачем же умирать?.. – подумал дальше Аларин. – Лучше достать деньги... это ведь так просто... может быть, я найду на улице; другие находят же!»

Ему казалось, что он входит в ярко освещенную залу, ощущая около груди присутствие толстой пачки... За длинным столом, накрытым зеленым сукном, сидят знакомые члены правления... Все лица со злыми улыбками поворачиваются к нему... все уверенно ждут, как он упадет на колени и, рыдая, начнет молить о пощаде и оправдываться. Неуловимая тень презрения мелькает в его глазах, но губы не произносят ни одного звука. Он скрещивает руки на груди и молча слушает обвинение. Когда же один из присутствующих, ободренный его молчаливой неподвижностью, решается вставить пошлое, оскорбительное замечание, под общий смех, Аларин не выдерживает больше: крупными шагами подходит он к столу, его глаза сверкают восхитительным бешенством... Недоконченный смех мгновенно стихает, всем становится жутко... неловкий остряк робко прячется за спины своих товарищей... Александр Егорович отвечает на оскорбление громовым словом, швыряет на стол пачку денег и с гордостью навсегда отказывается от этого развратного, безобразного общества... Впечатление громадно. Все, кто только есть в зале, кидаются к нему, жмут ему руки, извиняются, просят не покидать их, уверяют в дружбе... На глазах у многих видны искренние слезы... но он, хотя и растроган общим участием, почти выбегает из комнаты.

Погрузившийся в свои грезы Аларин не слышал, что кто-то уже три раза назвал его по имени, и только когда к его плечу тихо прикоснулась чья-то рука, он весь задрожал от неожиданности и вскочил со скамейки. Перед ним стояла Зинаида Павловна. На ее лице, освещенном тусклым светом уличного фонаря, были видны тревога и нежность.

Болезненно-приятные картины мгновенно потускнели, и из-за них выглянула грозная действительность. Это раздражило Аларина.

– Что вам надо от меня? – слезливо закричал он. – Оставьте меня в покое!

После вчерашней бурной сцены с Кашперовым Зинаида Павловна окончательно решила ехать домой. Она уложила все свои вещи, но Лиза упростила ее остаться еще на один день. С самого утра Зинаида Павловна чувствовала себя плохо: тоскливое предчувствие беды сжимало ее сердце. К вечеру это угнетенное состояние так усилилось, что она, не сказав никому ни слова, тихонько оделась и вышла из дома, думая, что свежий воздух хоть немного ободрит ее. Ей пришлось пересекать бульвар. На скамейке около будки, где летом продавали сельтерскую воду, сидел какой-то человек, который уперся локтями в колени и опустил на ладони лицо. Зинаида Павловна, не отдавая себе отчета в своем поступке, движимая каким-то неясным внутренним побуждением, быстро и решительно подошла к этому человеку. Это был Аларин. Она сильно удивилась его раздражительному окрику, но не испугалась. Увидев его расстроенное лицо, услышав страдание в его голосе, она поняла, что Александра Егоровича постигло какое-то страшное несчастье.

– Зачем вы гоните меня? – спросила она с трогательной грустью. – Я знаю, что вам именно теперь нужно участие.

Она села рядом, почти прижавшись к Аларину, и осторожно положила руку на его плечо. Но ее задушевный тон, ее заботливое лицо совсем взорвали Аларина, и он грубо отодвинулся от нее.

– Ах, не надо мне вашего участия, не нуждаюсь я в нем! – почти крикнул он. – Не шубу же мне шить из вашего участия. Оставьте меня!..

– Александр Егорович, что с вами, скажите, ради Бога? Ведь не из любопытства же я спрашиваю... Может быть, я в силах...

Он истерически расхохотался.

– Ха-ха-ха! Боже мой, как все это глупо! Ну, чем же вы поможете мне, если я украл казенные деньги? А? Чем, я вас спрашиваю? Или, может быть, вы пойдете и заявите в полицию, что деньги взяли вы, а не я? Так и то вам никто не поверит...

– Александр Егорович!

– О, черт побери! Да наконец это не деликатно. Наблюдаете вы за мной, что ли? Иначе я не могу объяснить, очень ли вы наивны или уж вовсе глупы до святости.

– Александр Егорович, неужели вы... украли?

Зинаида Павловна не обиделась на его брань; ее гораздо больше мучила мысль, что он, ее бог, ее идеал, мог быть вором.

– Да вы, кажется, хотите, черт вас возьми, испытывать мое терпение?! – крикнул Аларин. – Что вам до меня? Ну да, украл... проиграл одиннадцать тысяч рублей. Ну, довольны вы? Если вам так нравится языком разводы разводиться, то выбирайте хоть другое время, а меня, пожалуйста, увольте!

Зинаида Павловна медленно поднялась со скамейки, в ее глазах показались слезы. Но Аларин уже не мог остановиться. Он только что вошел во вкус того неизъяснимого наслаждения, которое доставляется возможностью излить всю накопившуюся злобу на какое-нибудь беззащитное существо.

– И вы суетесь с помощью! Да если бы вы даже вздумали продать себя, понимаете, продать себя, то ведь никакой идиот не дал бы вам и двадцатой части того, что я проиграл в одну ставку... Что? Поняли? В другой раз, я думаю, уж не станете великодушничать...

И, неожиданно сорвавшись со своего места, он пошел по бульвару торопливыми шагами.

Зинаида Павловна глядела в ту сторону, куда ушел Аларин, до тех пор, пока в морозном воздухе совершенно не стихли его шаги.

«Куда же он пойдет теперь? – подумала она с ужасом. – Что он станет делать?» – И вдруг, точно отвечая на ее вопрос, в уме пронеслась вчерашняя самоуверенная фраза Аларина: «Некоторые предпочитают в этих случаях спасаться бегством, другие пускают себе в лоб пулю».

«Спасаться бегством? – мелькнуло у нее. – Но ведь он не побежит... он такой гордый, самолюбивый... Он не сможет и не сумеет сделать сознательно ничего бесчестного; он не унижится до того, чтобы выпутаться при помощи унижения или подлости... Значит... значит, остается второе!»

И, вся охваченная внезапным, потрясающим страхом за жизнь дорогого человека, уже позабыв те грубые оскорбления, которые он ей наносил за минуту перед тем, Зинаида Павловна почти побежала в ту сторону, где еще слышались смутно удаляющиеся шаги Аларина, но тотчас же остановилась.

«Зачем? – безнадежно мелькнуло в ее голове. – Чем я могу утешить его? Он опять так же злобно засмеется... Господи, какую страшную муку должен он испытывать! Но чем же я могу помочь ему? Если мне даже и удастся собрать какую-нибудь тысячу рублей... то ведь это будет каплей в море!.. Господи! Научи меня, просвети мой разум! Он для меня дороже всего в мире, и я ничем не в состоянии удержать его... «Пулю в лоб...» Он сам рассмеялся, когда я спросила, не могу ли помочь... О, какой это был ужасный хохот!.. «Если вы даже продадите себя...» Он не понял и не хотел поверить тому, что я с наслаждением отдала бы жизнь за него, вот сию секунду отдала бы... А что, если и в самом деле не жизнь... а... Тот ужасный человек вчера... Нет, нет, это мерзко! Это так гадко, что Аларин сам от меня с отвращением отвернется, если узнает... Разве можно отдаваться человеку, которого... да, которого ненавидишь? О нет! Это – гадость, об этом даже думать противно!..»

И Зинаида Павловна почувствовала, что ее всю охватила дрожь отвращения. Но тотчас же в ней снова заработала мысль.

«Ну так что же? Противно, и я уж испугалась... А это – самый верный путь... Лиза говорила, что Сергей Григорьевич получил утром из банка много денег... Он не задумается; он вчера говорил, что отдаст все, и, конечно, нынче от своих слов не откажется... Значит, можно еще спасти Аларина... Страшно? Но ведь я собиралась даже жизнь отдать? Жизнь отдать так легко, это даже приятно и красиво – умереть за любимого человека. Да, кроме того, кто же потребует от меня моей жизни? Значит, я хвасталась? А здесь... отдать свою честь на поругание, навеки потерять уважение любимого человека, но спасти его, – спасти от ужасной смерти, которая позором ляжет на его имя... Можно ли сделать больше? А чем тяжелее жертва, чем меньше в ней блеска и шума, тем достойнее она будет... Значит, и бесчестья нет никакого... И разве это не все, что может сделать женщина? Значит, это можно... и даже необходимо совершить!..»

Когда Зинаида Павловна дошла до последнего вывода, ей сразу стало легко, точно с ее плеч скатилось громадное, тяжелое бремя, которое долго давило ее и от которого не было возможности избавиться... И, с бесповоротно созревшим решением, она быстро пошла по направлению к дому Кашперова.

Х

Сергей Григорьевич, точно раненый лев, метался по своему кабинету. Со вчерашнего вечера он ни на одну секунду не сомкнул глаз, и чудовищные мысли, одна другой нелепее, одна другой фантастичнее, теснились в его пылающей голове. Он то вспоминал с горечью и стыдом свое вчерашнее безумное поведение, мысленно называя себя подлецом, то терзался сожалением, что устроил все так неловко и неумело, «как мальчишка, как школьник». Он осыпал проклятиями ни в чем не повинную, кроткую девушку и тотчас затем готов был молиться на ее чистый, светлый образ, всю ночь с яркостью носившийся пред его духовными очами. У него, умевшего всю свою жизнь подчинять всех своей воле, никогда не колебавшегося и всегда знавшего наперед, что ему надо предпринять в каких бы то ни было случайностях, теперь сбились в одну безобразную кучу понятия о честном и нечестном, о возможном и невозможном. И над всем этим хаосом господствовало одно тяжелое сознание того, что Зинаида Павловна уезжает из его дома, унося с собою одно только гадливое чувство к нему.

«Ну чем же можно остановить ее? – думал Кашперов, нервно шагая взад и вперед по кабинету и злобно отшвыривая ногой попадавшие по дороге стулья. – Ведь не могу же я запереть ее? Извиниться? Невозможно! – она меня и слушать не станет; она охотнее будет объясняться с бешеным волком, чем со мною. Да и я не сдержусь, я знаю... ведь от одних ее шагов меня уже бросает в лихорадочную дрожь. Разве написать ей?..»

Эта мысль была самой подходящей к теперешнему положению дела, и Кашперов тотчас же принялся за ее исполнение.

Но едва только он обмакнул перо в чернильницу, как дверь кабинета быстро отворилась. Кашперов, недовольно нахмурив брови, обернулся назад, готовясь крикнуть на вошедшего не вовремя лакея, но так и остолбенел с полуоткрытым ртом: перед ним, бледная и взволнованная, с горящими глазами, стояла сама Зинаида Павловна.

Кашперов сразу, инстинктивно догадался, что сейчас произойдет нечто особенное и неожиданное. У него захватило дыхание.

– Что с вами, Зинаида Павловна? – тревожно спросил он, поднимаясь со своего места. – Вы чем-то потрясены?

Она хотела, не медля ни секунды, сказать ему о цели своего прихода, но ее губы шевелились, не издавая ни одного звука...

«Неужели я сама скажу об «этом»? – в немом страхе думала Зинаида Павловна. – Так прямо, глядя ему в глаза... громко? Как это подействует на него? Что он скажет? А вдруг он

расхохочется мне в лицо или, может быть, как и вчера, бросится ко мне, красный, с мутными глазами, с пеной у рта?»

Однако отступить было уже поздно, и хотя сознание неизбежности объяснения ужасало Зинаиду Павловну, но она уже знала, что от принятого решения не откажется.

– Да скажите же, ради Бога, Зинаида Павловна, что с вами случилось? Не мучьте меня! – продолжал взволнованным голосом спрашивать Сергей Григорьевич, не дождавшись ответа.

Силы совершенно покинули Зинаиду Павловну, она не могла больше стоять и невольно опустилась, почти упала в кресло.

– Вот что, Сергей Григорьевич, – раздался, наконец, ее слабый, совсем больной голос, – вы вчера... предлагали мне одну вещь... Это правда... я не понимала, что значит богатство... а теперь... я согласна... Делайте со мной, что хотите. Только, ради Бога, скорей... мне нужны деньги... очень, очень много денег...

Она говорила точно в бреду, все более и более бледнея, и когда кончила, то до крови закусила нижнюю губу и с страшным выражением мольбы и отвращения на лице подняла взор на Кашперова... Их взоры встретились и, точно повинувшись какой-то очаровывающей магнетической силе, в продолжение нескольких секунд не могли разойтись... Сергей Григорьевич был бы гораздо меньше ошеломлен, если бы в этот пасмурный январский вечер над его головою ударил раскат грома... Сидевшая перед ним бледная, как смерть, девушка, которую он считал такой чистой и недосыгаемой, такой чуждой будничной житейской грязи, сама пришла к нему в комнату и предложила себя за деньги. Или, может быть, он страшно ошибался в ней? Может быть, ей уже не чуждо сознание всеисильности денег и она, как и все, пресмыкается перед ними? Неужели она, ничем не запятнанная физически, уже дошла одним своим развратным воображением до падения, до позора?..

Кашперов с напряженной пытливостью впился в глаза Зины, как будто желая ворваться через них в душу и прочесть там все, – все, до тех темных, мелькающих лишь на мгновение в человеческом мозгу мыслей и ощущений, которые, как подводные гады, шевелятся в самой глубине ее тайников.

«Сколько в ее лице страдания, – быстро пронеслось в его голове, – верно, она тяжелым путем дошла до своего ужасного поступка, путем борьбы, бессонных ночей... Понятно, ей нелегко; ведь она не знает, рассмеюсь ли я над ней или даже обойдусь, как с продажной тварью... Хорошо! Но почему же такое брезгливое выражение? Точно наступила ногой на змею... Господи! Да ведь она и не хочет скрывать своего отвращения ко мне... Нет! Это что-то не так. Точно жертва, ведомая на заклятие, да еще такая жертва, что своего палача всеми силами души презирает и вовсе не боится... А что, если действительно кому-нибудь эта жертва понадобилась, а она по своей святости обрадовалась и...»

И Кашперова неожиданно охватило злое чувство. Ему страстно захотелось грубой насмешкой оскорбить Зинаиду Павловну, отомстить и за отвращение, против воли выражавшееся на ее лице, и за острое ощущение стыда и замешательства, которое он испытывал целые сутки.

– Сколько же вам, собственно, нужно?

Вопрос был предложен холодным, совершенно безучастным тоном.

Кашперов скорее догадался по движению губ Зинаиды Павловны, чем услышал ее ответ.

– Одиннадцать тысяч? Гм... гм... у вас недурные аппетиты... Интересно, для какой цели они вам понадобились и почему вы выбрали именно эту маленькую, но определенную сумму? Я должен сказать вам только одно, что вы себя очень дешево оценили; надо было взять дороже...

Кашперов с мучительной ясностью сознавал, сколько грошового мещанства, сколько животного сознания своей минутной силы слышалось в его тоне. Он сам глубоко страдал от этого тона и в то же время чувствовал необыкновенную жалость к оскорбляемой девушке; но какой-то слепой и беспощадный дух самовольно управлял в нем его поступками.

Зинаида Павловна продолжала молчать и только все крепче и крепче прижимала руки к шибко бьющемуся сердцу.

– Говорите же, для чего вам нужны деньги? – простонал Кашперов.

– Этого я вам никогда не скажу!

Ее слова звучали твердой решительностью. Она охотнее позволила бы изрезать себя на куски, чем присоединить к своему позору дорогое имя.

Но Кашперов все понял и весь задрожал от внезапного прилива жгучей ревности. Губы его закружились злобной улыбкой...

– Хорошо, я исполню ваше желание. – Он быстро подошел к столу, взял с него запечатанную и завернутую в бумагу колоду карт и протянул ее Зинаиде Павловне. – Здесь немного более, чем вам нужно. Только, пожалуйста, не благодарите...

Но он не успел еще сознательно насладиться торжеством этой грубой мести, как произошло что-то совсем необыкновенное. Зинаида Павловна вдруг вся неестественно перегнулась, порывисто упала с кресла на колени, и в то же мгновение Кашперов ощутил на своей правой руке горячее прикосновение ее губ.

Густая краска стыда залила лицо Сергея Григорьевича, – он сразу понял и почувствовал на себе всю гнусную жестокость, всю неуместность своего озлобленного издевательства и, весь охваченный порывом безграничного раскаяния, повалился на диван лицом, крепко охватив руками голову. Все его могучее тело сначала только тряслось и вздрагивало; потом он не в силах был сдерживаться, и Зинаида Павловна услышала громкие судорожные рыдания, вырвавшиеся из его груди.

– Простите... Простите меня... – задыхаясь и захлебываясь, воскликнул Кашперов, – дорогая моя! Я точно палач, точно убийца... Как я мог?.. Вы... святая... святая...

Она ничего не могла понять и растерянно глядела то на него, то на колоду карт.

– Я вас обманул! – продолжал сквозь рыдания Кашперов, – обманул так пошло, так бессмысленно... Простите ли вы меня?

Если слезы всегда способны вызывать сочувствие, то слезы крепкого, сильного мужчины производят положительно потрясающее впечатление. Зинаида Павловна подошла к нему и осторожно провела рукой по его голове... Сергей Григорьевич справился наконец со своими нервами и поднялся с дивана. Его заплаканные и несколько опухшие от слез глаза смотрели на Зинаиду Павловну с такой ласковой грустью, что она невольно почувствовала жалость.

Кашперов выдвинул один из ящиков письменного стола, и несколько времени в кабинете среди гробового молчания слышалось только шуршание бумаги. Он отсчитал из полученных утром денег требуемую сумму, обернул ее в лист белой бумаги и перевязал шнурком.

– Вот, возьмите, здесь ровно одиннадцать тысяч, – сказал он, протягивая пачку Зинаиде Павловне и глядя куда-то в сторону, – идите... идите скорее...

У Зинаиды Павловны кружилась голова и перед глазами ходил какой-то туман. Она машинально взяла деньги и направилась к двери, но Кашперов остановил ее.

– Послушайте! Я, конечно, не смею ни о чем расспрашивать, но, прошу вас, скажите этому человеку: если он не сумеет оценить ваш поступок, значит... Понимаете ли вы, – добавил он с горячим чувством, – это – великий подвиг, самый великий, на который когда-либо решалась женщина.

Зинаида Павловна без слов протянула ему руку, и они оба в первый раз смело и дружелюбно взглянули друг другу в глаза.

XI

Зинаида Павловна вышла на улицу. Все предшествовавшие обстоятельства так сильно и удручающе повлияли на нее, что она двигалась, точно во сне, крепко прижимая к груди пачку

с деньгами. Она совершенно не различала дороги и, наверно, шла бы вперед до изнеможения, если бы ей не попался навстречу извозчик.

– Барышня! Прокатайте на шведочке полтинничек!

Зинаида Павловна только тогда вспомнила, что ей должно быть дорого каждое мгновение; она села в сани и заторопила извозчика:

– На пристань! Только, ради Бога, скорее... скорее!.. Вы получите на чай.

«Ванька» принялся усердно нахлестывать свою лошаденку. Тревожно-мучительные думы овладели Зинаидой Павловной и, точно вихрь, закружились в ее голове.

«Господи! Только бы ей не опоздать! А вдруг... она входит, а на кровати лежит Аларин... скорчившийся, с окровавленным лбом. Но, может быть, он из гордости отвергнет ее помощь, и его кровь вечным, несмываемым пятном ляжет ей на душу?.. О нет, нет! Она расскажет ему, как он дорог и близок для нее, она найдет такие слова, против которых нельзя устоять... Имейте веру с горчичное зерно... Господи! Что, если я опоздаю?»

– Да погоняйте же, пожалуйста, – беспрестанно твердила она извозчику, который вместе с клячонкой надрылся из последних сил, удивляясь нетерпению барышни.

Наконец сани остановились перед громадным домом портового управления. Зинаида Павловна быстро выскочила, сунула в руку извозчику рубль и остановилась в раздумье на тротуаре. Она не знала, куда ей идти.

У ворот, завернувшись в новый дубленый полушубок, точно каменное изваяние, неподвижно сидел дремавший дворник. Зинаида Павловна решила подойти к нему.

– Послушайте, любезный, где здесь квартира инженера Аларина?

Дворник, не приподнимаясь с места, пробормотал что-то непонятное.

– Послушайте! Я вас спрашиваю, где живет Александр Егорович Аларин?

В голосе Зинаиды Павловны слышалось столько настойчивости, столько страстного нетерпения, что дворник удостоил наконец ее более внимательным взглядом; но, по-видимому, впечатление, произведенное этим осмотром, было не из благоприятных, потому что изваяние в тулупе произнесло заржавленным голосом:

– А тебе чего нужно?

Зинаида Павловна, всегда робкая и неумелая в обращении с прислугой, совсем вышла из себя.

– Как вы смеете разговаривать? Это не ваше дело, наконец... Я вас спрашиваю, и вы должны ответить!

Дворник почему-то нашел необходимым оскорбиться до глубины души и вознегодовать.

– Ишь ты, какая строгая, подумаешь! Как это так не мое дело? Вашего брата много к холостым господам бегаешь, а потом, глядишь, пропадет ложка серебряная или часы, кто отвечает? Небось не ты! Тебя и след давно простыл, а меня по шапке! Не мое дело!.. Нет, брат, шалишь, коли я здесь соблюдать приставлен...

Зинаида Павловна быстро вынула из кармана портмоне и высыпала на ладонь все имевшиеся в нем монеты.

– Вот нате вам, возьмите, – сказала она, желая прервать поток его красноречия, – только прошу вас показать квартиру господина Аларина.

– Это другое дело, – произнес, неожиданно смягчаясь, строгий блюститель порядка. – Вы, барышня, ступайте, значит, прямо все и в первый проулочек сверните. Отсчитаете по левой руке седьмой домик, там и есть их квартира. Домик эф тот, значит, пароходного машиниста, а они, то есть господин Аларин, у него квартиру снимают. На ихней двери дощечка такая с чином и фамилией прибита, увидите сами...

Зинаида Павловна, дрожа от волнения, быстро пошла по указанному направлению. Она страшно боялась опоздать; ей казалось, что в этом случае на нее одну падет вся ответственность в чудовищном деле, которое она сама боялась назвать настоящим именем. Наконец она

достигла указанного дворником невзрачного одноэтажного дома. Вот и дверь... Только есть ли дощечка с фамилией? На дворе такая темнота, что в двух шагах ничего невозможно разобрать.

Она протянула руку, ощупала чугунную дощечку и ручку звонка и сказала себе: «Значит, здесь!»

Медлить было некогда; Зинаида Павловна два раза кряду дернула изо всех сил ручку. За дверью послышалось быстрое шлепанье туфель, и старческий голос, прерываемый удушливым кашлем, спросил:

– Кто там?

– Мне надо немедленно видеть Александра Егоровича Аларина, – нетерпеливо крикнула Зинаида Павловна, – отворите, я не могу стоять на морозе.

Послышались стук и визжание отодвигаемого засова, и дверь отворилась... Перед Зинаидой Павловной предстала в ночном белье и туфлях на босую ногу старая, но бодрая и чрезвычайно худая женщина, с горящею свечой в руке. Из-под коричневого платка торчали по плечам две жиденькие зеленовато-седые косички.

– Для чего это вам понадобился в такую пору Александр Егорович? – недружелюбно спросила старуха, искоса подозрительно оглядев с ног до головы вошедшую.

Это любопытство окончательно взорвало Зинаиду Павловну.

– Ах, не все ли вам равно? – крикнула она сердито. – Конечно, если бы не было нужно, так я в такую пору не приехала бы.

Старуха недоверчиво и грустно покачала головой.

– Пожалуйте, – сказала она, тяжело вздыхая и указывая на небольшую, обитую войлоком дверь, – идите прямо, они еще не спят в это время...

Зинаида Павловна, не останавливаясь ни на одну секунду, быстро подошла к двери и еще быстрее отворила ее.

ХII

Аларин, покинув на бульваре оскорбленную им Зинаиду Павловну, шел машинально, без всякой определенной цели, до тех пор, пока не очутился против своей собственной квартиры, и невольно удивился этому. Он ни теперь, ни в более позднее время не мог понять и разобраться в безобразном хаосе мыслей, которые теснились в его голове, когда он шел домой. Растрата казенных денег... суд... арестантский халат... каторга и, наконец, что было ужаснее всего, полнейшая беспомощность.

В глубине души Аларин смутно чувствовал, что какой-то выход есть, что из этого тяжелого положения можно выбраться, но сам боялся отнестись к этому неясному представлению сознательно. Он весь содрогнулся от ужаса, когда наконец понял, в чем заключается выход, как-то сразу обрисовавшийся в его воображении в той странной вещи, которая висела на стенном ковре над его кроватью. Это был револьвер Смита и Вессона, подарок одного гвардейского офицера, хорошего приятеля Александра Егоровича.

Аларин содрогнулся, но тотчас с жадностью уцепился за мысль о самоубийстве.

«Разве это так трудно? – размышлял он, подвигаясь бессознательно вперед, – боль мгновенная, зуб вырвать, пожалуй, больнее, потому что если человек живет, то еще долго чувствует нервное отражение боли. Вот те, которых на войне ранили, говорят, как будто сильный толчок, а потом горячо делается, как если бы облили рану кипятком. Значит, нужно только усилие – надавить на собачку: удар, блеск – и кончено. А потом? Потом ничего, совсем как есть ничего! Ведь приятно после долгой, трудной дороги лечь на кровать и вытянуть ноги... Нет в мире лучшего ощущения! А здесь покой еще глубже, еще блаженнее... Чего же метаться и отчаиваться? Кому меня будет жаль? Без матери, без отца, один... Кому же до меня есть дело? Разве

только эта малокровная барышня? Да что она мне? Если бы эта девчонка умерла, я и ухом не повел бы. Мало ли народу каждый день умирает?»

Он вошел в свою комнату, не снимая пальто и фуражки, зажег лампу и тотчас же снял с гвоздя большой, вороненой стали, револьвер. Во всех шести гнездах торчали медные шляпки патронов.

«Писать ли записку? Нужно что-нибудь оригинальное... Ведь завтра все будут читать в газетах... Как это будет неожиданно для всех! Жил между ними человек, ходил, смеялся, разговаривал, принимал участие в их бессмысленном прозябании, – и вдруг стал безмолвной, холодной вещью... А главное, умер, презирая всю эту жестокую, суетную толпу... Что подумает Круковский? Ему, наверно, станет совестно и страшно. Разве и про него упомянуть в записке? Нет, это гадко, это будет ненужной мезью, – пусть он сам считается со своею совестью».

Аларин схватил лист почтовой бумаги и быстро, без помарок, написал предсмертную записку:

«Я, вследствие рокового сцепления обстоятельств, проиграл казенные одиннадцать тысяч рублей. Как это ни покажется странным, но виновным я себя не признаю. Прощаться не с кем и не для чего. *Александр Аларин*».

Эта записка была его мезью тому обществу, которое он почему-то обвинял в своем несчастье. Он перечитал ее два раза и с удовольствием нашел свои слова выразительными по их силе и сжатой краткости.

Неугомонное воображение опять принялось рисовать другие картины. Аларин как будто уже видел то впечатление, которое произведет его самоубийство, видел, как знакомые будут толковать об этом, говоря таинственным шепотом и удивляясь громадной воле Александра Егоровича, а он сам, никем не зримый, присутствует среди них, наслаждаясь их разговорами.

Взводимый курок два раза сухо и коротко щелкнул. Аларин кистью левой руки крепко охватил дуло, чтобы оно не дрожало, положил большой палец правой руки на собачку и прикоснулся холодной сталью к правому виску. Это ощущение холода мгновенно передалось всему телу.

«Неужели всегда будет так же холодно? – весь содрогнувшись, подумал Аларин. – Холодно... темно... словно в закрытом погребке... брр... жутко! Не лучше ли в сердце? Говорят, бывали случаи, что выстрел происходил как раз в то время, когда сердце сжималось. Пуля только на волос пролетит, не тронув... жив останешься... Да, в сердце лучше. Или, может быть, взять немного выше? Не такая верная смерть».

И вдруг, поймав себя на этих гаденьких мыслях, Аларин покраснел и обозлился.

«Эх ты, шарлатан, – обругал он себя, – и в эту минуту без хвастовства и ломания не обойдешься! Куда тебе стреляться, трусишка? Да ведь ты согласился бы влачить жизнь цепной собаки, только бы жить... О впечатлении заботишься! Нет, брат, коли хочешь умереть, так всоси в себя мысль о ничтожестве, привыкни к тому, что не только темноты погребка, а ровно ничего не будет, – ничего, ни света, ни темноты, ни времени, ни пустоты даже. Ничего! О, какой ужас!»

Он медленно положил на стол револьвер и, опершись подбородком на ладони, уставился на огонь лампы. Блестящая точка приковала его взгляд. Он не мог отвести от нее неподвижных глаз, между тем как все окружающие предметы темнели, сливались в однообразную серую массу и уходили куда-то далеко.

За стеной послышался пьяный голос машиниста, хозяина домика, в котором квартировал Александр Егорович. Этот честный, но подверженный слабости к обильным возлияниям малый считал своим священным долгом напиваться каждый свободный вечер до состояния полного блаженства и горланить самые чувствительные песни.

Аларин стал прислушиваться.

Ах, распился, разгулялся
Молодой приказчик;
Он склонил свою головку
На хозяйский ящик, —

пел машинист.

Лицо Александра Егоровича искривилось злобой. Он слышал не раз и хорошо знал эту безобразную трактирную песню, в которой описывались приключения молодого приказчика, ограбившего хозяйскую кассу.

Он расчету не сдавал:
Сколько кому на-адо! —

продолжал гнусавить машинист, с пьяной отчетливостью выделявая каждую ноту.

– О, черт побери! – дико прошептал Аларин, глядя на огонь очарованными, немигающими глазами. – Ведь и я – такой же приказчик. Распился и разгулялся. И мне теперь всякий пьяный машинист плюнет в лицо, а может быть, и песню еще сложит: что вот-де проигрался молодой инженерик... Да разве я теперь инженер? Ведь я – кандидат в арестантские роты. Нет, так нельзя! Неужели у меня не хватит духа? Ведь только одно незначительное усилие, а там уже все равно, что будут петь, что будут говорить... Надо только поймать в себе момент решимости... и баста!

Он опять взял револьвер и приставил его к виску.

– Ну, раз, два...

Он по-прежнему, не отрывая взора от яркой огненной точки, медлил сказать «три», и еще сам не знал: действительно ли в нем созрела решимость, или он опять только ломал комедию.

В это время сзади него послышался отчаянный, потрясающий крик. Чья-то рука быстро выхватила револьвер, тот с грохотом покатился по полу, и Аларин увидел Зинаиду Павловну, почти в обмороке, бессильно опустившуюся на диван.

Прошло несколько минут напряженного молчания.

– Чего вы хотите от меня дожидаться? – закричал наконец вне себя Александр Егорович и ударил по столу кулаком с такой силой, что стоявшая на нем лампа закачалась и задребезжала.

Зинаида Павловна молча положила на стол бумажную пачку, которую до тех пор крепко сжимала в руке.

Аларин с недоумением поглядел сначала на пачку, потом на нее, потом снова на пачку; он еще не понимал, в чем дело, но в его душу вдруг хлынула волна безотчетной восторженной радости.

– Что же это такое? – спросил он сдавленным шепотом, дрожащими руками развязывая шнурок.

И вдруг, уже совсем не владея собою, Александр Егорович разразился захлебывающимся, безумно-радостным смехом. Перед его глазами мелькали одна за другой и шелестели в руках пестрые радужные сторублевки, красные и серые процентные бумаги с крупными тысячными надписями, серии... Он несколько раз принимался пересчитывать, сбивался, начинал считать снова и совершенно позабыл о присутствии Зинаиды Павловны. Для него в эти блаженные минуты возвращения от смерти и отчаяния к жизни все в мире, кроме лежавших перед ним денег, потеряло стоимость и значение. Его лицо приняло жадное, почти зверское выражение, глаза сверкали, на лбу выступили крупные капли пота.

Зинаида Павловна с пытливым вниманием наблюдала за всеми изменениями физиономии Аларина; она с ужасом чувствовала, что в ней, в самой глубине ее души, зарождается и шевелится какое-то смутное чувство презрения к этому необузданному проявлению инстинкта

жизни. Ее щепетильная натура восставала против чего-то животного, низменного, так неожиданно проявившегося в человеке, которого она возвела на самую высокую ступень идеала. Она еще не умела разобраться в своих новых ощущениях, не могла оформить их как следует, но в эти две или три минуты разрушалось и гибло ее увлечение, – увлечение, вызванное скорее рассудком и жалостью, чем силой страсти.

Аларин наконец с трудом пересчитал билеты: их было на сто рублей больше, чем нужно, и только тогда у него мелькнула мысль: «Откуда же они взялись?»

Он вспомнил о присутствии Зинаиды Павловны, порывисто подошел к ней, желая высказать свою великую радость, но вспомнил сцену на бульваре и весь побагровел.

– Зинаида Павловна, эти деньги... – Александр Егорович хотел было спросить, кому они предназначаются, но этот вопрос показался ему чересчур грубым. – Откуда вы достали их? – добавил он и, уже произнеся эти слова, сообразил, что сделал еще большую бестактность.

Голова Зинаиды Павловны горела, руки были холодны, как лед. Нервы положительно отказывались слушаться, и ее ответ, против воли, вышел сух, почти презрителен:

– Возьмите их себе. И прошу вас об одном – никогда о них не упоминайте!

Но Аларин, обыкновенно чуткий ко всякому оттенку в тоне и всегда умевший за словами улавливать истинное настроение человека, на этот раз совершенно утратил и эту способность, и ту границу в изъятии чувства, которая отделяет истинное увлечение от натянутой фальши.

– Как мне благодарить вас? – заговорил он с неправдоподобным жаром, схватив и крепко сжав обе руки Зинаиды Павловны. – Знаете ли вы, что вы для меня сделали? Вы спасли меня от суда, от вечного позора. Значит, я недаром в вас чувствовал с первого же знакомства что-то родственное. Господи! Вы мне жизнь возвратили, жизнь! Поймите, что я снова стану в глазах общества порядочным человеком, а не вором...

Смутное чувство презрения все более и более нарастало в душе Зинаиды Павловны. Аларин начинал казаться ей чем-то маленьким, жалким и лживым.

«Для чего же он про родственное участие говорит? Лучше бы вспомнил, как гадко смеялся на бульваре...» – мелькнуло у нее.

Она неожиданно вырвала у него свои руки и поднялась с дивана.

– Я вас просила не говорить об этом больше...

Аларин опять не понял ни ее брезгливого жеста, ни сухого тона.

– Ах, нет, нет! Дорогая моя, вы должны выслушать меня, я не могу не говорить. Мне кажется, я готов кричать на весь мир от радости. Если только найдется хоть что-нибудь, чем бы я мог...

Зинаида, Павловна не слушала его, занятая новой мыслью, которая пришла ей в голову.

– Позвольте, я предложу вам один вопрос, – холодно прервала она расходившегося Аларина.

– Говорите, говорите, ради Бога!..

Он лицом и всей своей фигурой изобразил неестественное, подобострастное внимание, которое показалось Зинаиде Павловне чрезвычайно гадким.

– Вы, конечно, возвратите эти деньги, – сказала она значительно, – но, я думаю, вы также признаетесь во всем, расскажете о своем проигрыше?

Она ухватила за этот вопрос, как за последнее средство, чтобы убедить себя в ошибочности нового мучительного впечатления, которое производил на нее Аларин.

«Может быть, он только в первое время так гадко обрадовался деньгам и не умел справиться с этим чувством?» – думала она, с нетерпением дожидаясь его ответа.

Александр Егорович совсем вытаращил глаза. Он серьезно подумал, что эта девушка начинает сходить с ума.

– Зачем? Деньги я, конечно, возвращу, но ведь никто не знает, что я вчера проиграл казенные деньги. Для чего же мне портить свою репутацию?

– Репутацию? – с горькой иронией переспросила Зинаида Павловна едва слышным голосом и, окинув Аларина с ног до головы презрительным взглядом, повернулась и, шатаясь, пошла к дверям.

– Куда вы, Зинаида Павловна? Что с вами? – заторопился изумленный Аларин. – Позвольте, я вам хотя извозчика отыщу!

– Оставьте меня! – резко оборвала Зинаида Павловна. – Вы такой же, как и все... Вы гадки мне... Оставьте меня!

Аларин так и застыл на месте, прислушиваясь к ее частым, неровным шагам, раздававшимся в коридоре.

ХIII

Ни одного извозчика, ни одного прохожего не попадалось на пустынных улицах. Суровый, пронизывающий до костей ветер с бешеной силой обдавал все лицо Зинаиды Павловны колючими ледяными иглами; давно промокшие калоши и ботинки едва держались на ногах, а она в каком-то забытии шла машинально той же дорогой, по которой приехала на квартиру Аларина. Ее голова сильно болела, кровь напряженно билась в висках, руки и ноги отказывались повиноваться, и мысли путались самым фантастическим образом. Она не помнила, как дошла до дому и как позвонила у подъезда. Навстречу ей выбежал сам Кашперов. Он с самого ухода Зинаиды Павловны ходил не переставая по комнатам в тревожном беспокойстве, которое все усиливалось по мере того, как продолжалось ее отсутствие. По телефону он уже узнал подробно о вчерашнем проигрыше инженера и теперь строил разные предположения, беспокоясь за ее слабость и неопытность, терзался ревностью, воображая себе картину ее свидания с Алариним, и уже собирался идти разыскивать ее, как вдруг в передней послышался слабый звонок. Сергей Григорьевич, не успев даже надеть шляпу, сбежал с лестницы и как раз вовремя выскочил на крыльцо. Едва только он отворил дверь, как Зинаида Павловна, бледная, дрожащая, в горячечном ознобе, со стоном упала ему на грудь. Он, как перышко, поднял ее на руки и один, без помощи сбежавшейся прислуги, понес ее по лестнице. Только в эту ужасную минуту, чувствуя на своей шее прикосновение ее холодной щеки, Кашперов понял, что эта девушка для него дороже собственной жизни, дороже жизни любимой дочери...

Зинаида Павловна лежала в тяжелой неподвижной полудремоте, между тем как ее воображением овладели лихорадочные грезы... Ей все казалось, что где-то далеко-далеко перед ее глазами тянется длинная, ровная проволока, тянется страшно медленно, с каким-то монотонным жужжанием. Вместе с этим жужжанием что-то томительное и тягучее охватывает все ее тело, все мысли, все ощущения. Это состояние тоски и замирания продолжается очень долго, до тех пор, пока где-то, в том же чудовищном отдалении, не показывается какая-то быстро вертящаяся точка. Что она представляет собою, Зинаида Павловна не может решить, но ее сердце сжимается зловещим предчувствием. Точка, вертясь все быстрее, приближается и увеличивается. Наконец она превращается в бешеный вихрь, в целый хаотический океан, который вздымается до неба и охватывает целый мир своими грозными валами... Потом наступает одно мгновение жуткого покоя. И вдруг вся эта безыменная громоздящаяся масса обрывается, рушится и с быстротой падающего камня несется на Зинаиду Павловну. Она мечется в предсмертной тоске, обливаясь холодным потом, но внезапно – и это самый страшный момент – вся масса рассеивается, и только остается одна тягучая, бесконечная проволока. Эта мучительная фантазия повторялась десятки раз, после чего грезы Зинаиды Павловны принимали более реальный характер. Ей все казалось, что около ее кровати на столике стоит тарелка со свежей замороженной клюквой. Она видела эту красную сочную клюкву с поразительной ясностью, чувствовала даже во рту ее кислый, утоляющий жажду вкус...

И ко всем этим грезам примешивалось постоянно одно и то же доброе, удивительно знакомое лицо, с тревожной заботливостью склонявшееся над ее изголовьем. Зинаида Павловна иногда старалась припомнить, кого она видела с таким лицом, и думала до тех пор, пока опять лихорадочные грезы не начинали играть ее воображением.

Заботливое лицо принадлежало Кашперову. Он, как только уложил Зинаиду Павловну при помощи горничной в кровать, так и не отходил ни на минуту, не зная, чем помочь больной девушке.

Часа через два прибыл доктор. Это был коротенький, толстый человечек, с уверенно-приятными округлыми манерами, который одним своим видом мог успокоить больного. Он тщательно осмотрел Зинаиду Павловну и покачал головой.

Кашперов отвел его в сторону и произнес каким-то деревянным, беззвучно-спокойным голосом:

– Доктор, скажите, будет она жива?

Доктор пытливо поглядел ему в лицо. Он своим опытным ухом слышал, что этот вопрос – вопрос жизни и смерти для самого Кашперова, и нерешительно молчал.

– Скажите правду, – настаивал Сергей Григорьевич тем же странным голосом, – я должен предупредить вас, что не переживу ее, понимаете?

– Зачем же отчаиваться? – попробовал успокоить его доктор. – Даже и в самом худшем случае не надо терять голову...

– Я вас не об этом спрашиваю! – резко крикнул вдруг Кашперов, сверкнув глазами. – Будет ли она жива, черт побери?

Доктор и обиделся этим криком, и немного испугался.

– Я могу определить болезнь, могу принять кое-какие меры, – ответил он недружелюбно и сухо, – но предрекать не берусь... особенно в такой болезни, как нервная горячка. Имею честь кланяться...

XIV

На одной из северных железных дорог в вагоне третьего класса ехал Аларин. Но это не был тот прежний веселый красавец с открытым лицом и заразительным смехом: щеки Александра Егоровича ввалились и пожелтели от забот и бессонных ночей, и в волосах серебрились седые волосы. Он, как пришел в вагон, так и забился в самый дальний угол, почти не отвечая на вопросы своего соседа, словоохотливого толстого священника в зеленой рясе... Батюшка наконец угомонился и, почувствовав «склонение ко сну», предложил Аларину газету, которую он до сих пор, не читая, держал в руках; Александр Егорович машинально взял и, скользнув глазами по рубрике: «Нам пишут из провинции», внезапно выронил газету, издав слабый крик удивления, смешанного с ужасом. Он прочел в корреспонденции из того проклятого города:

«На днях у нас разыгралась тяжелая драма: местный богатый заводчик К. лишил себя жизни, приняв сильный раствор синильной кислоты. Смерть была, по-видимому, мгновенна. Причины ее...»

Дальше Аларин не читал, – он теперь лучше всех в мире знал об этих причинах.

Олеся

I

Мой слуга, повар и спутник по охоте – полесовщик Ярмола вошел в комнату, согнувшись под вязанкой дров, сбросил ее с грохотом на пол и подышал на замерзшие пальцы.

– У, какой ветер, паныч, на дворе, – сказал он, садясь на корточки перед заслонкой. – Нужно хорошо в грубке протопить. Позвольте запалочку, паныч.

– Значит, завтра на зайцев не пойдем, а? Как ты думаешь, Ярмола?

– Нет... не можно... слышите, какая завируха. Заяц теперь лежит и – а ни мур-мур... Завтра и одного следа не увидите.

Судьба забросила меня на целых шесть месяцев в глухую деревушку Волынской губернии, на окраину Полесья, и охота была единственным моим занятием и удовольствием. Признаюсь, в то время, когда мне предложили ехать в деревню, я вовсе не думал так нестерпимо скучать. Я поехал даже с радостью. «Полесье... глушь... лоно природы... простые нравы... первобытные натуры, – думал я, сидя в вагоне, – совсем незнакомый мне народ, со странными обычаями, своеобразным языком... и уж, наверно, какое множество поэтических легенд, преданий и песен!» А я в то время (рассказывать, так все рассказывать) уже успел тиснуть в одной маленькой газетке рассказ с двумя убийствами и одним самоубийством и знал теоретически, что для писателей полезно наблюдать нравы.

Но... или перебродские крестьяне отличались какой-то особенной, упорной несообщительностью, или я не умел взяться за дело, – отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки, а поравнявшись со мной, угрюмо произносили: «Гай буг», что должно было обозначать: «Помогай Бог». Когда же я пробовал с ними разговориться, то они глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы и все порывались целовать у меня руки – старый обычай, оставшийся от польского крепостничества.

Книжки, какие у меня были, я все очень скоро перечитал. От скуки – хотя это сначала казалось мне неприятным – я сделал попытку познакомиться с местной интеллигенцией в лице ксендза, жившего за пятнадцать верст, находившегося при нем «пана органиста», местного урядника и конторщика соседнего имения из отставных унтер-офицеров, но ничего из этого не вышло.

Потом я пробовал заняться лечением перебродских жителей. В моем распоряжении были: касторовое масло, карболка, борная кислота, йод. Но тут, помимо моих скудных сведений, я наткнулся на полную невозможность ставить диагнозы, потому что признаки болезни у всех моих пациентов были всегда одни и те же: «в серьдине болит» и «ни есть, ни пить не могу».

Приходит, например, ко мне старая баба. Вытерев со смущенным видом нос указательным пальцем правой руки, она достает из-за пазухи пару яиц, причем на секунду я вижу ее коричневую кожу, и кладет их на стол. Затем она начинает ловить мои руки, чтобы запечатлеть на них поцелуй. Я прячу руки и убеждаю старуху: «Да полно, бабка... оставь... я не поп... мне это не полагается... Что у тебя болит?»

– В серьдине у меня болит, панычу, в самой что ни на есть серьдине, так что даже ни пить, ни есть не могу.

– Давно это у тебя сделалось?

– А я знаю? – отвечает она также вопросом. – Так и печет и печет. Ни пить, ни есть не могу.

И сколько я ни быюсь, более определенных признаков болезни не находится.

– Да вы не беспокойтесь, – посоветовал мне однажды конторщик из унтеров, – сами вылечатся. Присохнет, как на собаке. Я, доложу вам, только одно лекарство употребляю – нашатырь. Приходит ко мне мужик. «Что тебе?» – «Я, говорит, больной»... Сейчас же ему под нос склянку нашатырного спирту. «Нюхай!» Нюхает... «Нюхай еще... сильнее!» Нюхает... «Что, легче?» – «Як будто полегшало...» – «Ну, так и ступай с Богом».

К тому же мне претило это целование рук (а иные так прямо падали в ноги и изо всех сил стремились облобызать мои сапоги). Здесь сказывалось вовсе не движение признательного сердца, а просто омерзительная привычка, привитая веками рабства и насилия. И я только удивлялся тому же самому конторщику из унтеров и уряднику, глядя, с какой невозмутимой важностью суют они в губы мужикам свои огромные красные лапы...

Мне оставалась только охота. Но в конце января наступила такая погода, что и охотиться стало невозможно. Каждый день дул страшный ветер, а за ночь на снегу образовывался твердый, льдистый слой наста, по которому заяц пробегал, не оставляя следов. Сидя взаперти и прислушиваясь к вою ветра, я тосковал страшно. Понятно, я ухватился с жадностью за такое невинное развлечение, как обучение грамоте полесовщика Ярмола.

Началось это, впрочем, довольно оригинально. Я однажды писал письмо и вдруг почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной. Обернувшись, я увидел Ярмолу, подошедшего, как и всегда, беззвучно в своих мягких лаптях.

– Что тебе, Ярмола? – спросил я.

– Да вот дивлюсь, как вы пишете. Вот бы мне так... Нет, нет... не так, как вы, – смущенно заторопился он, видя, что я улыбаюсь... – Мне бы только мое фамилие...

– Зачем это тебе? – удивился я... (Надо заметить, что Ярмола считается самым бедным и самым ленивым мужиком во всем Переброе: жалованье и свой крестьянский заработок он пропивает; таких плохих волов, как у него, нет нигде в окрестности. По моему мнению, ему-то уж ни в каком случае не могло понадобиться знание грамоты.) Я еще раз спросил с сомнением: – Для чего же тебе надо уметь писать фамилию?

– А видите, какое дело, паныч, – ответил Ярмола необыкновенно мягко, – ни одного грамотного нет у нас в деревне. Когда бумагу какую нужно подписать, или в волости дело, или что... никто не может... Староста печать только кладет, а сам не знает, что в ней напечатано... То хорошо было бы для всех, если бы кто умел расписаться.

Такая заботливость Ярмола – заведомого браконьера, беспечного бродяги, с мнением которого никогда даже не подумал бы считаться сельский сход, – такая заботливость его об общественном интересе родного села почему-то растрогала меня. Я сам предложил давать ему уроки. И что же это была за тяжкая работа – все мои попытки выучить его сознательному чтению и письму! Ярмола, знавший в совершенстве каждую тропинку своего леса, чуть ли не каждое дерево, умевший ориентироваться днем и ночью в каком угодно месте, различавший по следам всех окрестных волков, зайцев и лисиц, – этот самый Ярмола никак не мог представить себе, почему, например, буквы «м» и «а» вместе составляют «ма». Обыкновенно над такой задачей он мучительно раздумывал минут десять, а то и больше, причем его смуглое худое лицо с впалыми черными глазами, все ушедшее в жесткую черную бороду и большие усы, выражало крайнюю степень умственного напряжения.

– Ну скажи, Ярмола, – «ма». Просто только скажи – «ма», – приставал я к нему. – Не гляди на бумагу, гляди на меня, вот так. Ну, говори – «ма»...

Тогда Ярмола глубоко вздыхал, клал на стол указку и произносил грустно и решительно:

– Нет... Не могу...

– Как же не можешь? Это же ведь так легко. Скажи просто-напросто – «ма», вот как я говорю.

– Нет... не могу, паныч... забыл...

Все методы, приемы и сравнения разбивались об эту чудовищную непонятливость. Но стремление Ярмола к просвещению вовсе не ослабевало.

– Мне бы только мою фамилию! – застенчиво упрасивал он меня. – Больше ничего не нужно. Только фамилию: Ярмола Попружук – и больше ничего.

Отказавшись окончательно от мысли выучить его разумному чтению и письму, я стал учить его подписываться механически. К моему великому удивлению, этот способ оказался наиболее доступным Ярмоле, так что к концу второго месяца мы уже почти осилили фамилию. Что же касается до имени, то его ввиду облегчения задачи мы решили совсем отбросить.

По вечерам, окончив топку печей, Ярмола с нетерпением дожидался, когда я позову его.

– Ну, Ярмола, давай учиться, – говорил я.

Он боком подходил к столу, облакачивался на него локтями, просовывал между своими черными, заскорузлыми, несгибающимися пальцами перо и спрашивал меня, подняв кверху брови:

– Писать?

– Пиши.

Ярмола довольно уверенно чертил первую букву – П (эта буква у нас носила название: «два стояка и сверху перекладина»); потом он смотрел на меня вопросительно.

– Что ж ты не пишешь? Забыл?

– Забыл... – досадливо качал головой Ярмола.

– Эх, какой ты! Ну, ставь колесо.

– А-а! Колесо, колесо!.. Знаю... – оживлялся Ярмола и старательно рисовал на бумаге вытянутую вверх фигуру, весьма похожую очертаниями на Каспийское море. Окончивши этот труд, он некоторое время молча любовался им, наклоняя голову то на левый, то на правый бок и шуря глаза.

– Что же ты стал? Пиши дальше.

– Подождите немного, панычу... сейчас.

Минуты две он размышлял и потом робко спрашивал:

– Так же, как первая?

– Верно. Пиши.

Так мало-помалу мы добрались до последней буквы – «к» (твердый знак мы отвергли), которая была у нас известна как «палка, а посредине палки кривуля хвостом набок».

– А что вы думаете, панычу, – говорил иногда Ярмола, окончив свой труд и глядя на него с любовной гордостью, – если бы мне еще месяцев с пять или шесть поучиться, я бы совсем хорошо знал. Как вы скажете?

II

Ярмола сидел на корточках перед заслонкой, перемешивая в печке уголья, а я ходил взад и вперед по диагонали моей комнаты. Из всех двенадцати комнат огромного помещичьего дома я занимал только одну, бывшую диванную. Другие стояли запертыми на ключ, и в них неподвижно и торжественно плесневела старинная штофная мебель, диковинная бронза и портреты XVIII столетия.

Ветер за стенами дома бесился, как старый озябший голый дьявол. В его реве слышались стоны, визг и дикий смех. Метель к вечеру расходилась еще сильнее. Снаружи кто-то яростно бросал в стекла окон горсти мелкого сухого снега. Недалекий лес роптал и гудел с непрерывной, затаенной, глухой угрозой...

Ветер забирался в пустые комнаты и в печные воюющие трубы, и старый дом, весь расшатанный, дырявый, полуразвалившийся, вдруг оживлялся странными звуками, к которым я прислушивался с невольной тревогой. Вот точно вздохнуло что-то в белой зале, вздохнуло глу-

боко, прерывисто, печально. Вот заходили и заскрипели где-то далеко высохшие гнилые половицы под чьими-то тяжелыми и бесшумными шагами. Чудится мне затем, что рядом с моей комнатой, в коридоре, кто-то осторожно и настойчиво нажимает на дверную ручку и потом, внезапно разъярившись, мчится по всему дому, бешено потрясая всеми ставнями и дверьми, или, забравшись в трубу, скулит так жалобно, скучно и непрерывно, то поднимая все выше, все тоньше свой голос, до жалобного визга, то опуская его вниз, до звериного рычания. Порою бог весть откуда врывается этот страшный гость и в мою комнату, пробегал внезапным холодом у меня по спине и колебал пламя лампы, тускло светившей под зеленым бумажным, обгоревшим сверху абажуром.

На меня нашло странное, неопределенное беспокойство. Вот, думалось мне, сижу я глухой и ненастной зимней ночью в ветхом доме, среди деревни, затерявшейся в лесах и сугробах, в сотнях верст от городской жизни, от общества, от женского смеха, от человеческого разговора... И начинало мне представляться, что годы и десятки лет будет тянуться этот ненастный вечер, будет тянуться вплоть до моей смерти, и так же будет реветь за окнами ветер, так же тускло будет гореть лампа под убогим зеленым абажуром, так же тревожно буду ходить я взад и вперед по моей комнате, так же будет сидеть около печки молчаливый, сосредоточенный Ярмола – странное, чуждое мне существо, равнодушное ко всему на свете: и к тому, что у него дома в семье есть нечего, и к бушеванию ветра, и к моей неопределенной, разъедающей тоске.

Мне вдруг нестерпимо захотелось нарушить это томительное молчание каким-нибудь подобием человеческого голоса, и я спросил:

– Как ты думаешь, Ярмола, откуда это сегодня такой ветер?

– Ветер? – отозвался Ярмола, лениво подымая голову. – А паныч разве не знает?

– Конечно, не знаю. Откуда же мне знать?

– И вправду не знаете? – оживился вдруг Ярмола. – Это я вам скажу, – продолжал он с таинственным оттенком в голосе, – это я вам скажу: чи ведьмака народилась, чи ведьмак веселье справляет.

– Ведьмака – это колдунья по-вашему?

– А так, так... колдунья.

Я с жадностью накинута на Ярмолу. «Почем знать, – думал я, – может быть, сейчас же мне удастся выжать из него какую-нибудь интересную историю, связанную с волшебством, с зарытыми кладами, с вовкулаками?..»

– Ну, а у вас здесь, на Полесье, есть ведьмы? – спросил я.

– Не знаю... Может, есть, – ответил Ярмола с прежним равнодушием и опять нагнулся к печке. – Старые люди говорят, что были когда-то... Может, и неправда...

Я сразу разочаровался. Характерной чертой Ярмолы была упорная несловоохотливость, и я уж не надеялся добиться от него ничего больше об этом интересном предмете. Но, к моему удивлению, он вдруг заговорил с ленивой небрежностью и как будто бы обращаясь не ко мне, а к гудевшей печке:

– Была у нас лет пять тому назад такая ведьма... Только ее хлопцы с села прогнали!

– Куда же они ее прогнали?

– Куда!.. Известно, в лес... Куда же еще? И хату ее сломали, чтобы от того проклятого кубла и щепок не осталось... А саму ее вывели за вышницы и по шее.

– За что же так с ней обошлись?

– Вреда от нее много было: ссорилась со всеми, зелье под хаты подливала, закрутки вязала в жите... Один раз просила она у нашей молодежи злот (пятнадцать копеек). Та ей говорит: «Нет у меня злота, отстань». – «Ну, добре, говорит, будешь ты помнить, как мне злото не дала...» И что же вы думаете, панычу: с тех самых пор стало у молодежи дитя болеть. Болело, болело, да и совсем умерло. Вот тогда хлопцы ведьмаку и прогнали, пусть ей очи повылазят...

– Ну, а где же теперь эта ведьмака? – продолжал я любопытствовать.

– Ведьмака? – медленно переспросил, по своему обыкновению, Ярмола. – А я знаю?
– Разве у нее не осталось в деревне какой-нибудь родни?
– Нет, не осталось. Да она чужая была, из кацапок чи из цыганок... Я еще маленьким хлопцем был, когда она пришла к нам в село. И девочка с ней была: дочка или внучка... Обеих прогнали...

– А теперь к ней разве никто не ходит: погадать там или зелья какого-нибудь попросить?
– Бабы бегают, – пренебрежительно уронил Ярмола.
– Ага! Значит, все-таки известно, где она живет?
– Я не знаю... Говорят люди, что где-то около Бисова Кута она живет... Знаете – болото, что за Ириновским шляхом. Так вот в этом болоте она и сидит, трясца ее матери.

«Ведьма живет в каких-нибудь десяти верстах от моего дома... настоящая, живая, полеская ведьма!» Эта мысль сразу заинтересовала и взволновала меня.

– Послушай, Ярмола, – обратился я к полесовщику, – а как бы мне с ней познакомиться, с этой ведьмой?

– Тьфу! – сплюнул с негодованием Ярмола. – Вот еще добро нашли.
– Добро или недобро, а я к ней все равно пойду. Как только немного потеплеет, сейчас же и отправлюсь. Ты меня, конечно, проводишь?

Ярмолу так поразили последние слова, что он даже вскочил с полу.

– Я?! – воскликнул он с негодованием. – А и ни за что! Пусть оно там Бог ведает что, а я не пойду.

– Ну вот, глупости, пойдешь.

– Нет, паньчу, не пойду... ни за что не пойду... Чтобы я?! – опять воскликнул он, охваченный новым наплывом возмущения. – Чтобы я пошел до ведьмачьего кубла? Да пусть меня Бог боронит. И вам не советую, паньч.

– Как хочешь... а я все-таки пойду. Мне очень любопытно на нее посмотреть.

– Ничего там нет любопытного, – пробурчал Ярмола, с сердцем захлопывая печную дверку.

Час спустя, когда он, уже убрав самовар и напившись в темных сенях чаю, собирался идти домой, я спросил:

– Как зовут эту ведьму?

– Мануйлиха, – ответил Ярмола с грубой мрачностью.

Он хотя и не высказывал никогда своих чувств, но, кажется, сильно ко мне привязался, привязался за нашу общую страсть к охоте, за мое простое обращение, за помощь, которую я изредка оказывал его вечно голодающей семье, а главным образом за то, что я один на всем свете не корил его пьянством, чего Ярмола терпеть не мог. Поэтому моя решимость познакомиться с ведьмой привела его в отвратительное настроение духа, которое он выразил только усиленным сопением да еще тем, что, выйдя на крыльцо, из всей силы ударил ногой в бок свою собаку – Рябчика. Рябчик отчаянно завизжал и отскочил в сторону, но тотчас же побежал вслед за Ярмолой, не переставая скулить.

III

Дня через три потеплело. Однажды утром, очень рано, Ярмола вошел в мою комнату и заявил небрежно:

– Нужно ружье почистить, паньч.

– А что? – спросил я, потягиваясь под одеялом.

– Заяц ночью сильно походил: следов много. Может, пойдём на пановку?

Я видел, что Ярмоле не терпится скорее пойти в лес, но он скрывает это страстное желание охотника под напускным равнодушием. Действительно, в передней уже стояла его одно-

стволка, от которой не ушел еще ни один бекас, несмотря на то, что вблизи дула она была украшена несколькими оловянными заплатами, наложенными в тех местах, где ржавчина и пороховые газы проели железо.

Едва войдя в лес, мы тотчас же напали на заячий след: две лапки рядом и две позади, одна за другой. Заяц вышел на дорогу, прошел по ней сажен двести и сделал с дороги огромный прыжок в сосновый молодняк.

– Ну, теперь будем обходить его, – сказал Ярмола. – Как дал столба, так тут сейчас и ляжет. Вы, паныч, идите... – Он задумался, соображая по каким-то ему одному известным приметам, куда меня направить. – ... Вы идите до старой корчмы. А я его обойду с Замлына. Как только собака его выгонит, я буду гукать вам.

И он тотчас же скрылся, точно нырнул в густую чащу мелкого кустарника. Я прислушался. Ни один звук не выдал его браконьерской походки, ни одна веточка не треснула под его ногами, обутыми в лыковые постолы.

Я неторопливо дошел до старой корчмы – нежилой, развалившейся хаты, и стал на опушке хвойного леса, под высокой сосной с прямым голым стволом. Было так тихо, как только бывает в лесу зимою в безветренный день. Нависшие на ветвях пышные комья снега давили их книзу, придавая им чудесный, праздничный и холодный вид. По временам срывалась с вершины тоненькая веточка, и чрезвычайно ясно слышалось, как она, падая, с легким треском задевала за другие ветви. Снег розовел на солнце и синел в тени. Мною овладело тихое очарование этого торжественного, холодного безмолвия, и мне казалось, что я чувствую, как время медленно и бесшумно проходит мимо меня...

Вдруг далеко, в самой чаще, раздался лай Рябчика – характерный лай собаки, идущей за зверем: тоненький, залихватый и нервный, почти переходящий в визг. Тотчас же услышал я и голос Ярмолы, кричавшего с ожесточением вслед собаке: «У-бий! У-бий!», первый слог – протяжным резким фальцетом, а второй – отрывистой басовой нотой (я только много времени спустя дознался, что этот охотничий полесский крик происходит от глагола «убивать»).

Мне казалось, судя по направлению лая, что собака гонит влево от меня, и я торопливо побежал через полянку, чтобы перехватить зверя. Но не успел я сделать и двадцати шагов, как огромный серый заяц выскочил из-за пня и, как будто бы не торопясь, заложив назад длинные уши, высокими, редкими прыжками перебежал через дорогу и скрылся в молодняке. Следом за ним стремительно вылетел Рябчик. Увидев меня, он слабо махнул хвостом, торопливо куснул несколько раз зубами снег и опять погнал зайца.

Ярмола вдруг так же бесшумно вынырнул из чащи.

– Что же вы, паныч, не стали ему на дороге? – крикнул он и укоризненно зачмокал языком.

– Да ведь далеко было... больше двухсот шагов.

Видя мое смущение, Ярмола смягчился.

– Ну, ничего... Он от нас не уйдет. Идите за Ириновский шлях, – он сейчас туда выйдет.

Я пошел по направлению Ириновского шляха и уже через минуты две услышал, что собака опять гонит где-то недалеко от меня. Охваченный охотничьим волнением, я побежал, держа ружье наперевес, сквозь густой кустарник, ломая ветви и не обращая внимания на их жестокие удары. Я бежал так довольно долго и уже стал задыхаться, как вдруг лай собаки прекратился. Я пошел тише. Мне казалось, что если я буду идти все прямо, то непременно встречу с Ярмолкой на Ириновском шляху. Но вскоре я убедился, что во время моего бега, огибая кусты и пни и совсем не думая о дороге, я заблудился. Тогда я начал кричать Ярмоле. Он не откликался.

Между тем машинально я шел все дальше. Лес редел понемногу, почва опускалась и становилась кочковатой. След, оттиснутый на снегу моей ногой, быстро темнел и наливался

водой. Несколько раз я уже проваливался по колена. Мне приходилось перепрыгивать с кочки на кочку; в покрывавшем их густом буром мху ноги тонули, точно в мягком ковре.

Кустарник скоро совсем окончился. Передо мной было большое круглое болото, занесенное снегом, из-под белой пелены которого торчали редкие кочки. На противоположном конце болота, между деревьями, выглядывали белые стены какой-то хаты. «Вероятно, здесь живет ириновский лесник, – подумал я. – Надо зайти и расспросить у него дорогу».

Но дойти до хаты было не так-то легко. Каждую минуту я увязал в трясине. Сапоги мои набрали воды и при каждом шаге громко хлюпали; становилось невмочь тянуть их за собою.

Наконец я перебрался через это болото, взобрался на маленький пригорок и теперь мог хорошо рассмотреть хату. Это даже была не хата, а именно сказочная избушка на курьих ножках. Она не касалась полом земли, а была построена на сваях, вероятно, ввиду половодья, затопляющего весной весь Ириновский лес. Но одна сторона ее от времени осела, и это придавало избушке хромой и печальный вид. В окнах не хватало нескольких стекол; их заменили какие-то грязные веточки, выпиравшиеся горбом наружу.

Я нажал на клямку и отворил дверь. В хате было очень темно, а у меня, после того как я долго глядел на снег, ходили перед глазами фиолетовые круги; поэтому я долго не мог разобрать, есть ли кто-нибудь в хате.

– Эй, добрые люди, кто из вас дома? – спросил я громко.

Около печки что-то завозилось. Я подошел поближе и увидел старуху, сидевшую на полу. Перед ней лежала огромная куча куриных перьев. Старуха брала отдельно каждое перо, сдирала с него бородку и клала пух в корзину, а стержни бросала прямо на землю.

«Да ведь это – Мануйлиха, ириновская ведьма», – мелькнуло у меня в голове, едва я только повнимательнее взгляделся в старуху. Все черты бабы-яги, как ее изображает народный эпос, были налицо: худые щеки, втянутые внутрь, переходили вниз в острый, длинный, дряблый подбородок, почти соприкасавшийся с висящим вниз носом; провалившийся беззубый рот беспрестанно двигался, точно пережевывая что-то; выцветшие, когда-то голубые глаза, холодные, круглые, выпуклые, с очень короткими красными веками, глядели, точно глаза невиданной зловещей птицы.

– Здравствуй, бабка! – сказал я как можно приветливее. – Тебя уж не Мануйлихой ли зовут?

В ответ что-то заклокотало и захрипело в груди у старухи: потом из ее беззубого, шамкающего рта вырвались странные звуки, то похожие на задыхающееся карканье старой вороны, то вдруг переходившие в силую обрывающуюся фистулу:

– Прежде, может, и Мануйлихой звали добрые люди... А теперь зовут зовуткой, а величают уткой. Тебе что надо-то? – спросила она недружелюбно и не прекращая своего однообразного занятия.

– Да вот, бабушка, заблудился я. Может, у тебя молоко найдется?

– Нет молока, – сердито отрезала старуха. – Много вас по лесу ходит... Всех не напоишь, не накормишь...

– Ну, бабушка, неласковая же ты до гостей.

– И верно, батюшка: совсем неласковая. Разносолов для вас не держим. Устал – посиди, никто тебя из хаты не гонит. Знаешь, как в пословице говорится: «Приходите к нам на заваulinке посидеть, у нашего праздника звона послушать, а обедать к вам мы и сами догадаемся». Так-то вот...

Эти обороты речи сразу убедили меня, что старуха действительно пришла в этом крае; здесь не любят и не понимают хлесткой, уснащенной редкими словцами речи, которой так охотно щеголяет краснобай-северянин. Между тем старуха, продолжая механически свою работу, все еще бормотала что-то себе под нос, но все тише и невнятнее. Я разобрал только отдельные слова, не имевшие между собой никакой связи: «Вот тебе и бабушка Мануйлиха...

А кто такой – неведомо... Лета-то мои не маленькие... Ногами егозит, стрекочит, сокочит – чистая сорока...»

Я некоторое время молча прислушивался, и внезапная мысль, что передо мною сумасшедшая женщина, вызвала у меня ощущение брезгливого страха.

Однако я успел осмотреться вокруг себя. Большую часть избы занимала огромная облупившаяся печка. Образов в переднем углу не было. По стенам, вместо обычных охотников с зелеными усами и фиолетовыми собаками и портретов никому не ведомых генералов, висели пучки засушенных трав, связки сморщенных корешков и кухонная посуда. Ни совы, ни черного кота я не заметил, но зато с печки два рябых солидных скворца глядели на меня с удивленным и недоверчивым видом.

– Бабушка, а воды-то у вас, по крайней мере, можно напиться? – спросил я, возвышая голос.

– А вон, в кадке, – кивнула головой старуха.

Вода отзывала болотной ржавчиной. Поблагодарив старуху (на что она не обратила ни малейшего внимания), я спросил ее, как мне выйти на шлях.

Она вдруг подняла голову, поглядела на меня пристально своими холодными, птичьими глазами и забормотала торопливо:

– Иди, иди... Иди, молодец, своей дорогой. Нечего тут тебе делать. Хорош гость в гостинку... Ступай, батюшка, ступай...

Мне и действительно ничего больше не оставалось, как уйти. Но вдруг мне пришло в голову попытать последнее средство, чтобы хоть немного смягчить суровую старуху. Я вынул из кармана новый серебряный четвертак и протянул его Мануйлихе. Я не ошибся: при виде денег старуха зашевелилась, глаза ее раскрылись еще больше, и она потянулась за монетой своими скрюченными, узловатыми, дрожащими пальцами.

– Э, нет, бабка Мануйлиха, даром не дам, – поддразнил я ее, пряча монету. – Ну-ка, погадай мне.

Коричневое сморщенное лицо колдуньи собралось в недовольную гримасу. Она, по видимому, колебалась и нерешительно глядела на мой кулак, где были зажаты деньги. Но жадность взяла верх.

– Ну, ну, пойдем, что ли, пойдем, – прошамкала она, с трудом поднимаясь с полу. – Никому я не ворожу теперь, касатик... Забыла... Стара стала, глаза не видят. Только для тебя разве.

Держась за стену, сотрясаясь на каждом шагу сторбленным телом, она подошла к столу, достала колоду бурых, распухших от времени карт, стасовала их и придвинула ко мне.

– Сыми-ка... Лево́й ручко́й сыми... От сердца...

Поплевав на пальцы, она начала раскладывать кабалу. Карты падали на стол с таким звуком, как будто бы они были сваяны из теста, и укладывались в правильную восьмиконечную звезду. Когда последняя карта легла рубашкой вверх на короля, Мануйлиха протянула ко мне руку.

– Позолоти, барин хороший... Счастлив будешь, богат будешь... – запела она попрошайническим, чисто цыганским тоном.

Я сунул ей приготовленную монету. Старуха проворно, по-обезьяньи, спрятала ее за щеку.

– Большой интерес тебе выходит через дальнюю дорогу, – начала она привычной скороговоркой. – Встреча с бубновой дамой и какой-то приятный разговор в важном доме. Вскоро-сти получишь неожиданное известие от трэфового короля. Падают тебе какие-то хлопоты, а потом опять падают какие-то небольшие деньги. Будешь в большой компании, пьян будешь... Не так чтобы очень сильно, а все-таки выходит тебе выпивка. Жизнь твоя будет долгая. Если в шестьдесят семь лет не умрешь, то...

Вдруг она остановилась, подняла голову, точно к чему-то прислушиваясь. Я тоже насто-
рожился. Чей-то женский голос, свежий, звонкий и сильный, пел, приближаясь к хате. Я тоже
узнал слова грациозной малорусской песенки:

Ой чи цвит, чи не цвит
Калиноньку ломит.
Ой чи сон, чи не сон
Головоньку клонит.

– Ну иди, иди теперь, соколик, – тревожно засуетилась старуха, отстраняя меня рукой от
стола. – Нечего тебе по чужим хатам околачиваться. Иди, куда шел...

Она даже ухватила меня за рукав моей куртки и тянула к двери. Лицо ее выражало какое-
то звериное беспокойство.

Голос, певший песню, вдруг оборвался совсем близко около хаты, громко звякнула
железная клямка, и в просвете быстро распахнувшейся двери показалась рослая смеющаяся
девушка. Обеими руками она бережно поддерживала полосатый передник, из которого выгля-
дывали три крошечные птички головки с красными шейками и черными блестящими глазен-
ками.

– Смотри, бабушка, зяблики опять за мною увязались, – воскликнула она, громко сме-
ясь, – посмотри, какие смешные... Голодные совсем. А у меня, как нарочно, хлеба с собой
не было.

Но, увидев меня, она вдруг замолчала и вспыхнула густым румянцем. Ее тонкие черные
брови недовольно сдвинулись, а глаза с вопросом обратились на старуху.

– Вот барин зашел... Пытает дорогу, – пояснила старуха. – Ну, батюшка, – с решительным
видом обернулась она ко мне, – будет тебе прохладиться. Напился водицы, поговорил, да
пора и честь знать. Мы тебе не компания...

– Послушай, красавица, – сказал я девушке. – Покажи мне, пожалуйста, дорогу на Ири-
новский шлях, а то из вашего болота во веки веков не выберешься.

Должно быть, на нее подействовал мягкий, просительный тон, который я придал этим
словам. Она бережно посадила на печку, рядом со скворцами, своих зябликов, бросила на
лавку скинутую уже короткую свитку и молча вышла из хаты.

Я последовал за ней.

– Это у тебя все ручные птицы? – спросил я, догоняя девушку.

– Ручные, – ответила она отрывисто и даже не взглянув на меня. – Ну вот, глядите, –
сказала она, останавливаясь у плетня. – Видите тропочку, вон, вон, между соснами-то? Видите?

– Вижу...

– Идите по ней все прямо. Как дойдете до дубовой колоды, повернете налево. Так прямо,
все лесом, лесом и идите. Тут сейчас вам и будет Ириновский шлях.

В то время когда она вытянутой правой рукой показывала мне направление дороги, я
невольнo залюбовался ею. В ней не было ничего похожего на местных «дивчат», лица кото-
рых под уродливыми повязками, прикрывающими сверху лоб, а снизу рот и подбородок, носят
такое однообразное, испуганное выражение. Моя незнакомка, высокая брюнетка лет около
двадцати – двадцати пяти, держалась легко и стройно. Просторная белая рубаха свободно и
красиво обвивала ее молодую, здоровую грудь. Оригинальную красоту ее лица, раз его уви-
дев, нельзя было позабыть, но трудно было, даже привыкнув к нему, его описать. Прелесть
его заключалась в этих больших, блестящих, темных глазах, которым тонкие, надломленные
посредине брови придавали неуловимый оттенок лукавства, властности и наивности; в смугло-
розовом тоне кожи, в своевольном изгибе губ, из которых нижняя, несколько более полная,
выдавалась вперед с решительным и капризным видом.

– Неужели вы не боитесь жить одни в такой глуши? – спросил я, остановившись у забора. Она равнодушно пожала плечами.

– Чего же нам бояться? Волки сюда не заходят.

– Да разве волки одни... Снегом вас занести может, пожар может случиться... И мало ли что еще. Вы здесь одни, вам и помочь никто не успеет.

– И слава Богу! – махнула она пренебрежительно рукой. – Как бы нас с бабкой вовсе в покое оставили, так лучше бы было, а то...

– А то что?

– Много будете знать, скоро состаритесь, – отрезала она. – Да вы сами-то кто будете? – спросила она тревожно.

Я догадался, что, вероятно, и старуха и эта красавица боятся каких-нибудь утеснений со стороны «предержанных», и поспешил ее успокоить:

– О! Ты, пожалуйста, не тревожься. Я не урядник, не писарь, не акцизный, словом – я никакое начальство.

– Нет, вы правду говорите?

– Даю тебе честное слово. Ей-богу, я самый посторонний человек. Просто приехал сюда погостить на несколько месяцев, а там и уеду. Если хочешь, я даже никому не скажу, что был здесь и видел вас. Ты мне веришь?

Лицо девушки немного прояснилось.

– Ну, значит, коль не врете, так правду говорите. А вы как: раньше об нас слышали или сами зашли?

– Да я и сам не знаю, как тебе сказать... Слышать-то я слышал, положим, и даже хотел когда-нибудь забрести к вам, а сегодня зашел случайно – заблудился... Ну, а теперь скажи, чего вы людей боитесь? Что они вам злого делают?

Она поглядела на меня с испытующим недоверием. Но совесть у меня была чиста, и я, не сморгнув, выдержал этот пристальный взгляд. Тогда она заговорила с возрастающим волнением:

– Плохо нам от них приходится... Простые люди еще ничего, а вот начальство... Приедет урядник – тащит, приедет становой – тащит. Да еще прежде, чем взять-то, над бабкой надругается: ты, говорят, ведьма, чертовка, каторжница... Эх! Да что и говорить!

– А тебя не трогают? – сорвался у меня неосторожный вопрос.

Она с надменной самоуверенностью повела головой снизу вверх, и в ее сузившихся глазах мелькнуло злое торжество...

– Не трогают... Один раз сунулся ко мне землемер какой-то... Поласкаться ему, видишь, захотелось... Так, должно быть, и до сих пор не забыл, как я его приласкала.

В этих насмешливых, но своеобразно гордых словах прозвучало столько грубой независимости, что я невольно подумал: «Однако недаром ты выросла среди полесского бора, – с тобой и впрямь опасно шутить».

– А мы разве трогаем кого-нибудь! – продолжала она, проникаясь ко мне все большим доверием. – Нам и людей не надо. Раз в год только схожу я в местечко купить мыла да соли... Да вот еще бабушке чаю, – чай она у меня любит. А то хоть бы и вовсе никого не видеть.

– Ну, я вижу, вы с бабушкой людей не жалуете... А мне можно когда-нибудь зайти на минуточку?

Она засмеялась, и – как странно, как неожиданно изменилось ее красивое лицо! Прежней суровости в нем и следа не осталось: оно вдруг сделалось светлым, застенчивым, детским.

– Да что у нас вам делать? Мы с бабкой скучные... Что ж, заходите, пожалуй, коли вы и впрямь добрый человек. Только вот что... вы уж если когда к нам забредете, так без ружья лучше...

– Ты боишься?

– Чего мне бояться? Ничего я не боюсь. – И в ее голосе опять послышалась уверенность в своей силе. – А только не люблю я этого. Зачем бить пташек или вот зайцев тоже? Никому они худого не делают, а жить им хочется так же, как и нам с вами. Я их люблю: они маленькие, глупые такие... Ну, однако, до свидания, – заторопилась она. – Не знаю, как величать-то вас по имени... Боюсь, бабка браниться станет.

И она легко и быстро побежала в хату, наклонив вниз голову и придерживая руками разбившиеся от ветра волосы.

– Постой, постой! – крикнул я. – Как тебя зовут-то? Уж будем знакомы как следует.

Она остановилась на мгновение и обернулась ко мне.

– Аленой меня зовут. По-здешнему – Олеся.

Я вскинул ружье на плечи и пошел по указанному мне направлению. Поднявшись на небольшой холмик, откуда начиналась узкая, едва заметная лесная тропинка, я оглянулся. Красная юбка Олеси, слегка колеблемая ветром, еще виднелась на крыльце хаты, выделяясь ярким пятном на ослепительно-белом, ровном фоне снега.

Через час после меня пришел домой Ярмола. По своей обычной неохоте к праздному разговору, он ни слова не спросил меня о том, как и где я заблудился. Он только сказал как будто бы вскользь:

– Там... я зайца на кухню занес... жарить будем или пошлете кому-нибудь?

– А ведь ты не знаешь, Ярмола, где я был сегодня? – сказал я, заранее представляя себе удивление полесовщика.

– Отчего же мне не знать? – грубо проворчал Ярмола. – Известно, к ведьмакам ходили...

– Как же ты узнал это?

– А почему же мне не узнать? Слышу, что вы голоса не подаете, ну я и вернулся на ваш след... Эх, паны-ыч! – прибавил он с укоризненной досадой. – Не следовало вам такими делами заниматься... Грех!..

IV

Весна наступила в этом году ранняя, дружная и – как всегда на Полесье – неожиданная. Побежали по деревенским улицам бурливые, коричневые, сверкающие ручейки, сердито пенясь вокруг встречных камней и быстро вертя щепки и гусиный пух; в огромных лужах воды отразилось голубое небо с плывущими по нему круглыми, точно крутящимися, белыми облаками; с крыш посыпались частые звонкие капли. Воробьи, стаями обсыпавшие придорожные ветлы, кричали так громко и возбужденно, что ничего нельзя было расслышать за их криком. Везде чувствовалась радостная, торопливая тревога жизни.

Снег сошел, оставшись еще кое-где грязными рыхлыми клочками в лощинах и тенистых перелесках. Из-под него выглянула обнаженная, мокрая, теплая земля, отдохнувшая за зиму и теперь полная свежих соков, полная жажды нового материнства. Над черными нивами вился легкий парок, наполнявший воздух запахом оттаявшей земли, – тем свежим, вкрадчивым и могучим пьяным запахом весны, который даже и в городе узнаешь среди сотен других запахов. Мне казалось, что вместе с этим ароматом вливалась в мою душу весенняя грусть, сладкая и нежная, исполненная беспокойных ожиданий и смутных предчувствий, – поэтическая грусть, делающая в ваших глазах всех женщин хорошенькими и всегда приправленная неопределенными сожалениями о прошлых вёснах. Ночи стали теплее; в их густом влажном мраке чувствовалась незримая спешная творческая работа природы...

В эти весенние дни образ Олеси не выходил из моей головы. Мне нравилось, оставшись одному, лечь, зажмурить глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и беспрестанно вызывать в своем воображении ее то суровое, то лукавое, то сияющее нежной улыбкой лицо, ее молодое тело, выросшее в приволье старого бора так же стройно и так же могуче, как растут молодые

елочки, ее свежий голос, с неожиданными низкими бархатными нотками... «Во всех ее движениях, в ее словах, – думал я, – есть что-то благородное (конечно, в лучшем смысле этого довольно пошлого слова), какая-то врожденная изящная умеренность...» Также привлекал меня в Олесе и некоторый ореол окружавшей ее таинственности, суеверная репутация ведьмы, жизнь в лесной чаще среди болота и в особенности – эта гордая уверенность в свои силы, скво-зившая в немногих обращенных ко мне словах.

Нет ничего мудреного, что, как только немного просохли лесные тропинки, я отправился в избушку на курьих ножках. На случай если бы понадобилось успокоить ворчливую старуху, я захватил с собою полфунта чаю и несколько пригоршен кусков сахара.

Я застал обеих женщин дома. Старуха возилась около ярко пылавшей печи, а Олеся прядла лен, сидя на очень высокой скамейке; когда я, входя, стукнул дверью, она обернулась, нитка оборвалась под ее руками, и веретено покатилося по полу.

Старуха некоторое время внимательно и сердито вглядывалась в меня, сморщившись и заслоняя лицо ладонью от жары печки.

– Здравствуй, бабуся! – сказал я громким, бодрым голосом. – Не узнаешь, должно быть, меня? Помнишь, я в прошлом месяце заходил про дорогу спрашивать? Ты мне еще гадала?

– Ничего не помню, батюшка, – зашамкала старуха, недовольно трясая головой, – ничего не помню. И что ты у нас позабыл, – никак не пойму. Что мы тебе за компания? Мы люди простые, серые... Нечего тебе у нас делать. Лес велик, есть место, где разойтись... так-то...

Ошеломленный нелюбезным приемом, я совсем потерялся и очутился в том глупом положении, когда не знаешь, что делать: обратить ли грубость в шутку, или самому рассердиться, или, наконец, не сказав ни слова, повернуться и уйти назад. Невольно я повернулся с беспомощным выражением к Олесе. Она чуть-чуть улыбнулась с оттенком незлой насмешки, встала из-за прялки и подошла к старухе.

– Не бойся, бабка, – сказала она примирительно, – это не лихой человек, он нам худого не сделает. Милости просим садиться, – прибавила она, указывая мне на лавку в переднем углу и не обращая более внимания на воркотню старухи.

Ободренный ее вниманием, я догадался выдвинуть самое решительное средство.

– Какая же ты сердитая, бабуся... Чуть гости на порог, а ты сейчас и бранишься. А я было тебе гостинцу принес, – сказал я, доставая из сумки свои свертки.

Старуха бросила быстрый взгляд на свертки, но тотчас же отвернулась к печке.

– Никаких мне твоих гостинцев не нужно, – проворчала она, ожесточенно разгребая кочергой уголья. – Знаем мы тоже гостей этих. Сперва без мыла в душу лезут, а потом... Что у тебя в кулечке-то? – вдруг обернулась она ко мне.

Я тотчас же вручил ей чай и сахар. Это подействовало на старуху смягчающим образом, и хотя она и продолжала ворчать, но уже не в прежнем, непримиримом тоне.

Олеся села опять за пряжу, а я поместился около нее на низкой, короткой и очень шаткой скамеечке.левой рукой Олеся быстро сучила белую, мягкую, как шелк, кудель, а в правой у нее с легким жужжанием крутилось веретено, которое она то пускала падать почти до земли, то ловко подхватывала его и коротким движением пальцев опять заставляла вертеться. Эта работа, такая простая на первый взгляд, но в сущности, требующая огромного, многовекового навыка и ловкости, так и кипела в ее руках. Невольно я обратил внимание на эти руки: они загрубели и почернели от работы, но были невелики и такой красивой формы, что им позавидовали бы многие благовоспитанные девицы.

– А вот вы мне тогда не сказали, что вам бабка гадала, – произнесла Олеся. И, видя, что я опасливо обернулся назад, она прибавила: – Ничего, ничего, она немного на ухо туга, не услышит. Она только мой голос хорошо разбирает.

– Да, гадала. А что?

– Да так себе... Просто спрашиваю... А вы верите? – кинула она на меня украдкой быстрый взгляд.

– Чему? Тому, что твоя бабка мне гадала, или вообще?

– Нет, вообще...

– Как сказать, вернее будет, что не верю, а все-таки почему знать? Говорят, бывают случаи... Даже в умных книгах об них напечатано. А вот тому, что твоя бабка говорила, так совсем не верю. Так и любая баба деревенская сумеет поворожить.

Олеся улыбнулась.

– Да, это правда, что она теперь плохо гадает. Стара стала, да и боится она очень. А что вам карты сказали?

– Ничего интересного не было. Я теперь и не помню. Что обыкновенно говорят: дальняя дорога, трюфовый интерес... Я и позабыл даже.

– Да, да, плохая она стала ворожка. Слова многие позабыла от старости... Куда ж ей? Да и опасается она. Разве только деньги увидит, так согласится.

– Чего же она боится?

– Известно чего, – начальства боится. Урядник приедет, так навсегда грозит: «Я, говорит, тебя во всякое время могу упрятать. Ты знаешь, говорит, что вашему брату за чародейство полагается? Ссылка в каторжную работу, без срока, на Соколиный остров». Как вы думаете, врет он это или нет?

– Нет, врать он не врет; действительно за это что-то полагается, но уже не так страшно... Ну, а ты, Олеся, умеешь гадать?

Она как будто бы немного замялась, но всего лишь на мгновение.

– Гадаю... Только не за деньги, – добавила она поспешно.

– Может быть, ты и мне кинешь карты?

– Нет, – тихо, но решительно ответила она, покачав головой.

– Почему же ты не хочешь? Ну, не теперь, так когда-нибудь после... Мне почему-то кажется, что ты мне правду скажешь.

– Нет. Не стану. Ни за что не стану.

– Ну, уж это нехорошо, Олеся. Ради первого знакомства нельзя отказывать... Почему ты не согласишься?

– Потому, что я на вас уже бросала карты, в другой раз нельзя...

– Нельзя? Отчего же? Я этого не понимаю.

– Нет, нет, нельзя... нельзя... – зашептала она с суеверным страхом. – Судьбу нельзя два раза пытаться... Не годится... Она узнает, подслушает... Судьба не любит, когда ее спрашивают. Оттого все ворожки несчастные.

Я хотел ответить Олесе какой-нибудь шуткой и не мог: слишком много искреннего убеждения было в ее словах, так что даже, когда она, упомянув про судьбу, со страшной боязнью оглянулась на дверь, я невольно повторил это движение.

– Ну, если не хочешь мне погадать, так расскажи, что у тебя тогда вышло? – попросил я.

Олеся вдруг бросила прялку и притронулась рукой к моей руке.

– Нет... Лучше не надо, – сказала она, и ее глаза приняли умоляюще-детское выражение. – Пожалуйста, не просите... Нехорошо вам вышло... Не просите лучше...

Но я продолжал настаивать. Я не мог разобрать: был ли ее отказ и темные намеки на судьбу наигранным приемом гадалки, или она действительно сама верила в то, о чем говорила, но мне стало как-то не по себе, почти жутко.

– Ну, хорошо, я, пожалуй, скажу, – согласилась наконец Олеся. – Только смотрите, уговор лучше денег: не сердиться, если вам что не понравится. Вышло вам вот что: человек вы хотя и добрый, но только слабый... Доброта ваша не хорошая, не сердечная. Слову вы своему не господин. Над людьми любите верх брать, а сами им хотя и не хотите, но подчиняетесь. Вино

любите, а также... Ну да все равно, говорить, так уже все по порядку... До нашей сестры больно охочи, и через это вам много в жизни будет зла... Деньгами вы не дорожите и копить их не умеете – богатым никогда не будете... Говорить дальше?

– Говори, говори! Все, что знаешь, говори!

– Дальше вышло, что жизнь ваша будет невеселая. Никого вы сердцем не полюбите, потому что сердце у вас холодное, ленивое, а тем, которые вас будут любить, вы много горя принесете. Никогда вы не женитесь, так холостым и умрете. Радостей вам в жизни больших не будет, но будет много скуки и тяготы... Настанет такое время, что руки сами на себя наложить захотите... Такое у вас дело одно выйдет... Но только не посмеете, так снесете... Сильную нужду будете терпеть, однако под конец жизни судьба ваша переменится через смерть какого-то близкого вам человека и совсем для вас неожиданно. Только все это будет еще через много лет, а вот в этом году... Я не знаю, уж когда именно, – карты говорят, что очень скоро... Может быть, даже и в этом месяце...

– Что же случится в этом году? – спросил я, когда она опять остановилась.

– Да уж боюсь даже говорить дальше. Падает вам большая любовь со стороны какой-то трефовой дамы. Вот только не могу догадаться, замужняя она или девушка, а знаю, что с темными волосами...

Я невольно бросил быстрый взгляд на голову Олеси.

– Что вы смотрите? – покраснела вдруг она, почувствовав мой взгляд с пониманием, свойственным некоторым женщинам. – Ну да, вроде моих, – продолжала она, машинально поправляя волосы и еще больше краснея.

– Так ты говоришь – большая трефовая любовь? – пошутил я.

– Не смейтесь, не надо смеяться, – серьезно, почти строго, заметила Олеся. – Я вам все только правду говорю.

– Ну, хорошо, не буду, не буду. Что же дальше?

– Дальше... Ох! Нехорошо выходит этой трефовой даме, хуже смерти. Позор она через вас большой примет, такой, что во всю жизнь забыть нельзя, печаль долгая ей выходит... А вам в ее планете ничего дурного не выходит.

– Послушай, Олеся, а не могли ли тебя карты обмануть? Зачем же я буду трефовой даме столько неприятностей делать? Человек я тихий, скромный, а ты столько страхов про меня наговорила.

– Ну, уж этого я не знаю. Да и вышло-то так, что не вы это сделаете, – не нарочно, значит, а только через вас вся эта беда стряется... Вот когда мои слова сбудутся, вы меня тогда вспомните.

– И все это тебе карты сказали, Олеся?

Она ответила не сразу, уклончиво и как будто бы неохотно:

– И карты... Да я и без них узнаю много, вот хоть бы по лицу. Если, например, который человек должен скоро нехорошей смертью умереть, я это сейчас у него на лице прочитаю, даже говорить мне с ним не нужно.

– Что же ты видишь у него в лице?

– Да я и сама не знаю. Страшно мне вдруг делается, точно он неживой передо мной стоит. Вот хоть у бабушки спросите, она вам скажет, что я правду говорю. Трофим, мельник, в позапрошлом году у себя на млине удавился, а я его только за два дня перед тем видела и тогда же сказала бабушке: «Вот посмотри, бабуся, что Трофим на днях дурной смертью умрет». Так оно и вышло. А на прошлые Святки зашел к нам конокрад Яшка, просил бабушку погадать. Бабушка разложила на него карты, стала ворожить. А он шутя спрашивает: «Ты мне скажи, бабка, какой я смертью умру?» А сам смеется. Я как поглядела на него, так и пошевелинуться не могу: вижу, сидит Яков, а лицо у него мертвое, зеленое... Глаза закрыты, а губы черные... Потом, через неделю, слышим, что поймали мужики Якова, когда он лошадей хотел свести...

Всю ночь его били... Злой у нас народ здесь, безжалостный... В пятки гвозди ему заколотили, перебили кольями все ребра, а к утру из него и дух вон.

– Отчего же ты ему не сказала, что его беда ждет?

– А зачем говорить? – возразила Олеся. – Что у судьбы положено, разве от этого убежишь? Только бы понапрасну человек свои последние дни тревожился... Да мне и самой гадко, что я так вижу, сама себе я противна делаюсь... Только что ж? Это ведь у меня от судьбы. Бабка моя, когда помоложе была, тоже смерть узнавала, и моя мать тоже, и бабкина мать – это не от нас... это в нашей крови так.

Она перестала пряться и сидела, низко опустив голову, тихо положив руки вдоль колен. В ее неподвижно остановившихся глазах с расширившимися зрачками отразился какой-то темный ужас, какая-то невольная покорность таинственным силам и сверхъестественным знаниям, осенявшим ее душу.

V

В это время старуха разостлала на столе чистое полотенце с вышитыми концами и поставила на него дымящийся горшок.

– Иди ужинать, Олеся, – позвала она внучку и после минутного колебания прибавила, обращаясь ко мне, – может быть, и вы, господин, с нами откушаете? Милости просим... Только неважные у нас кушанья-то, супов не варим, а просто крупничок полевой...

Нельзя сказать, чтобы ее приглашение отзывалось особенной настойчивостью, и я уже было хотел отказаться от него, но Олеся, в свою очередь, попросила меня с такой милой простотой и с такой ласковой улыбкой, что я поневоле согласился. Она сама налила мне полную тарелку крупника – похлебки из гречневой крупы с салом, луком, картофелем и курицей – чрезвычайно вкусного и питательного кушанья. Садясь за стол, ни бабушка, ни внучка не перекрестились. За ужином я не переставал наблюдать за обеими женщинами, потому что, по моему глубокому убеждению, которое я и до сих пор сохраняю, нигде человек не высказывается так ясно, как во время еды. Старуха глотала крупник с торопливой жадностью, громко чавкая и запихивая в рот огромные куски хлеба, так что под ее дряблыми щеками вздувались и двигались большие гули. У Олеси даже в манере есть была какая-то врожденная порядочность.

Спустя час после ужина я простился с хозяйками избушки на курьих ножках.

– Хотите, я вас провожу немножко? – предложила Олеся.

– Какие такие проводы еще выдумала! – сердито прошамкала старуха. – Не сидится тебе на месте, стрекоза...

Но Олеся уже накинула на голову красный кашемировый платок и вдруг, подбежав к бабушке, обняла ее и звонко поцеловала:

– Бабушка! Милая, дорогая, золотая... я только на минуточку, сейчас и назад.

– Ну ладно, уж ладно, верченая, – слабо отбивалась от нее старуха. – Вы, господин, не обессудьте: совсем дуручка она у меня.

Пройдя узкую тропинку, мы вышли на лесную дорогу, черную от грязи, всю истоптанную следами копыт и изборожденную колеями, полными воды, в которой отражался пожар вечерней зари. Мы шли обочиной дороги, сплошь покрытой бурными прошлогодними листьями, еще не высохшими после снега. Кое-где сквозь их мертвую желтизну подымали свои лиловые головки крупные колокольчики «сна» – первого цветка Полесья.

– Послушай, Олеся, – начал я, – мне очень хочется спросить тебя кое о чем, да я боюсь, что ты рассердишься... Скажи мне, правду ли говорят, что твоя бабка... как бы это выразиться?..

– Колдунья? – спокойно помогла мне Олеся.

– Нет... Не колдунья... – замаялся я. – Ну да, если хочешь – колдунья... Конечно, ведь мало ли что болтают. Почему ей просто-напросто не знать каких-нибудь трав, средств, заговоров?.. Впрочем, если тебе это неприятно, то можешь не отвечать.

– Нет, отчего же, – отозвалась она просто, – что ж тут неприятного? Да она, правда, колдунья. Но только теперь она стала стара и уж не может делать того, что делала раньше.

– Что же она умела делать? – любопытствовал я.

– Разное. Лечить умела, от зубов пользовала, руду заговаривала, отчитывала, если кого бешеная собака укусит или змея, клады указывала... да всего и не перечислишь.

– Знаешь что, Олеся?.. Ты меня извини, а я ведь этому всему не верю. Ну, будь со мною откровенна, я тебя никому не выдам: ведь все это одно притворство, чтобы только людей морочить?

Она равнодушно пожала плечами.

– Думайте, как хотите. Конечно, бабу деревенскую обморочить ничего не стоит, но вас бы я не стала обманывать.

– Значит, ты твердо веришь колдовству?

– Да как же мне не верить? Ведь у нас в роду чары... Я и сама многое умею.

– Олеся, голубушка... Если бы ты знала, как мне это интересно... Неужели ты мне ничего не покажешь?

– Отчего же, покажу, если хотите, – с готовностью согласилась Олеся. – Сейчас желаете?

– Да, если можно, сейчас.

– А бояться не будете?

– Ну вот глупости. Ночью, может быть, боялся бы, а теперь еще светло.

– Хорошо. Дайте мне руку.

Я повиновался. Олеся быстро засучила рукав моего пальто и расстегнула запонку у манжетки, потом она достала из своего кармана небольшой, вершка в три, финский ножик и вынула его из кожаного чехла.

– Что ты хочешь делать? – спросил я, чувствуя, как во мне шевельнулось подленькое опасение.

– А вот сейчас... Ведь вы же сказали, что не будете бояться!

Вдруг рука ее сделала едва заметное легкое движение, и я ощутил в мякоти руки, немного выше того места, где щупают пульс, раздражающее прикосновение острого лезвия. Кровь тотчас же выступила во всю ширину пореза, полилась по руке и частыми каплями закапала на землю. Я едва удержался от того, чтобы не крикнуть, но, кажется, побледнел.

– Не бойтесь, живы останетесь, – усмехнулась Олеся.

Она крепко обхватила рукой мою руку повыше раны и, низко склонившись к ней лицом, стала быстро шептать что-то, обдавая мою кожу горячим прерывистым дыханием. Когда же Олеся выпрямилась и разжала свои пальцы, то на пораненном месте осталась только красная царапина.

– Ну что? Довольно с вас? – с лукавой улыбкой спросила она, пряча свой ножик. – Хотите еще?

– Конечно, хочу. Только, если бы можно было, не так уж страшно и без кровопролития, пожалуйста.

– Что бы вам такое показать? – задумалась она. – Ну хоть разве это вот: идите впереди меня по дороге... Только, смотрите, не оборачивайтесь назад.

– А это не будет страшно? – спросил я, стараясь беспечной улыбкой прикрыть боязливое ожидание неприятного сюрприза.

– Нет, нет... Пустяки... Идите.

Я пошел вперед, очень заинтересованный опытом, чувствуя за своей спиной напряженный взгляд Олеси. Но, пройдя около двадцати шагов, я вдруг споткнулся на совсем ровном месте и упал ничком.

– Идите, идите! – закричала Олеся. – Не оборачивайтесь! Это ничего, до свадьбы заживет... Держитесь крепче за землю, когда будете падать.

Я пошел дальше. Еще десять шагов, и я вторично растянулся во весь рост.

Олеся громко захохотала и захлопала в ладоши.

– Ну что? Довольны? – крикнула она, сверкая своими белыми зубами. – Верите теперь? Ничего, ничего!.. Полетели не вверх, а вниз.

– Как ты это сделала? – с удивлением спросил я, отряхиваясь от приставших к моей одежде веточек и сухих травинок. – Это не секрет?

– Вовсе не секрет. Я вам с удовольствием расскажу. Только боюсь, что, пожалуй, вы не поймете... Не сумею я объяснить.

Я действительно не совсем понял ее. Но, если не ошибаюсь, этот своеобразный фокус состоит в том, что она, идя за мною следом шаг за шагом, нога в ногу, и неотступно глядя на меня, в то же время старается подражать каждому, самому малейшему моему движению, так сказать, отождествляет себя со мною. Пройдя таким образом несколько шагов, она начинает мысленно воображать на некотором расстоянии впереди меня веревку, протянутую поперек дороги на аршин от земли. В ту минуту, когда я должен прикоснуться ногой к этой воображаемой веревке, Олеся вдруг делает падающее движение, и тогда, по ее словам, самый крепкий человек должен непременно упасть... Только много времени спустя я вспомнил сбивчивое объяснение Олеси, когда читал отчет доктора Шарко об опытах, произведенных им над двумя пациентками Сальпетриера, профессиональными колдуньями, страдавшими истерией. И я был очень удивлен, узнав, что французские колдуньи из простонародья прибегали в подобных случаях совершенно к той же сноровке, какую пускала в ход хорошенькая полесская ведьма.

– О! Я еще много чего умею, – самоуверенно заявила Олеся. – Например, я могу нагнать на вас страх.

– Что это значит?

– Сделаю так, что вам страшно станет. Сидите вы, например, у себя в комнате вечером, и вдруг на вас найдет ни с того ни с сего такой страх, что вы задрожите и оглянуться назад не посмеете. Только для этого мне нужно знать, где вы живете, и раньше видеть вашу комнату.

– Ну, уж это совсем просто, – усомнился я. – Подойдешь к окну, постучишь, крикнешь что-нибудь.

– О нет, нет... Я буду в лесу в это время, никуда из хаты не выйду... Но я буду сидеть и все думать, что вот я иду по улице, вхожу в ваш дом, отворяю двери, вхожу в вашу комнату... Вы сидите где-нибудь... ну хоть у стола... я подкрадываюсь к вам сзади тихонько... вы меня не слышите... я хватаю вас за плечо руками и начинаю давить... все крепче, крепче, крепче... а сама гляжу на вас... вот так – смотрите...

Ее тонкие брови вдруг сдвинулись, глаза в упор остановились на мне с грозным и притягивающим выражением, зрачки увеличились и посинели. Мне тотчас же вспомнилась виденная мною в Москве, в Третьяковской галерее, голова Медузы – работа уж не помню какого художника. Под этим пристальным, странным взглядом меня охватил холодный ужас сверхъестественного.

– Ну полно, полно, Олеся... Будет, – сказал я с деланным смехом. – Мне гораздо больше нравится, когда ты улыбаешься, тогда у тебя такое милое, детское лицо.

Мы пошли дальше. Мне вдруг вспомнилась выразительность и даже для простой девушки изысканность фраз в разговоре Олеси, и я сказал:

– Знаешь, что меня удивляет в тебе, Олеся? Вот ты выросла в лесу, никого не выдавши... Читать ты, конечно, тоже много не могла.

– Да я вовсе не умею и читать-то.

– Ну, тем более... А между тем ты так хорошо говоришь, не хуже настоящей барышни. Скажи мне, откуда у тебя это? Понимаешь, о чем я спрашиваю?

– Да, понимаю. Это все от бабушки... Вы не глядите, что она такая с виду. У! Какая она умная! Вот, может быть, она и при вас разговорится, когда побольше привыкнет... Она все знает, ну просто все на свете, про что ни спросишь. Правда, постарела она теперь.

– Значит, она много видела на своем веку? Откуда она родом? Где она раньше жила?

Кажется, эти вопросы не понравились Олесе. Она ответила не сразу, уклончиво и неохотно:

– Не знаю... Да она об этом и не любит говорить. Если же когда и скажет что, то всегда просит забыть и не вспоминать больше... Ну, однако, мне пора, – заторопилась Олеся, – бабушка будет сердиться. До свидания... Простите, имени вашего не знаю.

Я назвался.

– Иван Тимофеевич? Ну, вот и отлично. Так до свиданья, Иван Тимофеевич! Не брезгуйте нашей хатой, заходите.

На прощанье я протянул ей руку, и ее маленькая крепкая рука ответила мне сильным, дружеским пожатием.

VI

С этого дня я стал частым гостем в избушке на курьих ножках. Каждый раз, когда я приходил, Олеся встречала меня с своим привычным сдержанным достоинством. Но всегда, по первому невольному движению, которое она делала, увидев меня, я замечал, что она радуется моему приходу. Старуха по-прежнему не переставала бурчать что-то себе под нос, но явного недоброжелательства не выражала благодаря невидимому для меня, но несомненному заступничеству внучки; также немалое влияние в благотворном для меня смысле оказывали приносимые мною кое-когда подарки: то теплый платок, то банка варенья, то бутылка вишневой наливки. У нас с Олесей, точно по безмолвному обоюдному уговору, вошло в обыкновение, что она меня провожала до Ириновского шляха, когда я уходил домой. И всегда у нас в это время завязывался такой живой, интересный разговор, что мы оба старались поневоле продлить дорогу, идя как можно тише безмолвными лесными опушками. Дойдя до Ириновского шляха, я ее провожал обратно с полверсты, и все-таки, прежде чем проститься, мы еще долго разговаривали, стоя под пахучим навесом сосновых ветвей.

Не одна красота Олеси меня в ней очаровывала, но также и ее цельная, самобытная, свободная натура, ее ум, одновременно ясный и окутанный непоколебимым наследственным суеверием, детски невинный, но и не лишенный лукавого кокетства красивой женщины. Она не уставала меня расспрашивать подробно обо всем, что занимало и волновало ее первобытное, яркое воображение: о странах и народах, об явлениях природы, об устройстве земли и вселенной, об ученых людях, о больших городах... Многое ей казалось удивительным, сказочным, неправдоподобным. Но я с самого начала нашего знакомства взял с нею такой серьезный, искренний и простой тон, что она охотно принимала на бесконтрольную веру все мои рассказы. Иногда, затрудняясь объяснить ей что-нибудь, слишком, по моему мнению, непонятное для ее полудикарской головы (а иной раз и самому мне не совсем ясное), я возражал на ее жадные вопросы: «Видишь ли... Я не сумею тебе этого рассказать... Ты не поймешь меня».

Тогда она принималась меня умолять:

– Нет, пожалуйста, пожалуйста, я постараюсь... Вы хоть как-нибудь скажите... хоть и непонятно...

Она принуждала меня пускаться в чудовищные сравнения, в самые дерзкие примеры, и если я затруднялся подыскать выражение, она сама помогала мне целым дождем нетерпеливых

вопросов, вроде тех, которые мы предлагаем зайке, мучительно застрявшему на одном слове. И действительно, в конце концов ее гибкий, подвижный ум и свежее воображение торжествовали над моим педагогическим бессилием. Я поневоле убеждался, что для своей среды, для своего воспитания (или, вернее сказать, отсутствия его) она обладала изумительными способностями.

Однажды я вскользь упомянул что-то про Петербург. Олеся тотчас же заинтересовалась:

– Что такое Петербург? Местечко?

– Нет, это не местечко, это самый большой русский город.

– Самый большой? Самый, самый, что ни на есть? И больше его нету? – наивно пристала она ко мне.

– Ну да... Там все главное начальство живет... господа большие... Дома там все каменные, деревянных нет.

– Уж, конечно, гораздо больше нашей Степани? – уверенно спросила Олеся.

– О да... немножко побольше... так, раз в пятьсот. Там такие есть дома, в которых в каждом народе живет вдвое больше, чем во всей Степани.

– Ах, Боже мой! Какие же это дома? – почти в испуге спросила Олеся.

Мне пришлось, по обыкновению, прибегнуть к сравнению.

– Ужасные дома. В пять, в шесть, а то и в семь этажей. Видишь вот ту сосну?

– Самую большую? Вижу.

– Так вот такие высокие дома. И сверху донизу набиты людьми. Живут эти люди в маленьких конурах, точно птицы в клетках, человек по десяти в каждой, так что всем и воздуху-то не хватает. А другие внизу живут, под самой землей, в сырости и холоде; случается, что солнца у себя в комнате круглый год не видят.

– Ну, уж я б ни за что не променяла своего леса на ваш город, – сказала Олеся, покачав головой. – Я и в Степань-то приду на базар, так мне противно делается. Толкаются, шумят, бранятся... И такая меня тоска возьмет за лесом, – так бы бросила все и без оглядки побежала... Бог с ним, с городом вашим, не стала бы я там жить никогда.

– Ну, а если твой муж будет из города? – спросил я с легкой улыбкой.

Ее брови нахмурились, и тонкие ноздри дрогнули.

– Вот еще! – сказала она с пренебрежением. – Никакого мне мужа не надо.

– Это ты теперь только так говоришь, Олеся. Почти все девушки то же самое говорят и все же замуж выходят. Подожди немного: встретишься с кем-нибудь, полюбишь – тогда не только в город, а на край света с ним пойдешь.

– Ах, нет, нет... пожалуйста, не будем об этом, – досадливо отмахнулась она. – Ну к чему этот разговор?.. Прошу вас, не надо.

– Какая ты смешная, Олеся. Неужели ты думаешь, что никогда в жизни не полюбишь мужчину? Ты – такая молодая, красивая, сильная. Если в тебе кровь загорится, то уж тут не до зарок будет.

– Ну что ж – и полюблю! – сверкнув глазами, с вызовом ответила Олеся. – Спрашиваться ни у кого не буду...

– Стало быть, и замуж пойдешь, – поддразнил я.

– Это вы, может быть, про церковь говорите? – догадалась она.

– Конечно, про церковь... Священник вокруг аналоя будет водить, дьякон запоет «Исаия ликуй», на голову тебе наденут венец...

Олеся опустила веки и со слабой улыбкой отрицательно покачала головой.

– Нет, голубчик... Может быть, вам и не понравится, что я скажу, а только у нас в роду никто не венчался: и мать и бабка без этого прожили... Нам в церковь и заходить-то нельзя...

– Все из-за колдовства вашего?

– Да, из-за нашего колдовства, – со спокойной серьезностью ответила Олеся. – Как же я посмею в церковь показаться, если уже от самого рождения моя душа продана *ему*.

– Олеся... Милая... Поверь мне, что ты сама себя обманываешь... Ведь это дико, это смешно, что ты говоришь.

На лице Олеси опять показалось уже замеченное мною однажды странное выражение убежденной и мрачной покорности своему таинственному предназначению.

– Нет, нет... Вы этого не можете понять, а я это чувствую... Вот здесь, – она крепко притиснула руку к груди, – в душе чувствую. Весь наш род проклят во веки веков. Да вы посудите сами: кто же нам помогает, как не *он*? Разве может простой человек сделать то, что я могу? Вся наша сила от *него* идет.

И каждый раз наш разговор, едва коснувшись этой необычайной темы, кончался подобным образом. Напрасно я истощал все доступные пониманию Олеси доводы, напрасно говорил в простой форме о гипнотизме, о внушении, о докторах-психиатрах и об индийских факирах, напрасно старался объяснить ей физиологическим путем некоторые из ее опытов, хотя бы, например, заговаривание крови, которое так просто достигается искусным нажатием на вену, – Олеся, такая доверчивая ко мне во всем остальном, с упрямой настойчивостью опровергала все мои доказательства и объяснения... «Ну, хорошо, хорошо, про заговор крови я вам, так и быть, подарю, – говорила она, возвышая голос в увлечении спора, – а откуда же другое берется? Разве я одно только и знаю, что кровь заговаривать? Хотите, я вам в один день всех мышей и тараканов выведу из хаты? Хотите, я в два дня вылечу простой водой самую сильную огневицу, хоть бы все ваши доктора от больного отказались? Хотите, я сделаю так, что вы какое-нибудь одно слово совсем позабудете? А сны почему я разгадываю? А будущее почему узнаю?»

Кончался этот спор всегда тем, что и я и Олеся умолкали не без внутреннего раздражения друг против друга. Действительно, для многого из ее черного искусства я не умел найти объяснения в своей небольшой науке. Я не знаю и не могу сказать, обладала ли Олеся и половиной тех секретов, о которых говорила с такой наивной верой, но то, чему я сам бывал нередко свидетелем, вселило в меня непоколебимое убеждение, что Олесе были доступны те бессознательные, инстинктивные, туманные, добытые случайным опытом, странные знания, которые, опередив точную науку на целые столетия, живут, перемешавшись со смешными и дикими поверьями, в темной, замкнутой народной массе, передаваясь как величайшая тайна из поколения в поколение.

Несмотря на резкое разногласие в этом единственном пункте, мы все сильнее и крепче привязывались друг к другу. О любви между нами не было сказано еще ни слова, но быть вместе для нас уже сделалось потребностью, и часто в молчаливые минуты, когда наши взгляды нечаянно и одновременно встречались, я видел, как увлажнялись глаза Олеси и как билась тоненькая голубая жилка у нее на виске...

Зато мои отношения с Ярмолой совсем испортились. Для него, очевидно, не были тайной мои посещения избушки на курьих ножках и вечерние прогулки с Олесей: он всегда с удивительной точностью знал все, что происходит в *его* лесу. С некоторого времени я заметил, что он начинает избегать меня. Его черные глаза следили за мною издали с упреком и неудовольствием каждый раз, когда я собирался идти в лес, хотя порицания своего он не высказывал ни одним словом. Наши комически серьезные занятия грамотой прекратились. Если же я иногда вечером звал Ярмолу учиться, он только махал рукой.

– Куда там! Пустое это дело, паныч, – говорил он с ленивым презрением.

На охоту мы тоже перестали ходить. Всякий раз, когда я подымал об этом разговор, у Ярмолы находился какой-нибудь предлог для отказа: то ружье у него не исправно, то собака больна, то ему самому некогда. «Нема часу, паныч... нужно пашню сегодня орать», – чаще всего отвечал Ярмола на мое приглашение, и я отлично знал, что он вовсе не будет «орать пашню», а проведет целый день около монополии в сомнительной надежде на чье-нибудь угощение. Эта безмолвная, затаенная вражда начинала меня утомлять, и я уже подумывал о том, чтобы отказаться от услуг Ярмолы, воспользовавшись для этого первым подходящим пред-

логом... Меня останавливало только чувство жалости к его огромной нищей семье, которой четыре рубля Ярмолова жалованья помогали не умереть с голода.

VII

Однажды, когда я, по обыкновению, пришел перед вечером в избушку на курьих ножках, мне сразу бросилось в глаза удрученное настроение духа ее обитательниц. Старуха сидела с ногами на постели и, сторбившись, обхватив голову руками, качалась взад и вперед и что-то невнятно бормотала. На мое приветствие она не обратила никакого внимания. Олеся поздоровалась со мной, как и всегда, ласково, но разговор у нас не вязался. По-видимому, она слушала меня рассеянно и отвечала невпопад. На ее красивом лице лежала тень какой-то беспрестанной внутренней заботы.

– Я вижу, у вас случилось что-то нехорошее, Олеся, – сказал я, осторожно прикасаясь рукой к ее руке, лежавшей на скамейке.

Олеся быстро отвернулась к окну, точно разглядывая там что. Она старалась казаться спокойной, но ее брови сдвинулись и задрожали, а зубы крепко прикусили нижнюю губу.

– Нет... что же у нас могло случиться особенного? – произнесла она глухим голосом. – Все как было, так и осталось.

– Олеся, зачем ты говоришь мне неправду? Это нехорошо с твоей стороны... А я было думал, что мы с тобой совсем друзьями стали.

– Право же, ничего нет... Так... свои заботы, пустячные...

– Нет, Олеся, должно быть, не пустячные. Посмотри – ты сама на себя непохожа сделалась.

– Это вам так кажется только.

– Будь же со мной откровенна, Олеся. Не знаю, смогу ли я тебе помочь, но, может быть, хоть совет какой-нибудь дам... Ну, наконец, просто тебе легче станет, когда поделишься горем.

– Ах, да правда, не стоит и говорить об этом, – с нетерпением возразила Олеся. – Ничем вы тут нам не можете пособить.

Старуха вдруг с небывалой горячностью вмешалась в наш разговор:

– Чего ты фордыбачишься, дурочка! Тебе дело говорят, а ты нос дерешь. Точно умнее тебя и на свете нет никого. Позвольте, господин, я вам всю эту историю расскажу по порядку, – повернулась она в мою сторону.

Размеры неприятности оказались гораздо значительнее, чем я мог предположить из слов гордой Олеси. Вчера вечером в избушку на курьих ножках заезжал местный урядник.

– Сначала-то он честь честью сел и водки потребовал, – говорила Мануйлиха, – а потом и пошел и пошел. «Выбирайся, говорит, из хаты в двадцать четыре часа со всеми своими потрохами. Если, говорит, я в следующий раз приеду и застаю тебя здесь, так и знай, не миновать тебе этапного порядка. При двух, говорит, солдатах отправлю тебя, анафему, на родину». А моя родина, батюшка, далекая, город Амченск... У меня там теперь и души знакомой нет, да и пачпорта наши просрочены-распросрочены, да еще к тому неисправные. Ах ты, Господи, несчастье мое!

– Почему же он раньше позволял тебе жить, а только теперь надумался? – спросил я.

– Да вот поди ж ты... Брехал он что-то такое, да я, признаться, не поняла. Видишь, какое дело: хибарка эта, вот в которой мы живем, не наша, а помещичья... Ведь мы раньше с Олесей на селе жили, а потом...

– Знаю, знаю, бабушка, слышал об этом... Мужики на тебя рассердились...

– Ну вот это самое. Я тогда у старого помещика, господина Абросимова, эту халупу выпросила. Ну, а теперь будто бы купил лес новый помещик и будто бы хочет он какие-то болота, что ли, сушить. Только чего же я-то им помешала?

– Бабушка, а может быть, все это вранье одно? – заметил я. – Просто-напросто уряднику «красненькую» захотелось получить.

– Давала, родной, давала. Не бере-ет! Вот история... Четвертной билет давала, не берет... Куд-да тебе! Так на меня выверился, что я уж не знала, где стою. Заладил в одну душу: «Вон да вон!» Что ж мы теперь делать будем, сироты мы несчастные! Батюшка родимый, хотя бы ты нам чем помог, усостил бы его, утробу ненасытную. Век бы, кажется, была тебе благодарна.

– Бабушка! – укоризненно с расстановкой произнесла Олеся.

– Чего там – бабушка! – рассердилась старуха. – Я тебе уже двадцать пятый год – бабушка. Что же, по-твоему, с сумой лучше идти? Нет, господин, вы ее не слушайте. Уж будьте милостивы, если что можете сделать, то сделайте.

Я в неопределенных выражениях обещал похлопотать, хотя, по правде сказать, надежды было мало. Если уж наш урядник отказывался «взять», значит, дело было слишком серьезное. В этот вечер Олеся простилась со мной холодно и, против обыкновения, не пошла меня провожать. Я видел, что самолюбивая девушка сердится на меня за мое вмешательство и немного стыдится бабушкиной плаксивости.

VIII

Было серенькое теплое утро. Уже несколько раз принимался идти крупный, короткий, благодатный дождь, после которого на глазах растет молодая трава и вытягиваются новые побеги. После дождя на минуту выглядывало солнце, обливая радостным сверканием облитую дождем молодую, еще нежную зелень сиреней, сплошь наполнявших мой палисадник; громче становился задорный крик воробьев на рыхлых огородных грядках; сильнее благоухали клейкие коричневые почки тополя. Я сидел у стола и чертил план лесной дачи, когда в комнату вошел Ярмола.

– Есть врядник, – проговорил он мрачно.

У меня в эту минуту совсем вылетело из головы отданное мною два дня тому назад приказание уведомить меня в случае приезда урядника, и я никак не мог сообразить, какое отношение имеет в настоящую минуту ко мне этот представитель власти.

– Что такое? – спросил я в недоумении.

– Говорю, что врядник приехал, – повторил Ярмола тем же враждебным тоном, который он вообще принял со мною за последние дни. – Сейчас я видел его на плотине. Сюда едет.

На улице послышалось тарактение колес. Я поспешно бросился к окну и отворил его. Длинный, худой, шоколадного цвета мерин, с отвислой нижней губой и обиженной мордой, степенной рысцой влек высокую тряскую плетушку, с которой он был соединен при помощи одной лишь оглобли, – другую оглоблю заменяла толстая веревка (злые уездные языки уверяли, что урядник нарочно завел этот печальный «выезд» для пресечения всевозможных нежелательных толкований). Урядник сам правил лошадью, занимая своим чудовищным телом, облеченным в серую шинель щегольского офицерского сукна, оба сиденья.

– Мое почтение, Евпсихий Африканович! – крикнул я, высовываясь из окошка.

– А-а, мое почтение-с! Как здоровьице? – отозвался он любезным, раскатистым начальническим баритоном.

Он сдержал мерина и, прикоснувшись выпрямленной ладонью к козырьку, с тяжеловесной грацией наклонил вперед туловище.

– Зайдите на минуточку. У меня к вам делишко одно есть.

Урядник широко развел руками и затряс головой.

– Не могу-с! При исполнении служебных обязанностей. Еду в Волошу на мертвое тело – утопленник-с.

Но я уже знал слабые стороны Евпсихия Африкановича и потому сказал с деланным равнодушием:

– Жаль, жаль... А я из экономии графа Ворцеля добыл пару таких бутылочек...

– Не могу-с. Долг службы...

– Мне буфетчик по знакомству продал. Он их в погребе, как детей родных, воспитывал... Зашли бы... А я вашему коньку овса прикажу дать.

– Ведь вот вы какой, право, – с упреком сказал урядник. – Разве не знаете, что служба прежде всего?.. А они с чем, эти бутылочки-то? Сливянка?

– Какое сливянка! – махнул я рукой. – Старка, батюшка, вот что!

– Мы, признаться, уж подзакусили, – с сожалением почесал щеку урядник, невероятно сморщив при этом лицо.

Я продолжал с прежним спокойствием:

– Не знаю, правда ли, но буфетчик божился, что ей двести лет. Запах – прямо как коньяк, и самой янтарной желтизны.

– Эх! Что вы со мной делаете! – воскликнул в комическом отчаянии урядник. – Кто же у меня лошадь-то примет?

Старки у меня действительно оказалось несколько бутылок, хотя и не такой древней, как я хвастался, но я рассчитывал, что сила внушения прибавит ей несколько десятков лет... Во всяком случае, это была подлинная домашняя, ошеломляющая старка, гордость погреба разорившегося магната. (Евпсихий Африканович, который происходил из духовных, немедленно выпросил у меня бутылку на случай, как он выразился, могущего произойти простудного заболевания...) И закуска у меня нашлась гастрономическая: молодая редиска со свежим, только что сбитым маслом.

– Ну-с, а дельце-то ваше какого сорта? – спросил после пятой рюмки урядник, откинувшись на спинку затрепавшего под ним старого кресла.

Я принялся излагать ему положение бедной старухи, упомянул про ее беспомощность и отчаяние, вскользь прошелся насчет ненужного формализма. Урядник слушал меня с опущенной вниз головой, методически очищая от корешков красную, упругую, ядреную редиску и пережевывая ее с аппетитным хрустением. Изредка он быстро вскидывал на меня равнодушные, мутные, до смешного маленькие и голубые глаза, но на его красной огромной физиономии я не мог ничего прочесть: ни сочувствия, ни сопротивления. Когда я наконец замолчал, он только спросил:

– Ну, так чего же вы от меня хотите?

– Как чего? – заволновался я. – Вникните же, пожалуйста, в их положение. Живут две бедные, незащитные женщины...

– И одна из них прямо бутон садовый! – ехидно вставил урядник.

– Ну уж там бутон или не бутон – это дело девятое. Но почему, скажите, вам и не принять в них участия? Будто бы вам уж так к спеху требуется их выселить? Ну хоть подождите немного, покамест я сам у помещика похлопочу. Чем вы рискуете, если подождете с месяц?

– Как чем я рискую-с?! – взвился с кресла урядник. – Помилуйте, да всем рискую, и прежде всего службой-с. Бог его знает, каков этот господин Ильяшевич, новый помещик. А может быть, каверзник-с... из таких, которые, чуть что, сейчас бумажку, перышко и доносик в Петербург-с? У нас ведь бывают и такие-с!

Я попробовал успокоить расхолодившегося урядника:

– Ну полноте, Евпсихий Африканович. Вы преувеличиваете все это дело. Наконец что же? Ведь риск риском, а благодарность все-таки благодарностью.

– Фью-ю-ю! – протяжно свистнул урядник и глубоко засунул руки в карманы шаровар. – Тоже благодарность называется! Что же вы думаете, я из-за каких-нибудь двадцати пяти рублей поставлю на карту свое служебное положение? Нет-с, это вы обо мне плохо понимаете.

– Да что вы горячитесь, Евпсихий Африканович? Здесь вовсе не в сумме дело, а просто так... Ну хоть по человечеству...

– По че-ло-ве-че-ству? – иронически отчеканил он каждый слог. – Позвольте-с, да у меня эти человеки вот где сидят-с!

Он энергично ударил себя по могучему бронзовому затылку, который свешивался на воротник жирной безволосой складкой.

– Ну, уж это вы, кажется, слишком, Евпсихий Африканович.

– Ни капельки не слишком-с. «Это – язва здешних мест», по выражению знаменитого баснописца, господина Крылова. Вот кто эти две дамы-с! Вы не изволили читать прекрасное сочинение его сиятельства князя Урусова под заглавием «Полицейский урядник»?

– Нет, не приходилось.

– И очень напрасно-с. Прекрасное и высоконравственное произведение. Советую на досуге ознакомиться...

– Хорошо, хорошо, я с удовольствием ознакомлюсь. Но я все-таки не понимаю, какое отношение имеет эта книжка к двум бедным женщинам?

– Какое? Очень прямое-с. Пункт первый (Евпсихий Африканович загнул толстый, волосатый указательный палец на левой руке): «Урядник имеет неослабное наблюдение, чтобы все ходили в храм Божий с усердием, пребывая, однако, в оном без усилия...» Позвольте узнать, ходит ли эта... как ее... Мануйлиха, что ли?.. Ходит ли она когда-нибудь в церковь?

Я молчал, удивленный неожиданным оборотом речи. Он поглядел на меня с торжеством и загнул второй палец.

– Пункт второй: «Запрещаются повсеместно лжепредсказания и лжепредзнаменования...» Чувствуете-с? Затем пункт третий-с: «Запрещается выдавать себя за колдуна или чародея и употреблять подобные обманы-с». Что вы на это скажете? А вдруг все это обнаружится или стороной дойдет до начальства? Кто в ответе? – Я. Кого из службы по шапке? – Меня. Видите, какая штукация.

Он опять уселся в кресло. Глаза его, поднятые кверху, рассеянно бродили по стенам комнаты, а пальцы громко барабанили по столу.

– Ну, а если я вас попрошу, Евпсихий Африканович? – начал я опять умильным тоном. – Конечно, ваши обязанности сложные и хлопотливые, но ведь сердце у вас, я знаю, предоброе, золотое сердце. Что вам стоит пообещать мне не трогать этих женщин?

Глаза урядника вдруг остановились поверх моей головы.

– Хорошенькое у вас ружьишко, – небрежно уронил он, не переставая барабанить. – Славное ружьишко. Прошлый раз, когда я к вам заезжал и не застал дома, я все на него любовался... Чудное ружьецо!

Я тоже повернул голову назад и поглядел на ружье.

– Да, ружье недурное, – похвалил я. – Ведь оно старинное, фабрики Гастин-Реннета, я его только в прошлом году на центральное переделал. Вы обратите внимание на стволы.

– Как же-с, как же-с... я на стволы-то главным образом и любовался. Великолепная вещь... Просто, можно сказать, сокровище.

Наши глаза встретились, и я увидел, как в углах губ урядника дрогнула легкая, но многозначительная улыбка. Я поднялся с места, снял со стены ружье и подошел с ним к Евпсихию Африкановичу.

– У черкесов есть очень милый обычай дарить гостю все, что он похвалит, – сказал я любезно. – Мы с вами хотя и не черкесы, Евпсихий Африканович, но я прошу вас принять от меня эту вещь на память.

Урядник для виду застыдился.

– Помилуйте, такую прелесть! Нет, нет, это уже чересчур щедрый обычай!

Однако мне не пришлось долго его уговаривать. Урядник принял ружье, бережно поставил его между своих колен и любовно отер чистым носовым платком пыль, осевшую на спусковой скобе. Я немного успокоился, увидев, что ружье, по крайней мере, перешло в руки любителя и знатока. Почти тотчас Евпсихий Африканович встал и заторопился ехать.

– Дело не ждет, а я тут с вами забалакался, – говорил он, громко стуча о пол неналежавшими калошами. – Когда будете в наших краях, милости просим ко мне.

– Ну, а как же насчет Мануйлихи, господин начальство? – деликатно напомнил я.

– Посмотрим, увидим... – неопределенно буркнул Евпсихий Африканович. – Я вот вас еще о чем хотел попросить... Редис у вас замечательный...

– Сам вырастил.

– Уд-дивительный редис! А у меня, знаете ли, моя благоверная – страшная обожательница всякой овощи. Так если бы, знаете, того, пучочек один.

– С наслаждением, Евпсихий Африканович. Сочту долгом... Сегодня же с нарочным отправлю корзиночку. И маслица уж позвольте заодно... Масло у меня на редкость.

– Ну, и маслица... – милостиво разрешил урядник. – А этим бабам вы дайте уж знак, что я их пока что не трону. Только пусть они ведают, – вдруг возвысил он голос, – что одним спасибо от меня не отделаются. А засим желаю здравствовать. Еще раз мерси вам за подарочек и за угощение.

Он по-военному пристукнул каблуками и грузной походкой сытого важного человека пошел к своему экипажу, около которого в почтительных позах, без шапок, уже стояли сотский, сельский староста и Ярмола.

IX

Евпсихий Африканович сдержал свое обещание и оставил на неопределенное время в покое обитательниц лесной хатки. Но мои отношения с Олесей резко и странно изменились. В ее обращении со мной не осталось и следа прежней доверчивой и наивной ласки, прежнего оживления, в котором так мило смешивалось кокетство красивой девушки с резвой ребяческой шаловливостью. В нашем разговоре появилась какая-то непреодолимая неловкая принужденность... С поспешной боязливостью Олеся избегала живых тем, дававших раньше такой безбрежный простор нашему любопытству.

В моем присутствии она отдавалась работе с напряженной, суровой деловитостью, но часто я наблюдал, как среди этой работы ее руки вдруг опускались бессильно вдоль колен, а глаза неподвижно и неопределенно устремлялись вниз, на пол. Если в такую минуту я называл Олеся по имени или предлагал ей какой-нибудь вопрос, она вздрагивала и медленно обращала ко мне свое лицо, в котором отражались испуг и усилие понять смысл моих слов. Иногда мне казалось, что ее тяготит и стесняет мое общество, но это предположение плохо вязалось с громадным интересом, возбуждаемым в ней всего лишь несколько дней тому назад каждым моим замечанием, каждой фразой... Оставалось думать только, что Олеся не хочет мне простить моего, так возмущившего ее независимую натуру, покровительства в деле с урядником. Но и эта догадка не удовлетворяла меня: откуда в самом деле могла явиться у простой, выросшей среди леса девушки такая чрезмерная щепетильная гордость?

Все это требовало разъяснений, а Олеся упорно избегала всякого благоприятного случая для откровенного разговора. Наши вечерние прогулки прекратились. Напрасно каждый день, собираясь уходить, я бросал на Олеся красноречивые, умоляющие взгляды, – она делала вид, что не понимает их значения. Присутствие же старухи, несмотря на ее глухоту, беспокоило меня.

Иногда я возмущался против собственного бессилия и против привычки, тянувшей меня каждый день к Олесе. Я и сам не подозревал, какими тонкими, крепкими, незримыми нитями

было привязано мое сердце к этой очаровательной, непонятной для меня девушке. Я еще не думал о любви, но я уже переживал тревожный, предшествующий любви период, полный смутных, томительно грустных ощущений. Где бы я ни был, чем бы ни старался развлечься, – все мои мысли были заняты образом Олеси, все мое существо стремилось к ней, каждое воспоминание об ее иной раз самых ничтожных словах, об ее жестах и улыбках сжимало с тихой и сладкой болью мое сердце. Но наступал вечер, и я подолгу сидел возле нее на низкой шаткой скамеечке, с досадой чувствуя себя все более робким, неловким и ненаходчивым.

Однажды я провел таким образом около Олеси целый день. Уже с утра я себя чувствовал нехорошо, хотя еще не мог ясно определить, в чем заключалось мое нездоровье. К вечеру мне стало хуже. Голова сделалась тяжелой, в ушах шумело, в темени я ощущал тупую беспрестанную боль, – точно кто-то давил на него мягкой, но сильной рукой. Во рту у меня пересохло, и по всему телу постоянно разливалась какая-то ленивая, томная слабость, от которой каждую минуту хотелось зевать и тянуться. В глазах чувствовалась такая боль, как будто бы я только что пристально и близко глядел на блестящую точку.

Когда же поздним вечером я возвращался домой, то как раз на середине пути меня вдруг схватил и затряс бурный приступ озноба. Я шел, почти не видя дороги, почти не сознавая, куда иду, и шатаюсь, как пьяный, между тем как мои челюсти выбивали одна о другую частую и громкую дробь.

Я до сих пор не знаю, кто довез меня до дому... Ровно шесть дней была меня неотступная ужасная полесская лихорадка. Днем недуг как будто бы затихал, и ко мне возвращалось сознание. Тогда, совершенно изнуренный болезнью, я еле-еле бродил по комнате с болью и слабостью в коленях; при каждом более сильном движении кровь приливала горячей волной к голове и застилала мраком все предметы перед моими глазами. Вечером же, обыкновенно часов около семи, как буря, налетал на меня приступ болезни, и я проводил на постели ужасную, длинную, как столетие, ночь, то трясясь под одеялом от холода, то пылая невыносимым жаром. Едва только дремота слегка касалась меня, как странные, нелепые, мучительно-пестрые сновидения начинали играть моим разгоряченным мозгом. Все мои грезы были полны мелких, микроскопических деталей, громоздившихся и цеплявшихся одна за другую в безобразной сутолоке. То мне казалось, что я разбираю какие-то разноцветные, причудливых форм ящички, вынимая маленькие из больших, а из маленьких еще меньшие, и никак не могу прекратить этой бесконечной работы, которая мне давно уже кажется отвратительной. То мелькали перед моими глазами с одуряющей быстротой длинные яркие полосы обоев, и на них вместо узоров я с изумительной отчетливостью видел целые гирлянды из человеческих физиономий – порою красивых, добрых и улыбающихся, порою делающих страшные гримасы, высовывающих языки, скалящих зубы и вращающих огромными белками. Затем я вступал с Ярмолой в запутанный, необычайно сложный отвлеченный спор. С каждой минутой доводы, которые мы приводили друг другу, становились все более тонкими и глубокими; отдельные слова и даже буквы слов принимали вдруг таинственное, неизмеримое значение, и вместе с тем меня все сильнее охватывал брезгливый ужас перед неведомой, противоестественной силой, что выматывает из моей головы один за другим уродливые софизмы и не позволяет мне прервать давно уже опротивевшего спора...

Это был какой-то кипящий вихрь человеческих и звериных фигур, ландшафтов, предметов самых удивительных форм и цветов, слов и фраз, значение которых воспринималось всеми чувствами... Но – странное дело – в то же время я не переставал видеть на потолке светлый ровный круг, отбрасываемый лампой с зеленым обгоревшим абажуром. И я знал почему-то, что в этом спокойном круге с нечеткими краями притаилась безмолвная, однообразная, таинственная и грозная жизнь, еще более жуткая и угнетающая, чем бешеный хаос моих сновидений.

Потом я просыпался или, вернее, не просыпался, а внезапно заставлял себя бодрствующим. Сознание почти возвращалось ко мне. Я понимал, что лежу в постели, что я болен, что я только что бредил, но светлый круг на темном потолке все-таки пугал меня затаенной злоеющей угрозой. Слабою рукой дотягивался я до часов, смотрел на них и с тоскливым недоумением убеждался, что вся бесконечная вереница моих уродливых снов заняла не более двух-трех минут: «Господи! Да когда же настанет рассвет!» – с отчаянием думал я, мечась головой по горячим подушкам и чувствуя, как опалает мне губы мое собственное тяжелое и короткое дыхание... Но вот опять овладевала мною тонкая дремота, и опять мозг мой делался игральным пестрого кошмара, и опять через две минуты я просыпался, охваченный смертельной тоской...

Через шесть дней моя крепкая натура, вместе с помощью хинина и настоя подорожника, победила болезнь. Я встал с постели весь разбитый, едва держась на ногах. Выздоровление совершалось с жадной быстротой. В голове, утомленной шестидневным лихорадочным бредом, чувствовалось теперь ленивое и приятное отсутствие мыслей. Аппетит явился в удвоенном размере, и тело мое крепло по часам, впивая каждой своей частицей здоровье и радость жизни. Вместе с тем с новой силой потянуло меня в лес, в одинокую покривившуюся хату. Нервы мои еще не оправались, и каждый раз, вызывая в памяти лицо и голос Олеси, я чувствовал такое нежное умиление, что мне хотелось плакать.

Х

Прошло еще пять дней, и я настолько окреп, что пешком, без малейшей усталости, дошел до избышки на курьих ножках. Когда я ступил на ее порог, то сердце забилось с тревожным страхом у меня в груди. Почти две недели не видал я Олеси и теперь особенно ясно понял, как была она мне близка и мила. Держась за скобку двери, я несколько секунд медлил и едва переводил дыхание. В нерешимости я даже закрыл глаза на некоторое время, прежде чем толкнуть дверь...

В впечатлениях, подобных тем, которые последовали за моим входом, никогда невозможно разобраться... Разве можно запомнить слова, произносимые в первые моменты встречи матерью и сыном, мужем и женой или двумя влюбленными? Говорятся самые простые, самые обиходные фразы, смешные даже, если их записывать с точностью на бумаге. Но здесь каждое слово уместно и бесконечно мило уже потому, что говорится оно самым дорогим на свете голосом.

Я помню, очень ясно помню только то, что ко мне быстро обернулось бледное лицо Олеси и что на этом прелестном, новом для меня лице в одно мгновение отразились, сменяя друг друга, недоумение, испуг, тревога и нежная сияющая улыбка любви... Старуха что-то шамкала, топчась возле меня, но я не слышал ее приветствий. Голос Олеси донесся до меня, как сладкая музыка:

– Что с вами случилось? Вы были больны? Ох, как же вы исхудали, бедный мой.

Я долго не мог ей ничего ответить, и мы молча стояли друг против друга, держась за руки, прямо, глубоко и радостно смотря друг другу в глаза. Эти несколько молчаливых секунд я всегда считаю самыми счастливыми в моей жизни; никогда, никогда, ни раньше, ни позднее, я не испытывал такого чистого, полного, всепоглощающего восторга. И как много я читал в больших темных глазах Олеси: и волнение встречи, и упрек за мое долгое отсутствие, и горячее признание в любви... Я почувствовал, что вместе с этим взглядом Олеся отдает мне радостно, без всяких условий и колебаний, все свое существо.

Она первая нарушила это очарование, указав мне медленным движением век на Мануйлиху. Мы уселись рядом, и Олеся принялась подробно и заботливо расспрашивать меня о ходе моей болезни, о лекарствах, которые я принимал, о словах и мнениях доктора (два раза приез-

жавшего ко мне из местечка). Про доктора она заставила меня рассказать несколько раз подряд, и я порою замечал на ее губах беглую насмешливую улыбку.

– Ах, зачем я не знала, что вы захворали! – воскликнула она с нетерпеливым сожалением. – Я бы в один день вас на ноги поставила... Ну, как же им можно довериться, когда они ничего, ни-че-го не понимают? Почему вы за мной не послали?

Я замялся.

– Видишь ли, Олеся... это и случилось так внезапно... и кроме того, я боялся тебя беспокоить. Ты в последнее время стала со мной какая-то странная, точно все сердилась на меня или надоел я тебе... Послушай, Олеся, – прибавил я, понижая голос, – нам с тобой много, много нужно поговорить... только одним... понимаешь?

Она тихо опустила веки в знак согласия, потом боязливо оглянулась на бабушку и быстро шепнула:

– Да... я и сама хотела... потом... подождите...

Едва только закатилось солнце, как Олеся стала меня торопить идти домой.

– Собирайтесь, собирайтесь скорее, – говорила она, увлекая меня за руку со скамейки. – Если вас теперь сыростью охватит, – болезнь сейчас же назад вернется.

– А ты куда же, Олеся? – спросила вдруг Мануйлиха, видя, что ее внучка поспешно набросила на голову большой серый шерстяной платок.

– Пойду... провожу немножко, – ответила Олеся.

Она произнесла это равнодушно, глядя не на бабушку, а в окно, но в ее голосе я уловил чуть заметный оттенок раздражения.

– Пойдешь-таки? – с ударением переспросила старуха.

Глаза Олеси сверкнули и в упор остановились на лице Мануйлихи.

– Да, и пойду! – возразила она надменно. – Уж давно об этом говорено и переговорено...

Мое дело, мой и ответ.

– Эх, ты!.. – с досадой и укоризной воскликнула старуха.

Она хотела еще что-то прибавить, но только махнула рукой, поплелась своей дрожащей походкой в угол и, кряхтя, закопошилась там над какой-то корзиной.

Я понял, что этот быстрый недовольный разговор, которому я только что был свидетелем, служит продолжением длинного ряда взаимных ссор и вспышек. Спускаясь рядом с Олесей к бору, я спросил ее:

– Бабушка не хочет, чтобы ты ходила со мной гулять? Да?

Олеся с досадой пожала плечами.

– Пожалуйста, не обращайтесь на это внимания. Ну да, не хочет... Что ж!.. Разве я не вольна делать, что мне нравится?

Во мне вдруг поднялось неудержимое желание упрекнуть Олесю за ее прежнюю суровость.

– Значит, и раньше, еще до моей болезни, ты тоже могла, но только не хотела оставаться со мною один на один... Ах, Олеся, если бы ты знала, какую ты причинила мне боль... Я так ждал, так ждал каждый вечер, что ты опять пойдешь со мною... А ты, бывало, всегда такая невнимательная, скучная, сердитая... О, как ты меня мучила, Олеся!..

– Ну, перестаньте, голубчик... Забудьте это, – с мягким извинением в голосе попросила Олеся.

– Нет, я ведь не в укор тебе говорю, – так, к слову пришлось... Теперь я понимаю, почему это было... А ведь сначала – право, даже смешно и вспомнить – я подумал, что ты обиделась на меня из-за урядника. И эта мысль меня сильно огорчала. Мне казалось, что ты меня таким далеким, чужим человеком считаешь, что даже простую дружескую услугу тебе от меня трудно принять... Очень мне это было горько... Я ведь и не подозревал, Олеся, что все это от бабушки идет...

Лицо Олеси вдруг вспыхнуло ярким румянцем.

– И вовсе не от бабушки!.. Сама я этого не хотела! – горячо, с задором воскликнула она.

Я поглядел на нее сбоку, так что мне стал виден чистый, нежный профиль ее слегка наклоненной головы. Только теперь я заметил, что и сама Олеся похудела за это время и вокруг ее глаз легли голубоватые тени. Почувствовав мой взгляд, Олеся вскинула на меня глаза, но тотчас же опустила их и отвернулась с застенчивой улыбкой.

– Почему ты не хотела, Олеся? Почему? – спросил я обрывающимся от волнения голосом и, схватив Олесю за руку, заставил ее остановиться.

Мы в это время находились как раз на середине длинной, узкой и прямой, как стрела, лесной просеки. Высокие, стройные сосны обступали нас с обеих сторон, образуя гигантский, уходящий вдаль коридор со сводом из душистых сплетшихся ветвей. Голые, облупившиеся стволы были окрашены багровым отблеском догорающей зари...

– Почему? Почему, Олеся? – твердил я шепотом и все сильнее сжимал ее руку.

– Я не могла... Я боялась, – еле слышно произнесла Олеся. – Я думала, что можно уйти от судьбы... А теперь... теперь...

Она задохнулась, точно ей не хватало воздуха, и вдруг ее руки быстро и крепко обвили вокруг моей шеи, и мои губы сладко обжег торопливый, дрожащий шепот Олеси:

– Теперь мне все равно, все равно!.. Потому что я люблю тебя, мой дорогой, мое счастье, мой ненаглядный!..

Она прижималась ко мне все сильнее, и я чувствовал, как трепетало под моими руками ее сильное, крепкое, горячее тело, как часто билось около моей груди ее сердце. Ее страстные поцелуи вливались в мою еще не окрепшую от болезни голову, как пьяное вино, и я начал терять самообладание.

– Олеся, ради Бога, не надо... оставь меня, – говорил я, стараясь разжать ее руки. – Теперь и я боюсь... боюсь самого себя... Пустить меня, Олеся.

Она подняла кверху свое лицо, и все оно осветилось томной, медленной улыбкой.

– Не бойся, мой миленький, – сказала она с непередаваемым выражением нежной ласки и трогательной смелости. – Я никогда не попрекну тебя, ни к кому ревновать не стану... Скажи только: любишь ли?

– Люблю, Олеся. Давно люблю и крепко люблю. Но... не целуй меня больше... Я слабею, у меня голова кружится, я не ручаюсь за себя...

Ее губы опять долго и мучительно-сладко прильнули к моим, и я не услышал, а скорее угадал ее слова:

– Ну, так и не бойся и не думай ни о чем больше... Сегодня наш день, и никто у нас его не отнимет...

И вся эта ночь слилась в какую-то волшебную, чарующую сказку. Вошел месяц, и его сияние причудливо пестро и таинственно расцветило лес, легло среди мрака неровными, иссиня-бледными пятнами на корявые стволы, на изогнутые сучья, на мягкий, как плюшевый ковер, мох. Тонкие стволы берез белели резко и отчетливо, а на их редкую листву, казалось, были наброшены серебристые, прозрачные, газовые покровы. Местами свет вовсе не проникал под густой навес сосновых ветвей. Там стоял полный, непроницаемый мрак, и только в самой середине его скользнувший неведомо откуда луч вдруг ярко озарял длинный ряд деревьев и бросал на землю узкую правильную дорожку, – такую светлую, нарядную и прелестную, точно аллея, убранная эльфами для торжественного шествия Оберона и Титании. И мы шли, обнявшись, среди этой улыбающейся живой легенды, без единого слова, подавленные своим счастьем и жутким безмолвием леса.

– Дорогой мой, а я ведь и забыла совсем, что тебе домой надо спешить, – спохватилась вдруг Олеся. – Вот какая гадкая! Ты только что выздоровел, а я тебя до сих пор в лесу держу.

Я обнял ее и откинул платок с ее густых темных волос и, наклонясь к ее уху, спросил чуть слышно:

– Ты не жалеешь, Олеся? Не раскаиваешься?

Она медленно покачала головой.

– Нет, нет... Что бы потом ни случилось, я не пожалею. Мне так хорошо...

– А разве непременно должно что-нибудь случиться?

В ее глазах мелькнуло отражение знакомого мне мистического ужаса.

– О, да, непременно... Помнишь, я тебе говорила про трэфовую даму? Ведь эта трэфовая дама – я, это со мной будет несчастье, про что сказали карты... Ты знаешь, я ведь хотела тебя попросить, чтобы ты и вовсе у нас перестал бывать. А тут как раз ты заболел, и я тебя чуть не полмесяца не видала... И такая меня по тебе тоска обуяла, такая грусть, что, кажется, все бы на свете отдала, лишь бы с тобой хоть минуточку еще побыть... Вот тогда-то я и решилась. Пусть, думаю, что будет, то и будет, а я своей радости никому не отдам...

– Это правда, Олеся. Это и со мной так было, – сказал я, прикасаясь губами к ее виску. – Я до тех пор не знал, что люблю тебя, покамест не расстался с тобой. Недаром, видно, кто-то сказал, что разлука для любви то же, что ветер для огня: маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще сильнее.

– Как ты сказал? Повтори, повтори, пожалуйста, – заинтересовалась Олеся.

Я повторил еще раз это не знаю кому принадлежавшее изречение. Олеся задумалась, и я увидел по движению ее губ, что она повторяет мои слова.

Я близко вглядывался в ее бледное, закинутае назад лицо, в ее большие черные глаза с блестящими в них яркими лунными бликами, – и смутное предчувствие близкой беды вдруг внезапным холодом заползло в мою душу.

XI

Почти целый месяц продолжалась наивная, очаровательная сказка нашей любви, и до сих пор вместе с прекрасным обликом Олеси живут с неуывающей силой в моей душе эти пылающие вечерние зори, эти росистые, благоухающие ландышами и медом утра, полные бодрой свежести и звонкого птичьего гама, эти жаркие, томные, ленивые июньские дни... Ни разу ни скука, ни утомление, ни вечная страсть к бродячей жизни не шевельнулись за это время в моей душе. Я, как языческий бог или как молодое, сильное животное, наслаждался светом, теплом, сознательной радостью жизни и спокойной, здоровой, чувственной любовью.

Старая Мануйлиха стала после моего выздоровления так несносно брюзглива, встречала меня с такой откровенной злобой и, покамест я сидел в хате, с таким шумным ожесточением двигала горшками в печке, что мы с Олесей предпочли сходитьс я каждый вечер в лесу... И величественная зеленая прелесть бора, как драгоценная оправа, украшала нашу безмятежную любовь.

Каждый день я все с большим удивлением находил, что Олеся – эта выросшая среди леса, не умеющая даже читать девушка – во многих случаях жизни проявляет чуткую деликатность и особенный, врожденный такт. В любви – в прямом, грубом ее смысле – всегда есть ужасные стороны, составляющие мучение и стыд для нервных, художественных натур. Но Олеся умела избегать их с такой наивной целомудренностью, что ни разу ни одно дурное сравнение, ни один циничный момент не оскорбили нашей связи.

Между тем приближалось время моего отъезда. Собственно говоря, все мои служебные обязанности в Переброе были уже покончены, и я умышленно оттягивал срок моего возвращения в город. Я еще ни слова не говорил об этом Олесе, боясь даже представить себе, как она примет мое извещение о необходимости уехать. Вообще я находился в затруднительном положении. Привычка пустила во мне слишком глубокие корни. Видеть ежедневно Олесю, слышать

ее милый голос и звонкий смех, ощущать нежную прелесть ее ласки – стало для меня больше чем необходимостью. В редкие дни, когда ненастье мешало нам встречаться, я чувствовал себя точно потерянным, точно лишенным чего-то самого главного, самого важного в моей жизни. Всякое занятие казалось мне скучным, лишним, и все мое существо стремилось в лес, к теплу, к свету, к милому привычному лицу Олеси.

Мысль жениться на Олесе все чаще и чаще приходила мне в голову. Сначала она лишь изредка представлялась мне как возможный, на крайний случай, честный исход из наших отношений. Одно лишь обстоятельство пугало и останавливало меня: я не смел даже вообразить себе, какова будет Олеся, одетая в модное платье, разговаривающая в гостиной с женами моих сослуживцев, исторгнутая из этой очаровательной рамки старого леса, полного легенд и таинственных сил.

Но чем ближе подходило время моего отъезда, тем больший ужас одиночества и большая тоска овладевали мною. Решение жениться с каждым днем крепло в моей душе, и под конец я уже перестал видеть в нем дерзкий вызов обществу. «Женятся же хорошие и ученые люди на швейках, на горничных, – утешал я себя, – и живут прекрасно и до конца дней своих благословляют судьбу, толкнувшую их на это решение. Не буду же я несчастнее других, в самом деле?»

Однажды в середине июня, под вечер, я, по обыкновению, ожидал Олесю на повороте узкой лесной тропинки между кустами цветущего боярышника. Я еще издали узнал легкий, быстрый шум ее шагов.

– Здравствуй, мой родненький, – сказала Олеся, обнимая меня и тяжело дыша. – Заждался небось? А я насилу-насилу вырвалась... Все с бабушкой воевала.

– До сих пор не утихла?

– Куда там! «Ты, говорит, пропадешь из-за него... Натешится он тобою вволю, да и бросит. Не любит он тебя вовсе...»

– Это она про меня так?

– Про тебя, милый... Ведь я все равно ни одному ее словечку не верю.

– А она все знает?

– Не скажу наверно... кажется, знает. Я с ней, впрочем, об этом ничего не говорю – сама догадывается. Ну, да что об этом думать... Пойдем.

Она сорвала ветку боярышника с пышным гнездом белых цветов и воткнула себе в волосы. Мы медленно пошли по тропинке, чуть розовевшей на вечернем солнце.

Я еще прошлой ночью решил во что бы то ни стало высказаться в этот вечер. Но странная робость отяжеляла мой язык. Я думал: если скажу Олесе о моем отъезде и об женитьбе, то поверит ли она мне? Не покажется ли ей, что я своим предложением только уменьшаю, смягчаю первую боль наносимой раны? «Вот как дойдем до того клена с ободранным стволом, так сейчас же и начну», – назначил я себе мысленно. Мы равнялись с кленом, и я, бледнея от волнения, уже переводил дыхание, чтобы начать говорить, но внезапно моя смелость ослабевала, разрешаясь нервным, болезненным биением сердца и холодом во рту. «Двадцать семь – мое феральное число, – думал я несколько минут спустя, – досчитаю до двадцати семи, и тогда!..» И я принимался считать в уме, но когда доходил до двадцати семи, то чувствовал, что решимость еще не созрела во мне. «Нет, – говорил я себе, – лучше уж буду продолжать считать до шестидесяти, – это составит как раз целую минуту, – и тогда непременно, непременно...»

– Что такое сегодня с тобой? – спросила вдруг Олеся. – Ты думаешь о чем-то неприятном. Что с тобой случилось?

Тогда я заговорил, но заговорил каким-то самому мне противным тоном, с напускной, неестественной небрежностью, точно дело шло о самом пустячном предмете.

– Действительно, есть маленькая неприятность... ты угадала, Олеся... Видишь ли, моя служба здесь окончена, и меня начальство вызывает в город.

Мельком, сбоку я взглянул на Олесю и увидел, как сбежала краска с ее лица и как задрожали ее губы. Но она не ответила мне ни слова. Несколько минут я молча шел с ней рядом. В траве громко кричали кузнечики, и откуда-то издалека доносился однообразный напряженный скрип коростеля.

– Ты, конечно, и сама понимаешь, Олеся, – опять начал я, – что мне здесь оставаться неудобно и негде, да, наконец, и службой пренебрегать нельзя...

– Нет... что же... тут и говорить нечего, – отозвалась Олеся как будто бы спокойно, но таким глухим, безжизненным голосом, что мне стало жутко. – Если служба, то, конечно... надо ехать...

Она остановилась около дерева и оперлась спиной об его ствол, вся бледная, с бессильно упавшими вдоль тела руками, с жалкой, мучительной улыбкой на губах. Ее бледность испугала меня. Я кинулся к ней и крепко сжал ее руки.

– Олеся... что с тобой? Олеся... милая!..

– Ничего... извините меня... это пройдет. Так... голова закружилась...

Она сделала над собой усилие и прошла вперед, не отнимая у меня своей руки.

– Олеся, ты теперь обо мне дурно подумала, – сказал я с упреком. – Стыдно тебе! Неужели и ты думаешь, что я могу уехать, бросив тебя? Нет, моя дорогая. Я потому и начал этот разговор, что хочу сегодня же пойти к твоей бабушке и сказать ей, что ты будешь моей женой.

Совсем неожиданно для меня, Олесю почти не удивили мои слова.

– Твоей женой? – Она медленно и печально покачала головой. – Нет, Ванечка, милый, это невозможно!

– Почему же, Олеся? Почему?

– Нет, нет... Ты и сам понимаешь, что об этом смешно и думать. Ну какая я тебе жена на самом деле? Ты барин, ты умный, образованный, а я? Я и читать не умею, и куда ступить не знаю... Ты одного стыда из-за меня не оберешься...

– Это все глупости, Олеся! – возразил я горячо. – Ты через полгода сама себя не узнаешь. Ты не подозреваешь даже, сколько в тебе врожденного ума и наблюдательности. Мы с тобой вместе прочитаем много хороших книжек, познакомимся с добрыми, умными людьми, мы с тобой весь широкий свет увидим, Олеся... Мы до старости, до самой смерти будем идти рука об руку, вот как теперь идем, и не стыдиться, а гордиться тобой я буду и благодарить тебя!..

На мою пылкую речь Олеся ответила мне признательным пожатием руки, но продолжала стоять на своем.

– Да разве это одно?.. Может быть, ты еще не знаешь?.. Я никогда не говорила тебе... Ведь у меня отца нет... Я незаконная...

– Перестань, Олеся... Это меньше всего меня останавливает. Что мне за дело до твоей родни, если ты сама для меня дороже отца и матери, дороже целого мира? Нет, все это мелочи, все это пустые отговорки!..

Олеся с тихой, покорной лаской прижалась плечом к моему плечу.

– Голубчик... Лучше бы ты вообще об этом не начинал разговора... Ты молодой, свободный... Неужели у меня хватило бы духу связать тебя по рукам и по ногам на всю жизнь?.. Ну, а если тебе потом другая понравится? Ведь ты меня возненавидишь, проклянешь тот день и час, когда я согласилась пойти за тебя. Не сердись, мой дорогой! – с мольбой воскликнула она, видя по моему лицу, что мне неприятны эти слова. – Я не хочу тебя обидеть. Я ведь только о твоём счастье думаю. Наконец, ты позабыл про бабушку. Ну посуди сам, разве хорошо будет с моей стороны ее одну оставить?

– Что ж... и бабушке у нас место найдется. (Признаться, мысль о бабушке меня сильно покорила.) А не захочет она у нас жить, так во всяком городе есть такие дома... они называются богадельнями... где таким старушкам дают и покой, и уход внимательный...

– Нет, что ты! Она из лесу никуда не пойдет. Она людей боится.

– Ну, так ты уж сама придумывай, Олеся, как лучше. Тебе придется выбирать между мной и бабушкой. Но только знай одно – что без тебя мне и жизнь будет противна.

– Солнышко мое! – с глубокой нежностью произнесла Олеся. – Уж за одни твои слова спасибо тебе... Отогрел ты мое сердце... Но все-таки замуж я за тебя не пойду... Лучше уж я так пойду с тобой, если не прогонишь... Только не спеши, пожалуйста, не торопи меня. Дай мне денька два, я все это хорошенько обдумаю... И с бабушкой тоже нужно поговорить.

– Послушай, Олеся, – спросил я, осененный новой догадкой. – А может быть, ты опять... церкви боишься!

Пожалуй, что с этого вопроса и надо было начать. Почти ежедневно спорил я с Олесей, стараясь разубедить ее в мнимом проклятии, тяготеющем над ее родом вместе с обладанием чародейными силами. В сущности, в каждом русском интеллигенте сидит немножко развивателя. Это у нас в крови, это внедрено нам всей русской беллетристической последних десятилетий. Почем знать? Если бы Олеся глубоко веровала, строго блюла посты и не пропускала ни одного церковного служения, – весьма возможно, что тогда я стал бы иронизировать (но только слегка, ибо я всегда был верующим человеком) над ее религиозностью и развивать в ней критическую пытливость ума. Но она с твердой и наивной убежденностью исповедовала свое общение с темными силами и свое отчуждение от Бога, о котором она даже боялась говорить.

Напрасно я покушался поколебать суеверие Олеси. Все мои логические доводы, все мои иной раз грубые и злые насмешки разбивались об ее покорную уверенность в свое таинственное роковое призвание.

– Ты боишься церкви, Олеся? – повторил я.

Она молча наклонила голову.

– Ты думаешь, что Бог не примет тебя? – продолжал я с возрастающей горячностью. – Что у него не хватит для тебя милосердия? У того, который, повелевая миллионами ангелов, сошел, однако, на землю и принял ужасную, позорную смерть для избавления всех людей? У того, кто не погнушался раскаянием самой последней женщины и обещал разбойнику-убийце, что он сегодня же будет с ним в раю?..

Все это было уже не ново Олесе в моем толковании, но на этот раз она даже и слушать меня не стала. Она быстрым движением сбросила с себя платок и, скомкав его, бросила мне в лицо. Началась возня. Я старался отнять у нее цветок боярышника. Сопротивляясь, она упала на землю и увлекла меня за собой, радостно смеясь и протягивая мне свои раскрытые частым дыханием, влажные милые губы...

Поздно ночью, когда мы простились и уже разошлись на довольно большое расстояние, я вдруг услышал за собою голос Олеси:

– Ванечка! Подожди минутку... Я тебе что-то скажу!

Я повернулся и пошел к ней навстречу. Олеся поспешно подбежала ко мне. На небе уже стоял тонкий серебряный зазубренный серп молодого месяца, и при его бледном свете я увидел, что глаза Олеси полны крупных невылившихся слез.

– Олеся, о чем ты? – спросил я тревожно.

Она схватила мои руки и стала их целовать поочередно.

– Милый... какой ты хороший! Какой ты добрый! – говорила она дрожащим голосом. – Я сейчас шла и подумала: как ты меня любишь!.. И знаешь, мне ужасно хочется сделать тебе что-нибудь очень, очень приятное.

– Олеся... Девочка моя славная, успокойся...

– Послушай, скажи мне, – продолжала она, – ты бы очень был доволен, если бы я когда-нибудь пошла в церковь? Только правду, истинную правду скажи.

Я задумался. У меня вдруг мелькнула в голове суеверная мысль: а не случится ли от этого какого-нибудь несчастья?

– Что же ты молчишь? Ну, говори скорее, был бы ты этому рад или тебе все равно?

– Как тебе сказать, Олеся? – начал я с запинкой. – Ну да, пожалуй, мне это было бы приятно. Я ведь много раз говорил тебе, что мужчина может не верить, сомневаться, даже смеяться, наконец. Но женщина... женщина должна быть набожна без рассуждений. В той простой и нежной доверчивости, с которой она отдает себя под защиту Бога, я всегда чувствую что-то трогательное, женственное и прекрасное.

Я замолчал. Олеся тоже не отзывалась, притаившись головой около моей груди.

– А зачем ты меня об этом спросила? – полюбопытствовал я.

Она вдруг встрепенулась.

– Так себе... Просто спросила... Ты не обращай внимания. Ну, до свидания, милый. Приходи же завтра.

Она скрылась. Я еще долго глядел в темноту, прислушиваясь к частым, удаляющимся от меня шагам. Вдруг внезапный ужас предчувствия охватил меня. Мне неудержимо захотелось побежать вслед за Олесей, догнать ее и просить, умолять, даже требовать, если нужно, чтобы она не шла в церковь. Но я сдержал свой неожиданный порыв и даже – помню, – пускаясь в дорогу, проговорил вслух:

– Кажется, вы сами, дорогой мой Ванечка, заразились суеверием.

О, Боже мой! Зачем я не послушался тогда смутного влечения сердца, которое – я теперь, безусловно, верю в это! – никогда не ошибается в своих быстрых тайных предчувствиях.

ХП

На другой день после этого свидания пришелся как раз праздник Св. Троицы, выпавший в этом году на день великомученика Тимофея, когда, по народным сказаниям, бывают знаменья перед неурожаем. Село Переброд в церковном отношении считалось приписным, то есть в нем хотя и была своя церковь, но отдельного священника при ней не полагалось, а наезжал изредка, постом и по большим праздникам, священник села Волчьего.

Мне в этот день необходимо было съездить по служебным делам в соседнее местечко, и я отправился туда часов в восемь утра, еще по холодку, верхом. Для разъездов я давно уже купил себе небольшого жеребчика лет шести-семи, происходившего из местной неказистой породы, но очень любовно и тщательно выхоленного прежним владельцем, уездным землемером. Лошадь звали Таранчиком. Я сильно привязался к этому милому животному, с крепкими, тоненькими, точеными ножками, с косматой челкой, из-под которой сердито и недоверчиво выглядывали огненные глазки, с крепкими, энергично сжатыми губами. Масти он был довольно редкой и смешной: весь серый, мышастый, и только по крупу у него шли пестрые, белые и черные пятна.

Мне пришлось проезжать через все село. Большая зеленая площадь, идущая от церкви до кабака, была сплошь занята длинными рядами телег, в которых с женами и детьми приехали на праздник крестьяне окрестных деревень: Волоши, Зульни и Печаловки. Между телегами сновали люди. Несмотря на ранний час и строгие постановления, между ними уже замечались пьяные (водкой по праздникам и в ночное время торговал потихоньку бывший шинкарь Сруль). Утро было безветренное, душное. В воздухе парило, и день обещал быть нестерпимо жарким. На раскаленном и точно подернутом серебристой пылью небе не показывалось ни одного облачка.

Справив все, что мне нужно было в местечке, я перекусил на скорую руку в заезжем доме фаршированной еврейской шукой, запил ее прескверным, мутным пивом и отправился домой. Но, проезжая мимо кузницы, я вспомнил, что у Таранчика давно уже хлябает подкова на левой передней, и остановился, чтобы перековать лошадь. Это заняло у меня еще часа полтора времени, так что, когда я подъезжал к перебродской околице, было уже между четырьмя и пятью часами пополудни.

Вся площадь кишмя кишела пьяным, галдящим народом. Ограду и крыльцо кабака буквально запрудили, толкая и давя друг друга, покупатели; перебродские крестьяне перемешались с приезжими, рассевшись на траве, в тени повозок. Повсюду виднелись запрокинутые назад головы и поднятые вверх бутылки. Трезвых уже не было ни одного человека. Общее опьянение дошло до того предела, когда мужик начинает бурно и хвастливо преувеличивать свой хмель, когда все движения его приобретают расслабленную и грузную размашистость, когда вместо того, например, чтобы утвердительно кивнуть головой, он оседает вниз всем туловищем, сгибает колени и, вдруг потеряв устойчивость, беспомощно пятится назад. Ребятишки возились и визжали тут же, под ногами лошадей, равнодушно жевавших сено. В ином месте баба, сама еле держась на ногах, с плачем и руганью тащила домой за рукав упиравшегося, безобразно пьяного мужа... В тени забора густая кучка, человек в двадцать мужиков и баб, тесно обседа слепого лирника, и его дрожащий, гнусавый тенор, сопровождаемый звенящим монотонным жужжанием инструмента, резко выделялся из сплошного гула толпы. Еще издали услышал я знакомые слова «думки»:

Ой зийшла зоря, тай вечирняя
Над Почаевым стала.
Ой вышло вийско турецкое,
Як та черная хмара...

Дальше в этой думке рассказывается о том, как турки, не осилив Почаевской лавры приступом, порешили взять ее хитростью. С этой целью они послали, как будто бы в дар монастырю, огромную свечу, начиненную порохом. Привезли эту свечу на двенадцати парах волов, и обрадованные монахи уже хотели возжечь ее перед иконой Почаевской Божией Матери, но Бог не допустил совершиться злодейскому замыслу.

А приснилось старшему чтецу:
Той свичи не брати.
Вывезти ей в чистое поле,
Сокирами зрубати.

И вот иноки

Вывезли ей в чистое поле,
Стали ей рубати,
Кули и патроны на вси стороны
Стали – геть! – роскидати...

Невыносимо жаркий воздух, казалось, весь был насыщен отвратительным смешанным запахом перегоревшей водки, лука, овчинных тулупов, крепкой махорки-бакуна и испарений грязных человеческих тел. Пробираясь осторожно между людьми и с трудом удерживая мотавшего головой Таранчика, я не мог не заметить, что со всех сторон меня провожали бесцеремонные, любопытные и враждебные взгляды. Против обыкновения, ни один человек не снял шапки, но шум как будто бы утих при моем появлении. Вдруг где-то в самой середине толпы раздался пьяный, хриплый выкрик, который я, однако, ясно не расслышал, но в ответ на него раздался сдержанный хохот. Какой-то женский голос стал испуганно урезонивать горлана:

– Тише ты, дурень... Чего орешь! Услышит...

– А что мне, что услышит? – продолжал задорно мужик. – Что же он мне, начальство, что ли? Он только в лесу у своей...

Омерзительная, длинная, ужасная фраза повисла в воздухе вместе со взрывом неистового хохота. Я быстро повернул назад лошадь и судорожно сжал рукоятку нагайки, охваченный той безумной яростью, которая ничего не видит, ни о чем не думает и ничего не боится. И вдруг странная, болезненная, тоскливая мысль промелькнула у меня в голове: «Все это уже происходило когда-то, много, много лет тому назад в моей жизни... Так же горячо палило солнце... Так же была залита шумящим, возбужденным народом огромная площадь... Так же обернулся я назад в припадке бешеного гнева... Но где это было? Когда? Когда?..» Я опустил нагайку и галопом поскакал к дому.

Ярмола, медленно вышедший из кухни, принял у меня лошадь и сказал грубо:

– Там, паньч, у вас в комнате сидит из Мариновской экономии приказчик.

Мне почудилось, что он хочет еще что-то прибавить, очень важное для меня и неприятное, мне показалось даже, что по лицу его скользнуло беглое выражение злой насмешки. Я нарочно задержался в дверях и с вызовом оглянулся на Ярмолу. Но он уже, не глядя на меня, тащил за узду лошадь, которая вытягивала вперед шею и осторожно переступала ногами.

В моей комнате я застал конторщика соседнего имения – Никиту Назарыча Мищенко. Он был в сером пиджачке с огромными рыжими клетками, в узких брючках василькового цвета и в огненно-красном галстуке, с припомаженным пробором посередине головы, весь благоухающий персидской сиренью. Увидев меня, он вскочил со стула и принялся расшаркиваться не кланяясь, а как-то ломаясь в поясице, с улыбкой, обнажившей бледные десны обеих челюстей.

– Имею честь кланяться, – любезно тараторил Никита Назарыч. – Очень приятно увидеться... А я тут жду вас с самой обедни. Давно я вас не видел, даже соскучился за вами. Что это вы к нам никогда не заглянете? Наши степаньские барышни даже смеются с вас.

И вдруг, подхваченный внезапным воспоминанием, он разразился неудержимым хохотом.

– Вот, я вам скажу, потеха-то была сегодня! – воскликнул он, давясь и прыская. – Ха-ха-ха-ха... Я даже боки рвал со смеху!..

– Что такое? Что за потеха? – грубо спросил я, не скрывая своего неудовольствия.

– После обедни скандал здесь произошел, – продолжал Никита Назарыч, прерывая свою речь залпами хохота. – Перебродские дивчата... Нет, ей-богу, не выдержу... Перебродские дивчата поймали здесь на площади ведьму... То есть, конечно, они ее ведьмой считают по своей мужицкой необразованности... Ну, и задали же они ей встряску!.. Хотели дегтем вымазать, да она вывернулась как-то, уткнула...

Страшная догадка блеснула у меня в уме. Я бросился к конторщику и, не помня себя от волнения, крепко вцепился рукой в его плечо.

– Что вы говорите! – закричал я неистовым голосом. – Да перестаньте же ржать, черт вас подери! Про какую ведьму вы говорите?

Он вдруг сразу перестал смеяться и выпучил на меня круглые, испуганные глаза.

– Я... я... право, не знаю-с, – растерянно залепетал он. – Кажется, какая-то Самуйлиха... Мануйлиха... или... позвольте... Дочка какой-то Мануйлихи?.. Тут что-то такое болтали мужики, но я, признаться, не запомнил.

Я заставил его рассказать мне по порядку все, что он видел и слышал. Он говорил нелепо, несвязно, путаясь в подробностях, и я каждую минуту перебивал его нетерпеливыми расспросами и восклицаниями, почти бранью. Из его рассказа я понял очень мало и только месяца два спустя восстановил всю последовательность этого проклятого события со слов его очевидицы, жены казенного лесничего, которая в тот день также была у обедни.

Мое предчувствие не обмануло меня. Олеся переломила свою боязнь и пришла в церковь; хотя она поспела только к середине службы и стала в церковных сенях, но ее приход был

тотчас же замечен всеми находившимися в церкви крестьянами. Всю службу женщины перешептывались и оглядывались назад.

Однако Олеся нашла в себе достаточно силы, чтобы дотянуть до конца обедню. Может быть, она не поняла настоящего значения этих враждебных взглядов, может быть, из гордости пренебрегла ими. Но когда она вышла из церкви, то у самой ограды ее со всех сторон обступила кучка баб, становившаяся с каждой минутой все больше и больше и все теснее сдвигавшаяся вокруг Олеси. Сначала они только молча и бесцеремонно разглядывали беспомощную, пугливо озирающуюся по сторонам девушку. Потом посыпались грубые насмешки, крепкие слова, ругательства, сопровождаемые хохотом, потом отдельные восклицания слились в общий пронзительный бабий гвалт, в котором ничего нельзя было разобрать и который еще больше взвинчивал нервы расходившейся толпы. Несколько раз Олеся пыталась пройти сквозь это живое ужасное кольцо, но ее постоянно отталкивали опять на середину. Вдруг визгливый, старушечий голос заорал откуда-то позади толпы: «Дегтем ее вымазать, стерву!» (Известно, что в Малороссии мазанье дегтем даже ворот того дома, где живет девушка, сопряжено для нее с величайшим, несмываемым позором.) Почти в ту же минуту над головами беснующихся баб появилась мазница с дегтем и кистью, передаваемая из рук в руки.

Тогда Олеся в припадке злобы, ужаса и отчаяния бросилась на первую попавшуюся из своих мучительниц так стремительно, что сбила ее с ног. Тотчас же на земле закипела свалка, и десятки тел смешались в одну общую кричащую массу. Но Олесе прямо каким-то чудом удалось выскользнуть из этого клубка, и она опрометью побежала по дороге – без платка, с растерзанной в лохмотья одеждой, из-под которой во многих местах было видно голое тело. Вслед ей вместе с бранью, хохотом и улюлюканьем полетели камни. Однако погнались за ней только немногие, да и те сейчас же отстали. Отбежав шагов на пятьдесят, Олеся остановилась, повернула к озверевшей толпе свое бледное, исцарапанное, окровавленное лицо и крикнула так громко, что каждое ее слово было слышно на площади:

– Хорошо же!.. Вы еще у меня вспомните это! Вы еще все наплачетесь досыта!

Эта угроза, как мне потом передавала та же очевидица события, была произнесена с такой страстной ненавистью, таким решительным, пророческим тоном, что на мгновение вся толпа как будто бы оцепенела, но только на мгновение, потому что тотчас же раздался новый взрыв брани.

Повторяю, что многие подробности этого происшествия я узнал гораздо позднее. У меня не хватило сил и терпения дослушать до конца рассказ Мищенки. Я вдруг вспомнил, что Ярмола, наверно, не успел еще расседлать лошадь, и, не сказав изумленному конторщику ни слова, поспешно вышел на двор. Ярмола действительно еще водил Таранчика вдоль забора. Я быстро взнуздal лошадь, затянул подпруги и объездом, чтобы опять не пробираться сквозь пьяную толпу, поскакал в лес.

ХIII

Невозможно описать того состояния, в котором я находился в продолжение моей бешеной скачки. Минутами я совсем забывал, куда и зачем еду: оставалось только смутное сознание, что совершилось что-то непоправимое, нелепое и ужасное, – сознание, похожее на тяжелую беспричинную тревогу, овладевающую иногда в лихорадочном кошмаре человеком. И в то же время – как это странно! – у меня в голове не переставал дрожать, в такт с лошадиным топотом, гнусавый, разбитый голос слепого лирника:

Ой вышло вийско турецкое,
Як та черная хмара...

Добравшись до узкой тропинки, ведшей прямо к хате Мануйлихи, я слез с Таранчика, на котором по краям потника и в тех местах, где его кожа соприкасалась со сбруей, белыми комьями выступила густая пена, и повел его в поводу. От сильного дневного жара и от быстрой езды кровь шумела у меня в голове, точно нагнетаемая каким-то огромным, безостановочным насосом.

Привязав лошадь к плетню, я вошел в хату. Сначала мне показалось, что Олеси нет дома, и у меня даже в груди и во рту похолодело от страха, но спустя минуту я ее увидел, лежащую на постели, лицом к стене, с головой, спрятанной в подушки. Она даже не обернулась на шум отворяемой двери.

Мануйлиха, сидевшая тут же рядом, на земле, с трудом поднялась на ноги и замахала на меня руками.

– Тише! Не шуми ты, окаянный, – с угрозой зашептала она, подходя ко мне вплотную. И, взглянув мне прямо в глаза своими выцветшими, холодными глазами, она прошипела злобно: – Что? Доигрался, голубчик?

– Послушай, бабка, – возразил я сурово, – теперь не время считаться и выговаривать. Что с Олесей?

– Тсс... тише! Без памяти лежит Олеся, вот что с Олесей... Кабы ты не лез, куда тебе не следует, да не болтал бы чепухи девчонке, ничего бы худого не случилось. И я-то, дура петая, смотрела, потворствовала... А ведь чуяло мое сердце беду... Чуяло оно недоброе с того самого дня, когда ты чуть не силою к нам в хату ворвался. Что? Скажешь, это не ты ее подбил в церковь потащиться? – вдруг с искривленным от ненависти лицом накинута на меня старуха. – Не ты, барчук проклятый? Да не лги – не верти лисьим хвостом-то, срамник! Зачем тебе понадобилось ее в церковь манить?

– Не манил я ее, бабка... Даю тебе слово в этом. Сама она захотела.

– Ах ты, горе, горе мое! – всплеснула руками Мануйлиха. – Прибежала оттуда – лица на ней нет, вся рубаха в шматки растерзана... Простоволосая... Рассказывает, как что было, а сама – то хохочет, то плачет... Ну, прямо вот как кликуша какая... Легла в постель... все плакала, а потом, гляжу, как будто бы и задремала. Я-то, дура старая, обрадовалась было: вот, думаю, все сном пройдет, перекинется. Гляжу, рука у нее вниз свесилась, думаю: надо поправить, затекет рука-то... Тронула я ее, голубушку, за руку, а она вся так жаром и пышет... Значит, огневица с ней началась... С час без умолку говорила, быстро да жалостно так... Вот только-только замолчала, на минуточку. Что ты наделал? Что ты наделал с ней? – с новым наплывом отчаяния воскликнула старуха.

И вдруг ее коричневое лицо собралось в чудовищную, отвратительную гримасу плача: губы растянулись и опустились по углам вниз, все личные мускулы напряглись и задрожали, брови поднялись кверху, наморщив лоб глубокими складками, а из глаз необычайно часто посыпались крупные, как горошины, слезы. Обхватив руками голову и положив локти на стол, она принялась качаться взад и вперед всем телом и завывала нараспев вполголоса:

– Дочечка моя-а-а! Внучечка миленькая-а-а!.. Ох, го-о-орько мне, то-о-ошно!..

– Да не реви ты, старая, – грубо прервал я Мануйлиху. – Разбудишь!

Старуха замолчала, но все с той же страшной гримасой на лице продолжала качаться взад и вперед, между тем как крупные слезы падали на стол... Так прошло минут с десять. Я сидел рядом с Мануйлихой и с тоской слушал, как, однообразно и прерывисто жужжа, бьется об оконное стекло муха...

– Бабушка! – раздался вдруг слабый, чуть слышный голос Олеси. – Бабушка, кто у нас?

Мануйлиха поспешно заковыляла к кровати и тотчас же опять завывала:

– Ох, внучечка моя, ро-одная-а-а! Ох, горько мне, ста-а-арой, тошно мне-е-е-е...

– Ах, бабушка, да перестань ты! – с жалобной мольбой и страданием в голосе сказала Олеся. – Кто у нас в хате сидит?

Я осторожно, на цыпочках, подошел к кровати с тем неловким, виноватым сознанием своего здоровья и своей грубости, какое всегда ощущаешь около больного.

– Это я, Олеся, – сказал я, понижая голос. – Я только что приехал верхом из деревни... А все утро я в городе был... Тебе нехорошо, Олеся?

Она, не отнимая лица от подушек, протянула назад обнаженную руку, точно ища чего-то в воздухе. Я понял это движение и взял ее горячую руку в свои руки. Два огромных синих пятна – одно над кистью, а другое повыше локтя – резко выделялись на белой, нежной коже.

– Голубчик мой, – заговорила Олеся, медленно, с трудом отделяя одно слово от другого. – Хочется мне... на тебя посмотреть... да не могу я... Всю меня изуродовали... Помнишь... тебе... мое лицо так нравилось?... Правда, ведь нравилось, родной?... И я так этому всегда радовалась... А теперь тебе противно будет... смотреть на меня... Ну, вот... я... и не хочу...

– Олеся, прости меня, – шепнул я, наклоняясь к самому ее уху.

Ее пылающая рука крепко и долго сжимала мою.

– Да ты что!.. Что ты, милый?... Как тебе не стыдно и думать об этом? Чем же ты виноват здесь? Все я одна, глупая... Ну, чего я полезла... в самом деле? Нет, солнышко, ты себя не виновать...

– Олеся, позволь мне... Только обещай сначала, что позволишь...

– Обещаю, голубчик... все, что ты хочешь...

– Позволь мне, пожалуйста, послать за доктором... Прошу тебя! Ну, если хочешь, то можешь ничего не исполнять из того, что он прикажет. Но ты хоть для меня согласишься, Олеся.

– Ох, милый... В какую ты меня ловушку поймал! Нет, уж лучше ты позволь мне своего обещания не держать. Я, если бы и в самом деле была больна, при смерти бы лежала, так и то к себе доктора не подпустила бы. А теперь я разве больна? Это просто у меня от испугу так сделалось, это пройдет к вечеру. А нет – так бабушка мне ландышевой настойки даст или малины в чайнике заварит. Зачем же тут доктор? Ты – мой доктор самый лучший. Вот ты пришел, и мне сразу легче сделалось... Ах, одно мне только нехорошо: хочу поглядеть на тебя хоть одним глазком, да боюсь...

Я с нежным усилием отнял ее голову от подушки. Лицо Олеси пылало лихорадочным румянцем, темные глаза блестели неестественно ярко, сухие губы нервно вздрагивали. Длинные красные ссадины изборождали ее лоб, щеки и шею. Темные синяки были на лбу и под глазами.

– Не смотри на меня... Прошу тебя... Гадкая я теперь, – умоляюще шептала Олеся, стараясь своею ладонью закрыть мне глаза.

Сердце мое переполнилось жалостью. Я приник губами к Олесиной руке, неподвижно лежавшей на одеяле, и стал покрывать ее долгими, тихими поцелуями. Я и раньше целовал иногда ее руки, но она всегда отнимала их у меня с торопливым, застенчивым испугом. Теперь же она не противилась этой ласке и другой, свободной рукой тихо гладила меня по волосам.

– Ты все знаешь? – шепотом спросила она.

Я молча наклонил голову. Правда, я не все понял из рассказа Никиты Назарыча. Мне не хотелось только, чтобы Олеся волновалась, вспоминая об утреннем происшествии. Но вдруг при мысли об оскорблении, которому она подверглась, на меня сразу нахлынула волна неудержимой ярости.

– О! Зачем меня там не было в это время! – вскричал я, выпрямившись и сжимая кулаки. – Я бы... я бы...

– Ну, полно... полно... Не сердись, голубчик, – кротко прервала меня Олеся.

Я не мог более удерживать слез, давно давивших мне горло и жегших глаза. Припав лицом к плечу Олеси, я беззвучно и горько зарыдал, сотрясаясь всем телом.

– Ты плачешь? Ты плачешь? – в голосе ее зазвучали удивление, нежность и сострадание. – Милый мой... Да перестань же, перестань... Не мучь себя, голубчик. Ведь мне так хорошо

возле тебя. Не будем же плакать, пока мы вместе. Давай хоть последние дни проведем весело, чтобы нам не так тяжело было расставаться.

Я с изумлением поднял голову. Неясное предчувствие вдруг медленно сжало мое сердце.

– Последние дни, Олеся? Почему – последние? Зачем же нам расставаться?

Олеся закрыла глаза и несколько секунд молчала.

– Надо нам проститься с тобой, Ванечка, – заговорила она решительно. – Вот как только чуть-чуть поправлюсь, сейчас же мы с бабушкой и уедем отсюда. Нельзя нам здесь оставаться больше...

– Ты боишься чего-нибудь?

– Нет, мой дорогой, ничего я не боюсь, если понадобится. Только зачем же людей в грех вводить? Ты, может быть, не знаешь... Ведь я там... в Переброе... погрозила со зла да со стыда... А теперь чуть что случится, сейчас на нас скажут: скот ли начнет падать, или хата у кого загорится, – все мы будем виноваты. Бабушка, – обратилась она к Мануйлихе, возвышая голос, – правду ведь я говорю?

– Чего ты говорила-то, внученька? Не расслышала я, признаться! – прошамкала старуха, подходя поближе и приставляя к уху ладонь.

– Я говорю, что теперь, какая бы беда в Переброе ни случилась, все на нас с тобой свалят.

– Ох, правда, правда, Олеся, – все на нас, горемычных, свалят... Не жить нам на белом свете, изведут нас с тобой, совсем изведут, проклятики... А тогда, как меня из села выгнали... Что ж? Разве не так же было? Погрозила я... тоже вот с досады... одной дурище полосатой, а у нее – хватъ – ребенок помер. То есть ни сном ни духом тут моей вины не было, а ведь меня чуть не убили, окаянные... Камнями стали шибать... Я бегу от них, да только тебя, малолетку, все оберегаю... Ну, думаю, пусть уж мне попадет, а за что же дитю-то неповинную обижать?... Одно слово – варвары, висельники поганые!

– Да куда же вы поедете? У вас нигде ни родных, ни знакомых нет... Наконец, и деньги нужны, чтобы на новом месте устроиться...

– Обойдемся как-нибудь, – небрежно проговорила Олеся. – И деньги у бабушки найдутся, припасла она кое-что.

– Ну уж и деньги тоже! – с неудовольствием возразила старуха, отходя от кровати. – Копеечки сиротские, слезами облитые...

– Олеся... А я как же? Обо мне ты и думать даже не хочешь! – воскликнул я, чувствуя, как во мне подымается горький, больной, недобрый упрек против Олеси.

Она привстала и, не стесняясь присутствием бабки, взяла руками мою голову и несколько раз подряд поцеловала меня в лоб и щеки.

– Об тебе я больше всего думаю, мой родной. Только... видишь ли... не судьба нам вместе быть... вот что!.. Помнишь, я на тебя карты бросала? Ведь все так и вышло, как они сказали тогда. Значит, не хочет судьба нашего с тобой счастья... А если бы не это, разве, ты думаешь, я чего-нибудь испугалась бы?

– Олеся, опять ты про свою судьбу? – воскликнул я нетерпеливо. – Не хочу я в нее верить... и не буду никогда верить!..

– Ох, нет, нет... не говори этого, – испуганно зашептала Олеся. – Я не за себя, за тебя боюсь, голубчик. Нет, лучше ты уж об этом и разговора не начинай совсем.

Напрасно я старался разубедить Олесю, напрасно рисовал перед ней картины безмятежного счастья, которому не помешают ни завистливая судьба, ни грубые, злые люди. Олеся только целовала мои руки и отрицательно качала головой.

– Нет... нет... нет... я знаю, я вижу, – твердила она настойчиво. – Ничего нам, кроме горя, не будет... ничего... ничего...

Растерянный, сбитый с толку этим суеверным упорством, я наконец спросил:

– Но ведь, во всяком случае, ты дашь мне знать о дне отъезда?

Олеся задумалась. Вдруг слабая улыбка пробежала по ее губам.

– Я тебе на это скажу маленькую сказочку... Однажды волк бежал по лесу, увидел зайчика и говорит ему: «Заяц, а заяц, ведь я тебя съем!» Заяц стал проситься: «Помилуй меня, волк, мне еще жить хочется, у меня дома детки маленькие». Волк не соглашается. Тогда заяц говорит: «Ну, дай мне хоть три дня еще на свете пожить, а потом и съешь. Все же мне легче умирать будет». Дал ему волк эти три дня, не ест его, а только стережет. Прошел один день, прошел другой, наконец и третий кончается. «Ну, теперь готовься, – говорит волк, – сейчас я начну тебя есть». Тут мой заяц и заплакал горячими слезами: «Ах, зачем ты мне, волк, эти три дня подарил! Лучше бы ты сразу меня съел, как только увидел. А то я все три дня не жил, а только терзался!» Милый мой, ведь зайчик-то этот правду сказал. Как ты думаешь?

Я молчал, охваченный тоскливым предчувствием близкого одиночества. Олеся вдруг поднялась и присела на постели. Лицо ее стало сразу серьезным.

– Ваня, послушай... – произнесла она с расстановкой. – Скажи мне: покамест ты был со мною, был ли ты счастлив? Хорошо ли тебе было?

– Олеся! И ты еще спрашиваешь!

– Подожди... Жалел ли ты, что узнал меня? Думал ли ты о другой женщине, когда виделся со мною?

– Ни одного мгновения! Не только в твоём присутствии, но, даже и оставшись один, я ни о ком, кроме тебя, не думал.

– Ревновал ли ты меня? Был ли ты когда-нибудь на меня недоволен? Не скучал ли ты со мною?

– Никогда, Олеся! Никогда!

Она положила обе руки мне на плечи и с невыразимой любовью поглядела в мои глаза.

– Так и знай же, мой дорогой, что никогда ты обо мне не вспомнишь дурно или со злом, – сказала она так убедительно, точно читала у меня в глазах будущее. – Как расстанемся мы с тобой, тяжело тебе в первое время будет, ох как тяжело... Плакать будешь, места себе не найдешь нигде. А потом все пройдет, все изгладится. И уж без горя ты будешь обо мне думать, а легко и радостно.

Она опять откинулась головой на подушки и прошептала ослабевшим голосом:

– А теперь поезжай, мой дорогой... Поезжай домой, голубчик... Устала я немножко. Подожди... поцелуй меня... Ты бабушки не бойся... она позволит. Позволишь ведь, бабушка?

– Да уж простишь, простишь как следует, – недовольно проворчала старуха. – Чего же передо мной таиться-то!.. Давно знаю...

– Поцелуй меня сюда, и сюда еще... и сюда, – говорила Олеся, притрагиваясь пальцем к своим глазам, щекам и рту.

– Олеся! Ты прощаешься со мною так, как будто бы мы уже не увидимся больше! – воскликнул я с испугом.

– Не знаю, не знаю, мой милый. Ничего не знаю. Ну поезжай с Богом. Нет, постой... еще минуточку... Наклони ко мне ухо... Знаешь, о чем я жалею? – зашептала она, прикасаясь губами к моей щеке. – О том, что у меня нет от тебя ребеночка. Ах, как я была бы рада этому!

Я вышел на крыльцо в сопровождении Мануйлихи. Полнеба закрыла черная туча с резкими курчавыми краями, но солнце еще светило, склоняясь к западу, и в этом смещении света и надвигающейся тьмы было что-то зловещее. Старуха посмотрела вверх, прикрыв глаза, как зонтиком, ладонью, и значительно покачала головой:

– Быть сегодня над Перебродом грозе, – сказала она убедительным тоном. – А чего доброго, даже и с градом.

XIV

Я подъезжал уже к Переброду, когда внезапный вихрь закрутил и погнал по дороге столбы пыли. Упали первые – редкие и тяжелые – капли дождя.

Мануйлиха не ошиблась. Гроза, медленно накапливаясь за весь этот жаркий, нестерпимо душный день, разразилась с необыкновенной силой над Перебродом. Молния блистала почти непрерывно, и от раскатов грома дрожали и звенели стекла в окнах моей комнаты. Часов около восьми вечера гроза утихла на несколько минут, но только для того, чтобы потом начаться с новым ожесточением. Вдруг что-то с оглушительным треском посыпалось на крышу и на стены старого дома. Я бросился к окну. Огромный град, с грецкий орех величиной, стремительно падал на землю, высоко подпрыгивая потом кверху. Я взглянул на тутовое дерево, росшее около самого дома, – оно стояло совершенно голое, все листья были сбиты с него страшными ударами града... Под окном показалась еле заметная в темноте фигура Ярмола, который, накрывшись с головой свиткой, выбежал из кухни, чтобы притворить ставни. Но он опоздал. В одно из стекол вдруг с такой силой ударил громадный кусок льду, что оно разбилось, и осколки его со звоном разлетелись по полу комнаты.

Я почувствовал себя утомленным и прилег, не раздеваясь, на кровать. Я думал, что мне вовсе не удастся заснуть в эту ночь и что я до утра буду в бессильной тоске ворочаться с боку на бок, поэтому я решил лучше не снимать платья, чтобы потом хоть немного утомить себя однообразной ходьбой по комнате. Но со мной случилась очень странная вещь: мне показалось, что я только на минутку закрыл глаза; когда же я раскрыл их, то сквозь щели ставен уже тянулись длинные яркие лучи солнца, в которых кружились бесчисленные золотые пылинки.

Над моей кроватью стоял Ярмола. Его лицо выражало суровую тревогу и нетерпеливое ожидание: должно быть, он уже давно дожидался здесь моего пробуждения.

– Паныч, – сказал он своим глухим голосом, в котором слышалось беспокойство. – Паныч, треба вам отсюда уезжать...

Я свесил ноги с кровати и с изумлением поглядел на Ярмола.

– Уезжать? Куда уезжать? Зачем? Ты, верно, с ума сошел?

– Ничего я с ума не сходил, – огрызнулся Ярмола. – Вы не чули, что вчерашний град наробил? У половины села жито, как ногами, потоптано. У кривого Максима, у Козла, у Мута, у Прокопчуков, у Гордия Олефира... наслала-таки шкочу ведьмака чертова... чтоб ей сгинуть!

Мне вдруг, в одно мгновение, вспомнился весь вчерашний день, угроза, произнесенная около церкви Олесей, и ее опасения.

– Теперь вся громада бунтуется, – продолжал Ярмола. – С утра все опять перепились и орут... И про вас, панычу, кричат недоброе... А вы знаете, яка у нас громада?.. Если они ведьмакам що зробят, то так и треба, то справедливое дело, а вам, панычу, я скажу одно – утекайте скорейше.

Итак, опасения Олеси оправдались. Нужно было немедленно предупредить ее о грозившей ей и Мануйлихе беде. Я торопливо оделся, на ходу сполоснул водою лицо и через полчаса уже ехал крупной рысью по направлению Бисова Кута.

Чем ближе подвигался я к избушке на курьих ножках, тем сильнее возрастало во мне неопределенное, тоскливое беспокойство. Я с уверенностью говорил самому себе, что сейчас меня постигнет какое-то новое, неожиданное горе.

Почти бегом пробежал я узкую тропинку, вившуюся по песчаному пригорку. Окна хаты были открыты, дверь растворена настежь.

– Господи! Что же такое случилось? – прошептал я, входя с замиранием сердца в сени.

Хата была пуста. В ней господствовал тот печальный, грязный беспорядок, который всегда остается после поспешного выезда. Кучи сора и тряпок лежали на полу, да в углу стоял деревянный остов кровати...

С стесненным, переполненным слезами сердцем я хотел уже выйти из хаты, как вдруг мое внимание привлек яркий предмет, очевидно, нарочно повешенный на угол оконной рамы. Это была нитка дешевых красных бус, известных в Полесье под названием «кораллов», – единственная вещь, которая осталась мне на память об Олесе и об ее нежной, великодушной любви.

1898

Суламифь

Положи мя, яко печать, на сердце твоём, яко печать, на мьшице твоей: зане крепка, яко смерть, любовь, жестока, яко смерть, ревность: стрелы ее стрелы огненные.

Песнь Песней

I

Царь Соломон не достиг еще среднего возраста сорока пяти лет, а слава о его мудрости и красоте, о великолепии его жизни и пышности его двора распространилась далеко за пределами Палестины. В Ассирии и Финикии, в Верхнем и Нижнем Египте, от древней Тавризы до Иемена и от Исмара до Персеполя, на побережье Черного моря и на островах Средиземного с удивлением произносили его имя, потому что не было подобного ему между царями во все дни его.

В 480 году по истреблении Израиля, в четвертый год своего царствования, в месяце Зифе, предпринял царь сооружение великого храма Господня на горе Мориа и постройку дворца в Иерусалиме. Восемьдесят тысяч каменотесов и семьдесят тысяч носильщиков беспрерывно работали в горах и в предместьях города, а десять тысяч дровосеков из числа тридцати восьми тысяч отправлялись посменно на Ливан, где проводили целый месяц в столь тяжелой работе, что после нее отдыхали два месяца. Тысячи людей вязали срубленные деревья в плоты, и сотни моряков сплавливали их морем в Иаффу, где их обделявали тиряне, искусные в токарной и столярной работе. Только лишь при возведении пирамид Хефрена, Хуфу и Микерина в Гизехе употреблено было такое несметное количество рабочих.

Три тысячи шестьсот приставников надзирали за работами, а над приставниками начальствовал Азария, сын Нафанов, человек жестокий и деятельный, про которого сложился слух, что он никогда не спит, пожираемый огнем внутренней неизлечимой болезни. Все же планы дворца и храма, рисунки колонн, давира и медного моря, чертежи окон, украшения стен и тронов созданы были зодчим Хирамом-Авием из Сидона, сыном медника из рода Нафалимова.

Через семь лет, в месяце Буле, был завершен храм Господень и через тринадцать лет царский дворец. За кедровые бревна с Ливана, за кипарисные и оливковые доски, за дерево пегивое, ситтим и фарсис, за обтесанные и отполированные громадные дорогие камни, за пурпур, багряницу и виссон, шитый золотом, за голубые шерстяные материи, за слоновую кость и красные баряньи кожи, за железо, оникс и множество мрамора, за драгоценные камни, за золотые цепи, венцы, шнурки, щипцы, сетки, лотки, лампы, цветы и светильники, золотые петли к дверям и золотые гвозди, весом в шестьдесят сиклей каждый, за златокованные чаши и блюда, за резные и мозаичные орнаменты, залитые и иссеченные в камне изображения львов, херувимов, волов, пальм и ананасов подарил Соломон Тирскому царю Хираму, соименнику зодчего, двадцать городов и селений в земле Галилейской, и Хирам нашел этот подарок ничтожным, с такой неслыханной роскошью были выстроены храм Господень и дворец Соломонов и малый дворец в Милло для жены царя, красавицы Астис, дочери египетского фараона Суссакима. Красное же дерево, которое позднее пошло на перила и лестницы галерей, на музыкальные инструменты и на переплеты для священных книг, было принесено в дар Соломону царицей Савской, мудрой и прекрасной Балкис, вместе с таким количеством ароматных курений, благовонных масел и драгоценных духов, какого до сих пор еще не видали в Израиле.

С каждым годом росли богатства царя. Три раза в год возвращались в гавани его корабли: Фарсис, ходивший по Средиземному морю, и Хирам, ходивший по Черному морю. Они приво-

зили из Африки слоновую кость, обезьян, павлинов и антилоп; богато украшенные колесницы из Египта, живых тигров и львов, а также звериные шкуры и меха из Месопотамии, белоснежных коней из Кувы, парваимский золотой песок на шестьсот шестьдесят талантов в год, красное, черное и сандаловое дерево из страны Офир, пестрые ассурские и калахские ковры с удивительными рисунками дружественные дары царя Тиглат-Пилеазара, художественную мозаику из Ниневии, Нимруда и Саргона; чудные узорчатые ткани из Хатуара; златокованные кубки из Тира; из Сидона цветные стекла, а из Пунта, близ Баб-эль-Мандеба, те редкие благовония нарда, алоэ, трость, киннамон, шафран, амбру, мускус, стакти, халван, смирну и ладан, из-за обладания которыми египетские фараоны предпринимали не раз кровавые войны.

Серебро же во дни Соломоновы стало ценою, как простой камень, и красное дерево не дороже простых сикимор, растущих на низинах.

Каменные бани, обложенные порфиром, мраморные водоемы и прохладные фонтаны устроил царь, повелев провести воду из горных источников, низвергавшихся в Кедронский поток, а вокруг дворца насадил сады и рощи и развел виноградник в Ваал-Гамоне.

Было у Соломона сорок тысяч стойл для мулов и коней колесничных и двенадцать тысяч для конницы; ежедневно привозили для лошадей ячмень и солому из провинций. Десять волов откормленных и двадцать волов с пастбища, тридцать куров пшеничной муки и шестьдесят прочей, сто батов вина разного, триста овец, не считая птицы откормленной, оленей, серн и сайгаков, все это через руки двенадцати приставников шло ежедневно к столу Соломона, а также к столу его двора, свиты и гвардии. Шестьдесят воинов, из числа пятисот самых сильных и храбрых во всем войске, держали посменно караул во внутренних покоях дворца. Пятьсот щитов, покрытых золотыми пластинками, повелел Соломон сделать для своих телохранителей.

II

Чего бы глаза царя ни пожелали, он не отказывал им и не возбранял сердцу своему никакого веселия. Семьсот жен было у царя и триста наложниц, не считая рабынь и танцовщиц. И всех их очаровывал своей любовью Соломон, потому что Бог дал ему такую неиссякаемую силу страсти, какой не было у людей обыкновенных. Он любил белолицых, черноглазых, краснотубых хеттеянок за их яркую, но мгновенную красоту, которая так же рано и прелестно расцветает и так же быстро вянет, как цветок нарцисса; смуглых, высоких, пламенных филистимлянок с жесткими курчавыми волосами, носивших золотые звенящие запястья на кистях рук, золотые обручи на плечах, а на обеих щиколотках широкие браслеты, соединенные тонкой цепочкой; нежных, маленьких, гибких амморейнок, сложенных без упрека, их верность и покорность в любви вошли в пословицу; женщин из Ассирии, удлинявших красками свои глаза и вытравливавших синие звезды на лбу и на щеках; образованных, веселых и остроумных дочерей Сидона, умевших хорошо петь, танцевать, а также играть на арфах, лютнях и флейтах под аккомпанемент бубна; желтокожих египтянок, неутомимых в любви и безумных в ревности; сладострастных вавилонянок, у которых все тело под одеждой было гладко, как мрамор, потому что они особой пастой истребляли на нем волосы; дев Бактрии, красивших волосы и ногти в огненно-красный цвет и носивших шальвары; молчаливых, застенчивых моавитянок, у которых роскошные груди были прохладны в самые жаркие летние ночи; беспечных и расточительных аммонитянок с огненными волосами и с телом такой белизны, что оно светилось во тьме; хрупких голубоглазых женщин с льяными волосами и нежным запахом кожи, которых привозили с севера, через Баальбек, и язык которых был непонятен для всех живущих в Палестине. Кроме того, любил царь многих дочерей Иудеи и Израиля.

Также разделял он ложе с Балкис-Македа, царицей Савской, превзошедшей всех женщин в мире красотой, мудростью, богатством и разнообразием искусства в страсти; и с Ависагой-сунамитянкой, согревавшей старость царя Давида, с этой ласковой, тихой красавицей, из-

за которой Соломон предал своего старшего брата Адонию смерти от руки Ванеи, сына Иодаева.

И с бедной девушкой из виноградника, по имени Суламифь, которую одну из всех женщин любил царь всем своим сердцем.

Носильный одр сделал себе Соломон из лучшего кедрового дерева, с серебряными столпами, с золотыми локотниками в виде лежащих львов, с шатром из пурпуровой тирской ткани. Внутри же весь шатер был украшен золотым шитьем и драгоценными камнями – любовными дарами жен и дев иерусалимских. И когда стройные черные рабы пронесли Соломона в дни великих празднеств среди народа, поистине был прекрасен царь, как лилия Саронской долины!

Бледно было его лицо, губы точно яркая алая лента; волнистые волосы черные иссиня, и в них украшение мудрости блестела седина, подобно серебряным нитям горных ручьев, падающих с высоты темных скал Аэрмона; седина сверкала и в его черной бороде, завитой, по обычаю царей ассирийских, правильными мелкими рядами.

Глаза же у царя были темны, как самый темный агат, как небо в безлунную летнюю ночь, а ресницы, разверзавшиеся стрелами вверх и вниз, походили на черные лучи вокруг черных звезд. И не было человека во вселенной, который мог бы выдержать взгляд Соломона, не потушив своих глаз. И молнии гнева в очах царя повергали людей на землю.

Но бывали минуты сердечного веселия, когда царь опьянялся любовью, или вином, или сладостью власти, или радовался он мудрому и красивому слову, сказанному кстати. Тогда тихо опускались до половины его длинные ресницы, бросая синие тени на светлое лицо, и в глазах царя загорались, точно искры в черных брильянтах, теплые огни ласкового, нежного смеха; и те, кто видели эту улыбку, готовы были за нее отдать тело и душу – так она была неописуемо прекрасна. Одно имя царя Соломона, произнесенное вслух, волновало сердце женщины, как аромат пролитого мирра, напоминающий о ночах любви.

Руки царя были нежны, белы, теплы и красивы, как у женщины, но в них заключался такой избыток жизненной силы, что, налагая ладони на темя больных, царь исцелял головные боли, судороги, черную меланхолию и беснование. На указательном пальце левой руки носил Соломон гемму из кроваво-красного астерикса, извергавшего из себя шесть лучей жемчужного цвета. Много сотен лет было этому кольцу, и на оборотной стороне его камня вырезана была надпись на языке древнего, исчезнувшего народа: «Все проходит».

И так велика была власть души Соломона, что повиновались ей даже животные: львы и тигры ползали у ног царя, и терлись мордами о его колени, и лизали его руки своими жесткими языками, когда он входил в их помещения. И он, находивший веселие сердца в сверкающих переливах драгоценных камней, в аромате египетских благовонных смол, в нежном прикосновении легких тканей, в сладостной музыке, в тонком вкусе красного искристого вина, играющего в чеканном нинуанском потире, он любил также гладить суровые гривы львов, бархатные спины черных пантер и нежные лапы молодых пятнистых леопардов, любил слушать рев диких зверей, видеть их сильные и прекрасные движения и ощущать горячий запах их хищного дыхания.

Так живописал царя Соломона Иосафат, сын Ахилуда, историк его дней.

III

За то, что ты не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов, но просил мудрости, то вот я делаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе.

Так сказал Соломону Бог, и по слову его познал царь составление мира и действие стихий, постиг начало, конец и середину времен, проник в тайну вечного волнообразного и кру-

гового возвращения событий; у астрономов Библоса, Акры, Саргона, Борсиппы и Ниневии научился он следить за изменением расположения звезд и за годовыми кругами. Знал он также естество всех животных и угадывал чувства зверей, понимал происхождение и направление ветров, различные свойства растений и силу целебных трав.

Помыслы в сердце человеческом глубокая вода, но и их умел вычерпывать мудрый царь. В словах и голосе, в глазах, в движениях рук так же ясно читал он самые сокровенные тайны душ, как буквы в открытой книге. И потому со всех концов Палестины приходило к нему великое множество людей, прося суда, совета, помощи, разрешения спора, а также и за разгадкой непонятных предзнаменований и снов. И дивились люди глубине и тонкости ответов Соломоновых.

Три тысячи притчей сочинил Соломон и тысячу и пять песней. Диктовал он их двум искусным и быстрым писцам, Елихоферу и Ахии, сыновьям Сивы, и потом сличал написанное обоими. Всегда облакал он свои мысли изящными выражениями, потому что золотому яблоку в чаше из прозрачного сардоникса подобно слово, сказанное умело, и потому также, что слова мудрых остры, как иглы, крепки, как вбитые гвозди, и составители их все от единого пастыря. «Слово – искра в движении сердца», – так говорил царь. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Был он мудрее и Ефана Езрахитянина, и Емана, и Хилколы, и Додры, сыновей Махола. Но уже начинал он тяготиться красотой обыкновенной человеческой мудрости, и не имела она в глазах его прежней цены. Беспокойным и пытливым умом жаждал он той высшей мудрости, которую Господь имел на своем пути прежде всех созданий своих искони, от начала, прежде бытия земли, той мудрости, которая была при нем великой художницей, когда он проводил круговую черту по лицу бездны. И не находил ее Соломон.

Изучил царь учения магов халдейских и ниневийских, науку астрологов из Абидоса, Саиса и Мемфиса, тайны волхвов, мистагогов, и эпоптов ассирийских, и прорицателей из Бактры и Персеполя и убедился, что знания их были знаниями человеческими.

Также искал он мудрости в тайнодействиях древних языческих верований и потому посещал капища и приносил жертвы: могущественному Ваалу-Либанону, которого чтили под именем Мелькарта, бога созидания и разрушения, покровителя мореплавания, в Тире и Сидоне, называли Аммоном в оазисе Сивах, где идол его кивал головою, указывая пути праздничным шествиям, Бэлом у халдеев, Молохом у хананеев; поклонялся также жене его грозной и сладострастной Астарте, имевшей в других храмах имена Иштар, Исаар, Ваальтис, Ашера, Истар-Белит и Атаргатис. Изливал он елей и возжигал курение Изиде и Озирису египетским, брату и сестре, соединившимся браком еще во чреве матери своей и зачавшим там бога Гора, и Деркету, рыбообразной богине тирской, и Анубису с собачьей головой, богу бальзамирования, и вавилонскому Оанну, и Дагону филистимскому, и Арденаго ассирийскому, и Утсабу, идолу ниневийскому, и мрачной Кибеле, и Бэл-Меродоху, покровителю Вавилона – богу планеты Юпитер, и халдейскому Ору – богу вечного огня, и таинственной Омороге праматери богов, которую Бэл рассек на две части, создав из них небо и землю, а из головы – людей; и поклонялся царь еще богине Атанаис, в честь которой девушки Финикии, Лидии, Армении и Персии отдавали прохожим свое тело, как священную жертву, на пороге храмов.

Но ничего не находил царь в обрядах языческих, кроме пьянства, ночных оргий, блуда, кровосмешения и противоестественных страстей, и в догматах их видел суесловие и обман. Но никому из подданных не воспрещал приношение жертв любимому богу и даже сам построил на Масличной горе капище Хамосу, мерзости моавитской, по просьбе прекрасной, задумчивой Эллаан – моавитянки, бывшей тогда возлюбленной женою царя. Одного лишь не терпел Соломон и преследовал смертью жертвоприношение детей.

И увидел он в своих исканиях, что участь сынов человеческих и участь животных одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества

перед скотом. И понял царь, что во mnogой мудрости много печали, и кто умножает познание – умножает скорбь. Узнал он также, что и при смехе иногда болит сердце и концом радости бывает печаль. И однажды утром впервые продиктовал он Елихоферу и Ахии:

– Все суета сует и томление духа, – так говорит Екклезиаст.

Но тогда не знал еще царь, что скоро пошлет ему Бог такую нежную и пламенную, преданную и прекрасную любовь, которая одна дороже богатства, славы и мудрости, которая дороже самой жизни, потому что даже жизнью она не дорожит и не боится смерти.

IV

Виноградник был у царя в Ваал-Гамоне, на южном склоне Ватн-эль-Хава, к западу от капища Молоха; туда любил царь уединяться в часы великих размышлений. Гранатовые деревья, оливы и дикие яблони, вперемежку с кедрами и кипарисами, окаймляли его с трех сторон по горе, с четвертой же был он огражден от дороги высокой каменной стеной. И другие виноградники, лежавшие вокруг, также принадлежали Соломону; он отдавал их внаем сторожам за тысячу сребреников каждый.

Только с рассветом окончился во дворце роскошный пир, который давал царь израильский в честь послов царя Ассирийского, славного Тиглат-Пилеазара. Несмотря на утомление, Соломон не мог заснуть этим утром. Ни вино, ни сикера не отуманили крепких ассирийских голов и не развязали их хитрых языков. Но пронизательный ум мудрого царя уже опередил их планы и уже вязал, в свою очередь, тонкую политическую сеть, которою он оплетет этих важных людей с надменными глазами и с льстивой речью. Соломон сумеет сохранить необходимую приязнь с повелителем Ассирии и в то же время, ради вечной дружбы с Хирамом Тирским, спасет от разграбления его царство, которое своими неисчислимыми богатствами, скрытыми в подвалах под узкими улицами с тесными домами, давно уже привлекает жадные взоры восточных владык.

И вот на заре приказал Соломон отнести себя на гору Ватн-эль-Хав, оставил носилки далеко на дороге и теперь один сидит на простой деревянной скамье, наверху виноградника, под сенью деревьев, еще затаивших в своих ветвях росистую прохладу ночи. Простой белый плащ надет на царя, скрепленный на правом плече и на левом боку двумя египетскими аграфами из зеленого золота, в форме свернувшихся крокодилов – символ бога Себаха. Руки царя лежат неподвижно на коленях, а глаза, затененные глубокой мыслью, не мигая, устремлены на восток, в сторону Мертвого моря – туда, где из-за круглой вершины Аназе восходит в пламени зари солнце.

Утренний ветер дует с востока и разносит аромат цветущего винограда – тонкий аромат резеды и вареного вина. Темные кипарисы важно раскачивают тонкими верхушками и льют свое смолистое дыхание. Торопливо переговариваются серебряно-зеленые листья оливок.

Но вот Соломон встает и прислушивается. Милый женский голос, ясный и чистый, как это росистое утро, поет где-то невдалеке, за деревьями. Простой и нежный мотив льется, льется себе, как звонкий ручей в горах, повторяя все те же пять-шесть нот. И его незатейливая изящная прелесть вызывает тихую улыбку умиления в глазах царя.

Все ближе слышится голос. Вот он уже здесь, рядом, за раскидистыми кедрами, за темной зеленью можжевельника. Тогда царь осторожно раздвигает руками ветки, тихо пробирается между колючими кустами и выходит на открытое место.

Перед ним, за низкой стеной, грубо сложенной из больших желтых камней, расстилается вверх виноградник. Девушка в легком голубом платье ходит между рядами лоз, нагибается над чем-то внизу и опять выпрямляется и поет. Рыжие волосы ее горят на солнце.

День дохнул прохладой,

Убегают ночные тени.
Возвращайся скорее, мой милый,
Будь легок, как серна,
Как молодой олень среди
горных ущелий...

Так поет она, подвязывая виноградные лозы, и медленно спускается вниз, ближе и ближе к каменной стене, за которой стоит царь. Она одна – никто не видит и не слышит ее; запах цветущего винограда, радостная свежесть утра и горячая кровь в сердце опьяняют ее, и вот слова наивной песенки мгновенно рождаются у нее на устах и уносятся ветром, забытые навсегда:

Ловите нам лис и лисенят,
Они портят наши виноградники,
А виноградники наши в цвете.

Так она доходит до самой стены и, не замечая царя, поворачивает назад и идет, легко взбираясь в гору, вдоль соседнего ряда лоз. Теперь песня звучит глуше:

Беги, возлюбленный мой,
Будь подобен серне
Или молодому оленю
На горах бальзамических.

Но вдруг она замолкает и так пригибается к земле, что ее не видно за виноградником.

Тогда Соломон произносит голосом, ласкающим ухо:

– Девушка, покажи мне лицо твое, дай еще услышать твой голос.

Она быстро выпрямляется и оборачивается лицом к царю. Сильный ветер срывается в эту секунду и треплет на ней легкое платье и вдруг плотно облепляет его вокруг ее тела и между ног. И царь на мгновение, пока она не становится спиной к ветру, видит всю ее под одеждой, как нагую, высокую и стройную, в сильном расцвете тринадцати лет; видит ее маленькие, круглые, крепкие груди и возвышения сосцов, от которых материя лучами расходится врозь, и круглый, как чаша, девический живот, и глубокую линию, которая разделяет ее ноги снизу доверху и там расходится надвое, к выпуклым бедрам.

– Потому что голос твой сладок и лицо твое приятно! – говорит Соломон.

Она подходит ближе и смотрит на царя с трепетом и с восхищением. Невыразимо прекрасно ее смуглое и яркое лицо. Тяжелые, густые темно-рыжие волосы, в которые она воткнула два цветка алого мака, упругими бесчисленными кудрями покрывают ее плечи, и разбегаются по спине, и пламенеют, пронзенные лучами солнца, как золотой пурпур. Самодельное ожерелье из каких-то красных сухих ягод трогательно и невинно обвивает в два раза ее темную, высокую, тонкую шею.

– Я не заметила тебя! – говорит она нежно, и голос ее звучит, как пение флейты. – Откуда ты пришел?

– Ты так хорошо пела, девушка!

Она стыдливо опускает глаза и сама краснеет, но под ее длинными ресницами и в углах губ дрожит тайная улыбка.

– Ты пела о своем милом. Он легок, как серна, как молодой горный олень. Ведь он очень красив, твой милый, девушка, не правда ли?

Она смеется так звонко и музыкально, точно серебряный град падает на золотое блюдо.

– У меня нет милого. Это только песня. У меня еще не было милого...

Они молчат с минуту и глубоко, без улыбки смотрят друг на друга... Птицы громко переликаются среди деревьев. Грудь девушки часто колеблется под ветхим полотном.

– Я не верю тебе, красавица. Ты так прекрасна...

– Ты смеешься надо мною. Посмотри, какая я черная...

Она поднимает кверху маленькие темные руки, и широкие рукава легко скользят вниз, к плечам, обнажая ее локти, у которых такой тонкий и круглый девический рисунок.

И она говорит жалобно:

– Братья мои рассердились на меня и поставили меня стеречь виноградник, и вот – погляди, как опалило меня солнце!

– О нет, солнце сделало тебя еще красивее, прекраснейшая из женщин! Вот ты засмеялась, и зубы твои – как белые двойни-ягнята, вышедшие из купальни, и ни на одном из них нет порока. Щеки твои точно половинки граната под кудрями твоими. Губы твои алы – наслаждение смотреть на них. А волосы твои... Знаешь, на что похожи твои волосы? Видала ли ты, как с Галаада вечером спускается овечье стадо? Оно покрывает всю гору, с вершины до подножья, и от света зари и от пыли кажется таким же красным и таким же волнистым, как твои кудри. Глаза твои глубоки, как два озера Есевонских у ворот Батраббима. О, как ты красива! Шея твоя пряма и стройна, как башня Давидова!..

– Как башня Давидова! – повторяет она в упоении.

– Да, да, прекраснейшая из женщин. Тысяча щитов висит на башне Давида, и все это щиты побежденных военачальников. Вот и мой щит вешаю я на твою башню...

– О, говори, говори еще...

– А когда ты обернулась назад, на мой зов, и подул ветер, то я увидел под одеждой оба сосца твои и подумал: вот две маленькие серны, которые пасутся между лилиями. Стан твой был похож на пальму и груди твои на грозди виноградные.

Девушка слабо вскрикивает, закрывает лицо ладонями, а грудь локтями, и так краснеет, что даже уши и шея становятся у нее пурпуровыми.

– И бедра твои я увидел. Они стройны, как драгоценная ваза – изделие искусного художника. Отними же твои руки, девушка. Покажи мне лицо твое.

Она покорно опускает руки вниз. Густое золотое сияние льется из глаз Соломона, и очаровывает ее, и кружит ей голову, и сладкой, теплой дрожью струится по коже ее тела.

– Скажи мне, кто ты? – говорит она медленно, с недоумением. – Я никогда не видела подобного тебе.

– Я пастух, моя красавица. Я пасу чудесные стада белых ягнят на горах, где зеленая трава пестреет нарциссами. Не придешь ли ты ко мне, на мое пастбище?

Но она тихо качает головою:

– Неужели ты думаешь, что я поверю этому? Лицо твое не огрубело от ветра и не обожжено солнцем, и руки твои белы. На тебе дорогой хитон, и одна застежка на нем стоит годовой платы, которую братья мои вносят за наш виноградник Адонираму, царскому сборщику. Ты пришел оттуда, из-за стены... Ты, верно, один из людей, близких к царю? Мне кажется, что я видела тебя однажды в день великого празднества, мне даже помнится – я бежала за твоей колесницей.

– Ты угадала, девушка. От тебя трудно скрыться. И правда, зачем тебе быть скиталицей около стад пастушеских? Да, я один из царской свиты, я главный повар царя. И ты видела меня, когда я ехал в колеснице Аминодавой в день праздника Пасхи. Но зачем ты стоишь далеко от меня? Подойди ближе, сестра моя! Сядь вот здесь на камне стены и расскажи мне что-нибудь о себе. Скажи мне твое имя?

– Суламифь, – говорит она.

– За что же, Суламифь, рассердились на тебя твои братья?

– Мне стыдно говорить об этом. Они выручили деньги от продажи вина и послали меня в город купить хлеба и козьего сыра. А я...

– А ты потеряла деньги?

– Нет, хуже...

Она низко склоняет голову и шепчет:

– Кроме хлеба и сыра, я купила еще немножко, совсем немножко, розового масла у египтян в старом городе.

– И ты скрыла это от братьев?

– Да...

И она произносит еле слышно:

– Розовое масло так хорошо пахнет!

Царь ласково гладит ее маленькую жесткую руку.

– Тебе, верно, скучно одной в винограднике?

– Нет. Я работаю, пою... В полдень мне приносят поесть, а вечером меня сменяет один из братьев. Иногда я рою корни мандрагоры, похожие на маленьких человечков... У нас их покупают халдейские купцы. Говорят, они делают из них сонный напиток... Скажи, правда ли, что ягоды мандрагоры помогают в любви?

– Нет, Суламифь, в любви помогает только любовь. Скажи, у тебя есть отец или мать?

– Одна мать. Отец умер два года тому назад. Братья – все старше меня – они от первого брака, а от второго только я и сестра.

– Твоя сестра так же красива, как и ты?

– Она еще мала. Ей только девять лет.

Царь смеется, тихо обнимает Суламифь, привлекает ее к себе и говорит ей на ухо:

– Девять лет... Значит, у нее еще нет такой груди, как у тебя? Такой гордой, такой горячей груди!

Она молчит, горя от стыда и счастья. Глаза ее светятся и меркнут, они туманятся блаженной улыбкой. Царь слышит в своей руке бурное биение ее сердца.

– Теплота твоей одежды благоухает лучше, чем мирра, лучше, чем нард, – говорит он, жарко касаясь губами ее уха. – И когда ты дышишь, я слышу запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Сестра моя, возлюбленная моя, ты пленила сердце мое одним взглядом твоих очей, одним ожерельем на твоей шее.

– О, не гляди на меня! – просит Суламифь. – Глаза твои волнуют меня.

Но она сама изгибает назад спину на грудь Соломона. Губы ее рдеют над блестящими зубами, веки дрожат от мучительного желания. Соломон приникает жадно устами к ее зовущему рту. Он чувствует пламень ее губ, и скользкость ее зубов, и сладкую влажность ее языка и весь горит таким нестерпимым желанием, какого он еще никогда не знал в жизни.

Так проходит минута и две.

– Что ты делаешь со мною! – слабо говорит Суламифь, закрывая глаза. – Что ты делаешь со мной!

Но Соломон страстно шепчет около самого ее рта:

– Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим... О, иди скорее ко мне. Здесь за стеной темно и прохладно. Никто не увидит нас. Здесь мягкая зелень под кедрами.

– Нет, нет, оставь меня. Я не хочу, не могу.

– Суламифь... ты хочешь, ты хочешь... Сестра моя, возлюбленная моя, иди ко мне!

Чьи-то шаги раздаются внизу по дороге, у стены царского виноградника, но Соломон удерживает за руку испуганную девушку.

– Скажи мне скорее, где ты живешь? Сегодня ночью я приду к тебе, – говорит он быстро.

– Нет, нет, нет... Я не скажу тебе это. Пусти меня. Я не скажу тебе.

- Я не пушу тебя, Суламифь, пока ты не скажешь... Я хочу тебя!
- Хорошо, я скажу... Но сначала обещай мне не приходить этой ночью... Также не приходи и в следующую ночь... и в следующую за той... Царь мой! Заклинаю тебя сернами и полевыми ланями, не тревожь свою возлюбленную, пока она не захочет!
- Да, я обещаю тебе это... Где же твой дом, Суламифь?
- Если по пути в город ты перейдешь через Кедрон по мосту выше Силоама, ты увидишь наш дом около источника. Там нет других домов.
- А где же там твое окно, Суламифь?
- Зачем тебе это знать, милый? О, не гляди же на меня так. Взгляд твой околдовывает меня... Не целуй меня... Не целуй меня... Милый! Целуй меня еще...
- Где же твое окно, единственная моя?
- Окно на южной стороне. Ах, я не должна тебе этого говорить... Маленькое, высокое окно с решеткой.
- И решетка отворяется изнутри?
- Нет, это глухое окно. Но за углом есть дверь. Она прямо ведет в комнату, где я сплю с сестрою. Но ведь ты обещал мне!.. Сестра моя спит чутко. О, как ты прекрасен, мой возлюбленный. Ты ведь обещал, не правда ли?
- Соломон тихо гладит ее волосы и щеки.
- Я приду к тебе этой ночью, – говорит он настойчиво. – В полночь приду. Это так будет, так будет. Я хочу этого.
- Милый!
- Нет. Ты будешь ждать меня. Только не бойся и верь мне. Я не причиню тебе горя. Я дам тебе такую радость, рядом с которой все на земле ничтожно. Теперь прощай. Я слышу, что за мной идут.
- Прощай, возлюбленный мой... О нет, не уходи еще. Скажи мне твое имя, я не знаю его. Он на мгновение, точно нерешительно, опускает ресницы, но тотчас же поднимает их.
- У меня одно имя с царем. Меня зовут Соломон. Прощай. Я люблю тебя.

V

Светел и радостен был Соломон в этот день, когда сидел он на троне в зале дома Ливанского и творил суд над людьми, приходившими к нему.

Сорок колонн, по четыре в ряд, поддерживали потолок судилища, и все они были обложены кедром и оканчивались капителями в виде лилий; пол состоял из штучных кипарисовых досок, и на стенах нигде не было видно камня из-за кедровой отделки, украшенной золотой резьбой, представлявшей пальмы, ананасы и херувимов. В глубине трехсветной залы шесть ступеней вели к возвышению трона, и на каждой ступени стояло по два бронзовых льва, по одному с каждой стороны. Самый же трон был из слоновой кости с золотой инкрустацией и золотыми локотниками в виде лежащих львов. Высокая спинка трона завершалась диском. Завесы из фиолетовых и пурпурных тканей висели от пола до потолка при входе в залу, отделяя притвор, где между пяти колонн толпились истцы, просители и свидетели, а также обвиняемые и преступники под крепкой стражей.

На царе был надет красный хитон, а на голове простой узкий венец из шестидесяти бериллов, оправленных в золото. По правую руку стоял трон для матери его Вирсавии, но в последнее время благодаря преклонным летам она редко показывалась в городе.

Ассирийские гости, с суровыми чернобородыми лицами, сидели вдоль стен на яшмовых скамьях; на них были светлые оливковые одежды, вышитые по краям красными и белыми узорами. Они еще у себя в Ассирии слышали так много о правосудии Соломона, что старались не пропустить ни одного из его слов, чтобы потом рассказывать о суде царя израильтян. Между

ними сидели военачальники Соломоновы, его министры, начальники провинций и придворные. Здесь был Ванея – некогда царский палач, убийца Иоава, Адонии и Семеня, – теперь главный начальник войска, невысокий, тучный старец с длинной седой бородой; его выцветшие голубоватые глаза, окруженные красными, точно вывороченными веками, глядели по-старчески тупо; рот был открыт и мокр, а мясистая красная нижняя губа бессильно свисала вниз; голова его была всегда потуплена и слегка дрожала. Был также Азария, сын Нафанов, желчный высокий человек с сухим, болезненным лицом и темными кругами под глазами, и добродушный, рассеянный Иосафат, историограф, и Ахелар, начальник двора Соломонова, и Завуф, носивший высокий титул друга царя, и Бен-Авинодав, женатый на старшей дочери Соломона – Тафафии, и Бен-Гевер, начальник области Арговии, что в Васане; под его управлением находилось шестьдесят городов, окруженных стенами, с воротами на медных затворах; и Ваана, сын Хушая, некогда славившийся искусством метать копье на расстоянии тридцати парасангов, и многие другие. Шестьдесят воинов, блестя золочеными шлемами и щитами, стояло в ряд по левую и по правую сторону трона; старшим над ними сегодня был чернокудрый красавец Элиав, сын Ахилуда.

Первым предстал перед Соломоном со своей жалобой некто Ахиор, ремеслом гранильщик. Работая в Беле Финикийском, он нашел драгоценный камень, обделал его и попросил своего друга Захарию, отправлявшегося в Иерусалим, отдать этот камень его, Ахиоровой, жене. Через некоторое время возвратился домой и Ахиор. Первое, о чем он спросил свою жену, увидевшись с нею, – это о камне. Но она очень удивилась вопросу мужа и клятвенно подтвердила, что никакого камня она не получала. Тогда Ахиор отправился за разъяснением к своему другу Захарии; но тот уверял, и тоже с клятвой, что он тотчас же по приезде передал камень по назначению. Он даже привел двух свидетелей, подтверждавших, что они видели, как Захария при них передавал камень жене Ахиора.

И вот теперь все четверо – Ахиор, Захария и двое свидетелей – стояли перед троном царя израильского.

Соломон поглядел каждому из них в глаза поочередно и сказал страже:

– Отведите их всех в отдельные покои и запирайте каждого отдельно.

И когда это было исполнено, он приказал принести четыре куска сырой глины.

– Пусть каждый из них, – повелел царь, – вылепит из глины ту форму, которую имел камень.

Через некоторое время слепки были готовы. Но один из свидетелей сделал свой слепок в виде лошадиной головы, как обычно обделывались драгоценные камни; другой – в виде овечьей головы, и только у двоих – у Ахиора и Захарии – слепки были одинаковы, похожие формой на женскую грудь.

И царь сказал:

– Теперь и для слепого ясно, что свидетели подкуплены Захарией. Итак, пусть Захария возвратит камень Ахиору, и вместе с ним уплатит ему тридцать гражданских сиклей судебных издержек, и отдаст десять сиклей священных на храм. Свидетели же, обличившие сами себя, пусть заплатят по пяти сиклей в казну за ложное показание.

Затем приблизились к трону Соломонову три брата, судившиеся о наследстве. Отец их перед смертью сказал им: «Чтобы вы не ссорились при дележе, я сам разделю вас по справедливости. Когда я умру, идите за холм, что в середине рощи за домом, и разройте его. Там найдете вы ящик с тремя отделениями: знайте, что верхнее – для старшего, среднее – для среднего, нижнее – для меньшего из братьев». И когда после его смерти они пошли и сделали, как он завещал, то нашли, что верхнее отделение было наполнено доверху золотыми монетами, между тем как в среднем лежали только простые кости, а в нижнем куски дерева. И вот возникла между меньшими братьями зависть к старшему и вражда, и жизнь их сделалась под конец такой

невыносимой, что решили они обратиться к царю за советом и судом. Даже и здесь, стоя перед троном, не воздержались они от взаимных упреков и обид.

Царь покачал головой, выслушал их и сказал:

– Оставьте ссоры; тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Отец ваш был, очевидно, мудрый и справедливый человек, и свою волю он высказал в своем завещании так же ясно, как будто бы это совершилось при сотне свидетелей. Неужели сразу не догадались вы, несчастные крикуны, что старшему брату он оставил все деньги, среднему – весь скот и всех рабов, а младшему – дом и пашню. Идите же с миром и не враждуйте больше.

И трое братьев – недавние враги – с просиявшими лицами поклонились царю в ноги и вышли из судилища рука об руку.

И еще решил царь другое дело о наследстве, начатое три дня тому назад. Один человек, умирая, сказал, что он оставляет все свое имущество достойнейшему из двух его сыновей. Но так как ни один из них не соглашался признать себя худшим, то и обратились они к царю.

Соломон спросил их, кто они по делам своим, и, услышав ответ, что оба они охотники-лучники, сказал:

– Возвращайтесь домой. Я прикажу поставить у дерева труп вашего отца. Посмотрим сначала, кто из вас метче попадет ему стрелой в грудь, а потом решим ваше дело.

Теперь оба брата возвратились назад в сопровождении человека, посланного царем с ними для присмотра. Его и расспрашивал Соломон о состязании.

– Я исполнил все, что ты приказал, царь, – сказал этот человек. – Я поставил труп старика у дерева и дал каждому из братьев их луки и стрелы. Старший стрелял первым. На расстоянии ста двадцати локтей он попал как раз в то место, где бьется у живого человека сердце.

– Прекрасный выстрел, – сказал Соломон. – А младший?

– Младший... Прости меня, царь, я не мог настоять на том, чтобы твое повеление было исполнено в точности... Младший натянул тетиву и положил уже на нее стрелу, но вдруг опустил лук к ногам, повернулся и сказал, заплакав: «Нет, я не могу сделать этого... Не буду стрелять в труп моего отца».

– Так пусть ему и принадлежит имение его отца, – решил царь. – Он оказался достойнейшим сыном. Старший же, если хочет, может поступить в число моих телохранителей. Мне нужны такие сильные и жадные люди, с меткою рукою, верным взглядом и с сердцем, обросшим шерстью.

Затем предстали пред царем три человека. Ведя общее торговое дело, нажили они много денег. И вот, когда пришла им пора ехать в Иерусалим, то зашили они золото в кожаный пояс и пустились в путь. Дорогою заночевали они в лесу, а пояс для сохранности зарыли в землю. Когда же они проснулись наутро, то не нашли пояса в том месте, куда его положили.

Каждый из них обвинял другого в тайном похищении, и так как все трое казались людьми очень хитрыми и тонкими в речах, то сказал им царь:

– Прежде чем я решу ваше дело, выслушайте то, что я расскажу вам. Одна красивая девица обещала своему возлюбленному, отправлявшемуся в путешествие, ждать его возвращения и никому не отдавать своего девства, кроме него. Но, уехав, он в непродолжительном времени женился в другом городе на другой девушке, и она узнала об этом. Между тем к ней посватался богатый и добросердечный юноша из ее города, друг ее детства. Понуждаемая родителями, она не решилась от стыда и страха сказать ему о своем обещании и вышла за него замуж. Когда же по окончании брачного пира он повел ее в спальню и хотел лечь с нею, она стала умолять его: «Позволь мне сходить в тот город, где живет прежний мой возлюбленный. Пусть он снимет с меня клятву, тогда я возвращусь к тебе и сделаю все, что ты хочешь!» И так как юноша очень любил ее, то согласился на ее просьбу, отпустил ее, и она пошла. Дорогой напал на нее разбойник, ограбил ее и уже хотел ее изнасиловать. Но девица упала перед ним на колени и в слезах молила пощадить ее целомудрие, и рассказала она разбойнику все, что

произошло с ней, и зачем идет она в чужой город. И разбойник, выслушав ее, так удивился ее верности слову и так тронулся добротой ее жениха, что не только отпустил девушку с миром, но и возвратил ей отнятые драгоценности. Теперь спрашиваю я вас, кто из всех трех поступил лучше пред лицом Бога – девица, жених или разбойник?

И один из судившихся сказал, что девица более всех достойна похвалы за свою твердость в клятве. Другой удивлялся великой любви ее жениха; третий же находил самым великодушным поступок разбойника.

И сказал царь последнему:

– Значит, ты и украл пояс с общим золотом, потому что по своей природе ты жаден и желаешь чужого.

Человек же этот, передав свой дорожный посох одному из товарищей, сказал, подняв руки кверху, как бы для клятвы:

– Свидетельствую перед Иеговой, что золото не у меня, а у него!

Царь улыбнулся и приказал одному из своих воинов:

– Возьми жезл этого человека и разломи его пополам.

И когда воин исполнил повеление Соломона, то посыпались на пол золотые монеты, потому что они были спрятаны внутри выдолбленной палки; вор же, пораженный мудростью царя, упал ниц перед его тронном и признался в своем преступлении.

Также пришла в дом Ливанский женщина, бедная вдова каменщика, и сказала:

– Я прошу правосудия, царь! На последние два динария, которые у меня оставались, я купила муки, насыпала ее вот в эту большую глиняную чашу и понесла домой. Но вдруг поднялся сильный ветер и развеял мою муку. О мудрый царь, кто возвратит мне этот убыток! Мне теперь нечем накормить моих детей.

– Когда это было? – спросил царь.

– Это случилось сегодня утром, на заре.

И вот Соломон приказал позвать нескольких богатых купцов, корабли которых должны были в этот день отправляться с товарами в Финикию через Иаффу. И когда они явились, встревоженные, в залу судилища, царь спросил их:

– Молили ли вы Бога или богов о попутном ветре для ваших кораблей?

И они ответили:

– Да, царь! Это так. И Богу были угодны наши жертвы, потому что он послал нам добрый ветер.

– Я радуюсь за вас, – сказал Соломон. – Но тот же ветер развеял у бедной женщины муку, которую она несла в чаше. Не находите ли вы справедливым, что вам нужно вознаградить ее?

И они, обрадованные тем, что только за этим призывал их царь, тотчас же набросали женщине полную чашу мелкой и крупной серебряной монеты. Когда же она со слезами стала благодарить царя, он ясно улыбнулся и сказал:

– Подожди, это еще не все. Сегодняшний утренний ветер дал и мне радость, которой я не ожидал. Итак, к дарам этих купцов я прибавлю и свой царский дар.

И он повелел Адонираму, казначею, положить сверх денег купцов столько золотых монет, чтобы вовсе не было видно под ними серебра.

Никого не хотел Соломон видеть в этот день несчастным. Он роздал столько наград, пенсий и подарков, сколько не раздавал иногда в целый год, и простил он Ахимааса, правителя земли Неффалимовой, на которого прежде пылал гневом за незаконные поборы, и сложил вины многим, преступившим закон, и не оставил он без внимания просьб своих подданных, кроме одной.

Когда выходил царь из дома Ливанского малыми южными дверями, стал на его пути некто в желтой кожаной одежде, приземистый, широкоплечий человек с темно-красным сумрачным лицом, с черною густою бородою, с воловьей шеей и с суровым взглядом из-под

косматых черных бровей. Это был главный жрец капища Молоха. Он произнес только одно слово умоляющим голосом:

– Царь!..

В бронзовом чреве его бога было семь отделений: одно для муки, другое для голубей, третье для овец, четвертое для баранов, пятое для телят, шестое для быков, седьмое же, предназначенное для живых младенцев, приносимых их матерями, давно пустовало по запрещению царя.

Соломон прошел молча мимо жреца, но тот протянул вслед ему руку и воскликнул с мольбой:

– Царь! Заклинаю тебя твоей радостью!.. Царь, окажи мне эту милость, и я открою тебе, какой опасности подвергается твоя жизнь.

Соломон не ответил, и жрец, сжав кулаки сильных рук, проводил его до выхода яростным взглядом.

VI

Вечером пошла Суламифь в старый город, туда, где длинными рядами тянулись лавки менял, ростовщиков и торговцев благовонными снадобьями. Там продала она ювелиру за три драхмы и один динарий свою единственную драгоценность – праздничные серьги, серебряные, кольцами, с золотой звездочкой каждая.

Потом она зашла к продавцу благовоний. В глубокой, темной каменной нише, среди банок с серой аравийской амброй, пакетов с ливанским ладаном, пучков ароматических трав и склянок с маслами – сидел, поджав под себя ноги и щуря ленивые глаза, неподвижный, сам весь благоухающий, старый, жирный, сморщенный скопец-египтянин. Он осторожно отсчитал из финикийской склянки в маленький глиняный флакончик ровно столько капель мирры, сколько было динариев во всех деньгах Суламифи, и когда он окончил это дело, то сказал, подбирая пробкой остаток масла вокруг горлышка и лукаво смеясь:

– Смуглая девушка, прекрасная девушка! Когда сегодня твой милый поцелует тебя между грудей и скажет: «Как хорошо пахнет твое тело, о моя возлюбленная!» – ты вспомни обо мне в этот миг. Я перелил тебе три лишние капли.

И вот, когда наступила ночь и луна поднялась над Силоамом, перемешав синюю белизну его домов с черной синевою теней и с матовой зеленью деревьев, встала Суламифь с своего бедного ложа из козьей шерсти и прислушалась. Все было тихо в доме. Сестра ровно дышала у стены, на полу. Только снаружи, в придорожных кустах, сухо и страстно кричали цикады, и кровь толчками шумела в ушах. Решетка окна, вырисованная лунным светом, четко и косо лежала на полу.

Дрожа от робости, ожидания и счастья, расстегнула Суламифь свои одежды, опустила их вниз к ногам и, перешагнув через них, осталась среди комнаты нагая, лицом к окну, освещенная луною через переплет решетки. Она налила густую благовонную мирру себе на плечи, на грудь, на живот и, боясь потерять хоть одну драгоценную каплю, стала быстро растирать масло по ногам, под мышками и вокруг шеи. И гладкое, скользкое прикосновение ее ладоней и локтей к телу заставляло ее вздрагивать от сладкого предчувствия. И, улыбаясь и дрожа, глядела она в окно, где за решеткой виднелись два тополя, темные с одной стороны, осеребренные с другой, и шептала про себя:

– Это для тебя, мой милый, это для тебя, возлюбленный мой. Милый мой лучше десяти тысяч других, голова его – чистое золото, волосы его волнистые, черные, как ворон. Уста его – сладость, и весь он – желание. Вот кто возлюбленный мой, вот кто брат мой, дочери иерусалимские!..

И вот, благоухающая миррой, легла она на свое ложе. Лицо ее обращено к окну; руки она, как дитя, зажала между коленями, сердце ее громко бьется в комнате. Проходит много времени. Почти не закрывая глаз, она погружается в дремоту, но сердце ее бодрствует. Ей грезится, что милый лежит с ней рядом. Правая рука у нее под головой, левой он обнимает ее. В радостном испуге сбрасывает она с себя дремоту, ищет возлюбленного около себя на ложе, но не находит никого. Лунный узор на полу передвинулся ближе к стене, укоротился и стал косее. Кричат цикады, монотонно лепечет Кедронский ручей, слышно, как в городе заунывно поет ночной сторож.

«Что, если он не придет сегодня? – думает Суламифь. – Я просила его, и вдруг он послушался меня?.. Заклинаю вас, дочери иерусалимские, сернами и полевыми лилиями: не будите любви, доколе она не придет... Но вот любовь посетила меня. Приди скорей, мой возлюбленный! Невеста ждет тебя. Будь быстр, как молодой олень в горах бальзамических».

Песок захрустел на дворе под легкими шагами. И души не стало в девушке. Осторожная рука стучит в окно. Темное лицо мелькает за решеткой. Слышится тихий голос милого:

– Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! Голова моя покрыта росой.

Но волшебное оцепенение овладевает вдруг телом Суламифи. Она хочет встать и не может, хочет пошевелинуть рукою и не может. И, не понимая, что с нею делается, она шепчет, глядя в окно:

– Ах, кудри его полны ночью влагой! Но я скинула мой хитон. Как же мне опять надеть его?

– Встань, возлюбленная моя. Прекрасная моя, выйди. Близится утро, раскрываются цветы, виноград льет свое благоухание, время пения настало, голос горлицы доносится с гор.

– Я вымыла ноги мои, – шепчет Суламифь, – как же мне ступить ими на пол?

Темная голова исчезает из оконного переплета, звучные шаги обходят дом, затихают у двери. Милый осторожно просовывает руку сквозь дверную скважину. Слышно, как он ищет пальцами внутреннюю задвижку.

Тогда Суламифь встает, крепко прижимает ладони к грудям и шепчет в страхе:

– Сестра моя спит, я боюсь разбудить ее.

Она нерешительно обувает сандалии, надевает на голое тело легкий хитон, накидывает сверху него покрывало и открывает дверь, оставляя на ее замке следы мирры. Но никого уже нет на дороге, которая одиноко белеет среди темных кустов в серой утренней мгле. Милый не дождался – ушел, даже шагов его не слышно. Луна уменьшилась и побледнела и стоит высоко. На востоке над волнами гор холодно розовеет небо перед зарею. Вдали белеют стены и дома иерусалимские.

– Возлюбленный мой! Царь жизни моей! – кричит Суламифь во влажную темноту. – Вот я здесь. Я жду тебя... Вернись!

Но никто не отвечает.

«Побегу же я по дороге, догоню, догоню моего милого, – говорит про себя Суламифь. – Пойду по городу, по улицам, по площадям, буду искать того, кого любит душа моя. О, если бы ты был моим братом, сосавшим грудь матери моей! Я встретила бы тебя на улице и целовала бы тебя, и никто не осудил бы меня. Я взяла бы тебя за руку и привела бы в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя соком гранатовых яблоков. Заклинаю вас, дочери иерусалимские: если встретите возлюбленного моего, скажите ему, что я уязвлена любовью».

Так говорит она самой себе и легкими, послушными шагами бежит по дороге к городу. У Навозных ворот около стены сидят и дремлют в утренней прохладе двое сторожей, обходивших ночью город. Они просыпаются и смотрят с удивлением на бегущую девушку. Младший из них встает и загораживает ей дорогу распростертыми руками.

– Подожди, подожди, красавица! – восклицает он со смехом. – Куда так скоро? Ты провела тайком ночь в постели у своего любезного и еще тепла от его объятий, а мы продрогли от ночной сырости. Будет справедливо, если ты немножко посидишь с нами.

Старший тоже поднимается и хочет обнять Суламифь. Он не смеется, он дышит тяжело, часто и со свистом, он облизывает языком синие губы. Лицо его, обезображенное большими шрамами от зажившей проказы, кажется страшным в бледной мгле. Он говорит гнусавым и хриплым голосом:

– И правда. Чем возлюбленный твой лучше других мужчин, милая девушка! Закрой глаза, и ты не отличишь меня от него. Я даже лучше, потому что, наверно, поопытнее его.

Они хватают ее за грудь, за плечи, за руки, за одежду. Но Суламифь гибка и сильна, и тело ее, умащенное маслом, скользко. Она вырывается, оставив в руках сторожей свое верхнее покрывало, и еще быстрее бежит назад прежней дорогой. Она не испытала ни обиды, ни страха – она вся поглощена мыслью о Соломоне. Проходя мимо своего дома, она видит, что дверь, из которой она только что вышла, так и осталась отворенной, зияя черным четырехугольником на белой стене. Но она только затаивает дыхание, съезживается, как молодая кошка, и на цыпочках, беззвучно пробегает мимо.

Она переходит через Кедронский мост, огибает окраину Силоамской деревни и каменистой дорогой взбирается постепенно на южный склон Ватн-эль-Хава, в свой виноградник. Брат ее спит еще между лозами, завернувшись в шерстяное одеяло, все мокрое от росы. Суламифь будит его, но он не может проснуться, окованный молодым утренним сном.

Как и вчера, заря пылает над Аназе. Подымается ветер. Струится аромат виноградного цветения.

– Пойду погляжу на то место у стены, где стоял мой возлюбленный, – говорит Суламифь. – Прикоснусь руками к камням, которые он трогал, поцелую землю под его ногами.

Легко скользит она между лозами. Роса падает с них, и холодит ей ноги, и брызжет на ее локти. И вот радостный крик Суламифи оглашает виноградник! Царь стоит за стеной. Он с сияющим лицом протягивает ей навстречу руки.

Легче птицы переносится Суламифь через ограду и без слов, со стоном счастья обвивается вокруг царя.

Так проходит несколько минут. Наконец, отрываясь губами от ее рта, Соломон говорит в упоении, и голос его дрожит:

– О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!

– О, как ты прекрасен, возлюбленный мой!

Слезы восторга и благодарности – блаженные слезы блестят на бледном и прекрасном лице Суламифи. Изнемогая от любви, она опускается на землю и едва слышно шепчет безумные слова:

– Ложе у нас – зелень. Кедры – потолок над нами... Лобзай меня лобзанием уст своих. Ласки твои лучше вина...

Спустя небольшое время Суламифь лежит головою на груди Соломона. Его левая рука обнимает ее.

Склонившись к самому ее уху, царь шепчет ей что-то, царь нежно извиняется, и Суламифь краснеет от его слов и закрывает глаза. Потом с невыразимо прелестной улыбкой смущения она говорит:

– Братья мои поставили меня стеречь виноградник... а своего виноградника я не уберегла.

Но Соломон берет ее маленькую темную руку и горячо прижимает ее к губам.

– Ты не жалеешь об этом, Суламифь?

– О нет, царь мой, возлюбленный мой, я не жалею. Если бы ты сейчас же встал и ушел от меня и если бы я осуждена была никогда потом не видеть тебя, я до конца моей жизни буду произносить с благодарностью твое имя, Соломон!

– Скажи мне еще, Суламифь... Только прошу тебя, скажи правду, чистая моя... Знала ли ты, кто я?

– Нет, я и теперь не знаю этого. Я думала... Но мне стыдно признаться... Я боюсь, ты будешь смеяться надо мной... Рассказывают, что здесь, на горе Ватн-эль-Хав, иногда бродят языческие боги... Многие из них, говорят, прекрасны... И я думала: не Гор ли ты, сын Озириса, или иной бог?

– Нет, я только царь, возлюбленная. Но вот на этом месте я целую твою милую руку, опаленную солнцем, и клянусь тебе, что еще никогда: ни в пору первых любовных томлений юности, ни в дни моей славы, не горело мое сердце таким неутолимимым желанием, которое будит во мне одна твоя улыбка, одно прикосновение твоих огненных кудрей, один изгиб твоих пурпуровых губ! Ты прекрасна, как шатры Кидарские, как завесы в храме Соломоновом! Ласки твои опьяняют меня. Вот груди твои – они ароматны. Сосцы твои – как вино!

– О да, гляди, гляди на меня, возлюбленный. Глаза твои волнуют меня! О, какая радость: ведь это ко мне, ко мне обращено желание твое! Волосы твои душисты. Ты лежишь, как мировой пучок у меня между грудями!

Время прекращает свое течение и смыкается над ними солнечным кругом. Ложе у них – зелень, кровля – кедры, стены – кипарисы. И знамя над их шатром – любовь.

VII

Бассейн был у царя во дворце, восьмиугольный, прохладный бассейн из белого мрамора. Темно-зеленые малахитовые ступени спускались к его дну. Облицовка из египетской яшмы, снежно-белой с розовыми, чуть заметными прожилками, служила ему рамою. Лучшее черное дерево пошло на отделку стен. Четыре львиные головы из розового сардоникса извергали тонкими струями воду в бассейн. Восемь серебряных отполированных зеркал отличной сидонской работы, в рост человека, были вделаны в стены между легкими белыми колоннами.

Перед тем как войти Суламифи в бассейн, молодые прислужницы влили в него ароматные составы, и вода от них побелела, поголубела и заиграла переливами молочного опала. С восхищением глядели рабыни, раздевавшие Суламифь, на ее тело и, когда раздели, подвели ее к зеркалу. Ни одного недостатка не было в ее прекрасном теле, озолоченном, как смуглый зрелый плод, золотым пухом нежных волос. Она же, глядя на себя нагую в зеркало, краснела и думала:

«Все это для тебя, мой царь!»

Она вышла из бассейна свежая, холодная и благоухающая, покрытая дрожащими каплями воды. Рабыни надели на нее короткую белую тунику из тончайшего египетского льна и хитон из драгоценного саргонского виссона, такого блестящего золотого цвета, что одежда казалась сотканной из солнечных лучей. Они обули ее ноги в красные сандалии из кожи молодого козленка, они осушили ее темно-огненные кудри, и перевели их нитями крупного черного жемчуга, и украсили ее руки звенящими запястьями.

В таком наряде предстала она пред Соломоном, и царь воскликнул радостно:

– Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце? О Суламифь, красота твоя грознее, чем полки с распущенными знаменами! Семьсот жен я знал, и триста наложниц, и девиц без числа, но единственная – ты, прекрасная моя! Увидят тебя царицы и превознесут, и поклонятся тебе наложницы, и восхвалят тебя все женщины на земле. О Суламифь, тот день, когда ты сделаешься моей женой и царицей, будет самым счастливым для моего сердца.

Она же подошла к резной масличной двери и, прижавшись к ней щекою, сказала:

– Я хочу быть только твоею рабою, Соломон. Вот я приложила ухо мое к дверному косяку.

И прошу тебя: по закону Моисееву, пригвозди мне ухо в свидетельство моего добровольного рабства пред тобою.

Тогда Соломон приказал принести из своей сокровищницы драгоценные подвески из глубоко-красных карбункулов, обделанных в виде удлинённых груш. Он сам продел их в уши Суламифи и сказал:

– Возлюбленная моя принадлежит мне, а я ей.

И, взяв Суламифь за руку, повел ее царь в залу пиршества, где уже дожидались его друзья и приближенные.

VIII

Семь дней прошло с того утра, когда вступила Суламифь в царский дворец. Семь дней она и царь наслаждались любовью и не могли насытиться ею.

Соломон любил украшать свою возлюбленную драгоценностями. «Как стройны твои маленькие ноги в сандалиях!» – восклицал он с восторгом и, становясь перед нею на колени, целовал поочередно пальцы на ее ногах и нанизывал на них кольца с такими прекрасными и редкими камнями, каких не было даже на эфоде первосвященника. Суламифь заслушивалась его, когда он рассказывал ей о внутренней природе камней, об их волшебных свойствах и таинственных значениях.

– Вот анфракс, священный камень земли Офир, – говорил царь. – Он горяч и влажен. Погляди, он красен, как кровь, как вечерняя заря, как распутившийся цвет граната, как густое вино из виноградников энгедских, как твои губы, моя Суламифь, как твои губы утром, после ночи любви. Это камень любви, гнева и крови. На руке человека, томящегося в лихорадке или опьяненного желанием, он становится теплее и горит красным пламенем. Надень его на руки, моя возлюбленная, и ты увидишь, как он загорится. Если его растолочь в порошок и принимать с водой, он дает румянец лицу, успокаивает желудок и веселит душу. Носящий его приобретает власть над людьми. Он врачует сердце, мозг и память. Но при детях не следует его носить, потому что он будит вокруг себя любовные страсти.

Вот прозрачный камень цвета медной яри. В стране эфиопов, где он добывается, его называют Мгнадис-Фза. Мне подарил его отец моей жены, царицы Астис, египетский фараон Суссаким, которому этот камень достался от пленного царя. Ты видишь – он некрасив, но цена его неисчислима, потому что только четыре человека на земле владеют камнем Мгнадис-Фза. Он обладает необыкновенным качеством притягивать к себе серебро, точно жадный и сребролюбивый человек. Я тебе его дарю, моя возлюбленная, потому что ты бескорытна.

Посмотри, Суламифь, на эти сапфиры. Одни из них похожи цветом на васильки в пшенице, другие на осеннее небо, иные на море в ясную погоду. Это камень девственности – холодный и чистый. Во время далеких и тяжелых путешествий его кладут в рот для утоления жажды. Он также излечивает проказу и всякие злые наросты. Он дает ясность мыслям. Жрецы Юпитера в Риме носят его на указательном пальце.

Царь всех камней – камень Шамир. Греки называют его Адамас, что значит – неодолимый. Он крепче всех веществ на свете и остается невредимым в самом сильном огне. Это свет солнца, сгустившийся в земле и охлажденный временем. Полюбуйся, Суламифь, он играет всеми цветами, но сам остается прозрачным, точно капля воды. Он сияет в темноте ночи, но даже днем теряет свой свет на руке убийцы. Шамир привязывают к руке женщины, которая мучится тяжелыми родами, и его также надевают воины на левую руку, отправляясь в бой. Тот, кто носит Шамир, – угоден царям и не боится злых духов. Шамир сгоняет пестрый цвет с лица, очищает дыхание, дает спокойный сон лунатикам и отпотевает от близкого соседства

с ядом. Камни Шамир бывают мужские и женские; зарытые глубоко в землю, они способны размножаться.

Лунный камень, бледный и кроткий, как сияние луны, – это камень магов халдейских и вавилонских. Перед прорицаниями они кладут его под язык, и он сообщает им дар видеть будущее. Он имеет странную связь с луною, потому что в новолуние холодеет и сияет ярче. Он благоприятен для женщины в тот год, когда она из ребенка становится девушкой.

Это кольцо с смарагдом ты носи постоянно, возлюбленная, потому что смарагд – любимый камень Соломона, царя израильского. Он зелен, чист, весел и нежен, как трава весенняя, и когда смотришь на него долго, то светлеет сердце; если поглядеть на него с утра, то весь день будет для тебя легким. У тебя над ночным ложем я повешу смарагд, прекрасная моя: пусть он отгоняет от тебя дурные сны, утешает биение сердца и отводит черные мысли. Кто носит смарагд, к тому не приближаются змеи и скорпионы; если же держать смарагд перед глазами змеи, то полетят из них вода и будет литься до тех пор, пока она не ослепнет. Толченый смарагд дают отравленному ядом человеку вместе с горячим верблюжьим молоком, чтобы вышел яд испариной; смешанный с розовым маслом, смарагд врачует укусы ядовитых гадюк, а растертый с шафраном и приложенный к больным глазам, исцеляет куриную слепоту. Помогает он еще от кровавого поноса и при черном кашле, который не излечим никакими средствами человеческими.

Дарил также царь своей возлюбленной ливийские аметисты, похожие цветом на ранние фиалки, распускающиеся в лесах у подножия Ливийских гор, – аметисты, обладавшие чудесной способностью обуздывать ветер, смягчать злобу, предохранять от опьянения и помогать при ловле диких зверей; персепольскую бирюзу, которая приносит счастье в любви, прекращает ссору супругов, отводит царский гнев и благоприятствует при укрощении и продаже лошадей; и кошачий глаз – оберегающий имущество, разум и здоровье своего владельца; и бледный, сине-зеленый, как морская вода у берега, вериллий – средство от бельма и проказы, добрый спутник странников; и разноцветный агат – носящий его не боится козней врагов и избегает опасности быть раздавленным во время землетрясения; и нефрит, почечный камень, отстраняющий удары молнии; и яблочно-зеленый, мутно-прозрачный онихий – сторож хозяина от огня и сумасшествия; и янтарь, заставляющий дрожать зверей; и черный ласточкин камень, дающий красноречие; и уважаемый беременными женщинами орлиный камень, который орлы кладут в свои гнезда, когда приходит пора вылупляться их птенцам; и заберзат из Офира, сияющий, как маленькие солнца; и желто-золотистый хрисолит – друг торговцев и воров; и сардоникс, любимый царями и царицами; и малиновый лигирий: его находят, как известно, в желудке рыси, зрение которой так остро, что она видит сквозь стены, – поэтому и носящие лигирий отличаются зоркостью глаз, – кроме того, он останавливает кровотечение из носа и заживляет всякие раны, исключая ран, нанесенных камнем и железом.

Надевал царь на шею Суламифи многоценные ожерелья из жемчуга, который ловили его подданные в Персидском море, и жемчуг от теплоты ее тела приобретал живой блеск и нежный цвет. И кораллы становились краснее на ее смуглой груди, и оживала бирюза на ее пальцах, и издавали в ее руках трескучие искры те желтые янтарные безделушки, которые привозили в дар царю Соломону с берегов далеких северных морей отважные корабельщики царя Хирама Тирского.

Златоцветом и лилиями покрывала Суламифь свое ложе, приготовляя его к ночи, и, покоясь на ее груди, говорил царь в веселии сердца:

– Ты похожа на царскую ладью в стране Офир, о моя возлюбленная, на золотую легкую ладью, которая плывет, качаясь, по священной реке, среди белых ароматных цветов.

Так посетила царя Соломона – величайшего из царей и мудрейшего из мудрецов – его первая и последняя любовь.

Много веков прошло с той поры. Были царства и цари, и от них не осталось следа, как от ветра, пробежавшего над пустыней. Были длинные беспощадные войны, после которых имена полководцев сияли в веках, точно кровавые звезды, но время стерло даже самую память о них.

Любовь же бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не пройдет и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь, потому что каждая женщина, которая любит, – царица, потому что любовь прекрасна!

IX

Семь дней прошло с той поры, когда Соломон – поэт, мудрец и царь – привел в свой дворец бедную девушку, встреченную им в винограднике на рассвете. Семь дней наслаждался царь ее любовью и не мог насытиться ею. И великая радость освещала его лицо, точно золотое солнечное сияние.

Стояли светлые, теплые, лунные ночи – сладкие ночи любви! На ложе из тигровых шкур лежала обнаженная Суламифь, и царь, сидя на полу у ее ног, наполнял свой изумрудный кубок золотистым вином из Мареотиса, и пил за здоровье своей возлюбленной, веселясь всем сердцем, и рассказывал он ей мудрые древние странные сказания. И рука Суламифи покоилась на его голове, гладила его волнистые черные волосы.

– Скажи мне, мой царь, – спросила однажды Суламифь, – не удивительно ли, что я полюбила тебя так внезапно? Я теперь припоминаю все, и мне кажется, что я стала принадлежать тебе с самого первого мгновения, когда не успела еще увидеть тебя, а только услышала твой голос. Сердце мое затрепетало и раскрылось навстречу к тебе, как раскрывается цветок во время летней ночи от южного ветра. Чем ты так пленил меня, мой возлюбленный?

И царь, тихо склоняясь головой к нежным коленям Суламифи, ласково улыбнулся и ответил:

– Тысячи женщин до тебя, о моя прекрасная, задавали своим милым этот вопрос, и сотни веков после тебя они будут спрашивать об этом своих милых. Три вещи есть в мире, непонятные для меня, и четвертую я не постигаю: путь орла в небе, змеи на скале, корабля среди моря и путь мужчины к сердцу женщины. Это не моя мудрость, Суламифь, это слова Агура, сына Иакеева, слышанные от него учениками. Но почтим и чужую мудрость.

– Да, – сказала Суламифь задумчиво, – может быть, и правда, что человек никогда не поймет этого. Сегодня во время пира на моей груди было благоухающее вязание стакти. Но ты вышел из-за стола, и цветы мои перестали пахнуть. Мне кажется, что тебя должны любить, о царь, и женщины, и мужчины, и звери, и даже цветы. Я часто думаю и не могу понять: как можно любить кого-нибудь другого, кроме тебя?

– И кроме тебя, кроме тебя, Суламифь! Каждый час я благодарю Бога, что он послал тебя на моем пути.

– Я помню, я сидела на камне стенки, и ты положил свою руку сверх моей. Огонь побежал по моим жилам, голова у меня закружилась. Я сказала себе: «Вот кто господин мой, вот кто царь мой, возлюбленный мой!»

– Я помню, Суламифь, как обернулась ты на мой зов. Под тонким платьем я увидел твое тело, твое прекрасное тело, которое я люблю как Бога. Я люблю его, покрытое золотым пухом, точно солнце оставило на нем свой поцелуй. Ты стройна, точно кобылица в колеснице фараоновой, ты прекрасна, как колесница Аминодавова. Глаза твои как два голубя, сидящих у истока вод.

– О милый, слова твои волнуют меня. Твоя рука сладко жжет меня. О мой царь, ноги твои как мраморные столбы. Живот твой точно ворох пшеницы, окруженный лилиями.

Окруженные, осиянные молчаливым светом луны, они забывали о времени, о месте, и вот проходили часы, и они с удивлением замечали, как в решетчатые окна покоя заглядывала розовая заря.

Также сказала однажды Суламифь:

– Ты знал, мой возлюбленный, жен и девиц без числа, и все они были самые красивые женщины на земле. Мне стыдно становится, когда я подумаю о себе, простой, неученой девушке, и о моем бедном теле, опаленном солнцем.

Но, касаясь губами ее губ, говорил царь с бесконечной любовью и благодарностью:

– Ты царица, Суламифь. Ты родилась настоящей царицей. Ты смела и щедра в любви. Семьсот жен у меня и триста наложниц, а девиц я знал без числа, но ты единственная моя, кроткая моя, прекраснейшая из женщин. Я нашел тебя, подобно тому как водолаз в Персидском заливе наполняет множество корзин пустыми раковинами и малоценными жемчужинами, прежде чем достанет с морского дна перл, достойный царской короны. Дитя мое, тысячи раз может любить человек, но только один раз он любит. Тьмы тем людей думают, что они любят, но только двум из них посылает Бог любовь. И когда ты отдалась мне там, между кипарисами, под кровлей из кедров, на ложе из зелени, я от души благодарил Бога, столь милостивого ко мне.

Еще однажды спросила Суламифь:

– Я знаю, что все они любили тебя, потому что тебя нельзя не любить. Царица Савская приходила к тебе из своей страны. Говорят, она была мудрее и прекраснее всех женщин, когда-либо бывших на земле. Точно во сне я вспоминаю ее караваны. Не знаю почему, но с самого раннего детства влекло меня к колесницам знатных. Мне тогда было, может быть, семь, может быть, восемь лет, я помню верблюдов в золотой сбруе, покрытых пурпурными попонами, отягощенных тяжелыми ношами, помню мулов с золотыми бубенчиками между ушами, помню смешных обезьян в серебряных клетках и чудесных павлинов. Множество слуг шло в белых и голубых одеждах; они вели ручных тигров и барсов на красных лентах. Мне было только восемь лет.

– О дитя, тебе тогда было только восемь лет, – сказал Соломон с грустью.

– Ты любил ее больше, чем меня, Соломон? Расскажи мне что-нибудь о ней.

И царь рассказал ей все об этой удивительной женщине. Наслышавшись много о мудрости и красоте израильского царя, она прибыла к нему из своей страны с богатыми дарами, желая испытать его мудрость и покорить его сердце. Это была пышная сорокалетняя женщина, которая уже начинала увядать. Но тайными, волшебными средствами она достигала того, что ее рыхляющее тело казалось стройным и гибким, как у девушки, и лицо ее носило печать страшной, нечеловеческой красоты. Но мудрость ее была обыкновенной человеческой мудростью, и притом еще мелочной мудростью женщины.

Желая испытать царя загадками, она сначала послала к нему пятьдесят юношей в самом нежном возрасте и пятьдесят девушек. Все они так хитроумно были одеты, что самый зоркий глаз не распознал бы их пола. «Я назову тебя мудрым, царь, – сказала Балкис, – если ты скажешь мне, кто из них женщина и кто мужчина».

Но царь рассмеялся и приказал каждому и каждой из посланных подать поодиночке серебряный таз и серебряный кувшин для умывания. И в то время когда мальчики смело брызгались в воде руками и бросали себе ее горстями в лицо, крепко вытирая кожу, девочки поступали так, как всегда делают женщины при умывании. Они нежно и заботливо натирали водою каждую из своих рук, близко поднося ее к глазам.

Так просто разрешил царь первую загадку Балкис-Македы.

Затем прислала она Соломону большой алмаз величиною с лесной орех. В камне этом была тонкая, весьма извилистая трещина, которая узким сложным ходом пробуравливала насквозь все его тело. Нужно было продеть сквозь этот алмаз шелковинку. И мудрый царь

впустил в отверстие шелковичного червя, который, пройдя наружу, оставил за собою следом тончайшую шелковую паутинку.

Также прислала прекрасная Балкис царю Соломону многоценный кубок из резного сардоникса великолепной художественной работы. «Этот кубок будет твоим, – повелела она сказать царю, – если ты его наполнишь влагою, взятою ни с земли, ни с неба». Соломон же, наполнив сосуд пеною, падавшей с тела утомленного коня, приказал отнести его царице.

Много подобных загадок предлагала царица Соломону, но не могла унижить его мудрость, и всеми тайными чарами ночного сладострастия не сумела она сохранить его любви. И когда наскучила она наконец царю, он жестоко, обидно насмеялся над нею.

Всем было известно, что царица Савская никому не показывала своих ног и потому носила длинное, до земли, платье. Даже в часы любовных ласк держала она ноги плотно закрытыми одеждой. Много странных и смешных легенд сложилось по этому поводу.

Одни уверяли, что у царицы козлиные ноги, обросшие шерстью; другие клялись, что у нее вместо ступней перепончатые гусиные лапы. И даже рассказывали о том, что мать царицы Балкис однажды, после купанья, села на песок, где только что оставил свое семя некий бог, временно превратившийся в гуся, и что от этой случайности понесла она прекрасную царицу Савскую.

И вот повелел однажды Соломон устроить в одном из своих покоев прозрачный хрустальный пол с пустым пространством под ним, куда налили воды и пустили живых рыб. Все это было сделано с таким необычайным искусством, что непредупрежденный человек ни за что не заметил бы стекла и стал бы давать клятву, что перед ним находится бассейн с чистой свежей водой.

И когда все было готово, то пригласил Соломон свою царственную гостью на свидание. Окруженная пышной свитой, она идет по комнатам Ливанского дома и доходит до коварного бассейна. На другом конце его сидит царь, сияющий золотом и драгоценными камнями и приветливым взглядом черных глаз. Дверь отворяется перед царицей, и она делает шаг вперед, но вскрикивает и...

Суламифь смеется радостным детским смехом и хлопает в ладоши.

– Она нагибается и приподымает платье? – спрашивает Суламифь.

– Да, моя возлюбленная, она поступила так, как поступила бы каждая из женщин. Она подняла кверху край своей одежды, и хотя это продолжалось только одно мгновение, но и я, и весь мой двор увидели, что у прекрасной Савской царицы Балкис-Македы обыкновенные человеческие ноги, но кривые и обросшие густыми волосами. На другой же день она собралась в путь, не простилась со мною и уехала с своим великолепным караваном. Я не хотел ее обидеть. Вслед ей я послал надежного гонца, которому приказал передать царице пучок редкой горной травы – лучшее средство для уничтожения волос на теле. Но она вернула мне назад голову моего посланного в мешке из дорогой багряницы.

Рассказывал также Соломон своей возлюбленной многое из своей жизни, чего не знал никто из других людей и что Суламифь унесла с собой в могилу. Он говорил ей о долгих и тяжелых годах скитаний, когда, спасаясь от гнева своих братьев, от зависти Авессалома и от ревности Адонии, он принужден был под чужим именем скрываться в чужих землях, терпя страшную бедность и лишения. Он рассказал ей о том, как в отдаленной неизвестной стране, когда он стоял на рынке в ожидании, что его наймут куда-нибудь работать, к нему подошел царский повар и сказал:

– Чужестранец, помоги мне донести эту корзину с рыбами во дворец.

Своим умом, ловкостью и умелым обхождением Соломон так понравился придворным, что в скором времени устроился во дворец, а когда старший повар умер, то он заступил его место. Дальше говорил Соломон о том, как единственная дочь царя, прекрасная пылкая девушка, влюбилась тайно в нового повара, как она открылась ему невольно в любви, как они

однажды бежали вместе из дворца ночью, были настигнуты и приведены обратно, как осужден был Соломон на смерть и как чудом удалось ему бежать из темницы.

Жадно внимала ему Суламифь, и когда он замолкал, тогда среди тишины ночи смыкались их губы, сплетались руки, прикасались груди. И когда наступало утро, и тело Суламифи казалось пенно-розовым, и любовная усталость окружала голубыми тенями ее прекрасные глаза, она говорила с нежной улыбкою:

– Освежите меня яблоками, подкрепите меня вином, ибо я изнемогаю от любви.

Х

В храме Изиды на горе Ватн-эль-Хав только что отошла первая часть великого тайнодействия, на которую допускались верующие малого посвящения. Очередной жрец – древний старец в белой одежде, с бритой головой, безусый и безбородый – повернулся с возвышения алтаря к народу и произнес тихим, усталым голосом:

– Пребывайте в мире, сыновья мои и дочери. Усовершенствуйтесь в подвигах. Прославляйте имя богини. Благословение ее над вами да пребудет во веки веков.

Он вознес свои руки над народом, благословляя его. И тотчас же все, посвященные в малый чин таинств, простились на полу и затем, встав, тихо, в молчании направились к выходу.

Сегодня был седьмой день египетского месяца Фаменота, посвященный мистериям Озириса и Изиды. С вечера торжественная процессия трижды обходила вокруг храма со светильниками, пальмовыми листьями и амфорами, с таинственными символами богов и со священными изображениями Фаллуса. В середине шествия на плечах у жрецов и вторых пророков возвышался закрытый «наос» из драгоценного дерева, украшенного жемчугом, слоновой костью и золотом. Там пребывала сама богиня, Она, Невидимая, Подающая плодородие, Таинственная, Мать, Сестра и Жена богов.

Злобный Сет заманил своего брата, божественного Озириса, на пиршество, хитростью заставил его лечь в роскошный гроб и, захлопнув над ним крышку, бросил гроб вместе с телом великого бога в Нил. Изида, только что родившая Гора, в тоске и слезах разыскивает по всей земле тело своего мужа и долго не находит его. Наконец рыбы рассказывают ей, что гроб волнами отнесло в море и прибило к Библосу, где вокруг него выросло громадное дерево и скрыло в своем стволе тело бога и его плавучий дом. Царь той страны приказал сделать себе из громадного дерева мощную колонну, не зная, что в ней покоится сам бог Озирис, великий подаватель жизни. Изида идет в Библос, приходит туда утомленная зноем, жаждой и тяжелой каменной дорогой. Она освобождает гроб из середины дерева, несет его с собой и прячет в землю у городской стены. Но Сет опять тайно похищает тело Озириса, разрезает его на четырнадцать частей и рассеивает их по всем городам и селениям Верхнего и Нижнего Египта.

И опять в великой скорби и рыданиях отправилась Изида в поиски за священными членами своего мужа и брата. К плачу ее присоединяет свои жалобы сестра ее, богиня Нефтис, и могущественный Тоот, и сын богини, светлый Гор, Горизит.

Таков был тайный смысл нынешней процессии в первой половине священнослужения. Теперь, по уходе простых верующих и после небольшого отдыха, надлежало совершиться второй части великого тайнодействия. В храме остались только посвященные в высшие степени – мистагоги, эпопты, пророки и жрецы.

Мальчики в белых одеждах разносили на серебряных подносах мясо, хлеб, сухие плоды и сладкое пелузское вино. Другие разливали из узкогорлых тирских сосудов сикеру, которую в те времена давали перед казнью преступникам для возбуждения в них мужества, но которая также обладала великим свойством порождать и поддерживать в людях огонь священного безумия.

По знаку очередного жреца мальчики удалились. Жрец-привратник запер все двери. Затем он внимательно обошел всех оставшихся, всматриваясь им в лица и опрашивая их таинственными словами, составлявшими пропуск нынешней ночи. Два других жреца провезли вдоль храма и вокруг каждой из его колонн серебряную кадильницу на колесах. Синим, густым, пьянящим, ароматным фимиамом наполнился храм, и сквозь слои дыма едва стали видны разноцветные огни лампад, сделанных из прозрачных камней, – лампад, оправленных в резное золото и подвешенных к потолку на длинных серебряных цепях. В давнее время этот храм Озириса и Изиды отличался небольшими размерами и беднотою и был выдолблен наподобие пещеры в глубине горы. Узкий подземный коридор вел к нему снаружи. Но во дни царствования Соломона, взявшего под свое покровительство все религии, кроме тех, которые допускали жертвоприношения детей, и благодаря усердию царицы Астис, родом египтянки, храм разросся в глубину и в высоту и украсился богатыми приношениями.

Прежний алтарь так и остался неприкосновенным в своей первоначальной суровой простоте, вместе со множеством маленьких покоев, окружавших его и служивших для сохранения сокровищ, жертвенных предметов и священных принадлежностей, а также для особых тайных целей во время самых сокровенных мистических оргий.

Зато поистине был великолепен наружный двор с пилонами в честь богини Гатор и с четырехсторонней колоннадой из двадцати четырех колонн. Еще пышнее была устроена внутренняя подземная гипостильная зала для молящихся. Ее мозаичный пол весь был украшен искусными изображениями рыб, зверей, земноводных и пресмыкающихся. Потолок же был покрыт голубой глазурью, и на нем сияло золотое солнце, светилась серебряная луна, мерцали бесчисленные звезды, и парили на распростертых крыльях птицы. Пол был землею, потолок – небом, а их соединяли, точно могучие древесные стволы, круглые и многогранные колонны. И так как все колонны завершались капителями в виде нежных цветов лотоса или тонких свертков папируса, то лежавший на них потолок действительно казался легким и воздушным, как небо.

Стены до высоты человеческого роста были обложены красными гранитными плитами, вывезенными, по желанию царицы Астис, из Фив, где местные мастера умели придавать граниту зеркальную гладкость и изумительный блеск. Выше, до самого потолка, стены так же, как и колонны, пестрели резными и раскрашенными изображениями с символами богов обоих Египтов. Здесь был Себех, чтимый в Фаюмэ под видом крокодила, и Тоот, бог луны, изображаемый как ибис, в городе Хмуну, и солнечный бог Гор, которому в Эдфу был посвящен копчик, и Баст из Бубаса, под видом кошки, Шу, бог воздуха – лев, Пта – апис, Гатор – богиня веселья – корова, Анупис, бог бальзамирования, с головою шакала, и Монту из Гермона, и коптский Мину, и богиня неба Нейт из Саиса, и, наконец, в виде овна, страшный бог, имя которого не произносилось и которого называли Хентиementу, что значит «Живущий на Западе».

Полутемный алтарь возвышался над всем храмом, и в глубине его тускло блестели золотом стены святилища, скрывавшего изображения Изиды. Трое ворот – большие, средние и двое боковых маленьких – вели в святилище. Перед средним стоял жертвенник со священным каменным ножом из эфиопского обсидиана. Ступени вели к алтарю, и на них расположились младшие жрецы и жрицы с тимпанами, систрами, флейтами и бубнами.

Царица Астис возлежала в маленьком потайном покое. Небольшое квадратное отверстие, искусно скрытое тяжелым занавесом, выходило прямо к алтарю и позволяло, не выдавая своего присутствия, следить за всеми подробностями священнодействия. Легкое узкое платье из льняного газа, затканное серебром, вплотную облегало тело царицы, оставляя обнаженными руки до плеч и ноги до половины икр. Сквозь прозрачную материю розово светилась ее кожа и видны были все чистые линии и возвышения ее стройного тела, которое до сих пор, несмотря на тридцатилетний возраст царицы, не утеряло своей гибкости, красоты и свежести. Волосы ее, выкрашенные в синий цвет, были распущены по плечам и по спине, и концы их убраны бес-

численными ароматическими шариками. Лицо было сильно нарумянено и набелено, а тонко обведенные тушью глаза казались громадными и горели в темноте, как у сильного зверя кошачьей породы. Золотой священный уреус спускался у нее от шеи вниз, разделяя полуобнаженные груди.

С тех пор как Соломон охладел к царице Астис, утомленный ее необузданной чувственностью, она со всем пылом южного сладострастия и со всей яростью оскорбленной женской ревности предалась тем тайным оргиям извращенной похоти, которые входили в высший культ скопческого служения Изиде. Она всегда показывалась окруженная жрецами-кастратами, и даже теперь, когда один из них мерно обведал ее голову опахалом из павлиньих перьев, другие сидели на полу, впиваясь в царицу безумно-блаженными глазами. Ноздри их расширялись и трепетали от веявшего на них аромата ее тела, и дрожащими пальцами они старались незаметно прикоснуться к краю ее чуть колебавшейся легкой одежды. Их чрезмерная, никогда не удовлетворяющаяся страстность изощряла их воображение до крайних пределов. Их изобретательность в наслаждениях Кибелы и Ашеры переступала все человеческие возможности. И, ревнуя царицу друг к другу, ко всем женщинам, мужчинам и детям, ревнуя даже к ней самой, они поклонялись ей больше, чем Изиде, и, любя, ненавидели ее, как бесконечный огненный источник сладостных и жестоких страданий.

Темные, злые, страшные и пленительные слухи ходили о царице Астис в Иерусалиме. Родители красивых мальчиков и девушек прятали детей от ее взгляда; ее имя боялись произносить на супружеском ложе, как знак осквернения и напасти. Но волнуемое, опьяняющее любопытство влекло к ней души и отдавало во власть ей тела. Те, кто испытал хоть однажды ее свирепые кровавые ласки, те уже не могли ее забыть никогда и делались навеки ее жалкими, отвергнутыми рабами. Готовые ради нового обладания ею на всякий грех, на всякое унижение и преступление, они становились похожими на тех несчастных, которые, попробовав однажды горькое маковое питье из страны Офир, дающее сладкие грезы, уже никогда не отстанут от него и только ему одному поклоняются и одно его чтут, пока истощение и безумие не прервут их жизни.

Медленно колыхалось в жарком воздухе опахало. В безмолвном восторге созерцали жрецы свою ужасную повелительницу. Но она точно забыла об их присутствии. Слегка отодвинув занавеску, она неотступно глядела напротив, по ту сторону алтаря, где когда-то из-за темных изломов старинных златокованных занавесок показывалось прекрасное, светлое лицо израильского царя. Его одного любила всем своим пламенным и порочным сердцем отвергнутая царица, жестокая и сладострастная Астис. Его мимолетного взгляда, ласкового слова, прикосновения его руки искала она повсюду и не находила. На торжественных выходах, на дворцовых обедах и в дни суда оказывал Соломон ей почтительность, как царице и дочери царя, но душа его была мертва для нее. И часто гордая царица приказывала в урочные часы пронести себя мимо дома Ливанского, чтобы хоть издали, незаметно, сквозь тяжелые ткани носилок, увидеть среди придворной толпы гордое, незабвенно прекрасное лицо Соломона. И давно уже ее пламенная любовь к царю так тесно срослась с жгучей ненавистью, что сама Астис не умела отличить их.

Прежде и Соломон посещал храм Изиды в дни великих празднеств и приносил жертвы богине и даже принял титул ее верховного жреца, второго после египетского фараона. Но страшные таинства «Кровавой жертвы Оплодотворения» отвратили его ум и сердце от служения Матери богов.

– Оскопленный по неведению, или насилем, или случайно, или по болезни – не унижен перед Богом, – сказал царь. – Но горе тому, кто сам изуродует себя.

И вот уже целый год ложе его в храме оставалось пустым. И напрасно пламенные глаза царицы жадно глядели теперь на неподвижные занавески.

Между тем вино, сикера и одуряющие курения уже оказывали заметное действие на собравшихся в храме. Чаще слышались крик, и смех, и звон падающих на каменный пол серебряных сосудов. Приближалась великая, таинственная минута кровавой жертвы. Экстаз овладевал верующими.

Рассеянным взором оглядела царица храм и верующих. Много здесь было почтенных и знаменитых людей из свиты Соломоновой и из его военачальников: Бен-Гевер, властитель области Аргонии, и Ахимаас, женатый на дочери царя Васемафи, и остроумный Бен-Декер, и Зовуф, носивший, по восточным обычаям, высокий титул «друга царя», и брат Соломона от первого брака Давидова – Далуиа, расслабленный, полумертвый человек, преждевременно впавший в идиотизм от излишеств и пьянства. Все они были – иные по вере, иные по корыстным расчетам, иные из подражания, а иные из сластолюбивых целей – поклонниками Изиды.

И вот глаза царицы остановились долго и внимательно, с напряженной мыслью, на красивом юношеском лице Элиава, одного из начальников царских телохранителей.

Царица знала, отчего горит такой яркой краской его смуглое лицо, отчего с такую страстной тоской устремлены его горячие глаза сюда, на занавески, которые едва движутся от прикосновения прекрасных белых рук царицы. Однажды, почти шутя, повинувшись минутному капризу, она заставила Элиава провести у нее целую длинную блаженную ночь. Утром она отпустила его, но с тех пор уже много дней подряд видела она повсюду во дворце, в храме, на улицах – два влюбленных, покорных, тоскующих глаза, которые покорно провожали ее.

Темные брови царицы сдвинулись, и ее зеленые длинные глаза вдруг потемнели от страшной мысли. Едва заметным движением руки она приказала кастрату опустить вниз опахало и сказала тихо:

– Выйдите все. Хушай, ты пойдешь и позовешь ко мне Элиава, начальника царской стражи. Пусть он придет один.

XI

Десять жрецов в белых одеждах, испещренных красными пятнами, вышли на середину алтаря. Следом за ними шли еще двое жрецов, одетых в женские одежды. Они должны были изображать сегодня Нефтис и Изиду, оплакивающих Озириса. Потом из глубины алтаря вышел некто в белом хитоне без единого украшения, и глаза всех женщин и мужчин с жадностью приковались к нему. Это был тот самый пустынный, который провел десять лет в тяжелом подвижничестве на горах Ливана и нынче должен был принести великую добровольную кровавую жертву Изиде. Лицо его, изнуренное голодом, обветренное и обожженное, было строго и бледно, глаза сурово опущены вниз, и сверхъестественным ужасом повеяло от него на толпу.

Наконец вышел и главный жрец храма, столетний старец с тиарой на голове, с тигровой шкурой на плечах, в парчовом переднике, украшенном хвостами шакалов.

Повернувшись к молящимся, он старческим голосом, кротким и дрожащим, произнес:

– Сутон-ди-готпу. (Царь приносит жертву.)

И затем, обернувшись к жертвеннику, он принял из рук помощника белого голубя с красными лапками, отрезал птице голову, вынул у нее из груди сердце и кровью ее окропил жертвенник и священный нож.

После небольшого молчания он возгласил:

– Оплачьте Озириса, бога Атому, великого Ун-Нофер-Онуфрия, бога Она!

Два кастрата в женских одеждах – Изиды и Нефтис – тотчас же начали плач гармоничными тонкими голосами:

«Возвратись в свое жилище, о прекрасный юноша. Видеть тебя – блаженство.

Изида заклинает тебя, Изиды, которая была зачата с тобою в одном чреве, жена твоя и сестра.

Покажи нам снова лицо твое, светлый бог. Вот Нефтис, сестра твоя. Она обливается слезами и в горести рвет свои волосы.

В смертельной тоске разыскиваем мы прекрасное тело твое. Озирис, возвратись в дом свой!»

Двое других жрецов присоединили к первым свои голоса. Это Гор и Анубис оплакивали Озириса, и каждый раз, когда они оканчивали стих, хор, расположившийся на ступенях лестницы, повторял его торжественным и печальным мотивом.

Потом, с тем же пением, старшие жрецы вынесли из святилища статую богини, теперь уже не закрытую наосом. Но черная мантия, усыпанная золотыми звездами, окутывала богиню с ног до головы, оставляя видимыми только ее серебряные ноги, обвитые змеей, а над головою серебряный диск, включенный в коровьи рога. И медленно, под звон кадилниц и сistr, со скорбным плачем двинулась процессия богини Изиды со ступенек алтаря, вниз, в храм, вдоль его стен, между колоннами.

Так собирала богиня разбросанные члены своего супруга, чтобы оживить его при помощи Тоота и Анубиса:

«Слава городу Абидосу, сохранившему прекрасную голову твою, Озирис.

Слава тебе, город Мемфис, где нашли мы правую руку великого бога, руку войны и защиты.

И тебе, о город Саис, скрывший левую руку светлого бога, руку правосудия.

И ты будь благословен, город Фивы, где покоилось сердце Ун-Нофер-Онуфрия».

Так обошла богиня весь храм, возвращаясь назад к алтарю, и все страстнее и громче становилось пение хора. Священное воодушевление овладевало жрецами и молящимися. Все части тела Озириса нашла Изида, кроме одной, священного Фаллуса, оплодотворяющего материнское чрево, созидающего новую вечную жизнь. Теперь приближался самый великий акт в мистерии Озириса и Изиды...

– Это ты, Элиав? – спросила царица юношу, который тихо вошел в дверь.

В темноте ложи он беззвучно опустился к ее ногам и прижал к губам край ее платья. И царица почувствовала, что он плачет от восторга, стыда и желаний. Опустив руку на его курчавую жесткую голову, царица произнесла:

– Расскажи мне, Элиав, все, что ты знаешь о царе и об этой девочке из виноградника.

– О, как ты его любишь, царица! – сказал Элиав с горьким стоном.

– Говори... – приказала Астис.

– Что я могу тебе сказать, царица? Сердце мое разрывается от ревности.

– Говори!

– Никого еще не любил царь, как ее. Он не расстается с ней ни на миг. Глаза его сияют счастьем. Он расточает вокруг себя милости и дары. Он, авимелех и мудрец, он, как раб, лежит около ее ног и, как собака, не спускает с нее глаз своих.

– Говори!

– О, как ты терзаешь меня, царица! И она... она – вся любовь, вся нежность и ласка! Она кротка и стыдлива, она ничего не видит и не знает, кроме своей любви. Она не возбуждает ни в ком ни злобы, ни ревности, ни зависти...

– Говори! – яростно простонала царица, и, вцепившись своими гибкими пальцами в черные кудри Элиава, она притиснула его голову к своему телу, царапая его лицо серебряным шитьем своего прозрачного хитона.

А в это время в алтаре вокруг изображения богини, покрытой черным покрывалом, носились жрецы и жрицы в священном исступлении, с криками, похожими на лай, под звон тимпанов и дребезжание сistr.

Некоторые из них стегали себя многохвостыми плетками из кожи носорога, другие наносили себе короткими ножами в грудь и в плечи длинные кровавые раны, третьи пальцами раз-

рывали себе рты, надрывали себе уши и царапали лица ногтями. В середине этого бешеного хоровода у самых ног богини кружился на одном месте с непостижимой быстротой отшельник с гор Ливана в белоснежной развевающейся одежде. Один верховный жрец оставался неподвижным. В руке он держал священный жертвенный нож из эфиопского обсидиана, готовый передать его в последний страшный момент.

– Фаллус! Фаллус! Фаллус! – кричали в экстазе обезумевшие жрецы. – Где твой Фаллус, о светлый бог! Приди, оплодотвори богиню. Грудь ее томится от желания! Чрево ее как пустыня в жаркие летние месяцы!

И вот страшный, безумный, пронзительный крик на мгновение заглушил весь хор. Жрецы быстро расступились, и все бывшие в храме увидели ливанского отшельника, совершенно обнаженного, ужасного своим высоким, костлявым, желтым телом. Верховный жрец протянул ему нож. Стало невыносимо тихо в храме. И он, быстро нагнувшись, сделал какое-то движение, выпрямился и с воплем боли и восторга вдруг бросил к ногам богини бесформенный кровавый кусок мяса.

Он шатался. Верховный жрец осторожно поддержал его, обвив рукой за спину, подвел его к изображению Изиды и бережно накрыл его черным покрывалом и оставил так на несколько мгновений, чтобы он втайне, невидимо для других, мог запечатлеть на устах оплодотворенной богини свой поцелуй.

Тотчас же вслед за этим его положили на носилки и унесли из алтаря. Жрец-привратник вышел из храма. Он ударил деревянным молотком в громадный медный круг, возвещая всему миру о том, что свершилась великая тайна оплодотворения богини. И высокий поющий звук меди понесся над Иерусалимом.

Царица Астис, еще продолжая содрогаться всем телом, откинула назад голову Элиава. Глаза ее горели напряженным красным огнем. И она сказала медленно, слово за словом:

– Элиав, хочешь, я сделаю тебя царем Иудеи и Израиля? Хочешь быть властителем над всей Сирией и Месопотамией, над Финикией и Вавилоном?

– Нет, царица, я хочу только тебя...

– Да, ты будешь моим властелином. Все мои ночи будут принадлежать тебе. Каждое мое слово, каждый мой взгляд, каждое дыхание будут твоими. Ты знаешь пропуск. Ты пойдешь сегодня во дворец и убьешь их. Ты убьешь их обоих! Ты убьешь их обоих!

Элиав хотел что-то сказать. Но царица притянула его к себе и прильнула к его рту своими жаркими губами и языком. Это продолжалось мучительно долго. Потом, внезапно оторвав юношу от себя, она сказала коротко и повелительно:

– Иди!

– Я иду, – ответил покорно Элиав.

ХII

И была седьмая ночь великой любви Соломона.

Странно тихи и глубоко нежны были в эту ночь ласки царя и Суламифи. Точно какая-то задумчивая печаль, осторожная стыдливость, отдаленное предчувствие окутывали легкой тенью их слова, поцелуи и объятия.

Глядя в окно на небо, где ночь уже побеждала догорающий вечер, Суламифь остановила свои глаза на яркой голубоватой звезде, которая трепетала кротко и нежно.

– Как называется эта звезда, мой возлюбленный? – спросила она.

– Это звезда Сопдит, – ответил царь. – Это священная звезда. Ассирийские маги говорят нам, что души всех людей живут на ней после смерти тела.

– Ты веришь этому, царь?

Соломон не ответил. Правая рука его была под голову Суламифи, а левую он обнимал ее, и она чувствовала его ароматное дыхание на себе, на волосах, на виске.

– Может быть, мы увидимся там с тобою, царь, после того как умрем? – спросила тревожно Суламифь.

Царь опять промолчал.

– Ответь мне что-нибудь, возлюбленный, – робко попросила Суламифь.

Тогда царь сказал:

– Жизнь человеческая коротка, но время бесконечно, и вещество бессмертно. Человек умирает и утучняет гниением своего тела землю, земля вскармливает колос, колос приносит зерно, человек поглощает хлеб и питает им свое тело. Проходят тьмы и тьмы тем веков, все в мире повторяется, – повторяются люди, звери, камни, растения. Во многообразном круговороте времени и вещества повторяемся и мы с тобою, моя возлюбленная. Это так же верно, как и то, что если мы с тобою наполним большой мешок доверху морским гравием и бросим в него всего лишь один драгоценный сапфир, то, вытаскивая много раз из мешка, ты все-таки рано или поздно извлечешь и драгоценность. Мы с тобою встретимся, Суламифь, и мы не узнаем друг друга, но с тоской и восторгом будут стремиться наши сердца навстречу, потому что мы уже встречались с тобою, моя кроткая, моя прекрасная Суламифь, но мы не помним этого.

– Нет, царь, нет! Я помню. Когда ты стоял под окном моего дома и звал меня: «Прекрасная моя, выйди, волосы мои полны ночной росой!» – я узнала тебя, я вспомнила тебя, и радость и страх овладели моим сердцем. Скажи мне, мой царь, скажи, Соломон: вот, если завтра я умру, будешь ли ты вспоминать свою смуглую девушку из виноградника, свою Суламифь?

И, прижимая ее к своей груди, царь прошептал, взволнованный:

– Не говори так никогда... Не говори так, о Суламифь! Ты избранная Богом, ты настоящая, ты царица души моей... Смерть не коснется тебя...

Резкий медный звук вдруг пронесся над Иерусалимом. Он долго заунывно дрожал и колебался в воздухе, и когда замолк, то долго еще плыли его трепещущие отзвуки.

– Это в храме Изида окончилось таинство, – сказал царь.

– Мне страшно, прекрасный мой! – прошептала Суламифь. – Темный ужас проник в мою душу... Я не хочу смерти... Я еще не успела насладиться твоими объятиями... Обойми меня... Прижми меня к себе крепче... Положи меня, как печать, на сердце твоём, как печать, на мышце твоей!..

– Не бойся смерти, Суламифь! Так же сильна, как и смерть, любовь... Отгони грустные мысли... Хочешь, я расскажу тебе о войнах Давида, о пирах и охотах фараона Суссакима? Хочешь ты услышать одну из тех сказок, которые складываются в стране Офир?.. Хочешь, я расскажу тебе о чудесах Вакрамадитья?

– Да, мой царь. Ты сам знаешь, что, когда я слушаю тебя, сердце мое растёт от радости! Но я хочу тебя попросить о чем-то...

– О Суламифь, – все, что хочешь! Попроси у меня мою жизнь – я с восторгом отдам ее тебе. Я буду только жалеть, что слишком малой ценой заплатил за твою любовь.

Тогда Суламифь улыбнулась в темноте от счастья и, обвив царя руками, прошептала ему на ухо:

– Прошу тебя, когда наступит утро, пойдем вместе туда... на виноградник... Туда, где зелень, и кипарисы, и кедры, где около каменной стенки ты взял руками мою душу... Прошу тебя об этом, возлюбленный... Там снова окажу я тебе ласки мои...

В упоении поцеловал царь губы своей милой.

Но Суламифь вдруг встала на своем ложе и прислушалась.

– Что с тобою, дитя мое?.. Что испугало тебя? – спросил Соломон.

– Подожди, мой милый... сюда идут... Да... Я слышу шаги...

Она замолчала. И было так тихо, что они различали биение своих сердец.

Легкий шорох послышался за дверью, и вдруг она распахнулась быстро и беззвучно.
– Кто там? – воскликнул Соломон.

Но Суламифь уже спрыгнула с ложа, одним движением метнулась навстречу темной фигуре человека с блестящим мечом в руке. И тотчас же, пораженная насквозь коротким, быстрым ударом, она со слабым, точно удивленным криком упала на пол.

Соломон разбил рукой сердоликовый экран, закрывавший свет ночной лампы. Он увидел Элиава, который стоял у двери, слегка наклонившись над телом девушки, шатаясь, точно пьяный. Молодой воин под взглядом Соломона поднял голову и, встретившись глазами с гневными, страшными глазами царя, побледнел и застонал. Выражение отчаяния и ужаса исказило его черты. И вдруг, согнувшись, спрятав в плащ голову, он робко, точно испуганный шакал, стал выползать из комнаты. Но царь остановил его, сказав только три слова:

– Кто принудил тебя?

Весь трепеща и щелкая зубами, с глазами, побелевшими от страха, молодой воин уронил глухо:

– Царица Астис...

– Выйди, – приказал Соломон. – Скажи очередной страже, чтобы она стерегла тебя.

Скоро по бесчисленным комнатам дворца забегали люди с огнями. Все покои осветились. Пришли врачи, собрались военачальники и друзья царя.

Старший врач сказал:

– Царь, теперь не поможет ни наука, ни Бог. Когда извлечем меч, оставленный в ее груди, она тотчас же умрет.

Но в это время Суламифь очнулась и сказала со спокойною улыбкой:

– Я хочу пить.

И когда напилась, она с нежной, прекрасной улыбкой остановила свои глаза на царе и уже больше не отводила их; а он стоял на коленях перед ее ложем, весь обнаженный, как и она, не замечая, что его колени купаются в ее крови и что руки его обагрены алою кровью.

Так, глядя на своего возлюбленного и улыбаясь кротко, говорила с трудом прекрасная Суламифь:

– Благодарю тебя, мой царь, за все: за твою любовь, за твою красоту, за твою мудрость, к которой ты позволил мне прильнуть устами, как к сладкому источнику. Дай мне поцеловать твои руки, не отнимай их от моего рта до тех пор, пока последнее дыхание не отлетит от меня. Никогда не было и не будет женщины счастливее меня. Благодарю тебя, мой царь, мой возлюбленный, мой прекрасный. Вспоминай изредка о твоей рабе, о твоей обоженной солнцем Суламифи.

И царь ответил ей глубоким, медленным голосом:

– До тех пор, пока люди будут любить друг друга, пока красота души и тела будет самой лучшей и самой сладкой мечтой в мире, до тех пор, клянусь тебе, Суламифь, имя твое во многие века будет произноситься с умилением и благодарностью.

К утру Суламифи не стало.

Тогда царь встал, велел дать себе умыться и надел самый роскошный пурпуровый хитон, вышитый золотыми скарабеями, и возложил на свою голову венец из кроваво-красных рубинов. После этого он позвал к себе Ванею и сказал спокойно:

– Ванея, ты пойдешь и умертвишь Элиава.

Но старик закрыл лицо руками и упал ниц перед царем.

– Царь, Элиав – мой внук!

– Ты слышал меня, Ванея?

– Царь, прости меня, не угрожай мне своим гневом, прикажи это сделать кому-нибудь другому. Элиав, выйдя из дворца, побежал в храм и схватился за рога жертвенника. Я стар, смерть моя близка, я не смею взять на свою душу этого двойного преступления.

Но царь возразил:

– Однако, когда я поручил тебе умертвить моего брата Адонию, также схватившегося за священные рога жертвенника, разве ты ослушался меня, Ваня?

– Прости меня! Пощади меня, царь!

– Подними лицо твое, – приказал Соломон.

И когда Ваня поднял голову и увидел глаза царя, он быстро встал с пола и послушно направился к выходу.

Затем, обратившись к Ахиссару, начальнику и смотрителю дворца, он приказал:

– Царицу я не хочу предавать смерти, пусть она живет, как хочет, и умирает, где хочет. Но никогда она не увидит более моего лица. Сегодня, Ахиссар, ты снарядишь караван и проводишь царицу до гавани в Иаффе, а оттуда в Египет, к фараону Суссакиму. Теперь пусть все выйдут.

И, оставшись один лицом к лицу с телом Суламифи, он долго глядел на ее прекрасные черты. Лицо ее было бело, и никогда оно не было так красиво при ее жизни. Полуоткрытые губы, которые всего час тому назад целовал Соломон, улыбались загадочно и блаженно, и зубы, еще влажные, чуть-чуть поблескивали из-под них.

Долго глядел царь на свою мертвую возлюбленную, потом тихо прикоснулся пальцем к ее лбу, уже начавшему терять теплоту жизни, и медленными шагами вышел из покоя.

За дверями его дожидался первосвященник Азария, сын Садокии. Приблизившись к царю, он спросил:

– Что нам делать с телом этой женщины? Теперь суббота.

И вспомнил царь, как много лет тому назад скончался его отец, и лежал на песке, и уже начал быстро разлагаться. Собаки, привлеченные запахом падали, уже бродили вокруг него с горящими от голода и жадности глазами. И, как и теперь, спросил его первосвященник, отец Азарии, дряхлый старик:

– Вот лежит твой отец, собаки могут растерзать его труп... Что нам делать? Почтить ли память царя и осквернить субботу или соблюсти субботу, но оставить труп твоего отца на съедение собакам?

Тогда ответил Соломон:

– Оставить. Живая собака лучше мертвого льва.

И когда теперь, после слов первосвященника, вспомнил он это, то сердце его сжалось от печали и страха.

Ничего не ответив первосвященнику, он пошел дальше, в залу судилища.

Как и всегда по утрам, двое его писцов, Елихофер и Ахия, уже лежали на циновках, по обе стороны трона, держа наготове свертки папируса, тростник и чернила. При входе царя они встали и поклонились ему до земли. Царь же сел на свой трон из слоновой кости с золотыми украшениями, оперся локтем на спину золотого льва и, склонив голову на ладонь, приказал:

– Пишите!

«Положи меня, как печать, на сердце твоем, как перстень, на руке твоей, потому что крепка, как смерть, любовь, и жестока, как ад, ревность: стрелы ее – стрелы огненные».

И, помолчав так долго, что писцы в тревоге затаили дыхание, он сказал:

– Оставьте меня одного.

И весь день, до первых вечерних теней, оставался царь один на один со своими мыслями, и никто не осмелился войти в громадную, пустую залу судилища.

1908

Гранатовый браслет

L. van Beethoven. 2 Son. (op. 2, № 2).

Largo Appassionato.

I

В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Черного моря. То по целым суткам тяжело лежал над землею и морем густой туман, и тогда огромная сирена на маяке редела днем и ночью, точно бешеный бык. То с утра до утра шел не переставая мелкий, как водяная пыль, дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в сплошную густую грязь, в которой увязали надолго возы и экипажи. То задувал с северо-запада, со стороны степи, свирепый ураган; от него верхушки деревьев раскачивались, пригибаясь и выпрямляясь, точно волны в бурю, гремели по ночам железные кровли дач, и казалось, будто кто-то бегаёт по ним в подкованных сапогах; вздрагивали оконные рамы, хлопали двери, и дико завывало в печных трубах. Несколько рыбачьих баркасов заблудилось в море, а два и совсем не вернулись: только спустя неделю повыбрасывало трупы рыбаков в разных местах берега.

Обитатели пригородного морского курорта – большей частью греки и евреи, жизнелюбивые и мнительные, как все южане, – поспешно перебирались в город. По размякшему шоссе без конца тянулись ломовые дроги, перегруженные всяческими домашними вещами: тюфяками, диванами, сундуками, стульями, умывальниками, самоварами. Жалко, и грустно, и противно было глядеть сквозь мутную кисею дождя на этот жалкий скарб, казавшийся таким изношенным, грязным и нищенским; на горничных и кухарок, сидевших на верху воза на мокром брезенте с какими-то утюгами, жестянками и корзинками в руках, на запотевших, обессилевших лошадей, которые то и дело останавливались, дрожа коленями, дымясь и часто нося боками, на сипло ругавшихся дрогелей, закутанных от дождя в рогожи. Еще печальнее было видеть оставленные дачи с их внезапным простором, пустотой и оголенностью, с изуродованными клумбами, разбитыми стеклами, брошенными собаками и всяческим дачным сором из окурков, бумажек, черепков, коробочек и аптекарских пузырьков.

Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем неожиданно переменилась. Сразу наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, солнечные и теплые, каких не было даже в июле. На обсохших сжатых полях, на их колючей желтой щетине заблестела слюдяным блеском осенняя паутина. Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли желтые листья.

Княгиня Вера Николаевна Шеина, жена предводителя дворянства, не могла покинуть дачи, потому что в их городском доме еще не покончили с ремонтом. И теперь она очень радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уединению, чистому воздуху, щебетанью на телеграфных проволоках ласточек, стаившихся к отлету, и ласковому соленому ветерку, слабо тянувшему с моря.

II

Кроме того, сегодня был день ее именин – семнадцатое сентября. По милым, отдаленным воспоминаниям детства она всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливо-чудесного. Муж, уезжая утром по спешным делам в город, положил ей на ночной столик футляр с прекрасными серьгами из грушевидных жемчужин, и этот подарок еще больше веселил ее.

Она была одна во всем доме. Ее холостой брат Николай, товарищ прокурора, живший обыкновенно вместе с ними, также уехал в город, в суд. К обеду муж обещал привезти немногих и только самых близких знакомых. Хорошо выходило, что именины совпали с дачным временем. В городе пришлось бы тратиться на большой парадный обед, пожалуй даже на бал, а здесь, на даче, можно было обойтись самыми небольшими расходами. Князь Шеин, несмотря на свое видное положение в обществе, а может быть и благодаря ему, едва сводил концы с концами. Огромное родовое имение было почти совсем расстроено его предками, а жить приходилось выше средств: делать приемы, благотворить, хорошо одеваться, держать лошадей и т. д. Княгиня Вера, у которой прежняя страстная любовь к мужу давно уже перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы, всеми силами старалась помочь князю удержаться от полного разорения. Она во многом, незаметно для него, отказывала себе и, насколько возможно, сэкономила в домашнем хозяйстве.

Теперь она ходила по саду и осторожно срезала ножницами цветы к обеденному столу. Клумбы опустели и имели беспорядочный вид. Доцветали разноцветные махровые гвоздики, а также левкой – наполовину в цветах, а наполовину в тонких зеленых стручках, пахнущих капустой, розовые кусты еще давали – в третий раз за это лето – бутоны и розы, но уже измельчавшие, редкие, точно выродившиеся. Зато пышно цвели своей холодной, высокомерной красотой георгины, пионы и астры, распространяя в чутком воздухе осенний, травянистый, грустный запах. Остальные цветы после своей роскошной любви и чрезмерного обильного летнего материнства тихо осыпали на землю бесчисленные семена будущей жизни.

Близко на шоссе послышались знакомые звуки автомобильного трехтонного рожка. Это подъезжала сестра княгини Веры – Анна Николаевна Фриессе, с утра обещавшая по телефону приехать помочь сестре принимать гостей и по хозяйству.

Тонкий слух не обманул Веру. Она пошла навстречу. Через несколько минут у дачных ворот круто остановился изящный автомобиль-каре́та, и шофер, ловко спрыгнув с сиденья, распахнул дверцу.

Сестры радостно поцеловались. Они с самого раннего детства были привязаны друг к другу теплой и заботливой дружбой. По внешности они до странного не были схожи между собою. Старшая, Вера, пошла в мать, красавицу англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками и той очаровательной покато́стью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах. Младшая – Анна, – наоборот, унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя, дед которого крестился только в начале XIX столетия и древний род которого восходил до самого Тамерлана, или Ланг-Темира, как с гордостью называл ее отец, по-татарски, этого великого кровопийцу. Она была на полголовы ниже сестры, несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная, насмешница. Лицо ее сильно монгольского типа с довольно заметными скулами, с узенькими глазами, которые она к тому же по близорукости шурила, с надменным выражением в маленьком, чувственном рте, особенно в слегка выдвинутой вперед полной нижней губе, – лицо это, однако, пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заключалась, может быть, в улыбке, может быть, в глубокой женственности всех черт, может быть, в пикантной, задорно-кокетливой мимике. Ее грациозная некрасивость возбуждала и привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота ее сестры.

Она была замужем за очень богатым и очень глупым человеком, который ровно ничего не делал, но числился при каком-то благотворительном учреждении и имел звание камер-юнкера. Мужа она терпеть не могла, но родила от него двух детей – мальчика и девочку; больше она решила не иметь детей и не имела. Что касается Веры – та жадно хотела детей и даже, ей казалось, чем больше, тем лучше, но почему-то они у нее не рождались, и она болезненно и пылко обожала хороших малокровных детей младшей сестры, всегда приличных и послушных, с бледными мучнистыми лицами и с завитыми льняными кукольными волосами.

Анна вся состояла из веселой безалаберности и милых, иногда странных противоречий. Она охотно предавалась самому рискованному флирту во всех столицах и на всех курортах Европы, но никогда не изменяла мужу, которого, однако, презрительно высмеивала и в глаза и за глаза; была расточительна, страшно любила азартные игры, танцы, сильные впечатления, острые зрелища, посещала за границей сомнительные кафе, но в то же время отличалась щедрой добротой и глубокой, искренней набожностью, которая заставила ее даже принять тайно католичество. У нее были редкой красоты спина, грудь и плечи. Отправляясь на большие балы, она обнажалась гораздо больше пределов, дозволяемых приличием и модой, но говорили, что под низким декольте у нее всегда была надета власяница.

Вера же была строго проста, со всеми холодно и немного свысока любезна, независима и царственно спокойна.

III

– Боже мой, как у вас здесь хорошо! Как хорошо! – говорила Анна, идя быстрыми и мелкими шагами рядом с сестрой по дорожке. – Если можно, посидим немного на скамеечке над обрывом. Я так давно не видела моря. И какой чудный воздух: дышишь – и сердце веселится. В Крыму, в Мисхоре, прошлым летом я сделала изумительное открытие. Знаешь, чем пахнет морская вода во время прибой? Представь себе – резедой.

Вера ласково усмехнулась:

– Ты фантазерка.

– Нет, нет. Я помню также раз, надо мной все смеялись, когда я сказала, что в лунном свете есть какой-то розовый оттенок. А на днях художник Борицкий – вот тот, что пишет мой портрет, – согласился, что я была права и что художники об этом давно знают.

– Художник – твое новое увлечение?

– Ты всегда придумываешь! – засмеялась Анна и, быстро подойдя к самому краю обрыва, отвесной стеной падавшего глубоко в море, заглянула вниз и вдруг вскрикнула в ужасе и отшатнулась назад с побледневшим лицом.

– У, как высоко! – произнесла она ослабевшим и вздрагивающим голосом. – Когда я гляжу с такой высоты, у меня всегда как-то сладко и противно щекочет в груди... и пальцы на ногах щемит... И все-таки тянет, тянет...

Она хотела еще раз нагнуться над обрывом, но сестра остановила ее.

– Анна, дорогая моя, ради бога! У меня у самой голова кружится, когда ты так делаешь. Прощу тебя, сядь.

– Ну хорошо, хорошо, села... Но ты только посмотри, какая красота, какая радость – просто глаз не насытится. Если бы ты знала, как я благодарна Богу за все чудеса, которые он для нас сделал!

Обе на минутку задумались. Глубоко-глубоко под ними покоилось море. Со скамейки не было видно берега, и оттого ощущение бесконечности и величия морского простора еще больше усиливалось. Вода была ласково-спокойна и весело-синя, светлея лишь косыми гладкими полосами в местах течения и переходя в густо-синий глубокий цвет на горизонте.

Рыбачьи лодки, с трудом отмечаемые глазом – такими они казались маленькими, – неподвижно дремали в морской глади, недалеко от берега. А дальше точно стояло в воздухе, не подвигаясь вперед, трехмачтовое судно, все сверху донизу одетое однообразными, выпуклыми от ветра белыми стройными парусами.

– Я тебя понимаю, – задумчиво сказала старшая сестра, – но у меня как-то не так, как у тебя. Когда я в первый раз вижу море после большого времени, оно меня и волнует, и радует, и поражает. Как будто я в первый раз вижу огромное, торжественное чудо. Но потом, когда

привыкну к нему, оно начинает меня давить своей плоской пустотой... Я скучаю, глядя на него, и уж стараюсь больше не смотреть. Надоедает.

Анна улыбнулась.

– Чему ты? – спросила сестра.

– Прошлым летом, – сказала Анна лукаво, – мы из Ялты поехали большой кавалькадой верхом на Уч-Кош. Это там, за лесничеством, выше водопада. Попали сначала в облако, было очень сыро и плохо видно, а мы все поднимались вверх по крутой тропинке между соснами. И вдруг как-то сразу окончился лес, и мы вышли из тумана. Вообрази себе: узенькая площадка на скале, и под ногами у нас пропасть. Деревни внизу кажутся не больше спичечной коробки, леса и сады – как мелкая травка. Вся местность спускается к морю, точно географическая карта. А там дальше – море! Верст на пятьдесят, на сто вперед. Мне казалось – я повисла в воздухе и вот-вот полечу. Такая красота, такая легкость! Я оборачиваюсь назад и говорю проводнику в восторге: «Что? Хорошо, Сеид-оглы?» А он только языком почмокал: «Эх, барина, как мне все это надоед. Каждый день видим».

– Благодарю за сравнение, – засмеялась Вера, – нет, я только думаю, что нам, северянам, никогда не понять прелести моря. Я люблю лес. Помнишь лес у нас в Егоровском?.. Разве может он когда-нибудь прискучить? Сосны!.. А какие мхи!.. А мухоморы! Точно из красного атласа и вышиты белым бисером. Тишина такая... прохлада.

– Мне все равно, я все люблю, – ответила Анна. – А больше всего я люблю мою сестренку, мою благоразумную Вереньку. Нас ведь только двое на свете.

Она обняла старшую сестру и прижалась к ней, щека к щеке. И вдруг спохватилась.

– Нет, какая же я глупая! Мы с тобою, точно в романе, сидим и разговариваем о природе, а я совсем забыла про мой подарок. Вот посмотри. Я боюсь только, понравится ли?

Она достала из своего ручного мешочка маленькую записную книжку в удивительном переплете: на старом, стершемся и посеревшем от времени синем бархате вился тускло-золотой филигранный узор редкой сложности, тонкости и красоты, – очевидно, любовное дело рук искусного и терпеливого художника. Книжка была прикреплена к тоненькой, как нитка, золотой цепочке, листки в середине были заменены таблетками из слоновой кости.

– Какая прекрасная вещь! Прелесть! – сказала Вера и поцеловала сестру. – Благодарю тебя. Где ты достала такое сокровище?

– В одной антикварной лавочке. Ты ведь знаешь мою слабость рыться в старинном хламе. Вот я и набрела на этот молитвенник. Посмотри, видишь, как здесь орнамент делает фигуру креста. Правда, я нашла только один переплет, остальное все пришлось придумывать – листочки, застежки, карандаш. Но Моллине совсем не хотел меня понять, как я ему ни толковала. Застежки должны были быть в таком же стиле, как и весь узор, матовые, старого золота, тонкой резьбы, а он Бог знает что сделал. Зато цепочка настоящая венецианская, очень древняя.

Вера ласково погладила прекрасный переплет.

– Какая глубокая старина!.. Сколько может быть этой книжке? – спросила она.

– Я боюсь определить точно. Приблизительно конец семнадцатого века, середина восемнадцатого...

– Как странно, – сказала Вера с задумчивой улыбкой. – Вот я держу в своих руках вещь, которой, может быть, касались руки маркизы Помпадур или самой королевы Антуанетты... Но знаешь, Анна, это только тебе могла прийти в голову шальная мысль переделать молитвенник в дамский carnet¹¹⁸. Однако все-таки пойдем посмотрим, что там у нас делается.

Они прошли в дом через большую каменную террасу, со всех сторон закрытую густыми шпалерами винограда «изабелла». Черные обильные гроздья, издававшие слабый запах клуб-

¹¹⁸ Записная книжка (франц.).

ники, тяжело свисали между темной, кое-где озолоченной солнцем зеленью. По всей террасе разливался зеленый полусвет, от которого лица женщин сразу побледнели.

– Ты велишь здесь накрывать? – спросила Анна.

– Да, я сама так думала сначала... Но теперь вечера такие холодные. Уж лучше в столовой. А мужчины пусть сюда уходят курить.

– Будет кто-нибудь интересный?

– Я еще не знаю. Знаю только, что будет наш дедушка.

– Ах, дедушка милый. Вот радость! – воскликнула Анна и всплеснула руками. – Я его, кажется, сто лет не видала.

– Будет сестра Васи и, кажется, профессор Спешников. Я вчера, Анненька, просто голову потеряла. Ты знаешь, что они оба любят покушать – и дедушка и профессор. Но ни здесь, ни в городе – ничего не достанешь ни за какие деньги. Лука отыскал где-то перепелов – заказал знакомому охотнику – и что-то мудрит над ними. Ростбиф достали сравнительно недурной – увы! – неизбежный ростбиф. Очень хорошие раки.

– Ну что ж, не так уж дурно. Ты не тревожься. Впрочем, между нами, у тебя у самой есть слабость вкусно поесть.

– Но будет и кое-что редкое. Сегодня утром рыбак принес морского петуха. Я сама видела. Прямо какое-то чудовище. Даже страшно.

Анна, до жадности любопытная ко всему, что ее касалось и что не касалось, сейчас же потребовала, чтобы ей принесли показать морского петуха.

Пришел высокий, бритый, желтолицый повар Лука с большой продолговатой белой лоханью, которую он с трудом, осторожно держал за ушки, боясь расплескать воду на паркет.

– Двенадцать с половиною фунтов, ваше сиятельство, – сказал он с особенной поварской гордостью. – Мы давеча взвешивали.

Рыба была слишком велика для лоханки и лежала на дне, завернув хвост. Ее чешуя отливала золотом, плавники были ярко-красного цвета, а от громадной хищной морды шли в стороны два нежно-голубых складчатых, как веер, длинных крыла. Морской петух был еще жив и усиленно работал жабрами.

Младшая сестра осторожно дотронулась мизинцем до головы рыбы. Но петух неожиданно всплеснул хвостом, и Анна с визгом отдернула руку.

– Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, все в лучшем виде устроим, – сказал повар, очевидно понимавший тревогу Анны. – Сейчас болгарин принес две дыни. Ананасные. На манер вроде как канталупы, но только запах куда ароматнее. И еще осмелюсь спросить ваше сиятельство, какой соус прикажете подавать к петуху: тартар или польский, а то можно просто сухари в масло?

– Делай, как знаешь. Ступай! – приказала княгиня.

IV

После пяти часов стали съезжаться гости. Князь Василий Львович привез с собою вдовую сестру Людмилу Львовну, по мужу Дурасову, полную, добродушную и необыкновенно молчаливую женщину; светского молодого богатого шалопая и кутилу Васючка, которого весь город знал под этим фамильярным именем, очень приятного в обществе уменьем петь и декламировать, а также устраивать живые картины, спектакли и благотворительные базары; знаменитую пианистку Женни Рейтер, подругу княгини Веры по Смольному институту, а также своего шурина Николая Николаевича. За ними приехал на автомобиле муж Анны с бритым толстым, безобразно огромным профессором Спешниковым и с местным вице-губернатором фон Зекком. Позднее других приехал генерал Аносов, в хорошем наемном ландо, в сопровождении двух офицеров: штабного полковника Понамарева, преждевременно состарившегося, худого,

желчного человека, изможденного непосильной канцелярской работой, и гвардейского гусарского поручика Бахтинского, который славился в Петербурге как лучший танцор и несравненный распорядитель балов.

Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, тяжело слезал с подножки, держа одной рукой за поручни козел, а другой – за задок экипажа. В левой руке он держал слуховой рожок, а в правой – палку с резиновым наконечником. У него было большое, грубое, красное лицо с мясистым носом и с тем добродушно-величавым, чуть-чуть презрительным выражением в прищуренных глазах, расположенных лучистыми, припухлыми полукругами, какое свойственно мужественным и простым людям, выдавшим часто и близко перед своими глазами опасность и смерть. Обе сестры, издали узнавшие его, подбежали к коляске как раз вовремя, чтобы полушутя, полусерьезно поддержать его с обеих сторон под руки.

– Точно... архиерея! – сказал генерал ласковым хриповатым басом.

– Дедушка, миленький, дорогой! – говорила Вера тоном легкого упрека. – Каждый день вас ждем, а вы хоть бы глаза показали.

– Дедушка у нас на юге всякую совесть потерял, – засмеялась Анна. – Можно было бы, кажется, вспомнить о крестной дочери. А вы держите себя донжуаном, бесстыдник, и совсем забыли о нашем существовании...

Генерал, обнажив свою величественную голову, целовал поочередно руки у обеих сестер, потом целовал их в щеки и опять в руку.

– Девочки... подождите... не бранитесь, – говорил он, перемежая каждое слово вздохами, происходившими от давнишней одышки. – Честное слово... докторишки разнесчастные... все лето купали мои ревматизмы... в каком-то грязном... киселе... ужасно пахнет... И не выпускали... Вы первые... к кому приехал... Ужасно рад... с вами увидиться... Как прыгаете?.. Ты, Верочка... совсем леди... очень стала похожа... на покойницу мать... Когда крестить позовешь?

– Ой, боюсь, дедушка, что никогда...

– Не отчаивайся... все впереди... Молись Богу... А ты, Аня, вовсе не изменилась... Ты и в шестьдесят лет... будешь такая же стрекоза-егоза. Пойдите-ка. Давайте я вам представлю господ офицеров.

– Я уже давно имел эту честь! – сказал полковник Понамарев, кланяясь.

– Я был представлен княгине в Петербурге, – подхватил гусар.

– Ну, так представлю тебе, Аня, поручика Бахтинского. Танцор и буян, но хороший кавалерист. Вынь-ка, Бахтинский, милый мой, там из коляски... Пойдемте, девочки... Чем, Верочка, будешь кормить? У меня... после лиманного режима... аппетит, как у выпускного... прапорщика.

Генерал Аносов был боевым товарищем и преданным другом покойного князя Мирза-Булат-Тугановского. Всю нежную дружбу и любовь он после смерти князя перенес на его дочерей. Он знал их еще совсем маленькими, а младшую Анну даже крестил. В то время – как и до сих пор – он был комендантом большой, но почти упраздненной крепости в г. К. и ежедневно бывал в доме Тугановских. Дети просто обожали его за баловство, за подарки, за ложи в цирк и театр и за то, что никто так увлекательно не умел играть с ними, как Аносов. Но больше всего их очаровывали и крепче всего запечатлелись в их памяти его рассказы о военных походах, сражениях и стоянках на бивуаках, о победах и отступлениях, о смерти, ранах и лютых морозах, – неторопливые, эпически спокойные, простосердечные рассказы, рассказываемые между вечерним чаем и тем скучным часом, когда детей позовут спать.

По нынешним нравам этот обломок старины представлялся исполинской и необыкновенно живописной фигурой. В нем совмещались именно те простые, но трогательные и глубокие черты, которые даже и в его времена гораздо чаще встречались в рядовых, чем в офицерах, те чисто русские, мужицкие черты, которые в соединении дают возвышенный образ, делавший

иногда нашего солдата не только непобедимым, но и великомучеником, почти святым, – черты, состоявшие из бесхитростной, наивной веры, ясного, добродушно-веселого взгляда на жизнь, холодной и деловой отваги, покорства перед лицом смерти, жалости к побежденному, бесконечного терпения и поразительной физической и нравственной выносливости.

Аносов, начиная с польской войны, участвовал во всех кампаниях, кроме японской. Он и на эту войну пошел бы без колебаний, но его не позвали, а у него всегда было великое по скромности правило: «Не лезь на смерть, пока тебя не позовут». За всю свою службу он не только никогда не высек, но даже не ударил ни одного солдата. Во время польского мятежа он отказался однажды расстреливать пленных, несмотря на личное приказание полкового командира. «Шпиона я не только расстреляю, – сказал он, – но, если прикажете, лично убью. А это пленные, и я не могу». И сказал он это так просто, почтительно, без тени вызова или рисовки, глядя прямо в глаза начальнику своими ясными, твердыми глазами, что его, вместо того чтобы самого расстрелять, оставили в покое.

В войну 1877–1879 годов он очень быстро дослужился до чина полковника, несмотря на то, что был мало образован, или, как он сам выражался, кончил только «медвежью академию». Он участвовал при переправе через Дунай, переходил Балканы, отсиживался на Шипке, был при последней атаке Плевны; ранили его один раз тяжело, четыре – легко, и, кроме того, он получил осколком гранаты жестокую контузию в голову. Радецкий и Скобелев знали его лично и относились к нему с исключительным уважением. Именно про него и сказал как-то Скобелев: «Я знаю одного офицера, который гораздо храбрее меня, – это майор Аносов».

С войны он вернулся почти оглохший благодаря осколку гранаты, с больной ногой, на которой были ампутированы три отмороженных во время балканского перехода пальца, с жесточайшим ревматизмом, нажитым на Шипке. Его хотели было по истечении двух лет мирной службы упечь в отставку, но Аносов заупрямился. Тут ему очень кстати помог своим влиянием начальник края, живой свидетель его хладнокровного мужества при переправе через Дунай. В Петербурге решили не огорчать заслуженного полковника, и ему дали пожизненное место коменданта в г. К. – должность более почетную, чем нужную в целях государственной обороны.

В городе его все знали от мала до велика и добродушно посмеивались над его слабостями, привычками и манерой одеваться. Он всегда ходил без оружия, в старомодном сюртуке, в фуражке с большими полями и с громадным прямым козырьком, с палкою в правой руке, со слуховым рожком в левой и непременно в сопровождении двух ожиревших, ленивых, хриплых мопсов, у которых всегда кончик языка был высунут наружу и прикушен. Если ему во время обычной утренней прогулки приходилось встречаться со знакомыми, то прохожие за несколько кварталов слышали, как кричит комендант и как дружно вслед за ним лают его мопсы.

Как многие глухие, он был страстным любителем оперы, и иногда, во время какого-нибудь томного дуэта, вдруг на весь театр раздавался его решительный бас: «А ведь чисто взял до, черт возьми! Точно орех разгрыз». По театру проносился сдержанный смех, но генерал даже и не подозревал этого: по своей наивности он думал, что шепотом обменялся со своим соседом свежим впечатлением.

По обязанности коменданта он довольно часто, вместе со своими хрипящими мопсами, посещал главную гауптвахту, где весьма уютно за винтом, чаем и анекдотами отдыхали от тягот военной службы арестованные офицеры. Он внимательно расспрашивал каждого: «Как фамилия? Кем посажен? На сколько? За что?» Иногда совершенно неожиданно хвалил офицера за brave, хотя и противозаконный поступок, иногда начинал распекавать, крича так, что его бывало слышно на улице. Но, накричавшись досыта, он без всяких переходов и пауз осведомлялся, откуда офицеру носят обед и сколько он за него платит. Случалось, что какой-нибудь заблудший подпоручик, присланный для долговременной отсидки из такого захолустья, где даже не имелось собственной гауптвахты, признавался, что он, по безденежью, довольствуется

из солдатского котла. Аносов немедленно распорядился, чтобы бедняге носили обед из комендантского дома, от которого до гауптвахты было не более двухсот шагов.

В г. К. он и сблизился с семьей Тугановских и такими тесными узами привязался к детям, что для него стало душевной потребностью видеть их каждый вечер. Если случалось, что барышни выезжали куда-нибудь или служба задерживала самого генерала, то он искренно тосковал и не находил себе места в больших комнатах комендантского дома. Каждое лето он брал отпуск и проводил целый месяц в имении Тугановских, Егоровском, отстоявшем от К. на пятьдесят верст.

Он всю свою скрытую нежность души и потребность сердечной любви перенес на эту детвору, особенно на девочек. Сам он был когда-то женат, но так давно, что даже позабыл об этом. Еще до войны жена сбежала от него с проезжим актером, пленясь его бархатной курткой и кружевными манжетами. Генерал посылал ей пенсию вплоть до самой ее смерти, но в дом к себе не пустил, несмотря на сцены раскаяния и слезные письма. Детей у них не было.

V

Против ожидания, вечер был так тих и тепел, что свечи на террасе и в столовой горели неподвижными огнями. За обедом всех потешал князь Василий Львович. У него была необыкновенная и очень своеобразная способность рассказывать. Он брал в основу рассказа истинный эпизод, где главным действующим лицом являлся кто-нибудь из присутствующих или общих знакомых, но так сгущал краски и при этом говорил с таким серьезным лицом и таким деловым тоном, что слушатели надрывались от смеха. Сегодня он рассказывал о неудавшейся женитьбе Николая Николаевича на одной богатой и красивой даме. В основе было только то, что муж дамы не хотел давать ей развода. Но у князя правда чудесно переплелась с вымыслом. Серьезного, всегда несколько чопорного Николая он заставил ночью бежать по улице в одних чулках, с башмаками под мышкой. Где-то на углу молодого человека задержал городской, и только после длинного и бурного объяснения Николаю удалось доказать, что он товарищ прокурора, а не ночной грабитель. Свадьба, по словам рассказчика, чуть-чуть было не состоялась, но в самую критическую минуту отчаянная банда лжесвидетелей, участвовавших в деле, вдруг забастовала, требуя прибавки к заработной плате. Николай из скупости (он и в самом деле был скуповат), а также будучи принципиальным противником стачек и забастовок, наотрез отказался платить лишнее, ссылаясь на определенную статью закона, подтвержденную мнением кассационного департамента. Тогда рассерженные лжесвидетели на известный вопрос: «Не знает ли кто-нибудь из присутствующих поводов, препятствующих совершению брака?» – хором ответили: «Да, знаем. Все показанное нами на суде под присягой – сплошная ложь, к которой нас принудил угрозами и насилием господин прокурор. А про мужа этой дамы мы, как осведомленные лица, можем сказать только, что это самый почтенный человек на свете, целомудренный, как Иосиф, и ангельской доброты».

Напав на нить брачных историй, князь Василий не пощадил и Густава Ивановича Фриессе, мужа Анны, рассказав, что он на другой день после свадьбы явился требовать при помощи полиции выселения новобрачной из родительского дома, как не имеющую отдельного паспорта, и водворения ее на место проживания законного мужа. Верного в этом анекдоте было только то, что в первые дни замужней жизни Анна должна была безотлучно находиться около захворавшей матери, так как Вера спешно уехала к себе на юг, а бедный Густав Иванович предавался унынию и отчаянию.

Все смеялись. Улыбалась и Анна своими прищуренными глазами. Густав Иванович хохотал громко и восторженно, и его худое, гладко обтянутое блестящей кожей лицо, с прилизанными жидкими, светлыми волосами, с ввалившимися глазными орбитами, походило на череп, обнажавший в смехе прескверные зубы. Он до сих пор обожал Анну, как и в первый день

супружества, всегда старался сесть около нее, незаметно притронуться к ней и ухаживал за нею так влюбленно и самодовольно, что часто становилось за него и жалко и неловко.

Перед тем как встать из-за стола, Вера Николаевна машинально пересчитала гостей. Оказалось – тринадцать. Она была суеверна и подумала про себя: «Вот это нехорошо! Как мне раньше не пришло в голову посчитать? И Вася виноват – ничего не сказал по телефону».

Когда у Шеиных или у Фриессе собирались близкие знакомые, то после обеда обыкновенно играли в покер, так как обе сестры до смешного любили азартные игры. В обоих домах даже выработались на этот счет свои правила: всем играющим раздавались поровну костяные жетончики определенной цены, и игра длилась до тех пор, пока все костяшки не переходили в одни руки, – тогда игра на этот вечер прекращалась, как бы партнеры ни настаивали на продолжении. Брать из кассы во второй раз жетоны строго запрещалось. Такие суровые законы были выведены из практики, для обуздания княгини Веры и Анны Николаевны, которые в азарте не знали никакого удержу. Общий проигрыш редко достигал ста-двухсот рублей.

Сели за покер и на этот раз. Вера, не принимавшая участия в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали к чаю, но вдруг ее с несколько таинственным видом вызвала из гостиной горничная.

– Что такое, Даша? – с неудовольствием спросила княгиня Вера, проходя в свой маленький кабинет, рядом со спальней. – Что у вас за глупый вид? И что такое вы вертите в руках?

Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу и тщательно перевязанный розовой ленточкой.

– Я, ей-богу, не виновата, ваше сиятельство, – залепетала она, вспыхнув румянцем от обиды. – Он пришел и сказал...

– Кто такой – он?

– Красная шапка, ваше сиятельство... посыльный.

– И что же?

– Пришел на кухню и положил вот это на стол. «Передайте, говорит, вашей барыне. Но только, говорит, в ихние собственные руки». Я спрашиваю: от кого? А он говорит: «Здесь все обозначено». И с теми словами убежал.

– Подите догоните его.

– Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине обеда, я только вас не решалась беспокоить, ваше сиятельство. Полчаса времени будет.

– Ну хорошо, идите.

Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину вместе с бумагой, на которой был написан ее адрес. Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюша, видимо только что из магазина. Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, и увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную красивым восьмиугольником записку. Она быстро развернула бумажку. Почерк показался ей знакомым, но, как настоящая женщина, она сейчас же отложила записку в сторону, чтобы посмотреть на браслет.

Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посередине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов, каждый величиной с горошину. Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни.

«Точно кровь!» – подумала с неожиданной тревогой Вера.

Потом она вспомнила о письме и развернула его. Она прочитала следующие строки, написанные мелко, великолепно-каллиграфическим почерком:

«Ваше Сиятельство,
Глубокоуважаемая Княгиня
Вера Николаевна!

Почтительно поздравляя Вас с светлым и радостным днем Вашего Ангела, я осмеливаюсь препроводить Вам мое скромное верноподданническое подношение».

«Ах, это – тот!» – с неудовольствием подумала Вера. Но, однако, дочитала письмо...

«Я бы никогда не позволил себе преподнести Вам что-либо, выбранное мною лично: для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса и – признаюсь – ни денег. Впрочем, полагаю, что и на всем свете не найдется сокровища, достойного украсить Вас.

Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последняя, по времени, его носила моя покойная матушка. Посередине, между большими камнями, Вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната – зеленый гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли, мужчин же охраняет от насильственной смерти.

Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета, и Вы можете быть уверены, что до Вас никто еще этого браслета не надевал.

Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались Ваши руки.

Умоляю Вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей дерзости семь лет тому назад, когда Вам, барышне, я осмеливался писать глупые и дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь только желать ежеминутно Вам счастья и радоваться, если Вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой Вы сидите, паркету, по которому Вы ходите, деревьям, которые Вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой Вы говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам.

Еще раз прошу прощения, что обеспокоил Вас длинным, ненужным письмом.

Ваш до смерти и после смерти покорный слуга.

Г. С. Ж.»

«Показать Васе или не показать? И если показать – то когда? Сейчас или после гостей? Нет, уж лучше после – теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним».

Так раздумывала княгиня Вера и не могла отвести глаз от пяти алых кровавых огней, дрожавших внутри пяти гранатов.

VI

Полковника Понамарева едва удалось заставить сесть играть в покер. Он говорил, что не знает этой игры, что вообще не признает азарта даже в шутку, что любит и сравнительно хорошо играет только в винт. Однако он не устоял перед просьбами и в конце концов согласился.

Сначала его приходилось учить и поправлять, но он довольно быстро освоился с правилами покера, и вот не прошло и получаса, как все фишки очутились перед ним.

– Так нельзя! – сказала с комической обидчивостью Анна. – Хоть бы немного дали поволноваться.

Трое из гостей – Спешников, полковник и вице-губернатор, туповатый, приличный и скучный немец, – были такого рода люди, что Вера положительно не знала, как их занимать и что с ними делать. Она составила для них винт, пригласив четвертым Густава Ивановича. Анна

издали, в виде благодарности, прикрыла глаза веками, и сестра сразу поняла ее. Все знали, что если не усадить Густава Ивановича за карты, то он целый вечер будет ходить около жены, как пришитый, скаля свои гнилые зубы на лице черепа и портя жене настроение духа.

Теперь вечер потек ровно, без принуждения, оживленно. Васючок пел вполголоса, под аккомпанемент Женни Рейтер, итальянские народные канцонетты и рубинштейновские восточные песни. Голосок у него был маленький, но приятного тембра, послушный и верный. Женни Рейтер, очень требовательная музыкантша, всегда охотно ему аккомпанировала. Впрочем, говорили, что Васючок за нею ухаживает.

В углу на кушетке Анна отчаянно кокетничала с гусаром. Вера подошла и с улыбкой прислушалась.

– Нет, нет, вы, пожалуйста, не смейтесь, – весело говорила Анна, щурия на офицера свои милые, задорные татарские глаза. – Вы, конечно, считаете за труд лететь сломя голову впереди эскадрона и брать барьеры на скачках. Но посмотрите только на наш труд. Вот теперь мы только что покончили с лотереей-аллегри. Вы думаете, это было легко? Фи! Толпа, накурено, какие-то дворники, извозчики, я не знаю, как их там зовут... И все пристают с жалобами, с какими-то обидами... И целый, целый день на ногах. А впереди еще предстоит концерт в пользу недостаточных интеллигентных тружениц, а там еще белый бал...

– На котором, смею надеяться, вы не откажете мне в мазурке? – вставил Бахтинский и, слегка наклонившись, щелкнул под креслом шпорами.

– Благодарю... Но самое, самое мое больное место – это наш приют. Понимаете, приют для порочных детей...

– О, вполне понимаю. Это, должно быть, что-нибудь очень смешное?

– Перестаньте, как вам не совестно смеяться над такими вещами. Но вы понимаете, в чем наше несчастье? Мы хотим приютить этих несчастных детей, с душами, полными наследственных пороков и дурных примеров, хотим обогреть их, обласкать...

– Гм!..

– ...поднять их нравственность, пробудить в их душах сознание долга... Вы меня понимаете? И вот к нам ежедневно приводят детей сотнями, тысячами, но между ними – ни одного порочного! Если спросишь родителей, не порочное ли дитя, – так можете представить – они даже оскорбляются! И вот приют открыт, освящен, все готово – и ни одного воспитанника, ни одной воспитанницы! Хоть премию предлагай за каждого доставленного порочного ребенка.

– Анна Николаевна, – серьезно и вкрадчиво перебил ее гусар. – Зачем премию? Возьмите меня бесплатно. Честное слово, более порочного ребенка вы нигде не отыщете.

– Перестаньте! С вами нельзя говорить серьезно, – расхохоталась она, откидываясь на спинку кушетки и блестя глазами.

Князь Василий Львович, сидя за большим круглым столом, показывал своей сестре, Аносову и шурина домашний юмористический альбом с собственноручными рисунками. Все четверо смеялись от души, и это понемногу перетянуло сюда гостей, не занятых картами.

Альбом служил как бы дополнением, иллюстрацией к сатирическим рассказам князя Василия. Со своим непоколебимым спокойствием он показывал, например: «Историю любовных походов храброго генерала Аносова в Турции, Болгарии и других странах»; «Приключение петиметра князя Николая Булат-Тугановского в Монте-Карло» и так далее.

– Сейчас увидите, господа, краткое жизнеописание нашей возлюбленной сестры Людмилы Львовны, – говорил он, бросая быстрый смешливый взгляд на сестру. – Часть первая – детство. «Ребенок рос, его назвали Лима».

На листке альбома красовалась умышленно по-детски нарисованная фигура девочки, с лицом в профиль, но с двумя глазами, с ломаными черточками, торчащими вместо ног из-под юбки, с растопыренными пальцами разведенных рук.

– Никогда меня никто не называл Лимой, – засмеялась Людмила Львовна.

– Часть вторая. Первая любовь. Кавалерийский юнкер подносит девице Лиме на коленях стихотворение собственного изделия. Там есть поистине жемчужной красоты строки:

Твоя прекрасная нога —
Явльенье страсти неземной!

Вот и подлинное изображение ноги.

А здесь юнкер склоняет невинную Лиму к побегу из родительского дома. Здесь самое бегство. А это вот – критическое положение: разгневанный отец догоняет беглецов. Юнкер малодушно сваливает всю беду на кроткую Лиму:

Ты там все пудрилась, час лишний провороня,
И вот за нами вслед ужасная погоня...
Как хочешь с ней разделяйся ты,
А я бегу в кусты!

После истории девицы Лимы следовала новая повесть: «Княгиня Вера и влюбленный телеграфист».

– Эта трогательная поэма только лишь иллюстрирована пером и цветными карандашами, – объяснял серьезно Василий Львович. – Текст еще изготавливается.

– Это что-то новое, – заметил Аносов, – я еще этого не видал.

– Самый последний выпуск. Свежая новость книжного рынка.

Вера тихо дотронулась до его плеча.

– Лучше не нужно, – сказала она.

Но Василий Львович или не расслышал ее слов, или не придал им настоящего значения.

– Начало относится к временам доисторическим. В один прекрасный майский день одна девица, по имени Вера, получает по почте письмо с целующимися голубками на заголовке. Вот письмо, а вот и голуби.

Письмо содержит в себе пылкое признание в любви, написанное вопреки всем правилам орфографии. Начинается оно так: «Прекрасная Блондина, ты, которая... бурное море пламени, клокочущее в моей груди. Твой взгляд, как ядовитый змей, впился в мою истерзанную душу» и так далее. В конце скромная подпись: «По роду оружия я бедный телеграфист, но чувства мои достойны милорда Георга. Не смею открывать моей полной фамилии – она слишком неприлична. Подписываюсь только начальными буквами: П. П. Ж. Прошу отвечать мне в почтамт, постэ ресторанте»¹¹⁹. Здесь вы, господа, можете видеть и портрет самого телеграфиста, очень удачно исполненный цветными карандашами.

Сердце Веры пронзено (вот сердце, вот стрела). Но, как благонравная и воспитанная девица, она показывает письмо почтенным родителям, а также своему другу детства и жениху, красивому молодому человеку Васе Шеину. Вот и иллюстрация. Конечно, со временем здесь будут стихотворные объяснения к рисункам.

Вася Шеин, рыдая, возвращает Вере обручальное кольцо. «Я не смею мешать твоему счастью, – говорит он, – но, умоляю, не делай сразу решительного шага. Подумай, поразмысли, проверь и себя и его. Дитя, ты не знаешь жизни и летишь, как мотылек на блестящий огонь. А я – увьи! – я знаю хладный и лицемерный свет. Знай, что телеграфисты увлекательны, но коварны. Для них доставляет неизъяснимое наслаждение обмануть своей гордой красотой и фальшивыми чувствами неопытную жертву и жестоко насмеяться над ней».

¹¹⁹ До востребования (искаж. франц. *poste restante*).

Проходит полгода. В вихре жизненного вальса Вера позабывает своего поклонника и выходит замуж за красивого молодого Васю, но телеграфист не забывает ее. Вот он переодевается трубочистом и, вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини Веры. Следы пяти пальцев и двух губ остались, как видите, повсюду: на коврах, на подушках, на обоях и даже на паркете.

Вот он в одежде деревенской бабы поступает на нашу кухню простой судомойкой. Однако излишняя благосклонность повара Луки заставляет его обратиться в бегство.

Вот он в сумасшедшем доме. А вот постригся в монахи. Но каждый день неуклонно посылает он Вере страстные письма. И там, где падают на бумагу его слезы, там чернила расплываются кляксами.

Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов, наполненный его слезами...

– Господа, кто хочет чаю? – спросила Вера Николаевна.

VII

Долгий осенний закат догорел. Погасла последняя багровая, узенькая, как щель, полоска, рдевшая на самом краю горизонта, между сизой тучей и землей. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи, да голубой луч от маяка подымался прямо вверх тонким столбом и точно расплескивался там о небесный купол жидким, туманным, светлым кругом. Ночные бабочки бились о стеклянные колпаки свечей. Звездчатые цветы белого табака в палисаднике запахи острее из темноты и прохлады.

Спешников, вице-губернатор и полковник Понамарев давно уже уехали, обещав прислать лошадей обратно со станции трамвая за комендантом. Оставшиеся гости сидели на террасе. Генерала Аносова, несмотря на его протесты, сестры заставили надеть пальто и укутали его ноги теплым пледом. Перед ним стояла бутылка его любимого красного вина Pommard, рядом с ним по обеим сторонам сидели Вера и Анна. Они заботливо ухаживали за генералом, наполняли тяжелым, густым вином его тонкий стакан, придвигали ему спички, нарезали сыр и так далее. Старый комендант жмурился от блаженства.

– Да-с... Осень, осень, осень, – говорил старик, глядя на огонь свечи и задумчиво покачивая головой. – Осень. Вот и мне уж пора собираться. Ах жаль-то как! Только что настали красные денечки. Тут бы жить да жить на берегу моря, в тишине, спокойненько...

– И пожил бы у нас, дедушка, – сказала Вера.

– Нельзя, милая, нельзя. Служба... Отпуск кончился... А что говорить, хорошо бы было! Ты посмотри только, как розы-то пахнут... Отсюда слышу. А летом в жары ни один цветок не пахнул, только белая акация... да и та конфетами.

Вера вынула из вазочки две маленькие розы, розовую и карминную, и вдела их в петлицу генеральского пальто.

– Спасибо, Верочка. – Аносов нагнул голову к борту шинели, понюхал цветы и вдруг улыбнулся славной старческой улыбкой.

– Пришли мы, помню я, в Букарест и разместились по квартирам. Вот как-то иду я по улице. Вдруг повеял на меня сильный розовый запах, я остановился и увидел, что между двух солдат стоит прекрасный хрустальный флакон с розовым маслом. Они смазали уже им сапоги и также ружейные замки. «Что это у вас такое?» – спрашиваю. «Какое-то масло, ваше высокоблагородие, клали его в кашу, да не годится, так и дерет рот, а пахнет оно хорошо». Я дал им целковый, и они с удовольствием отдали мне его. Масла уже оставалось не более половины, но, судя по его дороговизне, было еще по крайней мере на двадцать червонцев. Солдаты, будучи довольны, добавили: «Да вот еще, ваше высокоблагородие, какой-то турецкий горох, сколько

его ни варили, а все не подается, проклятый». Это был кофе; я сказал им: «Это только годится туркам, а солдатам нейдет». К счастью, опиуму они не наелись. Я видел в некоторых местах его лепешки, затоптанные в грязи.

– Дедушка, скажите откровенно, – попросила Анна, – скажите, испытывали вы страх во время сражений? Боялись?

– Как это странно, Анночка: боялся – не боялся. Понятное дело – боялся. Ты не верь, пожалуйста, тому, кто тебе скажет, что не боялся и что свист пуль для него самая сладкая музыка. Это или псих, или хвостун. Все одинаково боятся. Только один весь от страха раскидает, а другой себя держит в руках. И видишь: страх-то остается всегда один и тот же, а умение держать себя от практики все возрастает: отсюда и герои и храбрецы. Так-то. Но испугался я один раз чуть не до смерти.

– Расскажите, дедушка, – попросили в один голос сестры.

Они до сих пор слушали рассказы Аносова с тем же восторгом, как и в их раннем детстве. Анна даже невольно совсем по-детски расставила локти на столе и уложила подбородок на составленные пятки ладоней. Была какая-то уютная прелесть в его неторопливом и наивном повествовании. И самые обороты фраз, которыми он передавал свои военные воспоминания, принимали у него невольно странный, неуклюжий, несколько книжный характер. Точно он рассказывал по какому-то милому древнему стереотипу.

– Рассказ очень короткий, – отозвался Аносов. – Это было на Шипке, зимой, уже после того как меня контузили в голову. Жили мы в землянке, вчетвером. Вот тут-то со мною и случилось страшное приключение. Однажды поутру, когда я встал с постели, представилось мне, что я не Яков, а Николай, и никак я не мог себя переуверить в том. Приметив, что у меня делается помрачение ума, закричал, чтобы подали мне воды, помочил голову, и рассудок мой воротился.

– Воображаю, Яков Михайлович, сколько вы там побед одержали над женщинами, – сказала пианистка Женни Рейтер. – Вы, должно быть, смолоду очень красивы были.

– О, наш дедушка и теперь красавец! – воскликнула Анна.

– Красавцем не был, – спокойно улыбаясь, сказал Аносов. – Но и мной тоже не брезговали. Вот в этом же Букаресте был очень трогательный случай. Когда мы в него вступили, то жители встретили нас на городской площади с пушечною пальбою, от чего пострадало много окошек; но те, на которых поставлена была в стаканах вода, – остались невредимы. А почему я это узнал? А вот почему. Пришедши на отведенную мне квартиру, я увидел на окошке стоящую низенькую клеточку, на клеточке была большого размера хрустальная бутылка с прозрачною водой, в ней плавали золотые рыбки, и между ними сидела на примосточке канарейка. Канарейка в воде! – это меня удивило, но, осмотрев, увидел, что в бутылке дно широко и вдавлено глубоко в середину, так что канарейка свободно могла влетать туда и сидеть. После сего сознался сам себе, что я очень недогадлив.

Вошел я в дом и вижу прехорошенькую болгарочку. Я предъявил ей квитанцию на постой и кстати уж спросил, почему у них целы стекла после канонады, и она мне объяснила, что это от воды. А также объяснила и про канарейку: до чего я был несообразителен!.. И вот среди разговора взгляды наши встретились, между нами пробежала искра, подобная электрической, и я почувствовал, что влюбился сразу – пламенно и бесповоротно.

Старик замолчал и осторожно потянул губами черное вино.

– Но ведь вы все-таки объяснились с ней потом? – спросила пианистка.

– Гм... конечно, объяснились... Но только без слов. Это произошло так...

– Дедушка, надеюсь, вы не заставите нас краснеть? – заметила Анна, лукаво смеясь.

– Нет, нет, – роман был самый приличный. Видите ли, всюду, где мы останавливались на постой, городские жители имели свои исключения и прибавления, но в Букаресте так коротко

обходились с нами жители, что когда однажды я стал играть на скрипке, то девушки тотчас нарядились и пришли танцевать, и такое обыкновение повелось на каждый день.

Однажды, во время танцев, вечером, при освещении месяца, я вошел в сенцы, куда скрылась и моя болгарочка. Увидев меня, она стала притворяться, что перебирает сухие лепестки роз, которые, надо сказать, тамошние жители собирают целыми мешками. Но я обнял ее, прижал к своему сердцу и несколько раз поцеловал.

С тех пор, каждый раз, когда являлась луна на небе со звездами, спешил я к возлюбленной моей и все денные заботы на время забывал с нею. Когда же последовал наш поход из тех мест, мы дали друг другу клятву в вечной взаимной любви и простились навсегда.

– И все? – спросила разочарованно Людмила Львовна.

– А чего же вам больше? – возразил комендант.

– Нет, Яков Михайлович, вы меня извините – это не любовь, а просто бивуачное приключение армейского офицера.

– Не знаю, милая моя, ей-богу, не знаю – любовь это была или иное чувство...

– Да нет... скажите... неужели в самом деле вы никогда не любили настоящей любовью? Знаете, такой любовью, которая... ну, которая... словом... святой, чистой, вечной любовью... неземной... Неужели не любили?

– Право, не сумею вам ответить, – замялся старик, поднимаясь с кресла. – Должно быть, не любил. Сначала все было некогда: молодость, кутежи, карты, война... Казалось, конца не будет жизни, юности и здоровью. А потом оглянулся – и вижу, что я уже развалина... Ну, а теперь, Верочка, не держи меня больше. Я распрощаюсь... Гусар, – обратился он к Бахтинскому, – ночь теплая, пойдемте-ка навстречу нашему экипажу.

– И я пойду с вами, дедушка, – сказала Вера.

– И я, – подхватила Анна.

Перед тем как уходить, Вера подошла к мужу и сказала ему тихо:

– Поди посмотри... там у меня в столе, в ящичке, лежит красный футляр, а в нем письмо.

Прочитай его.

VIII

Анна с Бахтинским шли впереди, а сзади их, шагов на двадцать, комендант под руку с Верой. Ночь была так черна, что в первые минуты, пока глаза не притерпелись после света к темноте, приходилось ощупью ногами отыскивать дорогу. Аносов, сохранивший, несмотря на годы, удивительную зоркость, должен был помогать своей спутнице. Время от времени он ласково поглаживал своей большой холодной рукой руку Веры, легко лежавшую на сгибе его рукава.

– Смешная эта Людмила Львовна, – вдруг заговорил генерал, точно продолжая вслух течение своих мыслей. – Сколько раз я в жизни наблюдал: как только стукнет даме под пятьдесят, а в особенности если она вдова или старая девка, то так и тянет ее около чужой любви покрутиться... Либо шпионит, злорадствует и сплетничает, либо лезет устраивать чужое счастье, либо разводит словесный гуммиарабик насчет возвышенной любви. А я хочу сказать, что люди в наше время разучились любить. Не вижу настоящей любви. Да и в мое время не видел!

– Ну как же это так, дедушка? – мягко возразила Вера, пожимая слегка его руку. – Зачем клеветать? Вы ведь сами были женаты. Значит, все-таки любили?

– Ровно ничего не значит, дорогая Верочка. Знаешь, как женился? Вижу, сидит около меня свежая девчонка. Дышит – грудь так и ходит под кофточкой. Опустит ресницы, длинные-длинные такие, и вся вдруг вспыхнет. И кожа на щеках нежная, шейка белая такая, невинная, и руки мякотькие, тепленькие. Ах ты, черт! А тут папа-мама ходят вокруг, за дверями подслушивают, глядят на тебя грустными такими, собачьими, преданными глазами. А когда

уходишь – за дверями этикие быстрые поцелуйчики... За чаем ножка тебя под столом как будто нечаянно тронет... Ну и готово. «Дорогой Никита Антоныч, я пришел к вам просить руки вашей дочери. Поверьте, что это святое существо...» А у папы уже и глаза мокрые, и уж целоваться лезет... «Милый! Я давно догадывался... Ну дай вам Бог... Смотри только береги это сокровище...» И вот через три месяца святое сокровище ходит в затрепанном капоте, туфли на босу ногу, волосенки жиденькие, нечесанные, в папильотках, с денщиками собачится, как кухарка, с молодыми офицерами ломается, сюсюкает, взвизгивает, закатывает глаза. Мужа почему-то на людях называет Жаком. Знаешь, этак в нос, с растяжкой, томно: «Ж-а-а-ак». Мотовка, актриса, неряха, жадная. И глаза всегда лживые-лживые... Теперь все прошло, улеглось, утряслось. Я даже этому актеришке в душе благодарен... Слава Богу, что детей не было...

– Вы простили им, дедушка?

– Простил – это не то слово, Верочка. Первое время был как бешеный. Если бы тогда увидел их, конечно, убил бы обоих. А потом понемногу отошло и отошло, и ничего не осталось, кроме презрения. И хорошо. Избавил Бог от лишнего пролития крови. И кроме того, избежал я общей участи большинства мужей. Что бы я был такое, если бы не этот мерзкий случай? Выучный верблюд, позорный потатчик, укрыватель, дойная корова, ширма, какая-то домашняя необходимая вещь... Нет! Все к лучшему, Верочка.

– Нет, нет, дедушка, в вас все-таки, простите меня, говорит прежняя обида... А вы свой несчастный опыт переносите на все человечество. Возьмите хоть нас с Васей. Разве можно назвать наш брак несчастливый?

Аносов довольно долго молчал. Потом протянул неохотно:

– Ну, хорошо... скажем – исключение... Но вот в большинстве-то случаев почему люди женятся? Возьмем женщину. Стыдно оставаться в девушках, особенно когда подруги уже повыходили замуж. Тяжело быть лишним ртом в семье. Желание быть хозяйкой, главною в доме, дамой, самостоятельной... К тому же потребность, прямо физическая потребность материнства, и чтобы начать вить свое гнездо. А у мужчин другие мотивы. Во-первых, усталость от холостой жизни, от беспорядка в комнатах, от трактирных обедов, от грязи, окурков, разорванного и разрозненного белья, от долгов, от бесцеремонных товарищей и прочее и прочее. Во-вторых, чувствуешь, что семьей жить выгоднее, здоровее и экономнее. В-третьих, думаешь: вот пойдут детишки, – я-то умру, а часть меня все-таки останется на свете... нечто вроде иллюзии бессмертия. В-четвертых, соблазн невинности, как в моем случае. Кроме того, бывают иногда и мысли о приданом. А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано – «сильна, как смерть»? Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение – вовсе не труд, а одна радость. Постой, постой, Вера, ты мне сейчас опять хочешь про твоего Васю? Право же, я его люблю. Он хороший парень. Почем знать, может быть, будущее и покажет его любовь в свете большой красоты. Но ты пойми, о какой любви я говорю. Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться.

– Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка? – тихо спросила Вера.

– Нет, – ответил старик решительно. – Я, правда, знаю два случая похожих. Но один был продиктован глупостью, а другой... так... какая-то кислота... одна жалость... Если хочешь, я расскажу. Это недолго.

– Прошу вас, дедушка.

– Ну, вот. В одном полку нашей дивизии (только не в нашем) была жена полкового командира. Рожа, я тебе скажу, Верочка, преестественная. Костлявая, рыжая, длинная, худущая, ротастая... Штукатурка с нее так и сыпалась, как со старого московского дома. Но, понимаешь, этакая полковая Мессалина: темперамент, властность, презрение к людям, страсть к разнообразию. Вдобавок – морфинистка.

И вот однажды, осенью, присылают к ним в полк новоиспеченного прапорщика, совсем желторотого воробья, только что из военного училища. Через месяц эта старая лошадь совсем овладела им. Он паж, он слуга, он раб, он вечный кавалер ее в танцах, носит ее веер и платок, в одном мундирчике выскакивает на мороз звать ее лошадей. Ужасная это штука, когда свежий и чистый мальчишка положит свою первую любовь к ногам старой, опытной и властолюбивой развратницы. Если он сейчас выскочил невредим – все равно в будущем считай его погибшим. Это – штамп на всю жизнь.

К Рождеству он ей уже надоел. Она вернулась к одной из своих прежних, испытанных пассий. А он не мог. Ходит за ней, как привидение. Измучился весь, исхудал, почернел. Говоря высоким штилем – «смерть уже лежала на его высоком челе». Ревновал он ее ужасно. Говорят, целые ночи простаивал под ее окнами.

И вот однажды весной устроили они в полку какую-то маевку или пикник. Я и ее и его знал лично, но при этом происшествии не был. Как и всегда в этих случаях, было много выпито. Обрато возвращались ночью пешком по полотну железной дороги. Вдруг навстречу им идет товарный поезд. Идет очень медленно вверх, по довольно крутому подъему. Дает свистки. И вот, только что паровозные огни поравнялись с компанией, она вдруг шепчет на ухо прапорщику: «Вы всё говорите, что любите меня. А ведь, если я вам прикажу – вы, наверно, под поезд не броситесь». А он, ни слова не ответив, бегом – и под поезд. Он-то, говорят, верно рассчитал, как раз между передними и задними колесами: так бы его аккуратно пополам и перерезало. Но какой-то идиот вздумал его удерживать и отталкивать. Да не осилил. Прапорщик, как уцепился руками за рельсы, так ему обе кисти и оттяпало.

– Ох, какой ужас! – воскликнула Вера.

– Пришлось прапорщику оставить службу. Товарищи собрали ему кое-какие деньжонки на выезд. Оставаться-то в городе ему было неудобно: живой укор перед глазами и ей и всему полку. И пропал человек... самым подлым образом... Стал попрошайкой... замерз где-то на пристани в Петербурге.

А другой случай был совсем жалкий. И такая же женщина была, как и первая, только молодая и красивая. Очень и очень нехорошо себя вела. На что уж мы легко глядели на эти домашние романы, но даже и нас коробило. А муж – ничего. Все знал, все видел и молчал. Друзья намекали ему, а он только руками отмахивался. «Оставьте, оставьте... Не мое дело, не мое дело... Пусть только Леночка будет счастлива!..» Такой олух!

Под конец сошлась она накрепко с поручиком Вишняковым, субалтерном из ихней роты. Так втроем и жили в двумужественном браке – точно это самый законный вид супружества. А тут наш полк двинули на войну. Наши дамы провожали нас, провожала и она, и, право, даже смотреть было совестно: хотя бы для приличия взглянула разок на мужа, – нет, повесилась на своем поручике, как черт на сухой вербе, и не отходит. На прощанье, когда мы уже уселись в вагоны и поезд тронулся, так она еще мужу вслед, бесстыдница, крикнула: «Помни же, береги Володю! Если что-нибудь с ним случится – уйду из дому и никогда не вернусь. И детей заберу».

Ты, может быть, думаешь, что этот капитан был какая-нибудь тряпка? размазня? стрелецкая душа? Ничуть. Он был храбрым солдатом. Под Зелеными горами он шесть раз водил свою роту на турецкий редут, и у него от двухсот человек осталось только четырнадцать. Дважды раненный – он отказался идти на перевязочный пункт. Вот он был какой. Солдаты на него Богу молились.

Но *она* велела... Его Леночка ему велела!

И он ухаживал за этим трусом и лодырем Вишняковым, за этим трутнем безмедовым, – как нянька, как мать. На ночлегах под дождем, в грязи, он укутывал его своей шинелью. Ходил вместо него на саперные работы, а тот отлеживался в землянке или играл в штосс. По ночам проверял за него сторожевые посты. А это, заметь, Веруня, было в то время, когда башибузуки вырезывали наши пикеты так же просто, как ярославская баба на огороде срезает капустные

кочни. Ей-богу, хотя и грех вспоминать, но все обрадовались, когда узнали, что Вишняков скончался в госпитале от тифа...

– Ну, а женщин, дедушка, женщин вы встречали любящих?

– О, конечно, Верочка. Я даже больше скажу: я уверен, что почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм. Пойми, она целует, обнимает, отдается – и она *уже* мать. Для нее, если она любит, любовь заключает весь смысл жизни – всю вселенную! Но вовсе не она виновата в том, что любовь у людей приняла такие пошлые формы и снизошла просто до какого-то житейского удобства, до маленького развлечения. Виноваты мужчины, в двадцать лет пресыщенные, с цыплячьими телами и заячьими душами, неспособные к сильным желаниям, к героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью. Говорят, что раньше все это бывало. А если и не бывало, то разве не мечтали и не тосковали об этом лучшие умы и души человечества – поэты, романисты, музыканты, художники? Я на днях читал историю Машеньки Леско и кавалера де Грие... Веришь ли, слезами обливался... Ну скажи же, моя милая, по совести, разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви – единой, всепрощающей, на все готовой, скромной и самоотверженной?

– О, конечно, конечно, дедушка...

– А раз ее нет, женщины мстят. Пройдет еще лет тридцать... я не увижу, но ты, может быть, увидишь, Верочка. Помяни мое слово, что лет через тридцать женщины займут в мире неслыханную власть. Они будут одеваться, как индийские идолы. Они будут попирать нас, мужчин, как презренных, низкопоклонных рабов. Их сумасбродные прихоти и капризы станут для нас мучительными законами. И все оттого, что мы целыми поколениями не умели преклоняться и благоговеть перед любовью. Это будет месть. Знаешь закон: сила действия равна силе противодействия.

Немного помолчав, он вдруг спросил:

– Скажи мне, Верочка, если только тебе не трудно, что это за история с телеграфистом, о котором рассказывал сегодня князь Василий? Что здесь правда и что выдумка, по его обычаю?

– Разве вам интересно, дедушка?

– Как хочешь, как хочешь, Вера. Если тебе почему-либо неприятно...

– Да вовсе нет. Я с удовольствием расскажу.

И она рассказала коменданту со всеми подробностями о каком-то безумце, который начал преследовать ее своею любовью еще за два года до ее замужества.

Она ни разу не видела его и не знает его фамилии. Он только писал ей и в письмах подписывался *Г. С. Ж.* Однажды он обмолвился, что служит в каком-то казенном учреждении маленьким чиновником, – о телеграфе он не упоминал ни слова. Очевидно, он постоянно следил за ней, потому что в своих письмах весьма точно указывал, где она бывала на вечерах, в каком обществе и как была одета. Сначала письма его носили вульгарный и курьезно пылкий характер, хотя и были вполне целомудренны. Но однажды Вера письменно (кстати, не проболтайте, дедушка, об этом нашим: никто из них не знает) попросила его не утруждать ее больше своими любовными излияниями. С тех пор он замолчал о любви и стал писать лишь изредка: на Пасху, на Новый год и в день ее именин. Княгиня Вера рассказала также и о сегодняшней посылке и даже почти дословно передала странное письмо своего таинственного обожателя...

– Да-а, – протянул генерал наконец. – Может быть, это просто ненормальный малый, маниак, а – почем знать? – может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины. Постой-ка. Видишь, впереди движутся фонари? Наверно, мой экипаж.

В то же время сзади послышалось зычное рывканье автомобиля, и дорога, изрытая колесами, засияла белым ацетиленовым светом. Подъехал Густав Иванович.

– Анночка, я захватил твои вещи. Садись, – сказал он. – Ваше превосходительство, не позволите ли довести вас?

– Нет уж, спасибо, мой милый, – ответил генерал. – Не люблю я этой машины. Только дрожит и воняет, а радости никакой. Ну, прощай, Верочка. Теперь я буду часто приезжать, – говорил он, целуя у Веры лоб и руки.

Все распрощались. Фриессе довез Веру Николаевну до ворот ее дачи и, быстро описав круг, исчез в темноте со своим ревушим и пыхтящим автомобилем.

IX

Княгиня Вера с неприятным чувством поднялась на террасу и вошла в дом. Она еще издали услышала громкий голос брата Николая и увидела его высокую, сухую фигуру, быстро сновавшую из угла в угол. Василий Львович сидел у ломберного стола и, низко наклонив свою стриженую большую светловолосую голову, чертил мелком по зеленому сукну.

– Я давно настаивал! – говорил Николай раздраженно и делая правой рукой такой жест, точно он бросал на землю какую-то невидимую тяжесть. – Я давно настаивал, чтобы прекратить эти дурацкие письма. Еще Вера за тебя замуж не выходила, когда я уверял, что ты и Вера тешитесь ими, как ребяташки, видя в них только смешное... Вот, кстати, и сама Вера... Мы, Верочка, говорим сейчас с Василием Львовичем об этом твоём сумасшедшем, о твоём Пе Пе Же. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой.

– Переписки вовсе не было, – холодно остановил его Шеин. – Писал лишь он один...

Вера покраснела при этих словах и села на диван в тень большой латании.

– Я извиняюсь за выражение, – сказал Николай Николаевич и бросил на землю, точно оторвав от груди, невидимый тяжелый предмет.

– А я не понимаю, почему ты называешь его моим, – вставила Вера, обрадованная поддержкой мужа. – Он так же мой, как и твой...

– Хорошо, еще раз извиняюсь. Словом, я хочу только сказать, что его глупостям надо положить конец. Дело, по-моему, переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать забавные рисуночки... Поверьте, если я здесь о чем хлопочу и о чем волнуюсь, – так это только о добром имени Веры и твоём, Василий Львович.

– Ну, это ты, кажется, уж слишком хватил, Коля, – возразил Шеин.

– Может быть, может быть... Но вы легко рискуете попасть в смешное положение.

– Не вижу, каким способом, – сказал князь.

– Вообрази себе, что этот идиотский браслет... – Николай приподнял красный футляр со стола и тотчас же брезгливо бросил его на место, – что эта чудовищная поповская штучка останется у нас, или мы ее выбросим, или подарим Даше. Тогда, во-первых, Пе Пе Же может хвастаться своим знакомым или товарищам, что княгиня Вера Николаевна Шеина принимает его подарки, а во-вторых, первый же случай поощрит его к дальнейшим подвигам. Завтра он присылает кольцо с бриллиантами, послезавтра жемчужное кольцо, а там – глядишь – сядет на скамью подсудимых за растрату или подлог, а князя Шеины будут вызваны в качестве свидетелей... Милое положение!

– Нет, нет, браслет надо непременно отослать обратно! – воскликнул Василий Львович.

– Я тоже так думаю, – согласилась Вера, – и как можно скорее. Но как это сделать? Ведь мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни адреса.

– О, это-то совсем пустое дело! – возразил пренебрежительно Николай Николаевич. – Нам известны инициалы этого Пе Пе Же... Как его, Вера?

– Ге Эс Же.

– Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-то служит. Этого совершенно достаточно. Завтра же я беру городской указатель и отыскиваю чиновника или служащего с такими инициалами. Если почему-нибудь я его не найду, то просто-напросто позову полицейского сыскающего агента и прикажу отыскать. На случай затруднения у меня будет в руках вот

эта бумажка с его почерком. Одним словом, завтра к двум часам дня я буду знать в точности адрес и фамилию этого молодчика и даже часы, в которые он бывает дома. А раз я это узнаю, то мы не только завтра же возвратим ему его сокровище, а и примем меры, чтобы он уж больше никогда не напоминал нам о своем существовании.

– Что ты думаешь сделать? – спросил князь Василий.

– Что? Поеду к губернатору и попрошу...

– Нет, только не к губернатору. Ты знаешь, каковы наши отношения... Тут прямая опасность попасть в смешное положение.

– Все равно. Поеду к жандармскому полковнику. Он мне приятель по клубу. Пусть-ка он вызовет этого Ромео и погрозит у него пальцем под носом. Знаешь, как он это делает? Приставит человеку палец к самому носу и рукой совсем не двигает, а только лишь один палец у него качается, и кричит: «Я, сударь, этого не потерплю-ю-ю!»

– Фи! Через жандармов! – поморщилась Вера.

– И правда, Вера, – подхватил князь. – Лучше уж в это дело никого посторонних не мешать. Пойдут слухи, сплетни... Мы все достаточно хорошо знаем наш город. Все живут точно в стеклянных банках... Лучше уж я сам пойду к этому... юноше... хотя Бог его знает, может быть, ему шестьдесят лет?.. Вручу ему браслет и прочитаю хорошую, строгую нотацию.

– Тогда и я с тобой, – быстро прервал его Николай Николаевич. – Ты слишком мягок. Предоставь мне с ним поговорить... А теперь, друзья мои, – он вынул карманные часы и поглядел на них, – вы извините меня, если я пойду на минутку к себе. Едва на ногах держусь, а мне надо просмотреть два дела.

– Мне почему-то стало жалко этого несчастного, – нерешительно сказала Вера.

– Жалеть его нечего! – резко отозвался Николай, оборачиваясь в дверях. – Если бы такую выходку с браслетом и письмом позволил себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, то сделал бы я. А в прежнее время я бы просто велел отвести его на конюшню и наказать розгами. Завтра, Василий Львович, ты подожди меня в своей канцелярии, я сообщу тебе по телефону.

Х

Заплеванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой. Перед шестым этажом князь Василий Львович остановился.

– Подожди немножко, – сказал он шурину. – Дай я отдышусь. Ах, Коля, не следовало бы этого делать...

Они поднялись еще на два марша. На лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был два раза зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры.

На его звонок отворила дверь полная седая сероглазая женщина в очках, с немного согнутым вперед, видимо от какой-то болезни, туловищем.

– Господин Желтков дома? – спросил Николай Николаевич.

Женщина тревожно забегала глазами от глаз одного мужчины к глазам другого и обратно. Приличная внешность обоих, должно быть, успокоила ее.

– Дома, прошу, – сказала она, открывая дверь. – Первая дверь налево.

Булат-Тугановский постучал три раза коротко и решительно. Какой-то шорох послышался внутри. Он еще раз постучал.

– Войдите, – отозвался слабый голос.

Комната была очень низка, но очень широка и длинна, почти квадратной формы. Два круглых окна, совсем похожих на пароходные иллюминаторы, еле-еле ее освещали. Да и вся она была похожа на кают-компанию грузового парохода. Вдоль одной стены стояла узенькая

кровать, вдоль другой очень большой и широкий диван, покрытый истрепанным прекрасным текинским ковром, посередине – стол, накрытый цветной малороссийской скатертью.

Лица хозяина сначала не было видно: он стоял спиной к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными пушистыми, мягкими волосами.

– Если не ошибаюсь, господин Желтков? – спросил высокомерно Николай Николаевич.

– Желтков. Очень приятно. Позвольте представиться.

Он сделал по направлению к Тугановскому два шага с протянутой рукой. Но в тот же момент, точно не замечая его приветствия, Николай Николаевич обернулся всем телом к Шеину.

– Я тебе говорил, что мы не ошиблись.

Худые, нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы. Наконец он с трудом произнес, указывая на диван и неловко кланяясь.

– Прошу покорно. Садитесь.

Теперь он стал весь виден: очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине; лет ему, должно быть, было около тридцати, тридцати пяти.

– Благодарю вас, – сказал просто князь Шеин, разглядывавший его очень внимательно.

– Мерсі, – коротко ответил Николай Николаевич. И оба остались стоять. – Мы к вам всего только на несколько минут. Это – князь Василий Львович Шеин, губернский предводитель дворянства. Моя фамилия – Мирза-Булат-Тугановский. Я – товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя и меня, или, вернее, супруги князя, а моей сестры.

Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван и пролепетал омертвевшими губами: «Прошу, господа, садиться». Но, должно быть, вспомнил, что уже безуспешно предлагал то же самое раньше, вскочил, подбежал к окну, теребя волосы, и вернулся обратно на прежнее место. И опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, щипля светлые рыжеватые усы, трогая без нужды лицо.

– Я к вашим услугам, ваше сиятельство, – произнес он глухо, глядя на Василия Львовича умоляющими глазами.

Но Шеин промолчал. Заговорил Николай Николаевич:

– Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь, – сказал он и, достав из кармана красный футляр, аккуратно положил его на стол. – Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись.

– Простите... Я сам знаю, что очень виноват, – прошептал Желтков, глядя вниз, на пол, и краснея. – Может быть, позвольте стаканчик чаю?

– Видите ли, господин Желтков, – продолжал Николай Николаевич, как будто не услышав последних слов Желткова. – Я очень рад, что нашел в вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова. И я думаю, что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около семи-восьми лет?

– Да, – ответил Желтков тихо и опустил ресницы благоговейно.

– И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер, хотя – согласитесь – это не только можно было бы, а даже и *нужно* было сделать. Не правда ли?

– Да.

– Да. Но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили те границы, где кончается наше терпение. Понимаете? – кончается. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было обратиться к помощи власти, но мы не сделали этого, и я очень рад, что не сделали, потому что повторяю – я сразу угадал в вас благородного человека.

– Простите. Как вы сказали? – спросил вдруг внимательно Желтков и рассмеялся. – Вы хотели обратиться к власти?.. Именно так вы сказали?

Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил.

– Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти?.. Вы меня извините, князь, что я сижу? – обратился он к Шеину. – Ну-с, дальше?

Князь придвинул стул к столу и сел. Он, не отрываясь, глядел с недоумением и жадным, серьезным любопытством в лицо этого странного человека.

– Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет, – с легкой наглостью продолжал Николай Николаевич. – Врываться в чужое семейство...

– Виноват, я вас перебыю...

– Нет, виноват, теперь уж я вас перебыю... – почти закричал прокурор.

– Как вам угодно. Говорите. Я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Василия Львовича.

И, не обращая больше внимания на Тугановского, он сказал:

– Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни. И я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей... Вы меня выслушаете?

– Слушаю, – сказал Шеин. – Ах, Коля, да помолчи ты, – сказал он нетерпеливо, заметив гневный жест Тугановского. – Говорите.

Желтков в продолжение нескольких секунд ловил ртом воздух, точно задыхаясь, и вдруг покатился, как с обрыва. Говорил он одними челюстями, губы у него были белые и не двигались, как у мертвого.

– Трудно выговорить такую... фразу... что я люблю вашу жену. Но семь лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета была еще большей глупостью. Но... вот я вам прямо гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда... Скажите, князь... предположим, что вам это неприятно... скажите, – что бы вы сделали для того, чтоб оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич? Все равно и там так же я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключение меня в тюрьму? Но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно – смерть... Вы хотите, я приму ее в какой угодно форме.

– Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию, – сказал Николай Николаевич, надевая шляпу. – Вопрос очень короток: вам предлагают одно из двух: либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволят наше положение, знакомство и так далее.

Но Желтков даже не поглядел на него, хотя и слышал его слова. Он обратился к князю Василию Львовичу и спросил:

– Вы позволите мне отлучиться на десять минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверю вас, что все, что возможно будет вам передать, я передам.

– Идите, – сказал Шеин.

Когда Василий Львович и Тугановский остались вдвоем, то Николай Николаевич сразу набросился на своего шурина.

– Так нельзя, – кричал он, делая вид, что бросает правой рукой на землю от груди какой-то невидимый предмет. – Так положительно нельзя. Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя. А ты раскис и позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах.

– Подожди, – сказал князь Василий Львович, – сейчас все это объяснится. Главное, это то, что я вижу его лицо, и я чувствую, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо. И, правда, подумай, Коля, разве он виноват в любви и разве можно управлять таким чувством, как любовь, – чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя. – Подумав, князь сказал: – Мне жалко этого человека. И мне не только что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души, и я не могу здесь паясничать.

– Это декадентство, – сказал Николай Николаевич.

Через десять минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом. И опять с большой, нервной чуткостью это понял князь Шеин.

– Я готов, – сказал он, – и завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто бы умер для вас. Но одно условие – это я вам говорю, князь Василий Львович, – видите ли, я растратил казенные деньги, и мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать еще последнее письмо княгине Вере Николаевне?

– Нет. Если кончил, так кончил. Никаких писем, – закричал Николай Николаевич.

– Хорошо, пишите, – сказал Шеин.

– Вот и все, – произнес, надменно улыбаясь, Желтков. – Вы обо мне более не услышите и, конечно, больше никогда меня не увидите. Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела со мной говорить. Когда я ее спросил, можно ли мне остаться в городе, чтобы хотя изредка ее видеть, конечно, не показываясь ей на глаза, она ответила: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите ее как можно скорее». И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал все, что мог?

Вечером, приехав на дачу, Василий Львович передал жене очень точно все подробности свидания с Желтковым. Он как будто бы чувствовал себя обязанным сделать это.

Вера хотя была встревожена, но не удивилась и не пришла в замешательство. Ночью, когда муж пришел к ней в постель, она вдруг сказала ему, повернувшись к стене:

– Оставь меня, – я знаю, что этот человек убьет себя.

XI

Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет, потому что, во-первых, они ей пачкали руки, а во-вторых, она никогда не могла разобраться в том языке, которым нынче пишут.

Но судьба заставила ее развернуть как раз тот лист и натолкнуться на тот столбец, где было напечатано:

«Загадочная смерть. Вчера вечером, около семи часов, покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты Г. С. Желтков. Судя по данным следствия, смерть покойного произошла по причине растраты казенных денег. Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своем письме. Ввиду того что показаниями свидетелей установлена в этом акте его личная воля, решено не отправлять труп в анатомический театр».

Вера думала про себя:

«Почему я это предчувствовала? Именно этот трагический исход? И что это было: любовь или сумасшествие?»

Целый день она ходила по цветнику и по фруктовому саду. Беспокойство, которое росло в ней с минуты на минуту, как будто не давало ей сидеть на месте. И все ее мысли были прикованы к тому неведомому человеку, которого она никогда не видела и вряд ли когда-нибудь увидит, к этому смешному Пе Пе Же.

«Почем знать, может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь», – вспомнились ей слова Аносова.

В шесть часов пришел почтальон. На этот раз Вера Николаевна узнала почерк Желткова и с нежностью, которой она в себе не ожидала, развернула письмо.

Желтков писал так:

«Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к Вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей – для меня вся жизнь заключается только в Вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в Вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь, и ничто Вам обо мне не напомнит.

Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы существуете. Я проверял себя – это не болезнь, не маниакальная идея – это любовь, которую Богу было угодно за что-то меня вознаградить.

Пусть я был смешон в Ваших глазах и в глазах Вашего брата, Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: *«Да святится имя Твое»*.

Восемь лет тому назад я увидел вас в цирке в ложе, и тогда же в первую секунду я сказал себе: я ее люблю потому, что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее Вас и нежнее. В Вас как будто бы воплотилась вся красота земли...

Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой город? Все равно сердце было всегда около Вас, у Ваших ног, каждое мгновение дня заполнено Вами, мыслью о Вас, мечтами о Вас... сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет, – ну, что же? – ошибка. Воображаю, какое он впечатление произвел на Ваших гостей.

Через десять минут я уеду, я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни: ваш платок, который, я признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле на балу в Благородном собрании. Вашу записку, – о, как я ее целовал, – ею Вы запретили мне писать Вам. Программу художественной выставки, которую Вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе... Кончено. Я все отрезал, но все-таки думаю и даже уверен, что Вы обо мне вспомните. Если Вы обо мне вспомните, то... я знаю, что Вы очень музыкальны, я Вас видел чаще всего на бетховенских квартетах, – так вот, если Вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату D-dur № 2, op. 2.

Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю Вас за то, что Вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой мыслью. Дай Бог Вам счастья, и пусть ничто временное и житейское не тревожит Вашу прекрасную душу. Целую Ваши руки.

Г. С. Ж.»

Она пришла к мужу с покрасневшими от слез глазами и вздутыми губами и, показав письмо, сказала:

– Я ничего от тебя не хочу скрывать, но я чувствую, что в нашу жизнь вмешалось что-то ужасное. Вероятно, вы с Николаем Николаевичем сделали что-нибудь не так, как нужно.

Князь Шеин внимательно прочел письмо, аккуратно сложил его и, долго помолчав, сказал:

– Я не сомневаюсь в искренности этого человека, и даже больше, я не смею разбираться в его чувствах к тебе.

– Он умер? – спросила Вера.

– Да, умер. Я скажу, что он любил тебя, а вовсе не был сумасшедшим. Я не сводил с него глаз и видел каждое его движение, каждое изменение его лица. И для него не существовало жизни без тебя. Мне казалось, что я присутствую при громадном страдании, от которого люди

умирают, и я даже почти понял, что передо мною мертвый человек. Понимаешь, Вера, я не знал, как себя держать, что мне делать...

– Вот что, Васенька, – перебила его Вера Николаевна, – тебе не будет больно, если я поеду в город и погляжу на него?

– Нет, нет, Вера, пожалуйста, прошу тебя. Я сам поехал бы, но только Николай испортил мне все дело. Я боюсь, что буду чувствовать себя принужденным.

ХП

Вера Николаевна оставила свой экипаж за две улицы до Лютеранской. Она без большого труда нашла квартиру Желткова. Навстречу ей вышла сероглазая старая женщина, очень полная, в серебряных очках, и так же, как вчера, спросила:

– Кого вам угодно?

– Господина Желткова, – сказала княгиня.

Должно быть, ее костюм – шляпа, перчатки – и несколько властный тон произвели на хозяйку квартиры большое впечатление. Она разговорилась.

– Пожалуйста, пожалуйста, вот первая дверь налево, а там... сейчас... Он так скоро ушел от нас. Ну, скажем, растрата. Сказал бы мне об этом. Вы знаете, какие наши капиталы, когда отдаешь квартиры внаем холостякам. Но какие-нибудь шестьсот-семьсот рублей я бы могла собрать и внести за него. Если бы вы знали, что это был за чудный человек, пани. Восемь лет я его держала на квартире, и он казался мне совсем не квартирантом, а родным сыном.

Тут же в передней был стул, и Вера опустила на него.

– Я друг вашего покойного квартиранта, – сказала она, подбирая каждое слово к слову. – Расскажите мне что-нибудь о последних минутах его жизни, о том, что он делал и что говорил.

– Пани, к нам пришли два господина и очень долго разговаривали. Потом он объяснил, что ему предлагали место управляющего в экономии. Потом пан Ежий побежал до телефона и вернулся такой веселый. Затем эти два господина ушли, а он сел и стал писать письмо. Потом пошел и опустил письмо в ящик, а потом мы слышим, будто бы из детского пистолета выстрелили. Мы никакого внимания не обратили. В семь часов он всегда пил чай. Лукерья – прислуга – приходит и стучится, он не отвечает, потом еще раз, еще раз. И вот должны были взломать дверь, а он уже мертвый.

– Расскажите мне что-нибудь о браслете, – приказала Вера Николаевна.

– Ах, ах, ах, браслет – я и забыла. Почему вы знаете? Он перед тем, как написать письмо, пришел ко мне и сказал: «Вы католичка?» Я говорю: «Католичка». Тогда он говорит: «У вас есть милый обычай – так он и сказал: милый обычай – вешать на изображение Матки Боски кольца, ожерелья, подарки. Так вот исполните мою просьбу: вы можете этот браслет повесить на икону?» Я ему обещала это сделать.

– Вы мне его покажете? – спросила Вера.

– Прошу, прошу, пани. Вот его первая дверь налево. Его хотели сегодня отвезти в анатомический театр, но у него есть брат, так он упрямился, чтобы его похоронить по-христианску. Прошу, прошу.

Вера собралась с силами и открыла дверь. В комнате пахло ладаном и горели три восковых свечи. Наискось комнаты лежал на столе Желтков. Голова его покоилась очень низко, точно нарочно ему, труп, которому все равно, подсунили маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставаньем с жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь. Она вспомнила, что то же самое умиротворенное выражение она видела на масках великих страдальцев – Пушкина и Наполеона.

– Если прикажете, пани, я уйду? – спросила старая женщина, и в ее тоне послышалось что-то чрезвычайно интимное.

– Да, я потом вас позову, – сказала Вера и сейчас же вынула из маленького бокового кармана кофточка большую красную розу, подняла немного вверх левой рукой голову трупа, а правой рукой положила ему под шею цветок. В эту секунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее. Она вспомнила слова генерала Аносова о вечной исключительной любви – почти пророческие слова. И, раздвинув в обе стороны волосы на лбу мертвеца, она крепко сжала руками его виски и поцеловала его в холодный, влажный лоб долгим дружеским поцелуем.

Когда она уходила, то хозяйка квартиры обратилась к ней льстивым польским тоном:

– Пани, я вижу, что вы не как все другие, не из любопытства только. Покойный пан Желтков перед смертью сказал мне: «Если случится, что я умру и придет поглядеть на меня какая-нибудь дама, то скажите ей, что у Бетховена самое лучшее произведение...» – он даже нарочно записал мне это. Вот поглядите...

– Покажите, – сказала Вера Николаевна и вдруг заплакала. – Извините меня, это впечатление смерти так тяжело, что я не могу удержаться.

И она прочла слова, написанные знакомым почерком: «L. van Beethoven. Son. № 2, op. 2. Largo Appassionato».

ХIII

Вера Николаевна вернулась домой поздно вечером и была рада, что не застала дома ни мужа, ни брата.

Зато ее дожидалась пианистка Женни Рейтер, и, взволнованная тем, что она видела и слышала, Вера кинулась к ней и, целуя ее прекрасные большие руки, закричала:

– Женни, милая, прошу тебя, сыграй для меня что-нибудь, – и сейчас же вышла из комнаты в цветник и села на скамейку.

Она почти ни одной секунды не сомневалась в том, что Женни сыграет то самое место из второй сонаты, о котором просил этот мертвец с смешной фамилией Желтков.

Так оно и было. Она узнала с первых же аккордов это исключительное, единственное по глубине произведение. И душа ее как будто бы раздвоилась. Она одновременно думала о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в тысячу лет. Вспомнила слова генерала Аносова и спросила себя: почему этот человек заставил ее слушать именно это бетховенское произведение и еще против ее желания? И в уме ее слагались слова. Они так совпадали в ее мысли с музыкой, что это были как будто бы куплеты, которые кончались словами: «*Да святится имя Твое*».

«Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая покорно и радостно обрекла себя на мучения, страдания и смерть. Ни жалобы, ни упрека, ни боли самолюбия я не знал. Я перед тобою – одна молитва: «*Да святится имя Твое*».

Да, я предвижу страдание, кровь и смерть. И думаю, что трудно расстаться телу с душой, но, Прекрасная, хвала тебе, страстная хвала и тихая любовь. «*Да святится имя Твое*».

Вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук твоей походки. Сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью обвеяны мои последние воспоминания. Но я не причиню тебе горя. Я ухожу один, молча, так угодно было Богу и судьбе. «*Да святится имя Твое*».

В предсмертный печальный час я молюсь только тебе. Жизнь могла бы быть прекрасной и для меня. Не ропщи, бедное сердце, не ропщи. В душе я призываю смерть, но в сердце полон хвалы тебе: «*Да святится имя Твое*».

Ты, ты и люди, которые окружали тебя, все вы не знаете, как ты была прекрасна. Бьют часы. Время. И, умирая, я в скорбный час расставания с жизнью все-таки пою – слава Тебе.

Вот она идет, все умиряющая смерть, а я говорю – слава Тебе!..»

Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясалось. Налетел легкий ветер и, точно сочувствуя ей, зашелестел листьями. Острее запахла звезда табака... И в это время удивительная музыка, будто бы подчиняясь ее горю, продолжала:

«Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Помнишь? Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко, сладко, сладко».

Женни Рейтер вышла из комнаты, уже кончив играть, и увидела княгиню Веру, сидящую на скамейке всю в слезах.

– Что с тобой? – спросила пианистка.

Вера, с глазами, блестящими от слез, беспокойно, взволнованно стала целовать ей лицо, губы, глаза и говорила:

– Нет, нет, – он меня простил теперь. Все хорошо.

1910